

# АБДУЛЛА КАХХАР

Избранные  
произведения  
в 3-х томах

Том III

Романы

Издательство литературы и искусства  
имени Гафура Гуляма  
Ташкент — 1974

РЕДКОЛЛЕГИЯ:

С. Бородин, Н. Владимирова, К. Каххарова, Л. Каюмов,  
С. Лиходзиевский, А. Удалов, А. Шарафутдинов

---

Составитель кандидат филологических наук Н. В. ВЛАДИМИРОВА

Художник В. ШТИН

К 30

Каххар А.

Избранные произведения. В 3-х т. (Пер. с узб.). Т.,  
Изд. литературы и искусства, 1974.

На обороте тит. л. сост. Н. В. Владимирова.

Т. 3. Романы. (Мираж.—Огни Кошчиара. Редколле-  
гия: С. Бородин и др.). 1974. 511 с.

Талантливый Санди не находит пути к душе народа. Его талант, кото-  
рый не питается народной жизнью, постепенно чахнет, и Санди гибнет  
бесплодно. Трагедия интеллигента, не нашедшего верного пути в жизни —  
это кратко сформулированная тема романа Абдуллы Каххара «Мираж».

Последний, третий том избранных произведений включает также ши-  
роко известный роман А. Каххара «Огни Кошчиара».

Уз2

7-3-3-119

К-М-352-06-74

119-74

---

# МИРАЖ

Перевод ВЕРЫ СМИРНОВОЙ

## ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

### I

Девушка только было робко взялась за дверную ручку, как от сильного толчка изнутри дверь распахнулась, больно ударив ее по ногам, заставив посторониться и пропустить выходящего юношу. Его можно было принять за студента. Увидев, кого он чуть не сшиб с ног, юноша смутился, стал извиняться. Взглянув еще раз на девушку, медленно отошел и направился к выходу. Девушка тихо притворила открытую дверь, постояла, следя за удалявшимся юношей, потом нерешительно пошла за ним.

— Товарищ,— сказала она, догнав его у лестницы на первый этаж,— вы не знаете Сайфи?..

Молодой человек оглянулся, почему-то торопливо сложил и спрятал в карман бумаги, которые держал в руках, и ответил с готовностью:

— Это я!

Он был поражен: «Красавица, так хорошо одета, откуда-то знает мое имя и говорит так робко, умоляющим голосом...»

— Я была в бюро консультаций...— начала было девушка, но, взглянув в лицо юноши, еще раз спросила — точно ли перед ней Сайфи.

Юноша смешался.

— Простите, мне послышалось, что вы сказали «Сайди». — И он опять зачем-то вынул из кармана свои бумаги.

Видно, этой девушке зайти в приемную комиссию и узнать свою судьбу не легче, чем женщине, только что снявшей паранджу, пройти по людной улице, не споткнувшись и не краснея. Она подумала вначале, что юноша работает здесь, но, поняв, что ошиблась, смутилась, оглянулась, словно почувствовав за спиной кого-то, кто упрекнул ее: «Ишь ты — увидела красивого парня и уже растаяла».



Саиди только что сам потерпел неудачу и это словно перекинуло между ними мостик, хотя они видели друг друга впервые и ничего не знали один о другом. Девушка надеялась, что Саиди поможет ей, но молчала, а Саиди, хоть и не мог понять, чего именно она ждет от него, готов был, кажется, положить к ее ногам все, что она пожелает, и в придачу весь мир. Но вместо этого стал вдруг говорить о трудностях, какие ждут каждого в приемной комиссии. Девушка воспринимала его слова как приговор себе. Если она и раньше колебалась, входить ли в заветную дверь, то теперь, слушая Саиди, окончательно решила — не входить. Напрасно Саиди, пытаясь исправить дело, уверял ее, что для девушек существуют льготы. Она, закусив губку, разочарованно качала головой. И если несколько минут назад разговор с Саиди имел для нее какой-то смысл, то теперь, когда она решила не входить, его уверенность, да и сам Саиди, потеряли для нее всякий интерес.

А Саиди, только что считавший, что учиться не будет, теперь вдруг переменял свое решение. Им овладело страстное желание во что бы то ни стало поступить в университет. Удивительное дело, каждое слово, каждый жест этой девушки звали его к действию — он готов был на все, лишь бы иметь право советовать и сочувствовать ей, быть с ней рядом. И он еще и еще раз рассказывал ей о льготах и преимуществах, убеждал ничего не бояться.

В конце концов девушка, поддавшись его уговорам, направилась к заветной двери, но, дойдя до порога, остановилась и обернулась к Саиди.

— Войти, что ли? Но вы не уходите пока...

Эти слова вырвались у нее нечаянно, и она, словно испугавшись их, поспешно переступила порог.

Заложив руки за спину, юноша ходил взад и вперед у двери. В голове его все перемешалось. Он видел перед собой эту девушку, слышал ее нежный голос. Странная мечта явилась у него: «Если бы с ней случилось какое-нибудь несчастье и я стал бы ее спасителем!...»

Но вместо этого неожиданно открылась дверь.

— Ой, как мне совестно... Я вас заставила ждать... — Слова девушки вернули его к реальности. — У меня с собой только анкета и заявление, а, оказывается, нужны еще всякие справки... Я заставила вас ждать...

Неудача девушки произвела на Саиди большее впечатление, чем на нее самое. Только что казавшаяся такой близкой, она теперь отдалилась от него на миллионы

верст. Эти приветливые, ласковые улыбающиеся глаза остались где-то там, далеко, в мечтах.

Девушка же оправилась от пережитого волнения, только когда они уже вышли из зала. Рядом с ней шел стройный, красивый парень, в каждом движении которого чувствовались сила, энергия... Ей стало неловко, она оглянулась, будто боялась, что ее увидят, но не отставала от юноши ни на шаг, словно их связывало какое-то важное дело. Взгляды их неожиданно встретились, она опустила глаза и покраснела.

— Сами же говорят, что народ жаждет знаний, а почему-то делят всех на трудящихся и нетрудящихся... чтоб им пропасть! — заговорила она.

— Я и вчера тут был... Слышал — какой-то профессор спорил с секретарем партиячейки, он тоже говорил, как вы: «Сами говорите, что надо всех учить, и сами же ограничиваете».

Вестибюль первого этажа был похож на вокзал: теснота, шум, духота. Но поток людей стремился не наружу — на воздух, а в глубину зала, к доскам объявлений. Даже в голодные годы, когда выдавали бесплатный хлеб, не было такой толкучки.

Девушка посмотрела вокруг, скривила губки.

— И это называется университет... Насмешка просто.

Саиди вежливо усмехнулся и пояснил:

— Здесь ведь рабфак. Эти люди пришли на рабфак. Сейчас на рабфаке учится молодежь двадцати девяти национальностей. Я видел диаграмму.

Они вышли из университета. Широкая кирпичная лестница, берег протекавшего рядом арыка, университетский садик — все было полно людей, нестро от цветных одежд. На ветвях деревьев висели мешки, торбы, узлы. Люди сидели и лежали на ступеньках, под деревьями, на траве, одни смотрели весело, другие хмурились, третьи — внешне безучастно ждали решения своей судьбы.

— Так что же — вы, значит, решили не поступать в университет? — спросил Саиди, когда они прошли через сад и подошли к автобусной остановке.

— А вы? — сказала девушка, взглянув на него искоса.

— Я обязательно буду учиться, — ответил Саиди и нарочно, желая задеть самолюбие девушки, добавил: — Вы-то, наверное, согласились бы слушать лекции даже через дверную щелку?..

Девушка резко вскинула голову.

— Я? Я буду сидеть в первом ряду на лекциях.

Она попросилась и вошла в автобус, но вдруг оглянулась и посмотрела на Саиди, как будто хотела что-то сказать. А Саиди стоял неподвижно, как статуя, и глядел ей вслед, пока автобус не скрылся с глаз. Тогда он снял тюбетейку и почесал затылок в полной растерянности.

## II

Вернувшись домой, Саиди застал своего друга и соседа по комнате Эхсана за книгой.

Саиди разделся и тяжело опустился на деревянную кровать, стоявшую в глубине комнаты. Эхсан, мельком взглянув на него, встал, налил в пиалу чаю из стоявшего на столе закопченного чайника и подошел к кровати. Саиди сидел, согнувшись и опустив руки, как путник, уставший после долгой дороги.

— Ну, Саиди, потомок пророка, борец за веру,— сказал Эхсан, хлопнув Саиди по спине,— рассказывайте, что случилось? Неужели так плохи дела?

Саиди не ответил, сидел, уставясь в угол комнаты, словно рядом с ним никого не было. Эхсан замолчал и вновь взялся за книгу. Наконец, через какое-то время, Саиди произнес: «Интересно!» — и посмотрел на Эхсана.

— Помните то время, когда мы с сумками через плечо ходили в школу Урфан?

Эхсан поднял глаза от книги. Перед ним тоже вдруг встало детство, о котором напомнил Саиди; в ушах вновь зазвучали слова их любимой песни:

Как прекрасны горы в Туркестане...

Они дружили тогда с Саиди, и эта мальчишеская дружба сблизила и их отцов. Отправляясь каждый вечер, чтобы заправить и зажечь уличные фонари, отец Эхсана обязательно навещался к отцу Саиди справиться о здоровье, просто отдохнуть, а если нужна была помощь в кузнице, то и помощь. Отец Саиди был великим мечтателем. Он задумал создать механизированную кузницу, увлек своей идеей окрестных кузнецов, собрал нужные деньги, но предприятие не удалось, только зря пропал капитал, и с горя отец Саиди повесился. А отец Эхсана погиб позже в борьбе с басмачами. После его смерти Эхсану пришлось оставить школу.

— Мы были тогда детьми,— сказал Саиди, сощурившись, будто глядя вдаль,— но мы всегда понимали друг друга. Боюсь, что нынче не так...

— Ладно, оставим это,— прервал его Эхсан, дружески хлопнув по колену,— сначала скажите, как дела? Приняты вы или нет?

Саиди махнул рукой: «Потом, потом»,— и растянулся на кровати.

Эхсан пожал плечами и, отойдя к столу, снова взялся за книгу.

— Удивительная у вас черта,— раздраженно сказал Саиди, как капризный больной, которому в чем-то отказали,— вы не любите разговаривать о том, что было. Если вам случится путешествовать по всему свету, пережить приключения, каких хватило бы на тысячу человек, все равно, вернувшись, вы ничего не расскажете, как будто все позабыли, и как всегда уткнетесь в книжку.

Эхсан посмотрел на него.

— Саиди, вы окончили и начальную и среднюю школу. А я — отсталый человек, я должен думать о будущем... Объясните-ка лучше, что с вами?

— Эхсан, когда вы думаете жениться и на ком?

— Женюсь, когда стану врачом. А на ком... пока еще не знаю. Во всяком случае, мне нравятся женщины стройные, невысокого роста...

— Ну вот, я же говорил, что вам недоступны человеческие переживания. Если бы вы когда-нибудь испытали хоть тысячную долю того волнения, какое я сейчас переживаю, тогда я не боялся бы, что вы меня не поймете. Я — человек неверующий, но если бы верил, честно говоря, сегодня отрекся бы от религии за одно то, что она учит, будто люди все созданы из глины...

— Уж не влюбились ли вы?

— Если бы только влюбился!..

С улицы послышался голос Павла Шафрина, друга Эхсана. Он с кем-то оживленно разговаривал. Саиди с болезненной гримасой уткнулся головой в подушку. Он вообще недолюбливал Шафрина и сейчас меньше чем когда-либо хотел его видеть.

Но раньше Шафрина в комнату вошел Шариф, тоже близкий друг Эхсана, один из тех, кого Саиди называл «неудобоваримыми». Поздоровавшись с Эхсаном, Шариф сморщил нос и оглядел комнату.

— Какая вонь у тебя в комнате! Ты что, ее не проветриваешь никогда?

С газетой в руке вошел Шафрин, бросился обнимать Эхсана и, сграбастав его, закружил по комнате, крича:

— Есть два места на медицинский факультет Московского университета, одно из них — должно быть твоим!

Пока Эхсан читал объявление в газете, Шафрин подошел к Саиди. Тот нехотя открыл глаза и, отвернувшись, пробормотал что-то. Шафрин подумал, что он болен, потрогал ему лоб.

— Вы нездоровы? Вот было бы здорово, если б и вы поехали в Москву и поступили на литературный факультет.

Саиди поднял голову и сделал вид, что только сейчас разглядел Шарифа.

— А, это вы,— сказал он и встал, протирая глаза.

— Условия мне подходят! — закричал Эхсан, радуясь так, словно уже все было решено.— Слышишь, Шариф, это мне подходит.

— Я знаю.

— А если знаешь, так сделай так, чтобы у меня была рекомендация от райкома комсомола.

И, схватив чайник, Эхсан побежал за чаем.

А разговор с Саиди так и остался незаконченным, потому что гости, по-видимому, не собирались скоро уходить.

### III

Та девушка исчезла, как жемчужина, упавшая на дно моря. Саиди не знал, у кого спросить о ней, где искать. И он снова и снова ходил в университет в надежде на встречу, не имея ни малейшего представления, о чем он станет с ней говорить.

Однажды по дороге в университет его остановила женщина в парандже. Это была его сестра. Отведя Саиди в сторонку, она чуть откинула с лица сетку, поздоровалась и заплакала.

— Братец Рахимджан, милый... Почему не зайдешь никогда? Хоть бы пришел, когда мужа нет дома... Ведь нас только двое родных и осталось... Кто еще у нас есть на свете?..

Саиди успокоил ее, пообещав зайти на днях, твердо уверенный, что не сделает этого.

Совсем недавно он жил в доме зятя, учительствовал и зарабатывал много денег. Эти деньги и были причиной того, что зять-торговец относился к нему не просто как к постоянному клиенту, но как к оптовому покупателю. Лучшая еда предназначалась для Саиди, без него не откупоривалась ни одна бутылка вина. И каждое слово его

превозносилось до небес. Но Саиди опротивела сладкая жизнь и выпивка, да и Эхсан, старый друг, уговаривал учиться дальше.

Как только Мухаммедраджаб узнал о намерениях Саиди, спокойной жизни пришел конец. Сначала, правда, зять молчал и пытался подействовать через жену. Он обещал женить Саиди на богатой, сделать его хозяином благоустроенного дома. Сестра расхваливала ему будущую жизнь. Были минуты, когда он готов был поддаться этим уговорам и отказаться от своего решения, но стоило ему встретиться с Эхсаном, все эти соблазны лопались, как мыльные пузыри, и жизнь, которую сулили сестра и ее муж, уже не казалась ему привлекательной. Кончилось все тем, что он ушел из дома сестры. Вот тогда-то зять и пригрозил жене: «Если твой брат войдет в мой дом, я разведусь с тобой».

В это время Мухаммедраджабу назначили большой налог на его лавку. Обычно в затруднительных случаях он прибегал к помощи Саиди, а теперь, без его поддержки, растерялся и едва не погорел. Пришлось продать товар, хранившийся на складе, чтобы уплатить налог. Нужны были несколько тысяч рублей и время, чтобы возместить убытки. Через жену Мухаммедраджаб пытался наладить прежние отношения с Саиди — не удалось, последняя надежда поправить дела окончательно рухнула. Тогда он пустился на хитрость: закрыл свою большую лавку, сдал патент и открыл малюсенькую лавчонку самой низкой категории. В этой лавчонке он выставял только образцы товаров, чтобы можно было думать, что он торгует случайными вещами и еле-еле сводит концы с концами. Это выручало, но прежних доходов уже не было. Мухаммедраджаб стал обвинять во всех своих бедах Саиди. Жаловался всем и каждому, что он не помог сестре, не хочет работать, распутничает.

Репутация Саиди среди друзей и знакомых была подорвана. Те, кто раньше кланялись при встрече, теперь проходили мимо, как будто не замечали его. У Саиди остался единственный друг — Эхсан. Правда, когда он поселился вместе с Эхсаном, появились и новые знакомые, вроде Шарифа, но с ними Саиди не сумел сблизиться и часто в этом новом окружении чувствовал себя чужим. А тут еще отъезд Эхсана в Москву.

— Рахимджан! — говорил Эхсан, обвязывая проволокой свой сундучок. — Молодость — быстробегущая вода, не успеете полить все свои посевы, она так и утечет зря. А потом уж что проку в стариковских очках рыть колодец

иглой. Шафрин хороший парень. Вы его не любите, это несправедливо. Его ценить надо, он готов душу отдать за нас с вами. Вы мне так и не сказали, почему вы не попали в университет. Если вам знаний не хватает, Шафрин всегда поможет. Он на втором курсе, он много знает. Вы напрасно сторонитесь людей. Избегаете даже такого прямого доброжелательного парня, как Шариф.

— Он большой человек. А я кто?..

— И он комсомолец, и вы комсомолец. Нет, это у вас просто плохая привычка — сторониться людей, и вы только ищете предлог...

Но разговор этот так и не закончился. Эхсан суетился и спешил, как ребенок, который долго жил в чужом краю и только теперь возвращался к родной матери.

Провожать Эхсана на вокзал пришло много друзей. Саиди чувствовал себя среди них одиноким. Единственный человек, с которым ему хотелось бы поговорить, был Эхсан, но он словно растворился среди своих друзей, и Саиди до самого отхода поезда томился в стороне. Когда поезд отошел и все пошли с платформы, Саиди сумел тут же ускользнуть от провожающих.

Но вечером к нему пришел Шафрин. Очевидно, он хотел развлечь оставшегося в одиночестве Саиди. Саиди встретил его неприязненно.

— Ну как, Рахимджан, скучно без Эхсана? — сказал Шафрин. — В доме становится пусто, когда его покидает друг.

Шафрину и в голову не приходило, что Саиди его не любит, и, если случалось, тот дерзил ему, он не обращал внимания на это, считал, что у Саиди такой характер.

Видя, что Саиди кривится, как от сильной боли, Шафрин подумал, что он и вправду болен.

— Жара нет?

— Колет в боку, — сказал Саиди с гримасой, — чуть пошевелилась — больно.

Шафрин забеспокоился, сказал, что надо вызвать врача.

Саиди перебил его поспешно:

— Я уже был у врача. Он прописал мне лекарство. Я только что принял его.

Наступило молчание. Саиди лежал, закрыв глаза, и думал про себя: «Есть же назойливые люди. Видишь ведь, что ты здесь не нужен, встань и уйди». Шафрин посидел молча, глядя на лежащего Саиди, и, решив, что ему лучше, тихонько ушел.

Шафрин теперь заходил к нему часто. Но каждый раз оказывалось, что Саиди должен куда-то идти по срочному делу, или он сидел за книгой, еле отвечая на вопросы. Постепенно связь между ними, которую так старался укрепить и продолжить Эхсан, стала ослабевать, и Саиди нетерпеливо добивался полного разрыва. Шафрин все реже и реже навещался к нему и очень ненадолго. А через две недели Саиди уехал в центр хлопотать о поступлении в университет. Он считал это первым шагом, чтобы найти ту девушку.

#### IV

Саиди поступил в университет — и тут же нашел свою утерянную жемчужину — Мунисхон. Он добился своего, с помощью друзей победил тех, кто пробивался в университет. Правда, его не хотели зачислить на стипендию. И опять ему пришлось добывать разрешение в центре.

В университете многое не поправилось Саиди. Среди студентов его группы были, правда, одаренные люди, но были и такие, что казались ему грубыми, бесталанными, их хоть тысячу лет учи, думал он, толку не будет. Глядя на них, Саиди возмущался: «И это студенты? Неужели организации, пославшие их учиться, надеются, что труды и средства, затраченные на них, не пропадут даром!»

И действительно, некоторые из этих студентов сильно отставали в учебе. Партийная и комсомольская ячейки старались им помочь, прикрепляли к ним успевающих студентов. Но однажды на лекции седой профессор, болезненный, бледный, с отвислыми щеками, высказал прямо то, о чем думал и не решался сказать Саиди:

— Вы не доросли до университета, — сказал он парню, которого Саиди про себя называл «пнем». — Езжайте-ка в свой кишлак и машите там кетменем!..

Кто-то попытался было возразить, но профессор резко оборвал его:

— Это наука. Ее нельзя упростить декретами!

Возражавший умолк. Саиди торжествовал, впервые в университете он почувствовал себя свободно, будто сбросил с ног тесную обувь. Сердитый профессор понравился ему.

Однако ячейка делала свое дело. Саиди, как комсомольца, прикрепил к рабфаковцу — здоровенному грубоватому человеку, бывшему шахтеру. Отказаться Саиди не посмел, но про себя обозлился.

Между тем инцидент между профессором и «пнем»



стал известен всему университету. Споры по этому поводу то вспыхивали, как пламя, то затухали, кем-то ушло погашенные. Но все ждали взрыва, словно огонь бежал по подожженному шнуру. И этот взрыв прогремел так, что его услышала вся общественность города.

В это время шла подготовка к республиканской конференции пролетарских студентов, на всех факультетах выбирали делегатов, вручали им наказы. Случай с профессором попал в газеты, о нем говорили на конференции. Дело приняло широкий оборот, и профессор был изгнан из университета.

Перепуганный Саиди уже не говорил больше о способных и неспособных студентах даже с разделявшей его мнение Мунисхон.

Отношения между Саиди и Мунисхон с самого начала учебного года оставались просто товарищескими. На лекциях они сидели рядом. Когда лекция заканчивалась, Саиди ждал, пока Мунисхон встанет и пойдет к двери. Иногда, правда, так делала и Мунисхон, только ни за что не призналась бы в этом. А выйдя из университета, они тотчас расставались, даже если им было по пути. Но, разойдясь, уходили медленно, словно забыли сказать друг другу что-то важное.

Однажды, когда после лекции они вышли на улицу, пошел сильный дождь. Мунисхон хоть и подняла воротник пальто, но остановилась, не решаясь идти под дождем. Остановился и Саиди. Глядя на опустившую глаза Мунисхон, он любовался ее черными ресницами. Вдруг она подняла голову, и взгляды их встретились. Саиди не успел отвернуться, смутился и покраснел, будто провинился в чем-то.

— Дождь... — промолвил он.

Сам не знал, зачем он сказал о дожде. Хорошо, что Мунисхон пришла ему на помощь.

— В дождь хорошо сидеть дома и мирно беседовать, а когда ветер — спать...

Саиди кивнул, соглашаясь. Дождь, правда, начал стихать, а в арычке у входа бурлила мутная вода. Мунисхон осторожно перешла мостик, но, ступив на тротуар, поскользнулась и упала бы, если бы Саиди не подхватил ее. Мунисхон, затаив дыхание от страха, посмотрела в лицо Саиди, как будто не понимала, что он просто спас ее от падения. Саиди же, сам не заметивший, что обнял ее, разжал руки и извинился.

В этот день они ушли из университета вдвоем, и с тех пор словно преодолели что-то, мешавшее их сближению.

Теперь они стали появляться вдвоем в аудиториях, в библиотеке, на улице. Мунисхон все труднее давались занятия, и она все больше нуждалась в помощи Саиди. Саиди был подготовлен лучше ее и всеми силами старался ей помочь, объяснить непонятное, просто ободрить. Он отдавал ей время и терпение, сэкономленные на занятиях с шахтером, и делал это с удовольствием.

— Вы так хорошо объясняете, что я сразу все понимаю,— говорила Мунисхон.— Никто так не умеет объяснять, как вы...

Когда подошло время зимних экзаменов, понадобилось и вечерами заниматься на факультете. Мунисхон ни разу не пропустила этих вечерних занятий, в душе побаиваясь, что Саиди может не прийти, что ему в тягость такая двойная нагрузка. Но Саиди не отказался бы от этих встреч, даже если бы пришлось пойти на большие жертвы. Однажды занятия их затянулись до полуночи, и Саиди пошел проводить Мунисхон домой. Они шли по пустынной улице. Вдруг громадная собака, грызшая у ворот кость, с рычанием бросилась на них. Испуганная Мунисхон схватила Саиди за руку и крепко прижалась к нему. Все в мире перестало существовать для Саиди — только одна Мунисхон. Никогда еще она не стояла так близко к нему, как теперь. Правда, она очутилась уже однажды в его объятиях, тогда, в дождь. Но это была просто случайность. А сейчас? Хоть она и испугалась собаки, но разве ухватилась бы так за руку кого-то другого! Собака, все так же рыча, скрылась в подворотне. Мунисхон засмеялась.

— Чтоб ей пропасть, она же сама нас боится.

Саиди опомнился, только пройдя несколько шагов.

— Если бы эта собака понимала что-нибудь, она привела бы целую стаю,— сказал Саиди.

— Ах, нет... Я боюсь собак,— сказала Мунисхон и, свернув в переулок, весело объявила: — А вот и наш дом...

— Если бы я был волшебником, я отодвинул бы ваш дом на тысячу верст.

— Почему?

— Так... Отодвинул бы и все.

— Вот вы какой... нехороший...— засмеялась Мунисхон, погрозив ему пальцем, и, быстро попрощавшись, исчезла в темноте.

## V

Дни шли, казалось, мало чем отличаясь друг от друга. Но было в каждом из них и что-то свое, особое, всегда но-

вое, неожиданное. Это часы, которые Саиди проводил с Мунисхон за книгами. Перед экзаменами шахтер добровольно отказался от его помощи. И это страшно обрадовало обоих. Мунисхон захлопала в ладоши.

— Теперь старайтесь не попадаться на глаза начальству. Мой брат недаром говорит: «Если не будешь лезть на глаза, постарайся казаться неспособной к общественной работе, будешь помалкивать, тебя оставят в покое». Верно ведь? А у вас привычка: кто бы что ни спросил, вы всегда готовы ответить, как будто вы все знаете. Не делайте так. И хорошо бы нам заниматься не в университете, а в другом каком-то месте, подальше от чужих глаз, чтобы никто не мешал. Можно вообще-то и у нас дома, но очень уж беспокожно. К брату приходят друзья, а они такие любопытные, не дай бог...

По мнению Мунисхон, Саиди сильно отличался от других студентов и вообще от всех молодых людей, которых она знала. Он был тихий, спокойный, чуткий, понимающий настроение другого человека. Мунисхон считала свои отношения с ним товарищескими, и, хотя втайне думала, что это не очень естественно, хотела, чтобы все тоже так считали, и при случае старалась в этом уверить.

Когда наступила пора экзаменов, на факультете не осталось ни одного укромного местечка для их занятий. Поэтому вопрос о том, где заниматься, встал перед ними со всей остротой. Саиди сразу подумал о своей комнате — это было как раз то, что нужно, но он не смел пригласить Мунисхон, не надеясь, что она согласится переступить порог его скромного жилища. Однако, когда не было другого выхода и они оба стояли с книжками в руках, не зная, куда деться, Саиди ничего не оставалось, как предложить пойти к нему. Пока Мунисхон обдумывала это предложение, перебирая кончики своих кос, Саиди трепетал, как пламя свечи, колеблемое малейшим движением Мунисхон; скажи она сейчас «нет», и огонек угас бы навсегда. Но Мунисхон решила иначе.

— Это далеко? — спросила она, поглядев прямо в лицо Саиди.

Он только покачал головой, боясь выдать волнение. Мунисхон опять стала теревить свои косы. Овладев собой, Саиди сказал:

— Это напротив почты, в двадцати шагах от автобуса...

— Оказывается, у вас хорошая комната,— сказала Мунисхон, когда назавтра они пришли к Саиди.

— Я жил здесь вместе с товарищем, но когда он уехал, я совсем ее запустил...

Саиди не знал, что ему делать, как вести себя. «Нужно ли приготовить чай? Не обидится ли этот ангел небесный, если я предложу чай?» — спрашивал он себя. Конечно, комната была прибрана, все приготовлено к приходу Мунисхон, но вопрос о чае так и не был утрясен. И теперь Саиди нерешительно направился к керосинке, но Мунисхон, увидев это, поблагодарила и поспешила раскрыть книгу, которую он должен был читать. Читал он по-русски быстрее ее и не ошибался в ударениях.

Когда они только вошли и Мунисхон смотрела на Саиди, вешавшего пальто на вешалку, она испытала неведомое прежде чувство: то ли она спустилась с небес на землю, то ли этот здоровый, полный сил, все умеющий делать юноша поднялся с ней на небеса. А чем еще можно объяснить, что она согласилась прийти сюда?

Усевшись подальше от Мунисхон, Саиди принялся читать. Мунисхон слушала его, иногда прерывая, просила повторить. Книга была трудная, язык тяжелый, фразы длинные-предлинные. Саиди приходилось по нескольку раз повторять одно и то же, объяснять непонятное. Они даже позабыли сделать, как обычно, пятнадцатиминутную передышку после часа чтения. А на исходе второго часа Саиди так устал, что начал запинаться. Он отложил книгу и протер глаза. Мунисхон перелистала оставшиеся страницы и сказала, что часа полтора еще почитать — и книга будет окончена, и тогда можно будет отдохнуть не пятнадцать минут, а полчаса. Саиди, который уже встал и подошел к окну, чтобы отдышаться, молча сел опять и взялся за книгу. Тут Мунисхон стало неловко, и она вызвалась читать сама. Читала она сносно, если не считать нескольких слов, которые никак не могла произнести. Одно такое слово заставило ее призвать на помощь Саиди. Но, смутившись, она потеряла это слово на странице.

— Пойдите, пойдите, да вот же оно,— сказал Саиди, взяв ее за руку, как будто это рука была виновата, что девушка потеряла строку.

Мунисхон не отняла руки, но взглянула прямо в глаза Саиди. Тот сделал вид, что глубоко задумался над смыслом только что утерянного слова, на самом же деле он даже не видел книгу, лежавшую перед ними.

— Ну, ладно, оставим это,— сказала Мунисхон, осво-

бождая руку и снова принимаясь за чтение так, будто решила никогда больше не обращаться ни к кому за помощью.

Саиди вернулся на свое место и сделал вид, что слушает, хотя ничего не слышал.

— «Таким образом, Маркс открыл закон развития человеческого общества», — прочитала Мунисхон последнюю строчку и, отложив книгу, посмотрела на Саиди. — Сомневаюсь, что вы что-нибудь из этого усвоили!

— Нет, нет, почему же, — поспешил уверить ее Саиди. — Я слушал очень внимательно. Мне кажется, последние абзацы написаны намного проще...

— А ну-ка, расскажите, что сделал Маркс?

А Саиди даже не слышал, что она упоминала Маркса. Он потянулся за книгой, но Мунисхон не дала ему ее и потребовала, чтобы он пересказал прочитанное. На лбу у Саиди выступил пот. Не найдя в кармане платка, юноша встал и принялся ходить по комнате. А она, переписывая в тетрадку нужные цитаты из книги, говорила с насмешкой:

— Осторожно — не наткнитесь на что-нибудь! Вот что значит долго читать без передышки — в глазах мутится... — Было ясно, что она поняла его состояние.

С тех пор появление Мунисхон в комнате Саиди стало привычным.

## VI

Зимние каникулы принесли Саиди неожиданное огорчение. Мунисхон больше не приходила к нему, а сам навестить ее он не решался, боясь поставить в неловкое положение.

Как-то заглянув в книжный магазин, Саиди встретил своего школьного товарища Джамала Карими. Тот растолстел, раздобыл, был с иголки одет и важно, как хозяин, расхаживал по магазину. Саиди даже не решился первым подойти к нему и поздоровался только после того, как тот узнал его и протянул руку.

— Гм... — произнес Джамал Карими, играя толстой тростью с серебряными украшениями, — так вы говорите — учитесь? И скоро станете ученым?

Саиди рядом с ним чувствовал себя маленьким и ничтожным.

А где вы сейчас работаете? — робко поинтересовался он.

— У меня нет одного определенного места. Сами знае-

те, сейчас талантливые люди нарасхват. На тебя взваливают множество различных нагрузок. Я веду литературный отдел в газете. Преподаю литературу в техникуме. Новый журнал начал выходить — так меня ввели в редколлегию. Ничего не поделаешь — отказаться нельзя. А свои творческие дела заброшены.

Саиди и не знал, что Карими пишет.

— Вы не подписываетесь своим именем?

— Мой псевдоним — «Ульфат» теперь становится и моим именем. Да никто меня иначе и не зовет, как Ульфат.

Саиди читал стихи Ульфата, но никак не думал, что это Джамал Карими.

— В четверг в пять часов в Доме просвещения состоится интересное собрание, — сказал Ульфат, прощаясь с Саиди. — Приходите, услышите кое-что любопытное. Будем разбирать стихи новых поэтов, обсуждать вопросы воспитания молодых писателей. Вы ведь когда-то в школе интересовались литературой...

Саиди и вправду в школьные годы писал стихи, они печатались в стенгазете, а некоторые даже были положены на музыку и исполнялись на школьных вечерах.

Вернувшись домой, Саиди перерыл скопившиеся у него журналы, нашел стихи Ульфата и внимательно прочел их. Честно говоря, они ему не понравились, но назвать их плохими он бы не решился. В каком-то странном состоянии он сел за стол и сам написал стихи.

В четверг вечером, направляясь в зал Дома просвещения, Саиди не ожидал увидеть здесь такое скопление народа. Тут были и солидные люди, очевидно, учителя, но больше всего учащейся молодежи. Саиди сразу же увидел Джамала Карими: легко поигрывая тростью, он что-то доказывал соседу. Внимание Саиди привлек оратор — непомерно толстый, с большим животом мужчина. Он узнал его — это был его воспитатель по средней школе, теперь с успехом подвизавшийся в литературе критик Аббасхан.

— Когда мы, люди искусства, — говорил между тем критик, — смотрим на картину, изображающую обнаженную женщину, мы восхищаемся не самой женщиной, а мастерством, с которым она изображена. То же и в поэзии. Вот вы сами признали, что стихи этого поэта написаны с большим искусством. Значит, можно ими наслаждаться, не думая о содержании. Если вы сами идеологически здоровы, этого вполне достаточно!

Когда он закончил, из середины зала слова попросил широкоплечий смуглый парень. Председательствующий почему-то воздерживался. Зал зашумел. Молодежь требовала, чтобы парню дали слово. Тут на трибуну поднялся один из сидевших в первом ряду, он пообещал уладить все разногласия. Сначала он говорил мирно, а потом набросился на парня, которому не давали слова.

— Настоящему поэту не обидно, когда его критикует человек, равный ему по таланту, по положению в литературе. А вы, срифмовав несколько строчек, претендуете на звание поэта да еще смеете критиковать других! Пouchились бы сначала, набрались ума-разума!

Зал снова зашумел. Председатель охрип, стараясь успокоить аудиторию.

Саиди сделал для себя вывод: если у человека есть склонность к какому-либо искусству, даже способности, этого еще недостаточно, чтобы он считал себя представителем этого вида искусства. Для настоящего расцвета таланта необходимо несколько капель неведомого эликсира. И эликсир этот сейчас в руках Аббасхана.

Собрание закончилось, люди стали расходиться, продолжая доказывать, спорить, пытаясь в последний момент что-то объяснить друг другу. Саиди оставался на своем месте. Джамал Карими прошел мимо, небрежно, лишь глазами отвечая на приветствия. Аббасхан сел к столу президиума. Его окружили хорошо одетые, самоуверенные молодые люди. Другие, несколько скромнее, оставались поодаль, глядя жадно, как смотрят голодные на тех, кто обедает. Вновь появившийся Джамал Карими протянул Саиди пачку папирос. Аббасхан держался как крупный торговец, у которого много товара, и он может отпустить его по более низкой цене тому, кто ему понравится. Окружавшие же всеми силами стараются угодить, чтобы купить товар подешевле, повыгоднее для себя. На лицах присутствующих написано: все, что говорит Аббасхан, все правильно, все умно: если он засмеется, смеются все, каждый старается засмеяться погромче, даже если ему совсем не смешно.

Саиди пожалел, что пришел.

## VII

Назавтра, когда Саиди, без пальто, в одном пиджаке, выбежал в чайхану за кипятком, он увидел Мунисхон у дверей почты. Она стояла, пр держивая поднятый во-

ротник своего черного плюшевого пальто, и как будто кого-то ждала.

— Ой,— сказала Мунисхон, протягивая ему руку,— вас можно поздравить с вступлением в литературные круги...

— А-а, это я так, от нечего делать... Решил посмотреть, что там и как. А вы что тут стоите?

— Пришла на почту, а тут перерыв. Целый час ждать... Стояла и думала: уходить или остаться.

— Пойдемте ко мне... а ваше письмо я отправлю сам.

Склонив набок головку, Мунисхон будто раздумывала, как истолковать это приглашение. Но когда Саиди его повторил, она нерешительно пошла за ним.

В комнате Саиди она устроилась на своем обычном месте и принялась рассматривать лежавшие на столе журналы.

— Вы видели последний номер этого журнала?

Саиди испугался, что она увидит лежащие тут же новые стихи, и поскорее отодвинул исписанные листы и придавил книгой. Но Мунисхон этого не заметила, она рассказывала о том, как провела каникулы, какие прочла романы, называла имена всех узбекских поэтов и каждому давала оценку.

— Джамал Карими прочел мне недавно свое новое стихотворение,— оно мне очень понравилось.

Эти слова хлестнули Саиди, как плеткой, он готов был заплакать с досады, как ребенок.

— Вы знакомы с Джамалом Карими?

— Да,— сказала Мунисхон, всем своим видом желая показать, что подобные знакомства для нее ничего не значит,— он у нас часто бывает. Очень веселый, покладистый, общительный парень... Приятель моего брата. У него и псевдоним «Ульфат» — «приятель».

Мунисхон взглянула на свои золотые часики и поднялась, Саиди пошел ее проводить. Он был словно пьяный, он не помнил, как с ней расстался. Ревность, вызванная словами Мунисхон о Джамале Карими, не давала покоя, и, пытаясь как-то притупить ее, он до рассвета исправлял написанные недавно стихи. Наутро он послал их в редакцию журнала.

## VIII

— Давайте теперь заниматься у нас... Брат уехал в командировку...— сказала Мунисхон в один из мартовских дней.

Саиди так растерялся, что даже не мог сразу ответить



на это приглашение. «У нас»! Он представить себе не мог, что дом, в котором жила эта девушка, построен человеческими руками! Правда, не раз, провожая ее по вечерам, он видел, что она входила в обыкновенные старые ворота, а если они были заперты, стучала обыкновенной цепочкой, и стук этот был похож на обычный стук дверной цепочки. Но что там дальше, за этими обыкновенными воротами с такой обыкновенной цепочкой, Саиди не мог вообразить. Все растворялось в каком-то тумане. Какие тайны крылись там, что делала Мунисхон, входя в этот туман, — летела ли на крыльях, которые вырастали у нее за плечами, или уносились на волшебном коне?..

Когда Саиди вечером пришел в этот дом, кто-то встретил его у ворот и провел по проходу вправо — прямо к кирпичному дому в восточном стиле. Из двух огромных окон сквозь прозрачные занавеси лился приятный зеленый свет, слышались приглушенные звуки рояля. Они смолкли, когда Саиди вошел в переднюю, открылась дверь из комнаты, и послышался голос Мунисхон:

— Кто это? Рахимджан? Ой, как же долго вы заставляете себя ждать!..

Как молодая жена, которая хочет угодить мужу, выделиться среди старых жен, Мунисхон проворно взяла у Саиди пальто, повесила на вешалку и почтительно ввела гостя в комнату. Миновав двери, завешанные тяжелыми, но мягкими портьерами, Саиди очутился в комнате, освещенной электрической лампой под зеленым абажуром. Мунисхон была в легком платье, две длинные толстые косы были венком обвиты вокруг белой тубетейки. Усадив Саиди в обтянутое бархатом кресло, она присела было сама, но тотчас вскочила, потушила зеленую лампу, зажгла другую под потолком в люстре. Комната понравилась Саиди, но при зеленом свете ему было уютнее, и Мунисхон казалась ближе. А когда девушка внесла целую стопку книг, очарование уюта и близости исчезло окончательно; начались обычные занятия.

— Почему-то все, что вы сегодня читаете, отскакивает от меня, — призналась Мунисхон после трех часов работы.

Саиди оборвал недочитанную фразу, отодвинул книгу и с наслаждением потянулся, потом, откинувшись на широкую спинку кресла, посмотрел на потолок, расписанный цветами и фруктами.

— Когда так утомишься, хорошо послушать музыку...

— Вы любите музыку? — живо спросила Мунисхон, словно проснувшись. — Но на рояле наши мелодии не всегда хорошо получаются... Сейчас я вам что-то сыграю.

Это старинная военная музыка... Ее играли, когда арабы завоевывали Ундулис. Она так возбуждает, что, кажется, услышав ее, и мертвый бросится в бой... Слушайте, Рахимджан... Меня научил играть ее один турецкий офицер. Он и сам был сильным, полным энергии человеком... Я потом покажу вам его портрет.

Пальцы Мунистон забегали по клавишам рояля, и Саиди словно увидел перед собой огненных арабских скакунов, услышал голоса людей, звон копий, ударяющих о щиты, шум битвы.

Потом Мунистон открыла один из шкафов, достала с верхней полки пачку фотографий. Отыскивая нужную, она одни фотографии показывала Саиди, другие тотчас опять прятала.

— Вот,— сказала она наконец, протягивая снимок,— этот человек научил меня играть арабскую мелодию. Обещал и еще научить, но уехал...

— Да это же Исхак-эффенди! — воскликнул Саиди.— Я его знаю. Он часто приходил к нам в школу. Очень интересный человек... Я до сих пор помню, что он говорил...

Мунистон вдруг побледнела, нахмурилась, убрала фотографию.

— Может быть... Он был у нас раза два... Играл мне... Брат мой его не очень привечал. Я не знаю, куда он потом делся. Мы не интересовались. Мой брат Салимхан не любил его. Наверное, он вернулся в Турцию, куда же еще...

— Нет, он ушел к басмачам и погиб. В нашей школе было два турецких офицера — он к ним приходил.

В дверь постучали. Мунистон вышла и привела молодого человека, солидного и важного на вид. Он спросил ее что-то о брате, она ответила:

— Не знаю, он еще не писал мне.

Молодой человек был слегка навеселе. Мунистон представила его Саиди, он протянул руку, назвался: «Ильхам».

— Я бы посидел тут с вами, но меня ждут,— сказал он,— приехал один татарский поэт.

— Пригласите и его!

— Нет, он немного нездоров...

Проводив его, Мунистон рассказала Саиди:

— Это поэт Ильхам... Работает в литературном журнале. Он пьян, поэтому я не стала его удерживать. Он хороший парень. Один из самых близких друзей брата. Я бы хотела вас с ним поближе познакомить.

Мунистон умолкла, как будто пытаясь что-то вспомнить.

Саиди рассмеялся.

— Никак не решаетесь мне намекнуть, что пора уходить?

— Не-е-ет... Почему же... Ой, какой вы, право!.. Саиди поднялся.

## IX

Зима, в свое время подбиравшаяся медленно, словно желая понемногу приучить людей к пронзительным ветрам и морозам, теперь отступала тоже не торопясь, осторожно заявляя о своем уходе. Первые зеленые листочки на деревьях шелестели под весенним легким ветром. Весело ворковали горлинки, гоняясь друг за дружкой по заборам и среди листвы. Небо было синее-синее. Легкие облачка словно спешили стереть оставшиеся бледные следы зимы.

Наступившая весна не дала Мунисхон задуматься ни о предстоящем лете, ни о тех чувствах, которые волновали ее в последнее время. Не хотелось думать об этом, разбираться, отдавать себе отчет в том, куда несет ее течение жизни. Сначала ей было неловко, непривычно появляться на людях рядом с Саиди. У нее было такое чувство, будто она в какой-то новой необычной одежде идет по городской улице, и все люди смотрят на нее — кто с удивлением, кто с насмешкой. Но за последние месяцы эта неловкость стала исчезать. Она даже не заметила, как это случилось, — как не заметила, что сняла тяжелую зимнюю одежду, оделась в легкие шелковые платья, развевавшиеся на весеннем ветре. И не только она сама, но и все кругом, казалось, примирились с их дружбой. Если, правда, не считать нескольких юношей, влюбленных в нее, которые ходили вокруг, как котята вокруг мяса в стеклянной банке, терзая себя и других тоскливым мяуканьем, — если не считать их, то никого особенно не интересовали их отношения.

Они, действительно, крепко подружились. Даже решили на «ты». Саиди относился к ней очень бережно, готов был отдать ей все, ничего не требуя взамен. Мунисхон это понимала, считала, что между ними «только дружба, ничего серьезного, захочу — и в один миг расстанемся», но, несмотря на это, у нее портилось настроение, когда Саиди приветливо разговаривал с другими девушками.

Экзаменационная пора была в разгаре. Теперь они уходили заниматься за город — в сад рабочего поселка. Однажды Мунисхон стала жаловаться на людские сплетни.

— Удивительно,— говорила она, лежа на густой траве,— русские девушки и парни могут дружить, встречаться, как хотят, а если мы попробуем, как они,— сейчас же пойдут сплетни, начнутся насмешки, оскорбления...

Саиди положил книгу, тоже растянувшись на траве и уставыми от долгого чтения глазами поглядел на протекавшую чуть пониже реку, блестящую под солнцем. Дальше за рекой вставал город, весь в зелени деревьев. Из высоких труб заводов и фабрик дым валил в голубое небо. Потом взгляд его поднялся к горным вершинам, откуда брала начало эта река. Не дождавшись ответа, Муниسخон продолжала:

— Эти ваши комсомольцы, оказывается, молодцы — признают товарищеские отношения между девушками и юношами. А у наших стариков всегда только грязь на уме, чтоб им пропасть!

— А ты ведь сама говорила, что все комсомольцы — хулиганы...

— Подумаешь... если у них есть что-то хорошее, почему и не похвалить?

— Все новое всегда вызывает противодействие,— сказал Саиди.— Всякая новизна привлекает общее внимание, вызывает разное отношение, разные суждения. И все-таки, несмотря ни на что, мы — дети старой жизни. В нашем отношении к женщине и теперь есть что-то от прошлого. Ну, да ладно... Не расстраивайся. Не стоит об этом ни говорить, ни думать. Лучше решим, как нам дочитать все до пяти часов. Ведь в пять часов уже не найти укромного местечка в саду.

И они вновь взялись за книгу. Вновь перед глазами Саиди замелькали строчки, страницы. А Муниسخон, лежа на мягкой траве, казалось, внимательно слушала...

Но прекрасный весенний пейзаж, которым нельзя было не любоваться, и какое-то радостное возбуждение не давали Муниسخон сосредоточиться, мысли ее улетали далеко. Слова Саиди — «мы дети старой жизни» — вдруг напомнили Муниسخон детство. «Старая жизнь» — это звучало как музыка тамбура, возвращало на несколько лет назад. Эти годы были так далеки от нее, что несколько лет казались тысячелетиями.

Она была тогда маленькой девочкой. В ту весну, которая ей вспомнилась, дни, казалось, были дольше, цветы расцветали пышнее. Сад, в котором она росла, был тихий, уединенный, тишину нарушало только жужжанье пчел, журчанье воды, наполнявшей хауз, да пение птиц. Никто,

кроме Мунисхон, не смел подходить к беседке у хауза посреди сада, где отец вел счеты с приказчиками или отдыхал.

Вечерами появлялись гости в чалмах, в шапках, иногда даже с погонами на плечах. Они были изысканно любезны, сладкоречивы, очень низко кланялись.

Отец часто брал Мунисхон в свой магазин. Они ехали по городу в фаэтоне. А потом долго прохаживались по длинному магазину. Отец на каждом шагу останавливался с какими-то людьми и подолгу разговаривал с ними; это ей надоело, она брала отца за палец, на котором сверкало золотое кольцо с бриллиантом, тянула его к выходу — «идем!». Но когда отец уезжал в Москву или еще куда-то, она скучала по этим поездкам в магазин.

Казалось, нужны долгие-долгие годы, чтобы такая жизнь могла как-то измениться. Но все исчезло в несколько месяцев. Магазин сгорел. Отец умер. Старший брат пропал без вести. Брат Салимхан, с которым она живет сейчас, долго не возвращался домой, хотя и было известно, что он выехал из Оренбурга. Мунисхон вспомнила улыбку отца, и глаза ее наполнились слезами.

Это место, где они сидели сейчас, она знала раньше. Тогда это было заброшенное кладбище. Размытые дождями развалившиеся дувалы, старые тутовые деревья, чинары, на ветвях которых развешаны цветные тряпки — знак памяти об умерших, оставленный паломниками, под ними изъеденные временем могильные камни, а вокруг — редкие кибитки с дырявыми крышами, с обломками арб под дверью, с черепками глиняной посуды, с ржавыми железками у стены. Во всем этом была своеобразная прелесть. А в нынешних, выстроившихся по линейке зданиях нового поселка, недавно заложенном саде, в молодых деревьях и цветах не было того очарования. Какой-то старый черепок или изъеденная временем надгробная плита старого кладбища были для Мунисхон дороже и прекрасней, потому что они были для нее символом той, счастливой жизни. Слезы опять навернулись ей на глаза, сжали горло, но она проглотила их и только тяжело вздохнула.

Обычно, когда Саиди читал, Мунисхон часто прерывала его, просила остановиться на каком-то слове или мысли. Теперь же, больше часа не слыша ее голоса, Саиди заволновался. Закончив главу, он остановился, посмотрел на Мунисхон, увидел, что она расстроена.

— Ты что, устала?

— Нет... Я плохо слушала последнюю страницу... Я

вдруг вспомнила строки: «Если даже сто лет буду ходить по земле, ездить на спине слона или заставлять танцевать под собою лошадь, все равно однажды придет смерть и возьмет меня...»

— Ну, нет... — возразил Саиди горячо. — Раз природа создала тебя с такой любовью и вдохновением, несправедливо было бы рано отдать тебя смерти... Не думай об этом, Мунисхон. Ты будешь жить, пока мир стоит...

— Все имеет свой конец. Родилась — значит, умру...

— Жизнь вечна, Мунисхон. Думай об этом и будешь жить вечно, — сказал Саиди, улыбаясь. — Все живое на земле знает это...

— А ты?

— Что за вопрос? Нет смысла верить в это одному.

— Значит, нет смысла и мне верить одной?

— Конечно!

— Тогда давай будем верить вдвоем...

И прежде случалось, что Мунисхон притворялась наивной, шутила, будоражила молодую кровь Саиди. На этот раз шутка была более откровенной, чем когда-либо. Сама Мунисхон покраснела, засмеялась, прикрыла лицо рукавом. Но Саиди не смог ответить ей тоже шуткой. Он вообще никогда не шутил с Мунисхон так, как она шутила, сдерживался, полагая: «Если я буду говорить с ней шутливо, она может не поверить моему чувству и огорчится...»

А Мунисхон уже говорила о другом: ей вдруг захотелось зеленого урюка. Саиди вскочил, пошел к речке, нагнул ветку молодого урюка, стал обрывать зеленые плоды. Мунисхон у обрыва следила за ним.

— Осторожно, Рахимджан, ломаешь ветку... Там колючки, побереги свои руки... Мне ведь хватит и двух урючинок...

Она вернулась на свое место. Саиди принес полную горсть зеленых плодов.

— Вот, — сказал он, подавая ей их. — Еле набрал. Мало что-то урюка...

Мунисхон с радостью взяла плоды, но решила не есть их все сразу, она приложила к губам только одну урючинку.

Саиди увидел на книге свежий бутон красной розы.

— Это мне?

— Тебе, если не выкинешь, когда она завянет, — ответила Мунисхон, смеясь и с хрустом раскусывая кислый плод.

«Она во второй раз начинает такой разговор. Очевидно, ждет от меня ответа», — с трепетом подумал Саиди.

— Роза вянет постепенно, постепенно теряет свою красоту. Сердцу, которое старится вместе с ней, она не кажется увядшей. И роза и сердце умирают вместе... — Он собрался было поговорить на эту тему, но Мунисхон быстренько переменяла разговор.

— Дали бы мне этот сад, — сказала она, глядя вокруг, — я бы прежде всего окружила его высоким забором, а вот здесь велела бы построить великолепную «шахскую» беседку...

Но Саиди попробовал продолжить:

— Какую бы великолепную беседку ты ни выстроила, все равно сама сидела бы у порога и наливала чай возлежащему на почетном месте своему повелителю?

— Ну, и что ж, если бы он того стоял...

«Ого!» — подумал Саиди, а вслух произнес:

— А вдруг он захочет тебя посадить на почетное место?

— Ничего хорошего не будет!

— Ну, а если все-таки?

— А ты бы так сделал?

Саиди молчал, но весь вид его говорил: «да!»

— Но ведь я за тебя не выйду!

Саиди словно упал с высоты головой вниз — искры посыпались у него из глаз, но он не показал и виду, даже улыбнулся, глядя Мунисхон в лицо. Наступило неловкое молчание. Ветер налетел, перелистал открытую книгу — красная роза упала на землю.

## Х

На летние каникулы Мунисхон уехала с братом в Крым, и Саиди остался в городе один. Некуда было пойти, не с кем поговорить, и он целыми днями сидел у себя в комнате, читал и сам немного пописывал. Уже несколько стихотворений и рассказов он отправил в редакцию журнала.

Этот журнал делил своих авторов и их произведения на три категории: талантливые писатели, молодые дарования, которых надо воспитывать и поддерживать, и просто начинающие литераторы.

Саиди не числился даже в последней группе, его имя всегда упоминалось на последней странице с пометкой: «Не будет напечатано». Он был не единственным, в этой рубрике было человек двадцать, — и Саиди не терял надежды.

Чтобы дорасти до тех, кого воспитывают и поддерживают, он перечитал множество книг. За несколько месяцев он стал обладателем целой библиотеки из более чем двухсот томов. Многие он уже прочитал и пользовался каждой свободной минутой, чтобы прочесть и остальные. Но, видя постоянно свою фамилию, украшенную отметкой «не будет напечатано», он стал уже сомневаться, правильно ли поступил, избрав дорогу литератора. Ему пришло в голову, что его не печатают потому, что не хотят платить ему гонорар, и в следующий раз он сопроводил свои произведения надписью: «без гонорара». Но и это ничего не изменило — ответ был все так же беспощаден.

Однако желание попасть в ряды достойных воспитания очень скоро поставило его в весьма затруднительное положение. Все лето он нигде не работал. У него кончились деньги, он отнес на базар все, что мог, начиная со своей одежды и кончая пуховой подушкой, оставшейся от Эхсана. В университете он должен был получить стипендию за три месяца, но боялся показаться там, потому что, оставшись на лето в городе, он не заглядывал в комсомольскую ячейку и не бывал на собраниях. Он даже не мог сказать, что недавно приехал, ведь тогда в ячейке потребуют справку, где и как он работал. Настало время, когда ему пришлось довольствоваться одним черным хлебом. Он сильно похудел и не мог работать больше трех-четырёх часов в день. А если приходилось работать вечерами, всю ночь потом ему снились дурные сны.

Однажды он получил письмо от Мунишон. «Ты как-то говорил мне, что испытываешь большое наслаждение, если читаешь художественное произведение вместе с любимым человеком. Я вспомнила это, любясь прекрасной природой Крыма...» — писала она.

Это письмо еще больше укрепило в нем желание писать. И прежде всего это мучительное желание вылилось в ответном письме. На почте, куда он зашел отправить свое послание, он столкнулся с Ульфатом.

— А-а, ученый юноша... приятный юноша, здоровы ли вы? — Ульфат заговорил с ним, как с мальчиком, лет на двадцать моложе себя.

Пока Саиди сдавал письмо, Ульфат стоял рядом и без умолку болтал. Выйдя на улицу, они еще долго простояли у подъезда. Ульфат рассказывал о том, как работает, куда и с какими поэтами ездил, насколько близок с ними («Покритиковать любого из них для меня ничего не стоит») и, наконец, о своих литературных замыслах, о стихах, кото-



рые задумал написать. Саиди устал стоять на одном месте и, видя, что Ульфат не собирается кончать разговор, пригласил его к себе. А Ульфат, видно, только и ждал этого приглашения.

Саиди с беспокойством думал: чем же он будет угощать гостя? В доме ничего нет, кроме черного хлеба. А денег в обрез. Если он и потратит те крохи, что у него есть, на покупку еды, вряд ли сможет по достоинству принять Ульфата — тот так важно держится. Но Ульфат не позволил ему даже вскипятить чай. Он занялся книгами, и Саиди очень удивился, услышав, что гость не умел даже правильно прочесть их заглавия.

— Вы, конечно, прочли все эти книги? — запинаясь, спросил Саиди.

— Времени нет. Не только книги, даже газеты — да что там газеты — даже свои собственные напечатанные произведения некогда просмотреть...

Саиди постеснялся спросить: «Но как же тогда ты стал поэтом, как же ты пишешь?»

— Оказывается, у вас хорошая комната, Саиди, уютная. Пожалуй, не хватает этажерки для книг и приличного стола со стульями. Если их добавить, здесь будет хорошо работать. У меня есть этажерка — могу вам дать.

«Лучше бы было предложить мне что-нибудь из еды, балда!» — подумал Саиди и засмеялся.

— Госиздат мне должен двести семьдесят один рубль, — вдруг сказал Ульфат. — Обещали выдать в среду. Завтра что — среда? Завтра должен их получить во что бы то ни стало. Но беда в том, что я живу у одной скандальной старухи, она меня очень притесняет. Я должен ей тридцать рублей. Говорю ей: возьми пока восемнадцать рублей, а в среду отдам тебе остальные. А она не соглашается. И ведь, как говорится, если нет денег у тебя самого, нет и во всем мире... Я просил у редактора, у него тоже не оказалось, только в неловкое положение его поставил. Просить у первого встречного — неудобно. А домой идти не могу — боюсь встретиться с проклятой старухой.

— У меня есть немного денег, — сказал Саиди, роясь в карманах.

— Нет, что вы? Не надо...

— Но почему же? Вот у меня тринадцать рублей. Мне пока достаточно двух. Вот возьмите...

Ульфат положил в свой пустой карман одиннадцать рублей — последние деньги Саиди и, пообещав вернуть долг в среду в час дня, ушел.

Свои два рубля Саиди растянул на пять дней, шестой

день проспал — голодный. Среда Ульфата еще не наступила. На седьмой день Саиди хотел было пойти к нему сам, но не решился: неловко было требовать свои жалкие одиннадцать рублей, хотя для него это была крупная сумма, но что она значила для солидного известного поэта Ульфата? Полдня Саиди валялся на кровати, придумывая, где бы раздобыть денег, но так ничего и не придумал.

Наконец он встал и отправился к Ульфату и всю дорогу, пока шел до редакции журнала, где тот работал, мечтал, что хорошо бы найти на улице деньги и избавиться от этого унижительного посещения.

Ульфат, увидев Саиди, тотчас зашебетал:

— Ах, какая досада... какая досада... Я непростительно виноват... доставил вам столько хлопот. Право, мне так стыдно. Вчера я уже совсем собрался к вам идти, но несчастный Ильхам задержал меня с одним срочным делом. А потом было уже поздно... Вот так... Я уже велел освободить этажерку для вас... Ах, ах, что вы могли обо мне подумать... И все же вам придется еще немного подождать... А пока познакомьтесь с нашей редакцией.

Он повел Саиди в свою редакционную комнату. Саиди смутился и на все его слова отвечал: «Ладно уж, я ведь просто так зашел — не специально за деньгами...»

— Этого проклятого Ильхама я послал в одно место за деньгами, а он пропал, — сказал Ульфат, садясь за свой стол. — Напился, наверное, и застрял где-нибудь... А я, надеясь на него, отдал займы все свои деньги... Я даже еще не обедал. Ну ничего, если он и не появится, все равно что-нибудь придумаем. Только вам придется подождать. Такая досада... У меня вечером свидание с девушкой — я недавно с ней познакомился, ей только четырнадцать лет. Последнее время я что-то равнодушен к девочкам. Они даже от поцелуя плачут... А вы как на них смотрите?.. Да, нехорошо получится, если не прийти на свидание... Но, если вы свободны, можно было бы пойти в парк?

Ульфат поискал что-то в ящике стола, не нашел и поднял руки с таким видом, как будто отыскал удачный выход.

— Мы вот как сделаем: вечером я приду к вам, мы пообедаем и пойдем туда, куда обещала прийти моя девушка. Она, конечно, будет не одна. И вам найдется пара. Что вы скажете? Соглашайтесь, соглашайтесь, я вас уговорю! Вы, оказывается, дружны с Мунисхон?..

Саиди попрощался и ушел ни с чем. По дороге он увидел у дверей городской библиотеки Шафрина, но так как

ему не хотелось здраваться с ним, он перешел на другую сторону. Шафрин заметил его, окликнул и быстро догнал. Саиди показался ему совсем изможденным, больным. Войдя в его комнату, Шафрин вскоре понял и причину болезни. Он вышел и быстро вернулся нагруженный покупками.

— Вставайте, Рахимджан! — позвал он, заварив чай и разложив еду на столе. — Выпейте чаю и поешьте, а то вы совсем обессилели.

Саиди, действительно, чувствовал такую слабость, что даже есть не мог, выпил сначала пиалу чая и только потом взял кусок хлеба.

Шафрин пробыл у Саиди до вечера и выпытал, что в университете лежит его стипендия за четыре месяца; прибрал в комнате, зажег лампу и тихонько ушел. Саиди, насытившись за несколько дней, отяжелел и лег. На подоконнике, у изголовья, он увидел книгу, достал ее, раскрыл — и на грудь ему упала трехрублевая бумажка. Он взял деньги, долго их рассматривал. «Странно... когда же я заложил их в книгу?» — подумал он — и так и не вспомнил. Стал перелистывать книгу — и нашел еще одну трехрублевку. «Шафрин!» — закричал он, и ему стало стыдно, он покраснел и, вспомнив, как до сегодняшнего дня держался с Шафриным, закрыл лицо руками.

Конечно, солидный известный поэт Ульфат не явился и вечером. А через четыре дня опять пришел Шафрин. Саиди уже ожил за эти дни. Но ему стыдно было смотреть в лицо Шафрину, и всем своим видом он, казалось, просил о прощении. Шафрин притворялся, что ничего не понимает, он отсчитал Саиди сто двадцать рублей и поднялся.

— Это ваша стипендия, — сказал он, кладя руку на плечо Саиди, — вчера я был у вас на факультете...

И земля не разверзлась, чтобы Саиди мог провалиться.

Шафрин ушел.

Через три недели в очередном номере журнала Саиди прочел новое стихотворение Ульфата. Оно было написано в Ялте. Саиди понял, что его одиннадцать рублей пропали безвозвратно.

Итак, Саиди все лето бился, но так и не попал в круг достойных воспитания и поддержки. Этот круг охраняли такие богатыри слова, как Ульфат, Аббасхан, Ильхам. Они оцепили его железной цепью, и чтобы войти, надо было разбить одно из звеньев этой цепи. На это у Саиди не бы-

до силы. Оставалось искать способ, чтобы хитростью разомкнуть цепь и проскользнуть в обетованный мир.

## XI

Салимхан скорее готов был поверить, что есть какая-то связь между ящерицей и катастрофой на шахте, колониальной политикой Британии и белыми коровами Индии, между земным магнетизмом и северным сиянием, даже между зубной болью и слепотой, но никак не мог понять, что может быть общего между его благородной сестрой Мунисхон и простым студентом Саиди.

Хотя он и допускал, что отношения между сестрой и каким-то безвестным студентом далеки от любовных или, как он говорил, — безнравственности, но посчитал, что лучше увидеть все своими глазами. Он тщательно скрывал от Мунисхон свои подозрения, подчеркивая, что Рахимджан еще мальчик и не стоит придавать значения его посещениям. Однажды он пришел домой, когда Мунисхон и Саиди готовились к занятиям. Салимхан на цыпочках подошел к окну и поднялся на супу шагах в десяти от дома. Свет из окна не достигал супы, поэтому он спокойно мог наблюдать за сестрой и Саиди. Мунисхон сидела прямо против окна, а Саиди — у стены, оба о чем-то говорили. Мунисхон смеялась. Вот Саиди взял в руки книгу, но Мунисхон, смеясь, отобрала ее у него и отложила в сторону. Салимхан бесшумно спустился с супы, беззвучно открыл входную дверь и долго стоял в коридоре, прислушиваясь. Оказывается, они спорили по какому-то вопросу из учебника. Он ушел, через час опять пришел послушать, но так как ничего интересного не услышал, то, уже не таясь, открыл входную дверь и, постучав к ним, попросил разрешения войти. Мунисхон отозвалась. Салимхан вошел. Саиди сидел спиной к двери. Когда Мунисхон встала навстречу брату, Саиди тоже хотел встать. Но Салимхан быстро подошел к нему, удержал его на месте и приветливо с ним поздоровался, протянув ему руку.

— Я так давно хотел вас увидеть, Рахимджан, — сказал Салимхан, дуя на расческу, которой только что причесал волосы, — но никак не удавалось до сих пор. В обычные дни — я на работе, а в пятницу, в выходной день, вы у нас не бываете... Ну, как ваши занятия? Довольны вы?

— Ничего... все идет хорошо, — отвечал Саиди, разглядывая свои пальцы.

Салимхан старался расшевелить Саиди, дать ему понять, что он не чужой, что он может чувствовать себя с хозяином на равных, спрашивал об университете, о жизни

студентов, о том, какой путь собирается избрать Саиди в жизни. Салимхан держался так просто, что невольно исчезла разделявшая их отчужденность. Правда, Саиди, хоть и был очарован обращением Салимхана, все же помнил, что он — Саиди — простой студент, обыкновенный парень, неудачно пытающийся приобщиться к литературному творчеству, а Салимхан — крупный специалист, работник просвещения, которого уважают не только учителя города, но и руководители из центра.

Салимхана интересовало все: где Саиди учился в начальной и средней школе, кто были его учителя. Как часто бывает, когда двое из одного кишлака, разговорившись, неожиданно выясняют, что они чуть ли не родственники, так и Саиди, углубляясь в воспоминания школьных лет, становился ближе Салимхану. Мунисхон, до сих пор скрывавшая от брата, что показывала Саиди фотографию Исхака-эффенди, теперь увидела, что нет нужды больше таиться, почувствовала, что у нее груз свалился с души, и поспешила вставить:

— Оказывается, Рахимджан знал Исхака-эффенди... Вы помните его, брат?

Салимхан прикинулся непонимающим:

— Кто это? Исхак? Да, да, Исхак-эффенди! Я слышал, что этот человек ушел к басмачам... Дурак!

Саиди оживился и рассказал все, что слышал о его смерти.

Мунисхон, пока Саиди говорил, тихо перебирала клавиши рояля, а когда он закончил, заиграла громче — сначала то, что попросил брат, а потом то, что хотел услышать Саиди.

Когда Саиди собрался уходить, Салимхан сказал ему:

— Теперь это — ваш дом, как говорят люди хорошо знакомые, близкие... Мы с вами с первой же встречи подружились... Мунис рада вам. Науки, которые вы изучаете, мне незнакомы, — я ведь не получил никакого образования, кроме медресе. Поэтому я не могу помочь сестре, вы уж ей помогайте. И дружеская просьба к вам... По пятницам вы, вероятно, свободны, как и я... В эти дни оставляйте все свои дела и приходите к нам, посидим-потолкуем. Должен же человек хоть один раз в неделю отдыхать. Если захотите — и друзей своих приводите.

Саиди, поклонившись, удалился. Салимхан проводил его до улицы и вернулся довольный. Некоторое время он стоял посреди комнаты в раздумье, потом сел на диван. Мунисхон, убирая книги со стола, поинтересовалась, будет ли он пить чай, но брат вместо ответа спросил:

— По какому поводу возник у вас разговор об Исхак-эффенди?

У Муниسخон сжалось сердце от этого неожиданного вопроса, она повернулась к брату. Салимхан улыбался. Но его улыбка напугала Муниسخон.

— Пусть меня бог накажет, если я... Он сам первый заговорил... — сказала она, не понимая смысла улыбки.

Салимхан расхохотался.

— Я тебя и не виню... не виню...

— Тогда почему же вы так смотрите на меня? Он сам мне сказал. Оказывается, Исхак-эффенди хотел увезти Саиди за границу. Я сказала, что этого человека... не любил мой брат... что когда-то он приходил к нам...

В эту ночь Салимхан не мог спать спокойно — как будто его поезд уходил на рассвете, и он боялся опоздать. Ночь оказалась ему очень длинной.

## XII

С тех пор Салимхан стал так часто спрашивать о Саиди, что Муниسخон даже заподозрила неладное. Каждый раз, когда приходилось к слову, Салимхан говорил, что Саиди — парень неглупый, что он на голову выше остальных студентов. Муниسخон все это передавала Саиди.

В дни, когда должен был прийти Саиди, Салимхан старался быть дома и усиленно приглашал его приходить в пятницу. Саиди отговаривался под разными предлогами. В конце концов ему стало неудобно отказывать такому важному человеку, он пообещал прийти в пятницу, а придя, сам не заметил, как засиделся до одиннадцати вечера.

Муниسخон не было дома. Неудобно было спрашивать, где она, но во всяком случае на этот раз не она одна была причиной его задержки. Получилось так, что между ним и Салимханом возникла своя особая связь. Сначала это была не то чтобы связь, а так, паутинка, слабая и незаметная, и Саиди даже не сразу мог ощутить ее и заметил ее только дома, уже лежа в постели. Очевидно, дело в том, что Салимхан, несмотря на его положение и авторитет, был совсем не спесив, общителен и, как человек с чистой душой, доброжелателен; если кто-то попадает в трудное положение, он готов протянуть руку помощи; он ценит культуру, знает людей и способен оценить в человеке ум и дарование. Вот это последнее и связало их больше всего.

Словом, Саиди, следуя настойчивым приглашениям Салимхана, стал приходить сначала изредка, а потом каж-

дую пятницу, иногда даже и в четверг. И всякий раз Салимхан оказывал ему максимум внимания. Саиди и в самом деле отдыхал здесь после недельной работы. А когда приходил в четверг, то зачастую оставался ночевать.

О чем только они ни говорили! О строительстве Панамского канала, о причинах и последствиях русско-японской войны, о гибели парохода «Императрица», об открытии английским ученым Рамзеем превращения подземных запасов угля в газ и его эксплуатации, о странствиях лорда Байрона, о колониальной политике Англии, о произведениях Абдуллы Тукая, о человеческом разуме, об исламе, о вражде между турками и армянами, о национальной политике компартии, о завоевании Туркестана и тому подобное...

В одну из пятниц разговор зашел о смерти Толстого, и Салимхан прочел наизусть стихотворение в прозе Абдуллы Тукая, написанное на смерть великого писателя.

Когда умер Толстой, Салимхан только приехал в Уфу в медресе. Отец послал его учиться по настоянию своего друга, знаменитого бая и прогрессивного деятеля Хусаинова. Хусаинов привез Салимхана в Казань, а потом вместе со своим младшим зятем отправил в Уфу. Зять Хусаинова был энергичным способным парнем, на все руки мастером. Несколько лет они жили в медресе в одной келье. Этот юноша был занят такими проблемами, которые казались удивительными Салимхану, много читал, писал статьи. Постепенно Салимхан вошел в круг его интересов и даже спорил с ним подчас. Этот человек жаждал различных реформ в религии, в школе, мечтал о свержении царизма и, предпочитая говорить по-турецки, с пафосом восклицал: «Почему мусульмане в России лишены свободы выражать свои мысли и идеи, когда все в мире пользуются этой свободой?» А в представлении Салимхана, хотя царское правительство и было плохим, зато в России были фабрики и заводы, каких не было в Туркестане. Но потом, побывав на родине, он согласился с молодым своим товарищем, понял справедливость его требований и стал тоже желать, чтобы такие мысли распространялись среди мусульман Востока; в последние годы он верно почувствовал, куда клонят такие газеты, как «Вакт», «Тарджиман» и другие, и сам засучил рукава, изо всех сил стараясь повернуть национальное движение под знамя этих идей. Что касается молодой интеллигенции Туркестана, то она, конечно, нуждалась в кадрах, обученных столь опытным учителем.

— Давайте сегодня не затрагивать мировых вопросов. Проведем время так, как проводят его все на отдыхе! — сказал Салимхан в одну из пятниц, указывая на две бутылки коньяка, стоявшие на столе.

— Смогу ли я оценить это? Ведь мне еще никогда не приходилось пить коньяк, — смутился Саиди.

На улице валил снег, ветер, все время шумевший, как мощный водопад, вдруг начинал беситься, выл в проводах и бился в окно.

Мунисхон принесла блюдо с шипящим кебабом, присела к столу сама, выпила только рюмку вина. Но и эта единственная рюмка так подействовала на нее, что она покраснела, глаза у нее заблестели. Слушая болтовню Салимхана, Саиди краешком глаза время от времени смотрел на Мунисхон. Ей было неловко, что она опьянела; взгляд Саиди смущал ее еще больше, и она, опустив глаза, кусала губы с досады.

Каждая рюмка коньяку непонятным образом оборачивалась у Саиди целым потоком слов. По мере того, как опорожнялась бутылка, Саиди чувствовал себя все ближе к Салимхану. Стены этого дома охраняли его не только от бешеного ветра и снежного бурана, но и от всех житейских забот и невзгод. Здесь не достанет его рука комсомольской ячейки! Здесь уже не нужно было сдерживать постоянное раздражение, таившееся в его сердце; он чувствовал себя, как цыпленок, убежавший от сарыча и спрятавшийся под материнским крылом. Когда опустела первая бутылка, он даже вообразил, что может позволить себе поцеловать Мунисхон, ему казалось, что Салимхан не возражал бы против этого.

А Салимхан, откупоривая вторую бутылку, сделал вывод:

— Как часто мы не замечаем одаренности человека, и способности его гибнут, не получив развития...

Саиди не хотелось при Мунисхон рассказывать о своих неудачах, говорить, что он и есть тот человек, которому суждено погибнуть без внимания, но он горячо поддержал Салимхана.

Потом Мунисхон играла на рояле. Саиди, сидя в кресле, покачивался в такт музыке. Когда Мунисхон, закончив мелодию, хотела встать, Саиди подошел к ней, взял ее за плечи, вновь усадил и попросил, чтобы она еще играла. Она стала играть, а Салимхан, покачиваясь в кресле-качалке, подпевал ей, фальшивя, и это страшно раздражало Саиди.



Саиди еще помнил, как стало темно и зажгли свет. Кто-то пришел. Он слышал смех незнакомой женщины. Потом все спуталось в его голове.

Он не знает, как очутился в своей комнате. Проснулся утром от сильной жажды, не нашел воды, хотел открыть окно, чтобы взять горсть снега, но окно было так занесено, что не открылось. Он собрался уже выйти, когда заметил на столе клочок бумаги и три пятирублевки. Прочел записку:

«Дорогой Рахимджан!

Вы вчера так опьянели, что не согласились остаться у нас. Этот негодный Ильхам принес вино, которое оказалось лишним. Но ничего страшного не случилось. Не беспокойтесь, вы ничего не натворили неприличного. Лучше не ходите сегодня на занятия. Оставляю вам немного денег — на всякий случай. О них тоже не думайте. Будьте спокойны. С уважением к вам

С. 3-го февраля».

Саиди готов был рвать на себе волосы. «Неужели я проговорился там, что у меня нет денег? Ой-ой, что же я еще там натворил? Пришел Ильхам. Потом ушел. Я плакал — отчего? Целовал руки! Мунисхон... плакал... Она смеялась... А где был Салимхан?..»

Все это казалось сном. Но сейчас он не мог думать об этом. Записка Салимхана вовсе не успокоила его. Завтра Мунисхон расскажет, что там было, — расскажет с обидой или со смехом.

### XIII

Однажды, когда Саиди, вернувшись с лекций, открывал дверь в свою комнату, к его ногам упал длинный, очень тонкий конверт с неясным штампом какого-то учреждения. Еще живя у зятя, Саиди был достаточно напуган такими конвертами. В них приходили извещения финансового отдела, судебные повестки. Поэтому и сейчас первым чувством Саиди был испуг. Не разобрав штампа на конверте, он нетерпеливо разорвал его. В верхнем углу листа стоял штамп журнала, куда Саиди отправлял свои произведения, ниже было написано: «Товарищ Саиди!» Саиди читал это письмо так, словно это был приговор о жизни или смерти.

«Товарищ Саиди! По недосмотру работников редакции ваше стихотворение «Долина» и рассказ «Каландар»

оказались в числе отклоненных материалов, но сейчас, хотя и с опозданием, мы их поставили в очередь для публикации. Просим вас зайти в редакцию.

С товарищеским приветом. Кенджа».

Саиди весь дрожал, сам не понимая, отчего эта дрожь — от страха ли или от неожиданной радости. Он перечитал письмо несколько раз, немного успокоился, огляделся. Ему показалось, что вся его комната изменилась, все улыбалось ему. Он вздохнул с облегчением, как будто взял наконец какую-то трудную и опасную высоту, и сказал себе: «Мир прекрасен. Жизнь хороша. Труд не бывает бесплодным».

Он запер дверь, постоял, прислонясь к печке, потом снял пальто, бросил его на кровать, вытащил из-под кровати пачку журналов и, присев на корточки, стал перелистывать их, наслаждаясь запахом литографской краски. Письмо из редакции он все еще держал в руке. Весь остаток дня Саиди пробыл дома, позабыв даже о еде. Он старательно занялся уборкой комнаты, перебрал все книги, покрыл стол белой бумагой и на краешек его небрежно положил письмо, как будто это была записка, не имеющая большого значения. Потом долго перелистывал тетрадь, куда переписывал свои стихи и рассказы. Попытался что-то писать, но не мог. А читать что-то чужое ему не хотелось.

Утром Саиди охватили сомнения: хоть в письме и говорилось ясно о том, что его стихи и рассказ поставлены на очередь, но он не мог поверить в это окончательно. Все еще считал писательский труд непостижимой для себя тайной и не вполне верил обещанию редакции. Он не знал, кто такой Кенджа, что он за человек? Может быть, он нарочно написал такое письмо, а когда Саиди придет, накричит на него, опозорит перед всеми. Стоит ли идти в редакцию?

Но все-таки Саиди решил пойти, хотя у него так билось сердце, что он не мог даже поесть — ничего не мог проглотить, будто ему перехватило горло.

По дороге в редакцию Саиди уговаривал себя: «Будь готов ко всему! Жил бы ты спокойно, писал понемногу, когда-нибудь и вышел бы в люди. Сейчас вот ты идешь, а каково будет возвращаться...»

Самое трудное было перешагнуть порог мрачного, будто насупившегося здания, в котором находилась редакция журнала. В коридоре он уже держался смелее и даже спросил у какого-то очень величественного человека, вы-

шедшего из одной из дверей, где можно найти Кенджу. В комнате, куда он вошел, справа от входа сидел какой-то парень, а в глубине был стол, который, очевидно, принадлежал более высокопоставленному человеку, на нем лежало много бумаг, но за столом никого не было. Саиди прошел к солидному столу и стал дожидаться его хозяина. Он узнал парня, сидевшего за другим столом: это был тот самый поэт, которого так бранили тогда на собрании молодых писателей.

Наконец вошел маленький круглый человек с болезненно опухшим лицом, даже не взглянув на Саиди, сел за свой стол и стал перебирать бумаги. Саиди подождал, потом спросил тихо:

— Вы — товарищ Кенджа?

Человек, опять не поднимая глаз, кивнул в другую сторону.

— Вон товарищ Кенджа!

Саиди повернулся и пошел к Кендже. Кенджа отодвинул бумаги, посмотрел на Саиди, протянул руку, поздоровался.

— Вы Рахимджан Саиди? Присаживайтесь.

Саиди сел. Кенджа вынул из ящика стола рукопись.

— Это ваши первые опыты или вы и раньше писали?

— Иногда пишу, так, для себя... Кое-что посылал вам...

— Оба ваших произведения можно напечатать, но в обоих, особенно в стихотворении, по-моему, есть некоторые недостатки. Я вам сейчас их укажу, и мы — хотите сейчас, хотите позже — их обсудим. Если мои замечания вы найдете справедливыми, мы с вами исправим стихи своими силами или с помощью товарищей.

Многое на свете способно принести человеку радость. Но ничто не может сравниться с приветливостью человека, от которого ожидал грубости. Хотя Саиди знал, что Кенджа не принадлежит к числу «избранных», выдающихся поэтов, все равно он ждал от него язвительной оценки, ядовитых слов.

— Я так рад, что вы считаете мои вещи достойными обсуждения... Спасибо вам за помощь, которую вы обещаете...

Саиди согласился со всеми замечаниями и советами Кенджи по поводу стихотворения, но неожиданно для него самого возникла мысль: «Кажется, это один из тех, что только с виду приветлив и любезен. Начал с того, что обе вещи годятся для печати. А потом очень мягко свел мои стихи на нет. Теперь и рассказ мне вернет».

— Рассказ ваш хорош, но не закончен, — сказал Кенджа.

«Ну, вот, так и есть», — подумал про себя Саиди. Он что-то хотел возразить, но Кенджа продолжал:

— Вы хорошо показали тяжелую жизнь узбекской девушки, но этого, по-моему, мало. Мы, современные литераторы, должны не только показывать болото, слякоть жизни, но и подсказывать выход из него. Я попытался добавить к вашему рассказу конец. Я вам прочту: если вы согласны, оставим так, если возражаете — напечатаем в первоначальном виде.

Глаза Саиди, уже полные отчаяния и безнадежности, широко раскрылись. Он прочел добавленную Кенджой главу. Она не только оживила рассказ — она влила жизнь в самого Саиди.

— Знаете, Кенджа-ака, — сказал Саиди, — вы, наверное, не можете себе представить, как я буду рад, когда будет напечатан мой рассказ. Но сейчас я радуюсь еще больше. То, что вы затратили столько времени и труда, чтобы исправить мой рассказ, для меня свидетельство того, что я, значит, могу писать, стою того, чтобы мне советовали и помогали, значит, люди, прочтя мой рассказ, не засмеются, не скажут: «Бедняга, ничего у него не выходит».

Кенджа засмеялся.

— Значит, вы согласны, чтобы эта глава была добавлена к рассказу.

— Ничего не могу возразить. Я очень-очень вам благодарен.

Кенджа положил рукопись в ящик. Саиди собрался уходить, но Кенджа его удержал.

— В вашем стихотворении есть удачные строчки, используйте их, когда будете писать другие стихи. Будьте взыскательны в выборе темы, не следуйте слепо за другими поэтами. Вот одна молодая поэтесса, словно соскучившись по ханским временам, написала стихи с тоской о прошлом. Она забыла, что во время ханов женщины были рабами мужчины. Так почему же она тоскует о прошлом? А я знаю, что она вовсе не тоскует о ханах и об их временах — просто она написала стихи, подражая старинным поэтам... Вы, наверное, знаете, что недавно на пленуме ЦК Коммунистической партии Узбекистана обсуждался вопрос о подготовке к проведению земельной реформы. Земельная реформа — это небывалая радость для бедняков и батраков. Вот вам самая актуальная сейчас тема!

Саиди был словно пьяный, все казалось ему сейчас возможным, достижимым. Если этот приветливый, любезный человек, который так хорошо относится к людям, у которого нет зла на сердце, говорит, что тема земельной реформы нужна, — почему бы ему, в самом деле, не написать рассказ о земельной реформе? Если рассказ будет слаб, ему помогут. Саиди пообещал написать рассказ на нужную тему и, поднявшись, чтобы уйти, опять стал благодарить Кенджу.

— Спасибо, что потратили на меня драгоценное время, оказали мне товарищескую помощь. Если бы я знал вас раньше, я бы сам приносил вам стихи а не посылал их по почте.

— А вы и раньше посылали стихи?

— Да, но они не были опубликованы. Но дело не в том... Если бы я сам их вам принес, вы бы указали недостатки, посоветовали бы мне...

— Так вы посылали нам стихи? Они к нам не поступали, — сказал Кенджа и посмотрел на хмурого человека сидевшего за другим столом. — Якубджан, к вам поступали стихи Рахимджана Саиди?

Якубджан проворчал почему-то со злостью:

— Не знаю, не видел.

— Может быть и так, товарищ Саиди: вы посылали, но они могли к нам не попасть.

— Но как же... в журнале появлялись ответы... Всегда отвечали... — сказал смущенно Саиди.

— Где, когда, в каких номерах? — спросил Кенджа и выложил перед ним номера журналов.

Саиди не хотелось вспоминать о том, что было, но Кенджа просмотрел журналы сам, нашел в нескольких номерах подряд имя Саиди, украшенное отметкой «не будет опубликовано», — сначала удивился, потом побледнел, покраснел.

— Якубджан, как это получилось, что я не видел этого?

Якубджан сделал вид, что очень занят, и не отвечал.

— Якубджан!!

Саиди испугался, увидев по лицу Кенджи, что может начаться скандал. Когда Кенджа повторил свой вопрос, Якубджан ответил со злой усмешкой:

— Откуда мне знать, что вы видели, чего не видели? Вы еще спросите меня, в какую пивную вы вчера заходили!

Кенджа побледнел.

— Якубджан, я у вас не займы прошу, а спрашиваю вас в редакции о редакционных делах!

Собрав все журналы, Кенджа повел Саиди к редактору и рассказал о том, что произошло. Редактор, спокойный человек, просмотрел журналы, покачал головой.

— Так кто же читал эти вещи?

— В том-то и дело, что, очевидно, никто не читал, а просто отвечали отказом. Мы усиленно поднимаем на страницах журнала вопросы воспитания молодых дарований и сами же лишаем молодого начинающего литератора советов, хотя он посылал нам несколько своих произведений.

Редактор рассердился.

— Почему же вы сами их не видели? Если вы не читали, почему не обратили внимания на все эти отказы? Что это значит, бесконечные отказы: «Не будет опубликовано»? Кто-то должен был вам ответить подробно и по существу. Товарищ Саиди, вы ни разу не получили письменного ответа?

Саиди не решился ответить. За него сказал Кенджа:

— Последние его вещи я нашел в корзине. Он не получил ни одного письменного ответа. А я не обратил внимания на отказы в журнале.

— Ну-ка, позовите Якубджана!

Кенджа вышел и привел Якубджана.

— Якубджан, — сказал редактор, — не кажется ли вам, что вы слишком часто отвечаете в журнале — «не будет опубликовано»? Вы забыли, что должны начинающим авторам отвечать в письменной форме, давать советы?

Якубджан был очень растерян.

— Я посылаю ответы. Но они возвращаются — адреса указывают неверно...

— Вот товарищ пришел сам, если адрес его был указан неверно и письмо вернулось, покажите ему ваше письмо. Хоть оно и устарело, все же из него можно извлечь пользу.

— Мы не храним вернувшиеся письма.

— Если вы не храните вернувшиеся письма, как же вы докажете, что письмо было вами написано и вернулось? Вот этот товарищ имеет к нам претензии. Что же мы ему скажем? Так не годится. На воспитание и советы молодым писателям мы тратим ежемесячно тысячи рублей общественных денег. Что же, значит, мы зря тратим деньги? А за это мы отвечаем перед законом, перед Советской властью. Ну-ка, позовите Ильхама!

Якубджан хотел подняться, но Кенджа опередил его и привел Ильхама.

Саиди тотчас узнал Ильхама, так как дважды встречал его в доме Салимхана. Увидев разгневанного редактора, Ильхам побледнел.

— Товарищ Ильхам, — сказал редактор, — вы осведомлены о том, в каком состоянии у нас работа с начинающими? Это не работа, а бог знает что! Короче, скажем так: послезавтра в одиннадцать часов соберите всех, кто имеет отношение к этому, и всех сотрудников редакции. Проведем небольшое совещание. На днях выходит очередной номер, в нем, наверное, куча этих самых «не будет напечатано», а, Якубджан? Идите в типографию и выкиньте все. И впредь оставьте эту привычку — отвечать в журнале, не читая произведений. Совсем у вас, оказывается, головы опухли!

Якубджан вышел. Следом за ним ушел и Ильхам.

— Так вот и бывает, когда дело делается без сердца, формально, — сказал, словно про себя, редактор. — Преступление, прямо преступление!

Кенджа поднялся, с ним ушел и Саиди. Саиди было очень неловко, что из-за него произошли такие неприятности в редакции, и, прощаясь, он извинился перед Кенджой.

#### XIV

Ожидая Мунисхон, которая должна была, как всегда, прийти к нему заниматься, Саиди положил письмо из редакции на видное место. Но Мунисхон даже не обратила на него внимания, не поинтересовалась, что в нем, равнодушно отложила в сторону, сунула в рот курут<sup>1</sup> и раскрыла книгу. Если бы она хоть слово сказала о письме, он бы ей рассказал все, что произошло в редакции, и это, может быть, хоть немного подняло бы его в глазах девушки над всеми другими студентами факультета. А равнодушные Мунисхон к письму еще больше увеличило дистанцию между ними. Право, она — как горизонт: сколько ни идешь к нему, он все удаляется от тебя.

Но Саиди не унывал — ведь скоро появится в журнале его рассказ, и тогда, авось, он сумеет приблизиться к своему горизонту.

Каждый день, идя в университет, он внимательно оглядывал по дороге все газетные киоски. День начинался с ожидания и был полон напряжения до тех пор, пока он не

<sup>1</sup> Курут — шарики из сушеного творога.

убеждался, что журнал еще не вышел. Тогда все теряло для него интерес, и даже часы, которые он проводил с Мунисхон, казались ему теперь бесконечно долгими.

Но вот однажды, когда он возвращался после лекций, первый же встретившийся киоск мгновенно снял с него всю усталость. В киоске лежала целая стопка нового номера журнала. Саиди тотчас купил два экземпляра и, торопливо просматривая содержание, сразу увидел в середине свою фамилию. Ему показалось, что земля под ногами стала вдруг мягкой, как войлок, голова у него закружилась. Он не помнил, какими улицами добирался домой, как открыл дверь, куда дел книги, которые нес, как остановился перед столом. Он залпом прочел свой рассказ. Глава, добавленная Кенджой, была так удачно вставлена, что незаметно слилась со всем остальным.

Он еще раз прочел рассказ. Теперь ему показалось, что именно те страницы журнала, где напечатан его «Каландар», уже захватаны и истерты, как страницы много раз читанной книги. Он вырвал свой рассказ из второго экземпляра журнала. Но и этот показался ему несвежим. Он вышел и купил еще один экземпляр и спрятал в ящик стола. Но и этот экземпляр казался ему уже потрепанным. Теперь он, сам себе не признаваясь, ждал, что его будут поздравлять. Пугаясь этого, он даже не пошел в столовую обедать. Но на другой день на факультете никто, включая Мунисхон, не сказал ни слова. А он, все еще опьяненный, не замечал этого. Наоборот, стоило кому-нибудь взглянуть на Саиди, как перед его глазами вставали страницы журнала. При виде двух разговаривающих между собой студентов у него екало сердце. Ему казалось, что они обсуждают рассказ «Каландар». Слова, в которых никогда не было буквы «С», слышались ему как Саиди.

Этот первый успех вернул Саиди силы, растроченные за последние два года. На лице его, бледном, как придорожный пыльный цветок, заиграл румянец, глаза заблестели. Он был теперь молодым, полным энергии, и хотя Мунисхон еще не признавала этого, он выделился среди студентов, он был автором «Каландара», будущее казалось ему светлым.

С новыми силами, полный желания и веры в себя, с увлечением стал он писать. Свой новый рассказ он хотел посвятить подсказанной Кенджой теме — земельной реформе. Он стал рыться в газетах в поисках нужного материала и сообщил в журнал, что взялся за эту тему и нуждается в консультациях по этому вопросу. Ответ на



это письмо должен был прийти дня через три, но он напрасно прождал десять дней. А сам, помня, как его приход нарушил покой редакции, не решался идти туда.

В очередном номере журнала не было ни слова о земельной реформе. Тогда Саиди послал в редакцию свой рассказ.

Через несколько дней в одной из центральных газет появился очерк Кенджи, озаглавленный «Впечатления». В очерке говорилось о собраниях, проводимых в кишлаках, о требованиях крестьян-бедняков и батраков ускорить земельную реформу, о вопросах, интересующих их: сколько земли, на каких условиях и на какой срок будет роздано, и о кишлачных активистах, ведущих подготовку к реформе. Очерк был написан Кенджой в Ферганской долине, в кишлаке Ганджиравон.

## XV

Хотя журнал, призванный воспитывать молодых писателей, так долго не хотел признавать Саиди, все же его «Каландар» имел успех. Он даже стал предметом споров среди писателей и критиков. Об этом рассказала Саиди Мунисхон, — правда, не для того, чтобы обрадовать его, а чтобы похвалиться, какие известные люди посещают дом ее брата.

Салимхан, наконец, будто соскучившись по Саиди, пригласил его через Мунисхон. Саиди ждал этого.

Обычно в те дни, когда должен был прийти Саиди, Салимхан был один и, если кто-нибудь стучался в дверь, не отзывался и не впускал никого. Поэтому Саиди вошел, как всегда, без стеснения. Салимхан встретил его во дворе — без пальто, с непокрытой головой и, кажется, слегка навеселе.

— У вас кто-то есть? Гости? — смутился Саиди, отступая.

— Нет... никого чужого... все свои... — отвечал Салимхан и, взяв Саиди под руку, повел в дом. — Так... собрались случайно... Вы ведь знакомы с Аббасханом?..

В комнате было темно от табачного дыма. На столе — нарезанный лук, соленые помидоры, палочки от шашлыка, одна пустая бутылка, другая наполовину опорожненная, из пепельницы на краю стола вился тонкий дымок.

На диване лежал Аббасхан, едва пошевелившийся, когда появился Саиди.

— Аббас, ты знаешь этого юношу? — спросил Салимхан. — Это молодой писатель, автор «Каландара».

Аббасхан улыбнулся и протянул руку Саиди.

— Конечно, знаю. Это же мой ученик. Правда, я дав  
но его не видел.

Саиди был смущен этой встречей. Салимхан усадил его, подвинул к нему тарелку с шашлыком, налил — одну за другой — несколько рюмок. Саиди всякий раз отказывался, но выпивал с легкостью. Аббасхан вспомнил некоторых соучеников Саиди по школе, стал говорить о том, что уже в то время было заметно увлечение Саиди литературой.

— Еще тогда я часто видел стихи этого юноши в стенгазете. Они и тогда были не то, что стихи этого нынешнего кишлачного поэта... Читали вы его «Впечатления» в газете? Каковы впечатления его милости, а?

Саиди понял, что речь идет о Кендже. Ему уже пришлось однажды быть свидетелем разногласий между Кенджой и Аббасханом — на собрании. Еще тогда он понял, что это разногласия между двумя группами, а не просто между двумя людьми. Последние выступления в печати подтвердили догадку Саиди. Но вражда эта в статьях и рецензиях прикрывалась критическими рассуждениями. «Впечатления» Кенджи Аббасхан расценивал как «попытку человека, неспособного создать что-то достойное именоваться произведением искусства, завоевать себе авторитет публикацией якобы актуальных, но далеко не художественных заметок».

Как всегда, когда он был пьян, Аббасхан никому не давал слова сказать, разглагольствовал один. Но его болтовня не казалась скучной Саиди. Аббасхан, как и Салимхан, казался Саиди высоким ценителем культуры, уважающим талант, тонко разбирающимся в произведениях искусства. Он остановился на рассказе Саиди «Каландар», отметил его недостатки, да так едко, что Саиди стало стыдно. А последнюю главу рассказа разобрал так, что Саиди в оправданье пришлось рассказать о том, кто написал эту главу в рассказ.

В это время отворилась дверь в передней и кто-то вошел. Салимхан тотчас встал, вышел в переднюю.

— О, почтенный домла! Заходите, пожалуйста, — заговорил он приветливо, словно пришедшего давно ждали И посторонился, давая дорогу.

Вошел человек лет сорока пяти, среднего роста, толстый, в меховой шубе, обшитой сверху зеленым сукном. Лохматые брови, похожие на усы, падали ему на глаза, лысая голова, на которой сидела маленькая тибетейка,

блестела, как только что начищенный желтый ботинок. Щеки обвисли. Движениями домла напоминал медведя, походкой — утку. Он ни с кем не стал здороваться, на поднявшегося в знак уважения и стоявшего у стены Саиди даже не взглянул. Аббасхан сам подошел к нему и поздоровался. Никто не садился, пока этот человек не опустился осторожно на стул. Салимхан вылил в рюмку остатки коньяка и протянул ему. Домла быстро выпил и ничем не закусил.

— И это все? — спросил он, показывая пустую рюмку.

Его голос был даже грубее, чем можно было ожидать, глядя на его грузное тяжелое тело. Салимхан рассмеялся.

— Целая бутылка ваша, домла! Сейчас и шашлык будет готов.

Аббасхан с домлой заговорили о чем-то, но Саиди ничего не понял, так как в разговоре трудно было отыскать начало и конец.

Когда был подан шашлык и открыта новая бутылка, настроение домлы улучшилось, он снял шубу. А потом долго говорил, после каждого слова повторяя: «Как, вы согласны со мной?» — и при этом смотрел и на Саиди — и Саиди это нравилось.

Домла Мурадходжа не только походкой напоминал утку. Утка, как известно, обладает тремя свойствами: летает по воздуху, ходит по земле, плавает по воде. Вот и домла: в школе был учитель, в кишлаке — землевладелец, а у себя в мехманхане — торговец, хоть и не очень явный. Многие в городе считали его только преподавателем родного языка, знающим словесником. Но молодежь видела в нем человека, который не хотел отречься от своих дореволюционных убеждений. Мурадходжа совсем не старался казаться «красным», как многие его приятели. И те не просто осуждали его, а хотя это могло обидеть, стремились открыто с ним не общаться и даже, когда приходилось к слову, выступали против него на собраниях или в печати. Домла этому не придавал значения. Вот тот же Аббасхан сколько раз бранил его на собраниях. А про Салимхана и говорить нечего. Многие в городе думали, что он и домла просто не выносят друг друга. Пусть думают так.

Домла по утрам любил наслаждаться гулькандом, сладкой смесью гашиша, розовых лепестков и растертого сахара, в полдень — пообедать кабульской шурпой и запить ее вином, настоенным на лепестках розы. И точно так же он любил чистоту родного языка, стараясь придумывать узбекские термины даже для уже вошедших в

язык слов: вместо «самовар» говорил «узикайнар» — самозакипающий, вместо «электричество» — «симчирук», т. е. «свет от проводов» и тому подобное.

Чтобы изучать чистый народный язык, домла время от времени выезжал в кишлак, где у него был давнишний верный друг Ниязмат-хаджи. Как только становилось известным, что домла приезжает, в доме Ниязмата-хаджи готовилось обильное угощение. Собирались его друзья и почитатели. Все желания домлы мгновенно исполнялись. И если он учился у друзей чистому родному языку, то они учились у него, как вести хозяйство, как обращаться с арендаторами и батраками.

Появившись в доме Салимхана, домла был хмур и раздражен, пока не выпил первой рюмки; потом как-то так получилось, что заговорили о разных вещах, и он развлекся. Но когда Аббасхан напомнил о «Впечатлениях» Кенджи, домла пришел в сильнейшее раздражение и стал натягивать на себя только что снятую шубу.

— Этой реформой Советская власть только разрушит узбекские кишлаки! — закричал он так сердито, как будто присутствующие были виноваты в этом. — Я знаю, что произвело впечатление на вашего мельника-поэта, я видел...

— Нельзя сказать, что у нас нет противников земельной реформы даже среди членов партии и среди специалистов, — сказал Аббасхан после долгого молчания, — но на людей, подобных Кендже, не стоит обижаться, ведь он хочет только заявить о себе, стать известным...

Впечатление, которое вынес Саиди из этой беседы, было смутно: искусство — это крепость, завоевать которую не всякий в силах. Не зная секретов его, ступать по пути искусства смертельно опасно. Аббасхан знает эти секреты. Он не такой, как другие, — не завидует чужим талантам. Тонкий ценитель, он редко кому открывает тайны искусства. С помощью чего достигали известности и славы великие поэты, — это тоже можно узнать у него. А Кенджа — не поэт... У него нет таланта. Поэты, появившиеся после него, ушли далеко вперед, он отстал от всех. Кенджа завидует им, старается казаться приветливым с молодыми, удачно входящими в литературу, а сам сбивает их с толку. Прислушиваться к советам Кенджи — значит, сбиваться с правильного пути. Земельная реформа разорит узбекские кишлаки...

Саиди вернулся домой в полночь. Он был растерян, ослаблен и на другой день в университете ходил сам не

свой. Почему-то на сердце было беспокойно, словно он потерял что-то. Так бывает, пока не придут настоящие заботы, не заставят обеспокоиться всерьез.

В эти дни центральные газеты печатали под крупными заголовками сообщения из разных мест о подготовке к проведению земельной реформы, и среди этих сообщений публиковались стихи и очерки молодых писателей.

## XVI

Комсомольская ячейка факультета, где был Саиди, решила направить двадцать комсомольцев в распоряжение райкома для участия в кампании по проведению земельной реформы. Саиди, который уже не верил Кендже и считал своим доброжелателем Аббасхана, возмущался этим и пытался уклониться. Но когда секретарь ячейки дал ему понять, что против уклонившихся будут приняты строгие организационные меры, у Саиди не хватило смелости отказаться, и он был вынужден отправиться в райком.

В райкоме этими делами ведал его старый знакомый Шариф. Саиди, увидев его, почувствовал неловкость, словно он внезапно встретил человека, от которого скрывался. Шариф же поздоровался с ним дружески.

— Ну, товарищ Саиди, — сказал Шариф, — получаете ли вы письма от Эхсана? Кажется, этот бессовестный совсем нас забыл.

— Да, я давно уже не получал писем от него. Хотел сам написать, — оказывается, потерял адрес.

Шариф засмеялся.

— Хорошо еще, что хоть имя его не забыли.

Чтобы переменить разговор, Саиди спросил:

— Вы тоже поедете в кишлак?

— Конечно, поеду. Никакой причины нет, чтобы не ехать.

В этих словах Саиди почудилось, будто Шариф хотел сказать: «Если у тебя есть уважительная причина, я тебя оставлю в городе». Он сказал тихо:

— Если я поеду в кишлак, то останусь на второй год на курсе.

— Почему?

— Я сильно отстал.

— По каким предметам?

— По всем основным.

Шариф уставился на него, услышав эту неприятную весть.

— Не можете справиться даже с помощью успевающих товарищей?

— Я не просил помощи.

Шариф рассердился.

— Разве обязательно надо просить? Разве ячейка сама не знает, кто не успевает? Почему вас направили сюда?

Говоря это, Шариф уже протянул руку к телефонной трубке, видно, хотел разбранить секретаря ячейки.

— Подождите, подождите, — удержал его смущенный Саиди. — У меня другая уважительная причина.

— Ну, так бы и говорили! Об этой причине знают в ячейке?

— Нет, я уже прямо вам скажу.

— А нам бесполезно говорить.

Несмотря на этот официальный тон, Саиди все же решил привести свою лживую отговорку.

— Ладно, я скажу в ячейке, но и вам хочу сказать: я болен, врач мне запретил много ходить.

— Что же это происходит? Перед комсомолом стоит такая большая задача, а наш Рахимджан не может ходить?! Вы правду говорите? А я обрадовался, увидев вас в списке; вы — писатель, и я подумал — было бы хорошо, если бы вы записывали все, что увидите и услышите в кишлаке. Ну, ладно, если так, принесите в ячейку справку от врача о том, что вы больны, и они вас оставят.

И Шариф, встретивший его так дружески, принял официальный вид. Саиди попрощался и ушел, решив, что все-таки придется ему поехать в кишлак.

## XVII

Ясным зимним утром на трех арбах комсомольцы приехали в кишлак.

Под лучами солнца, пробивавшимися сквозь ветви топей, ослепительно блестели снег на крышах, сосульки, свешивающиеся с желобов, льдинки под ногами. Казалось, то был не зимний день, а утро ранней весны, когда только начинается пахота. Как под мягким весенним солнцем оживает природа, так оживились и люди в кишлаке. На улицах движение, шум, разговоры. Женщины, набросив на голову детские халатики, старались загнать домой босоногих, с посиневшими руками ребятшек, грюзили нажаловаться отцам. Но дети не слушались, прыгали по обледеневшей глине. Девочки с малышами на руках выстроились вдоль дувалов, словно ждали, что появится шествие с карнаями.

Когда арбы с комсомольцами повернули к базару, высокий парень в истрепанной одежде, обтирая рукавом заиндевелые усы, бросился бежать за ними. Следом за ним шел другой, тоже в рваной одежде, но постарше первого. Высокий парень ухватился за задок арбы, громко приветствовал приехавших, потом спросил:

— Скажите правду, братцы, вы приехали разъяснять или уже раздавать землю?

В арбе все обернулись к нему.

— А нужна вам земля?

— Я батрак, — сказал парень в лохмотьях, жадно глядя на спрашивающего. — Сила у меня есть. Жены, детей нет. Я подал заявление в союз «Кошчи», чтобы мне дали землю. Но там только и делают, что разъясняют насчет Советской власти... А насчет земли помалкивают, неизвестно, когда земля будет... Говорят — скоро...

Невесть откуда появившийся старик догнал его и, толкнув в бок, сказал, приставив кривой палец ко лбу молодого:

— Если на роду тебе суждено иметь землю, ты ее получишь... — И он посмотрел на приехавших в арбе, словно ища подтверждения.

— А кто это знает: суждено — не суждено? Если у меня на лбу написано, что я батрак, можно стереть и написать: дать ему двадцать танапов земли и все.

Все засмеялись. Парень продолжал:

— Какая здесь земля, если бы вы только знали! Если б эта земля принадлежала тому, кто на ней работает... да если б государство дало еще машины, плуги... Если бы мы тогда из фунта семян не вырастили урожай, что и на десяти верблюдах не вывезешь, можете тогда смеяться над нами! Я давно понял, что у Ахунбабаева голова варит, он знает дело. И раз он говорит, что во главе надо поставить бедняка, это значит, чтобы во главе был человек, у которого голова варит! Или я неверно сказал?

Скрипя и ломая льдинки на дороге, арбы подъехали к красной чайхане у самого входа на базар и остановились. Всякий раз, когда открывалась дверь в чайхану, оттуда вырывались белые клубы пара и поднимались к небу. Какой-то человек повел комсомольцев в чайхану. Народу там полно. Чайханщик совсем замотался: то тут, то там раздавался стук крышкой по чайнику, что значило: чайник пуст, надо его наполнить. Курили чилим. Не задерживаясь в чайхане, комсомольцы прошли в конец ее и вошли в маленькую комнату, где находилась комиссия по проведению земельной реформы.

Комиссия работает с утра до полуночи. Каждый день сюда приходит множество народу. За столом — члены комиссии, активисты из батраков, членов союза «Кошчи». Здесь собирают сведения о земле, о сельскохозяйственных орудиях, о людях.

Высокий парень, увязавшийся за арбой, нагнувшись, что-то сказал председателю комиссии. Председатель кивнул, но продолжал разговор. Перед ним сидел и отвечал на вопросы человек средних лет, с головой, круглой, как дыня, худощавый, но крепкий.

— Зовут меня Ибрагим, отца звали Рахматуллой, деда — не помню, как звали. Лет мне тридцать семь. Земли у меня нет — ни клочка. Дайте хоть целину, я обработаю.

— А сколько земли у вашего хозяина?

— Спросите у него самого, — сказал Ибрагим и, покраснев, оглянулся вокруг. Все молча ждали его ответа. Он продолжал неохотно: — Два года, как я не получал никакой платы за работу. Сам не брал. Хотел встать на четыре ноги — жениться...

Председатель рассмеялся.

— Хозяин обещал вас женить?

— Да, конечно, хозяин.

— Ну, ладно, скажите же, сколько у него земли?

— Ну, в одном месте двести семь тапанов, в Курганче — сто семьдесят тапанов. И все.

— Сколько же из них он обрабатывает своими силами?

— Они кетменем не работают. Не могут. А детей у них нет.

— Как зовут вашего хозяина?

— Ниязат-хаджи, сын Дусмата, разве вы не знаете?

— А что у него есть, кроме земли?

После того, как Ибрагим все рассказал, председатель обмакнул перо в чернильницу и предложил Ибрагиму подписаться под анкетой. Но он не взял ручку, посмотрел на свои пальцы, выбрал тот, на котором было меньше трещин, засмеялся.

— Ладно уж, мулла-ака, приложу только свою печать. И отцы и деды наши пользовались такой печатью. Мы люди неграмотные. Не то, чтобы расписаться, мы и молиться-то не умеем.

Председатель намазал ему палец чернилами, он приложил палец к бумаге и встал. На его место сел другой человек, и опрос продолжался.

Саиди сидел в углу и отчужденно смотрел на всех, точно баран, только что приведенный на базар.



Через два часа приехавшие из города комсомольцы были распределены кто куда. Саиди и еще один комсомолец были оставлены в распоряжении комиссии. Напарник его до самого вечера работал здесь, а Саиди только краснел и томился, потому что чувствовал себя как человек, которому никогда в жизни не приходилось танцевать, а его поставили в круг, и вот он не знает, что делать. К тому же ему, как комсомольцу, приехавшему помочь в проведении земельной реформы, все время задавали разные вопросы, он не знал, что отвечать, и был окончательно сбит с толку.

Среди многочисленных чайрикеров и батраков больше других привлек внимание Саиди Юлчибай, тот парень, который сказал, что заставит стереть написанную ему на роду судьбу батрака и запишет себе двадцать танапов земли. Юлчибай — веселый, открытый, довольно ловкий парень, речь его восхищала Саиди. Юлчибай по вечерам приходил в общежитие и говорил с ним подолгу. Но о чем бы ни начинался разговор, он обязательно сводил его к реформе и засыпал Саиди вопросами, на которые тот не мог ответить.

— Ну, хорошо, — сказал Юлчибаю Саиди в одну из бесед, — вот вы получили землю, стерли со лба батрацкую долю, а вдруг все повернется по-другому, что же тогда?

— Вы хотите сказать: если вернется белый царь?

— Нет, белого царя уже нет в живых... Я говорю о другом: вдруг будет война...

— Ну, что ж... Наше правительство не любит богачей, велит, чтобы каждый сам работал. И, конечно, с правительством, которое не любит богачей, будет воевать правительство, которое богачей любит. Николай тоже любил богачей. Но теперь, если наше правительство скажет: «Ну-ка, Юлчибай!» — мы тут же скажем: «Готовы в бой», — и выйдем с винтовками в руках, вот так, Рахимджан-ака!

Комиссия работает непрерывно с утра до вечера, а иногда и по ночам. Чайрикеры и батраки, как малые дети с ложками вокруг котла, где варится сладкая каша, ходят около членов комиссии, готовы помогать, чем можно, отвечать на любые вопросы, слушают газеты, всех спрашивают — хотят, чтобы подготовка к реформе шла быстрее. Люди же, у кого много земли, или лгут, или, вызывая злость батраков, притворяются непонимающими, тянут с ответами, отнимают много времени. Однажды

опрос двух людей занял у Саиди два часа. Один из них был дехканин-середняк; другой — богач. Середняк, как вошел в дверь, стал дрожать от страха и, сев на стул и оглядев членов комиссии и собравшихся вокруг батраков-активистов из союза «Кошчи», сразу забормотал, хотя его еще ни о чем не спросили:

— У меня тридцать два танапа. В газетах пишут, что будут отбирать, если больше сорока танапов... А я слышал, что и мою землю заберете. Если так, большая будет несправедливость... Правительство защищает бедняков, а я разве богач?

Председатель комиссии прервал его, сказав, что землю у него не будут отбирать, могут даже прибавить ему. Приложив палец к анкете, дехканин сказал, обращаясь к активистам:

— Вот видите, Кучкарбай, Саттаркул, Юлчибай...вы слышали, что сказал Комиссия-ака...Пусть больше не дают, черт с ней, с землей, только бы нашу не отбирали. Вот вы запомните: они сказали: не тронем твою землю. Обещанное — свято.

Уходя, он все время оглядывался, как будто ждал, что его остановят. После него пришел высокий человек с проседью в свалывшейся бороде, с желтым лицом и красными, как от бессонницы, глазами, в старом потрепанном халате. Он ни на кого не смотрел, как будто стыдился чего-то. В красной чайхане стало тихо, и в дверях появились улыбающиеся физиономии. Юлчибай, сидевший возле Саиди, который готовил бумагу, потянул его за руку и молча показал на сидевшего перед ними человека. Все смотрели на него, ждали, что он скажет.

— Ваше имя? — спросил председатель, макая перо в чернильницу.

— Ниязмат, сын Дусмата...

Юлчибай, словно желая скорее разрушить создавшееся вокруг напряжение, тихо сказал:

— Хаджи-бува, назовите имя полностью, — и вытер себе рот рукавом.

— А ты знаешь? Раз знаешь — говори!..

Председатель взглянул на Юлчибая, потом на Ниязмата и добавил к имени слово «хаджи». Хаджи — это титул, который получает мусульманин, совершивший паломничество в Мекку — такой человек всегда пользовался в кишлаке почетом и всякими привилегиями.

— Сколько у вас земли?

— Приблизительно танапов сорок-пятьдесят...

Юлчибай и стоявшие у дверей зашевелились. Поднялся шум.

— Тише, товарищи, — сказал председатель и продолжал опрос: — Вы сами их обрабатываете?

— Обрабатываем... и чайрикер есть.

— А батраки у вас есть?

— У нас свой человек... не батрак... наш родственник...

— Как зовут этого родственника?

— Я позабыл сейчас... выпало из памяти...

Люди, стоявшие у двери и вокруг стола, сказали в один голос:

— Ибрагим, сын Рахматуллы!

Ниязмат-хаджи покраснел, как игрок, все поставивший на карту и проигравший, заволновался, поглядел в лицо говоривших, но не решившись возражать, прицепился к Юлчибаю:

— Грешно человеку быть ябедником. Чего вы добиваетесь таким подстрекательством? Бог каждому воздаст по его нраву... А твой нрав негоден богу...

Вокруг поднялся смех. Саиди вытащил из сложенных бумаг анкету Ибрагима и прочитал:

— Ибрагим, сын Рахматуллы, батрак бая по имени Ниязмат-хаджи, сын Дусмата. У этого бая в одном месте двести семь танапов земли, а в другом — сто семьдесят три танапа...

— Всего триста восемьдесят танапов, — сказал Юлчибай, отвернувшись.

Грянул такой смех, что дом зашатался. Ниязмат-хаджи покраснел, как помидор, лицо его покрылось каплями пота, он вскочил и стал бранить Юлчибая:

— Стыдно тебе... ты — червяк... подумай: бог у нас один, пророк один...

— Так пусть и земля, и вода, и все богатство тоже будут одни у нас, общие! — сказал Юлчибай, опять отворачиваясь.

Все опять засмеялись, но Юлчибай уже не смеялся.

Шли дни. Близился уже конец командировки студентов, но никто из тех, что разъехались по кишлакам, не заговаривал об этом. Время от времени в газетах появлялись их заметки о ходе подготовки к реформе. Потом Саиди узнал, что командировку продлили еще на неделю. Это не вызвало в нем протеста, особенного желанья уехать уже не было.

Однажды он вернулся с работы довольно рано — только начало смеркаться. В комнате общежития никого.

Было очень тихо. Слышался только треск и шипение сырых дров в печке. Саиди собирался зажечь лампу, когда кто-то, как кошка, поскребся в дверь. Саиди поспешил открыть.

— Мир тебе, сын льва, — послышался старческий голос, и раньше самого его владельца в комнату со стуком вступил его посох. Саиди почтительно посторонился.

Вошел старик, похожий на высохшую, задубевшую морковку, осторожно ощупывая все вокруг палкой, сел на стул, вытащил из-за пазухи какую-то бумагу и протянул Саиди. Саиди зажег лампу и стал читать. Вот что сумел он разобрать в этом послании:

«К чиновникам, ведающим проведением земельной реформы, обращаемся мы, молящиеся за простой народ, за правительство... Раз правительство решило проявить милосердие к беднякам, ко всем голодным и нуждающимся, мы это благословляем... давать бедным хлеб и одежду — благодетельные, и делать это — долг каждого мусульманина... К этому руку приложил имам мечети подчинарами, я, мулла Мирбаки, сын Миршада».

— Очень хорошо, — сказал Саиди, складывая бумагу. — Я передам это председателю комиссии.

— Сын льва, — сказал имам, прикладывая руки к груди, — вы бы передали это в газету... пусть будет известно людям... И бог вас вознаградит за это... всякая горсть земли в вашей руке станет золотом...

Хрипя, он старался разъяснить, что, с точки зрения религии, хорошо быть великодушным к бедным, в доказательство стал читать стихи из корана и преданий о пророке Мухаммеде. Саиди, чтобы унять его, сказал, что завтра же письмо отправят в редакцию газеты. Имам, все еще бормоча что-то, вышел из комнаты и прямо направился в мечеть, где происходило чтение корана, которое бывает обычно во время мусульманского поста. А там, глядя в глаза своим прихожанам, в том числе и Ниязмату-хаджи, не моргнув, соврал: «Только что меня вызвали представители Советской власти и, приставив мне ко лбу пистолет, потребовали, чтобы я благословил земельную реформу».

## XVIII

Саиди, тот самый Рахимджан Саиди, который так не хотел ехать в кишлак, теперь не спешил возвращаться в город.

В первые дни по приезде он мучился, не умея найти себе дело и место, не умея приспособиться к новой для него обстановке, но потом все как-то само по себе устроилось, и настроение улучшилось. Теперь голова его была полна сюжетами, почти готовыми рассказами, которые только и ждали, чтобы их перенесли на бумагу. Все они словно нанизывались на какую-то единую нить, обещали стать романом.

Вечером накануне отъезда Саиди встретил Мурадходжу-домлу. Он глазам своим не поверил, никак не ждал здесь этой встречи. Но нет, это был Мурадходжа-домла! Завернулся в ту самую зеленую шубу на меху, на голове казахская меховая шапка, идет своей утиной походкой. Саиди решил поздороваться, но не знал, нужно ли остановиться, спросить, как здоровье, как жизнь, — не обременят ли эти расспросы такого важного человека. Пока Саиди раздумывал, домла сам подошел к нему с протянутыми руками. Он был приветлив, мягок и ни словом, ни жестом не собирался унижить Саиди. «Наверное, Салимхан ему рассказал обо мне», — подумал Саиди и сразу почувствовал себя персоной. Домла расспрашивал его о здоровье и о делах и, не выпуская его руки, повел за собой куда-то в переулок. Саиди постеснялся спросить, куда он ведет его, да, впрочем, домла не давал ему рта раскрыть, все время говорил сам.

В конце переулка у какой-то невзрачной двери стоял здоровенный парень, приветствовавший домлу низким поклоном. Он поклонился также и Саиди и пропустил их в темный проход. Где-то за стеной заржала лошадь, кто-то успокоил ее: «Хут!» Голос прозвучал глухо, словно из-под земли. Где-то рядом работала соломорезка, и слышно было, как шуршали разрезанные стебли травы. Саиди шел в темноте за домлой и в конце прохода невольно заглянул в открытую дверь хлева. Он почувствовал влажный терпкий запах навоза и увидел, что кто-то с копилкой ходил среди овец. Когда Саиди вышел на открытый двор, в нос ему ударил запах жареного мяса и лука: готовили плов.

В глубине высокого айвана, в нише, выкрашенной желтой краской, горела висячая лампа. У двери в дом домла посторонился и пропустил Саиди вперед. В коридоре было полно резиновых и кожаных галош; за дверью в комнате слышался шум. Когда домла с Саиди вошли в коридор, шум сразу стих, распахнулась дверь в комнату. Появился человек средних лет, с широкой челюстью, большим ртом

и выпуклым лбом, чем-то похожий на обезьяну. Он поздоровался с Саиди и с поклоном пригласил его в комнату. Присутствовавшие — человек десять — выстроились вдоль стен, встретили Саиди тоже с поклонами и указали ему почетное место у сандала. Люди эти не садились, пока домла с Саиди не уселись на свои места.

Саиди узнал среди них только двоих: того, кто «забыл» имя своего родственника-батрака, — Ниязмата-хаджи и вчерашнего имама. Оба они старались не смотреть на Саиди, видно, не хотели обращать на себя его внимание. Имам весь сжался в своем углу. Ниязмат-хаджи посидел немного у стены и вышел. Все словно застыли в молчании. Слышно было, как стучали часы у кого-то в кармане. Ниязмат-хаджи внес блюдо с пловом. Человек, похожий на обезьяну, снял с полки черный кувшин, налил всем виноградного вина, после чего все, наконец, заговорили — кто о чем.

Только в полночь Саиди попросил разрешения уйти. Все смотрели на Мурадходжу-домлу и ждали, что он скажет.

— Уже уходите? — удивился домла и встал. — А я ведь и приехал, узнав, что вы здесь. Думал, что мы попируем несколько дней... Разве уже кончили вашу работу?

— Нет, но университет вызывает.

— Сказали бы, что хотите еще поработать недельку-другую.

Саиди ничего не ответил, простился и ушел. Похожий на обезьяну человек, провожая его до ворот, сказал:

— Я бы проводил вас до дома, но, признаться, у нас в кишлаке много всяких сплетников.

Саиди поблагодарил и, плотнее запахнув пальто, пошел по улице в сторону базара.

В общежитии было темно, товарищи все давно спали, печка потухла, было холодно. Саиди разделся в темноте, залез под холодное одеяло и сжался в комок, охватив руками колени.

## XIX

— Давай, Мунис, сходим на собрание интеллигенции, — сказал Саиди в один из январских дней, спускаясь по университетской лестнице. — Соберется вся городская интеллигенция. Председатель исполкома будет делать доклад. Пойдем, послушаем.

Шел снег, падал крупными хлопьями. Мунисхон спря-

тала лицо в меховой воротник пальто и уже протянула руку Саиди, чтобы он помог ей пройти по скользкому тротуару, но услышав такое предложение, опустила руку и остановилась на последней ступеньке, словно хотела вернуться.

— О, Рахимджан,— сказала она,— ну что ты говоришь?! Всегда ты выдумываешь немыслимые вещи... Ведь сидеть на собраниях, даже на которых мы обязаны присутствовать,— хуже горькой хины, еле досиживаем, глаза слипаются... а ты хочешь, чтобы мы пошли на это собрание добровольно?

— Может быть, там будут говорить о моей статье против Мурадходжи-домлы,— отвечал Саиди и, поднявшись на ступеньку, свел Мунисхон с лестницы.

Мурадходжа-домла напечатал в областной газете небольшую статью, в которой изложил свои мысли о земельной реформе. Он начал статью с истории области, с климатических условий — откуда дует ветер и сколько выпадает снега в горах, и все это так связал с земельной реформой, что получалось — для проведения ее нужны долгие годы. Статью напечатали, потому что домла в это время работал в редакции. Статья вызвала возмущенные отклики, получено было четыре резких отповеди. В одной из них Кенджа даже назвал домлу контрреволюционером, а все остальные авторы отповедей доказывали, что земельная реформа — дело ближайшего будущего. Ни одну из этих статей домла не показал редактору. Более того, он от имени редакции написал письмо в центральные газеты с просьбой не печатать возражений на его статью, а направлять их в редакцию областной газеты, так как вопрос этот будет решаться в области и освещаться на страницах областной газеты, и подsunул это письмо для подписи редактору среди других писем, рассылаемых корреспондентам по поводу земельной реформы. Письмо было написано и тут же отправлено.

В тот же вечер Аббасхан пригласил Саиди к себе домой и сказал, что знает о его поездке в кишлак и о том, что о нем говорили на факультете, добавив многозначительно: «Я вообще за вами слежу и все о вас знаю».

А дело было в том, что на бюро комсомольской ячейки, когда обсуждалась работа Саиди в кишлаке, был сделан вывод: «У Саиди мало качеств настоящего комсомольца». И Саиди лишился бы комсомольского билета, если бы присутствовавший на бюро представитель райкома Шариф не предложил «еще раз проверить его, дав ему

какое-то задание». Нашлись люди, которые захотели проверить, кто такой Саиди и как он попал в университет. Аббасхан знал все это и рассказал Саиди, а потом спросил, читал ли он статью Мурадходжи-домлы. Саиди читал эту статью.

— А не выступить ли вам против этой статьи? — спросил Аббасхан. — Если бы вы написали в газету против нее, разговоры о вас на факультете прекратились бы.

Саиди согласился.

План статьи наметил сам Аббасхан. Саиди трудился над ней до половины второго ночи, подписал ее псевдонимом и вручил Аббасхану, лежавшему с книгой на диване. Аббасхан прочел, кое-что исправил, зачеркнул псевдоним, поставил полностью имя Саиди, велел переписать статью набело и отдать прямо в руки редактору. Не прошло и двух дней, как статья Саиди под скромным заголовком появилась на последней странице газеты.

Саиди не видел Мурадходжу-домлу с той встречи в кишлаке. Теперь на собрании интеллигенции Мунисхон показала ему домлу, сидевшего где-то в середине зала. Он был красный и потный, словно только что из бани. Выступавший Кенджа так закончил свою речь:

— Нужно отличать ошибку от заблуждения. А тут не ошибка и не заблуждение, а преступление против интересов трудового крестьянства.

Зал ответил бурной овацией. Мурадходжа-домла несколько раз вскакивал и вновь садился, судорожно тянулся вперед, как утопающий из воды, и среди общего шума слышались его крики:

— Мне слово! Дайте мне слово... я — революционер...

Председатель собрания, Салимхан, тшкетно звонил колокольчиком, чтобы утихомирить зал, но аплодисменты не утихали. Тогда он вышел вперед, встал перед столом президиума и поднял обе руки. Шум прекратился.

Воспользовавшись этим, домла вскочил и заорал:

— Дайте мне слово! Я — за революцию!

Опять поднялся шум. Требовали, чтобы домле не давали слова.

Слово получил сидевший в последнем ряду старый учитель с острой бородкой, в куртке с отложным воротником, поверх которой был надет стеганный халат.

— Люди добрые! — начал он, засучивая длинные рукава халата. — Что такое земельная реформа? Земельная реформа — естественный результат Октябрьской революции, ее продолжение. Значит, эта реформа — тоже своего



рода революция, ее развитие. Наша страна — страна земледельческая. Байские хозяйства составляют три процента всех хозяйств области, но у каждого из них по пятьсот-шестьсот танапов земли. А на долю остальных девяноста семи процентов достаются или непригодные клочки земли или вообще ничего не достается. Это знает каждый из нас. И Мурадходжа знает это не хуже нас с вами. И кто не понимает, что земельная реформа должна улучшить экономическое положение нашего государства? А зная все это, Мурадходжа выступает против реформы — нехорошо это... Как говорит товарищ Кенджа, мы, интеллигенция, должны приветствовать и всячески поддержать это начинание коммунистической партии. Вот скоро будут зимние каникулы. Я, например, готов в дни зимних каникул проработать пятнадцать-двадцать дней для подготовки реформы и обязуюсь, насколько хватит сил, выполнять всякое задание партии.

И опять от аплодисментов задрожал зал. Председатель, не обращая внимания на множество поднятых рук, кивнул в сторону Аббасхана, предоставляя ему слово. Аплодисменты еще не стихли, когда он поднялся на трибуну и заговорил:

— Несомненно, земельная реформа нужна, это дело хорошее. А если находятся люди, которые говорят, что она не нужна, что это плохо, — пусть себе говорят. Если бы не было противников, не было бы споров, а без спора хорошее дело не делается. Здесь сказано много слов в защиту земельной реформы — и это хорошо, потому что, если бы не были сказаны эти слова, некоторые не узнали бы того, что узнали, а те, кто сомневались, продолжали бы сомневаться. Но что вызвало эти выступления в защиту реформы? То, что Мурадходжа-домла не понял ее, сказал, что это плохо. Но разве здесь место для всяких философствований, рассуждений о том — ошибка это или преступление...

— Это не философствование! — закричали из зала.

— Хорошо, допустим... Но вот есть ответная статья Саиди. Если бы я знал автора лично, может быть, я в чем-то с ним поспорил... Но все равно, это достойный ответ Мурадходже-домле. Два свойства есть у человека в отличие от животного: уметь излагать свои мысли и уметь признавать свои ошибки. Человек способен ошибаться. Но мы хотим верить, что Мурадходжа-домла признает свою ошибку и в дальнейшем в рядах нашей красной интеллигенции будет бороться за интересы трудящихся.

Весь зал смотрел теперь на домлу. Прошло несколько томительных секунд, пока он поднялся.

— Я признаю,— сказал он,— я ошибся. Но я не говорил, что земельную реформу не нужно проводить. Вы не можете доказать, что я это говорил. Я сказал, что ее трудно проводить. А что трудно — это верно... Будет трудно, пока все трудящиеся и вся интеллигенция не будут помогать... Я был в кишлаке, и я объяснял в союзе «Кошчи» пользу земельной реформы..

Тут Саиди испугался, что домла назовет его как свидетеля, и спрятался за чью-то спину. А домла продолжал:

— Верно сказал Салахиддин: скоро будут каникулы... и мы обязательно пойдем по пути, указанному партией... Трудно мне угнаться за молодыми... Сорок лет — вершина жизни, потом человек идет под гору, а старость — второе детство... человек по глупости делает ошибки... Конечно, уж больше я не буду...

Никто уже его не слушал. Тем дело и кончилось. И следующий оратор заговорил о задачах интеллигенции в подготовке к проведению реформы — о чем не успел сказать докладчик.

Мурадходжа-домла вытер пот с лица, поднял упавшую шубу и, не обращая внимания на соседей, стал ее отряхивать. Оглядываясь, он увидел Саиди, стоявшего у стены рядом с Мунисхон. Домла подошел к нему тихо и коснулся его руки своей мягкой большой рукой. Внимательно слушавший оратора, Саиди вздрогнул.

— Почему не выступаете в прениях? — шепнул домла.

— А что мне говорить? — сказал Саиди, не глядя на домлу.

— Ну, хоть задайте вопрос. Вам надо показаться на таком собрании, здесь столько достойных людей... Вон видите Кенджу?.. Я вам напишу два вопроса, и вы спросите.

Саиди кивнул. Домла отошел назад и через минуту сунул ему в руку бумажку. На бумажке было написано:

1. Может ли человек передать свою землю кому захочет?

2. Будут ли отобраны земли у городских учителей?

Саиди прочел и шепнул домле:

— Такая досада... Я должен сейчас уйти... у нас на факультете тоже назначено собрание...

Домла вернулся на свое место. А Саиди тихонько толкнул Мунисхон и показал глазами на дверь. Это очень понравилось Мунисхон — и вот они на улице под ярким электрическим фонарем. Снег уже не идет, только ветер

сметает его с крыш, с тротуаров и бросает в окна, в стены.

Саиди взял Мунисхон под руку. Довольно долго они шли молча.

— Знаешь,— сказала вдруг Мунисхон,— если бы не эта твоя статья, тебя исключили бы из комсомола и, может быть, выгнали с факультета... Я не говорила тебе — не хотела огорчать... Среди твоих комсомольцев многие ворчат на тебя...

— Кенджа сказал же, что статья эта написана как будто против Мурадходжи-домлы, а на самом деле защищает его. Что ж, он правильно понял.

Мунисхон остановилась на углу своего переулка. Здесь было темно.

— Ну, дальше не провожай меня, Рахимджан, сам знаешь, если кто увидит нас...

Саиди взял ее теплые мягкие руки в свои и не знал, что сказать.

— Вот ты всегда так, Мунис,— выговорил наконец.— Я пройду еще двадцать шагов...

И когда Мунисхон согласилась, он отсчитал двадцать шагов.

## XX

Назавтра, придя к Мунисхон в назначенное время, Саиди открыл дверь, но войти не решался: в доме было много народу. Сквозь плавающий по комнате табачный дым он увидел Салимхана, сидевшего на полу по-турецки. Салимхан встал, вышел к нему и втянул его в комнату. Саиди, как полагалось, учтиво поздоровался с незнакомыми людьми и сел на стул у стены.

Молодой красивый человек, сидевший у окна, все время закрывал себе нос и рот, чтобы избавиться от дыма,— это был заведующий отделом агитации и пропаганды уездного комитета партии, он ответил на приветствие Саиди кивком. Один из сидевших на диване был секретарь областного исполнительного комитета, другой — начальник водного хозяйства области. Остальных Саиди не знал.

Все они были похожи на людей, которых застигла большая беда, и они ищут способов от нее избавиться, но еще не решили, какой из них надежнее. Секретарь исполкома даже не заметил, что пепел от папиросы упал ему на пиджак; выпуская клубы белого дыма, он нетерпеливо взглянул на Салимхана, как будто хотел сказать: «Если у этого человека дело к тебе, быстро кончай с ним и отпу-

сти его». Саиди это понял лучше Салимхана. Но Салимхан закурил новую папиросу и сказал, представляя гостям Саиди:

— Это один из наших молодых талантливых писателей, студент... комсомолец. Ну, что, товарищ Саиди, я слышал, что вы пишете роман, когда же вы его закончите?

Саиди покраснел и опустил глаза.

— Наш уважаемый товарищ пишет роман о земельной реформе,— повторил Салимхан, прерывая одного из гостей.

Один из них жаловался на трусость какого-то писателя. Не обращая внимания на слова Салимхана, он продолжал говорить секретарю исполкома:

— Я сам проверял. Нашел людей, о которых идет речь в рассказе. Быстро нашел, потому что я знал, кто выдавал дочь замуж насильно. А трусость писателя в том, что и этому человеку, и девушке, и будущему жениху он дал вымышленные имена. Ну, ладно, пусть так. Я вызвал к себе девушку, ее отца, жениха, допросил. Девушка все рассказала. Потом я вызвал писателя. А он говорит: «Нет, я не знаю этих людей. Я вовсе не о них писал. Я писал рассказ, а не фельетон». Полюбуйтесь-ка на него! Но, как говорит пословица: если истец не настаивает,— судье нечего делать, пришлось мне прекратить дело. И я решил: самые большие трусы среди интеллигенции — писатели.

Салимхан рассмеялся. Другие же вовсе не заинтересовались тем, что рассказал следователь, но это объяснялось скорее не его нелепой жалобой, а какой-то общей растерянностью, которая ощущалась среди присутствующих. А следователь оглядывал всех с гордостью, как будто сделал открытие. Саиди молчал, но его подмывало дать отпор этому невежде. Салимхан опять засмеялся, сказал: «Да, смешное недоразумение»,— и, обратившись к начальнику водхоза, заговорил о чем-то другом. Следователь посмотрел на него с недоумением, ожидая разъяснений, взглянул на Саиди.

— А по-моему, тот писатель ответил вам правильно,— не выдержал Саиди.— Проверить можно фельетон, а рассказ нельзя проверить. Или, уж если хотите, это делается не так. Правдивость рассказа проверяет жизнь в широких масштабах. Ведь писатель не пишет рассказ о каких-то определенных лицах, положительных или отрицательных. Можно найти в стране сотни, тысячи людей, похожих на описанных в удачном рассказе. Если вы захотите при-

влекать к суду отрицательных героев литературы, вам придется судить тысячи обвиняемых...

Следователь прервал его:

— Разве, когда пишут, не рассказывают о подлинных происшествиях? Или все выдумывают?

— Пишут не об одном случившемся происшествии, а о происшествиях, которые случались, случаются и могут случиться.

Следователь не понимал. Саиди пришлось объяснять все сначала. В спор вмешался и секретарь исполкома. Он поддержал Саиди и добавил, что литература не является прямым отражением жизни. Следователь опять ничего не понял, широко зевнул и улегся на диване.

— Вот вы, оказывается, пишете роман, — говорил усталым голосом секретарь исполкома Саиди, — в нем вы хотите изобразить, как проводится земельная реформа. Удастся ли вам сказать об этом правду? Сомневаюсь... Потому что, если вы покажете, что реформа — это плохо, ваш роман не напечатают, а если вы будете уверять, что это хорошо... тогда вам даже не нужно искать доказательства... Не так ли?

— До того, как я побывал сам в кишлаке, я тоже думал, что реформа — это принудительная мера. Но я увидел своими глазами... Для тех, кому реформа даст землю, она хороша, а для тех, у кого отберут землю, — она — плохая...

Собеседник хотел что-то возразить и уже открыл было рот, но не успел вымолвить слова, как распахнулась дверь: на пороге стоял Мурадходжа-домла, запахнувшись в свою зеленую шубу. Взглянув на сидящих в комнате, он растерялся. Салимхан пригласил его войти и заговорил с ним так, будто давно его не видел. А все присутствующие так посмотрели на Салимхана, словно хотели спросить: «Что здесь нужно этому человеку?» Салимхан был так холоден с домлой, что Саиди стало неловко.

— Я пришел по делу, — сказал домла, когда воцарилось неловкое молчание. — Один человек принес мне документы из архива эмира бухарского, уцелевшие после его бегства. Просит за них недорого. Если отдел народного просвещения заинтересуется, я их приобрету. Там есть разные указы, приговоры. Если захотите посмотреть, могу принести...

Салимхан, который явно был недоволен, что домла появился некстати, теперь, когда тот так ловко вышел из положения, повеселел. Придуманый домлой повод был тем более удобен, что, если бы понадобилось, домла мог представить этот архив.

Так Саиди и не пришлось продолжить интересный спор.

Вскоре пришла Мунисхон, и Саиди, улучив минуту, шепнул ей: «Найди предлог и выведи меня отсюда». Мунисхон вышла и, найдя предлог, еще более удачный, чем домла, увела Саиди в другую комнату. Там он, взволнованный, рассказал ей, о чем шел разговор. Мунисхон прикрыла дверь поплотнее, села рядом с Саиди и зашептала ему на ухо:

— Эти люди — ответственные работники области, их семь человек. Они не согласны с планом земельной реформы и собираются подавать заявление в партийные органы. Уговаривают и брата присоединиться к ним. Вчера у нас был Аббасхан, сидел с братом до полуночи. Он не советует брату присоединиться к этим людям, говорит: «Тебя могут исключить из партии. Найди отговорку, объясни, что не можешь к ним присоединиться. Других подбивай на это дело, а сам стой в стороне». Сам-то Аббасхан против реформы, говорит: «Из-за этой реформы мы потеряем кишлак». Ну, он, наверное, хочет сказать, что это плохо... А брат мой держит пока нейтралитет.

— А разве он против? — удивился Саиди.

— А ты сам?

— Я сначала был против, а теперь — за.

— А мне все равно. У нас нет земли в кишлаке. И у Аббасхана нет земли.

В голове Саиди опять все смешалось. Как же так? Члены партии, ответственные работники, оказывается, против земельной реформы, а заведующий отделом агитации и пропаганды уездного комитета партии знает это — и молчит! Саиди вспомнил о начатом романе и почувствовал, что у него нет сил, чтобы продолжать его. Вдруг вспомнились ему слова Мурадходжи-домлы: «Реформа разрушит узбекский кишлак». Сердце у него сжалось, он тяжело вздохнул; захотелось пожаловаться кому-то, облегчить душу, но и сам не знал, на что же бы мог пожаловаться.

Через неделю Саиди прочел в передовице центральной газеты такие слова:

«...Перед Коммунистической партией Узбекистана стоят громадные задачи, требующие как никогда сплоченности рядов. В такое время несколько ответственных работников области подали заявление об уходе с работы, что является выражением необоснованного страха перед принципиальной позицией партии в классовый борьбе и направлено на разрушение единства партии. Партия даст

этому достойный отпор. В рядах партии, которая, преодолевая трудности отсталой экономической системы, ведет трудящиеся массы к социализму, не должно быть таких колеблющихся элементов, ставящих свои интересы выше интересов партии...»

В течение нескольких недель газеты обсуждали выступление ответственных работников. Но постепенно об этом писали все меньше и меньше, и на первое место вышли другие заботы, зазвучали другие голоса: «Земельная реформа проводится успешно», «Те, кто скрывает свою землю,— враги трудящихся!», «Не уставать вам, герои земельной реформы!»

## XXI

Саиди стал частым гостем в доме Салимхана. У него всегда находилось для этого время, и не нужно было искать никаких особенных поводов для посещений.

Вообще у Саиди появилось много новых друзей-приятелей. Среди них были ответственные работники, и юристы, и его бывшие учителя, и видные поэты и журналисты. Многие его хвалили, особенно, когда вслед за «Каландаром» появилась повесть «Молодые годы мира» — о ней много говорили, и Мурадходжа-домла даже шутил: «Ну, а теперь напишите о нас, грешных,— о последних годах старого мира!»

По пятницам, когда компания собиралась у Салимхана, конечно, всегда выпивали. Известно, что первая рюмка оживляет беседу, вторая вызывает желание выпить третью, а третья понуждает положить руку на плечо соседа и изливать перед ним душу. Когда же опьянение достигает этой стадии, выпивка обычно кончается. В таких случаях Саиди почти всегда оказывался рядом со своим бывшим учителем Махмуджаном-эффенди.

Высокий, очень худой, с помятым лицом и мутными, всегда слезящимися глазами, он говорил пространно, тонким голосом, часто повторяя: «Вам понятно? Ясно я говорю?»

— Человек получает от жизни лишь незначительную часть того, что ему требуется. К тому же неразвитый человек и требует очень мало, а получить и это малое ему не удастся. Это и порождает жестокость, зависть, страх, войны и все прочее. В этом вопросе я не согласен с Марксом. Маркс говорит, что адские условия жизни одних являются основой для райской жизни других. Нет, человечество просто еще не созрело, не достигло совершенноле-

тия. Придет время — и человек достигнет своего совершеннолетия, выработает свой, сейчас еще не установившийся характер. Для этого нужно время, нужен покой. Разделение людей на классы нарушает этот покой. Вам понятно? Ясно я говорю?..

Почему-то никто ему не возражал, даже Аббасхан, считавший себя марксистом. И Саиди, принимая Махмуджана-эффенди за безвредного, безобидного человека, тоже не оспаривал его доводов; если же он иногда пытался возражать, Махмуджан-эффенди говорил ему мягко:

— Если у нас с вами разные убеждения, если вы со мной не согласны, все-таки выслушайте меня, а потом посмотрим...

Когда Октябрьская революция нарушила милый сердцу Махмуджана-эффенди покой, ветер классовых битв унес, как осенние листья, все богатство его отца — типографию, несколько гостиниц и многое другое. Махмуджан-эффенди был в это время за границей. А к его возвращению в стране уже укрепилась власть, непохожая ни на какую другую на земле, — Советская власть. Панисламистская организация «Шураи-ислам», с которой он был связан, исчезла, оставив по себе только злую песню, сложенную народом:

Казы Камалу, благословившему войну! — смерть!  
Этому развратнику, сбившему народ с пути, — смерть!  
И всем подлецам, вступившим в «Шура», — смерть!  
И горлодеру-ослу Абдурашиду-аксакалу — смерть!

Махмуджан-эффенди правильно оценил обстановку и с остатками «Шураи-ислама» спрятался в глухую щель. Правда, из этой щели все же шли в разные стороны дорожки, и если осторожно по ним идти, можно было надеяться кое-куда пойти. В это время ему протянул руку помощи бывший турецкий офицер Исхак-эффенди, заведовавший тогда областным отделом народного образования. Он сделал его воспитателем «тюркских детей» в школе. Исхак-эффенди был убит дехканином в каком-то кишлаке, а Махмуджана-эффенди посадили в тюрьму по обвинению в растлении малолетней. Его должны были расстрелять, но кто-то вступился за него. Он вышел из тюрьмы и вскоре вновь был арестован. И снова его освободили. Его выбрасывали, как мусор в просеиваемой сквозь решето пшенице, но всякий раз ему удавалось уцелеть. Словом, он был похож на человека, попавшего в водоворот: то тонул, захлебывался, то вновь выплывал и прибывался к берегу,



Теперь Махмуджан-эффенди преподавал литературу и был крайне недоволен своими занятиями и своей жизнью. Человека больше всего гнетет отсутствие надежд на будущее. Потерявшие надежду люди или спиваются или становятся отъявленными богомолами. Махмуджан-эффенди не чурался ни первого, ни второго.

Однажды на вечеринке в доме Салимхана появились сотрудники литературного журнала Ильхам и Якубджан. Якубджан за весь вечер не произнес ни слова. В другой раз, когда выпито было особенно много, он сказал только: «Оставьте меня, у меня голова кружится!» Но как-то в один из четвергов Саиди случайно оказался рядом с ним за столом и отдал ему свою очередную пиалу с вином. И вот этот парень в следующую пятницу на вечеринке у Мурадходжи-домлы, когда рюмки с вином дважды обошли вокруг стола, вдруг выдал Саиди весь свой запас слов.

— Кенджа — плут, — говорил он, — ведь тогда он сам был во всем виноват, а у редактора свалил всю вину на других. Ваш «Каландар» давно уже был бы напечатан — я сам заказывал к нему иллюстрации. Но Кенджа унес рассказ и, сколько я ни спрашивал, все не возвращал. Потом — смотрю, ваш рассказ уже в корзине. Я вынул его из корзины и добился у редактора разрешения печатать. А Кенджа, оказывается, потерял уже готовые рисунки. Да вы же сами видите, что он за человек: прибавил к вашему рассказу главу и только испортил рассказ. Это и Аббасхан знает, и Ильхам то же скажет.

Ильхам, действительно, подтвердил все это.

Нетрудно было убедить Саиди, что эти все его новые друзья желают ему добра. Ведь после того, как он сошелся с ними ближе, он начал понемногу выходить в люди. Хоть и не часто, его стали печатать. Из его тетрадки стихов Ильхам сам выбрал и напечатал в журнале стихотворение. Ему подсказывали темы, давали советы и всячески подчеркивали свое желание помочь. Они все больше отдаляли его от Кенджи, в конце концов Кенджа становился чужим, непонятным, пока однажды вновь не появился на его пути. Но теперь он появился как враг.

А Саиди верил своим новым друзьям и рад был доказать это на деле.

## XXII

Ильхам был первым, кому Саиди доказал свою доброжелательность.

Однажды, спускаясь со второго этажа университета

вместе с Мунисхон, Саиди столкнулся с каким-то юношей, который с радостным возгласом «Рахимджан-ака!» протянул ему руку. Саиди узнал его. Это был Теша, с которым он учился в школе. Саиди тотчас вспомнил, как Теша не мог проснуться, когда все вставали на предрассветную трапезу во время поста, и как воспитатель — турецкий офицер ворчал: «Эй ты, подымайся, не то стукну!»

— Какими судьбами? — удивился Саиди.

— Учимся на рабфаке, — скромно потупившись, отвечал Теша.

Мунисхон, сойдя с лестницы, уже ждала Саиди у входа. Саиди не знал, о чем говорить с этим парнем, ничего не оставалось, как пригласить его к себе домой. Теша сказал, что часто встречал его имя в печати, но никак не удавалось увидеться с ним. Саиди дал ему свой адрес.

Через два дня Теша пришел к Саиди, тот встретил его приветливо. Скромный, мягкий юноша так понравился Саиди, что они проговорили до поздней ночи.

Теша стал приходить к Саиди часто. Он приходил, каждый раз надеясь узнать что-то новое, и никогда не обманывался в этом. А Саиди, после его ухода, говорил себе: «Вот человек, который жаждет знаний». Однажды Теша пришел посоветоваться о статье, которую задумал написать. Обычно он никогда не спорил с Саиди, всем своим видом показывая, что у него нет ни сил, ни знаний, чтобы ему возражать, но на этот раз между ними разгорелся спор. Теша как будто соглашался с тем, что говорил Саиди, но как только доходило до выводов, он качал головой. Саиди, наконец, рассердился:

— Хорошо, так чего же вы хотите?

— Я хочу доказать, что Ильхам-домла учит нас неправильно. Мы собираемся обсудить этот вопрос на заседании комсомольской ячейки. А пока я хочу эту мою статью отдать в газету.

— Что ж, отдавайте, может быть, и напечатают...

Не прошло и трех дней, как Ильхам подал заявление руководству рабфака с просьбой освободить его от работы, объясняя это тем, что живет далеко. Так Саиди доказал Ильхаму свое дружеское расположение. С тех пор Саиди еще больше сблизился с Ильхамом. А Теша перестал бывать у Саиди.

Весенним вечером, сидя в городском саду за кружкой пива, Ильхам говорил:

— Вот вам тема рассказа. Вдова с тремя маленькими детьми. В доме ничего нет — не на что купить хлеба. Зима.

Вечер. Сильный ветер. Женщина ведет детей на улицу. Но равнодушные людей еще сильнее зимнего холода. Женщина падает и умирает, дети у нее на груди, их заносит снегом. Хотите — убейте и детей, или пусть их возьмет к себе прохожий, у кого нет детей.

— Это неестественно, — сказал Саиди, — так не бывает в жизни.

— Почему же? Если изобразить это мастерски, — картина может произвести впечатление. Получится художественно...

Саиди не понравилась эта тема. Но через неделю Ильхам принес ему уже план этого рассказа. В рассказе должно было быть три главы: жизнь вдовы с детьми, зимний холод и холод людской, и помощь собеса.

— Последняя глава нужна с политической точки зрения, а вообще она не имеет большого значения. Покажите свою силу в двух первых главах — пусть это будет художественно.

Известный критик Аббасхан одобрил замысел.

— Если вас будут критиковать, — тем лучше: станете известным. Ведь не так-то просто быть раскритикованным. А раз вас будут ругать, — у вас будет больше читателей.

Саиди написал рассказ и отдал Ильхаму. Через два дня рассказ, уже отредактированный, оказался у Аббасхана. Последняя глава, которая у Саиди занимала почти половину текста, была зачеркнута, от нее осталась одна фраза: «После долгих скитаний дети попали в детский дом и поняли, что это их единственное прибежище».

Аббасхан обещал напечатать рассказ в ближайшем номере журнала, но вышло уже три номера, а рассказ все не появлялся. Оказалось, он вызвал крупную ссору между Кенджой и Аббасханом. Саиди узнал об этом от Мунисхон, и неприязнь его к Кендже еще увеличилась.

### XXIII

С тех пор, как Теша перестал его навещать, Саиди всякий раз, когда приходилось ему проходить через рабфакковский зал, чтобы подняться к себе на факультет, чувствовал такое стеснение и раздражение, что ему стоило много сил и нервов появляться в университете. Ему постоянно казалось, что все люди, встречавшиеся ему по дороге, смотрят на него и шепчут: «Вот тот самый Саиди», — словно где-то в углу зала идет уже комсомольское собрание, и сейчас ему скажут: «А ну-ка, товарищ Саиди,

дайте отчет о своем поведении!» Он стал тяготиться занятиями на факультете, готов был полжизни отдать тому, кто как-нибудь незаметно избавил бы его от университета и только выдал ему на руки комсомольскую учетную карточку.

Наступил июль, и должны были начаться экзамены. Саиди вовсе перестал ходить в университет. Мунистон говорила старосте, что Саиди болен. Но председатель комиссии по проверке успеваемости студентов всякий раз, когда видел Мунистон, спрашивал ее о Саиди. Он так беспокоился о нем, что Мунистон стало казаться, будто он ее подозревает в чем-то. Тогда она объявила, что ничего не знает о Саиди и не имеет к нему никакого отношения. И ее перестали спрашивать о нем.

А Саиди, когда Мунистон заходила к нему и рассказывала о том, что делалось на факультете, говорил, улыбаясь печально:

— У меня все время так беспокойно на сердце, как будто со мной должно случиться что-то ужасное. Я не уверен, что причина этого беспокойства — мои факультетские дела и комсомол. Верно, есть какая-то еще серьезная причина.

— Я сказала, что ты ходишь к врачу. А то ведь они могут прислать к тебе врача. Сейчас к тебе прикрепili двух старшекурсников, когда поправишься, они будут тебя готовить к экзаменам...

Друзья Саиди не одобряли его желания оставить университет. Махмуджан-эффенди, правда, не находил в этом ничего страшного, но Мурадходжа-домла отругал его. Аббасхан прочитал Саиди целое нравоучение и никак не советовал бросать факультет. И Салимхан говорил то же самое. Но Саиди отмалчивался, и тогда Аббасхан немного смягчился:

— Если вы чувствуете, что не можете оставаться на факультете, тогда не насилуйте себя. А то ведь дело может кончиться исключением из университета, тогда вам будет плохо. Но в комсомоле постарайтесь удержаться. Без этого не пройти в партию.

В сущности, что связывало Саиди с университетом? Только Мунистон. С самого начала факультет стал мостиком между нею и Саиди, но это был шаткий мостик, и Саиди мечтал, что он придет к Мунистон по другому мосту — славы, известности, богатства. Раньше он даже себе боялся признаться, что любит Мунистон, потому что, если бы временный мостик, связывавший их, разрушился, она оказалась бы в другом, недоступном ему ми-

ре, и для Саиди перестали бы существовать все прелести земли. Но теперь он был своим в ее доме, и будущее их казалось ему надежным.

То, что Саиди связывает с Мунисхон любовь, было уже известно его друзьям. Махмуджан-эффенди не раз говорил шутя: «От двух прекрасных появится третий... О, пусть потомки ваши будут прекрасны!»

Аббасхан не принимал участия в таких шутках, не давал понять, что многое зависит от него, Аббасхана. И Саиди был благодарен ему за это.

Что из того, что Саиди не будет учиться в университете? Он лишь перестанет раздражаться, нервничать, ведь и без диплома можно сделаться известным писателем. Теперь, чтобы видеться с Мунисхон, не обязательно готовиться вместе к занятиям, — он может видеть ее в доме брата. И, может быть, скоро Аббасхан соединит их руки и отведет за свадебный занавес...

Как и когда сделает это Аббасхан, Саиди не знал, но верил, что он это устроит, ведь он всегда исполнял свои обещания. Он говорил Саиди: «У тебя есть талант, и я его открою». И, действительно, открывает его, помогает ему войти в литературу. Он познакомил Саиди со многими выдающимися людьми. Саиди встречается с ними, беседует, даже выпивает. Он близок с теми, кто раньше казались ему недоступными, исключительными личностями. Раз это так, почему же Аббасхану не помочь Саиди жениться на Мунисхон. Да, может быть, он уже переговорил с Салимханом, и дело уже слажено...

## XXIV

Как-то утром, в один из июльских дней, после завтрака, Саиди сидел у окна и лениво переворачивал страницы книги. Вдруг кто-то позвал его: «Рахимджан!» — и быстро прошел к воротам. Саиди выглянул в окно, увидел спину человека и сразу узнал: это был почти забытый им друг Эхсан. Саиди весь сжался, ему совсем не хотелось видеться с Эхсаном. Появление Эхсана сейчас было для него тяжелее перехода через рабфакровский зал. Но в следующее мгновение Эхсан был уже в комнате и долго не выпускал Саиди из своих объятий. Как плохой актер самодеятельности, выступавший без репетиций, не зная роли, Саиди изобразил на лице радость. Ему самому было удивительно, что он не находил искренних слов для Эхсана — ему не о чем было говорить с ним. Он заставлял Эхсана самого говорить, рассказывать и все время боялся,

что тот остановится. До вечера Саиди мучился, и только когда Эхсан спросил его, чем кончилась его внезапная любовь к девушке, с которой встретился в университете, ему стало легче, потому что это была живая тема для разговора.

— Эта девушка — горящий уголек, а я — кисейная занавеска перед ним, — сказал Саиди, когда они уже улеглись в постель. — Я и не сгорю и целым не останусь, только пожелтею. Буду желтеть и желтеть и совсем истлею... Она меня не любит... Правда, в последнее время один человек зажег во мне искру надежды. Но я все еще не могу верить...

— Нет, она не может вас не любить. Вам кажется, что не любит, потому что вы ее так сильно любите. Что это за девушка, я хотел бы на нее посмотреть.

— Завтра новый спектакль в театре, мы с вами пойдем, и, если она придет, я вам ее покажу. Она должна прийти.

На другой день в театре, во время антракта, Саиди тихо взял руку Эхсана и приложил к своему сердцу. Сердце его билось сильно. Эхсан еще не успел спросить, в чем дело, как Саиди указал ему на девушек, входивших в буфет. Эхсан все понял.

— Я не видел ее целую неделю, — сказал Саиди. — А когда вижу, всегда вот так волнуюсь... Только услышу ее голос, забываю все...

Они сели за столик, неподалеку от девушек, которые пили лимонад и весело болтали. Саиди поймал взгляд Мунисхон и поздоровался с ней глазами. Мунисхон ответила тем же. Тогда Саиди показал Эхсану Мунисхон.

— Я ее видел, — сказал Эхсан, когда девушки удалились после третьего звонка. — Она была тогда еще девочкой. Знаете, даже некрасивая девочка расцветает, когда подрастает. Но эта была и тогда прехорошенькой. Боже мой, как хитры иногда красавицы: появляются в обществе дурнушек. Вы видели девушку, что сидела с ней рядом? Вы понимаете? На фоне черного белое кажется еще белей!

— А где вы ее видели? Когда?

— У нее есть брат. Они ездили в Крым, по дороге останавливались в Москве. Мне случилось разговаривать с ее братом. Он интересовался теми, кто из Узбекистана учился в Москве. Кажется, его зовут Салимхан. Помню, мы с ним сильно поспорили. Вот придем домой, я вам расскажу.

Саиди было очень интересно узнать, о чем спорили Эхсан с Салимханом, и, вернувшись домой, он, зажигая лампу, сразу заговорил об этом, утаив, что сам знаком с Салимханом.

— Как-то в воскресенье, — рассказывал Эхсан, раздеваясь, — Салимхан позвал в гости несколько узбекских студентов. Мы пошли. Он жил в гостинице «Европа». И сестра была с ним. Он нас хорошо принял. Сидели, разговаривали. Салимхан расфилософствовался, старался показать себя болеющим за узбекский народ. Зашел разговор о нации, о востоке и западе. И вот тут я с ним поспорил. Вы, наверное, слышали: у буржуазных ученых есть такая теория — ее называют расовой теорией, — согласно которой люди черной и желтой кожи — существа низшего сорта, из их среды не может выйти ни талантливый, ни даже умный человек. Салимхан не называл эту теорию расовой, но утверждал, что так смотрят европейцы на жителей Востока.

— Это верно, — сказал Саиди.

— Ну, вот и наш Рахимджан туда же... Это не взгляд Европы на Восток, это выдумка буржуазных ученых, которые хотят держать в темноте народы колониальных стран.

— И все же...

— Подождите. Есть еще одна теория, похожая на расовую. Она утверждает, что люди физического труда — низший сорт человечества. Будто бы у людей физического труда иначе устроено тело, иначе растут волосы и ногти и еще что-то иное... Что вы скажете на это? Это тоже взгляд Европы на Восток? Нет, тут уж нет ни Европы, ни Востока. Здесь уж говорит только класс. Класс, который хочет научно обосновать свое господство. Таких теорий много. Например: мы знаем, что проституция порождается капитализмом, но буржуазные ученые говорят, что это болезнь — она передается по наследству, и тем стараются обелить капитализм. Расовая теория выгодна капитализму. Салимхан говорит «Европа», а под этим словом подразумевает все пространство от Атлантического океана до Урала.

— И чем же кончился ваш спор?

— А чем же он мог кончиться? Один бухарец, учившийся раньше в Берлине, стал на сторону Салимхана. Я и раньше не любил этого бухарца, а тут и с ним поругался. Ну, я собрался уходить, со мной поднялись и другие. Салимхан всячески постарался смягчить резкость

спора. «Не обижайтесь, молодые ученые, там, где собираются студенты, никогда не обходится без споров». Он был ласков и проводил нас почти до дому.

В эту ночь Саиди долго не мог заснуть, и потом во сне ему все снилось, что они с Эхсаном поспорили, что он сказал Эхсану что-то нехорошее, и старая их дружба оборвалась...

Утром, проснувшись раньше Эхсана, он притворился спящим и, когда Эхсан будил его, долго делал вид, что не может проснуться, тер глаза и с трудом открыл их. За чаем он ждал, что Эхсан вернется к вчерашнему разговору, но тот стал рассказывать о своих товарищах и близких друзьях, живущих в Москве и Ленинграде.

А Саиди не мог ему рассказать о своих друзьях, с кем он сблизился в последнее время. Он вообще не понимал, как он оказался в их кругу, и, если бы не приехал Эхсан, Саиди не знал бы, что у него есть друзья, о которых нельзя рассказать Эхсану. Что-то отделяло Эхсана от этих людей.

— Послезавтра я должен ехать в Багдад, а сегодня, Рахимджан, я хочу увидеться с Шарифом, Шафриным и другими друзьями. Вы видите с Шарифом? Шафрина вы, кажется, не любили...

— Я встречаю их всех. Шафрин, правда, куда-то исчез. Шариф теперь большой человек... Признаться, я не понимаю этого парня. Когда студентов из нашей ячейки отправляли в кишлак во время земельной реформы, я почему-то не мог выехать, обратился к Шарифу, надеялся, что он мне поможет остаться. Но он сразу надулся — понял, видно, что на него возрос спрос на базаре, — и не помог мне. Я уж было махнул рукой на него, но, когда по возвращении из кишлака начались на меня нападки в ячейке, Шариф вдруг заступился за меня...

Эхсан задумался.

— Впрочем, дело не во мне. Вообще, наверное, заведовать орготделом нелегко.

— Какой орготдел? — удивился Эхсан.

— А что?

— Да ведь скоро уж год, как Шариф секретарь райкома комсомола.

Саиди, глядя в землю, сказал тихо:

— Может быть, и так.

— Скажите правду, Рахимджан, вы — комсомолец или выбыли из комсомола?

— Почему бы мне выйти из комсомола?



— Разве может быть комсомолец так далек от жизни своего комсомола? За целый год вы даже не узнали, кто у вас секретарь райкома!

Саиди засмеялся.

Вечером Эхсан привел Шарифа. Как только Шариф вошел в дверь, Саиди почувствовал себя чужим в собственном доме, держался принужденно, словно случайно попал в незнакомое место. Он рад был, что пришлось взять чайник и пойти за чаем.

— Я помог Саиди остаться в комсомоле, — сказал Шариф, когда тот вышел.

— Не хвались, друг мой, не важничай! — сказал Эхсан. — Ты помог ему остаться в комсомоле, но ты и не представляешь себе, до какой степени он оторван от жизни комсомола! Ячейка, видно, бросила его на произвол судьбы. Ну, если все твои ячейки так заботятся о своих комсомольцах...

Тут вошел Саиди с чайником. Но и в беседе за чаем он не принял никакого участия, сидел в стороне, дремал и только хотел, чтобы Шариф поскорее ушел.

Шариф просидел до полуночи, а потом Эхсан пошел его проводить и пропадал больше часа. Когда он вернулся, Саиди уже лег, но еще не спал.

— Не могу понять этой вашей нелюдимости, — сказал Эхсан, входя. — Шариф целый вечер с нами сидел, разговаривал по-товарищески, а вы... точно в рот воды набрали. Ну, ладно. Пусть... Кстати, Шафрин только сегодня уехал в Хорезм, просил вам кланяться. Ну-с, а теперь вы должны отчитаться передо мной. Помните, я вам писал, что требую у вас отчета? Вот и давайте — отчитывайтесь!

Саиди привстал на кровати, облокотился о спинку и опустил голову, раздумывая: «Что же я скажу?» Он не знал, с чего начинать. Эхсан, конечно, хочет знать об его писательских делах и об университете. Если начать говорить о писательских делах, придется рассказывать о своих новых друзьях; об ученье же нельзя и заикнуться. Подумав, он вытащил из-под кровати кипу журналов и положил перед Эхсаном. Эхсан перелистал их, увидел холодные ответы «не будет напечатано», прочел, наконец, напечатанный рассказ. Саиди хотел, чтобы Эхсан понял, как ему было трудно.

— «Трудно» — не значит «не могу», — сказал Эхсан, как бы отвечая другу. — «Трудно» требует большого труда. Конечно, трудно растить талант, но в наше время

для этого есть широкие возможности. Вы, Рахимджан, участник великого дела: узбекскую литературу надо поднять до уровня мировой литературы. И вы должны считать своей основной темой то, что утверждает Советская власть, что помогает строительству социализма.

— И сейчас есть такие, что готовы растоптать талант,— сказал Саиди горько.— Вы же видели все эти ответы: «не будет напечатано». Я получал эти ответы не потому, что то, что я писал, не годилось для печати... Скорее наоборот. У нас тоже есть завистники. Например, один из них низкопробный карьерист, поэт, имя которого — Кенджа...

— Какой Кенджа?— удивился Эхсан.— Уж, наверно, в Узбекистане не два поэта с таким именем, а одного я знаю. В Москве мы часто встречались. Кенджа не такой...

Саиди рассказал, что слышал от Якубджана — по поводу напечатания «Каландара». Эхсан замолчал и задумался.

Больше они не разговаривали об этом, но на другой день Эхсан разыскал Кенджу и долго расспрашивал его о Саиди. Кенджа сказал, что Саиди попал в круг «гнилой интеллигенции». То же самое, может, не совсем прямо, говорил и Шариф. Эхсан догадался, что не только Мунисхон связывала Саиди с Салимханом,— и грустно ему стало за прежнего друга. Несколько раз еще пытался он поговорить откровенно с Саиди, но тот решительно уклонялся от серьезного разговора. И между ними, что называется, прошел холодок.

Когда Эхсан вновь уезжал в Москву, Саиди нашел предлог, чтобы не провожать его. И Эхсан отметил это с горечью.

## XXV

Решив окончательно уйти из университета, Саиди почувствовал неопределенность своего положения: давать уроки он не хотел, а в литературе еще не стал таким профессионалом, чтобы обеспечить себе хлеб насущный. К литературе его влекло, и нужно было приложить много усилий для совершенствования того, что ему было дано от природы. Но он уже не мог как раньше весь отдаваться напряженному труду — он не видел в нем большого смысла. Зачем работать днем и ночью, читать, учиться? Важнее — возвращаться в кругу избранных, чаще попадаться на глаза тем, от кого многое зависит. А это легче всего делается за бутылкой. Распитые вовремя и с нужными

людьми пара бутылок принесут больше пользы, нежели двадцать новых прочитанных книг.

В кругу его друзей бутылка значила многое. На одной вечеринке сам Аббасхан стал говорить ему «ты». А давно известно: если сам владыка говорит человеку «ты», все остальные должны ему кланяться...

Каждый четверг Саиди — в гостях у друзей. Знакомится с новыми людьми, еще ближе сходитя с теми, кого знает. Аббасхан обычно пьет мало. Он держится в стороне от всех и разговаривает с теми, кто пьет так же мало, как он сам. У Мурадходжи-домлы есть своя норма, и, как только он превысит ее, делается ужасно распушенным. Салимхан, как выпьет, фальшиво поет у рояля. А Махмуджан-эффенди, ухватившись за первого попавшегося гостя, начинает рассказывать свой любимый анекдот: «Спросили: «Жив ли твой друг?» Ответил: «Он умер». Спросили: «В чем причина его смерти?» Ответил: «Жизнь», — и может повторять это часами. Аббасхан моргает Саиди и, указывая на пьяных, усмехается, значит, считает его трезвее других. Саиди гордится этим: разве плохо, что среди всех этих, пусть важных и значительных, но сейчас опьяневших и болтающих вздор людей, он один настолько владеет собой, что понимает намеки и гримасы трезвого Аббасхана! Другие, чтобы не пьянеть, глотают сливочное масло, пьют уксус... Саиди же иногда так, чтоб все видели, залпом осушал стакан и ничем не закусывал, только вытирал рот тыльной стороной ладони, — и не пьянел.

По мере того, как Саиди все больше входил в круг своих друзей, круг этот становился шире, и часто теперь он встречал здесь таких людей, о которых раньше и не думал, что они могут принадлежать к этому кругу. Кто хоть однажды с ним чокался, в другой раз уже клал ему руку на плечо и называл его «мой друг» или «дорогой брат». Когда-то встреченный им у Салимхана и пренебрежительно к нему отнесшийся следователь Мирза Мухитдин теперь стал называть его «мой друг Рахимджан». И среди литераторов Саиди стал своим. Казавшийся ему раньше недостижимым поэт Джамал Карими — Ульфат теперь давал ему читать свои стихи и интересовался его мнением. Все это Саиди расценивал как свой успех. Он утвердился в правильности своего решения бросить опостылевший ему факультет, а за эти летние месяцы бутылка вознесла его на такую высоту, что ему уже не хотелось быть трезвым.

Среди приятелей Саиди были люди, высоко ценившие способность пить и не пьянеть и любившие демонстрировать это свое качество. Обычно четверговые пирушки не всегда давали возможность это проделывать. Тогда собутыльники уговаривались устроить «пьяный четверг» в другие дни недели. Побывав однажды на таком четверге, Саиди и сам стал их устраивать.

Этот дружеский круг, куда, казалось, входили только несколько человек, с появлением Саиди стал расширяться. Теперь в него входили не только хозяйственники и работники финансовых учреждений, но даже владельцы пивных и столовых, и с этими людьми Саиди тоже чокался и выпивал. Сначала он чувствовал себя при этом неловко, тем более, что вечеринки часто бывали либо у этих лавочников, либо устраивались за их счет. Что-то заставляло Саиди сторониться этих лавочников. Но — лишь до первой рюмки, а потом они начинали ему казаться такими же, как все, а после двух-трех встреч становились уже близкими друзьями.

В один из таких «пьяных четвергов» среди новых знакомых его внимание привлек некий человек по имени Хайдар-хаджи. Саиди впервые увидел его на вечеринке у следователя Мирзы Мухитдина — в узком кругу. Хайдар-хаджи, человек лет сорока, среднего роста, худощавый, смуглый, был одет неряшливо и неприглядно. На голове — засаленная, ставшая жесткой, как кожа, тюбетейка, на плечах халат, не уступавший ей в засаленности, а поясной платок он подвязывал так высоко, что, казалось, будто живот у него начинается под подбородком. Он так проворно вскочил с места и так низко стал кланяться, когда вошел Саиди, что сразу упал в его мнению, и тот счел его человеком гораздо ниже себя.

Всем своим видом, манерой держаться, словами и жестами Хайдар постоянно показывал, что считает себя ниже всех присутствующих, что каждый может приказывать ему, что он ждет приказаний и готов их выполнить. Но в глазах Мирзы Мухитдина старая потрепанная тюбетейка Хайдара — как царский венец.

— Ваш Хайдар-хаджи, кажется, неплохой человек, — сказал Саиди Мирзе Мухитдину несколько дней спустя. — Когда я его увидел в первый раз, он мне показался жалким, а сейчас я вижу, что в нем что-то есть...

— До революции у него была своя типография, потом он был учителем. Но, вы знаете, везде много склочников, он не вынес интриг и сплетен, ушел из системы

просвещения, занялся торговлей. Но авторитет его высок, он пользуется всеобщим уважением... куда бы ни приехал... На него наложили налог — четырнадцать тысяч. А во время земельной реформы отобрали всю землю. Правда, пришлось похлопотать, попросить того-другого, и часть земли удалось вернуть. Но это вызвало шум, дело пересмотрели — и вся его земля ушла от него. К тому же на него донесли, будто он поставляет лошадей басмачам... Я был как-то у него дома. Какие у него удивительные книги! Целая комната книг... Давайте пойдем к нему как-нибудь — посмотрите его книги.

Саиди теперь все больше входил в среду солидных писателей. Литературное объединение на одном из своих собраний обсуждало произведения молодых и дало высокую оценку Саиди. Редакции газет теперь слали ему письма, предлагая принять участие в литературных страницах.

О своем продвижении в литературе Саиди узнавал чаще всего на собраниях писателей. Он уже не прятался, как сирота, в каком-нибудь углу. Он сидел теперь в первом ряду, среди известных писателей, поэтов, прозаиков, критиков, переговариваясь с ними, смеясь, переглядываясь и перебрасываясь записками с сидящими в президиуме. Он пользовался авторитетом, которого не было даже у Кенджи, хотя тот уже давно был известным поэтом.

## XXVI

Однажды Мурадходжа-домла пригласил Саиди в гости, сказав, что ему прислали из кишлака замечательное вино, настоящее на лепестках роз.

Саиди застал Мурадходжу-домлу во дворе: тот только что вышел из ичкари, отчитав жену, которая не управлялась всего лишь с четырьмя коровами, и теперь ругал батрака, не выпустившего вовремя кур из сарая. Увидев вошедшего в ворота Саиди, домла даже не дослушал, что отвечал ему батрак, и, поздоровавшись, повел Саиди в комнату для гостей. Проходя по коридору, Саиди заметил на одной двери записку: «Входите, не вытирая ног, и не закрывайте дверей», — и засмеялся. Домла объяснил, что это его рабочая комната, а надпись сделана специально для Хайдара-хаджи, когда он гостил здесь прошлой зимой. Он ввел Саиди в эту комнату и развлекал его шутками и анекдотами, пока из ичкари не принесли дастархан.

В комнате домлы просторно, лишних вещей нет. У

большого окна с желтой занавеской — низкий резной столик на толстых ножках, между ним и узкой нишей, в которой лежат газеты, стоит черная этажерка с двумя полками: на верхней — маленький бюст Ленина, на нижней — старые, еще дореволюционные журналы. Против окна на стене висят портреты Бедиля и Нариманова, под ними — снимок с развалин медресе Биби-Ханым и несколько фотографий, сделанных в Коканде. Сам домла снимался очень редко, у него есть только одна его фотография, снятая в Уфе в четырнадцатом году, но он ее не повесил на стену, а держит в альбоме, который называется «Султаны Турции».

Когда слуга доложил, что угощение подано, домла повел Саиди в другую комнату — как он назвал, «комнату наслаждений». Эта комната была устлана дорогими коврами, на стенах висели картины, большей частью пейзажи. Все вещи в комнате были старого, царского времени.

Разливая по пиалам коньяк, домла говорил:

— Я человек опытный, хорошо знаю людей... У меня сейчас одна-единственная цель... хочу, чтобы вы стали великим человеком... готов посвятить этому всю свою остальную жизнь... Когда я учился в Уфе, я слышал там об американском газетчике по имени Хёрст. Оказывается, у него был редактор, который должен был ежедневно давать ему статью размером в одну газетную колонку, а за это получал двенадцать тысяч золотом в год. Вот что такое талант, способности человека. А вдруг придет время — и вы станете таким великим человеком... и я приду к вашим дверям, буду звать вас, а вы и дверь мне открыты не захотите — будете говорить со мной через окно, — я все равно буду рад...

— Я верю в себя, домла, верю, что буду большим писателем, — отвечал Саиди, которому были приятны речи хозяина. — Архимед говорил: «Дайте мне точку опоры, и я переверну земной шар!» Я тоже все переверну, если у меня будет точка опоры, если мне создадут подходящие условия.

Домла от радости подскочил, перевернул пиалу с вином, стал уверять, что никто не может создать Саиди такие условия, как сам домла, и повторил, что он готов отдать жизнь, чтобы сделать Саиди великим человеком.

Теперь, если по какой-либо причине не состоялись «пьяные четверги», Саиди стал приходить к домле.

В день, когда ожидался приход Саиди, домла, едва проснувшись уже начинал готовиться к этому событию:

велел жене стряпать редкостные блюда, рецепты которых обдумывал ночью, выбирал вино получше, сам прибирал свою рабочую комнату и гостиную, смотрел, расстелены ли на пушистом ковре шелковые курпачи и пуховые подушки, хорошо ли расставлено угощение на белоснежном дастархане, все ли готово для предстоящего приема. Потом он выпивал пиалу коньяка и ждал Саиди.

Такие четверги случались часто, и всякий раз главной темой разговора было будущее Саиди. Доброе отношение домлы к Саиди было таким искренним, а доверие к нему так велико, что домла принимал его уже не в комнате для гостей, а в ичкари, на женской половинке. Вообще-то домла ценил на свете только богатство и свою собственную жизнь, но с некоторого времени не меньше, чем в эти ценности мира, он поверил в ценность Саиди.

Так прошло лето. В конце сентября Саиди получил письмо с факультета — от комсомольской тройки, проверявшей успеваемость и посещаемость лекций студентами. А через неделю к нему явился какой-то человек и целый час допрашивал его, почему он бросил университет. Саиди еле отвязался от него, солгав, что поступил на литфак в Москве.

## XXVII

Мурадходжа-домла — толстый, крупный человек — всегда удивлялся, почему так худа его дочь. Будь Сорахон худа только по сравнению со своим отцом — куда ни шло! Она выглядела бы нормальной, как многие худощавые и не очень красивые девицы ее возраста. Но в tomto и дело, что Сорахон намного худее самых тощих своих ровесниц. Это делает ее невероятно длинной и внушает окружающим опасения, что она вот-вот переломится не менее как в четырех местах сразу. Как многие чересчур худые и высокие люди, она ходит несколько согнувшись и наклонившись всем корпусом вперед. Жилистые и костлявые ее ноги, торчащие из-под атласного платья, вечно отстают от туловища и спешат за ним, стараясь сохранить равновесие тела. Ее руки в синих жилах с длиннющими тонкими пальцами никогда не висели покойно вдоль тела, а были сложены на животе и постоянно шевелились. Если бы ее черные кудрявые, похожие на хвосты породистой коровы, косы не падали ей все время на грудь и она не должна была бы с досадой отбрасывать их на спину, тому, кто видел ее сзади, могло показаться, что она несет на животе что-то тяжелое.

Лицо Сорахон смугло и словно стянуто панцирем. Смеясь, она не растягивает рот, как отец, а поджимает свои тонкие бескровные губы, чтобы скрыть кривые зубы, да и когда разговаривает, губы ее еле двигаются.

Сорахон — единственный ребенок домла. Семеро старших и шестеро младших братьев и сестер ее умерли в раннем детстве. Поэтому домла особенно любит Сорахон и даже все ее недостатки готов считать достоинствами. Никто в семье не смеет поручить ей что-то сделать, повысить голос на нее. С тех пор, как ей исполнилось двенадцать лет, все и сам домла тоже обращаются к ней на «вы». С этого же времени она перестала ходить в школу. Домла попробовал было учить ее дома немецкому языку, но она так жаловалась на учительницу, что пришлось прекратить уроки. На этом учение ее закончилось. Тогда у домлы возникла мысль подыскать ей в мужья хорошего парня, взять его в дом и предоставить обоим возможность учиться.

И вот Мурадходжа-домла встретил такого человека, которому даже не нужно учиться, а нужны лишь хорошие условия для работы. Человек этот растет с каждым днем, источники его доходов все увеличиваются, доходы тоже. Придет день, когда домла сможет хвалиться своим зятем и гордиться, что помог ему вырасти. Нужно только постараться не упустить такого зятя.

Но тут была и еще загвоздка. Если бы дело было только в том, чтобы создать хорошие условия, домла сделал бы больше, чем нужно. Труднее отвлечь Саиди от Мунисхон, но самая большая трудность, оказывается, в том, чтобы свести его с Сорахон. И тут домла впервые — с тех пор, как стал говорить «моя дочь», — понял, что дочь у него некрасива.

На одной из дружеских вечеринок Саиди, опьянев, заговорил о Мунисхон:

— Нет на свете девушки грациознее Мунисхон...

— Девушки?! — переспросил со смехом домла. — Да ведь она носит в себе ребенка от Ильхама!

Саиди так и подскочил при этих словах, но домла сделал вид, что не заметил этого. А Саиди вспомнились слова Мунисхон, когда-то сказанные об Ильхаме: «Он хороший парень... один из ближайших друзей моего брата...» Ревность пронзила его сердце. Он не мог не поверить словам человека, который так добр к нему, который все готов сделать, чтобы Саиди стал большим писателем; но он не в силах был выбросить Мунисхон из сердца. И он



постарался не давать воли этим двум противоречивым чувствам.

## XXVIII

Редактор областной газеты поставил свое имя под только что законченной передовицей и самодовольно оглядел сидящих перед ним заведующих отделами.

— Я назвал статью так: «С молниеносной быстротой»,— сказал он хвастливо.— Найти удачное заглавие для статьи — большое мастерство журналиста. В Америке, например, иной броский заголовок может увеличить тираж газеты,— от него зависит либо новая прибыль, либо крах...

— Поэтому, товарищи,— подхватил Мурадходжадомла,— учитеесь придумывать заголовки. У нашего редактора опыт... никто еще не был до него два года подряд редактором нашей газеты...

Громкий смех, раздавшийся в соседней комнате, заставил редактора сердито взглянуть на секретаря. Но не успел секретарь вскочить, чтобы выяснить, кто там, в комнату смело шагнул деревенский парень в потрепанной одежде. Он оглядел по очереди всех присутствующих и спросил:

— Кто здесь редактор газеты?

Редактор поручил Мурадходже-домле поговорить с пришедшим.

— Я хочу получить обратно свои деньги,— сказал парень,— из двенадцати месяцев прошло четыре и одна неделя, за это, так и быть, вычтите сколько надо, а остальные деньги верните мне. Я больше не хочу читать вашу газету... И сообщать в нее ничего не буду.

— Значит, вы подписались на газету и четыре месяца ее получали,— сказал домла,— а теперь, значит, не хотите ее больше получать и не станете читать? Вы — грамотный?

— Нет, я неграмотный, мне ее читали, и я слушал. А когда в кишлак приезжали корреспонденты из газеты, я рассказывал им про нашу жизнь, думал, что пригодится...

— Почему же вы теперь не хотите читать нашу газету? Разве вы против Советской власти?— спросил, улыбаясь, домла.

— Да разве же она советская? Советская власть говорит: нельзя, чтобы батраки жили у бая в хлеву вместе со скотиной... Советская власть хочет дать всем крестьянам землю, чтобы они сами были хозяевами на земле... А ваша газета выступает против Советской власти.

— Когда же и где она выступала против?— спросил редактор, вытянув и без того длинную тонкую свою шею.

Парень вытащил из кармана измятый, сложенный в несколько раз листок газеты и положил перед редактором

— Вот посмотрите-ка! Разве выступать против земельной реформы не значит идти против Советской власти?

У редактора мгновенно испортилось настроение, когда он разворачивал газету. Мурадходжа-домла криво улыбался. С недоверчивым видом редактор просматривал газету и вдруг наткнулся на такие строчки в статье Мурадходжи-домлы.

Как листья тополя дрожит моя душа:  
Мой старый дом теперь хотят разрушить...

Он посмотрел на Мурадходжу и дрожащими руками стал тереть лицо.

— Что ж, товарищ правильно ставит вопрос,— сказал аведующий массовым отделом газеты Кенджа.

Мурадходжа-домла мог перевернуть любое замечание, любой выговор редактора, он мог бы сказать о себе: «Я проглочу и камень»,— но эти слова были сказаны Кенджой, а его домла не выносил и называл «крапивой». Он покраснел, на лбу у него вздулись жилы, потом страшно побледнел и вымолвил, кривя рот:

Ах, так? Вы считаете это правильным?

Редактор почувствовал, что назревает ссора, и, как ребенок при ссоре родителей боится, что дело может дойти до разрыва, растерялся. Он поспешил объяснить парню, что статья эта давнишняя, что она попала в газету случайно, что редакция уже приняла свои меры, и, выпроводив посетителя, постарался потушить скандал. Но домла не хотел слушать никаких уговоров.

— Вы считаете себя поэтом, а вы — просто желторотый воробышек,— сказал он Кендже, натянуто улыбаясь.— Когда я начинал работать в газете, ваша мать еще была девочкой и только подвязывала к животу подушку, чтобы вообразить себя матерью! Так-то, братец!

Кенджа, вняв просьбам редактора, ничего не отвечал, только рассмеялся, но, складывая бумаги, не удержался:

— Удивляюсь, как этот человек еще живет на земле,— ведь саван сейчас стоит всего рубль...

— Чтоб тебе сдохнуть!— закричал разгневанный домла.— И чтобы твои родные все сдохли, и все твои соседи,

весь твой поганый род! И чтоб в день страшного суда из ваших могил встали свиньи вместо людей!

Скандал разразился и кончился тем, что домла ушел из редакции. Редактор страшно рассердился, целый час жаловался на отсутствие новых кадров и на трудности работы со старыми и дал понять, что терпению его наступил предел.

— Довольно! — сказал он, ударив кулаком по столу. — Позор, когда советская печать выступает против революционных преобразований Советской власти! Необходимо очистить редакцию!

Но, издав в тот же день приказ об освобождении домлы от работы в газете, редактор вечером пошел к нему домой, чтобы извиниться перед ним, ибо считал домлу образованным и знающим человеком.

А через два дня редактор докладывал на бюро областного комитета партии о работе газеты и предложил проект чистки редакционного аппарата. Бюро объявило редактору выговор, но проект одобрило. Редактор был рад, что, слава богу, отделался выговором, и немедленно приступил к обновлению редакции. Первым кандидатом был Саиди. Он считался растущим молодым писателем, он — политически грамотный, образованный человек, выступал против статьи Мурадходжи-домлы. Все это редактор знал, а чего не знал, нашептали ему такие доброжелатели Саиди, как Салимхан и Аббасхан.

Когда Саиди пришел первый раз на работу в редакцию, молчаливый Якубджан пересел за стол рядом с редактором и зарылся в бумаги.

Сменив почти весь персонал, редактор успокоился. Он решил, что теперь редакция будет работать, как машина: поверни ключ — она проглотит бумагу и выплюнет номер газеты. А решив так, уже не считал нужным являться на работу каждый день и свои передовицы присылал с курьером. Люди, рекомендовавшие ему Саиди и Якубджана, хвалили теперь газету, находили в ней улучшения, и редактор гордился собою.

Саиди был назначен ответственным секретарем редакции, но вскоре он уже заменял технического редактора и даже иногда писал передовые статьи. Редактор во всем советовался с ним, прислушивался к его замечаниям, и это придало Саиди в редакции большой вес. Чем значительней становилась роль его в газете, тем меньше значило теперь слово редактора — и это знали все, начиная с самого редактора и кончая рассылным. А с ростом

влияния росли и доходы Саиди. Мурадходжа-домла однажды сказал ему:

— Мой отец, когда был в вашем возрасте, стал чиновником у хана, и дед ему говорил: «Сын мой, увеличивай свои доходы, покупай землю, строй дома, копи золото». А мой отец не придавал значения этим словам, думал, что богатство от него не уйдет и будет все прумножаться. Но вдруг — откуда ни возьмись — приходят русские, хана уже нет, и отец мой теряет свою должность. Стал подсчитывать свое имущество — оказывается, ничего не прибавил к тому, что получил от деда... Вот так, Рахимджан, бывает иногда, что богатство бежит за человеком. Неумный человек решит, что так и будет всегда... но я знаю... У меня есть опыт... Деньги надо ловить и удерживать. Случай приходит лишь раз... Вам надо жениться... у вас будет семья, дом... Вы научитесь приобретать хорошие вещи. Сейчас вы бросаете на ветер по пять-десять рублей, а если их собрать вместе, получится, что они будто с неба упали. А деньги могут родить деньги.

— Вы говорите о процентах в сберкассе?

— Ну, что вы... — сказал домла, пренебрежительно махнув рукой. — Пусть пропадут их жалкие восемь процентов!

Мурадходжа-домла был не прочь сам стать казначеем Саиди.

Когда-то Саиди нуждался в деньгах, теперь он уже выбрался из болота нужды и не только выбрался, но поднимался высоко в гору благополучия. И, достигнув вершины, казалось, достиг всего. Но тогда перед ним замаячили новые вершины. По сравнению с ними, его нынешнее положение представилось ему нищенским, тысячи, проходившие через его руки, уже не удовлетворяли его. Разве нельзя превратить эти жалкие тыщонки в десять, пятнадцать, сто тысяч?

Вот в это-то время Мурадходжа-домла, взяв у него тысячу рублей, трижды обернулся с ними и вернул ему уже полторы тысячи, доказав ему еще раз свое расположение.

Так шли дни и месяцы.

Университет, казавшийся ему гибельной ямой, комсомол, толкавший его в эту яму, теперь были так далеко, что он почти забыл про них. С тех пор, как он снялся с комсомольского учета на факультете и сжег свою учетную карточку, постоянно терзавшее его смутное беспо-

койство исчезло. Но появились другие заботы. Теперь его беспокоил Кенджа и его приверженцы.

— Товарищ Саиди,— обратился к нему как-то после работы Кенджа,— поступает много жалоб от наших корреспондентов на местах. Сказать по совести... я проверил эти жалобы. Действительно, вся газета у нас заполняется материалами редакционных работников. Рабкоровским заметкам совсем почти не уделяется места.

— Кенджа-ака,— отвечал Саиди с таким видом, будто проглотил горькое лекарство,— за газету отвечает в первую очередь редактор, потом я. Занимались бы вы лучше своими стишками... Я сам просматриваю все поступающие материалы... если нет пригодных, мы не можем ждать, пока они появятся. В каждом номере у нас не меньше ста подписей...

— Ну, что касается подписей, то их можно довести и до тысячи.

— Как же вы это сделаете?

— А как это делает Саиди, подписываясь один семью разными именами? Как это получается у Якубджана, который подписывается пятью именами? Вот как это делается! Надо иметь совесть! Во вчерашнем номере напечатаны четыре заметки Якубджана, подписанные четырьмя именами. А заметки наших рабкоров лежат! Сведения устаревают, и типография рассыпает набор.

— Ну, что ж, пишите и вы тоже,— сказал Саиди, взяв портфель и вышел.

Вскоре и другие заведующие отделами стали жаловаться, что подготовленные ими материалы лежат без движения и устаревают. Поднялся скандал, разговоры дошли, наконец, до редактора. Редактор решил, что Кенджа прав, но упрекал его за то, что он поднял скандал, а не обсудил вопрос в мирной товарищеской обстановке.

— В нашей работе главное — согласованность и единomyслие,— сказал редактор в заключение своей длинной речи.— Что такое наша работа? Молоко. Какова форма нашей работы? Глиняный горшок для молока. Какие условия нашей работы? Телега. Куда мы идем? К социализму. А что такое споры и нелады в нашей работе? Ухабы и кочки на пути. Чем больше будет на нашем пути ухабов и кочек, тем больше будет трястись наша телега, а молоко расплескается и может прокиснуть. Работать нужно в мире и согласии. Что значит мир? Веревка. Но нельзя привязывать корову за один рог. Что такое дружный коллектив? Хорошая семья. Когда сердится

муж, уступает жена, а когда раздражена жена, должен уступить муж.. Иначе дети останутся сиротами...

Так этот серьезный инцидент, к радости Саиди и Якубджана, свелся к шуткам и смеху. Саиди и Кенджа внешне помирились и держались друг с другом по-товарищески.

Всегда хмурый, всегда молчаливый Якубджан однажды утром встретил Саиди с улыбкой. Когда Саиди сел за свой стол, Якубджан подошел к нему и ткнул его холодным пальцем в лоб.

— Вам всадыт пулю прямо вот в это место...

— Кто? За что? — спросил Саиди, отталкивая его ледяной палец.

— А мне от этого прибыль...

— От того, что меня расстреляют?

Якубджан хихикнул, втянул голову в плечи и на цыпочках, словно боялся, что его услышат, подошел к печке и приоткрыл дверцу. Там были остатки сгоревших бумаг. Якубджан так же осторожно прикрыл дверцу печки, вынул из своего ящика пачку бумаг и положил перед Саиди.

— Отдайте это Кендже, пусть выберет подходящий материал...

Саиди понял. То, что сделал Якубджан, было ему и приятно и противно, но он сам не знал, что именно приятно и что противно.

Саиди отдал бумаги Кендже, и Кенджа, просмотрев их, должен был прикусить язык. Теперь, когда Якубджан распределял ежедневную почту по отделам, Саиди с улыбкой показывал на печь и тихо говорил: «Довольно уж, не жгите больше». И Якубджан, повинувшись Саиди, оставлял часть присланного, но это были такие материалы, что не прошло и месяца, как Кенджа вновь взорвался.

— Если так пойдет, наша газета потеряет всякий авторитет! Что же это такое? В каждом номере мы только и знаем, что критикуем да бьем кого-то. Газета полна жалоб на правительственные учреждения. Скоро не останется ни одной организации, какую мы не обругали бы... Только и делаем, что кричим о недостатках, но есть же у нас что-то хорошее, наконец?!

Редактор поднял бровь и прикусил язык. Это был такой удобный момент, чтобы попрекнуть Кенджу, что даже молчаливый Якубджан не выдержал и проворчал:

— Если не печатаем письма корреспондентов, вы говорите: плохо, а если печатаем, вы опять недовольны. Вам бы быть редактором!

Кенджа рассердился и хотел возразить, но редактор его остановил.

— Во-первых, не нужно бояться критики. В большевистской печати должна быть и большевистская критика... Если что плохо, скрывать это — контрреволюция! Но, конечно, надо показывать и хорошие стороны нашей действительности, я согласен. У нас есть недостаток в этом. В чем причина? В плохой работе отдела писем. А почему он плохо работает? Потому что мало у нас политически грамотных, опытных корреспондентов. Почему их мало? Потому что мы только делаем первые шаги к культуре. А почему только первые шаги? Да потому что наша страна еще недавно была отсталым колониальным краем...

Редактор не остановился бы, пока не дошел бы до появления человека на земле, но Кенджа прервал его и внес свои предложения. Редактор с радостью с ним согласился и даже выразил удовлетворение по поводу того, что Кенджа явно вырос как газетный работник.

### XXIX

Только случайность спасла зятя Саиди Мухаммедраджаба. Он давно уже стоял одной ногой на земле, другой — в своей лавке, но после земельной реформы землю у него отобрали, и он повис в воздухе. Как пламя свечи на ветру, он трепетал при малейших переменах в жизни.

И вот в это время его обязали выплатить девять тысяч налога. Пока не была известна точная сумма, можно было просто опасаться, а когда узнали, надо было изыскать способы, как ее сократить. Уменьше находить эти способы считалось в те времена обязательным для частного торговца.

Мухаммедраджаб, пока еще не известна была сумма очередного налога, обычно умел подготовиться к нему, давая взятки, рассовывая деньги во все известные ему дыры. Он знал толк в этом деле, недаром ему отдавали должное тайные и явные торговцы, советовались, оказавшись в трудном положении, и он давал полезные советы. Иногда он даже бывал посредником между дающими и берущими взятки, и это порой приносило ему большую прибыль, чем торговля.

Еще недавно, если что менялось в учреждениях, с которыми был связан Мухаммедраджаб, то он умел приспособиться и к этим переменам и к новым людям. В конце концов «новые работники» оказывались ничуть не лучше старых, и все устраивалось. Но последний налог

в девять тысяч совпал с такой переменной, которая оказалась непохожей на все предыдущие, и Мухаммедраджаб не знал, как к ней приспособиться. Он вдруг растерял всех, кто мог бы ему помочь. Никто не мог ему объяснить, что происходит, говорили только как-то неопределенно, что теперь пришли «люди снизу», а что это значит, никак не укладывалось в голове. И все-таки один старый клиент Мухаммедраджаба — какой-то инспектор — взялся скостить ему налог наполовину, потребовал за это семьсот рублей да при этом обильно угощался у него дома. Через неделю он пришел, сообщил, что все улажено, и взял еще сто рублей. А еще через несколько дней стало известно, что инспектора этого арестовали.

Мухаммедраджаб сначала опасался, но прошел месяц-другой, и ничего не произошло. Ему сообщили, что инспектор арестован совсем по другому делу. Потом как-то пришел к нему брат инспектора, принес книгу, сказал, что в ней письмо, и научил, как его прочесть: на каждой странице книги было отмечено по букве — и получилось такое послание: «Добился полной отмены налога. На этой неделе выйду. Дайте подателю сего три-четыре сотни рублей».

Мухаммедраджаб обещал дать деньги на другой день, промучился всю ночь и на завтра рано утром сам отнес сто рублей.

Прошло два месяца, а инспектора все не выпускали. Старых друзей у Мухаммедраджаба не было, а новых заводить, хотя знакомства и много значили в торговом деле, он боялся. Тем более, что их общие с компаньоном сто двадцать три штуки бархата и семь ящиков чая попали в руки милиции. Мухаммедраджаб так нервничал, что готов был даже послать жену к Рахимджану, хотя в свое время грозил ей: «Если будешь видеться с ним, разведусь с тобой».

Весь свой товар, спрятанный в амбаре, он роздал родным и знакомым. Лавку, где выставлены были образцы, не открывал целую неделю; с утра до вечера ходил советоваться с приятелями. Но одни уже от него отвернулись; другие же прямо сказали, что время теперь неспокойное, легко можно попасть в чужую беду, и не хотели помогать ему, как раньше.

Каждый день Мухаммедраджаб совещался с разными законниками и кляузниками. Домой приходил усталый, измученный, все же не теряя надежды, но дома вечером, когда он пытался подвести итог сделанному, оказыва-



лось, что нет не только никакой надежды, но и намека на нее. В один из таких вечеров жена напомнила ему о Рахимджане.

— Вы сами виноваты. Если бы мы сохранили хорошие отношения с Рахимджаном, он мог бы сейчас нам помочь. Он сейчас куда больше зарабатывает, чем раньше. Говорят, что он вхож в любое учреждение, решает всякие важные вопросы... Такая большая у него теперь должность, говорят...

— Да что он может сделать? — сказал Мухаммедраджаб небрежно; ему хотелось, чтобы жена продолжала разговор об этом, тогда он мог бы согласиться с ней и уступить. Но она не продолжила разговор. Он ждал на другой день, но она молчала; тогда, придравшись, что она не сменила воду в чилме, он избил ее и, рассерженный, вышел на улицу.

Уже целую неделю город не видит солнца. Днем и ночью то снег идет, то дождь, а иногда и снег и дождь одновременно. Небо словно опустилось на крыши. По мощенным булыжником улицам текут потоки жидкой грязи. В переулках — грязь по колено. Дувалы отсырели и кое-где развалились. Весь этот день шел мелкий дождик, к вечеру посыпал снег. Снег задерживался только на крышах, где лежали бревна и сено, да побелела немного середина переулка.

Когда Мухаммедраджаб, осторожно ступая в темноте, вышел уже на угол большой улицы, он увидел на противоположной стороне переулка пьяного, который еле плелся, держась за забор. Пока Мухаммедраджаб добирался до него, тот поскользнулся и упал на колени. Мухаммедраджаб остановился, оглядел его внимательно, даже зажег спичку, чтобы рассмотреть пьяного, и тут же узнал: он видел этого человека летом в ресторане в городском саду с Рахимджаном Саиди. Приятели сказали тогда, что это следователь Мирза Мухитдин. Мухаммедраджаб зажег еще спичку, позвал: «Эффенди!» Пьяный качнулся и, ухватившись за стену, выругался, потом, пытаясь вытянуть из грязи ногу, поскользнулся и окончательно увяз в луже. Мухаммедраджаб бросил догоревшую спичку и зажег новую, но все было уже кончено: Мирза Мухитдин лежал в грязи посреди переулка и, чтобы найти его, мало было и целого коробка спичек. Но Мухаммедраджаб обошелся всего десятком спичек, нашел место, куда нырнул следователь, смело ступил в грязь и сунул вперед руку. Хорошо, что рука его нащу-

пала голову, иначе Мирзе Мухитдину пришлось бы плохо. Мухаммедраджаб тут же стал вытирать ему лицо, но главное было в том, чтобы выволочь его из грязи. Он снял с Мирзы Мухитдина шубу и кое-как дотащил его к себе домой.

Наутро Мирза Мухитдин пришел в себя, но глаз не мог открыть. Голова его, особенно затылок, болела ужасно, в горле пересохло, язык вздулся и с трудом поворачивался во рту, сердце билось так сильно, что он сам слышал его стук. Он попытался облизать языком слипшиеся губы и нашупал какую-то толстую корку на них, которая отвалилась, когда он потрогал ее рукой. Упав, она раскрошилась, и он понял, что это глина. Он попытался вспомнить, что с ним случилось. Все было смутно, как сон: он наступил ногой на дутар, сломал его, ударил дядю Магруфа; до этого или после — он пел со всеми, какая-то женщина была рядом, потом подали плов. Но, что было дальше, он не мог вспомнить и удивлялся, почему у него на губах глина. Он пощупал лоб — не жар ли у него? Тронул рукой слипшиеся волосы. На волосах тоже хрустела засохшая глина. Руки тоже были все в глине. Он хотел подняться, но голова у него закружилась, и он свалился с кровати.

Он никогда раньше не видел этой комнаты, в которой не было ничего, кроме сундука, рваного ковра на полу и деревянной кровати. Неужели хозяин пирушки, на которой он был, поместил его сюда? Мирза Мухитдин обиделся. Поднявшись с пола, он увидел, что и рубашка и штаны на нем были чужие. Завернувшись в одеяло, он подошел к двери и постучал. Вошел кто-то незнакомый.

— Ах, мой эффенди, ну и проказник же вы!...

— Где хозяин? Где все? Нет ли холодного чаю?

Мухаммедраджаб принес чай и, переливая его из одной пиалы в другую, чтобы остудить, назвал себя и рассказал, что произошло.

— Вот посмотрите, — сказал он, показывая серебряный портсигар, — он лежал у вас в кармане, но даже и он был полон грязи... Когда я вас переодел в чистое белье и посадил на эту кровать, вы совсем было перестали дышать. Я так испугался...

— А где мое пальто? Там в кармане...

— Там было оружие, я его спрятал, не извольте беспокоиться...

Мирза Мухитдин выпил пиалу теплого чая. Но даже чай обжег ему рот и опьянил его, как водка.

— Никто ничего не знает,— сказал Мухаммедраджаб,— когда вы упали, я даже не понял, что вы пьяны. Вы держались молодцом. Ваш друг Рахимджан тоже умеет пить... Но как же ваши друзья вас отпустили в таком состоянии? Верно, сами были нетрезвы. Вы, наверное, захотели уйти домой. У нас с вами, оказывается, одинаковая привычка: я тоже, когда выпью, не остаюсь ночевать в чужом доме... Но чего не бывает с нами в молодости... Я велел приготовить рисовый суп, выпьете чашку, и все пройдет. Или, может быть, выпьем по рюмочке, чтобы голова не болела?

Мирза Мухитдин, сморщившись, покачал головой и только рыгнул.

Но и рисовый суп, каждая ложка которого жгла глотку, не привел Мирзу Мухитдина в чувство. До самого вечера он пролежал в кровати; тело болело меньше, но слабость была еще страшная. Состояние его ухудшалось тем, что он не знал, что же он делал вчера, что с ним было. Мирза Мухитдин совсем разболелся. Поэтому Мухаммедраджабу не удалось ему рассказать о своих делах, в сумерки он послал Мухаммедраджаба к хозяину вчерашней пирушки — владельцу бани и велел привести его. Только после того, как банщик заверил его, что он ничего дурного не натворил и ушел домой мирно, у Мирзы Мухитдина немного улучшилось настроение.

— Мне пора уходить, найдите какой-нибудь мешок и сложите мою одежду,— сказал Мирза Мухитдин.

— Нет, мой господин! Ваше белье я велел выстирать и выгладить, оно готово,— одевайтесь. Костюм и пальто я потом привезу вам сам. Вы не хотите остаться у меня, а отвезти вас мне неудобно — вы человек государственный, а у нас так много сплетников...

У ворот уже ждал извозчик.

На другой день поздно вечером Мухаммедраджаб принес Мирзе Мухитдину брюки. Мирза Мухитдин был опять выпивши, жаловался на боль в затылке и хотел быстро выпроводить Мухаммедраджаба, но тот целый час ему рассказывал, как нашел его в грязи, как он потом раскапризничался и требовал: «Немедленно найди мне женщину».

Мирза Мухитдин почувствовал себя неловко и перевел разговор на другое:

— Я рассказал все Рахимджану, я и не знал, что у него есть зять... Между вами что-то вышло? Он мне толком не сказал.

— Да... что-то было... Я был виноват, а он по моло-

дости лет погорячился.. Он немного вспылчив.. Но в общем ничего серьезного... я был сам виноват...

Выждав два дня, Мухаммедраджаб пришел с пиджаком. Мирза Мухитдин уже не говорил о Саиди, но он сам заговорил о нем и просил передать ему привет. Так он сделал опять, когда еще через день принес Мирзе Мухитдину ботинки; в последний раз, принеся пальто, он уходить не спешил и разговаривал до полуночи.

— Вам нужно помириться с Саиди,— сказал напоследок Мирза Мухитдин.— Вы же говорите, ссора у вас была несерьезная. Я вас помирю. Раз вы виноваты, вы должны устроить вечер примирения. Я приведу Рахимджана. Он меня послушается.

— Всем сердцем буду вам благодарен,— отвечал Мухаммедраджаб,— назначьте только день, когда устроить вечеринку, я готов все сделать...

### XXX

Мирзе Мухитдину вряд ли удалось бы привести Саиди на вечеринку, устроенную его зятем в знак примирения, если бы не вмешался Джамал Карими, который уговорил его. В самом деле: Мухаммедраджаб сам признал себя виноватым, первый попросил прощения, а кроме того — чем виновата была бедная сестра Рахимджана? Почему из-за Мухаммедраджаба он не может встречаться с сестрой?

Саиди почувствовал даже угрызения совести перед сестрой. Но он не представлял себе, что будет на вечеринке и как он помирится с зятем. Он накопил игрушек и сладостей для детей сестры и явился в дом зятя с Мирзой Мухитдином и Джамалом Карими. Мухаммедраджаб встретил их за воротами и без всякого стеснения обнял Саиди. От него разлило водкой и луком. Никакой неловкости не произошло. Как только Саиди вошел в дом, сестра повисла у него на шее, расплакалась и увела его на кухню.

— Как ты мог так долго не вспомнить обо мне?.. Но теперь, видно, бог пожалел меня... Кто у меня есть, кроме тебя?

У Саиди тоже навернулись слезы на глаза.

— Что ж ты плачешь? Ведь я пришел же...

— Это он рассорил меня с тобой,— говорила сестра, ударяя кулаком по земляному полу.— Он мне пригрозил, что если я буду видеться с тобой, он со мной разведется.

А если я уйду от него, куда мне деться с тремя малыми детьми? Как говорится: небо далеко, а земля жесткая... Когда у него беда случилась, он так забежал... Так тебе и надо, думаю, чтоб ты сдох! Как-то он принес слух, что Рахимджан любит сестру Салимхана... не знаю, может, он видел тебя с нею... А теперь вот налог на него наложили — десять с половиной тысяч... И сразу же Рахимджан ему понадобился! Чтоб ему пропасть! Этот твой следователь ему попался на дороге... он с ним возился, говорил, что это друг Рахимджана... А сестру Салимхана он хвалит... Говорит, если Рахимджан захочет взять ее в жены, я все продам и женю его... Непременно женю, говорит, я знаю, как это устроить...

Разговор с сестрой словно вернул Саиди в эту семью, от которой он уже отвык. Но что-то в ее словах было ему неприятно. Мухаммедраджаб извинился с такой легкостью, что Саиди этого даже не заметил. Все уже было сильно навеселе. Джамал Карими, обняв Мирзу Мухитдина, жаловался, что нет правды в мире, а Саиди спрашивал у зятя, велик ли налог, и обещал ему помочь.

Но Мухаммедраджаб, даже когда гости ушли, и он остался наедине с Саиди, не стал говорить о налоге.

На этом и кончилась вечеринка в честь примирения.

Через неделю Мухаммедраджаб пригласил на плов одного Саиди. Саиди ждал, что теперь он заговорит о налоге. Но Мухаммедраджаб ничего не сказал. Он говорил только о Мунисхон, как будто у него не было других забот в жизни. В конце концов Саиди сам начал разговор.

— Советская власть придерживается жесткой торговой политики,— сказал он, глядя на огонек своей папиросы.

Мухаммедраджаб попытался улыбкой скрыть гримасу от только что проглоченной водки.

— Да уж... жесткой, дай им бог здоровья... И землю всю отобрали... Теперь лишь бы выплатить этот налог — и надо переходить на работу куда-нибудь в кооператив... так друзья советуют...

— А какой налог вам назначен? — спросил Саиди, чтобы зять мог уже все рассказать.

— Считая с задолженностью... десять с половиной тысяч, говорят... Ни в чем не разбираются, не выясняют ничего... не думают, что человеку трудно.

— Вы можете выплатить?

— Гм... Выплатить-то можно, да ведь, если выплатим, тогда скажут: «Значит, может платить», — и еще об-

ложат. Думаю: может, не платить и вовсе закрыть лавочку? Хорошо бы, если бы власти согласились на это...

— Почему они должны согласиться? Но, конечно, платить надо. Ладно, платите, а потом что-нибудь придумаем. У меня есть деньги... Все обойдется.

— Но вам самому деньги нужны... вам нужнее... Муниسخон ведь уже совсем невеста...

Саиди покраснел до ушей и перевел разговор на другое, ему не хотелось, чтобы зять говорил на эту тему.

— Этот ваш друг, Мирза Мухитдин его зовут,— сказал Мухаммедраджаб, поняв, что Саиди неприятен разговор о Муниسخон.— Может быть, он, посоветовал бы, что делать... такой почтенный человек.

— Он — следовательно и к финансовым делам не имеет никакого отношения.

Мухаммедраджаб сделал вид, как будто только сейчас узнал от Саиди, кто его друг; потом стал говорить, что, если власть — дерево, то, потянув одну ветку, можно наклонить и другую.

Вскоре после этого, в один из «пьяных четвергов», Саиди напился до потери сознания. Наутро к нему зашел Мирза Мухитдин.

— Больше не буду пить,— сказал Саиди, показывая ему красную от крови слюну.— Как выпью, все десны болят. Надо закругляться...

Мирза Мухитдин рассмеялся.

— Куда там... И раньше выпивали немало, а теперь еще прибавился дом с выпивкой... Ведь ваш зять вас, конечно, не отпускает трезвым? Кстати, я рассказал Аббасхану, как я вас помирил с зятем. А он сказал: «Лучше бы Саиди держался от него подальше». Небось вчера вам все подливал?

— Какое там... ему сейчас плохо!

— Почему?

Саиди замолчал, но так как разговор не вязался, он рассказал, наконец, о делах зятя. Мирза Мухитдин задумался, потом заговорил совсем о другом. Саиди решил никогда с ним больше не говорить на эту тему. Но вечером, в тот же день, Мирза Мухитдин сам заговорил о нем и в неопределенных выражениях дал понять, что попробует помочь. Саиди передал это Мухаммедраджабу, тот улыбнулся загадочно, как будто знал что-то и не мог сказать. Саиди подумал: «Верно, хочет попросить в долг, или узнал какой-то другой способ»,— но ему не хотелось знать ни о том, ни о другом.

— Вы знаете Хайдара-хаджи? — спросил зять.

— Немного знаю. Неплохой человек... А что?

— Вчера меня позвали к Аббасхану-эффенди... Этот почтенный человек не знал меня, и я его не знал. Но, оказывается, он обо мне слышал. Мы хорошо побеседовали. Он, конечно, служит, но, видно, зарплаты ему не хватает. Он и говорит: действуйте вместе с Хайдаром-хаджи. Я не стал спрашивать, зачем. Но они сами догадались и сказали: «Потом узнаете все и сами поймете».

Но понимая, чего хотел Аббасхан, Саиди задумался и только потом спросил:

— А вы ему сказали про налог?

— Сказал. Налог с меня снимут, если начну новое дело с Хайдаром-хаджи. Но есть еще одно: если стану компаньоном Хайдара-хаджи, я должен к нему переехать. Я согласился. Пусть...

Мухаммедраджаб раздал имевшийся у него в амбаре товар, написал заявление, которое ему продиктовал Мирза Мухитдин, и подал в финансовый отдел; с помощью людей, указанных Мирзой Мухитдином, получил у нотариуса документ о том, что еще два года назад перевел дом на имя жены, и, приложив к этому документу свидетельство о разводе, состоявшемся будто бы полтора года назад, сдал все имущество жене, оказался гол, как сокол, и стал ждать продолжения игры...

По замыслу Мирзы Мухитдина, Мухаммедраджаб должен был быть привлечен к суду за неуплату налога, следствие должен был вести Мирза Мухитдин, суд должен был вынести решение о конфискации имущества. Все уже было готово, но дело чуть не испортил председатель махаллинской комиссии, знавший истинное положение Мухаммедраджаба. Тогда в областной газете появился фельетон, обвиняющий председателя во взяточничестве. Мирза Мухитдин немедленно принял меры предосторожности и приказал арестовать взяточника.

### XXXI

У Мурадходжи-домлы все сердце изныло, пока он уговаривал Саиди переехать к нему в дом. Он уже был занят подготовкой ему помещения, когда узнал, к немалой досаде, что у Саиди есть зять, с которым он теперь помирился. Но потом, услышав, что Аббасхан придумал отправить Мухаммедраджаба из города, так обрадовался, что закричал: «Аббасхан — гений».

Мухаммедраджаб уехал в начале апреля, в конце

мая за ним последовала его семья. А вскоре в центральной газете появилась статья, которую домла давно ждал. В ней, хотя и указывались некоторые ошибки Мурадходжи-домлы, но высоко оценивались его заслуги в языкознании и выражалось ему сочувствие и уважение.

Кенджа тотчас откликнулся на это длинной резкой статьей и дал Саиди. Саиди прочел, рассмеялся и сказал, что лучше ее совсем не печатать, чем напечатать от имени Кенджи. Кенджа показал статью редактору. Но редактор стал говорить о том, что не хочет опять подымать шум, что центральная газета знает, что пишет, и битый час разглагольствовал об этике журналистов. Потом он отдал статью Саиди и попросил отправить в редакцию центральной газеты, сопроводив своим письмом, Саиди на глазах Кенджи написал письмо, прочел ему и вложил в конверт вместе со статьей. Но в тот же вечер конверт, адресованный в редакцию центральной газеты, был распечатан Мурадходжой-домлой.

И Саиди, наконец, переехал в дом Мурадходжи-домлы.

Комната для гостей, на украшение которой было затрачено столько денег, стала теперь комнатой Саиди. Захочет — ляжет на диван, крытый бархатом, и любуется развешенными по стенам портретами восточных и западных писателей в золотых рамках и картинами, изображавшими восходы и закаты; захочет — возьмет одну из книг, выстроившихся на длинных полках шкафа, и, зарывшись в пуховые подушки, завернувшись с ног до головы в шелковое одеяло, читает. Пачка чистой бумаги на краю письменного стола и серебряная чернильница, которую держит в руках обнаженная женщина в позе приносящей дары, что называется, зовут к перу. В комнате тишина, даже его собственные шаги заглушает пушистый ковер. А стоит ему нажать кнопку у двери, из ичкари тотчас появляется служанка.

Но домла, сам создав все эти блага для Саиди, почему-то побаивается его, как будто в чем-то виноват. Входя, робко присаживается на край стула у дверей и извиняется, что побеспокоил. И все же находит предлог каждый день зайти к нему и просидеть час-другой. Таким предлогом явилось вскоре знакомство с Сорахон.

— Чего ты стесняешься, дуреха! — говорил домла еще в коридоре. — Ведь он тебе почти брат!..

Саиди услышал, встал и подошел к двери. Домла вошел смелее, чем обычно, ведя за руку Сорахон, и подтолкнул дочь к Саиди.



— Поздоровайся по-русски... будьте знакомы...

Сорахон, закрываясь рукой, посмотрела на Саиди сквозь растопыренные пальцы и жеманным движением протянула ему руку. Когда ее потная липкая рука коснулась руки Саиди, он вздрогнул от отвращения.

— Я уж давно ей говорю: зайди к брату, познакомься, а она все стесняется. Ну, чего ты стесняешься?

Сорахон сидела, закрыв лицо руками и широко расставив ноги.

— А ну вас! — сказала она капризно отцу.

Но с тех пор, как Сорахон перестала его стесняться, всякая просьба Саиди стала равносильна приказу, желание его стало законом в этом доме.

Когда Саиди переехал в дом Мурадходжи-домлы, Мунисхон, встречаясь с ним, говорила, еле сдерживая смех. Саиди спросил, почему она смеется. Мунисхон, вместо ответа, спросила, какие у него отношения с Сорахон. А Саиди и сам не знал, что сказать, какие у них отношения. Что бы он ни сказал, Мунисхон все равно не поверила бы, поэтому он промолчал, но твердо решил когда-нибудь рассказать Мунисхон, как противна ему Сорахон.

### XXXII

Аббасхан был в гостях у Мурадходжи-домлы, а уходя от него, зашел в комнату к Саиди и засиделся у него. Он поинтересовался, почему так давно не видно новых произведений Саиди в печати, и побранил его за это. Саиди пытался объяснить это тем, что собирается писать большую вещь, но Аббасхан авторитетно заявил, что сначала надо завоевать читателей маленькими вещами.

— Так много сейчас тем, особенно для мелких рассказов. В жизни случаются события, которые прямо ложатся в рассказ. Вы читали последний рассказ Кенджи?

— Нет,— отвечал Саиди,— я вообще не читаю произведений Кенджи.

— Наш поэт зовет женщин, сбросивших паранджу, идти в промышленность. Он говорит, что свобода не ограничивается тем, чтобы сбросить паранджу, и требует равенства с мужчиной во всем. Но, по-моему, об этом еще рано говорить. Это не актуальная тема для сегодняшнего дня. Нужно призывать женщин, сняв паранджу, сохранить целомудрие. Не на завод их надо звать, а требовать, чтобы они оберегали свою нравственную чистоту. А этого можно достигнуть, если обличать женщин, сбившихся с пути.

Не жалея времени, Аббасхан целый час придумывал план небольшого рассказа на эту тему. Содержание примерно такое: женщина сбрасывает паранджу и уходит от мужа, обидевшись, что он не купил ей какую-то безделушку. Кишлячные кавалеры быстро развращают женщину. Из-за нее происходят драки, кого-то ранят ножом, кто-то попадает в тюрьму, и ей приходится покинуть кишлак и уехать в город.

Все это — нелепая фантазия, но портрет некрасивой героини уже готов у Саиди — только садись и пиши. Этой героиней с нелепыми манерами, с глупыми претензиями была Сорахон.

Саиди написал рассказ и отправил его в указанный Аббасханом журнал, а потом подумал, что вот рассказ будет напечатан, и вдруг Мурадходжа-домла узнает в героине свою дочь и рассердится. Но тут же он успокоил себя: «Ну и пусть сердится домла, зато Мунисхон засмеется, прочтя это. Она поймет, как я отношусь к Сорахон».

Недаром говорят, что черный жук считает своего ребенка беленьким, а еж — мягоньким: домла не нашел никакого сходства своей дочери с героиней рассказа. Он даже прочел рассказ Сорахон. Она спросила: кто эта женщина? Когда же домла сказал, что ее выдумал Саиди, она ткнула пальцем в лоб Саиди и сказала: «Ничего, из вас выйдет толк».

Рассказ Саиди понравился всем его друзьям. Махмуджан-эффенди даже сказал Ильхаму, что не ожидал от Саиди такой острой вещи. Только Кенджа не одобрил рассказа. Но его мнение ничего не значило для Саиди — ведь он был уверен, что если бы умирал и дело было только за саваном, то Кенджа не пожалел бы ему для савана собственной шкуры.

Но вдруг разразился крупный скандал, и причиной его был опять Мурадходжа-домла.

Аббасхан попросил домлу сделать на очередном писательском собрании доклад: «Вопросы правописания в современной печати». Мурадходжа-домла с удовольствием согласился. Дано было объявление в газете, но редактор почему-то не назвал имени докладчика. Мурадходжа-домла, увидев это объявление, обиделся: «Значит, доклад им нужен, а имя докладчика их не устраивает? Какая же мне польза от этого доклада, если брезгают моим именем? Не позволю себя унижать!»

Домла никому, даже Саиди, не сказал, что не будет

делать доклада. И вот Аббасхан должен был объявить на собрании, что доклад, ввиду неявки докладчика, переносится. Тогда Кенджа выступил, смело заявив, что тема доклада не так актуальна. Поэтому жалеть не о чем. Но следует воспользоваться тем, что все собрались, и поговорить о деле. Аббасхан спросил, какие есть предложения, и несколько человек предложили обсудить новый рассказ Саиди «Влюбленные», напечатанный в сельскохозяйственном журнале. Саиди растерянно посмотрел на Аббасхана, но тот сделал успокоительный жест: мол, ничего, не волнуйтесь. Когда же Кенджа стал разбирать рассказ, жест Аббасхана уже не мог успокоить Саиди. Кенджа обвинял Саиди в том, что его «Влюбленные» — прямой удар политике Советской власти в вопросе раскрепощения женщин. Рассказ агитирует в пользу антисоветских элементов в кишлаке, призывает к террору темные силы. А тот факт, что он напечатан в сельскохозяйственном журнале, тоже не случаен — тут уже пришлось заволноваться Аббасхану. Он поспешил закончить обсуждение и произнес свое заключительное слово.

Собрание закончилось.

— Они все договорились заранее, — сказал Саиди Аббасхану, идя домой. — Я это сразу почувствовал, когда увидел, с какой смелостью выступил Кенджа. Они все равно сорвали бы доклад, если бы домла и пришел.

— Вы, кажется, расстроились, — сказал Аббасхан, кладя руку на плечо Саиди. — А я знал, что так будет, когда подсказал вам эту тему. Будет жаль, если критика ограничится этим. Пусть критикуют и на собраниях и во всех газетах республики...

— Вы хотите, чтобы меня совсем втоптали в грязь? — с горечью сказал Саиди.

— Чем сильнее будут ругать ваше произведение, тем больше будет им интересоваться читатель, тем больше его будут читать.

И Саиди поверил этому, потому что не мог себе представить, чтобы у Аббасхана были дурные намерения.

### XXXIII

С тех пор, как Мунисхон стала понимать разницу между полами, ей казалось, что она проходит перед бесконечным строем мужчин. Все мужчины мира выстроились в один бесконечный ряд. Пока она была мала, мужчины казались ей одинаковыми, потом она стала их различать; наконец, некоторые стали ей нравиться, она

оглядывалась на них, проходя. Теперь по какой-то непонятной причине ей захотелось выделить этих мужчин из общего строя, приблизить их к себе. Где-то в этом новом строю, рядом с собой или на краю света Мунисхон найдет неведомого мужчину, который станет для нее лучшим из лучших.

Но вот, после возвращения Салимхана из двухнедельной командировки, Мунисхон узнала потрясающую новость: брат хочет выдать ее за одного маргиланца по имени Мухтархан! Мунисхон несколько раз видела этого хилого, тщедушного, женоподобного человека. По случаю его приезда обязательно устраивались вечеринки с участием Аббасхана, Мурадходжи-домлы, Махмуджана-эффенди и других. И каждый раз, когда она случайно заходила в комнату, где они пировали, она заставляла Мухтархана разглагольствующим перед всеми. Перспектива стать женой этого хилого, болтливового женоподобного человека так ее ужаснула, что она, не дожидаясь заступничества матери, рискнула сама поговорить с братом наедине.

— Мухтархан — хороший парень, — сказал Салимхан, — мягкий, сладкоречивый, нежный, как девушка.

Мунисхон предпочла бы мужественное рукопожатие сильного парня «сладкоречню» и женственной изнеженности Мухтархана.

— Разве у меня нет своей воли? — спросила она.

— А тебе кто-нибудь нравится? — сказал, улыбаясь, Салимхан.

— Нет, но...

— Вот что, сестренка, перед тем, как говорить серьезно, давай условимся. Прежде чем возражать мне, ты должна помнить, что я твой старший брат, самый близкий тебе человек. Наш отец завещал мне свою отцовскую любовь и ответственность за тебя. Хочешь ты или не хочешь, но я обязан позаботиться о твоём счастье. Поняла?

Мунисхон молчала, уставясь в пол.

— Я знаю, что ты можешь мне сказать, — продолжал Салимхан. — Ты думаешь о «любви» и о «принуждении», тебе кажется, что замужество по любви лучше замужества по необходимости. Но, если подумать хорошенько, разница между тем и другим небольшая. И часто замужество по необходимости оказывается даже счастливее. Допустим, я тебя выдам замуж насильно. Пока ты привыкнешь к человеку, пока смиришься, тебе будет тяжело какое-то время. Вот это-то тебя и пугает. А между тем и в за-

мужестве по любви женщине тоже приходится пережить эту необходимость покорности, смирения. Мужчина, которого ты полюбишь, сначала покажет тебе только свою лицевую, светлую сторону. Все темное, грубое, злое ты увидишь только после свадьбы, и тебе придется смириться с этим. В чем же тогда разница между браком по любви и браком по разумному соглашению?

Муниسخон тотчас представила себе Саиди и подумала о его светлых и темных сторонах.

— Кроме того,— продолжал рассуждать Салимхан.— Что такое женщина? Женщина—это мать. Мать... а чтобы стать матерью, не обязательно выбирать между мужчинами.

— Но ведь и мужчина — отец! Почему же он выбирает себе девушку? — спросила Муниسخон с удивившей ее самое смелостью.

— Конечно, мужчина — тоже отец, но... Когда речь идет о любви, право выбора предоставлено мужчине, он выбирает, он любит. Женщина может только стараться вызвать его любовь.

— Вы хотите сказать, что женщина ниже мужчины?

— Погоди, погоди... Это так, и природу нельзя изменить никакими декретами. Возьмем хотя бы проблему потомства. Вот тебе пример: будь у женщины хоть двадцать мужей, родить она может только одного ребенка или вообще не родит. А когда у мужчины двадцать жен, могут родиться хоть десять детей...— Салимхан явно запутался, потерял основную нить мысли. Он должен был доказать, что женщина ниже мужчины, но забыл свои доказательства. Муниسخон его перебила:

— А что вы говорили в своем докладе на собрании работников просвещения? Вы тогда все твердили, что женщина имеет равные права с мужчиной, и никому не дали возразить...

— То был доклад, а сейчас я ведь не выступаю перед тобой с докладом.

Когда Муниسخон легла в постель в ту ночь, она стала думать о Мухтархане: может быть, он не женоподобный, а просто изнеженный? Ей сказали, что Мухтархан очень богат, и вот она стала мечтать. Женившись на ней, Мухтархан поправится, станет сильным, как настоящий мужчина; он выстроит для нее дворец; дворец будет окружен садом — там она будет отдыхать и мечтать. Посреди сада будет мраморный бассейн и в нем будут плавать золотые рыбки. Деревья будут шелестеть от ветра так мелодично...

— Нет, нет! — Ее вдруг всю передернуло. — Нет, упаси боже!

Муниسخон нашла фотографию Мухтархана, долго ее разглядывала и сделала целый ряд открытий: глаза у него были не такие круглые и навывкате, как ей казалось, и руки его не так уж темны и тонки; если его поправить, он будет нормальным мужчиной...

А потом Салимхан сказал ей как-то в разговоре очень резко: «Я думаю за тебя, тебе думать не нужно!» Услышав эти слова, Муниسخон поневоле стала искать в Мухтархане признаки того, что он может стать настоящим мужчиной. И нашла, а если поискать еще, найдет еще больше; но почему-то она часто, оставаясь наедине сама с собой, плакала. Она чувствовала себя человеком, которого ведут в тюрьму, не зная, за что и что его ожидает; она думала: бог с ним, лишь бы камера досталась получше, но ведь все равно ей придется примириться, куда бы она ни попала.

Теперь, когда она думала о Саиди, она старалась его достоинства обратить в недостатки, так же, как недостатки Мухтархана обращала в достоинства. Это так ее измучило, что Саиди, встретив ее на улице, сразу почувствовал недоброе.

— Что с тобой? Здорова ли ты? — спросил он с тревогой, вглядываясь в нее.

Она отвела глаза, передернула плечами.

— Никогда еще я не была такой здоровой, как сейчас.

— Ты так побледнела...

— Ты тоже...

В самом деле, Саиди тоже изменился, потому что он был занят таким же трудным делом, как и Муниسخон: ее достоинства он превращал в недостатки. И разница между ними лишь в том, что Муниسخон, когда не может себя обмануть, — плачет, а Саиди пьет.

После долгого молчания Саиди спросил:

— Можно тебя поздравить? — Он сказал это быстро, слезы навернулись на глаза.

— Можно! — вызывающе ответила Муниسخон, сиюсь показать, что будущий жених любим ею и что она считает себя вполне счастливой. Саиди не совсем поверил ей, но тем не менее почувствовал, что за одну минуту жизнь его сократилась на годы.

И он взял ее руку в свою.

— Между нами... — начал было он, но Муниسخон преврала его:

— Не надо, Саиди, не надо! Мы были близкими, очень близкими товарищами, и почему все это так случилось... я и сама не пойму!

Саиди медленно выпустил ее руку из своей.

### XXXIV

Свадьба Мунисхон должна была состояться осенью. Саиди все последние месяцы, устав искать в Мунисхон недостатки, старался себя уверить, что совсем не собирался жениться на ней, что вовсе не любил ее, — успокаивал сердце вином.

Теперь уже всюду — на «пьяных четвергах», на встречах с Аббасханом, по вечерам вдвоем с домлой, и куда бы он ни пошел — Саиди не обходился без выпивки.

А Сорахон между тем все чаще стала заходить к нему в комнату. С некоторого времени и обед и чай стала ему приносить не служанка, а сама Сорахон, по вечерам она приходила спросить, не нужно ли ему чаю. Жена домлы тоже открыла лицо перед ним. Эта приземистая, худая женщина с землистым болезненным лицом при первой встрече с Саиди сказала только: «Будьте мне сыном», — а встретившись с ним второй раз, сразу принялась жаловаться на отвратительный характер служанки. Она говорила так резко, будто ругалась со служанкой, тонкие губы ее дрожали от гнева, бледное лицо стало серым, глаза покраснели. Саиди решил, что это и есть объяснение, почему еду ему приносит теперь Сорахон. И однажды, не зная, о чем с ней говорить, он спросил:

— Неужели служанка такая плохая?

Сорахон пренебрежительно махнула рукой.

— Мать моя сама любит поскандалить.

В самом деле, всякий раз, как мать Сорахон заходила в комнату, пахло назревающим скандалом.

Как-то вечером Саиди пришел домой трезвым и, так как собирался опять уйти, прилег на кровать, не раздеваясь, и лежал, думая о чем-то. Вдруг дверь тихо отворилась, вошла Сорахон с чайником. Саиди притворился спящим. Сорахон поставила чайник на стул у изголовья кровати и стала будить Саиди. Он все не просыпался. Сорахон решила, что он совсем пьян, осторожно разула его, накрыла одеялом и ушла.

Саиди встал, пощупал чайник — чай был холодный. Конечно, всякий знает, что пьяного надо разуть и покрыть одеялом, но поставить холодный чай у изголовья, чтобы, придя в себя, он мог легко достать его, — нет, на это спо-

собен не всякий! Значит, Сорахон позаботилась о нем, значит, она добрая! Он долго лежал, уставясь в потолок и раздумывая. Он вспоминал всех девушек, которых встречал до нынешнего дня. Сорахон среди них выделялась этим своим чайником. И в первый раз Саиди захотелось повнимательней к ней присмотреться.

Утром он собирался сказать, как благодарен ей за заботу, но почему-то завтрак принесла ему опять служанка. Сорахон в тот день не появлялась совсем, и три дня ее не было видно. На третий день, выходя с Мирзой Мухитдином из дома, он встретил ее у ворот. Она была в бархатной парандже с откинутой сеткой и перекликалась с какой-то девушкой через дорогу. Саиди отстал от Мирзы Мухитдина, чтобы поздороваться с ней. Прикрыв лицо от Мирзы Мухитдина, Сорахон проворно вбежала в ворота и столкнулась с Саиди, который с ней поздоровался.

— Что это значит, Сорахон, вы перестали ко мне заходить? — спросил он, глядя прямо на нее пьяными глазами.

Сорахон опустила глаза.

— Я ездила за город — поспели дыни...— И тихонько сняла с белой шелковой рубашки Саиди приставшую случайно какую-то ниточку.

Если уже чайник выделил Сорахон среди всех его знакомых девушек, то этот жест совсем приблизил ее к Саиди. Ниточка на белой рубашке — это ведь нехорошо. Чужой человек заметил бы, что это нехорошо, — и все. А Сорахон сняла эту ниточку, значит, ей не все равно, значит, она хочет, чтобы у Саиди все было хорошо!

Саиди попросил ее заходить почаще. Он сказал это, не зная, о чем еще с ней говорить, и ясно себе не отдавал отчета, зачем он это сказал. Но при этой встрече он сделал еще одно открытие: он увидел, что у Сорахон черные глаза и ресницы такие длинные, каких он никогда не видел.

Начиная с этого дня, он всякий раз при встрече с Сорахон открывал в ней что-то новое... И наконец пришел к выводу: Сорахон хоть и некрасива, но симпатична. А через неделю к этому заключению прибавилось еще одно: «Бывают девушки очень красивые, но несимпатичные. И красота не самая главная в человеке притягательная сила».

— Что такое любовь? — сказал Саиди Джамалу Карими, с шумом ставя на стол пустую рюмку. — Это просто животное влечение, страсть, которую мы разукрашиваем, как цветами, всякими чувствами... А когда цветы завянут, остается только голая страсть. Для брака любовь не



обязательна. Поэтому какая разница — красива женщина или некрасива?

Он так увлекся этими рассуждениями, что Джамал Карими подумал, не хочет ли он разочаровать его в девушке, которую тот любил.

— Все равно, есть любовь или нет, красивая жена лучше или некрасивая, все-таки я женюсь на своей девушке, — сказал он.

А Саиди было безразлично, женится ли Джамал Карими и на ком, только бы он согласился, что любви нет, и что для брака некрасивая жена лучше красивой.

Однажды Саиди готовил какой-то срочный материал для газеты, не пошел в редакцию и, не считая короткого перерыва на обед, работал весь день напролет. У него так устали глаза, что все предметы потеряли свои очертания, все стало смутным вокруг. Он встал, потянулся с силой, и вдруг в глазах у него потемнело, голова закружилась, зашумело в ушах. Он медленно вышел из дома и пошел по улице. Только что прошел небольшой дождь, прибил уличную пыль. Воздух был чист. Зеленели промытые дождем листья на деревьях, и в лучах заходящего солнца блестели на них дождевые капли. Саиди долго ходил, заложив за голову переплетенные пальцы. Он был так погружен в свои думы, что, вернувшись, забыл вытереть ноги и наследил по всей комнате. На крашеном полу грязные следы были очень заметны, возле двери остался даже кусок глины, отвалившейся от каблука. Заметив это, наконец, Саиди вышел, вытер ноги и сел опять за работу. Сначала ему работалось хорошо, но когда стемнело и он зажег лампу, ему стал мешать кусок глины, лежавший на полу у двери; он принес веник и только хотел подмести, как вошла Сорахон.

— Ой, боже мой, Рахимджан-ака! — воскликнула она, увидев веник в руках Саиди. — Я не велела мыть пол, потому что вы работали... Оставьте, не надо мести в поздний час, плохая примета...

— Я только чуть-чуть, — сказал Саиди, пряча от нее веник, — вот только уберу эту грязь...

Сорахон все-таки отняла у него веник и сама подмела комнату.

— Так задумался, забыл вытереть ноги. Старался не обращать внимания, но эти следы так и лезли на глаза...

Сорахон принесла тряпку и вытерла следы от его ног. Пока она занималась этим, Саиди пытался представить себе Сорахон своей женой: станет женщиной, пополнеет и будет совсем недурной...

— Скоро закончите работу? — спросила Сорахон, усаживаясь в кресле у окна. — Пора ужинать...

Голос ее показался Саиди нежным, грудь подымалась под шелком платья...

— Работу можно и прервать, да что-то аппетита нет... Может оттого, что весь день сидел на одном месте.

— А я целый день ходила — а все-таки и у меня аппетита нет. Это не от сиденья на одном месте... Дождь пошел, — я обрадовалась, думаю, вот будет прохладней...

Не закончив фразы, она подошла к столу. Саиди захотелось, чтобы она подошла совсем близко, но так как она не подходила, он встал и, опершись локтями о стол, придвинулся к ней.

— Вам, оказывается, как и мне, нехорошо в жару, — сказал он и взял ее за руку.

Руки Сорахон коснулась рука молодого мужчины. Она испуганно отшатнулась. Саиди отдернул руку, но, не желая упустить удобный момент, сказал, оттянув кожу у себя на руке:

— Видите, я должен поправиться вот настолько...

Сорахон отвернула рукав и посмотрела на свою руку. Тогда Саиди попытался и на ее руке немножко оттянуть кожу, делая это с таким видом, будто трогает не девичью руку, а какой-то неодушевленный предмет, лежащий у него на столе. Сорахон отняла руку, отодвинулась и засмеялась. Этот смех был сигналом к тому, что произошло дальше.

Саиди схватил Сорахон за обе руки, притянул к себе, думая: «Что же это такое, что же это такое?» А потом сказал себе: «Сначала я ее поцелую, а потом выяснится, что это такое...»

### XXXV

То ли Сорахон ему помешала своим жеманным отталиванием, то ли он боялся, что кто-нибудь войдет в комнату, но Саиди не удалось в тот день поцеловать Сорахон.

Сорахон опять исчезла на два дня, а когда появилась на третий день, озиралась пугливо, как необъезженная лошадка. Саиди взял ее руку, но опять почему-то не удалось поцеловать ее. Сорахон стала приходить к нему по вечерам каждый день. Он пробовал обнять ее, но чего-то все недоставало. Он подумал: «Для того, чтобы нам стало хорошо, нужно влечение с обеих сторон». Прошло еще три недели, и стало явно, что и Сорахон влечет к нему. Но он был все еще недоволен. Проанализировав свое поведение,

он пришел к такому заключению: «Страдать от любви к одной — красивой девушке и развлекаться, мороча голову другой, — некрасивой, — это болезнь молодости».

Конечно, он развлекался. Эти поцелуи были совсем не похожи на те, какими человек хочет утолить жар настоящей любви.

Как ни старался Саиди уверять всех, и особенно самого себя, что жениться лучше на некрасивой, что любовь — просто животное влечение, только приукрашенное чувствами, как ни старался найти в Мунисхон недостатки, Мунисхон все равно оставалась Мунисхон. Одно только воспоминание о первой встрече с нею развеивало, как шелуху, все его теперешние мысли.

...Зачем Саиди поступил в университет? Только для того, чтобы стать вровень с теми, на кого могла бросить взгляд Мунисхон. Почему он теперь изо всех сил добивается богатства и известности? Лишь потому, что и богатство и слава могли выделить его среди других мужчин и заставить Мунисхон обратить на него внимание.

Но он опоздал. Пока он старался подняться по ступенькам общественной лестницы и стать выше других, какой-то неведомый человек — Мухтархан — какими-то неведомыми достоинствами покорил Мунисхон.

И все же Саиди еще на что-то надеялся. Он чувствовал себя накануне какого-то события, которое должно было возвысить его еще больше, и ему казалось, что какой-то новый шаг его вызовет шум во всей республиканской печати. Но почему же молчит печать, почему слова Аббасхана: «Саиди станет гордостью узбекской литературы», — не напечатаны в газетах крупным шрифтом, — ведь это знает не один Аббасхан, это все знают! Тонкий ценитель талантов, Мурадходжа-домла израсходовал на него столько денег, Махмуджан-эффенди, сравнив его с писателями, которых видел в Турции, сказал: «Рахимджан проходит за неделю путь, который другие не пройдут за год...»

А на самом деле Саиди не только не поднялся высоко в литературе, но не одолел даже первой ступеньки. За все время он написал только «Каландара» и «Влюбленных», небольшую повесть, несколько маленьких рассказов и несколько стихотворений — вот и все, что было у него. Общаясь с критиками и видными представителями своего круга, он мог бы уяснить, в чем секрет мастерства и известности, но понял только одно: «Мир испорчен и становится все хуже». Саиди, который раньше был молчаливее самого Якубджана, теперь становился болтлив, как

Махмуджан-эффенди. Все его литературные способности выражались в том, что он умел поддержать беседу с людьми, тоже понимающими, что мир испорчен. А про тех, кто не соглашался с ним, он говорил, что у них в голове не хватает важного винтика. Ну, а что касается таких людей, как Кенджа и Теша, то им не хватает целого зубчатого колеса.

У одного только человека головной механизм работает исправно — у Ильхама. Он понимает Саиди с полуслова, достаточно намека, даже жеста, чтобы он сообразил, в чем дело. Стоило, например, Саиди однажды выразить на лице недовольство текущей политикой — Ильхам мгновенно понял и согласился с ним. Саиди даже подумал тогда: «Есть только два умных человека — я и Ильхам».

— Я думаю, и мы не хуже других, — сказал однажды Якубджан, толкнув Саиди в бок, когда они были в типографии. — Или, если мы — хуже других, вы так и скажите..

— Что сказать? — удивился Саиди, просматривая гранки.

Якубджан не ответил и подошел к прессу, чтобы оттиснуть набранную им заметку. Но так как метранпаж не дал ему это сделать, сказав, что на это нужно специальное разрешение, Якубджан замолчал и принялся разбирать набор. Слова метранпажа заделли и Саиди, который тоже иногда сам набирал написанные им статьи.

— Мы, конечно, не хуже других, — сказал Саиди, когда они вышли из типографии. — А в чем дело?

— Все собираются, устраивают вечеринки, а мы почему-то не можем. Осень — самое подходящее время для гапа. Надо по очереди собираться друг у друга.

Саиди дал понять, что если те, кто будет собираться, — «люди мыслящие», то он готов участвовать в организации гапа. Якубджан назвал ему участников. Среди них были малознакомые Саиди люди, например, бывший секретарь исполкома, а теперь директор техникума Закирхан.

Саиди встретил Закирхана в доме у Салимхана в тот день, когда следователь Мирза Мухитдин рассказывал, как пачал следствие по поводу одного рассказа, и жаловался на трусость писателей.

Во время проведения земельной реформы Закирхан был одним из тех ответственных работников, кто подавал заявление в областной комитет партии. Группа была разоблачена: несколько человек исключены из партии, другие раскаялись и доказали искренность своего раскаяния при проведении реформы. Закирхан же каялся притворно и че-

рез несколько месяцев вновь организовал антипартийную группу. Она также была разгромлена. Уцелели только он и еще один его единомышленник.

Как игрок, всеми правдами и неправдами добывающий деньги, чтобы сразу их все проиграть, так и Закирхан: всякий раз терял все, вместе с новой, организованной им, группой. Это повторялось столько раз, что уже весь город знал его, на него показывали пальцами, называя его «группировщиком». Стоило ему показаться на улице с чемоданом в руках, все уже знали, что он отправляется в центр подавать очередное заявление. В этой неравной борьбе он готов был ухватиться за любую руку, которую ему протягивали, даже не глядел в лицо тому, кто протягивал. Он был недоволен миром, так недоволен, что на первой же вечеринке очаровал Саиди.

Вначале их было всего пятеро, к концу месяца стало девять, и Саиди всеми был доволен.

— Кто бы что ни натворил на нашей вечеринке, мы не запишем в книгу грехов, но все, о чем здесь говорится, должно остаться тайной — это обязательно, — сказал как-то Якубджан, усердно обгладывая кость.

Закирхан засмеялся.

— Да уж, не будем и здесь выяснять идейную платформу... Здесь не собрание интеллигенции!..

Разговоры, которые вначале казались опасными, постепенно стали обычными на этих собраниях. И хотя в представлении Саиди мир был испорчен, на этих вечеринках он чувствовал себя хорошо, именно здесь он убеждался, что его уважают и ценят.

Как-то раз худой, тонкоголосый, как Махмуджан-эффенди, какой-то учитель, выпив сверх нормы, стал бить себя в грудь.

— Вот я сыт, ем плов с казы, но мне все кажется, что я отравлен... На съезде интеллигенции меня ругали. Ну и пусть!..

Джамал Карими посмотрел на Закирхана, тот — на Саиди. Саиди опустил глаза.

— Что же надо делать? Что? — спрашивал учитель.

— Нужно организовать, — сказал Закирхан с усмешкой, — нужна организация.

Все понимали, какая именно нужна организация.

Якубджан, облизываясь, как кот, укравший мясо, оглядывал всех исподлобья.

## ЧАСТЬ ВТОРАЯ

### I

На свадебной неделе в доме Салимхана Саиди в первый раз увидел Мухтархана и был поражен. Что же в нем особенного — в этом невзрачном, неказистом человеке? Вдавленная переносица, глаза тусклые, как грязные бусинки, скулы сильно выдаются, уши торчат, как два верера. И уже седина пробивается в волосах и в бороде. Неужели Муниسخон польстилась только на его богатство? А может быть, в нем все-таки что-то есть? Ведь за что-то уважают его, Мухтархана, обычного учителя начальной школы, все — от Аббасхана до Махмуджана-эффенди. Махмуджан-эффенди, здороваясь с Мухтарханом, так низко кланяется, как будто хочет поцеловать ему руку. И Саиди, увидев, как Мухтархан шутил, смеялся, называя на «ты» Аббасхана и Салимхана, решил, что «во всяком случае этот человек владеет какой-то тайной, у него ключ от чего-то очень важного».

И так же, как когда-то он думал о доме, где жила Муниسخон: «Пусть ворота у него ничем не примечательны, зато внутри таинственно, как в сказке», — так и теперь, глядя на непривлекательного Мухтархана, он каждую минуту ждал от него какого-то чуда.

— Да, кстати... чуть было не забыл... вам поклон от вашего зятя, — сказал Мухтархан, играя в шахматы с Мирзой Мухитдином.

Саиди даже вздрогнул: он не мог и подумать, что Мухтархан знает Мухаммедраджаба.

— Спасибо, — растерянно отвечал Саиди. — Оказывается, вы знакомы. Я давно уже не получаю вестей от него.

Мирза Мухитдин угрожал королю, и Мухтархан, обдумывая свой ход, заметил, словно между прочим:

— Ему нельзя писать...

Саиди удивился, подумал, что Мухаммедраджаб, может быть, в тюрьме.

— Где он сейчас?

— Гарде! — сказал Мухтархан и только хотел ответить Саиди, как Мирза Мухитдин ходом пешки вновь поставил его в трудное положение, он снова увлекся обороной и растерянно сказал:

— В Узгене... Шах! Гм... Да, а Узгене... нет, нет, не открывайте короля... в Узгене...

— Что он делает в Узгене? — удивился Саиди.

Аббасхан засмеялся, Мухтархан, задумав выиграть партию у Мирзы Мухитдина, оставил без ответа вопрос Саиди. Аббасхан встал, подошел к Саиди, положил ему руку на плечо и опять засмеялся.

— Вы не хотите, чтобы он был в Узгене?

— Что он делает в Узгене? — повторил Саиди, у которого смех Аббасхана вызвал какие-то подозрения. — Это правда, что он в Узгене?

— Не знаю. Эй, Мухтар, где Мухаммедраджаб?

Мухтархан не ответил. Аббасхан обнял Саиди и повел к дивану.

«Откуда он знает Мухаммедраджаба?»

— Ну-ка, посмотри на меня, Мухтар! — сказал, продолжая улыбаться, Аббасхан. — Откуда ты знаешь Мухаммедраджаба?

Но Мухтархан был занят игрой.

— Шах... шах... мы всех знаем... всех... Это вы только нас не знаете... Шах, шах... Мат!

Он выиграл и покраснелся от удовольствия.

— Вы нас не знаете, зато мы вас хорошо знаем. Мы знаем Рахимджана Саиди, — сказал он, выстраивая шахматные фигуры для новой партии.

Аббасхан успокоил Саиди, подтвердив, что Мухаммедраджаб действительно в Узгене, но объяснять, почему он там, не стал.

В этот вечер Мухтархан чем-то расположил к себе Саиди — настолько, что на другой день он сказал Якубджану: «Кажется, Мухтархан — мыслящий человек». Якубджан же говорил о нем так, будто на всем белом свете если и есть человек с совершенным головным механизмом, то это — Мухтархан.

— Многое повидал этот человек, — сказал он. — Я знаком с ним недавно, но знаю: он все может.

— Он — наш единомышленник?

— Этого я не могу сказать... Во всяком случае, если узнает про наши дела, доносить не пойдет...

Но всего, что Саиди узнал о Мухтархане, все же было

недостаточно, чтобы представить его женихом Муниسخон. Саиди так и не понял, почему она выбрала этого сморчка, какой волшебной силой увлек ее этот хилый человек.

В день свадьбы Муниسخон с Мухтарханом Саиди заперся с утра в своей комнате ипил горькую. Воспоминания — одно за другим — не давали ему забыть, и, чем больше он пил, тем труднее ему было. Он не смог пойти на свадьбу, да и не хотел там быть. Сорахон на другой день рассказала ему: Муниسخон на свадьбе так рыдала, что Салимхан избил ее. Вообще на женской половине дома было невесело.

— Я слышала, что вы были влюблены в мою подругу Муниسخон... — сказала как-то вечером Сорахон, сидя в комнате Саиди.

Саиди в это время доставал что-то из книжного шкафа с зеркальными стеклами, которые отражали яркий электрический свет, но услышав эти слова, вздрогнул и, забыв про книгу, оставив незакрытой дверцу шкафа, повернулся к Сорахон.

— Если мы бывали вместе, разве это значит: любили? Правда, мы часто занимались вместе, бывали вдвоем, но относились друг к другу по-товарищески... Бескорыстно...

— Ах, боже мой... Бескорыстно! Парень с девушкой ходят вместе, всегда вдвоем и, оказывается, только по-товарищески!

— Почему же нет? Вот ведь мы с вами сидим вдвоем, часто остаемся одни... И сейчас вот... разговариваем просто, по-товарищески...

— А то что мы целуемся и обнимаемся, это тоже считается по-товарищески?

Смущенный Саиди закрыл шкаф и вернулся к столу. Ему стало стыдно за свои слова.

Несколько месяцев назад, знакомя Саиди с гостем, приехавшим из Киргизии, домла назвал его своим зятем. Саиди теперь обедал вместе со всей семьей в ичкари, в доме его считали правой рукой домлы. Однажды, когда они выпивали вдвоем с домлой, тот сказал ему: «Рахимджан, вы не наделяйте глупостей с Сорахон... Все свое время...» Вот как далеко зашло дело, а он еще уверял Сорахон, что беседует с ней по-товарищески. Он удивлялся, что она после этого не ушла, не расплакалась. Он постарался задобрить ее. Но в тот день он впервые отдал себе отчет в том, что происходит, и, почувствовав, куда его несет течение, закрыл глаза и махнул рукой: будь что будет!..

Примирившись с мыслью, что ему придется жениться



на Сорахон, он уже открыто стал вести себя в доме как жених, как будущий зять.

Скоро об этом стало известно всем родственникам и знакомым, и мать Сорахон говорила всем: «Я всегда мечтала о таком муже для нашей единственной дочери, который жил бы у нас в доме — и вот бог услышал мое желание».

Мурадходжа-домла тоже был доволен. Он теперь заходил к Саиди в комнату не просто как его покровитель и доброжелатель, но и как тесть. Он победил в этой игре.

Приучая себя к мысли о женитьбе на Сорахон, Саиди невольно начинал думать, что эта женитьба даст ему в руки ключи от всех богатств домлы. И домла поощрял эти мысли. Он советовался с Саиди обо всех своих делах, о налоге на имущество, о том, какого быка отправить в поле. И Саиди поневоле ощущал себя таким же владельцем всего, как и домла. Тем более, что в последнее время домла не просто советовался, но и стал прямо спрашивать разрешения и всегда слушался Саиди.

Итак, Саиди со своей «некрасивой, но симпатичной» супругой должен стать наследником Мурадходжи-домлы! Но, когда домла заговаривал об этом, Саиди понимал, что домла еще не собирается умирать, пока не преумножит свои богатства.

И земля, и вода на полях, и дом, стараниями нескольких поколений отделанный, как дворец, и «райский сад» — все теперь принадлежит Саиди. И валяющаяся под погами солома, и громоотвод на крыше — все привлекает его внимание, вызывает его беспокойство, начиная с ободранной коры дерева, кончая отсыревшим от дождей дувалом.

Иногда по ночам, лежа без сна в мягкой постели, Саиди мечтал. Он — всемирно известный писатель, как тот знаменитый американский редактор, пишет каждый день что-нибудь короткое — на одну колонку и получает за это двенадцать тысяч золотом в год; из разных стран к нему текут франки, доллары, рупии; наконец, он оставляет этот шумный, полный суеты и несчастий город, и, подобно североамериканскому писателю Торо, удаляется на лоно природы; он поселяется во дворце, построенном в самом прекрасном уголке долины, наслаждается чистым воздухом и, слушая, как его жена играет на рояле, любит свою долину с пасущимися на ней стадами овец, табунами лошадей, видит растущие на склонах гор миндальные и арчовые деревья, чистую зелень трав и блестящие под солнцем серебряные ленты арыков. Позади его дворца

раскинется сад, в котором будут вызревать все растущие на земле плоды. Силой золота Санди заставит здесь цвести лотос и расти финиковые пальмы, апельсины... Санди так часто мечтал об этом, и эти картины так ясно вставали в его воображении, как будто он только что оттуда вернулся.

Но все это были мечты, фантазия, которую надо превратить в реальность. Переезд в мехманхану домлы был первым шагом к той волшебной долине, к сказочному дворцу, к небесной Ариадне, у ножек которой воркуют голубки и пчелы пьют нектар из цветов.

## II

Мавлянкулов, председатель махаллинской комиссии, арестованный ради спасения Мухаммедраджаба, пробыл в тюрьме больше года — такова была мера предосторожности со стороны Мирзы Мухитдина. Неизвестно, как отнесся к этому сроку сам арестованный, а его жене с полуторагодовалым ребенком он показался просто невыносимым.

До того, как мужа посадили, они кое-как перебивались, но не прошло и недели после его ареста, как нужда поселилась в доме. Через два месяца не осталось уже ничего, что бы можно было продать. В таких случаях говорят: «Для женщин ичкари небо стало далеким, земля твердой». Оно и понятно! Не могут же родные кормить ее всю жизнь! А что может сделать она сама? Даже грамоты не знает.. А если бы и знала? Нельзя же сидеть за письменным столом в парандже! Ладно, пусть бы не за столом работать, пусть хоть носилки таскать! Но и для этого необходимо открытое лицо и свободные руки.

Через восемь месяцев активисты махалли и друзья мужа по работе написали заявление в суд с просьбой отпустить обвиняемого на поруки. Следователь Мирза Мухитдин заявил, что взяточника Мавлянкулова нельзя отпустить на поруки.

Мавлянкулов вначале обвинялся только во взяточничестве, но время шло, и обвинения все росли; оказалось, он был и взяточник, и бабник, и противник раскрепощения женщин; его дед был табибом, убил человека, увел его корову и зарезал. Словом, Мавлянкулов оказывался подозрительным человеком. Если бы какой-то чудак захотел составить список плохих людей на земле, первым он должен был бы поставить Мавлянкулова. Мавлянкулов обвинялся по всем статьям уголовного кодекса. Следователь объявил это тем, кто хотел взять Мавлянкулова на поруки,

и засмеялся при этом. Так ничего и не вышло у тех, кто хотел помочь ему. Как быть? Взять на поруки нельзя. Тогда надо ускорить суд. Один из активистов махалли дал в руки жене заявление, где говорилось о тяжелом положении семьи, и послал ее к следователю Мирзе Мухитдину.

Для женщины, никогда не переступавшей порог какого-либо казенного учреждения, пойти с заявлением в суд — все равно что броситься в реку, не умея плавать: что такое суд и какие сидят там люди — она не могла себе представить, и сердце ее переполнил страх. Но что же делать, когда на человека сваливается беда, он пробует не только плавать, но даже летать. Однако учреждение, где был суд, оказалось вовсе не страшным. Обыкновенное здание — и люди такие же, каких она видела всюду. И суд то весь состоял из столов и бумаг. Но когда она очутилась перед дверью следователя, ее опять охватил страх. Кабинет был украшен красными знаменами, по стенам развешены портреты государственных деятелей. За большим столом, покрытым красным сукном, сидел сам Мирза Мухитдин. Он взял ее заявление и, указав на стул, предложил сесть. Прочтя заявление, бросил его на стол, нахмурил свои тонкие черные брови, заложил руки в карман галифе, встал и заходил взад-вперед по комнате. Довольно долго длилось молчание, потом он остановился, еще раз глянул на заявление и изобразил на лице возмущение.

Из-под черной сетки паранджи была видна беленькая рука, подавшая ему бумагу.

— Кем вам приходится Мавлянкулов?

Женщина промолвила сквозь слезы:

— Муж он мне...

Глаза Мирзы Мухитдина не могли оторваться от дрожащей белой руки.

— Советская власть беспощадна к взяточникам. Взятчик — враг Советской власти. Ваш муж — противник Советской власти...

Женщина плача прервала его:

— О, господи... Братец-судья, это все клевета... его оговорили... Он бедный штукатур... И никогда не шел против власти... Наоборот, всем разъяснял, какая власть.

— Ну, как же он не против?.. Вот и вы, его жена, вы тоже против Советской власти. Почему до сих пор не сбросили паранджу? Разве вы не знаете, что Советская власть велит женщинам сбросить паранджу?

Женщина испуганно умолкла. Она готова была хоть сейчас сбросить паранджу, но было как-то неловко.

— Или вы только сюда пришли в парандже? — сказал Мирза Мухитдин, как бы почувствовав эту ее готовность.

— Я сейчас... только мне стыдно... — сказала женщина и откинула с лица сетку.

Она немного побледнела из-за пережитых волнений, но все же, увидев это чистое нежное лицо, этот рот, похожий на бутон красной розы, эти длинные ресницы, на которых блестели слезинки, Мирза Мухитдин дрогнул, глаза его загорелись; но он не показал виду и, сдвинув брови, стал опять читать заявление.

— Хорошо, так вы говорите, что он — штукатур? Какой штукатур — зажиточный или бедный?

— Мы нездешние... ничего у нас нет...

— Ну, ладно. Я сейчас прикажу. Найдут его дело и покажут мне. Но завтра я еду в центр и пробуду там, может быть, целый месяц. Поэтому, если хотите получить ответ на ваше заявление, постарайтесь сегодня вечером прийти вот сюда...

И Мирза Мухитдин дал адрес.

— Хорошо, — сказала женщина, взяв адрес.

Мирза Мухитдин потянулся и взял трубку телефона.

Женщина поняла: если она сегодня вечером не пойдет за ответом, завтра следовательно уедет надолго. Поэтому, выйдя из суда, сразу пошла разыскивать дом по данному ей адресу и села ждать на улице.

Вечером, на закате, с шумного перекрестка прикатила коляска, запряженная парой лошадей, остановилась возле дома, из нее вылез Мирза Мухитдин и, не оглядываясь, вошел в дверь.

Женщина подождала полчаса, поднялась и тоже вошла во двор. Там ее встретил Джамал Карими и ввел в комнату для гостей. Женщина остановилась у порога и сняла паранджу. Мирза Мухитдин возлежал на шелковом одеяле, облокотившись на подушку, и курил папиросу. Переступив порог, женщина сделала два шага и хотела опуститься на пол, но Мирза Мухитдин пригласил ее сесть рядом. Женщина свернула паранджу и сетку, сунула под стол, стоявший у окна, и, ступая боязливо, как по льду, который мог в любой момент обломиться, подошла и дрожа присела на край одеяла.

Лицо ее, истомленное заботами и невзгодами, было мертвенно бледно. В наступившей тишине было слышно, как где-то бьется в предсмертном испуге попавшая в паутину муха.

— Усаживайтесь поудобнее! — сказал Мирза Мухит-

дин, глядя на нее сузившимися глазами.— Чувствуйте себя свободней, здесь ведь не учреждение...

— Я и так хорошо сижу...

Мирза Мухитдин, начав говорить серьезно, вдруг сменил тон на легкомысленный, уговаривая женщину сесть поближе.

— Я просмотрел дело,— сказал он, кладя подушку у ног женщины.— Дело серьезное...

Он облокотился о подушку, которая касалась колен женщины, и улыбнулся. Женщина вся сжалась, хотела отодвинуться, но Мирза Мухитдин взял ее за плечи и притянул к себе. В голове женщины мелькнуло: «Что делать? Не ждать ответа на заявление и убежать? Плюнуть в это, искаженное желанием, отвратительное лицо? Сказать, что пожалуюсь Ахунбабаеву? Закричать, позвать на помощь? Или закрыть лицо руками и заплакать?»

Кажется, это было единственное, что она могла сделать, и она заплакала.

— Ну, ну, не расстраивайтесь,— сказал Мирза Мухитдин и обратился к вошедшему с дастарханом и бутылкой Джамалу Карими: — Следствие давным-давно было бы закончено, но все время открываются новые и новые улики... Ну, что ж, мы что-нибудь придумаем...

Джамал Карими разлил по рюмкам вино и одну протянул женщине.

— Выпейте с горя!

Женщина отказывалась, плача. Как ни уговаривал ее Джамал Карими, она не хотела выпить, тогда Мирза Мухитдин, сев перед ней на корточки и пообещав ускорить суд, все-таки заставил ее выпить вино.

И, действительно, через два дня дело было передано в суд.

Народный судья, получив это дело, долго ломал голову над ним и не мог найти состава преступления. «В чем же вина этого человека?» — спрашивал он себя и не мог ответить. Пришлось взять дело подмышку и пойти к старшему следователю.

Выслушав судью, старший следователь вызвал Мирзу Мухитдина.

— В этом деле все недоказательно. Очевидно, здесь сведение личных счетов.

Мирза Мухитдин сделал вид, будто припоминает, о каком деле идет речь, взяв его в руки, полистал и спросил удивленно:

— Какие же тут могут быть личные счета?

— Обвиняется во взяточничестве, а ни доказательств, ни свидетелей нет. Обвиняется в том, что противился раскрепощению женщин, а ни одного конкретного примера в деле нет. Обвиняется в изнасиловании, а пострадавших нет. И так далее, и так далее... В конце концов, за что же его судить? Восемь лет я работаю в судебном ведомстве, но такого бессмысленного, раздутого из ничего дела еще не видел.

Мирза Мухитдин задумался и стал тереть лоб, потом, сдув с бумаги пыль, достал из дела газетную вырезку.

— Дело вот в чем... Его обвинила во взяточничестве газета. Надо оберегать авторитет газеты, престиж партийной печати... Основная его вина, значит, в этом. Все остальное лишь свидетельствует, что с его стороны возможны были и другие преступления. Конечно, судить его надо за взяточничество...

— Но ведь оно не доказано. Я думаю, что авторитет партийной печати пострадает от такого суда.

Мирза Мухитдин рассердился.

— Он — взяточник, я лично могу это подтвердить.

— Но в деле нет документа...

— Есть!

— Так покажите, если он есть, — сказал разгорячившись судья.

— Живого свидетеля не подошьешь к делу.

— А-а! Я знаю, о каком живом свидетеле вы говорите! Он сам должен бы отвечать перед судом за свои темные делишки. Он спекулянт, тайно торговал шелком и был пойман. Нет, я не могу взять на себя ответственность за ведение этого дела.

— Конечно, человек, который хочет подорвать авторитет партийной печати, не может взять на себя такую ответственность...

Назавтра Мирза Мухитдин вызвал жену Мавлянкулова и напугал ее: «Вот я направил дело в суд для скорейшего решения, а народный судья Ибрагимов опять все затягивает. Боюсь, твоего мужа расстреляют». Женщину ошеломило такое сообщение, она не подумала о том, почему совершенно незнакомый судья мог так ополчиться на ее мужа, она испугалась до смерти, что останется вдовой с малолетним ребенком на руках. И Мирза Мухитдин научил ее пойти в редакцию областной газеты и сказать там, что народный судья Ибрагимов требовал с нее взятку и говорил ей всякие неприличные слова. Принял ее Саиди, с которым обговорено было все заранее.

Через несколько дней в газете за той же подписью, что и заметка, обвинявшая когда-то Мавлянкулова во взяточничестве, появился фельетон. Автор подробно, как будто сам присутствовал при этом, рассказывал, что судья Ибрагимов не только потребовал с женщины взятку, но, вызвав ее к себе домой, пытался изнасиловать, она едва вырвалась, оставив в руках пьяного судьи обрывок платья.

И вот состоялся суд над Мавлянкуловым, он был осужден на пять лет. Наконец ему дали свидание с семьей.

Жена сказала ему, обливаясь слезами:

— Сколько горя вы причинили мне, сколько поганных дел натворили! Что же со мной, бедной, теперь будет!..

— Все это неправда, жена! В чем тут загвоздка, я до сих пор не понимаю. Не могу представить себе, кому так нужно было, чтоб я был арестован и на пять лет посажен в тюрьму. Когда-нибудь все раскроется, может быть, обнаружится подоплека всего этого. А пока, что ж, ничего не поделаешь, что случилось, то случилось.— И чтобы жена не увидела, что он плачет, Мавлянкулов нагнулся и поцеловал сына. Затем, справившись с собой, продолжал: — Трудно вам придется теперь... Но раз уж беда свалилась на голову, ничего не поделаешь. Меня увезут сегодня... далеко — на поезде. Теперь ты... может быть, тебе пойти работать на шелкомотальную фабрику?

— Я тоже думала об этом,— сказала жена.— Багиджанова жена там работает...

— Так и сделай. Живы будем — увидимся. Когда-нибудь все раскроется... А плакать не надо. Значит, так: поступай на работу. Вечером приходите на станцию проводить меня.

Сдерживая слезы, он взял на руки сына. Надзиратель объявил конец свиданию. Мавлянкулова увели. Видя, что он уходит, ребенок заплакал:

— Папа уходит... ушел мой папочка!

### III

Саиди благодарил Мирзу Мухитдина за то, что он спас его зятя от беды. В самом деле, Мирза Мухитдин многим рисковал в этом деле. И, конечно, он ждал более существенного выражения благодарности от самого Мухаммедраджаба. Саиди понимал это и собирался по приезду зятя устроить от его имени пирушку для Мирзы Мухитдина.

Мухаммедраджаб приехал вместе с Хайдаром-хаджи и

Мухтарханом. Саиди думал, что зять еще ничего не знал о происшедшем и, услышав новость, обрадуется. Но оказалось, что Мухаммедраджаб уже знал — и даже лучше Саиди — все подробности дела, однако он не счел нужным сказать спасибо Мирзе Мухитдину за то, что он так о нем позаботился. Саиди решил, что зять сам будет лично благодарить своего спасителя, больше об этом не заговаривал.

За время своего отсутствия Мухаммедраджаб сильно растолстел, лицо его так и лоснилось от жира. Он был весел и чувствовал себя превосходно. Хаджи и Мухтархан, пробыв всего один день в городе, уехали в центр. Мухаммедраджаб остался дожидаться Хайдара-хаджи. Хаджи, обещавший вернуться через два дня, через неделю прислал телеграмму, что он задерживается в центре еще на некоторое время. Все эти дни Мухаммедраджаб проводил в комнате Саиди. По утрам, когда Саиди уходил на работу, Мухаммедраджаб оставался дома, а когда Саиди возвращался, зять уходил и являлся только под утро. Саиди было неловко перед Мирзой Мухитдином, он сердился на зятя и про себя называл его бессовестным.

Прошло несколько дней, а Мухаммедраджаб даже не упоминал имени Мирзы Мухитдина.

Как-то ночью, когда Мухаммедраджаб вернулся раньше обычного, Саиди спросил его:

— Разве Мухтархан тоже участвует в ваших делах?

Он спросил это просто потому, что не знал, о чем говорить.

Но Мухаммедраджаб отвечал с запинкой:

— Вы подумали так, потому что он уехал вместе с хаджи? Нет, он в наших делах не участвует. У него совсем другие дела.

Этот уклончивый ответ не понравился Саиди, хоть он и спрашивал только из любопытства. Мухаммедраджаб вообще был слишком неразговорчив теперь, и Саиди иногда спрашивал себя: «Почему он не откровенен со мной? Что мешает ему говорить со мной свободно?»

— Вы что-то стали очень пугливы... чего вы боитесь? — сказал он при встрече.

— Почему вы так думаете?

— Так получается... с тех пор, как приехали, ни разу со мной не поговорили без утайки. Как только я прихожу, вы уходите...

— Ну, что вы, Рахимджан, как можно так думать? Какие у меня могут быть дела, чтобы скрывать их от вас?.. А по вечерам я ухожу, чтобы вам не мешать... Вы по вечерам



работаете... А я встречаюсь с давнишними приятелями, которых не видел столько времени...

— Нет, вы просто не считаете нужным мне рассказывать о себе... Ведь я до сих пор не знаю, чем вы сейчас занимаетесь, что у вас за дела, как вы живете.

Саиди был всерьез обижен. Тогда Мухаммедраджаб, как пройдоха-портной, не выполнивший вовремя заказа, принялся заливать обиду сладкими речами и быстро сумел задобрить Саиди.

— Вы же знаете, мы с Хайдаром-хаджи начали вместе дело. Оно идет неплохо. Но вот чего вы не знаете: мы не на равных паях компаньоны. Я получаю только четвертую часть.

— Почему же? Разве основной капитал весь принадлежит хаджи? Или он один добывает товар?

— Нет, капитал у нас общий. И товар добываем сообща. Мы связаны со многими кооперативами. Но дело вот в чем. Вы сами понимаете: в наше время каждый день могут возникнуть трудности. Если я столкнусь с этими трудностями, мне не сдобровать — попадусь тотчас. А хаджи — ловкач. У него большие знакомства среди чиновников. Если на нас начислят большой налог, хаджи сумеет уменьшить его наполовину, если не совсем избавиться. Конечно, для этого нужны деньги. У Мирзы Мухитдина скоро и плошка для собаки будет из золота — вот уж кто тянет взятку за взяткой, как мозг из косточки. В каждый свой приезд обязательно навестит хаджи, не уедет без взятки. Осенью приехал — вести следствие по делу двух видных басмачей. Все ждали, что их приговорят к расстрелу. А они — люди богатые и откупились от смерти золотом. Обоим дали по семь лет. Но я слышал, что один из них уже на свободе. Ах, надо было вам учиться на следователя!

— Разве Мирза Мухитдин появляется в ваших краях? — спросил Саиди

— Да, иногда приезжает.

— А Мухтархан какое имеет отношение к Хайдару-хаджи? У него ведь свои дела. Откуда же он знает хаджи?

— Нет такого человека, кто бы не знал хаджи. Кто только у него ни бывает... и из Кашгара, и из Оренбурга, и из того города, который называется Казань. И куда бы он сам ни приехал — везде его знают и уважают.

— Ну, а Мухтархан — он учительствует или у него другие дела?

— Наверно, есть и другие дела.

Мухаммедраджаб замолчал, и видно было, что он не

хотел распространяться на эту тему. Но Саиди готов был опять обидеться, и Мухаммедраджаб вынужден был продолжать:

— В прошлом году хаджи послал меня в Узген. Мы поехали на четырех конях. Остановились в доме у одного человека. Вечером явился Мухтархан, я узнал, что он там уже две недели. Пришел бледный и растерянный, словно человек, у которого описали имущество, со мной даже не поздоровался, пошептался с хозяином и ушел. После его ухода хозяин наш тоже разволновался, расстроился еще хуже него. Ну, вы сами понимаете, в каком положении оказывается гость, если хозяин чем-то озабочен. И вот я еще до вечерней молитвы попросил, чтобы мне постелили постель, и сказав, что я нездоров, улегся. Хозяин ушел и вернулся, после вечерней молитвы, вместе с Мухтарханом. Я лежал, укрывшись одеялом, и притворился спящим. Они долго шептались, и Мухтархан в полночь опять ушел.

— Но что же там делал Мухтархан? спросил с удивлением Саиди.

— Утром, когда я умывался перед намазом, пришел какой-то человек, по виду русский. Хозяин ему сказал несколько слов — не знаю уж, о чем, — и этот человек прямо-таки остолбенел, не мог пошевелинуться. Я делаю вид, что ничего не замечаю, а сам слежу внимательно. И вот скажу вам: я видел человека, приговоренного к расстрелу, который своими ногами шел к своей смерти, но вид у него был не так ужасен, как у нашего хозяина в тот час. Ноги его уже не держали, он так и упал на колени. Русский ушел, не промолвив ни слова. Сели завтракать. Ей-богу, даже интересно смотреть на человека, когда он так трясется от страха: откусил кусок лепешки, валяет его во рту, а проглотить не может...

— Почему же вы его не спросили, что случилось?

— Он старался изо всех сил делать вид, что ничего не случилось. Ну, раз это тайна, я не стал спрашивать. После завтрака пришел Мухтархан и увел хозяина. А в полдень по всему городу прошел слух, что убит курбаши Самандар. Этот курбаши два дня назад помирился с Советской властью и явился в город. А потом я узнал: если бы курбаши остался жив, Мухтархан пропал бы.

— Почему?

— Мухтархан доставлял оружие курбаши Самандару.

— Откуда вы это узнали?

— Как-то Мухтархан попросил меня помочь ему, иначе он бы погиб...

Саиди поинтересовался, что же это было за дело, но Мухаммедраджаб перевел разговор на другое:

— Я очень встревожился, узнав об истории с Мавлянкуловым. Поговорил с хаджи, а он сказал, чтобы я не беспокоился, что он предупредит Мухтархана. Потом я узнал, что Мухтархан с Мирзой Мухитдином старые друзья. Конечно, Мирза Мухитдин отчасти уважил вас, а с другой стороны — за добро надо платить добром...

Таким образом Саиди узнал, что Мирза Мухитдин действовал совсем не бескорыстно. Однако его симпатия к Мирзе Мухитдину ничуть не уменьшилась.

В ту ночь Саиди долго разговаривал с Мухаммедраджабом, выпрашивал его о многом. Он хотел для себя распутать клубок до конца.

Мальчишка, выигравший в ашички полный карман орехов, и человек, вернувшийся с похорон своего заклятого врага, — каждый по-своему довольны и счастливы, но настроение того и другого нельзя даже сравнить с тем, что чувствовал сейчас Саиди. Голос Мухаммедраджаба, рассказывавшего ему подробности, которых он не знал, был ему приятен — как смех юной девушки, как первые слова ребенка. Каждое маленькое происшествие, каждое событие, каждое сказанное слово связывались теперь в уме Саиди с тем, что он уже знал, одной крепкой и надежной нитью.

#### IV

«Умный человек ничему не удивляется» — эта мысль пришла из древних времен, жива поныне и будет всегда казаться мудростью.

Уже выпал снег. А ишан, сидя дома, глубокомысленно предсказывает снегопад. И, если бы между этими двумя событиями не случилось третье, — если бы кошка, мокрая и замерзшая, не заглянула в это время со двора, иные умники удивились бы прозорливости ишана, как доверчивые мюриды.

Великое множество происшествий случилось вокруг Саиди, и каждое из них могло поставить в тупик кого угодно.

Якубджан, который за деньги готов пойти, что называется, в огонь и воду, который за упавший в сандал рубль так избил жену, что она оглохла, вдруг объявил себя бескорыстно преданным делу культуры и бесплатно учил грамоте рабочих типографии. Мурадходжа-домла, который говорил, что «люди в кишлаке такие скоты, что у него

нет сил смотреть на них», стал ездить к этим «скотам» читать лекции. Подобные вещи случались и с другими, и все это было неспроста.

После разговора с Мухаммедраджабом Саиди замечал все это и задумывался. Он понимал, что между многими этими событиями существовала связь, и пытался объяснить ее себе. Почему Аббасхан соединил Мухаммедраджаба с Хайдаром-хаджи? Почему Мунисхон, это чудо природы, девушка, чистая, как сок граната, красавица и умница, согласилась стать женою Мухтархана, человека с глазами ящерицы, которого природа на смех людям слепила из глины?.. Сначала Саиди думал, что Мухтархан богат, но потом узнал, что это были пустые разговоры.

Все, что рассказал Мухаммедраджаб и о чем догадывался сам Саиди, привело его к мысли, что существует какой-то большой и сложный механизм, который управляет всеми этими событиями и людьми, а все они — только части этого механизма. Хорошо бы знать, как они расставлены, увидеть в действии весь механизм. Саиди верил, что он тоже может оказаться винтиком этой машины, и ему не терпелось узнать, насколько важный он винтик.

Среда, в которой жил и вращался Саиди, то закрывала его глаза черной завесой, не пропускавшей света, то заставляла видеть все сквозь кривое стекло. Но бывали моменты, когда завеса спадала, стекло лопалось, и становилось ясным, что не все то, что он считал действительностью, было правдой. Старая рана, за последние пять лет почти забытая, снова заныла и с большей силой, чем раньше. Но Саиди был теперь уже другим. От прежней его волевой направленности не осталось и следа. Он был ослаблен и размягчен, часто смотрел на мир глазами Муррадходжи-домлы, слышал его ушами. «Кто как живет, так и думает». Жизнь в доме домлы сделала его безвольным, облегчила задачу тем, кто хотел влиять на него. Правда, противоречие между внешним благополучием и внутренней неудовлетворенностью все обострялось в Саиди. А такое противоречие часто доводит человека до петли. Но у Саиди еще оставалась надежда на будущее, он верил, что его друзья — истинные вожди народа, что впереди — великие перемены. И это удерживало его от отчаяния.

Конечно же, должен был существовать и действовать какой-то механизм, — ведь под угрозой было все национальное, начиная от старой плетеной корзины и кончая тем дворцом, который он мечтал построить в долине.

Механизм такой существует, Саиди чувствовал это, и кто-то должен расставить всех по местам и показать Саиди и его друзьям их место и назначение. Но ужас в том, что пока никто ничего не делал. А когда Саиди пытался заговорить с кем-нибудь об этом, собеседники либо молчали, либо пожимали плечами и сворачивали разговор на другое. Вот только Якубджан дал понять: «Наш гап может стать таким механизмом». Эти слова взволновали Саиди. Почему же в таком случае не постараться расширить «наш гап», не объединить в нем Мухтархана, Хайдара-хаджи и других единомышленников. Но Якубджан сказал, что привлекать таких известных людей рискованно, ибо позиция их неясна, а они не терпят возражений. Разумные и опытные люди советовали расширять гап за счет молодежи.

Саиди согласился с этим. Он не пытался уже обнаружить «большой механизм» и искать связи между людьми и событиями. Все силы он хотел теперь отдать тому, чтобы укрепить и возвысить свой гап.

Как астроном изучает звездное небо, так Саиди внимательно приглядывается к каждому, кто только заикнется о необходимости «организации». А уверовав, что это не обмолвка, а искреннее желание, начинает улещивать единомышленника так, как женщина, только что оставившая любовника, ластится к мужу, упрашивая его выпить чаю. И так же, как стрелка компаса, сколько его ни крути, дрожит и указывает всегда только одно направление, так и Саиди, что бы с ним ни было, стремился только к одному: «Надо расширять, надо увеличивать организацию!» Он торопился, как спешит и торопится ребенок, едва начавший ходить и делающий неверными шаткими ножонками первые шаги, грозящие ему по меньшей мере падением.

Аббасхан, Салимхан и другие видели это. И предостерегали Саиди, но слова их звучали фальшиво, как увещевание доброжелательных недоброжелателей. Ведь если мать говорит со смехом своему юноше-сыну: «ты у меня хороший, только уж слишком заглядываешься на девушек», — то паренек, хоть и застесняется, но ему приятно это слышать, и уж, конечно, если до того он не смотрел на девушек, то теперь и вправду не даст им проходу... Пьянице, о котором говорят, что он пьет и не пьянеет, тоже приятно это слышать. Потому что в этом, как и в словах матери сыну, — одновременно и упрек и одобрение. А когда к любой критике примешивается доля восхищения, человек воспринимает только эту приятную для него часть.

В упреках Аббасхана, Салимхана и других Саиди слышал одобрение, и они знали силу этого одобрения.

Скоро Саиди перешел все границы осторожности, разругался с Якубджаном, даже назвал его продажным, а других участников гапа людьми с «заячьими душами»: «Вы — как зайцы, услышите любой шорох, так душа у вас в пятки уходит». На очередном собрании он потребовал, чтобы было принято его предложение — распространение в городе листовок. Собрание не приняло этого предложения, но и не отклонило, поговорили и разошлись раньше обычного. Якубджан злился, Саиди же чувствовал себя вождем.

Через неделю Мурадходжа-домла вечером пришел к Саиди в комнату и, усевшись на диван, сказал, усмехаясь:

— Есть жалоба на вас.

Саиди покраснел, взял со стола папиросу и закурил, смущенно улыбаясь. Прошлой ночью, когда Сорахон пришла к нему, он насильно удержал ее у себя дольше обычного и теперь, думая, что домла хочет говорить об этом, поспешил сам начать неприятный разговор...

— Вчера ночью я...

— Поспешность может все погубить, — перебил его домла.

— Но, домла, ведь я же...

— Погодите, послушайте... Позвольте уж мне сказать. Зачем вам понадобилось предлагать эти листовки? Какая польза от них? Подумайте-ка...

Саиди испугался.

— Своим необдуманном поступком вы только зря взбудоражили людей, которые собрались отдохнуть вместе раз в неделю, — продолжал домла. — Вы в этом гапе участвуете уже некоторое время, а мне не говорили, да, я надеюсь, и никому другому тоже — это хорошо. Так и нужно. Ведь это дело такое — как стекло, разобьется — не склеишь. Я это знаю... у меня есть опыт...

Саиди ожил:

— Вы знали, что я участвую в гапе?

— Знал, конечно. Это дело только начинается, а вам, наверное, казалось, что именно вы — всему голова... Иначе вы бы так не спешили...

— Нет, домла, не так. Я, конечно, понимал, что движение это существует, но оно пока еще разобщено, разрознено. Нет единого центра, который бы его объединил.

— А почему вы думаете, что нет такого центра?

— Если он есть, так пусть он руководит нами.

Домла засмеялся.

— А если он уже руководит?

Саиди так жадно спрашивал, что домла поневоле открыл ему то, чего и не должен был говорить.

В тот злополучный вечер, когда на гапе из-за предложений Саиди о листовках произошло некоторое смятение, Якубджан пришел прямо к домле и рассказал ему все. Хотя домла имел право многие вопросы разрешать сам, на этот раз он не хотел брать на себя ответственность и устроил внеочередную встречу членов комитета. Он считал, что Саиди заслуживал того, чтобы ввести его в круг более осведомленных участников движения и открыть его некоторые секреты и планы. Но другие члены комитета не хотели делать исключения для Саиди, считая его недостаточно сдержанным, слишком поспешным и даже опасным участником гапа. В конце концов решили так: хорошо, можно Саиди кое о чем информировать. Пусть он знает, что существует руководящий центр движения — центральный комитет и областной комитет, но имен членов этих комитетов ему не открывать. Пусть он перестанет заботиться об «объединении разрозненного движения», успокоится и почувствует, как велика его ответственность за общее дело.

Мурадходжа-домла передал все это Саиди и добавил еще, что Якубджан, организовавший гап, в котором участвовал Саиди, — представитель областного комитета, и что существует уже несколько таких гапов. Он мог бы еще открыть Саиди, что сам он и есть председатель областного комитета, рассказать о поддержке басмачей и о связях с иностранным государством и о многих других тайных действиях комитета, но, несмотря на все просьбы Саиди, поднялся и уходя повторил несколько раз, что нужно подчиняться во всем Якубджану и никому не обмолвиться о сегодняшнем разговоре.

Саиди вздохнул с облегчением, как будто наконец решил трудную задачу. Разделся, улегся в постель и принялся мечтать: то он организывает новые гапы, руководит ими; то вдруг становится красноречивым оратором; то делается знатоком военного дела и создает новые отряды басмачей; то изобретает с помощью зеркал и каких-то еще элементов сжигающий луч, посредством которого уничтожает целые города; то, одетый в сталь, один идет против бронированных машин и танков... И где-то в далекой дали мерещился дворец, который он хотел построить в долине...

Мурадходжа-домла тоже долго не мог уснуть в эту ночь. Он все-таки кое-что открыл Саиди, о чем не следовало еще ему говорить. Хорошо это или плохо? Домла думал-думал и, наконец, решил, что хорошо, что пора уже Саиди знать и другие тайны. В самом деле, почему домла должен все от него скрывать? Ведь если члены комитета говорят, что «для Саиди не надо делать исключения», то лишь потому, что они его не знают, он для них ничем не отличается от сотен других людей. Но для домлы? Для домлы Саиди — будущий зять! Говорят, что Саиди несдержан на язык, горяч, тороплив — и тем опасен, но ведь, узнав многое, он больше ощутит свою ответственность, станет спокойнее и выдержаннее.

И действительно, Саиди в последние дни стал как-то спокойнее и, вместо всяких прежних проектов, считал теперь более полезным для дела высмеять в газете какого-нибудь ответственного советского работника, работающего не за страх, а за совесть, или сжечь заметку рабкора, свидетельствующую об успехах правительственных мероприятий.

Домла заходил к нему часто, в каждое его посещение Саиди старался выведать у него что-либо новое об организации, и порой это ему удавалось. О чем бы ни заходила речь — о затмении луны или о том, что корова стала меньше давать молока, — разговор всегда сводился к делам организации.

Прошло немного времени, и Саиди уже знал, что Мурадходжа-домла является председателем областного комитета, и еще множество всяких деталей, которые позволили ему «расставить все по местам» и увидеть в действии «большой механизм».

В одну из пятниц, когда Саиди и Мурадходжа-домла мирно выпивали и беседовали, пришел Якубджан. Сядя рядом с Саиди, он хихикнул и сказал ему: «Вы — курица». Якубджан вообще любил поразить собеседника каким-то неожиданным, часто неприятным словом — и не спешил объяснить это. Это знали все и Саиди тоже.

— Домла, вы сообщили этому почтенному человеку новость? — спросил Якубджан, принимая из рук Саиди пиалу с вином.

— Нет, я ничего не говорил. Вы сами должны ему сказать. Не вмешивайте в это меня, не нарушайте правил.

Саиди ничего не понял, посмотрел сначала на домлу, потом на Якубджана. Никто не стал ему ничего объяснять. Постепенно он понял, о чем шла речь.



Курицы выводят цыплят и воспитывают их, пока цыплята не станут сами добывать себе корм и не научатся убегать от опасности. Когда же они достигнут самостоятельности, курица оставляет их, считая: «Теперь живите и кормитесь сами и выводите новых цыплят». Вот такой «наседкой» и был Якубджан — он растил и воспитывал «цыплят», пока они не становились «курами» — об этом и было сказано Саиди. Но домла был неудовлетворен таким объяснением Якубджана и добавил от себя следующее: на очередном собрании гапа Якубджан скажет о необходимости расширить группу, ввести новых людей, и Саиди должен будет взять на себя организацию нового гапа с привлечением новых членов.

Слушая домлу, Саиди задумался. Раньше, когда он думал о «необходимости организовать» людей, ему представлялось, что люди только и ждут его призыва. Но сейчас, когда на него возлагали конкретную задачу, он мысленно искал этих людей и не находил ни одного. Раньше ему казалось, что вокруг он слышит вопли о помощи, теперь он их не слышал больше; раньше он думал, что мир наполнен такими людьми, как Махмуджан-эффенди, теперь он видел, что его окружали такие, как Кенджа, Теша, а у них Саиди не надеялся найти сочувствие. Мысленно он перебрал всех работников своей газеты. Нет, там тоже не было у него единомышленников. Он вспомнил своих университетских товарищей, но эти воспоминания только нагнали на него страх.

И все-таки он принял задание и на очередном собрании гапа, когда Якубджан объявил об этом, Саиди, как попугай, повторил то, что подсказано было ему домлой и Якубджаном.

## V

Если бы разбойник темной ночью преградил путь Мурадходже-домле и спросил: «Кошелек или жизнь?» — домла, конечно же, выбрал бы кошелек, живой он не мог с ним расстаться. Но если бы его спросили: «Кошелек или Саиди?» — то он, не раздумывая, ответил бы: «Саиди!» — потому что для него легче было потерять содержимое одного кошелька, чем неиссякаемый источник его наполнения.

Любой вопрос Саиди, оставленный без ответа, малейшая неприятность, доставленная ему в этом доме, могут обойтись домле слишком дорого, ни с каким кошельком не сравнишь. Вот почему Саиди за короткое время узнал от домлы почти все об организации, ее построении

и методах ее работы. Цель организации — поднять вместо красного знамени национальное зеленое знамя. Под сенью этого зеленого знамени изменится вся жизнь, человеку, открывшему свою кузницу с механическим молотом, не придется повеситься, как отцу Саиди. Можно будет построить и дворец в долине с невольницами, рабынями и прочим.

И Саиди принялся за дело. Задача была: подобрать нужных людей и организовать свой гап. Ночью Саиди все хорошо обдумал — к кому пойти, как начать разговор, но к рассвету его уже одолевали сомнения, а когда днем собирался отправиться к тому человеку, чувствовал себя уже совершенно беспомощным.

Так было, например, когда он собрался пойти к секретарю комсомольской ячейки типографии Пулатову.

Пулатов появился в типографии недавно. Саиди увидел его, когда, как Якубджан, хотел научиться сам набирать и пришел в типографию. Однажды Саиди рассыпал свой набор и не знал, как разложить рассыпавшиеся литеры по их гнездам. Тогда к нему подошел Пулатов и очень быстро разложил рассыпавшиеся буквы по местам. Тут они и познакомились.

Узнав, что Саиди — комсомолец, Пулатов несколько раз предлагал ему: «Становитесь на учет в нашу ячейку». Саиди же, не желая, чтоб узнали, что он выбыл из комсомола, отговаривался, что университетская ячейка не снимает его с учета. Пулатов уважал Саиди, как ответственного секретаря редакции, писателя, высокообразованного человека, да к тому же выходца из крестьянской среды. Саиди бывал у него дома, но до сих пор не пробовал, как говорит Мурадходжа-домла, «запустить руку к нему в душу».

На этот раз, заглянув к Пулатову, он встретил у него старого знакомого. В комнате сидел Юлчибай, тот батрак, которого он видел когда-то в кишлаке во время подготовки к проведению земельной реформы, тот самый, кто говорил, что «можно стереть со лба предназначенную ему судьбу батрака и вместо этого написать двадцать танাপов земли». Юлчибай был одет в хороший стеганый халат из бекасама, на голове чувская тубетейка, подпоясан шелковым платком, на ногах любимые кишлачными парнями сапоги с высокими каблуками. Саиди тотчас узнал его, но не мог поверить своим глазам. Юлчибай встал и обнял Саиди. Потом с Саиди поздоровался и племянник Юлчибая, паренек лет двадцати, одетый чуть похуже.

— Откуда вы знаете товарища Саиди? — спросил Юлчибая Пулатов.

— А мы с ним старые друзья. Во время земельной реформы он прожил в нашем кишлаке почти месяц. Вот так, та-ак, товарищ Саиди... Как я мечтал хоть бы разок вас увидеть!.. Город, оказывается, такой большой, что трудно здесь найти человека... Я недавно услышал, что вы работаете в газете, и думал уж, что придется обойти все редакции... Ну, как вы живете, здоровы ли, какое у вас настроение?..

Юлчибай познакомился с Пулатовым, когда оба они учились на курсах секретарей. Пулатов в то время работал наборщиком в типографии, которая находилась в нижнем этаже здания, где помещались курсы. После занятий Юлчибай часто заходил к Пулатову и своей жизнерадостностью, веселыми шутками полюбился ему. Тут же на ходу расспрашивал его обо всем, чего не понял на занятиях, и Пулатов, каким бы ни был усталым, не ленился объяснить Юлчибаю все, что знал сам. Пулатов так к нему привык, что если Юлчибая долго не было, он сам шел в класс и просиживал там до конца занятий. Однажды Юлчибай пришел к наборщикам с книгой, которая называлась «Как появился на земле человек», и стал возмущаться: «Зачем нам эта книга? Нам не нужно знать, как появился человек, нам важнее узнать, каким образом одни стали богатыми, другие бедными — вот о чем нужно набирать и выпускать книги». Пулатов от души смеялся над ним, а назавтра отыскал такую книгу и дал Юлчибаю. История эта долго была предметом обсуждения среди наборщиков, и у Юлчибая появилось много друзей. С тех пор Юлчибай особенно подружился с Пулатовым. Когда Пулатов переехал в город, Юлчибай, бывая там по делам, всегда навещал Пулатова.

Саиди с интересом выслушал рассказ Юлчибая о том, как он учился и как теперь работает секретарем сельсовета, а потом спросил его племянника:

— А вы учитесь здесь?

Парень не услышал. Саиди повторил вопрос, но Юлчибай объяснил:

— Он не слышит, глух на левое ухо.

Дядя тронул племянника за колено, дал ему понять, что с ним разговаривают, и парень подставил правое ухо.

— Что у вас с ухом? — спросил Саиди.

За парня ответил Юлчибай:

— Это отец его так избил.

— Какая дикость! — воскликнул Саиди и посмотрел на Пулатова. — Чем же вы так провинились?

Парень усмехнулся:

— Я даже не понял... Мы с одним парнем — Кимсан его зовут — пасли скот на целине. Подошли двое с винтовками, спросили: «Есть у вас в кишлаке красноармейцы?» Кимсан сказал: «Нет», а я сказал: «Есть». Я правду сказал. Кимсана стукнули раз-другой камчой и ушли. Кимсан разозлился, пошел к моему отцу и сказал: «Ваш сын за басмачей». Тогда отец мне сказал: «Зачем ты сказал, что у нас красноармейцы? Если бы ты сказал, что их нет, басмачи пришли бы прямо сюда, и их поймали бы...» И стал меня бить. Пришел мой старший брат, я думал — он за меня заступится, а он и сам меня ударил два раза. С тех пор я и оглох... Лечился целый месяц, но ничего не помогло.

Зашел разговор о басмачестве. Саиди, прикидываясь простачком, расспрашивал о басмачах, и в тоне его проskalьзывали даже нотки сочувствия к «тем, кто вступил на ложный путь».

Пулатов хотел возразить, но Юлчибай опередил его:

— Если батрак говорит: «Это хорошо», хозяин скажет: «Это плохо». Если же батрак скажет: «Это плохо», хозяин непременно закричит во весь голос: «Это хорошо!» Батрак попробует возражать — хозяин вытаскивает нож, поднимает на него топор. Я сам это видел — своими глазами. Помните: Ибрагим Рахматуллаев сказал, что земельная реформа — это хорошо, а хозяин был несогласен. И Ибрагим по воле Ниязмата-хаджи исчез в одну ночь... Сейчас батраки и бедняки везде восстают против хозяев, теперь уж они не благодарят, как раньше, за подзатыльники, как за учебу. А раз так, то хозяева вынимают ножи и размахивают топорами. Басмачество — это топор, занесенный над нами...

После такого ответа уже не было смысла Саиди продолжать разговор. Он взглянул на часы, попрощался и ушел.

Никто ему не возражал в этой дружеской беседе, но, покинув этот дом, Саиди чувствовал себя таким усталым, как после долгого напряженного спора.

## VI

— Вы — жук, — сказал Якубджан, когда они остались одни в редакции.

Саиди посмотрел на него, ожидая разъяснений. Якубджан, перебирая бумаги, проворчал:

— Что же вы не спросите: какой жук?

— Хорошо: какой я жук?

Якубджан оглянулся и таинственно зашептал:

— Вы — навозный жук... Он пытается ухватить комок навоза и протаскать его в свое гнездо, но захватывает такой большой ком, что он не пролезает в его дыру, только забивает ее. Такой жук трудится, старается, но в конце концов сам себя замуровывает...

Саиди задумался.

— Ну, что, каков эффект от моих слов? — спросил Якубджан, подходя к нему.

— Если бы мне пришлось перекачивать навозный ком, я в первую очередь ухватил бы вас, — отвечал Саиди насмешливо.

Он понял намек Якубджана, желание его оскорбить и не мог не ответить тем же.

Саиди изо всех сил старался организовать новый гап, пробовал прощупать несколько молодых людей, но ничего не мог добиться, более того, всякий раз создавалось такое опасное положение, что невозможно было предпринимать что-то дальше, и под конец он начал уже бояться заговаривать с кем-нибудь о деле. На эти его бесплодные усилия и намекал теперь Якубджан.

Саиди попытался оправдаться:

— На моем месте и вы ничего бы не смогли сделать.

— Я уже был на вашем месте, однако дело сделал и не оказался замурованным.

— Что же вы сделали?

— Организовал гап.

— Это так, но людей-то вам подбирать не пришлось!

— А вы? А Закирхан?

— Это меня-то вы считаете своей находкой? Ну, нет! Меня привело на этот путь вовсе не ваше организационное умение, а мое прошлое, смерть отца, мои собственные раздумья... И Закирхан, конечно, сам до этого додумался, и другие тоже. Ну-ка, еще раз прикиньте, честно, кто из девяти членов нашего гапа вступил в него благодаря вам? Нет, таких, как мы все, собрать было просто. Мы бы и без вас объединились. А вы попробуйте привлечь Кенджу, Пулатова, — вот тогда я буду вами восхищаться.

— Вы же тоже были комсомольцем!

— Да, я тоже был комсомольцем. Но меня оторвать от комсомола было легко. Я оказался в нем случайно. И уйдя стал только вновь самим собой.

— Так почему же вы не ищете таких же случайных?..

Якубджан повернулся и пошел на свое место. Саиди остался сидеть за столом, глядел в окно и думал. Довольно долго оба молчали. Саиди решил уже что-то сказать, чтоб разрядить обстановку, но не успел: открылась дверь, и вошел учитель Салахиддин-домла. Якубджан первый с ним поздоровался, Саиди же не успел еще встать, как Салахиддин подошел к нему сам с протянутой рукой, приветствуя. Пока он вежливо расспрашивал о здоровье, в памяти у Саиди зазвучали слова, когда-то сказанные Салахиддином на собрании городской интеллигенции, где обсуждалась земельная реформа.

С тех пор Салахиддин заметно постарел. Борода его стала совершенно седой, на худой шее резко обозначились жилы. Он тяжело опустился на стул, достал из кармана все той же старой куртки с отложным воротником носовой платок и вытер им глаза и лоб.

— Здоровы ли? Как дела? Как школа? — спрашивал Саиди, хотя уже все знал заранее.

И Салахиддин в ответ только горько усмехнулся.

Вот уже год, как он был без работы. Об этом постарался заведующий отделом народного образования Салимхан: в одном из своих докладов он совершенно уничтожил старого учителя. Вот неполный перечень того, что вменялось Салахиддину в вину: в школе, где он преподавал, в стенгазете были опубликованы стихи с националистическим душком; какой-то школьник разбил камнем скульптурный бюст одного из государственных деятелей; другой мальчик записал в своем дневнике: «Когда я вырасту, стану революционером и свергну...», а когда его спросили, что значит это многоточие, он ответил: «Советскую власть». Это были подлинные факты, Салимхан ничего не выдумал и не преувеличил — все это сообщил ему пионервожатый школы.

Никто из учителей, воспитателей не внушал ученикам таких мыслей, никто не толкал их на такие поступки. И школьники — ни разбивший камнем бюст руководителя, ни тот, кто хотел «вырасти революционером и свергнуть...» — не могли сказать, что их научил этому кто-то из преподавателей.

Кто же был виноват? Призывая к классовой бдительности, Салимхан тщательно проанализировал все происшедшее в школе и пришел к такому выводу: виноват не тот учитель, который бывает в школе только на уроках, не задерживаясь ни на минуту позже, как, например,

Махмуджан-эффенди, а тот, кто все время проводит в школе и в общежитии, кто постоянно бывает с детьми — Салахиддин. Конечно, нельзя не винить также и заведующего школой и других учителей, которые формально относятся к делу воспитания, но главная вина, конечно, лежит на Салахиддине. На его голову и должна была обрушиться кара.

И, действительно, все обрушилось на голову Салахиддина. Ученики, которые пытались защищать его на общем собрании и говорили, что «Салахиддин-домла хороший», были взяты под подозрение, как зараженные его дурным влиянием, и Махмуджану-эффенди было поручено следить за ними. Это поручение, кстати, доставило Махмуджану-эффенди большое удовольствие.

Салахиддин был изгнан из школы. Через несколько месяцев умерла его юная дочь. Учитель потерял своих учеников, отец потерял любимую дочь. Салахиддин тяжело переживал эти беды. От любимых учеников у него осталось несколько тетрадок, от любимой дочери — карта СССР, вышитая цветными шелками на красном сатине.

Тетради, карта! Глядя на них, Салахиддин не мог удержаться от слез, и они падали на его седую бороду.

— Товарищ Саиди,— сказал Якубджан,— домла, наверное, совсем измучился. Мы решили ему помочь. Я вчера говорил с заведующим редакцией. Он сказал, что нам нужен кассир. Может быть, домла согласится... хоть временно. Что вы скажете, домла?

Салахиддин молчал.

— Что ж, это было бы хорошо! — сказал Саиди, но, спохватившись, вздохнул: — Конечно, трудно человеку... тридцать пять лет был учителем...

— Старый интеллигент,— сказал Якубджан.— Как волка ни корми, а он все в лес глядит...

Салахиддин понял, что хотел сказать Якубджан.

— Воспитание — сложная проблема,— сказал он.— Воспитывать в коммунистическом духе — дело великое и новое. Человек создал машины, каждая из них дает разный коэффициент полезного действия. Так и люди. Каждый человек одарен по-разному и по-разному может приносить пользу обществу. И так же, как наука, старается совершенствовать машины, чтобы увеличить их коэффициент полезного действия, так воспитание стремится улучшать человека, чтобы он лучше мог служить обществу. Человек, воспитанный в коммунистическом духе, не будет тратить свою жизнь и свои силы попусту.

Но человек, который хочет воспитывать других в коммунистическом духе, сам должен быть воспитан, как коммунист. А я? Большую часть своей жизни я прожил в обществе, которое только калечило людей, поэтому, как бы я ни старался, ошибки в моей работе неминуемы. Но, правду сказать, я никак не могу понять, в чем же я ошибался, виноват ли я в том, что случилось в школе, или кто-то другой? Но раз уж сказано, что моя работа в школе приносит вред, то я считаю своим долгом отойти от педагогического дела.

Якубджан усмехнулся слегка.

— С лошади сошли, а из стремени не вылезли — так, что ли, домла?

— Я вас не понимаю, братец, — сказал учитель.

— Да нет, я просто так... Зря вы оправдываетесь...

Салахиддин, подумав, ответил:

— Если бы все было так, как вы думаете, это было бы с моей стороны предательством. Но это не так. Я встал под красное знамя не только потому, что оно победило. Это знамя указывает нам путь к счастью всего человечества. Это путь правды, и я в эту правду верю. Ради этой правды я и хожу на земле.

Саиди сказал иронический, как бы про себя:

— Однако есть интеллигенты не глупее вас, которые не видят этой вашей правды.

— А инженеры — это тоже интеллигенция? — спросил Якубджан, глядя на Саиди.

Салахиддин догадался, что он хотел сказать, но, конечно, не понял, зачем они затеяли этот разговор.

— Вы, вероятно, хотите сказать о шахтинском деле? — сказал Салахиддин. — Конечно, тут действовали умные и образованные интеллигенты. Но ведь все зависит от того, какими глазами смотрит человек на мир. И что ему выгодно. Когда была открыта Америка, миссионеры, стараясь распространить христианство среди диких племен, объясняли божьей волей все явления природы и даже затмение луны. Разве они не знали, отчего бывает затмение? Наверное, знали, но хотели воспользоваться невежеством народа. Шахтинское дело — это частный случай, проявление тех враждебных революции сил, которые пытаются оказать сопротивление нашей правде. Но чем сильнее это сопротивление, тем крепче сила правды в сердцах людей.

В планы Якубджана не входил этот разговор с Салахиддином, но как-то так вышло, что все это было сказано.



Саиди хотел продолжить разговор, вынудить Салахиддина пожаловаться на несправедливость, которую допускает и Советская власть. Но Якубджан, прервав его, поинтересовался, согласен ли Салахиддин поступить в редакцию кассиром.

— Если вы считаете, что я годен для этого, я, конечно, не откажусь,— сказал Салахиддин.— Хоть чем-нибудь быть полезным людям...

Он попрощался и ушел, усиленно вытирая платком глаза.

— Вот этого я возьму в свои руки,— сказал Якубджан, подходя к Саиди.— А вы — жук...

## VII

В семье, возникшей на основе подлинной любви, тепло, и свет этой любви все крепче связывает, все больше сближает любящих. В семье, созданной по принуждению, царит холод, рождающий только ложь и неискренность в отношениях мужа и жены. Семья Муниسخон и Мухтархана была именно такой семьей. И оттого, что ложь все чаще обнаруживалась в их отношениях, Муниسخон страшно мучилась.

До свадьбы Муниسخон утешалась тем, что, во-первых, по уверению Салимхана, надеялась привыкнуть к мужу, найти в нем не только темные, но и какие-то добрые, светлые грани, а во-вторых, верила в богатство Мухтархана. Но ни того, ни другого на деле не оказалось, Мухтархан все так же противен ей. Когда он целует, то издает звук, словно цокает ящерица, когда он обнимает ее, он похож на медведя, который лезет в улей за медом, не обращая внимания на разъяренных пчел...

И все же, встречаясь с Саиди, Муниسخон старалась казаться довольной своим замужеством. Но она мучилась, и красота ее стала блекнуть, словно в каждом вынужденном объятии мужа она теряла частицу своей молодости и чистоты.

И только в самом потайном уголке ее души тлела искра надежды: когда-нибудь все изменится, Саиди упадет перед ней на колени, будет плакать и молить: «До каких же пор мы будем мучить друг друга!» И тогда она пожалеет его, скажет: «Приди ко мне, наконец»,— и протянет к нему руки. Разумеется, к тому времени Саиди уже завоюет высокое положение и будет богат.

Муниسخон не сомневалась в том, что Саиди, достигнув славы и богатства, будет добиваться ее. Поэтому она не

придала значения слухам о женитьбе Саиди на Соракон. И даже когда сам Саиди сказал ей об этом, она не хотела этому верить. Она смотрела на Саиди спокойно, как на канатоходца, который, если даже бросится вниз, не пугает ее, потому что она знает, что он крепко привязан и не может разбиться.

Но вот она узнала, что свадьба назначена на двадцать второе число этого месяца, что Мурадходжа-домла разослал своим друзьям приглашения, что все приготовления закончены — и свадьба состоится непременно. Мунисхон впервые призналась себе, что любит Саиди. Она горько плакала, закрыв лицо руками, металась по кровати, не в силах побороть душевную боль. Она хотела убить себя, потом, одумавшись, решила расстроить свадьбу, соблазнить и увести Саиди. Но она поняла, что легче ей убить себя, чем расстроить эту свадьбу. Тогда она сказала себе: «Саиди еще не был близок с женщиной, он хочет жениться на чистой девушке, зачем ему чьи-то объедки? Так пусть же он женится на этой девушке — тогда мы с ним будем квиты».

Однажды, возвращаясь с занятий, она почему-то оказалась на улице, где находилась редакция газеты. Ей захотелось войти, увидеть Саиди, и лишь шагнув через порог, она спросила себя: «Что же я скажу ему, когда его увижу?» Но она уже взялась за ручку двери и открыла ее.

Сидевший среди вороха бумаг Саиди, увидев Мунисхон, так растерялся, что долго не мог взять себя в руки. Наконец он предложил ей сесть. Мунисхон оглядела сидевших за своими столами сотрудников, дремавшего в уголке редактора и сказала деловым тоном:

— Товарищ Саиди, на нашем факультете организуется кружок корреспондентов... желающих много... не могли бы вы взять на себя руководство?

Говоря это, Мунисхон покраснела. Правда, она слышала, что существует некий «кружок корреспондентов», но не имела никакого представления, где этот кружок, как он работает, — просто сказала первое попавшееся на язык и не знала, как продолжить разговор.

Саиди же, хоть и был удивлен, что пришла именно она, поверил ей, вынул из ящика стола инструкцию и подал. Мунисхон положила инструкцию в свой маленький черный портфель и поднялась. Саиди тоже встал и пошел ее проводить. Мунисхон, почувствовав, что он идет за ней, ускорила шаги и вышла на улицу. Саиди догнал ее и взял за руку.

— Мунис...

Мунисхон остановилась.

— Что скажешь?

— Подожди...

— Я тороплюсь...

— Муж приехал?

Мунисхон не удержалась от гримасы. Никогда еще она не показывала Саиди своего враждебного отношения к Мухтархану. Саиди догадывался, что она не любит мужа, но огорчился, что она не говорит ему прямо об этом.

— Ты недовольна им?

— Нисколечко,— сказала Мунисхон, глядя в глаза Саиди и краснея.

— Я не говорю о твоём сегодняшнем настроении... я слышал, что у тебя вообще нехорошо...

— Ничуть! Ничуть! Ни капельки! У меня прекрасный муж!

Мунисхон, все краснея, не могла удержать слез. Хотела повернуться и убежать, но Саиди ее удержал.

— Почему же ты плакала в свадебную ночь?

— Скоро, может быть, заплачешь и ты...

Боясь расплакаться горько, как в свадебную ночь, Мунисхон закрыла лицо руками, как будто ей стало смешно. Саиди задумался, глядя в землю.

— Ты виновата во всем,— сказал он,— это ты сделала так, что плакала сама и теперь заставишь меня плакать...

— Нет, и ты виноват тоже. Почему ты молчал? Почему ничего не сказал мне?

— Я молчал?! Но разве ты не помнишь, что ты сказала мне там, в саду, когда мы готовились к экзаменам? С таким страхом я начал тогда разговор, а ты мне сказала: «Все равно я за тебя не выйду!»

— Ничего подобного! Ты мне никогда не говорил...

— После таких слов я не осмеливался вновь говорить с тобой... Ты всегда смотрела на меня свысока и не позволяла приблизиться к себе.

— Ты тогда часто выпивал...

— Теперь я пью еще больше.

— А, может быть, я и сейчас смотрю на тебя свысока?.. Нет, ты никогда не признавался мне... Что же, мне самой надо было признаться тебе?..

— Пусть я не признавался, но ты ведь знала... и что бы случилось, если бы ты хоть немножко пошла мне навстречу, спустилась со своего пьедестала?..

— Нет, ты сам во всем виноват! Я была в твоих руках. Ты мог со мной сделать, что хотел...

Краска бросилась в лицо Саиди.

— Я люблю тебя все так же! Но моя любовь все еще нераспустившийся бутон...

— Теперь уже трудно что-то изменить...

— Да, трудно. Теперь, чтобы построить семью, надо разрушить две. Но если бы вся трудность была лишь в том, чтобы их разрушить... Даже если мы будем вдвоем, сколько на нас обрушится последствий разрыва! Мы перессорим Мухтархана, Салимхана, Мурадходжу-домлу, а это грозит тем, чего ты не знаешь, и о чем нельзя говорить... Но... только смерть нельзя предотвратить... Если ты хочешь... Последнее слово — за тобой!

— Ты не едешь в Москву? — перебила его Мунисхон.

Саиди не ответил.

Мунисхон поняла, что она бессильна. До этой встречи она думала, что он — как тесто в ее руках: «Захочу — испеку лепешку, захочу — изжарю пончики». Но ничего не вышло. Она повернулась и тихо пошла от него прочь. Когда замолчавший Саиди поднял голову, собираясь что-то сказать, она была уже далеко.

### VIII

Саиди не ожидал, что свадьба будет такой богатой. Наехало столько гостей — из Татарии и других республик, из многих среднеазиатских городов, навезли столько подарков, что, если бы продать хоть часть их, можно было бы на вырученные деньги справиться несколько свадеб.

С рассвета по двору уже забегали, кудахча, как куры, женщины, за домом, в саду, засуетились мужчины. К завтраку в трех огромных тандырах, стоявших в ряд на дворе, были испечены лепешки всех сортов — сдобные, слоеные, посыпанные маком, кунжутными зернами, с примесью гороховой муки и аниса, и самса — огненные пирожки с мясом и луком, и все это в больших плетеных корзинах несли на мужскую и женскую половины дома.

Один из ближайших друзей домлы, знаменитый в городе кондитер, собственноручно сбивал в чулане нишалду — сладкую массу из белков, сахара и мыльного корня. Его окружали ребятишки, ловили вылетающую из котла пышную сладкую пену, облизывали руки, отталкивали друг друга, дрались.

Мурадходжа-домла сделал крупный заказ в одной из самых больших кондитерских города. Хитрый хозяин кондитерской утром прислал слугу сказать, что заказ не будет выполнен, если не возьмут и тот товар, что залежался в магазине. Пришлось согласиться на это условие, и потому кон-

дистерских изделий на свадьбе было даже больше, чем нужно.

Гости еще не кончили завтракать, а уж за домом у дувала из-под огромных чугунных котлов поднялся дым. Из подвалов в огромных тазах выносили приготовленное мясо. Возле хауза, под большой чинарой, на супе чистили и резали морковь, лук и другие овощи; здесь же лежали кульки со специями — черный и красный перец, тмин, зелень для приправы, чабрец, кориандр. Как только кончился завтрак, из кишлака явилась целая группа девушек и молодых женщин в нарядных платьях из ханатласа и цветастого шелка, в шелковых косынках на головах, они со смехом и шутками обошли мужчин, возившихся у котлов, сидящих на супе, в саду, и прошли к беседке, откуда сейчас же раздались звуки бубна и песня.

Мурадходжа-домла — нарядный, в белой шелковой рубаше, подпоясанной желтым шнуром, в новой тюбетейке вышел из ичкари, прошелся своей утиной походкой около дома.

— Астана! — позвал он работника. — Кто это там в беседке? Гони всех прочь! Полей там, вынеси из ичкари ковер, одеяла принеси. Я приказал Турды принести шампуры — начинайте жарить шашлык.

Когда Астанкул доложил, что все готово, гости, приехавшие из дальних мест, гуськом направились к беседке. Среди них были Мухаммедраджаб и Саиди. Под руку с Саиди шел Мухтархан. Замыкал шествие Мурадходжа-домла с важным гостем из Татарии, тот втолковывал ему:

—...после смерти Чингизхана, когда род его и Хилакуна прекратился, на востоке образовались такие государства: Илойхония, Тимурово царство, Степных и Кипчаков — на севере, в Индии — Бабурия, в Анатолии — Османия, в Иране — София. Все они были построены на гнилых корнях старого ислама и теперь перестали существовать. А новое Туранское государство, которое мы, с помощью бога, хотим построить, будет основано на исламе, который мы реформируем...

Вслед за гостями прошли музыканты.

Возле беседки шипит и жарится шашлык. Голубой дымок подымается над ним, и ветерок разгоняет его по саду между деревьями.

Зазвенели рюмки и стаканы, задвигались челюсти. Музыканты, расположившись неподалеку на отдельной супе, настраивали инструменты и, сыграв что-то для начала, приготовились исполнять заказы гостей.

Джамал Карини, которого Мурадходжа-домла назы-

вал «великим пьяницей», достиг предела своих желаний: у него ключ от большой кладовой, где хранятся несколько бочек пива и огромные запасы водки и вина различных сортов. С самого раннего утра он успел перепробовать множество вин, а для того, чтобы не опьянеть совсем, он всыпал в ведро горсть соды и время от времени запивал вино этой водой. Придя в себя, вновь начинал откупоривать бутылки, пробуя из каждой. К тому же, всякий раз, когда он приносил бутылки в беседку, Саиди любезно наливал ему рюмочку. Он успел уже выпить полведра воды с содой и все же опьянел настолько, что, сходя со ступенек беседки, не удержался и упал. Хорошо, что в это время подвыпивший музыкант так насмешил всех, что никто не заметил падения Джамала Карими.

Этот музыкант, игравший на гиджаке, вдруг вскочил, наступил на лежавший на супе дутар, раздавил его, споткнулся и заорал во все горло песню:

Мой меч укоротился,  
От старости ступился —  
Вай! Вай! Вай!

Хайдар-хаджи, самый солидный гость, хотел встать, покачнулся и попал ногой в блюдо с шашлыком, раздавил его и упал бы, если б не поддержал Мухтархан. Мухаммедраджаб сидел рядом с Саиди и все уговаривал спеть, расхваливая его голос.

Желая, чтобы к свадебному столу была подана закуска, как у «культурных людей», Мурадходжа-домла сделал заказ в ближайшем ресторане. Хозяин ресторана поступил так же, как и хозяин кондитерской: пришел в тот момент, когда все ждали закуски, и заявил, что ничего не подаст; если в придачу домла не возьмет и спиртного. Домле пришлось уступить и согласиться, так что спиртного оказалось вдвое больше, чем предполагалось.

Местные друзья домлы — Аббасхан, Мухтархан, Мирза Мухитдин, Салимхан, Ильхам, Якубджан — собрались в доме, в комнате для гостей, где сидели приезжие из дальних городов и краев. Другие же гости — редактор областной газеты, заведующий техникумом Закирхан, Салахиддин-домла, Мухаммедраджаб, все участники устроенного Якубджаном гапа, несколько учителей и сам Саиди остались в саду в беседке. Музыканты, певцы, аскиячи тоже оставались в саду. Девушки в ичкари танцевали и пели.

Еще до прочтения свадебной молитвы певицы уже успели охрипнуть, танцовщицы валились с ног от усталости. Закончилось и соревнование певцов в ташкари.

А в одной из самых отдаленных комнат дома вот уже три дня шло совещание. В нем участвовали члены областного комитета — Салимхан, Аббасхан, Мухтархан, Муррадходжа и другие. Среди прибывших из разных мест высоких гостей они держатся скромно, как дети, которым позволили присутствовать на беседе взрослых — помалкивают, смотрят в рот старшим. Почетное место занимает член центрального комитета, человек средних лет, одетый по старинке. Настроение на совещании мрачное. Какая-то безнадежность чувствуется во всем, и ее не могут развеять ни пламенные речи ораторов, ни вновь выдвинутые планы.

Гость из Татарии отверг часть слухов, полученных областным комитетом, а другую часть подтвердил. В частности, отверг слухи об успехах татарских контрреволюционеров, а подтвердил сообщение о том, что организация в Татарии накануне разгрома. Он рассказал также о том, что некоторые представители старой интеллигенции предали организацию и перешли на сторону Советской власти.

Хайдар-хаджи говорил о том; как трудно стало поддерживать басмачество.

— С каждым днем сужается круг действий басмачей. Народ против них. Народ помогает властям бороться с ними. Эта помощь сильнее меча и огня.

Последним говорил председатель центрального комитета. Он подвел итог сказанному. Говоря о басмачестве, он одобрил убийство Самандара-курбаши, перешедшего к русским, только упрекнул Мухтархана, что тот растерялся и не использовал этот факт, надо было распустить слух, что убийство Самандара-курбаши — дело рук правительства, которое хитростью заманило его в ловушку. Тем самым можно было бы вернуть его отряд. Потом председатель сказал, что Джалалабад — не место для борьбы, там ничего не выйдет, а надо все силы сосредоточить на границе с Афганистаном — и разъяснил, как надо там работать.

А во дворе и в саду веселье было в разгаре, продолжались пляски и пение.

## IX

Если бы не постоянная смутная тревога на сердце, Саиди был бы доволен своей жизнью. Теперь он уже не сказал бы, что «лучше, чтоб жена была некрасивой», по-

тому что Сорахон уже не казалась ему некрасивой. Очень быстро Сорахон изгнала из его сердца любовь к Мунисхон. Если даже порой и вспыхивала какая-то искорка этой любви, она быстро гасла от поцелуев Сорахон.

В семье Саиди пользовался даже большим почетом, чем сам Мурадходжа-домла. Родные и близкие и слуги кланялись Саиди ниже, чем домле. Однажды домла даже дал пощечину служанке, которая назвала Саиди «Рахимджан-ака». «Изволь называть его «мой бек», — сказал домла.

Денег у них было много. Уже и того, что приносил один домла, хватило бы для жизни всей семьи. А Саиди зарабатывал вдвое-втрое больше. Он занимал семь комнат в доме: часть их была обставлена по-восточному, часть — по-европейски. Одна беда: среди множества книг, расставленных в книжных шкафах, нет ни одной, автором которой был бы Саиди — этого не сделаешь ни за какие деньги.

Все-таки что-то тревожит Саиди. Иногда на него нападает тоска, он вздыхает, раздражается, сердится на всех и на все. Особенно часто это случалось по пятницам, когда он, один или с друзьями, отправлялся в кишлак. Он чувствовал себя так же, как тогда, когда бегал от комсомольской ячейки, которая хотела взять его на учет и дать общественное поручение. Причину своего тяжелого состояния он хорошо понимал сам: все его сегодняшнее благополучие, эта счастливая жизнь непрочны, как дом, построенный на льдине. Не сегодня-завтра под мягким весенним ветром растает лед, расколется льдина — и все унесет бурный поток жизни. В этом потоке могут встретиться такие головокружительные водовороты, что нынешняя жизнь покажется сном... Вот поэтому Саиди по ночам не хочет, чтобы наступало утро, утром не ждет, когда наступит ночь. Каждый прошедший день усиливает его беспокойство.

Ему казалось, что он достиг какой-то вершины, но если пойдет дальше — его ждет гибель. Поэтому, хоть он и мечтал стать всемирно известным писателем и постронть свой дворец в долине, все же сегодняшняя жизнь привлекала его больше, чем это неизвестное завтра, и он готов был отречься и от писательской славы и от своей мечты.

А Мурадходжа-домла между тем был весь в хлопотах, осуществляя свои давнишние планы. Он все время твердил Саиди: «Когда человеку улыбается удача, надо пользоваться этим, нужно стараться добывать деньги и копить их».



— Сейчас у нас уже есть четырнадцать тысяч восемьсот рублей и сто тридцать пять лудов риса, — сказал он однажды, сидя с Саиди в беседке в саду. — В середине будущего месяца можно начинать строить.

Новый дом предполагалось построить на месте старых кладовых, отгораживавших сад от жилых помещений. Саиди долго смотрел на них, что-то думал, потом спросил:

— А проект прежний?

— Пока да. Но он вам не нравится. Я это знал тогда еще.

— По-моему, нет никакого смысла строить еще целый ряд комнат. Их и так у нас достаточно. Если уж строить новый дом, надо придумать что-то такое, чтобы изменился общий вид и двора и сада.

— А как бы вы хотели построить новый дом?

— Дом надо строить на высоком цоколе — метра на полтора высотой; у дома должны быть два крыла, в виде круглых башен, в них будут круглые комнаты с громадными окнами. Между башнями по краям будут две комнаты, посередине — большой зал, а вдоль всего здания — длинная терраса, выходящая в сад. И сад станет красивее: вот тот маленький хауз зароем, а вместо него перед террасой выроем другой — втрое больше. Между хаузом и террасой сделаем дорожку, а вокруг разобьем цветники.

— А где же будет вход?

— Со двора. Он будет вести в зал. Во двор будут выходить окна зала. А высокий цоколь даст возможность устроить хороший подвал.

— Пожалуй, это можно построить за пять тысяч...

— Можно, конечно, но, если уж строить хорошо, можно истратить и пятнадцать. Не надо жалеть на это денег. Вы что же хотите, чтобы это был дом с фанерными потолками и простыми деревянными лестницами и чтобы стены были побелены известкой? Нет уж. Понадобятся и резчики, и каменотесы, и мастера росписи, — а это обойдется недешево.

В сущности, дом, который замыслил построить Саиди, был похож на тот дворец в долине, который он так ясно видел в мечтах. Но проект этот понравился домле, и он тотчас занялся его осуществлением.

Такая спешка с его стороны объяснялась не только желанием поскорее построить новый дом, но и опасением, как бы не подорожали строительные материалы.

Домла срочно стал запасать все для стройки. Велел разрушить кладовки и расчистить площадку для нового здания.

— А я думаю вот что, — сказал однажды Саиди домла, — хоть вы и боитесь, что строительные материалы будут повышаться в цене, по моему, не следует все запасать заранее? Нужно закупить только то, что необходимо сегодня, а деньги надо пустить в оборот. Это даст, в крайней мере, десять процентов прибыли. Подумайте: десять тысяч могут дать тысячу рублей прироста. А если вы купите на десять тысяч разных материалов, прибыли у вас никакой не будет. Разве не так? Хотите — я поговорю с Мухаммедраджабом, мы бы дали ему тысячу пятьдесят по десяти процентов. Что вы думаете об этом?

Домла обрадовался.

— Если он даст десять процентов, можем дать ему и десять тысяч. У нас есть еще сто тридцать пять пудов риса самого лучшего сорта — рублей по десять всякий даст. Есть еще и шестьдесят семь фунтов шелка-сырца. Если все это продать, нам на жизнь хватит, а десять тысяч сможем дать Мухаммедраджабу. Я знаю, он — опытный человек. Только вот надежный ли он? Можно ли ему довериться? Вы не обижайтесь, я просто так говорю, на всякий случай...

— Допустим, это принесет нам полторы-две тысячи, — сказал Саиди. — Но и этого мало. Вашего заработка едва хватает на текущие расходы на хозяйство. Поэтому мне надо подумать о дополнительном заработке. В редакции я получаю зарплату, и гонорары мои ограничены. Надо искать работу в других местах. Когда-то я учительствовал... Может быть, мне снова этим заняться? Что вы скажете?

Домла чуть не захлебнулся от радости.

— Преподаватель — это очень выгодное дело. И вам, как писателю, это не повредит, — и он стал называть имена крупных писателей, которые раньше были учителями.

— Я раньше преподавал язык, — сказал Саиди, — теперь я смогу преподавать и литературу.

— Конечно, сможете, какое в этом сомнение! Есть и еще одна возможность. Сейчас очень в цене переводы. За страницу платят три рубля. Если вы вечером для развлечения сделаете три-четыре страницы — это в месяц даст рублей триста-четыреста. Я сам с радостью занялся бы переводами, но, к сожалению, не знаю русского языка. Страница — три рубля, это же здорово! Всего какая-то тысяча знаков...

— А где же найти эту работу?

Домла засмеялся.

— Только пожелайте — я вам сам найду...

Саиди подумал: тысяча знаков — это же пустяки. Тысяча букв — три рубля! Можно ведь перевести в день и десять страниц.

У него даже дух захватило.

В ближайшие недели все эти планы были осуществлены. Саиди съездил к Мухаммедраджабу и предложил ему задуманную сделку. Мухаммедраджаб долго торговался, наконец, согласился не на десять процентов, а на восемь. А к возвращению Саиди Мурадходжа-домла уже достал ему несколько преподавательских мест — и тотчас по приезде объявил:

— В техникуме вы каждый день после работы в редакции будете давать два урока по литературе — это сто восемьдесят рублей в месяц. В вечерней школе рабочей молодежи будете консультировать учителей по родному языку, арифметике, естествознанию, почвоведению. Каждый вечер два часа — двести сорок рублей в месяц.

— А как с переводами?

— Нашел и переводы. Правда, работа мелкая, но зато постоянная: в мастерской вывесок. Я выторговал для вас по четыре с половиной рубля за страничку.

И вот Саиди развернулся вовсю. Уроками и переводами он зарабатывал столько же, сколько и в газете. Но газетные доходы пришлось сократить. Заведующий массовым отделом Кенджа проявлял завидную бдительность. Он заинтересовался, почему в последнее время корреспонденты с мест стали писать на своих заметках: «С гонораром». Раньше этого не было. Неужели раньше информация их не оплачивалась? Кенджа стал проверять, спросил у нового кассира Салахиддина, посылаются ли гонорары корреспондентам, тот удивился и сказал: «Не понимаю, о чем говорите».

Кенджа захотел просмотреть гонорарные ведомости, бухгалтер насупился и сказал, что не имеет права их показывать посторонним. Кенджа возмутился. Бухгалтер обозвал его склочником. Кенджа пожаловался редактору. Узнав об этом, Саиди немедленно постарался отправить Кенджу в командировку. Но сам он стал осторожнее и уже воздерживался от получения гонорара, причитавшегося корреспондентам.

Новый дом строился, фундамент уже поднялся над землей, но почему-то в сердце Саиди опять закралась тревога. Она немного затихала лишь на собраниях гапа, но ненадолго.

Однажды Саиди вернулся с работы очень поздно, совсем измученный. Обычно он шел в сад, обходил строящийся дом, разговаривал с мастерами и, слушая их похвалы будущему зданию, успокаивался и отходил душой. Нынче он прошел прямо в свою комнату, еле передвигая ноги, как после дальней дороги, и устало опустился в кресло-качалку. Сорахон сидела тут же и чистила иголкой свой гребень. Настроение у нее было не лучше, чем у Саиди. Она встала, стряхнула с платья грязь, вычищенную из гребня, и легла на диван.

— Нет ли холодного чая? — спросил Саиди, обмахиваясь газетой.

— Ах, вы хотите пить? — сказала Сорахон. — А разве там, где вы были, вас не угощали чаем?

Сорахон оказалась очень ревнивой. Постоянно она искала признаков измены Саиди, видела их в каждом его движении, в каждом слове и пилила его всякий день. До сих пор Саиди терпел ее нападки, но сегодня не мог удержаться, чтобы не ответить ей.

— Нет! Водой, предназначенной для чая, пришлось искупаться!

— Так я и знала! — проговорила Сорахон и заплакала.

Саиди разозлился. В соседней комнате послышались шаги. Он подумал, что идет мать Сорахон, и замолчал. Когда она вмешивалась в их ссоры с Сорахон, дело всегда кончалось скандалом. Эта старая женщина, высохшая, как мумия, ревновала Саиди еще больше, чем дочь. Вечно она следила за ним, разузнавала, куда он ходил, с кем встречался, своими подозрениями мучила дочь, а порой и сама набрасывалась на зятя. Когда она бранилась, Саиди не решался отвечать ей, потому что за каждое слово он был бы лишен покоя на несколько дней. Поэтому он позволил себе только прозвать ее «соловьем сладкоголосым».

Но в дверях появился Мурадходжа-домла. Переваливаясь с боку на бок, он прошел через комнату и опустился в кресло напротив Саиди, громко рыгнув.

— Благодарение богу, что напитал, — сказал он, рыгнув еще раз. — Дай бог здоровья! Ну, какие новости?

— Никаких, — ответил Саиди.

— Гмм... А я достал семь ящиков краски... да еще шестнадцать фунтов олифы. Краска очень хорошая. А олифа — такая густая — сироп от варенья... И дешево.

Гмм... И вот еще какое дело. Аббасхан предложил мне составить хрестоматию современной узбекской литературы. Я сначала сказал, что мне некогда. Но теперь я вижу — надо мне это составлять.

— Конечно, вам надо взять это на себя. Раз в этом есть нужда, значит, все равно кто-то составит, не вы — так другой. Например, Кенджа. Это вам понравится?

— Конечно, нет, и вот это-то меня и вынуждает взяться за хрестоматию. Но есть и другое соображение. Если мне удастся увеличить объем хрестоматии, то она мне оплатит все необходимые для постройки краски. Да, кстати, я достал для вас еще несколько переводов. Договорился по три рубля...

Несколько минут все молчали. Потом Саиди сказал:

— Я много думал — и даже говорил Якубджану — вот о чем. То, что я не сумел организовать новый гап, не нашел новых людей для этого — не такая уж моя вина. Вовсе я не беспомощен и не неспособен на это. Тех людей, которых собрал Якубджан, и я бы мог завербовать — они нам давно известны. Но ведь и гап, созданный Якубджаном, не расширяется? Почему все те же девять человек в нем — не больше? Вот я и сообразил, что людей, созревших для нашего дела, еще мало, их надо готовить постепенно и вкладывая в это много сил. И начинать надо с молодежи, даже с подростков.

— Взять в руки молодежь — это было бы очень важно.

— Вот я и думаю, что выбор литературных отрывков для хрестоматии может помочь нам привлечь молодежь.

Мурадходжа-домла одобрил эту мысль.

Служанка пришла сказать, что обед готов. Домла вытащил из кармана конверт и передал его Саиди.

— У вас, оказывается, есть товарищ — Эхсан. Видно, он не очень умный человек...

Саиди взял письмо и прочел:

«Друг Саиди!

Судьба этого моего письма, как и всех предыдущих, отправленных вам, мне неизвестна. Не знаю, в чьи руки оно попадет.

Я слышал, что вы пересели на другую квартиру. Не знаю только, что заставило вас покинуть нашу старую комнату, — нужда ли или соблазн устроиться лучше? Для меня это не одно и то же. Если бы я был уверен, что это письмо попадет к вам в руки, я бы объяснил, по-

чему это так. Я закончил институт. Это письмо пишу вам на отдыхе — из Крыма. Здесь я пробуду два месяца. Приеду к вам с дипломом. А вы, конечно, порадуете меня своими новыми произведениями.

С неизменным уважением

Ваш Эхсан».

Домла вышел. Саиди еще раз перечитал письмо. Что-то в нем ему не понравилось. «Интересно, — сказал он себе, — необходимость заставила меня переселиться сюда или... не все ли равно?»

За обедом «сладкоголосый соловей» без конца злословила о разных людях, разбирала чьи-то скандалы, под конец опять жаловалась на служанку, которая поставила веник стоймя, — а это дурная привычка: к покойнику. Ее резкий голос, неумолчная болтовня портит Саиди аппетит, но полученное письмо раздражало еще больше.

После обеда Саиди еще раз перечитал письмо Эхсана, и настроение его совсем испортилось. «Я к вам приеду с дипломом, а вы меня обрадуете новыми произведениями». Что это значит? Что он хочет этим сказать?

Когда домла назвал Эхсана глупым человеком, Саиди даже обиделся за друга, но сейчас он готов был с ним согласиться.

Он вошел в спальню, стал раздеваться, но ему не хотелось ложиться в постель; решил прогуляться верхом, но вспомнил, что лошадь отправлена в кишлак, и совсем расстроился. В дверь просунулась голова домлы.

— Надо бы написать письмо Мухаммедраджабу...

— Больше я не буду ему писать.

Домла изумился:

— Как же так? Почему? Ну, не платит проценты, черт с ним! Но пусть вернет деньги.

— Нет, нет, и проценты получим. Я сам к нему съезжу.

— Как знаете...

Домла с раздражением хлопнул дверью и, тяжело ступая, направился в сад. Саиди вышел на террасу, со злостью швырнул на землю папиросу, которую курил, взял велосипед и выкатил его на улицу.

## XI

Он долго стоял у ворот, руки на руле, одна нога на педали велосипеда, готовый вскопчить в седло и умчаться, но — куда? Он был обижен и зол на весь свет.

Наконец он выпрямился и покатил велосипед через улицу — к распивочной, подошел к прилавку и протянул деньги за кружку вина. Хозяин распивочной сполоснул кружку, наполнил вином и протянул Саиди. Тот осушил ее залпом, как воду. Никогда еще вино не казалось ему таким вкусным, он попросил вторую кружку; пил до тех пор, пока не почувствовал облегчения, и все огорчения стали казаться ему мелкими, а все люди ничтожными. Он сел на велосипед и покатил за город. Было жарко, но Саиди не обращал внимания, ехал быстро и скоро очутился за пределами городских улиц. Проезжая по пыльной дороге, которая вела к реке, он думал: «Нет, надо устроить жизнь по-другому, внести в нее порядок. Редакция отнимает у меня шесть часов. Потом до начала уроков надо поспать. С уроков возвращаюсь к девяти часам. Час-полтора надо заниматься переводами, а остальное время — буду писать. Если каждый день писать по три-четыре часа, можно успеть многое сделать. Ах, почему я не делал этого до сих пор! Ладно уж, пусть только достроится дом, тогда брошу уроки и переводы и буду только писать, писать. За зиму можно написать несколько книг. Теперь-то я уж знаю, как писать. Разве нельзя в один присест написать целый рассказ или главу романа? Вот Мухаммедраджаб вернет деньги с процентами... получится не меньше двух с половиной тысяч прибыли... Если для постройки дома понадобятся еще деньги, я их достану. Дела мои сейчас пошли в гору... И всегда так будут идти».

Хмель окрылил его, но вдруг мечты его оборвались: лопнула камера на заднем колесе. В сумке у него не нашлось ни резины, ни клея. До реки далеко. Но городские ворота были еще видны. Он вспомнил, что у самых ворот должна быть ремонтная мастерская. Он решил зайти туда, залатать камеру и продолжать свой путь. Но мастера он не нашел поблизости, а возвращаться пешком домой в такую жару и так далеко у него не было сил. Да и не хотелось ему туда возвращаться.

Медленно вел он тяжелый велосипед и вдруг, проходя мимо стадиона, услышал, что кто-то зовет его. Он остановился, оглянулся вокруг. На противоположной стороне улицы стояла Мунисхон. Саиди перешел к ней через улицу.

— Что это тебя не видно? Здоров ли ты? — спросила Мунисхон. — А я даже соскучилась по тебе. Что ты так похудел? Как живется тебе с женой?

Саиди усмехнулся.

— Суди по себе. Тебе-то хорошо ли живется с мужем?

— Конечно!

— В самом деле? А я слышал другое.

— Ох, эти людские сплетни!

Они пошли рядом. Мунисхон рассказывала о себе...

Нет, Мунисхон уже не была прежней Мунисхон. Ее глаза, от которых когда-то нельзя было оторвать взгляда, теперь потускнели, покраснели и даже слезились, и она все время шурилась, словно не могла прямо смотреть в глаза другому или хотела заманить взглядом, обещая свою любовь. Саиди смотрел на нее и видел не ту Мунисхон, что стояла перед ним, а другую, прежнюю, какой она была четыре года назад. И потому, что он представлял себе ее прежней, вся недавняя жизнь проходила перед его глазами, и хотелось еще побыть с нею, еще говорить с ней.

Тогда, в студенческие годы, Саиди был недоволен жизнью, его тревожила комсомольская ячейка и факультетские товарищи, он был беден, жил впроголодь, его никто не знал, никто не считался с его мнением, не интересовался его мыслями. Но между тогдашней его жизнью и теперешней была такая же разница, как между юностью и старостью. Тогда он был молодым парнем и только вступал в жизнь: теперь же он чувствовал себя стариком и готов был уйти из жизни. Поэтому сейчас даже воспоминание о том бедственном времени было ему дороже всего нынешнего благополучия.

Мунисхон протянула ему руку, прощаясь, но Саиди не отпустил ее.

— Мунис, побудь со мной еще немного...

— Нет, мне некогда. Говорят, меня спрашивал какой-то большой человек, я должна ему позвонить. Давай встретимся в другой раз. Как ты забрел сюда?

— От нечего делать... Захотелось проехать к роднику. Лопнула камера у велосипеда. Инструментов не нашлось починить. Мастера тоже не нашел.

— Если ты сам сумеешь починить, я дам тебе инструменты. Дойдем вон до того дома...

Мунисхон ввела Саиди в какие-то ворота, открыла своим ключом обитую черной клеенкой дверь.

Это была тесная, похожая на прежнюю комнату Саиди каморка с цементным полом, маленькое окно было закрыто газетой. В комнате была только железная кровать в углу и столик у ее изголовья, а рядом две табуретки. Кровать была в беспорядке, как будто с нее толь-



ко, что встали — одеяло, подушки разбросаны, белая простыня сбита к ногам. Саиди поставил велосипед у двери и сел на табурет. Мунистон расправила простыню на кровати, покрыла ее одеялом, вышла во двор и тотчас вернулась.

— Сейчас принесут инструменты, — сказала она и почему-то закрыла дверь на крючок. — Здесь жарко, сними рубашку.

Конечно, чтобы починить велосипед, лучше было снять рубашку. Но еще раньше, чем Саиди встал и снял рубашку, Мунистон без всякого стеснения, спокойно, словно перед ней был ребенок или муж ее, стала раздеваться. Саиди замер. Он уже испытал однажды такое состояние, когда случайно, занимаясь с Мунистон, взял ее за руку и в вырезе платья увидел грудь. Мунистон повесила платье на спинку кровати, распустила волосы, так что они упали ей на грудь, и села, ожидая. Саиди стоял посреди комнаты, не зная, что делать.

— Ну, что же ты? Почему не раздеваешься? — сказала Мунистон, смеясь и разбирая пряди волос.

Саиди мгновенно остыл. Перед ним сидела самая обыкновенная женщина с самым обыкновенным телом. Кровь, только что бурлившая в нем, вдруг отхлынула от сердца, успокоилась; все волнение и желание молодого мужчины, вся его давняя страсть погасли, он сразу отрезвел и ослаб, словно его накрыли мокрым одеялом.

Он снял рубашку и снова сел на табурет. Мунистон оперлась обеими руками на стол и глядела на Саиди.

— Боишься жены?

Саиди не отвечал.

— Хочешь вина?

Он замер — теперь уже от удивления, хотел что-то сказать, бросил на нее быстрый взгляд. Она закрылась волосами и откинулась на спинку кровати, как будто Саиди собирался наброситься на нее. А Саиди не мог даже слова вымолвить — все ее действия скорее заставляли его готовиться к обороне, но ничуть не к наступлению...

Он оглянулся на дверь. Мунистон поднялась, обошла его и, став позади, обняла его голову и повернула к себе. Саиди взял ее за талию, но это совсем не было тем объятием, которым, наконец, молодой мужчина привлекает к себе любимую женщину.

Мунистон поняла это, и ее охватила обида, мгновенно перешедшая в гнев. Дикий гнев женщины, не добившейся желаемого. Она освободилась из объятий, отсту-

пила в глубь комнаты и, собрав в руку волосы, глядя прямо в лицо Саиди, закричала:

— Чем хуже я твоей жены? У нее лицо, как кухонная тряпка...

Саиди испуганно встал, пытаясь удержать, остановить дикую вспышку, но Мунисхон уже упала на кровать и, извиваясь, как в судорогах, зарыдала в голос.

— Мунис... — сказал тихо Саиди. — Мунисхон...

Она сразу вскочила, вытерла ладонями глаза и все равно не могла удержать слез.

— Ты не стоишь и ногтя тех людей, кто мечтает коснуться меня! Чем ты гордишься? Ты думаешь — ты красив? Ты — как обглоданная собакой кость! Ты думаешь: ты писатель? Да что у тебя есть?

— Ничего у меня нет...

— Что ты написал? Какие книги? Где они?

— Ну, довольно! — резко сказал Саиди.

— Нет, ты скажи мне, что же ты создал, если ты писатель?

— Ничего я не создал, Мунисхон...

Саиди произнес это, полный жалости и обиды. Но, как и у Мунисхон, обида вдруг вызвала в нем страшный гнев. Мунисхон хотела что-то ответить, подняла голову, и он со всего размаха ударил ее прямо в лицо. Она опрокинулась и упала с кровати. Не оглянувшись на нее, Саиди резко открыл крючок и вышел.

## XII

В начале августа постройка дома была закончена, но Саиди еще не успокоился и все не мог засесть за книгу. С тех пор, как он стал считать себя наследником домлы, все в хозяйстве требовало его внимания. Он знал, что в городе ощущалась острая нехватка жилья, и новый дом, выстроенный домлой в то время, когда и старый был достаточно вместителен, не мог не вызвать лишних разговоров. Надо было что-то предпринимать во избежание неприятностей.

Кроме того, домла жаловался на безденежье, все свободные деньги были вложены в дом. Мухаммедраджаб вел себя бессовестно, и Саиди чувствовал себя виноватым перед домлой. Долг — восемь тысяч Мухаммедраджаб вернул, но процентов так и не выплатил. А поступить с зятем круто Саиди не мог: сестра его начинала слепнуть, и зять грозил выгнать ее.

Домла знал, конечно, что Саиди вовсе не хотел выго-

раживать зятя и сам тяжело переживал потерю денег, но все-таки нет-нет да и напоминал, а жена и дочь твердили постоянно, что «проценты этот проклятый Мухаммедраджаб зажиллил. А кто он такой? Зять Саиди, свой человек...» Саиди не мог вынести этих попреков и работал днем и ночью, чтобы заработать побольше денег и заткнуть рот Сорахон и «сладкоголосому соловью». Забота о зарботке, постоянные поиски новых и новых источников дохода скоро заставили Саиди забыть о намерении, как только дом будет закончен, засесть за роман. Деньги, деньги, деньги! Если Саиди заработал рубль, семья требовала от него десять. Но и тогда, когда он зарабатывал десять, в семье жаловались на безденежье.

В конце месяца Саиди получил зарплату и, как обычно, отдал деньги Сорахон. Она взяла деньги и вышла, но через минуту вернулась расстроенная.

— Почему так мало? — спросила она, бросая на стол скомканные бумажки.

— Мало? Но я же вчера подсчитал и сказал, сколько я получу.

— И все-таки тут меньше на восемь с полтиной... Саиди молчал.

Сорахон запричитала визгливым голосом:

— Что хорошего принесло мне замужество? Даже надеть нечего, когда надо в гости пойти... Другие уж по четыре пары лакированных туфель износили, а я... — И, усевшись на стул у окна, она заплакала.

Тут вошла мать Сорахон с чайником в руке. Ее появление заставило сжаться сердце Саиди. «Этого еще недоставало... Хоть бы она не видела этих дурацких слез!» — сказал он про себя и, собрав все свои силы, даже улыбнулся теще. Но она, споласкивая пиалы, посмотрела на дочь.

— Ну, что еще случилось? Что ты плачешь? Если бы твои слезы могли помочь, семья давно бы уж благоденствовала...

Саиди хотел встать и уйти к себе в комнату, но он знал, что, едва он встанет с места, «сладкоголосый соловей» разразится криком на весь дом. Теща села пить чай, часто и громко глотая, и каждый этот глоток отзывался в сердце Саиди чугунной тяжестью.

С трудом выпив пиалу чаю, Саиди ушел к себе и плотно закрыл дверь. Но и через стену он слышал, как теща нарочно громко говорила дочери:

— Не всякий может содержать жену! Вот ты вышла замуж, а что ты увидела хорошего? Даже ни разу подружек своих не собрала, не угостила пловом. Хоть одна твоя мечта сбылась? Или моя? У других молодых женщин — твоих сверстниц — чего только нет: и золотые часы, и браслеты золотые на обеих руках! А у твоего — весь заработок лишь на четырех захудалых баранов хватит...

Как ни старался Саиди отвлечься, заняться чем-то, голос тещи не давал ему покоя. Мурадходжа-домла притворялся, что не знает, о чем говорят жена и дочь. Саиди не был в этом уверен, но сам не заговаривал об этих попреках, считая это ниже своего достоинства.

А чтобы не слышать упреков в «неспособности содержать жену», приходилось трудиться с утра до ночи, браться за любое дело, если только оно могло принести деньги. Он по-прежнему работал в редакции, по вечерам бегал по урокам, ночью переводил всякие заглавия и надписи. Раньше он считал эти переводы занятием временным — пока не построятся дом, но теперь уже нельзя было лишиться такого заработка — ведь это грозило семье голодом, как ему говорили. Он был так занят все время и так много работал, что ему некогда даже было подумать о себе, не то, что о своей задумке писать, но и просто о том, что с ним будет дальше.

В последнее время он уставал и ложился поздно, но сон не шел к нему. В голове шумело, и ему казалось, что она готова расколоться. Единственные часы, когда он был свободен и принадлежал себе, — ночная бессонница; но когда он в эти часы принимался думать, то все чаще признавался себе, что у него нет больше сил жить.

В конце августа краткосрочные вечерние курсы, где он преподавал, закрылись. Если не считать редакции, техникума да переводов, у него не было других работ. И, вернувшись из редакции, Саиди мог теперь отдохнуть часок-другой до занятий в школе. Мурадходжа-домла тут же стал подсчитывать, во сколько обходится этот ежедневный отдых.

«Сладкоголосый соловей» сердилась на дочь и ударяя себя кулаком по голове, кричала:

— Ах, чтоб тебе умереть, несчастная! Почему я должна смотреть за твоим мужем? Он тебе нужен ты и смотри! Скоро уже все смеяться над тобой будут!

— Да что он такого сделал? — спрашивала Сорахон

— Жена должна держать мужа в руках... следить за ним... Вот я вижу, как он заглядывается на моло-

деньких... На тебя и не глядит, а стоит какой-нибудь девчонке войти в дом, так и заулыбается... Как-то невестка Айпашши ходила по крыше, так он при мне не решился глазеть на нее, а пошел в комнату, взял зеркало и навел на нее. Я ушла в комнату, потихоньку смотрю в окно: что будет. А он взял кусочек глины, смял и бросил ей на крышу. А та негодница тоже строит ему глазки! И чего он все дома сидит? Разве мало работы?

Сорахон должна была сказать, что она ничего такого не заметила, но, мгновенно вспыхив, вскричала:

— Я сама знаю, что мне делать! — И со слезами отправилась искать мужа. Саиди, ни о чем не подозревая, сидел в это время в саду на супе и читал газету, читал свою старую статью, написанную полтора года назад, и удивлялся, какой у него тогда был хороший слог, какое острое перо. Увидев Сорахон в слезах, он испугался новых сцен, быстро встал и ушел в дом.

Но Сорахон пошла следом за ним.

— Теперь уж и смотреть на меня и разговаривать со мной не хотите? — говорила она.

— Ну, что еще случилось? Объясни, пожалуйста, если я виноват, буду каяться. Но зачем же нарочно придумывать какие-то неприятности? Стоит ли расстраиваться из-за пустяков?

Тонкие губы Сорахон задрожали.

— С одной женой не можете справиться, а уж другую захотели?

Саиди засмеялся принужденно.

— К кому же это я посылаю сватов?

— Мало ли к кому. Может быть, к этой бесстыднице Холнисе!

Сорахон упала на диван и заголосила на весь дом. Боясь, что этот плач навлечет на него новые нарекания, Саиди принялся умолять жену:

— Сорахон, ну объясни же мне, в чем дело... Сорахон, я готов во всем тебе покаяться, только скажи, в чем я провинился...

— Ах, я уж давно замечаю... Пусть бог вас накажет! — продолжала плакать Сорахон. — Недаром вы каяться готовы...

Тут вошла теща с вазой для цветов. При виде ее Саиди сжался в комок.

— Что случилось? — спросила, будто ничего не зная, «сладкоголосый соловей», ставя вазу на стол.

— Сорахон мне еще не объявила, что случилось, — сказал Саиди, пытаюсь улыбнуться.

— Ах, оставьте, Рахимджан, что тут говорить?! Бог нас покарал уже. С тех пор, как вы взяли мою дочь, разве она видела хоть один светлый день? Если у вас есть что-то на уме; вы бы уж лучше прямо и сказали!..

И «сладкоголосый соловей» залился, защекал на все лады. И уж не о ревности Сорахон пошла речь, а опять о том, что Саиди не заботился о семье и что Мухаммедраджаб присвоил себе проценты.

— Ваша сестра, наверное, думает, что братец ее кормит и жену и тещу, а не знает она, что он...

Саиди все молчал. Какой-то яд разлился по всему телу, вызвал дрожь в ногах и руках, поднимался к голове. Он уже не слышал, что продолжала говорить теща. Он подошел к рабочему столу, лицо его вдруг свело судорогой, и он закричал изо всей мочи:

— Вот я такой! И оставьте меня!

И собственный голос дошел до него как будто изда- лека. Но теща не унималась.

— До сих пор я старалась все для вас сделать, сид своих не жалела; в огонь и в воду готова была броситься ради вас... Теперь у меня уж и сил больше нет... А дочь, вместо того, чтобы конить свое богатство, все наие с отцом прикончила... Вы забыли, что, когда пришли к нам в дом, подошвы к ботинкам привязывали проволокой?..

Саиди с трудом встал, поднял руку и со всей силой ударил по столу. Стекло на столе разбилось вдребезги, пальцы на руке были изранены; сам он упал в кресло, потом повернулся и рухнул на пол. Он весь дрожал, зубы стучали, как от холода, белая пена выступила на губах и, смешавшись с кровью из порезанной руки, потекла на крашеный пол.

Растерявшаяся теща бросилась бежать, наткнулась в дверях на Мурадходжу-домлу и упала. Сорахон перешагнула через нее и тоже убежала. Сам домла боялся войти в комнату. Прибежавшая служанка подошла к Саиди, расстегнула ему ворот рубашки; принесла воды, стала брызгать ему в лицо. Домла стоял у двери и дрожал, жена его рядом с ним бормотала какие-то молитвы. Послышался громкий плач Сорахой, она вбежала и, плача, стала бить мать ногой.

— Чтоб ты сдохла, чтоб тебя бог унес! — кричала она. — Пусть только он умрет... я не знаю, что я тогда сделаю... Ни за что не останусь в этом доме! Пусть бог меня покарает... Ох, горе мне!..

Служанка вытащила кусочки стекла, вонзившиеся в руку Саиди, и продолжала его обмахивать. В таком состоянии он был уже больше трех часов. Наконец он пришел в себя и попросил пить. Увидев это, домла вошел в комнату с выражением соболезнования и даже отпустил жене две звонкие пощечины.

### XIII

После этого случая «сладкоголосый соловей» притихла и стала реже показываться Саиди на глаза.

Однажды Саиди пришел из редакции радостный. Его рассказ, полгода назад посланный в один из журналов, наконец был напечатан и с иллюстрациями. К этой радости прибавилась еще одна: в правом крыле нового дома его ждал рабочий кабинет, точь-в-точь такой, какой он мечтал устроить себе во дворце в долине. Пока он был на работе, Мурадходжа-домла перенес все из его рабочей комнаты и даже еще украсил дорогими вещами из своих запасов. Прежняя его комната стала теперь комнатой Сорахон. Когда Саиди вошел, Сорахон ползала по полу, собирая что-то. Увидев мужа, она вскочила и повисла у него на шее.

— Поглядите: она живая или мертвая? — спросила она, показывая на муху, лежавшую на белой простыне, расстеленной на ковре.

Саиди бросил журнал, который принес с собой на диван, присел и дотронулся пальцем до мухи. Муха была жива, но оглушена.

— Она живая.

— Почему живая?

— Потому что шевелится, — сказал Саиди, вытирая платком руки и лицо. Сорахон заливисто захохотала, потом, словно увидев что-то чрезвычайно интересное, застыла.

— Постойте, постойте! Не двигайтесь! — закричала вдруг Сорахон, уставившись на голову Саиди, и подняла руку. — Ах, какая жирная, большая попалась!

Саиди удивленно смотрел на нее и не двигался. Сорахон зажала муху в кулаке и поднесла к самому уху Саиди.

— Слышите?

Муха жужжала.

— Слышу... ну и что?

— А вот сейчас увидите. Нет, погодите... сначала скажите: если у мухи оторвать голову, она умрет?

— Умрет, но, может быть, не сразу.

— И будет ходить, летать?

— Нет уж, ни ходить, ни летать не будет...  
— А я говорю: будет летать. Давайте спорить? На что?

— Ладно, на что хотите.

— Если вы проиграете, купите мне хан-атласа на платье. Если выиграете, просите у меня, что хотите...

Сорахон осторожно взяла за крылья муху, зажатую в кулаке, маленькими ножницами отрезала ей голову и отпустила ее. Муха поднялась, пролетела вокруг комнаты и упала около окна. Сорахон, жадно следившая за ней, подняла ее и подбросила вверх. Муха опять полетела.

— Видели? — сказала, торжествуя, Сорахон.

Саиди согласился, что проиграл, и обещал купить ей на платье. Потом лег на диван и стал читать журнал. Ему хотелось показать жене свой рассказ и поделиться с ней своей радостью, но Сорахон все еще была занята мухой. Саиди позвал ее.

— Взгляни-ка сюда, — и показал ей сраницу журнала с рисунками.

Сорахон стала рассматривать картинки.

— Что это?

— Мой рассказ.

— А сколько за это заплатят?

Саиди ждал от нее других слов, радость его погасла, он отвернулся и замолчал. Сорахон бросила журнал, встала и опять занялась мухами.

Вошел Мурадходжа-домла. Он был в хорошем настроении, смотрел на Саиди, улыбаясь.

— Ну, вы видели свой кабинет? — спросил он, садясь рядом с Саиди. — Теперь надо и эту комнату обставить лучше... Что вы скажете, Рахимджан?

— Надо здесь побелить и пол выкрасить, — сказал Саиди, оглядывая комнату. Домла приподнял край ковра, чтобы посмотреть на пол, увидел множество дохлых мух и поморщился.

— Откуда их столько? Отравы достали, что ли?

Саиди только теперь увидел повсюду на полу дохлых мух — куда бы ни взглянул — везде валялись мухи, подняв лапки кверху.

Сорахон взяла тарелку с медом и ушла.

Домла еще долго осматривал пол, стены, потом заметил лежавший на подушке журнал.

— Это новый?

— Да, только что вышел. Здесь мой рассказ, уже давно отправленный, но вот только теперь напечатанный.



Домла посмотрел рисунки, прочел из середины рассказа несколько фраз и нашел погрешности в языке.

— Вот вы пишете: «У нее не было даже платья из чита». Чит — это испорченное русское слово «ситец». Такие слова мы должны стараться заменить нашими словами. В моей книге, которую я сейчас пишу, я доказываю, что это необходимо, чтобы сохранить чистоту языка. У русских каждая ткань имеет свое название: ситец, сатин, маркизет и так далее. У нас тоже каждая ткань называется по-своему: буз, дуда, калами, алача, бекасам и прочее.

Но тут домла отложил журнал и повел Саиди в его новый кабинет. В огромное распахнутое окно виден был сад с цементированным хаузом, с цветниками вокруг.

— Ну, как? Хорошо? Нравится вам? — спросил он, широким жестом указывая на обстановку комнаты и вид из окна.

Саиди не мог найти слов, чтобы выразить, как он доволен.

— Знаете, я мечтал, чтобы у меня был такой кабинет, но и в мечтах он не был так хорош.

— Эх, Рахимджан, человек рождается, приходит в этот мир один только раз. На этом свете ему выпадает много забот, но если он не позаботится о том, чтобы удовлетворить свои потребности, и не сумеет насладиться всеми благами жизни, то зачем же тогда он родился, и не все ли равно — живет он или нет?..

Домла принялся развивать свою мысль. По его словам, не было никакой разницы в том, торгует ли человек, хозяйничает ли в ресторане, или пишет книги, имеет профессию маклера или живописца. Главное — это путь к добыванию хлеба насущного, ремесло, дающее возможность в отпущенный судьбой краткий срок жизни добиваться как можно больше земных благ.

Все это было только предисловием. Еще вчера домла говорил с Саиди о нехватках в хозяйстве и уговаривал его зарабатывать больше. Сегодня у него были уже конкретные предложения: он вынул из кармана бумагу и протянул Саиди. Это было объявление.

«Перевожу с русского на узбекский и с узбекского на русский язык. Работа выполняется быстро и за небольшое вознаграждение. Заказы принимаются ежедневно с трех часов дня до десяти вечера. Адрес: улица Пояки, 13».

Саиди прочел и покраснел.

— Удобно ли это?

— Почему же неудобно? Ведь вашего имени мы не называем...

Саиди долго думал, потом махнул рукой и сказал:

— Хорошо. Пусть будет так. Будем считать, что это не имеет никакого значения.

Домла хотел что-то сказать, но из сада раздались вдруг вопли Сорахон, и Саиди выбежал из комнаты. Домла пошел за ним следом. Сорахон с криком бежала к дому не по дорожке, а прямо через цветники. Пока Саиди добежал до нее, она упала. Саиди поднял ее. Она была бледная, заикалась от страха и пыталась что-то сказать. Можно было разобрать только одно слово: «Ту-па... Ту-па...» Подошел домла и следом за ним «сладкоголосый соловей». Увидев кровь на платье Сорахон, мать запричитала. Но Сорахон просто поцарапалась ножицами, которыми отрезала головы мухам. Саиди поднял ее, отнес в дом и положил на диван. Домла побрызгал на нее водой. «Сладкоголосый соловей» по старому обычаю подожгла тряпку, помахала ею над головой Сорахон и выбросила.

— Хорош муж — не мог уследить за ней! — ворчала она на Саиди.

Домла гладил голову Сорахон.

— Доченька, открой глазки, скажи нам, что же случилось?

Сорахон открыла глаза, пробормотала: «Ту-па», — и опять зажмурилась.

— Ту-па — это служанка, — хозяйка вдруг заволновалась. — Что там с этой дохлятиной? — воскликнула она и побежала к арыку, где Ту-па стирала белье, но через минуту вернулась и позвала Саиди: — Рахим-джан, подойдите вы, посмотрите... она лежит как-то странно.

Саиди побежал в сад, куда ему указала теща, а та вернулась к дочери. Сорахон, наконец, открыла глаза.

— Чего ты испугалась, доченька? — спросил домла.

— Там Ту-па лежит... мертвая... Я так испугалась..

— Вот дуручка, зачем же ты к ней подошла, если она умерла... — сказал домла, вставая, и пошел за Саиди.

Под большой чинарой, в углу сада, на берегу огромного арыка вился дым из-под котла, где кипятилась вода для стирки. В нескольких шагах от него, возле корзины с выстиранным бельем, лежала Ту-па — служанка. Губы у нее почернели, рябое лицо было желто-восковое. Руки бессильно лежали вдоль тела.

Саиди носком туфли дотронулся до руки ее, нагнулся и прислушался. Тупа дышала еле-еле. Саиди хотел было уже уйти, но слышался голос домлы:

— Жива? Побрызгайте на нее водой! Надо дать ей понюхать наса. Сейчас я скажу Астане, чтобы он принес насвай.

Домла ушел на двор, чтобы взять у Астаны нас, но у того его не оказалось. Работник уже было направился за ним на улицу, но домла остановил его, принес из дома объявление Саиди и приказал расклеить на дверях почты, аптеки, бани и в других местах. Между тем Саиди, набрав в ковш воды из арыка и отступив подальше от Тупы, стал брызгать на нее водой. Тупа чуть открыла глаза.

— Ну, что случилось? — спросил Саиди. — Вы больны? У вас был припадок?

— Нет, мой бек, — прошептала Тупа. — Я не больна... Я со вчерашнего дня не ела... маковой росинки не было во рту... Хозяйка наша жалости не знает... Воды бы мне напиться...

Саиди взял ковш и, подойдя, сказал:

— Откройте рот... — словно собирался лить ей воду из ковша в рот, стоя над ней. Тупа открыла глаза.

— Мой бек, я не больная... не брезгуйте мной... Когда вы упали на пол без чувств и у вас изо рта текла пена, я же не побрезговала... помогла вам... Я же не больна... это от голода... слабость...

Тупа не могла продолжать, из глаз ее выкатились слезы, поползли по щекам, мешаясь с каплями пота над верхней губой. Саиди положил ковш на траву и ушел. Навстречу ему шла теща.

— Что же там случилось?

Саиди засмеялся.

— Она просто голодная.

— У, чтоб она лопнула!

— У вас найдется немного молока?

— Я уж все молоко вскипятила и заквасила.

— Ну, пошлите ей лепешку, — сказал Саиди и поднялся на террасу.

И только через два часа вернувшийся наконец Астанкул отнес на берег арыка лепешку для Тупы.

#### XIV

В одну из пятниц Аббасхан обедал у Мурадходжидомлы, а вечером уговорил Саиди пойти с ним в театр. По-

казывали новую музыкальную драму. Зрителей собралось очень много.

В первом антракте Аббасхан разговорился с каким-то знакомым, а Саиди прогуливался по фойе с Салимханом. И тут произошла встреча, которой он не ожидал и не желал: он увидел Эхсана, который шел в группе молодежи. Саиди растерялся, вспомнив, что Эхсан плохо отзывался когда-то о Салимхане. «Что он подумает, застав меня с Салимханом?» — мелькнуло у него в голове.

Эхсан же, увидев Саиди, отделился от товарищей и направился к нему. Саиди вдруг охватил страх, которого он не мог даже объяснить себе. Будто на него вот-вот свалится огромный тополь и раздавит его. Он так смутился, что, здороваясь с другом, мог сказать только: «Давно ли вы приехали?» Эхсан поздоровался с Салимханом — значит, узнал его и, конечно, помнит ту московскую историю. Саиди держался очень вежливо, но, к счастью, раздался третий звонок, они разошлись, натянутость этой встречи не была никем замечена.

Пока не погас свет в зале, Эхсан, сидевший неподалеку от Саиди, несколько раз оглядывался на него и что-то говорил своим товарищам.

Аббасхан куда-то исчез. Вместо него, когда уже открывался занавес, появился Салимхан.

— Это место Аббаса?

— Да. А где же он?

— Ушел. Сказал, что вернется к следующему действию.

Занавес открылся. Но Саиди не мог уже наслаждаться музыкой. Салимхан шепнул ему:

— Вы, оказывается, знакомы с Эхсаном?

— Да, знаком.

— Он учился на медицинском, говорят, окончил и приехал сюда работать врачом, — сказал Салимхан.

Эти слова почему-то были для Саиди как нож в сердце.

— Ну и что ж, окончил, это еще не значит, что стал врачом, — отвечал он сердито. — И откуда вы все знаете про него?

— Аббас получил письмо из Москвы.

Саиди с удивлением повернулся к нему.

— Разве Аббасхан знает его? Что у них может быть общего?

Салимхан толкнул его в бок, напоминая: «говори потише», потом прошептал на ухо:

— Не все такие, как вы...

Салимхан хотел этим подчеркнуть, что Саиди — все еще младенец в таких делах, где нужно уметь предвидеть и завязывать связи с нужными людьми.

Саиди это понял, и у него раскрылись глаза. В самом деле, ради того, чтобы привлечь в свои ряды такого человека, как Эхсан, стоило поступиться многим. Ведь там и до его ближайшего друга, Шарифа, который сейчас уже секретарь райкома, было бы рукой подать. А если так, то затухающий почти костер контрреволюции вдруг может разгореться ярко и охватить пожаром всю страну. Сердце Саиди забилось сильно.

Салимхан глядел на него многозначительно, будто спрашивал: «Неужели тебе не о чем поговорить с Эхсаном?»

В антракте Саиди только хотел подойти к Эхсану, как тот сам подошел к нему. Эхсан был весел, спектакль произвел на него хорошее впечатление.

— Рахимджай, — сказал он, улыбаясь, — а ведь у нас есть, оказывается, настоящая музыка! Я думал, что после того, что я слышал в Москве и в Ленинграде, я не смогу уже наслаждаться узбекскими мелодиями. Но музыка наша за эти годы так выросла, ушла вперед! Теперь между прежним нашим базарным оркестром и этой музыкой такая же разница, как между старым ткацким станком и современной фабрикой. Но вот инструменты наши так и говорят: «Мы созданы для узкого круга в мехманхане...» Надо что-то изобрести, чтобы усилить оркестр...

— Пойдем, походим? — предложил Салимхан. И тут же пожалел об этом, так как увидел, что Эхсану совсем не хочется с ним ходить, он стремился поговорить с Саиди.

Саиди же боялся оторваться от Салимхана, остаться наедине с Эхсаном, как будто Эхсан собирался съесть его. Салимхан искал предлога, чтобы покинуть их, увидел Аббаехана и бросился к нему чуть не бегом. А Эхсан, взяв Саиди под руку, вышел с ним из зала. Этот короткий антракт страшно утомил Саиди. Считая Саиди писателем, Эхсан предполагал, что он широко осведомлен обо всем, что делается в искусстве, себя же признавал невеждой в сравнении с ним, поэтому старался узнать мнение Саиди по самым разным вопросам; «уточнить», как он говорил, свою точку зрения. Саиди было неловко, он не знал, что отвечать, и пытаясь направить разговор в другую сторону, спросил:

— Вы женились?  
— Потом все расскажу. Надеюсь, вы сегодня войдете к нам, не так ли?

Саиди но ответил.

Раздался звонок, лампы в зале погасли. Когда Саиди пробрался на свое место, там уже сидел Аббасхан.

— Куда это вы исчезали? — спросил его Саиди.

Началось третье действие, Аббасхан зашептал на ухо Саиди:

— Наконец вы нашли своего друга. Он, видно, не жа-  
лует Салимхана, и вам тоже следует держаться от него по-  
дальше. Я знал, что вы когда-то учились с Эхсаном в од-  
ной школе, но думал, что потом вы разошлись. Меня он,  
кажется, не узнал, а если и узнал, то... Во всяком случае,  
вам незачем вмешиваться в наши отношения, только  
испортите все... Я сам с ним постараюсь сойтись. Вы толь-  
ко должны устроить так, чтобы мы с ним встретились. Но  
и это еще не сейчас... Я сам вам скажу, когда...

Очевидно, молчание Саиди в ответ на приглашение  
Эхсана пойти к нему тот принял как согласие. Поэтому  
после спектакля он ждал Саиди. Но Саиди предложил,  
хоть и не очень настойчиво:

— Давайте лучше пойдем ко мне.

Дорогой Саиди казалось, что кто-то спрашивает его:  
«Эхсан выучился, стал врачом, а ты за это время кем стал,  
что сделал?» И мысленно он отвечал: «Он стал врачом,  
а я сумел устроить свою жизнь. Сумеет ли он построить се-  
бе такой дом, обзавестись таким хозяйством — или будет  
бедствовать до седых волос? Неужели он не почувствует  
разницы?»

## XV

Внести что-то новое в науку, обогатить ее, зачер-  
кнуть на ее карте еще имеющиеся белые пятна — в этом  
и есть истинное призвание ученого, и об этом мечтал Эх-  
сан уже с первых лет учения в Москве. С годами это  
стремление по-настоящему работать в науке стало целью  
его жизни. Он приехал в Узбекистан не для того, чтобы  
работать врачом-практиком в какой-нибудь районной  
больнице, он думал лишь отдохнуть, оглядеться и вернуть-  
ся опять в московские хорошо оснащенные лаборатории.  
Но уже на второй день по приезде Шариф, от которого  
он ждал поддержки, сказал ему: «Мы перестроили наш  
пятилетний план, и для науки у нас теперь открылись  
широкие возможности». Эхсан знал, что Шариф не бро-  
сает слов на ветер. Он понял эти слова так: «Не уез-  
жай, работа найдется». Но серьезно к этому разговору не  
отнесся, ведь Шариф не мог представить себе эти «широ-

кие возможности для науки», если он не занимался наукой так вплотную и так страстно, как сам Эхсан. Но очень скоро ему пришлось убедиться, что дело обстоит совсем иначе. Точно так же, как узбекская музыка привела его в восхищение даже после того, как он имел возможность наслаждаться великими произведениями всемирно известных музыкантов, так он видел теперь на каждом шагу, как выросли люди у него на родине, как высок стал их культурный уровень. Шариф не просто заявил об «открывшихся широких возможностях» для науки, он мог собрать вокруг себя людей, поставить перед ними наиболее важные на данный период времени задачи. Эхсан быстро сообразил, что был слишком высокого о себе мнения, и едва не попал в неловкое положение.

Шариф больше не заговаривал с ним о том, что ему делать — уезжать или оставаться, но однажды он взял с собой Эхсана на совещание ученых, приехавших из центра для проверки местности, где должен был строиться рабочий городок. Он должен был вырасти между промышленным комбинатом и гидроэлектростанцией, возводимой для обеспечения комбината электроэнергией. Специалисты-градостроители считали, что выбор места для городка неудачен: при постройке гидроэлектростанции реку придется запрудить, весной она разольется километров на двадцать, и громадная площадь примерно в тридцать квадратных километров окажется в сырой низине, где нельзя строить жилые дома. Обсуждение становилось все оживленнее, споры все острее, а в воображении Эхсана вместо привычных картин научных лабораторий, где за стеклами блестят многочисленные инструменты, где царит тишина и на столах лежат подопытные кролики и собаки, приготовленные для очередных опытов, — вместо всего этого перед ним вставали знакомые с детства горы, их склоны и ущелья, шум экскаваторов, роющих землю, поезда и машины, везущие песок, гравий, цемент и другие строительные материалы... Как только этот грандиозный план начнет осуществляться, вся жизнь в долине изменится. Люди, которые сумеют направить реку по новому руслу и сделать иным облик города, изменятся сами и изменят всю свою жизнь. И какие большие задачи поставят эти люди перед всеми отраслями науки!

Городской отдел здравоохранения намеревался направить Эхсана на работу в поликлинику. Но Эхсан не хотел только осматривать больных и выписывать им лекарства. Он считал, что врачу-коммунисту мало зани-

маться только этим. Ведь основа советской медицины — не просто лечение больных, но предупреждение болезни, причин, ее вызывающих. Почему нельзя браться за крупные проблемы? Почему нельзя уничтожить малярию не только в этой долине, но и во всем крае?

Заведующий городским отделом здравоохранения Насыров, человек недалекий, высказал на этот счет свое мнение: «Занимающийся медициной не должен стремиться к высоким постам, чинам и званиям». Эхсан очень обиделся, но все же попытался объяснить Насырову, почему он отказывается от врачебной практики и чем он хочет заниматься. Насыров сделал вид, что ему только теперь стали ясны намерения молодого врача, и уверил Эхсана, что всегда поддержит его в этих больших начинаниях. Он крепко пожал Эхсану руку, поздравил его с замечательной передовой идеей, а про себя подумал: «Вот свалился на мою голову, сукин сын! С этими своими идеями он не даст мне покоя. А то и вовсе вытеснит с моего места!»

Эхсан стал работать в отделе здравоохранения. Насыров относился к нему внешне благожелательно, всем говорил о том, как он рад, что у него в отделе работает такой талантливый врач-коммунист. Но очень скоро он отправился в культпром горкома партии, долго расхваливал «врача-коммуниста», жалел, что он отсиживается в аппарате, и просил перевести его на более высокое место, где он может принести больше пользы, — назначить заведующим новой платной поликлиники, только что открытой Обществом Красного Полумесяца. А вернувшись, он пригласил Эхсана к себе в кабинет и сказал: «Нет у нас в культпроме понимающего человека: только что назначили вас сюда и вот уже хотят перевести на другую работу. Как я ни спорил, ничего не получилось».

Однако Эхсан на новую работу не перешел и продолжал работать в отделе. Насыров с трудом терпел его. С виду он проявлял к нему всяческую доброжелательность, но работники отдела, давно служившие под его началом и изучившие хорошо его характер, знали, что под этим внешним расположением крылась самая лютая ненависть. Эхсан не обращал на него внимания, но со многими работниками здравоохранения сработался и даже сдружился, помогая им и не стесняясь сам просить помощи, когда надо было. Одним из этих новых друзей был профессор Светлов, уже более тридцати лет изучавший тропические заболевания в крае. С первого знакомства с Эхсаном профессор почувствовал к нему симпатию, но, зная, что у На-



сырова черная душа, что тот будет всячески мешать Эхсану; он не решился открыто встать на сторону Эхсана, не надеясь на его победу.

Придя к Саиди после театра, Эхсан посвятил его во все свои дела и рассказывал о своей работе до рассвета. Он даже не просил Саиди «отчитываться», чему тот был рад. Вообще, чем больше Эхсан жаловался на Насырова, тем милее он становился Саиди, и Саиди начинал надеяться, что ему удастся привлечь Эхсана в ряды своих единомышленников. Он желал Насырову победы, потому что надеялся, что тогда Эхсан рад будет принять руку помощи от любого человека, хотя бы от Аббасхана...

— Я ничуть не стремлюсь занять его место, — говорил Эхсан о Насырове. — Я хочу вести научную работу. Горком дал мне эту возможность. Я прошу только, чтобы Насыров мне не мешал. Но почему-то каждый, кто узнает о наших конфликтах, думает, что это драка за престол. Я даже Шарифу до сих пор ничего не говорил, чтобы он не подумал то же самое... К сожалению, в отделе у нас нет крепкого партийного ядра. Есть один врач, кандидат партии Мирзакарим. Он странный человек. Стоит только кому-нибудь начать речь: «Под руководством партии», — а кончить: «Да здравствует!» — он сразу аплодирует, — даже если середина речи — контрреволюционная. В отделе есть люди, которые к нему подлаживаются, льстят ему; но честные работники стараются быть подальше, потому что он груб и невоспитан. Насыров изучил его хорошо, взял его в руки и многие свои делишки обделывает с его помощью. А этот тупица рад, воображает, что Насыров ничего не делает без его ведома. Машинистки от него плачут — он постоянно выясняет их социальное происхождение. Некоторые действия Насырова мне даже непонятны — это непохоже на карьеризм. Когда профессор, о котором я рассказывал, хотел обработать материал, собранный за десять лет, он не допустил этого. Причем не сам запретил, а натравил на него Мирзакарима, сказав: «Профессор — беспартийный. Лучше бы поручить этот драгоценный материал нашему партийному человеку». Сколько обид нанес Мирзакарим профессору! Он сам мне об этом рассказывал. А когда я стал ему выговаривать, он ответил: «Ты подпал под влияние старых специалистов». Говорят, сейчас он выясняет мое социальное происхождение. Я молчу. Только иногда поддраживаю его. Вот если бы он пошел на меня жаловаться в горком, тогда я бы всё рассказал о нем...

Начало светать. Утренняя прохлада вливалась в раскрытое окно. Шелестели листья на деревьях. На востоке небо стало розовым. Всюду тишина. Время крепкого сладкого сна.

— Нынче я перед вами отчитывался, — сказал Эхсан, закрывая глаза, — а когда мы вас слушаем?

— Теперь уж только и будем делать, что слушать друг друга, — сказал Саиди, гася свет.

## XVI

— Рахимджан, — сказал утром за чаем Эхсан, — что же ваша жена не показывается? Неужели она стесняется меня?

Сорахон привыкла прятаться от незнакомых мужчин, но если бы она и не закрывалась, Саиди было бы стыдно показать ее Эхсану. Он отговорился.

— Она вчера уехала в кишлак...

— А фотографии ее нет у вас?

Слава богу, Сорахон ни разу в жизни не снималась. Увидев ее, Эхсан, наверное, удивился бы. Саиди сделал вид, что не слышал вопроса, и заговорил о другом.

— Я подумал вот о чем: нельзя ли о Насырове напечатать фельетон в газете?

— Нельзя... — сказал Эхсан, но не успел объяснить — почему, как вошел Мурадходжа-домла.

Домла вчера не выходил к гостю, хотя Саиди и сказал ему, что это тот врач, который учился в Москве и вернулся, закончив институт.

— Милости просим, милости просим... — говорил домла, сердечно приветствуя гостя. — Извините, что я вчера к вам не вышел, было поздно, и я не хотел вас беспокоить.

Домла долго говорил о восточной медицине, о знаменитых ее деятелях в древности, заявил что, современная медицина отстала, по крайней мере, на пятьсот лет от того, что было известно еще во времена Авиценны, и что самой важной областью современной медицины является ветеринария, а самой незначительной — лечение зубов. Эхсан понаслышке знал о Мурадходже и его болтливости, но беседовать с ним еще не приходилось. Теперь, чувствуя, что его трудно остановить, Эхсан не возражал и собрался уходить, как только тот умолк.

— Рахимджан мне давно уже о вас рассказывал, — сказал домла, вставая. — И я все мечтал вас увидеть. Но, к сожалению, вы торопитесь. Надеюсь, что теперь вы часто будете нас навещать. У меня есть древние книги по медицине... Да, кстати: у нас в доме есть больная. Может быть, вы ее посмотрите?

Эхсан согласился. Они вышли во двор. Домла сделал знак Саиди, чтобы он проводил Эхсана, а сам взял решето с зерном и стал кормить кур.

Тупа лежала под лестницей в подвале, где зимой разжигали самовар. Саиди с Эхсаном спустились в подвал. Там было сыро, пахло гнилыми дынными корками. Тупа лежала на кровати под одеялом. Услышав, что кто-то вошел, она открыла глаза и попыталась встать.

— Не двигайтесь, не вставайте! — сказал Эхсан.

Тупа виновато посмотрела на Саиди, словно спрашивала: что же ей делать?

— Это доктор. Скажите ему, что у вас болит, — объяснил Саиди.

Запавшие глаза Тупы широко раскрылись: а вдруг домла будет ее бранить за это? Она вся задрожала.

Эхсан ласково стал расспрашивать ее и взял за руку. Тупа опять испуганно поглядела на Саиди.

— Мой бек... — сказала она робко.

— Не бойтесь, чего вы боитесь? — сказал Эхсан. — Я хочу узнать, чем вы больны, выпишу вам лекарство, вы поправитесь... Так где же у вас болит?

Саиди подтвердил слова Эхсана, тогда страх понемногу стал оставлять Тупу.

В это время домла позвал Саиди. Оставшись одна с Эхсаном, Тупа стала отвечать на его вопросы.

— Дышать так тяжело, как будто в груди свинец... И рвет меня, изжога все время...

— А голова болит?

— И голова болит. Все тело болит...

— Ну что ж, болезнь вашу можно вылечить. Только, если будете тут валяться, не поправитесь. Надо в больницу. В больнице вас скоро вылечат.

— Хозяин знает... как скажут, так и будет...

Когда Эхсан вышел из подвала, домла спросил небрежно:

— Ну, как? Поправится она?

Эхсан не ответил ему, подошел к Саиди и спросил, не подымая глаз:

— Кто эта женщина?

— Служанка, — отвечал, несколько смутясь, Саиди.

Тут подоспел домла.

— Ну что, братец? Будет она жить?

— Будет жить. Что с ней надо делать — я скажу Рахимджану. До свидания! Будьте здоровы!

Саиди пошел его проводить. Когда они вышли на улицу, Эхсан спросил:

— Служанка... это значит — работница? Почему же вы довели ее до такого состояния?

— Мы не знали, что с ней...

— Надо было отправить ее в больницу! Нельзя ее так оставить, надо обязательно отправить в больницу... Нехорошо, Рахимджан!

— Я и сам хотел это сделать... Ну, а когда же мы опять встретимся?

Но Эхсан, не отвечая, попрощался и ушел.

Когда Саиди вернулся, домла стоял посреди двора и ножичком чистил ногти. Он спросил, что сказал врач. Саиди передал ему, что говорил Эхсан.

— Что же у нее за болезнь? — спросил домла и, сложив ножичек, сунул его в карман.

— Говорит: болезнь желудка.

— И из-за этого — в больницу?! Дурак он! Просто не понял ничего и хочет сплавить ее в больницу — пусть там лечат... Если желудок не в порядке, надо давать уксус — и все. — Бранясь, он ушел в дом. За ним пошел к себе и Саиди. Теща в это время заплетала волосы Сорахон. Домла стал жаловаться на врача, но Сорахон перебила его:

— Ну и пусть отправляет в больницу. А то она еще умрет, — я тогда буду бояться выходить во двор.

— Дело не в том, что ты будешь бояться. Сколько хлопот будет с похоронами, сколько лишних трат! — сказал Саиди.

— Если и не умрет, а болезнь затянется, — тогда что? В любом случае лучше отправить в больницу. Поправится — так оттуда сама придет, а умрет — оттуда и похоронят, — сказала «сладкоголосый соловей».

— Рахимджан, — сказал домла, — хоть этот наш доктор и не блещет умом, все-таки чему-то он обучался, что-то он понимает в болезнях. Ладно уж, отправим Тупу в больницу. Может быть, ей, рабе божьей, бог пошлет избавление. Наш долг — делать добро ближнему, во имя Мухаммеда... Так и сделайте — отправьте ее в больницу. Нынче ей, кажется, хуже стало, утром ее так рвало...

## XVII

Саиди спускался по лестнице своего нового дома, когда во двор вбежали с улицы два соседских мальчика и сообщили, что у ворот стоит извозчик. Так как гостей в этот день не ждали, то домла сделал знак Саиди: «Выйдите, посмотрите, кто там». Саиди побежал к воротам, домла пошел за ним. Извозчик вынул из коляски тюк, заверну-

тый в шерстяное одеяло и перевязанный веревкой, и ждал, пока вылезет женщина в парандже. Саиди тотчас узнал свою сестру. Она была одна, без детей. Саиди подбежал к коляске. Увидев его, сестра зарыдала и обняла его. Саиди ужаснулся. До чего же она похудала!

— Не плачь, не плачь! А где же дети?

— Он мне не отдал их... — сказала она, достала костыли, лежавшие наверху, и попыталась встать.

Саиди испугался еще больше, оглядел сестру. Ноги были целы. Когда в последний раз Саиди ездил к Мухаммедраджабу, у нее болели ноги, но до костылей тогда дело не доходило. Саиди взял у сестры костыли, отдал их одному из мальчиков, поднял сестру на руки и понес в дом. Шедший им навстречу домла застонал от досады, но хоть и с трудом, постарался встретить гостью приветливо.

Все уже догадывались, почему приехала эта женщина: Мухаммедраджаб развелся с ней. Домла сам растелил палас на супе посреди двора, усадил гостью и сказал Саиди: «Почему же вы не сообщили о приезде? Я бы сам встретил женщину». Увидев неожиданно явившуюся «дармоедку», «сладкоголосый соловей» побледнела и, дрожа от возмущения, стала проклинать Мухаммедраджаба. Подошла Сорахон и тоже стала вторить матери, делая вид, что сочувствует горю бедной женщины.

— Я не собиралась ехать этим поездом, — сказала гостья, — но дядя Хайдар-хаджи должен был поехать в Ош и отправил меня. Он дал письмо для вас. — Она вытащила письмо, завязанное в уголок платка, и протянула его домле.

Домла прочитал письмо и отдал его Саиди. Вот что писал Хайдар-хаджи о Мухаммедраджабе:

«...Он продал лошадей, выручил семь тысяч шестьсот восемьдесят три рубля и открыл свое дело, отделвшись от меня. Это, конечно, нечестно с его стороны, но вы знаете, что с ним надо поддерживать хорошие отношения, и потому не следует Рахимджану вмешиваться в их семейные дела. Скажите Рахимджану, что как бы ни тяжела была для его сестры разлука с детьми, пусть потерпит, так как я, лишь только вернется Мухтархан, буду с его помощью хлопотать о передаче детей ей. Мухтархан должен был приехать тринадцатого числа: сегодня уже двадцать седьмое, но до сих пор от него нет никаких вестей. И писем тоже он давно не пишет. Обычно он не оставлял нас так долго без писем. Очень беспокоюсь...»

— Ничего, не расстраивайтесь, доченька, — протягивая гостье свою пиалу с чаем, сказал домла. — Найш

дом — ваш дом. Живите спокойно. И брат ваш — рядом с вами. Бог даст, поправитесь.

Пообещав отобрать у Мухаммедраджаба детей и найти для гостыи хорошего врача, домла встал.

— Теперь отдыхайте, вы устали с дороги. Сорахон, полей-ка двор!

Домла ушел в дом и через некоторое время позвал Саиди.

— Ваша сестра — человек нежный и чувствительный. Нехорошо, если она узнает, что в доме уже есть больная. Надо поскорее сплавить Тупу в больницу. Сестра ваша еще больше расстроится, если узнает...

— Что же, прямо сейчас отвезти Тупу?

— Ну, не сейчас, можно и через часок. Астана пойдет с вами.

Саиди согласился и вернулся к сестре. Когда он сел возле нее, она стала говорить:

— Ладно уж, братец... Ты не ссорься с бессовестным человеком. Может быть, он еще опомнится... И я к тому времени, может быть, поправлюсь. Бог послал болезнь, бог и пошлет избавление... Вот только без детей тяжело... — Она заплакала. — Но иногда я буду просить тебя, и ты свезешь меня повидаться с ними... хоть посмотрю на них... Мне нужно только поправиться. Ты купи мне в базарный день немножко конского мозга. Я буду сидеть на солнышке и натирать себе ноги. Я обязательно вылечусь. Вижу я теперь уже лучше...

— Конечно, ты поправишься. Я позову к тебе врача.

Сестра вытерла слезы концом платка.

— И не выдумывай тратиться на меня! Я и так поправлюсь... Будет мне полегче, — и в нем заговорит совесть...

— В ком? Ты что — опять хочешь к нему вернуться?

— А что же мне делать? Разве я могу долго жить в твоём доме? В каждой семье своих забот достаточно.

Саиди засмеялся. Он мог бы прокормить не одну сестру, а десять, если б понадобилось.

— Из-за чего же вы поссорились?

— Да и ссоры особенной не было. Все началось с того времени, когда ты приезжал за деньгами, которые дал ему в долг. Он тогда очень хлопотал, чтобы отделиться от Хайдара-хаджи и открыть свою лавку. Ну, он и не отдал тебе прибыль с твоих денег. Я его спросила, почему не дал, а он меня побил. Потом он отделился, открыл

свою лавку, дела пошли хорошо. Каждый день у него гости... Гости приводят женщин. А я всем должна прислуживать. Грязь... пьянство... Как-то в кухне на рассвете я и не заметила, как задремала, сидя у очага. Он пришел за чаем, а я не услышала. Тогда он меня ударил ногой несколько раз. Ради детей я все вытерпела — простила. Потом у меня разболелась нога, я совсем не могла ходить. Тогда он меня бросил. С утра до ночи сижу голодная. Он вечером придет, даже не спросит, как я, прямо проходит в свою комнату. Всю еду, все запасы запер в сундук. Мне сказали, что он хотел меня извести, потому что собрался жениться на дочери одного медника. Однажды он сильно поругался с Хайдаром-хаджи, чего-чего только не наговорил ему. А тот — бедный — промолчал, оказался хорошим человеком... С тех пор, как у Мухаммедраджаба деньги завелись, он точно сбесился. Когда он мне дал свидетельство о разводе, я хотела пойти в махаллю и все о нем рассказать, опозорить его перед людьми. А Хайдар-хаджи не пустил меня. Сказал: «Если его посадят, вам с детьми еще хуже будет».

Вошел Мурадходжа-домла.

— Придет завтра отвезти Тупу, сегодня уже не успею, — сказал Саиди домле и стал объяснять сестре, кто такая Тупа, чем больна и почему домла считает нужным отправить ее в больницу.

В это время появилась женщина в белом халате и сказала, что в доме есть больная и она пришла за ней. Домла сначала перепугался, но узнав, что за больной прислал Эхсан, обрадовался. Вошли двое мужчин с носилками и унесли Тупу. Когда ее вносили в машину, домла очень старался помочь, хоть и не нужно было.

Пока Саиди и домла были на улице, гостья, оставшись одна, встала и хотела пройти в сад. Она спустилась с супы, ступила на костылях несколько шагов, споткнулась и упала прямо на цветы, росшие около супы. Видевшая это Сорахон закричала: «Ой, пропали наши цветочки!» Немедленно прибежала хозяйка.

— Что случилось, сестричка? — спросила она издали.

— Ах, чтоб мне умереть! — сказала гостья, подымаясь с трудом. — Я споткнулась обо что-то...

Глаза хозяйки сразу увидели валявшийся кувшин для умывания: носик у него был отбит. Со злостью поставила она кувшин на место, вернулась к очагу и, накладывая на блюдо еду, ворчала: «Чтоб ее бог забрал с ее куриной слепотой!»

## XVIII

Необходимо было пробить брешь в такой неприступной крепости, как городской комитет партии. И ставка была сделана на Эхсана, друга Шарифа. Все заинтересованные в этой операции внимательно следили за взаимоотношениями между Эхсаном и Насыровым. С нетерпением ждали скандала. Если скандал разразится, возможно, Эхсан потерпит поражение, тогда, естественно, он будет искать помощи. Протянуть ему в трудную минуту руку значило бы перетянуть его к себе. А чтобы рука эта была достойной, чтобы она не испугала его, а обрадовала, нужно уже теперь сделать так, чтобы ему было ясно, что его окружают доброжелатели, свои люди, сочувствующие его начинаниям. Но для того, чтобы ему посочувствовать, надо было, чтобы он пожаловался. Сам пришел и пожаловался. Не мог же кто-то идти к нему и вынуждать его жаловаться. Тут мог помочь только Саиди, и он стал все чаще посещать Эхсана.

Посещения Эхсана не приносили Саиди ни удовлетворения, ни даже надежды на успех его миссии. Он скучал, когда Эхсан рассказывал ему о своей работе, а когда заходил разговор о литературе, Саиди со страхом ждал вопроса: «А что же ты написал за эти годы?»

Приезд сестры Саиди принес Мурадходже-домле лишние хлопоты. Он не хотел, чтобы Саиди вызывал к ней городских врачей, боялся лишних трат, настанвал, чтобы Саиди показал сестру Эхсану: «Пусть тот выпишет лекарства, а уж если и лекарства не помогут, значит, божья воля».

Саиди не хотелось обращаться к Эхсану. Но домла как-то стал его стыдить при сестре за его «невнимательность и жестокость». И Саиди в тот же вечер пошел просить Эхсана осмотреть больную.

Он застал Эхсана в непривычно мрачном настроении, которое он безуспешно пытался скрыть от Саиди. Саиди это почувствовал. Тогда, чтобы Саиди не подумал, что хозяин не рад гостю, Эхсан рассказал ему, что вызвало у него дурное настроение. Оказывается, Мирзакарим, который постоянно доводил до слез машинисток, проверяя их социальное происхождение, на одном из собраний обвинил Эхсана в «дружеской связи со старым профессором, представителем буржуазной идеологии». Хотя целью Мирзакарима было очернить Эхсана, но о профессоре Светлове он говорил как о вредном человеке, чуть ли не преступнике. А между тем все в отделе хорошо



знали, что профессор — честный и добрый человек, который работает, не жалея себя, отдавая все силы своему делу. Эхсан был так расстроен после недавнего разговора с профессором, что не захотел рассказывать Саиди всего и, чтобы немного рассеяться, переменял разговор.

— Ну, рассказывайте, что у вас, Рахимджан... Кстати, вы навещаете вашу работницу в больнице?

— Да, справляемся... — солгал Саиди.

Эхсан показал Саиди книжку, лежавшую на столе.

— Вы это видели? Уже второе издание.

Это был сборник стихов Кенджи. На титульном листе Саиди прочел надпись: «Мой друг Эхсан! Мы трудимся по-разному, но во имя одной цели».

Саиди полистал книжку. В стихотворении «Сказки о прошлом» были подчеркнуты строчки:

От колыбели до могилы — пустая степь.

И путь его — лишь бед и горя тяжкая цепь.

— Это вы подчеркнули?

— Я. По-моему, он здесь покривил душой ради музыкального ритма, ради внешней красоты стиха.

— Кенджа — неплохой поэт, — сказал Саиди, — но он совсем не выносит критики. Он, например, не признает одного из самых опытных и знающих наших критиков — Аббасхана, говорит о нем всегда в оскорбительном тоне. Вообще Кенджа у всех ищет грязь под ногтями...

Саиди не нравилось то, что Кенджа говорил об Аббасхане, а Эхсану сейчас очень не понравилось то, что Саиди сказал о Кендже. А так как Эхсан в эту минуту был очень возбужден, он не удержался и сказал резко:

— Не вижу ничего особенно ценного в вашем Аббасхане. Читал его статьи. В одной из них он утверждал, что классическая литература сильна только тем, что показывала отрицательные явления действительности. Как будто сила искусства только в этом?

— Но ведь верно, что многие великие произведения созданы на основе отрицательных фактов.

— Вы думаете, что сила этих произведений в самом показе отрицательных фактов? А ради чего они показаны? Конечно, в те далекие времена действительность была полна таких фактов. Великие писатели показывали их и объясняли, чтобы люди стремились к иному, поверили в возможность иной жизни. Ведь для того, чтобы делать что-то в жизни, надо верить в свое дело, в его победу. А ваш Аббасхан сам не верит ни во что и мешает другим верить.

Саиди подумал, что Аббасхан, наверное, сумел бы возразить Эхсану, и сказал насмешливо:

— В своей области Аббасхан владеет большими знаниями... Конечно, он не стал бы спорить о медицине...

Эхсан понял намек и рассердился.

— Если бы ко мне пришел больной и стал жаловаться на отсутствие аппетита, а я бы начал ему резать нос,— думаю, что, и не будучи врачом, вы поняли бы, что я поступаю неправильно! Для того, чтобы судить об этом, не надо обязательно учиться пять лет в университете!

Эти слова задели Саиди сильнее, чем хотел Эхсан. Он тоже не смог сдержаться и спросил:

— Это Кенджа вам все так хорошо разъяснил?

— Напрасно вы так думаете,— ответил Эхсан, побледнев от обиды.

— По-моему, если бы Кенджа слушался Аббасхана, его талант очистился бы от зазнайства и всякой ерунды.

— А ваш талант Аббасхан обрабатывал?

— Конечно!— сказал Саиди.

Эхсан громко расхохотался. Может быть, смех этот был даже немного деланный. Эхсан оборвал его и сказал тихо:

— Вы когда-нибудь пытались оглянуться на себя, на свой путь? Куда девался ваш талант, Рахимджан?! Кто позавидует ему теперь, кто порадуетя на него? Обработанный такими учителями, как Аббасхан и Салимхан, он теперь валяется, как старая арба, на дворе у Мурадходжа-домлы!

Саиди ничего не ответил, но подумал про себя: «Когда-нибудь ты еще узнаешь, что я делал в эти годы».

Оба замолчали. Саиди собрался уходить, еще надеясь, что Эхсан удержит его. Но Эхсан молчал. Саиди вышел и тихо прикрыл за собой дверь.

## XIX

Из всей семьи только один Мурадходжа-домла, хоть и натянуто, но все же выказывал участие сестре Саиди. Через месяц и он потерял терпение. Саиди теперь уже не мог позвать к больной Эхсана. Узнав о последнем разговоре Саиди с Эхсаном, Аббасхан решительно запретил Саиди встречаться с ним. А другого врача Саиди не удостоился найти.

Домла как-то сказал при больной: «Бог воздаст каждому по его нраву». Она промолчала, глядя в землю, но потом плакала в уголке весь день. Узнав про ее слезы,

домла строго произнес: «Ваши слезы ни к чему. Они только мешают делом заниматься. В моем доме прошу не плакать!» С тех пор, встречая домлу, женщина старалась улыбаться. Но это тоже не понравилось домле. «С чего это вы радуетесь? Кажется, нечему радоваться человеку, который потерял детей и ног лишился...» Конечно, все это говорилось не при Саиди. А сестра не жаловалась брату, боясь испортить и без того трудные отношения в семье, и терпела все молча.

Когда же семейные неурядицы в доме Мурадходжи-домлы дошли до того, что домла стал жаловаться друзьям, Аббасхан испугался, как бы отношения между домлой и Саиди окончательно не испортились, это было бы нежелательным для всех. Пока Аббасхан придумывал, как бы исправить создавшееся положение, стало известно, что грозит еще большая опасность. Прошел слух, что ожидаются перемены в редакции газеты, где работал Саиди. Оказывается, секретарь горкома Шариф сказал редактору: «Вы плохо, очень плохо освещаете пятилетку». И Аббасхан отлично понимал, что это значило.

Чтобы предотвратить эту двойную опасность, Аббасхан решил поговорить с домлой.

— Мы с Салимханом хотим направить Саиди на работу в один из центральных журналов. Думаю, что вы согласитесь с нами.

Домла вздрогнул.

— Но почему?

— Дело в том, что в редакции газеты ожидаются большие перемены. Я не сомневаюсь, что это коснется и Саиди. А если палка одним концом ударит его, другой конец заденет и вас. И это закроет Рахимджану все пути как писателю. Вот если бы он уехал сейчас со всей семьей и сестру взял бы с собой... это было бы неплохо для всех... и для вас тоже.

Домла задумался.

Он не мог согласиться не только на отъезд Саиди в другой город, но даже на то, чтобы разделить и жить на два дома: ведь это было бы равносильно тому, чтобы самому зарезать дойную корову. А то, что Аббасхан так заботился об отъезде Саиди, заставило домлу подозревать, что за этим что-то кроется, что кто-то заинтересован в этом.

Домла волновался не даром: он до сих пор не был уверен, что Саиди окончательно разлюбил Мунисхон; он знал также, что Мунисхон часто плачет и жалуется под-

ругам, что не любит Мухтархана, к тому же Мухтархан, выполняя опасное задание на границе с Афганистаном, пропал без вести. Во всяком случае, даже Хайдар-хаджи, обычно веривший в изворотливость и ловкость Мухтархана, теперь пишет мрачные письма. Сопоставив все это, домла решил, что предложенные Аббасхана выгодно только одному Салимхану. Он сказал, глядя в сторону:

— Ладно, поживем — увидим... Не в газете, так еще где-нибудь будет работать... Найдется работа... Зачем ему тащиться куда-то со всей семьей... мучиться?

— Он тут пропадет. Для него закроются все пути к творчеству.

— А много ли он сделал, когда все пути для него были открыты? Вон он ходил, ходил к Эхсану, а какая польза?

— Рахимджан не виноват, что так вышло. Если бы горком партии стал на сторону Насырова, может быть, что-нибудь и вышло у нас с Эхсаном. Но горком поддерживал Эхсана, а дело Насырова передано теперь в контрольную комиссию. Говорят, Шариф даже упрекнул Эхсана: «Зачем поделикатничал? Почему не сказал нам раньше?» Вы же знаете, что Эхсан думает про вас, — как же вы хотите, чтоб он дружил с вашим зятем, с человеком, который живет в вашем доме?..

А домла думал про себя: «Ах, сукин сын, наверное, Салимхан что-то пообещал тебе...» И разговор дошел бы до ссоры, если бы в этот момент не явился Саиди с тревожным известием. Он был бледен и задыхался.

— Началось! — едва выговорил он.

— Что? — испугался домла.

Саиди вытащил из журнала, который принес с собой, листок и протянул Аббасхану. На листке было написано корявыми буквами новым алфавитом заявление. Аббасхан не мог его разобрать, а домла вообще не знал нового алфавита, поэтому они слушали, как Саиди читал:

— «Статья в газету.

Прошу напечатать это мое заявление в газету. Сообщаю, что судья Ибрагимов несправедливо заключен в тюрьму. Он не требовал у меня взятки и не понуждал ни к чему плохому, не говорил никаких стыдных слов. А все это делал чуждый элемент по имени Мирза Мухитдин. Он и научил меня сказать неправду про судью Ибрагимова. А я подтверждаю, что это была неправда, потому что я сама кандидат партии и рабочий человек. Так как товарищ Ибрагимов ни в чем не виноват, то пусть

его освободят из тюрьмы, а в газете пусть напишут про чуждый элемент — Мирзу Мухитдина. Я — работница шелкомотальной фабрики Мавлянкулова. Мой муж — штукатур — находится в тюрьме тоже по обвинению во взяточничестве, когда был председателем махаллинской комиссии... Товарищ Ибрагимов сидит в тюрьме в связи с его делом, о чем я и сообщаю. Если есть ошибки, прошу исправить и напечатать. Мавлянкулова».

Аббасхан, бледный, смотрел на домлу. А домла, хоть и знал, в чем дело, так растерялся, что стал спрашивать:

— Кто это? Что за женщина?

Аббасхан только рукой махнул: «Пропали!»

— Как это случилось? Она сама пришла? Что она сказала? А вы что? — спрашивал он Саиди.

— Она сама пришла. Я сначала ее даже не узнал — она стала совсем другая, бойкая такая, никому слова не дает сказать. Рассказала, как Мирза Мухитдин ее обманул и заставил дать ложные показания. Я ей сказал: «Вы об этом не говорите никому, пока не напечатает в газете». А она говорит: «Нет, я хочу все рассказать Шарифу-ака, я уже к нему ходила, но он ушел в кишлак». Ушла и сказала, что придет опять в воскресенье.

Надо было что-то предпринимать, и Аббасхан взглянул на домлу. Но домла больше всего был озабочен, как бы не отправили Саиди в центр, и стал браниться:

— Вот и тогда вы это все придумали... Я и тогда был несогласен, но молчал, чтобы вас не обидеть... А теперь вот вы хотите послать Рахимджана в центр — это тоже неверно...

— Ах, да сделайте, как хотите! — рассердился Аббасхан. — Сейчас надо думать, что предпринять...

Саиди пошел за Салимханом. Тот тоже смутился, узнав, как обстоит дело. Вызванный срочно Мирза Мухитдин сказал, что через суд теперь уж ничего не добьешься. Прикидывали-придумывали, ни до чего не могли договориться. Только на другой день, обсуждая вопрос на более широком совещании, нашли выход: через отдел народного образования постараться отправить Мавлянкулову на учебу. А обо всем случившемся сообщить в центральный комитет организации.

## XX

Надо было поторопиться, чтобы Мавлянкуловой уже не было в городе, когда вернется Шариф.

На другой день Салимхан вызвал ее к себе и долго с ней говорил. Он был так приветлив, наговорил столько приятных слов, что Мавлянкулова могла бы заподозрить его в каких-то «нечистых намерениях», если бы он не сказал под конец: «Если вы согласны, я сейчас же оформлю документы, вы получите деньги и завтра же сможете уехать». Мавлянкулова, конечно, обрадовалась такому предложению, но ее беспокоило, что же будет со статьей, отданной в газету.

— Нельзя ли мне уехать, когда вернется Шариф-ака? Дело ведь такое запутанное... боюсь, что без меня ничего не выяснится... Только я одна могу все объяснить.

— Когда статью напечатают, Шариф-ака ее прочтет и все поймет, а если не поймет чего-то, потребует, чтобы ему разъяснили. Нет, уж вы не откладывайте отъезд.

— Может быть, мне добавить к статье еще и заявление на имя Шариф-ака?

— Можно и так. Но, по-моему, вам теперь следует думать больше об учебе, чем об этом давнем деле... Говорят, ваш муж скоро будет освобожден... чего же вам беспокоиться?

— Ой, как же вы не понимаете?! Я столько пережила, когда Мавлянкулова несправедливо засудили, так бедствовала, столько ходила по судам, просила помощи, а надо мной издевались, обвиняли мужа бог знает в чем... Да как же я могу оставить в покое тех людей, которые занимались такими черными делами и позорили наш советский суд?! Ведь я теперь кандидат в члены партии, я должна...

Салимхан мягко прервал ее:

— Конечно, конечно, нельзя это так оставить. Но поймите меня: я должен направить на учебу лучших работников с производства. Я обследовал все предприятия города, заводы и фабрики, искал достойных. И вот нашел вас. Остается всего три-четыре дня до начала занятий. Если вы опоздаете, ваше место будет занято другой женщиной...

— А напечатают ли мою статью? И когда это будет?

— Ну, если уж тогда напечатали ваше устное заявление, как же теперь не напечатают статью? Тогда ваше заявление скоро напечатали?

— На второй же день.

— Значит, и эта статья скоро появится. Могут, конечно, и задержать, если будет другой какой-нибудь срочный материал. Я вот тоже сдал им статью, прошло семнадцать дней, а еще не напечатали.

— Может быть, мне ее взять из газеты и отнести к Шарифу-ака домой?

— Можно и так. Но лучше, чтобы ее напечатали в газете. Шариф-ака может прочесть и не обратить внимания, а уж в газете прочтет обязательно. В газете она произведет впечатление. Оставьте ее в редакции. И поезжайте спокойно. А когда статья появится в газете, вот тогда напишете письмо Шарифу-ака и все объясните подробно.

И Мавлянкулова согласилась с этими доводами.

Дней через десять после отъезда Мавлянкуловой Муррадходжа-домла прочел утром в центральной газете такое сообщение в отделе происшествий:

«Вчера вечером на реке, в шести километрах от гидростанции между третьей и четвертой пристанями моторная лодка обнаружила прибитую к берегу пустую весельную лодку. На лодке найдены следы крови. В результате расследования стало известно следующее: лодка номер 27 взята была напрокат в пять часов двумя женщинами — Зарифой Юлдашевой и Турсуной Мавлянкуловой. По документам, оставленным при найме лодки, обе они — студентки рабфака, поступившие в этом году».

Домла вскочил и, как был — в нижнем белье, побежал к Санди. Он столкнулся с ним на пороге. У Санди в руках тоже была газета, он был очень взволнован.

— Читали? — спросил домла.

У Санди дрожали губы, глаза были полны слез. Он отвернулся и вытер их. Домла удивился.

— Вы что — близки с ней были?

Санди молча повернулся и ушел в свою комнату. Домла разозлился и пошел за ним следом.

— Вы, вы во всем виноваты! — сказал Санди со слезами. — Если бы я ушел из редакции вовремя, когда Аббасхан предупреждал, не было бы столько шума. Никто не стал бы копаться в моем прошлом. А теперь вот что...

— Да о чем вы говорите, Рахимджан?

— А вы о чем?

Домла показал ему заметку, а сам стал читать большую статью, указанную Санди. Статья занимала два газетных подвала, и в ней все время упоминались имена Санди, Якубджана и редактора областной газеты. Домла понял, о чем идет речь, и весь покрылся холодным потом.

Если бы домла знал, что дело дойдет до этого, он согласился бы отправить Санди куда угодно, хоть на край

света. Статья подробно и глубоко анализировала причины того, почему областная газета не освещает такой важный политический вопрос, как пятилетний план.

## XXI

Саиди, как и предсказывал Аббасхан, был уволен из редакции с дурной характеристикой. Пришлось ему оставить вечернюю школу и все курсы, где он преподавал. Он либо подавал заявление об уходе, либо просто не являлся больше. И никто его не искал.

Мурадходжа-домла, конечно, ужасался такому сокращению доходов, но возражать не посмел. Переводами Саиди зарабатывал вдвое меньше, и потому домла с каждым днем становился с ним все грубее. Тяжелее всего это отразилось на сестре Саиди.

С первого же дня, как приехала, она решила твердо, что не будет причиной домашних ссор брата с невесткой, и стала пытаться заработать себе на кусок хлеба. Но ее преследовали неудачи. По секрету от брата она купила шелку, чтобы вышивать тюбетейки, и нечаянно пролила на него лиловые чернила; из уцелевшего шелка вышила тюбетейку, но когда соседка понесла ее на базар, за нее не дали даже той цены, что была затрачена на материал. Искуснее вышивать она не могла — у нее болели глаза, она слепла. На долю ее выпадало теперь много неприятностей — и об этом скоро узнал Саиди.

Однажды Саиди, окончив принесенный домлой перевод, вышел во двор и услышал в саду визгливый голос «сладкоголосого соловья», потом грохот упавшей откуда-то жестяной посуды. Хотя у Саиди не было ни малейшего желания видеть тещу в дурном настроении — он знал, как синеее ее лицо, как бледнеют уши, когда она гневается, — но все же пошел в сад. У самой калитки теща, как ящерица, проскользнула мимо него и скрылась в доме. В саду Саиди нашел сестру у арыка, она сидела на траве и оттирала тряпкой сажу с рук.

— Что тут случилось?

Она вздрогнула, услышав вопрос брата, часто моргая, старалась скрыть слезы и взглянула на брата с вымученной улыбкой.

— Ничего...

— Что она тебе наговорила? Это она тебя бранила?

— Нет, как можно...

Тут Саиди увидел лежавшую рядом закопченную кастрюлю.



— Что это такое?

— Да это просто так... — пролепетала сестра, берясь за нож.

— Да скажи, наконец, что случилось?

— Ничего не случилось, ей-богу, ничего...

— Зачем же ты сидишь тут?

— Хотела почистить кастрюльку... нельзя же сидеть без дела... дай, думаю, почищу... а она, оказывается, дырявая...

Саиди сразу понял: сестра, желая почистить кастрюлю, счистила нечаянно полуду с дырявой кастрюли.

— Зачем тебе надо было за это браться? — сказал он с раздражением. — Не можешь ты сидеть спокойно... Кто тебя просит делать грязную работу? Тут сыро — ногам твоим станет хуже.

Сестра вытирала нож грязной тряпкой и думала: «Ах, братец, ничего-то ты не знаешь! Если б я посмела сидеть спокойно, они тебе не дали бы покоя. Они из меня, больной, высосали все силы, и у тебя в чем душа держится...»

Стуча костылями, сестра ушла в дом. Саиди хотел пойти за ней, но подумал, что, встретиться ему сейчас «сладкоголосый соловей», он не удержится, наговорит ей чего-нибудь, начнется ссора... Он пошел в сад и до сумерек бродил под деревьями.

Когда он вернулся в дом, Сорахон сидела на новой террасе и выжимала сок из усьмы.

— Пропади все пропадом! — закричала она, увидев мужа, и отодвинула пиалу. — Не хочу я больше жить здесь! Не могу жить с отцом-матерью! Увезите меня отсюда!

Мурадходжа-домла еще неделю назад научил ее скрывать это Саиди, когда у него будет хорошее настроение, но Сорахон только сейчас вспомнила об отцовском наказе. Саиди же вообразил, услышав ее слова, что она знает, как мать угретает его сестру, и ей жалко одинокую больную женщину.

— Ладно, не расстраивайся... купим дом и уедем, может быть... — попытался успокоить он ее.

Мурадходжа-домла понимал, что извлек из Саиди все, что можно было. Ни настоящего, ни будущего Саиди не сулило теперь ничего хорошего. Высосав сок, надо было выплюнуть и кожицу. И вот он придумал отделить Саиди и выселить его из своего дома. А после того, как он это сделает, можно будет и дочь развести с ним. Но раз-

вод должен быть с согласия обоих, чтобы не было ни шу-му, ни обид, ни неприятностей — нельзя портить отношения с Саиди — он слишком много знал. Домла готов, если понадобится, даже расхваливать Саиди Мунисхон: «Писателю нужна ученая жена — такая, как Мунисхон». В крайнем случае, он готов даже объявить душевнобольной свою дочь.

Думая о том, как избавиться от Саиди, домла строил разные планы. Надо, чтобы Саиди достал тысячу рублей, купил дом. Дом надо записать на имя Сорахон. Когда Саиди узнает, что Мухтархан арестован, он, конечно, постарается вновь сблизиться с Мунисхон. Пока она не знает, что муж арестован, а если узнает, — озолотит того, кто ей принесет такую весть...

— Интересно, твои родители согласятся, чтобы мы отделились от них? — спросил Саиди Сорахон.

Она побоялась сказать, что родители только и ждут этого, пробормотала:

— А какое нам дело до них? Как хотим, так и живем!

— Все-таки ты бы поговорила с ними, узнала их мнение.

— Вы думаете, они будут возражать? — спросила Сорахон, скривив губы.

Можно было подумать, что она готова на все, но Саиди не был уверен, что домла так легко согласится. Скоро, однако, выяснилось, что Сорахон права. Как-то вечером домла пришел домой очень веселый и сказал, что в ближайшем квартале продается дом.

— И недорого, — пояснил домла, — семьсот пятьдесят рублей. Если истратить на ремонт рублей триста, получится вполне приличное пристанище. Надо покупать этот дом — как-никак имущество. Все так непрочню в наше время... Сегодня вы человек с положением, а завтра — никто. Сегодня вы преподаете в десяти школах, завтра — ни в одной... Так-то вот... Только имущество, только деньги надежны. Отец, мать, друзья-приятели, известность, почет — все это не стоит и гроша. Надо копить деньги, вещи. Эх, если бы я это знал несколько месяцев назад! Тогда деньги были. Да и теперь — разве молодому сильному мужчине трудно добыть деньги? Если вы купите дом, я эти ваши комнаты сдам в аренду. Будете жить-поживать, проедать эти деньги и писать свои книги. Сорахон научится сама вести хозяйство. А сестру вашу мы оставим тут. Я сам буду за ней ухаживать.

— Но сейчас ведь у нас нет денег? — сказал Саиди.

— Денег нет. Верно, денег сейчас нет. Но, если сидеть сложа руки, дом уплывет от нас. Через три дня и за тысячу рублей найдется покупатель. Деньги можно достать. У Якубджана всегда найдется три-четыре тысячи. Мне он может и не дать. А если вы попросите, он даст. Просите тысячи полторы, — даст бог, месяца через два рассчитаетесь.

— А если у Мухаммедраджаба по-хорошему попросить проценты с тех денег, что мы ему давали? — сказал Саиди, но потом сам рассмеялся — так это показалось ему невероятным.

А Мурадходжа-домла решил воспользоваться моментом, чтоб сказать Саиди об аресте Мухтархана и заронить ему в душу мысль о Мунисхон.

— Мухаммедраджаб сейчас ни гроша не даст. Я вам еще не говорил: Хайдар-хаджи хотел добиться, чтобы дети вашей сестры были объявлены наследниками Мухаммедраджаба. Но из этого ничего не вышло. Все это зависело от Мухтархана. Но есть слух, что Мухтархан арестован на афганской границе.

Саиди так и подскочил от изумления.

— Арестован! Почему? А что же мы теперь будем делать?

— Понятно, почему. Так как ни в Оше, ни в Узгене ничего не вышло, его послали в Гиссар и Куляб. Там его и взяли.

— Но его арест грозит нам чем-нибудь?

— Конечно. Но мы верим, что Мухтархан будет молчать. Плохо, что в такой горячий момент мы потеряли активного работника. Вы понимаете, какой сейчас острый момент? Проведение пятилетнего плана не может не вызвать волнений на селе и в городе. Мухтархан незаменим в такое время в кишлаках.

— А какие же могут быть в городе волнения?

— Уже и сейчас идут разговоры. По сравнению с прошлым годом, частная торговля почти задушена. Увеличены налоги. Налог съедает торговца. Разве это не рождает недовольства? Вот эти голоса недовольных по всей стране и подымут шум.

## XXII

Деньги нашлись. Дом был куплен. Кое-как отремонтировав его, Саиди переехал от Мурадходжи-домлы.

Домла настоял, чтобы купленный дом был записан

на имя Сорахон. А в комнаты, где прежде жил Саиди он пустил квартирантов.

Но к концу осени надежды домлы на прибыль от квартирантов сразу развеялись. В городе был жилищный кризис, в связи с чем вздорожала плата за комнаты в частных домах — вместо восьми рублей теперь запрашивали уже двадцать. Тогда городской совет ввел таксу для сдаваемых частниками квартир. И домла, который рассчитывал основательно пожить от своих квартирантов, думая заработать тысячи четыре в год, теперь должен был поневоле подчиниться таксе, что уменьшило его доход втрое. Не успел он пережить это огорчение, как узнал еще более страшную новость: по пятилетнему плану, на месте теперешнего галантерейного ряда будет построена большая фабрика, от нее к станции должна быть проведена широкая асфальтированная дорога. Если это осуществится, дом Мурадходжи-домлы будет снесен со всеми дворовыми постройками и садом.

Для домлы настали тяжелые дни. Он места себе не находил ни дома, ни в городе. Не помогало ни вино, ни молитвы о «ниспослании гибели тиранам». В припадке ярости он метлой так избил собственную козу, что она сдохла. «Сладкоголосый соловей» теперь беспрерывно ворчала, ругалась, проклинала все и всех, если хватало сил, дралась, а от бессилия плакала.

Настроение других членов организации было не лучше, чем у Мурадходжи-домлы.

Якубджан однажды ночью поджег чердак магазина «Узбекторг» и рассказывал об этом друзьям, торжествуя, как будто отомстил врагу. Махмуджан-эффенди стал словно не в себе: кого ни встретит, всем рассказывает, что получил письмо из комиссариата просвещения соседней республики, в котором сказано: «Вы — отец всей восточной литературы. Вы нам нужны», а он будто бы ответил: «Никуда не поеду. Пусть мой прах останется в земле моей родины». Но, когда он и на собрании организации стал повторять свой рассказ, Аббасхан грубо оборвал его, не в силах сдержать раздражения.

Между тем число членов гапа, организованного Якубджаном, выросло уже до тринадцати. Один из членов сумел организовать новый гап. Собрание группы «старших» происходило по четвергам в доме кого-нибудь из членов. В последнее время основным вопросом, обсуждавшимся на этих собраниях, было задание центра: во что бы то ни стало расширить организацию. Каждый раз обсужда-

лось, кого можно привлечь в гап, но всякий, кто брал слово, невольно отклонялся в сторону, начинал жаловаться на тяжелые обстоятельства, на притеснения властей.

Мурадходжа-домла даже рассердился:

— Вы все толкуете только о своих горестях. Не у вас одного эти трудности, весь народ страдает. Говорите же не о бедах, а как от них избавиться! Мы здесь собрались не для того, чтобы жаловаться да причитать. Каждый из нас — сторонник великой цели. А у вас только пустая болтовня!

Но и взявший слово после домлы долго рассуждая о том, какой налог платили при царе Николае садоводы, купцы, землевладельцы — и сколько платят сейчас. «Советская власть, — утверждал он, — только провозглашает, что каждый человек живет за счет своего труда, но на самом деле придерживается другой политики: труд купца она не считает трудом, а ведь ему приходится с утра до вечера сидеть в лавке — это можно сравнить только с работой шахтера в угольных копях...»

Вот так и проходили эти собрания.

Мурадходжа-домла был вконец расстроен и озабочен. Раньше нехватка жилья в городе была для него выгодна, теперь же от нее был только вред. К тому же на днях техник-землемер, ходивший по улице с нивелиром и делавший расчеты, поставил на воротах домлы красный крест. По сообщению областной газеты через два месяца будут сносить галантерейный ряд, а весной начнутся и дорожные работы. В каждом номере газеты теперь печатались материалы по благоустройству города. Мурадходжа-домла написал было статью о том, что дорога, которую собираются проложить от галантерейного ряда на станцию, «не отвечает интересам трудящихся», но газета статью эту не напечатала. Домла встречался с разными «знающими» людьми, советовался с ними, выяснял, какую компенсацию за снесенный дом и постройки выплатят ему городские власти. Больше всего ему пришелся по душе совет — увеличить состав семьи, живущей в доме, чтобы при сносе дома потребовать от казны землю для всех членов семьи. Домла решил перевести Саиди к себе обратно.

### XXIII

Осенью Саиди поспешил уехать из дома Мурадходжи-домлы, потому что, как ему казалось, ведя самостоятельную жизнь, он будет трудиться для себя, снова узнает

радость творчества, успокоится и почувствует себя счастливым. Но, переехав, он вдруг очутился в положении человека, попавшего в чужой город, заблудившегося темной ночью в его переулках и потерявшего всякую надежду выбраться на дорогу. Вместо радости творчества он узнал только горечь воспоминаний о том времени, когда будущее казалось ему светлей настоящего, когда «завтра обещало больше, чем давало сегодня». А сегодня, сейчас, когда завтра было полно опасностей, ему вдруг мучительно захотелось услышать вновь голос Мунисхон, произносившей ласково: «Рахимджан». Ему казалось, что только она одна могла утешить его, дать отдохнуть от тягот жизни, забыться от постоянного ожидания грозящей опасности. Вновь вспыхнувшее чувство к Мунисхон было только желанием отвлечься, забыться; а он по-прежнему думал, что это все та же чистая и светлая влюбленность студенческой юности, и удивился, что Мунисхон своей теперешней испорченностью не могла потушить ее.

А Мунисхон упорно не желала с ним разговаривать. Несколько раз он встречал ее на улице; пытался остановить, заговорить, но всякий раз она отворачивалась и ускользала, даже не взглянув на него. И, может быть, это больше всего угнетало Санди, отнимало у него всякое желание жить.

А потом он узнал, что Мунисхон застрелилась. Причина самоубийства была неизвестна, и Санди так и не понял, как и другие, почему она покончила с собой.

Вечером в тот день Мунисхон вместе с семьей сидела за столом, а потом вдруг спустилась в кладовую; в подвал. Тетка ее, видевшая, как она открывала дверь, крикнула ей: «Зачем ты туда, бедняжка? Там темно»; но она ничего не ответила и скрылась в подвале. А минут через пятнадцать раздался выстрел. Салимхан, как услышал выстрел, тотчас схватился за свою кобуру, которую вешал обычно на гвоздь в своей комнате: револьвера не было. Не ожидая несчастья, он даже выругался: «Вот вздумала чем играть!» — а когда спустился в подвал, увидел сестру уже мертвой. Мунисхон лежала в конце кладовки, положив голову на кучу грязного белья. В рот она почему-то засунула шелковый платок. А на своем рабочем столе Салимхан потом нашел письмо:

«До нынешнего дня мне ничего другого не оставалось, как лить слезы. Лила бы их и в будущем — всю жизнь. Я взяла карандаш, чтобы написать: «Матери, рожающие

девочек, зарывайте их заживо в землю, чтобы на том свете они не проклинали вас». Но тут я услышала смех счастливых женщин. Нет, пусть только матери, рожаящие таких, как Муниسخон, хоронят их. Мир полон счастья, только я была несчастна».

И больше ни слова. Те, кто знал об аресте Мухтархана, думали, что она застрелилась, потеряв надежду на его возвращение. Но потом стало известно, что она ничего не знала об его аресте, а если бы и узнала, то только порадовалась бы. Салимхан и его друзья объясняли все несчастным случаем: будто бы Муниسخон не знала, что револьвер заряжен, и нечаянно нажала на курок.

Пуля, погубившая Муниسخон, выбила из-под ног Саиди последнюю опору, за которую он мечтал ухватиться, чтобы сохранить жизнь. Эта пуля оборвала последнюю нить, связывающую его с прошлым, с юностью, с надеждами на счастье и славу. Теперь, думая о своем будущем, он молил: «Боже, пусть все скорее пройдет, как сон».

Саиди теперь жалел, что уехал от Мурадходжи-домлы.

Он опять впал в то состояние, какое испытал когда-то, когда предал ради Ильхама комсомольца Тешу, и стал бояться проходить через рабфаковский зал университета. Тогда ему казалось, что из всех углов глядят на него комсомольцы и каждый встречный, вся улица, весь город говорит, обращаясь к нему: «А ну, пожалуйста на собрание, вас ждут!» Он редко выходил на улицу, а возвращаясь — спешил, будто кто гнался за ним, и, входя в дом, запирал дверь на цепочку, словно спасаясь от кого-то, кто мог ворваться следом за ним. В такие минуты старый дом Мурадходжи-домлы казался ему надежным убежищем, неприступной крепостью.

— Не знаю, сколько мне еще осталось дней прожить, — сказал домла, когда Саиди пришел навестить его. — Сами понимаете, какое время настало... Человек может сохранить только то имущество, что он держит в руках. Вот с весны будут проводить дорогу — дом снесут, а земли выделяют нам столько, сколько человек живет в доме. Я теперь, может быть, оттого, что стар стал, потерял интерес к имуществу. Вот дом, вот участок, вот земля — берите все, делайте, что хотите. Что мне теперь надо? Саван да поминки для добрых людей после моих похорон, — вот и все. А теперь я признаюсь вам: еще до постройки дома я купил тринадцать танапов земли. По некоторым причинам я не хотел вам этого говорить...

Действительно, домла купил тогда землю по секрету от Саиди. И не собирался ему говорить об этом никогда.

Услышав про землю, Саиди сначала обрадовался, потом опять его охватило привычное беспокойство. Но все же он решил так: сдаст в аренду новый дом, переедет опять к домле, а после того, как свершится переворот (по мнению руководителей движения, это должно непременно случиться еще до весны), он станет жить на доход с этой земли и всецело отдастся литературе. А свои книги он сможет печатать за границей.

## XXIV

По поручению организации домла ходил к одному человеку, который лет десять назад был учителем, а теперь занимался спекуляцией, хотел «прощупать» его, но вернулся ни с чем, очень раздраженный. Он нашел Саиди во дворе: тот смотрел, как работник Астанкул с приездом чайрикером укладывали на крыше над воротами последнюю арбу привезенных с поля стеблей хлопчатника и джугары. Увидев домлу, Саиди, ни слова не говоря, направился к дому и у калитки пропустил тестя вперед.

— Ну и народ, не люди — звери! — сказал домла, входя в ичкари.

Но пока они не закрыли дверь в комнату домлы, Саиди молчал.

— Что это с вами? Отчего вы такой мрачный?

— Ничего... Ну, как ваши успехи? Поговорили с человеком? Тут без вас приходил Аббасхан...

— Так чего же вы молчите? Есть какие-нибудь новости?

— Ничего особенного...

Домла вспылил:

— Чего вы мямлите? Откуда мне знать, что у вас на уме? Что бы ни случилось — хорошее или плохое, — надо сразу сказать!

Домла так разозлился, что почти кричал на Саиди. Тогда тот сказал поспешно:

— Аббасхан заходил к Шарифу в горком и застал у него Салахиддина...

Салахиддин был тот старый учитель, которого изгнали из школы, а Якубджан устроил кассиром в редакцию газеты; теперь, когда новому редактору сообщили, кто его рекомендовал, его уволили и из редакции.



Домла несколько успокоился.

— Наверное, ходил жаловаться к Шарифу. Но в горькое с ним не станут церемониться, и он теперь разозлится. А почему вы так из-за него расстроились?

— Когда-то мы с Якубджаном пытались взять его в оборот. Я боюсь, что он мог рассказать Шарифу об этом. Как бы нам не было худо.

— Хуже того, что уже есть, не может быть. Что могут с нами сделать? Выгнать из города? Не думаю. Ну, а еще что?

— Мне показалось, что этот ваш чайрикер — хороший человек.

— Конечно, хороший. Чужого не берет, доволен тем, что у него есть, а когда нет ничего — тоже доволен. Бога боится к тому же...

— Вот я об этом и говорю. Это в нем и хорошо. Но он говорит, что на будущий год уже не будет засеивать нашу землю.

— А что же он будет делать, если не засеивать нашу землю? Куда же он денется? Или чью-то другую землю будет обрабатывать?

— Говорит, что вступит в колхоз.

— Значит, колхоз все-таки будет?

— По его словам — да.

Домла нахмурил брови и весь сморщился.

— Не люди — звери! — повторил он и вышел.

Когда через полчаса Саиди вышел во двор, он увидел домлу, который, сидя на ступеньке крыльца, уговаривал чайрикера.

— Мало ли, много ли, но эта земля вами арендована, ваша: что хотите, то и посеете. Захотите — посеете просо, захотите — мак. Эту землю вы обрабатывали сами, своим трудом. Другим землю дало государство, земля эта казенная — вот они и не боятся вступать в колхоз. Верьте мне: тот, кто привык сам распоряжаться землей, не пойдет в колхоз, хоть режь его!

Чайрикер сидел на земле, напротив домлы, и задумчиво ломал в руках какую-то палочку. Потом, сняв с головы тубетейку и выдергивая из нее разлохматившиеся нитки, заговорил:

— Господин домла, вот уж сколько лет я был вашим чайрикером. Почему же не посмотреть: что лучше — быть чайрикером или в колхозе? Говорят, баев в колхоз

не принимают, уж и это хорошо для бедняков. Говорят, Ахунбабаев сказал, что колхоз — это хорошо. А у этого человека мудрая голова на плечах. Ведь вот нас пугали земельной реформой. А он сказал: «Это хорошо». Так и вышло. И теперь, говорят, Ахунбабаев сказал: «Будете работать сообща, все вместе, на общей земле, а урожай поделите поровну». Пусть даже на первых порах решетом будут делить! Говорят, государство даст трактор, Нет, люди, которые слушаются Советскую власть, живут неплохо.

— А разве, обрабатывая мою землю, вы плохо жили? Чайрикер усмехнулся:

— Не плохо, но и не хорошо. Ни шатко — ни валко... А жизнь-то ведь проходит...

Домла не сумел ничего ответить. В гневе он поднялся и ушел в дом.

Чайрикер тоже встал и хотел что-то сказать Астанкулу, но тут заговорил Саиди:

— Напрасно вы обидели домлу, ака. Неизвестно еще — будут ли колхозы, а вы можете оказаться в положении женщины, которая, понадеявшись на любовника, осталась без мужа...

— Нет, мулла-ака, я хочу дать отставку любовнику, чтобы выйти замуж, — сказал чайрикер и засмеялся.

Саиди тоже стал смеяться, но ответ чайрикера заставил его внутренне содрогнуться. Все окружающие Саиди люди — и рядовые члены организации и ее руководители не верили в успех коллективизации, утверждали, что колхозы не удержатся в кишлаках. Но, поговорив с чайрикером, Саиди вспомнил подготовку к земельной реформе. Тогда тоже предсказывали неудачу. Мурадходжа-домла говорил, что «земельная реформа разорит кишлак». Саиди тогда поехал в кишлак и увидел там совсем другое. Хотя была зима, в кишлаке было по-весеннему оживленно, как в дни начала пахоты и сева. Люди шутили, говорили громко, смеялись — и это веселое оживление создавало радостную атмосферу, противоречившую мрачным предсказаниям. А если и теперь мысль о «провале коллективизации» окажется такой же далекой от истины?

Слова чайрикера свидетельствовали, что действительность была совсем не такой, как представляли ее себе Саиди и его друзья. Саиди захотелось отправиться в киш-

лак и самому увидеть, что происходит, но он побоялся: «А вдруг чайрикер прав?!»

Но если это так, то для Саиди, который все время тешил себя ложными надеждами, — крушение всей жизни, конец.

Однако ведь тогда, во время земельной реформы, хотя он увидел в кишлаке не то, чего ждал, это не убило в нем желания писать — напротив, стало темой его ненаписанного романа, который мог принести ему славу. А что же теперь? Теперь, если он, приехав в кишлак, увидит, что люди охотно вступают в колхоз и настроение у них радостное, рухнет его последняя надежда на землю: уйдет из рук земля, все отнимет Советская власть...

Саиди вошел в свою комнату, сел в кресло у окна и взял книгу, лежавшую на столе. Он не собирався читать: самая мысль о том, что книги пишутся для того, чтобы их читали, была ему сейчас ненавистна. Но он вспомнил, как его отец любил гадать на книге. Когда дела шли плохо, он брал книгу, листал ее и с закрытыми глазами касался указательным пальцем какой-то строки. Если палец попадал на букву «у», он радовался — это значило «успех», если ж попадалась буква «п», — огорчился, значит, будет «помеха». Саиди попытался сделать то же. Но у отца гаданье получалось сразу, а у Саиди почему-то ничего не выходило. Он подумал: «Может быть, это потому, что я, в сущности, не верю?» — и попытался гадать с искренним желанием поверить. Целый час он бился, старался угадать свою судьбу и так жаждал веры в будущее, что даже вышел во двор, чтобы совершить омовение, как все правоверные.

А в ичкари слышалась брань домлы и плач «сладкоголосого соловья».

## XXV

Через неделю из кишлака за домлой явился какой-то человек, и домла уехал с ним. Он решил передать землю, которую обрабатывал его прежний чайрикер, теперь пожелавший вступить в колхоз, кому-нибудь другому. Собирався пробыть в кишлаке дня три, а вернулся лишь на шестнадцатый день. Эти две недели его отсутствия Саиди провел в страшном беспокойстве.

Домла вернулся в таком виде, как будто путешествовал по Голодной степи: весь почернел, похудел, глаза ввалились; подбородок, обычно напоминавший вымя дойной

коровы, стал дряблым, как пузырь, из которого выпустили воздух; борода и усы отросли, на голове прибавилось седины.

Только кончиками пальцев он коснулся руки Саиди и молча ушел в дом. Саиди, который надеялся, что домла вернется радостный и довольный, сказал себе: «Ну, дело ясно!» Однако он еще пытался успокоить себя, хотел подробно расспросить домлу, но не решался пойти к нему. Наконец все же пошел. Домла сидел у себя в комнате на диване с разгневанным видом, а Сорахон плакала у окна. Саиди вошел на цыпочках и тихонько сел на стул около рабочего стола. Домла даже не взглянул на него и, обращаясь к дочери, крикнул: «Убирайся вон!»

Сорахон захныкала:

— Да что я такого сделала? Ни с того, ни с сего...

— Сколько раз я тебе говорил: не гляди в одну точку, вытаращив глаза, как корова! — сказал домла и обратился к Саиди: — Я ее о деле спрашиваю, а она вытаращила глаза и смотрит, как корова! Разве прилично?

Саиди опустил голову. Сорахон ушла, всхлипывая.

— Народ в кишлаке зверем стал! — сказал домла.

Саиди вздрогнул и сказал про себя: «Ну, значит, все!»

— Это началось еще во время земельной реформы, — сказал домла. — Шум, споры, вражда... Я знаю, у меня есть опыт... Я тогда еще говорил... Политика такая, чтобы разжигать вражду, обострять борьбу... Кучка непросвещенных людей заправляет всем... Ничего святого нет...

— Значит, колхозы будут? — спросил Саиди слабым голосом.

— Когда я приехал, только тринадцать человек подали заявления, потом за неделю было подано еще несколько. Потом некоторые забрали свои заявления обратно. Ваш Кенджа там выпускает газету. И еще этот... Салахиддин... тоже там. Шариф его сделал заведующим школой. Где бы он ни показался, всегда говорит о колхозе. А люди собираются около него, слушают. Таким агитатором стал, оратор! Со всеми он как свой. С Кенджой — друзья.

— А с землей что? Нашли нового чайрикера? Или все хотят в колхоз?

— С землей дело, кажется, устроится. Все говорят: посмотрим, как пойдут дела с колхозом. Им и хочется в колхоз, но пока побаиваются.

Вечером пришел Салимхан. Он был расстроен, еле сдерживался. Целый месяц он ездил по кишлакам. Боясь

услышать еще что-то неприятное, Саиди ушел к себе в комнату и больше не появлялся.

Салимхан прикурил новую папиросу от только что докуренной и посмотрел на домла.

— На другой день после вашего отъезда органы ГПУ забрали из тюрьмы Ибрагимова.

— Какого Ибрагимова? — спросил домла испуганно.

— Народного судью Ибрагимова. Помните: по делу Мавлянкулова...

— Ну?

— Это не просто. Если заключенного увозят из тюрьмы политические органы...

— Где Мирза Мухитдин?

— Он же Аббасом уехал в центр.

— Зачем же понадобилось политическим органам увозить из тюрьмы Ибрагимова?

— По-моему, что-то стало известно об этом деле, и через Ибрагимова надеются раскрыть многое. Вот его и взяли из тюрьмы, чтобы с ним ничего не случилось.

— В таком случае, значит...

И домла замолчал.

Кто-то постучал у входной двери. Домла посмотрел на Салимхана, Салимхан на домла.

— Кто это может быть?

Салимхан пожал плечами.

— Выйдите, посмотрите...

Домла вышел. Оказалось, пришел Якубджан.

— Вот бестолковый! — сказал домла, вводя Якубджана в комнату. — Кажется, на дверях есть кольца... зачем же так долбить в дверь?

— А что делать? — сказал Якубджан, садясь рядом с Салимханом. — Буду ли я звенеть кольцами или проломаю дверь, — все равно не сегодня завтра придется вам идти впереди четырех солдат.

Домла взглянул на него хмуро, Салимхан вспыхнул: — Ох, Якубджан, до чего же вы равнодушный, холодный человек! Как можно так говорить?

— А если у меня весть прямо с мороза, как я ее согрею?

— Что еще случилось?

— Мирза Мухитдин и Аббасхан арестованы. Приехал человек из центра!

Домла вскрикнул и ухватился за Якубджана со словами: «Спаси нас бог!»

Салимхан побледнел и прислонился к стене.

Саиди об этом ничего не знал, он в тот день больше не видел домлу. Утром за чаем старуха сказала, что домла поздно ночью куда-то уехал ночным поездом. Саиди хотел было приняться за давно заброшенные переводы, ушел к себе, но, увидев на столе бумаги, вдруг почувствовал себя бесконечно усталым, совершенно неспособным к какой-то умственной работе. Он сел у окна в кресло и закурил. Ему было трудно не только работать, но даже поднять руку, чтобы стряхнуть пепел с папиросы.

Закинув голову назад и глядя в потолок, он старался ни о чем не думать. Но тут же явилась мысль: как сделать так, чтоб не думать, не думать ни о чем. А за ней нахлынули другие мысли, и все перепуталось у него в голове. В ушах зазвенело. И в путанице мыслей он вдруг ясно услышал прочитанные когда-то строки:

Мы пьем из чаши бытия...

С открытыми глазами...

Златые омочив края...

Своими же слезами...

Саиди вскочил и стал искать книгу, в которой он это прочел, вспомнил, нашел книгу, прочел все стихотворение, — оно было очень коротким. Он стал искать другие стихи, по названиям стараясь определить их содержание. Но даже перелистывать книгу ему было сейчас трудно. «Господи, — сказал он, бросая книгу, — откуда люди берут столько слов, чтобы написать все это!»

Вошла Сорахон. Ей показалось, что Саиди заболел.

— Что случилось? — спросила она, равнодушно жуя что-то.

После долгого молчания Саиди сказал:

— Кажется, я устал жить...

— Отчего же вы так устали? Вы ведь ничего не делаете... Ну, ладно уж, ложитесь, отдыхайте...

Саиди знал, что Сорахон не поймет его, но ему лень было объяснить ей другими, более доступными для ее понимания словами.

Сорахон, продолжая жевать, что-то поискала в комнате и ушла.

Весь этот день Саиди провалялся в постели в подавленном состоянии. Утром, проснувшись, долго лежал с закрытыми глазами. А когда открыл глаза, увидел на

тумбочке у кровати свою тюбетейку, и у него было странное ощущение, словно он увидел одежду только что умершего человека. И такое чувство вызывало у Санди все, начиная с вещей в доме и кончая дувалом, окружающим сад. Это чувство росло и крепло, и порой Санди начинал даже сомневаться: жив ли он.

Случайно он забрел к сестре, которая уже с осени не вставала с постели. Ноги у нее отнялись совсем, когда началось несчастье. Увидев брата, который давно не заходил к ней, она заплакала.

— Что же мне делать, Рахимджан, если уж бог меня создал такой несчастной... Никуда я не похужу... скажи невестке — пусть согреет мне отрубей... Когда же бог заберет меня?

— Ладно, она согреет тебе отрубей. Не умирай. Пусть ноги твои поправятся. Гуляй себе по этой несчастной земле... Пусть в мире прольется еще одна чаша слез...

Сестра не вслушивалась в его слова и не поняла их. А Санди, едва выйдя от сестры, забыл про ее просьбу, ушел в сад и долго ходил там, несмотря на снег и мороз. Когда он, наконец, остановился, опомнившись, то увидел, что стоит, прижавшись к дереву, у которого обрублена верхушка. Шел снег, падал крупными хлопьями.

Санди теперь еще больше избегал людей и разговаривал вслух сам с собой. Теща решила, что он сходит с ума. Мурадходжа-домла, вернувшийся через несколько дней, поговорив с Санди, согласился с женой. «Это у него наследственное, — сказал домла, — отец его тоже сошел с ума и повесился». Впрочем, домле было не до него. Беседовать с Санди у него не было ни желания, ни времени.

## XXVII

Все казалось теперь теще странным в Санди: как он дышит, как глотает чай, как смотрит. С каждым днем с ним было все труднее, и старуха боялась, что он натворит что-нибудь, изувечит ее дочь. Своими опасениями она поделилась с домлой, сильно их преувеличив. Домла начал хлопотать, чтобы поместить Санди в больницу.

Дня через два пришла к ним русская женщина с портфелем в руках. Домла подумал, что это — врач, встретил ее почтительно и стал объяснять, что у зятя, очевидно, наследственная болезнь.

— У него отец был душевнобольным и мать — тоже.

Теперь и он сам становится таким... — говорил он, провожая женщину в дом. — Каждый день моей кызымке маклаш дает...

Женщина не поняла его, вынула из портфеля какую-то бумагу, показала домле и что-то стала объяснять. Из ее слов домла понял только «Тупа» и «деньги» и удивился.

— Тупа нет, — сказал он, стараясь жестами пояснить свои слова. — Тупа ушла. Это Рахимджан Саиди больной... Ему двадцать шесть лет.

Они никак не могли понять друг друга. Тогда женщина попыталась объяснить по-узбекски:

— Тупу знаешь?

— Да, знаю. Она ушла от нас. Не она душевнобольная.

— Деньги за нее даешь?

Домла вытаращил глаза.

— Э, зачем деньги? Какие деньги? — сказал он и закричал: — Сорахон, позови Рахимджана!

Саиди вышел вялый, сонный и присел у двери.

— Узнайте, кто она и что ей нужно? — сказал домла.

Женщина показала Саиди бумагу и объяснила:

— Этот человек семь лет держал работницу по имени Тупа и ничего ей не платил. Я пришла выяснять это...

С тех пор как Тупу увезли в больницу, никто в доме даже не вспоминал о ней, считали, что она уже умерла. Саиди удивился:

— А где же она теперь?

— У нас. Работает в артели...

— Ну что, в чем дело? — спросил домла, у которого уже испортилось настроение.

— Тупа требует от вас плату за работу в вашем доме — за все семь лет. Прислала вот эту женщину.

— Э-э, какая может быть плата? Семь лет мы ее содержали, давали ей приют, чтобы бедняжка не была бездомной бродягой, оказывали ей милосердие... Объясните это...

Саиди поговорил с женщиной и сказал домле:

— Очень трудно это объяснить: Непонятно...

Домла сказал, подумав:

— Ну, а если она и работала, так ведь мы ее кормили, одевали. Когда она заболела, работать не могла, мы ее все-таки кормили. Она толком и делать-то ничего не умела... А сколько же ей причитается?

— По подсчетам этой женщины выходит: тысяча



двести шестьдесят рублей. И сюда еще не входят другие расходы, например, сто пятьдесят рублей на социальное страхование...

Домла посмотрел на женщину и сказал Саиди:

— Как же так, Рахимджан? Ведь это значит, тысячи полторы? А что если попробовать откупиться от нее? Ну-ка намеки ей... Сколько она возьмет с нас, чтобы потушить это дело?

Когда Саиди перевел слова домлы, женщина молча встала и ушла. Саиди тоже поплелся к себе. Оставшись один, домла лихорадочно стал придумывать новый план: он заплатит Тупе за два года, а все остальное свалит на Саиди, скажет: «Когда Саиди поселился у нас, Тупа работала на него. Он заставил ее работать на него». Если даже дело дойдет до суда, Саиди нельзя судить — он душевнобольной. Успокоив себя таким образом, домла ушел вечером на очередное собрание гапа.

Саиди, как обычно в последнее время, сидел у себя в комнате в кресле. Вошла теща. Саиди не хотелось никого видеть, и присутствие старухи вызывало в нем странную боль во всем теле.

— Интересно, зачем приходила эта женщина? — спросила старуха. — Домла мне не сказал. Я хотела его спросить, но он был так сердит, и я побоялась...

Саиди хотел поскорее от нее отделаться.

— Она должна домле деньги и пришла сказать, что не может сейчас вернуть долг.

Старуха успокоилась и, постояв немного у окна, сказала:

— Вьюга разыгралась... На крыше сорвало лист железа — так и гремит... Если б что-нибудь тяжелое положить...

Она подождала ответа, но Саиди молчал, и она, проворчав что-то, ушла, хлопнув дверью. Саиди вздохнул с облегчением, как будто у него из глаз выпала песчинка, мешавшая ему видеть. «О, глупая женщина, — сказал он, откинувшись на спинку кресла и закрыв глаза. — О чем беспокоишься? О том, что ветер сорвал железо с кровли? Какое это имеет значение, когда вьюга бушует по всей земле, когда ветер времени стучит во все дома и рвет все мечты и надежды?.. Оставь меня, я живу не для того, чтобы чинить крыши... Я не знаю, зачем я пришел в этот мир, и хочу только поскорее покинуть его».

Вдруг глаза у него раскрылись, ему стало ясно, что делать. Он и раньше не раз думал о самоубийстве, но

всегда два чувства боролись в нем — одно поддерживало эту мысль, другое говорило: «Ты еще так молод, ты только взял в руки чашу жизни, еще не вкусил всей сладости ее, зачем спешить?» Но сейчас это второе чувство молчало.

Сердце его вдруг забилося сильно. Он встал, зажег свет, походил по комнате, снова сел, закрыл глаза. И в душе его звучали слова: «Вот ты долго держал в руках чашу жизни, жадно пил из нее, и чем больше пил, тем больше чувствовал горечь. Довольно! На ярмарке жизни ты пытался добыть себе счастье дорогой ценой и прогорел. Теперь возвращайся, пока не поздно... Опоздаешь — тебя выгонят, как собаку. И чего тебе ждать? Какая разница — выпьешь ты еще глоток вина или сотню бутылок? Что найдется в мире такого, ради чего стоило бы прожить еще лишних три дня?! А если так, что же ты сидишь? Вставай, беги скорее!»

Он широко раскрыл глаза и увидел висевшее напротив зеркало в золоченой раме. Оно показалось ему необычайно красивым: вещь, о которой можно мечтать. Саиди тихо встал, взял со стола хрустальную вазу для цветов и движением, каким вонзают нож в сердце смертельного врага, ударил ею в самую середину зеркала. Зеркало разбилось, со звоном посыпались осколки, куски зеркального стекла повисли в золоченой раме.

Саиди вышел во двор. Вьюга бесилась снаружи, и непонятно было — летит ли снег сверху или снежные вихри поднимаются с земли, залепляя глаза, мешая видеть. Спускаясь с лестницы, Саиди поскользнулся и упал, а когда, поднимаясь, схватился за железные перила, почувствовал ледяной ожог, рука прилипла к железу. С трудом оторвал он руку и по колено в снегу стал пробираться к воротам. Окно подвала, где лежала его сестра, слабо светилось, и Саиди, увидев этот свет, вспомнил, как она все время надеялась поправиться, хотела жить, — и это ее желание жить вызвало в нем теперь злость и ужас. Он готов был сейчас задушить ее, сломать ей большие ноги.

Где-то открылась дверь. Саиди заторопился и выбежал на улицу. На улице — тьма, не видно ни души. При каждом порыве ветра снежный вихрь подымался с земли и мешал идти. С трудом двигаясь, словно под водой, Саиди добрался до перекрестка. Он догадался, что это был перекресток, увидев освещенное окно магазина на углу. Высокое окно светилось ярко и освещало тротуар

пéред ним и снег, кружившийся под ветром. Саиди перешел на другую сторону улицы и зашагал прочь от дома. от городских улиц. Он прошел почти два километра и очутился за городом на дороге к большому кладбищу. За кладбищем проходила железнодорожная линия. Падая и скользя, он обошел кладбище и вышел к железной дороге. Метрах в пятидесяти от линии шла дренажная канава, вырытая под насыпью. Саиди по пояс провалился в засыпанную снегом канаву. С большим трудом выбрался он из нее и шел дальше, падал и полз, зорко вглядываясь в темноту. Вдруг он увидел сложенные штабелем шпалы. Значит, железная дорога была рядом. Саиди вытащил две шпалы, сел на них и стал ждать поезда.

Долго ли ему пришлось ждать — он не знал. Вдруг вдали в темноте появилось светлое пятно. С каждой минутой оно становилось отчетливей и ярче.

Поезд!

Саиди встал и приготовился лечь на рельсы. Но в его воображении вмиг предстали светлые теплые купе вагонов, оживленно беседующие или мирно спящие пассажиры, в полутемных коридорах влюбленные, прильнувшие друг к другу, — и сердце его вдруг наполнилось жгучей звериной ненавистью. Эта дикая ненависть придала ему силы.

Поезд приближался. Саиди несколько раз мотнул головой в его сторону, как петух, примеривающийся, куда клюнуть соперника, схватил две шпалы и положил их на рельсы; торопясь, как будто его подстерегала смертельная опасность, взял еще одну шпалу и с силой бросил ее поперек пути.

Поезд надвигался стремительно. Саиди сошел с пути и бросился снова к штабелю шпал, взял еще одну, но в это время словно треснуло небо и упало на землю, раздавив все под собой. Земля задрожала, и Саиди со шпалой упал. Внезапно все стихло, и тишина эта была страшнее грохота. Саиди пополз прочь и укрылся в кустарнике. Что-то вдруг блеснуло и осветило на мгновение все вокруг. Саиди взглянул сквозь ветки кустарника, и ему показалось, что он увидел разбитую грудку досок и кровь на снегу, от которой шел пар. И опять все погрузилось в темноту.

И как ненависть только что придала ему физическую силу, так теперь эта картина крушения, вид крови вернули ему силы душевные. Призывавший смерть, он те-

перь жаждал жизни. «Пусть сломан твой меч, но щит твой цел! Ты еще сможешь что-то сделать...»

Вдруг из тишины раздалось блеяние овец, рев быков, мычание коров. Звуки шли как из-под земли, и Саиди в отчаянии понял, что то был товарный поезд, на котором везли на бойню скот.

Прошло довольно много времени, послышались людские голоса, возле свалившегося набок паровоза блеснул свет фонаря. Саиди испугался, выскочил из кустарника и побежал в ту сторону, откуда пришел поезд. Навстречу ему дул сильный ветер, в лицо бил густой снег, мешая идти, и Саиди двигался как во сне: из последних сил он пробежал метров двести и упал, пытался встать и не мог.

Ноги его одеревенели, он их не чувствовал больше. Он попытался ползти, но каждый порыв ветра заносил его снегом, и лишь с невероятным трудом он выползал из снежного сугроба.

Он полз и полз, пока не почувствовал, что у него онемели и руки, он больше не мог двигаться. И снег стал засыпать его. В последний раз Саиди рывком поднял голову, широко раскрыл глаза, посмотрел вокруг. В нескольких шагах от него горел костер. Мир, который еще несколько минут назад, казалось, весь состоял из ветра, снега и тьмы, вдруг исчез, остался лишь этот громадный, яркий, все разгоравшийся костер. Пламя его колебалось. Саиди потянулся к костру. Ветер снова повалил его и засыпал снегом. А костер не исчезал — ярко горящий, далеко рассыпавший искры! Но этот костер был только видением, ярким миражом, как и все в его жизни: любовь к Мунисхон, слава писателя, прекрасный дворец в долине и зеленое знамя, развевающееся над миром, — все это был мираж. Саиди чувствовал, что его замело снегом, что ледяной, сковавший все тело холод подступает уже к голове. Но он еще услышал мощный гудок паровоза, подходившего со стороны города, и потерял сознание.

1930—1934

# АБДУЛЛА КАХХАР

## ОГНИ КОШЧИНАРА

Авторизованный перевод  
А. САДОВСКОГО и С. МАЛАШКИНА



### 1

— Как волка ни корми, он все в лес глядит, — запирая кладовую на замок, ворчала старуха. — Зажирел от хорошей жизни, вот и бесится. Видно, соскучился по ровному халату и веревочному поясу, в лохмотьях ходить захотел.

Сидыкджан не раз слышал такие слова от тещи, но никогда не возражал ей, будто они отоспились не к нему, а к кому-то другому. Сегодня он не выдержал и ответил теще едко, насмешливо:

— От остатков еды ненасытного, мать, не очень-то разжиреешь.

Старуха разозлилась. Подняв с земли корзину с хлопковым волокном и прялку, вынесенные ею из кладовой, она пошла в свою комнату, сердито ворча.

На террасе сидела жена Сидыкджана и кормила ребенка. Она молча слушала перепалку мужа с матерью. Но когда Сидыкджан встал и направился к калитке, на улицу, она остановила его:

— Пойдите! Сначала решайте, потом уходите.

Сидыкджан остановился, посмотрел на жену. Поблуднев от волнения, она вскочила, положила ребенка в люльку и начала сильно, рывками качать его.

— Что ты сказала? «Решайте, потом уходите»? Я же никуда не собирался уходить. Если хочешь, чтобы я ушел, так говори прямо. Ничего у меня нет в этом доме, кроме вот этого ребенка. Да и он наполовину твой... Хочешь, чтобы я ушел?

— Откажитесь от своего намерения. Не откажетесь — уходите!

— Я же говорил тебе, что и отец твой согласен. Не веришь — спроси у него.

— Отец пусть как хочет, а я не согласна!

Сидыкджан махнул рукой и, не сказав больше ни слова, вышел на улицу.

А в доме старуха все ворчала, ругая непокорного зятя, потом принялась за дочь:

— Лучше бы тебе, сука, сдохнуть, чем приласкать бродячего пса. Он отгрызет тебе голову. Добро бы только твою одну...

Дочь, не отвечая, вся сжалась, тихо и горько заплакала. Она не в первый раз слышала такие слова от матери; они, как острый нож, кололи, вопзаясь в самое сердце. Но ничего не ответила она в эту горькую минуту. Она вынуждена была держать язык за зубами. Задумавшись и роняя слезы, она вспоминала свою великую вину перед родителями, которая заставляла ее безмолвно сносить все обиды.

Было это несколько лет назад, весной... Наседка сидела на яйцах в кладовке и вдруг закудаhtала, вылетела во двор, как очумелая, и порхнула на ту сторону дувала — в сад Сабирджана-кары. Девушка перелезла в соседский сад и погналась за наседкой. Но курица забралась в густые заросли шиповника на берегу большого арыка и притаилась. Девушка долго, но тщетно старалась выманить ее из зарослей и только измучилась: поколола и поцарапала о колючки руки и ноги, порвала подол шелкового платья. В то самое время Сидыкджан, батрак Сабирджана-кары, раскрывал на другом берегу арыка инжировые деревья и украдкой наблюдал за девушкой. Сидыкджан заговорил с ней. Она отмалчивалась, боясь отца: вдруг отец узнает, что она не только была в соседском саду, но и разговаривала с Сидыкджаном? Отец был очень строг и частенько учил дочь плеткой. И все же девушка скоро позабыла и строгого отца и наседку, притаившуюся под шиповником. Она не пашла суровых слов, чтобы сразу оттолкнуть от себя озорника, и он все смелее заигрывал с ней, а она только тихо бормотала: «Какой вы пехороший».

С того дня Сидыкджан, работая в саду, весело напевал. Девушка невольно прислушивалась к его голосу, и он волновал ее, пробуждая в ней мечты, непонятные и смутные. Они росли с каждым днем все больше и боль-



ше, радуя и в тоже время пугая ее. И, забегая в соседский сад, она уже не думала ни о чем; ей пришлось встречаться с опасностью и вовремя убежать от нее. В течение весны и лета, по своему ли желанию или потому, что Сидыкджан «никак не отставал», девушка побывала еще несколько раз в соседском саду. Осенью ей стало ясно, к чему привели шутки и заигрывания с Сидыкджаном. В тот самый день пришли сваты из одного богатого дома. Девушка мысленно представила себе все, что должно было неизбежно разыграться на другой день после свадьбы, и ее охватил смертельный страх. Она повалилась в ноги тетке, сестре отца, и призналась ей во всем.

Старуха едва не потеряла сознание. А девушка до позднего вечера просидела в чулане. Покорившись своей горькой судьбе, она, как приговоренная к казни, ожидала возвращения отца и распухшими от слез глазами изредка поглядывала через щелку на улицу. Вечером вернулся отец. В доме установилась страшная тишина. Потом послышались плач и ругань матери, сердитое покашливание отца. И снова стало тихо. Тишина, как петля палача, душила девушку. Так прошло довольно много времени. Девушка с ужасом ждала, когда ее позовут к отцу. Наконец шумно, со скрипом распахнулась дверь чулана и на пороге показалась тетка. Она дрожащим голосом прошептала:

— Шарафат, доченька, идем, отец простил тебя.

Шарафат посмотрела на тетку большими блестящими глазами, но не двинулась с места: то ли она не поняла, то ли не поверила. Разве отец простит?.. Видя, что Шарафат все еще не верит ей, тетка подошла к ней и, взяв за руку, шепнула:

— Идем, услышишь своими ушами.

Сведя племянницу вниз на террасу, она кивнула головой в сторону открытого окна. Шарафат на цыпочках подошла к окну и опустилась на корточки, чтобы заглянуть в комнату. Там сидели родители. Мать плакала и сморкалась, а отец раздраженным голосом говорил:

— Не тебе учить меня уму-разуму. У меня хватало его раньше, хватит и на будущее. Все богатства, земля и вода приобретены мною не руками, а умом. Сидыкджан — пищий, без роду, без племени? Верно. Но что будешь делать, если сейчас время такое и все у них, у

вищих, в руках. Сама видишь, что они только вчера встали на ноги, а сегодня уже наступают нам на грудь, завтра наступят на горло. Так-то вот. Хочешь жить? Если хочешь, так постарайся избежать смерти.— И он, подумав, добавил:— Если время твое ушло, живи чужим временем и... приспособляйся к нему!

На следующий день рано утром мать послала к сватам надежного человека сообщить, что дочь Зуннуна-ходжи не желает, мол, выходить за их сына, что у нее имеется свой избранник, а насильно выдавать за нелюбимого новые законы не позволяют. Сам Зуннуна-ходжа с важностью заявил: «Мне давно хотелось породниться с человеком, кости которого окрепли в труде, и я очень рад, что моя дочь почувствовала склонность к батраку Сидыкджану, а не к кому-нибудь другому». И в доме сразу начались хлопоты и приготовления к свадьбе.

Сидыкджан вошел в дом Зуннуна-ходжи. Но мать девушки никак не могла примириться с этим браком. Она постоянно попрекала дочь, говорила, что та опозорила весь род, выйдя за нищего, за батрака. Однако начавшаяся вскоре земельная реформа оправдала надежды Зуннуна-ходжи. Шарафат осмелела и стала резко отвечать на постоянную воркотню матери.

— Если бы не Сидыкджан, у отца отобрали бы рисовые поля, что в урочище Тарнау-баша,— как-то сказала она.

Слова дочери поразили старуху, и она, стараясь позабыть о прошлом зятя, примирилась с тем, что произошло: «всякое дело от аллаха». Главой семьи был по-прежнему Зуннуна-ходжа, хозяйством же зорко и крепко управляла старуха. А зять Сидыкджан работал, как вол.

Давно уже облетели цветы его любви к жепе. Поселившись в доме ее родителей, он вскоре понял, что она зла и легкомысленна. Замуж вышла за него по несчастью, и даже рождение ребенка не смягчило ее характера. Сидыкджан старался не обращать внимания на ее капризы.

Так тихо и спокойно шло время. Но спокойствие это кончилось: вот уже шесть месяцев идут в доме споры и распри. Нарушительницей мира, по мнению матери Шарафат, была мать Сидыкджана, Хадича-хола.

Всю жизнь Хадича-хола прожила в большой бедности. Как все люди ее положения, она быстро состарилась, но не поддавалась старости, была еще крenkой и бодрой. Сидыкджан подростком ушел из родного дома в кишлак Бахрабад и стал батрачить у Сабирджана-кары. А мать с младшим сыном Абиджаном остались там, предпочитая лучше жить в бедности, чем слушать попреки за каждый кусок хлеба. Она часто навещала старшего сына, но, когда он стал зятем богача, почувствовала себя курицей, высидевшей утенка. В доме Зунпуна-ходжи она бывала очень редко, не более одного-двух раз в год.

Прошло полгода с того дня, как Хадича-хола в последний раз приходила к сыну. Она пробыла у него целый день и вышла в обратный путь на закате солнца. Сидыкджан немного проводил ее, а когда вернулся домой, его охватила тоска. Он представил себе проселочную дорогу, темнеющее небо, одиноко и печально идущую мать. Почему он не отвез ее на лошади? Или не предложил ей остаться переночевать у него? Ведь она пришла издалека и только для того, чтобы повидать его. От этих мыслей у Сидыкджана запыло сердце. Он вышел во двор, вывел из конюшни коня, быстро оседлал его и, не обращая внимания на сердитый окрик тещи «куда?», выехал за ворота и поскакал. Догнав одиноко бредущую мать, Сидыкджан посадил ее на коня позади себя и повез в Бахрабад.

Когда он, передохнув немного с дороги, собрался в обратный путь, зашел Урмаджан.

Отец Урмаджана — Али-ака был самым близким другом отца Сидыкджана. Оба они уже умерли, а их семьи еще больше сблизились; Сидыкджан и Урмаджан росли вместе, как братья.

После земельной реформы бывшие батраки организовали сельскохозяйственную артель и выбрали Урмаджана председателем. Урмаджан все время звал Сидыкджана в свой колхоз в Бахрабаде: говорил с ним по-хорошему, дружески, а иной раз, видя, что его слова не доходили до сознания Сидыкджана, повышал голос и даже бранил его. Но из этого ничего не получа-

лось: Сидыкджан словно прирос к хозяйству тестя, так сильна была его покорность; воспитанная в нем с юных лет. В конце концов Урманджан охладел к другу. Редко теперь встречаясь с ним, он держался подчеркнуто холодно. И на этот раз, неожиданно увидев Сидыкджана, Урманджан угрюмо сказал:

— Считать тебя богачом не могу — нет у тебя даже лишней рубахи; считать нищим тоже нельзя — не ходишь с сумой, не побираешься.

Приняв это за дружескую шутку, Сидыкджан добродушно засмеялся. Но его смех рассердил Урманджана.

— Чего смеешься? Над собой смеешься-то, — сказал он тихо, но таким тоном, словно ударил плетью. — Да, да, посмейся над своей глупостью, — разум твой давно лежит в сундуке Зуннуна-ходжи и совсем заплесневел. Ну, чего вытаращил глаза? Сколько-нибудь ты умом соображаешь? В кишлак новая жизнь пришла, а ты ее не видишь. Строятся колхозы, идет борьба с кулаками, кровь льется. А во имя чего? Не знаешь. Не знаешь и того, что сделали, что делают твои товарищи — батраки и бедняки. Открой пошире глаза и посмотри вокруг. Спроси себя — почему оторвался от своих? Неужели ты, Сидыкджан, не знаешь, что, кто оторвался от своего стада, попадает в пасть волка? Ведь здесь, в нашем кишлаке, прежние твои товарищи считают тебя кулацким прихлебателем, они стыдятся назвать тебя своим земляком!

Сердце Урманджана, видно, давно было переполнено гневом. Он долго носил его в себе и вот теперь не стерпел, обрушился на бывшего друга.

Сидыкджан сидел, низко опустив голову, готовый провалиться сквозь землю, и молча слушал жестокие, но глубоко справедливые слова.

Урманджан ушел только в полночь. Сидыкджан остался почевать у матери. Остаток ночи он провел без сна — одолевали тревожные мысли. Сидыкджан вспомнил всю свою жизнь — батрачество у Сабирджана-кары, жизнь в доме богатого тестя и пришел к выводу, что остался в том же униженном положении, в каком был и у Сабирджана-кары. Потом он сравнил себя с другим своим приятелем, бедняком Хайдаром. Когда-то они вместе батрачили у Сабирджана-кары, переживали

горе и радость. В день свадьбы Сидыкджана Хайдар постеснялся войти в дом, сидел вместе с оборванными мальчишками и пищими во дворе и ел плов. Теперь Хайдар — секретарь сельсовета. Он приходит на свадьбы и поминки, как первый человек в кишлаке, садится на почетное место рядом со стариками и должностными лицами. И все зовут его не иначе как Хайдар Усманиев, товарищ Усманиев.

Почему же он, Сидыкджан, не присматривался к тому, что произошло и происходит в родном кишлаке и в других? Значит, и вправду, его разум, как сказал Урманджан, заплесневел в сундуке Зуннуна-ходжи?

После долгих размышлений Сидыкджан решил вступить в колхоз.

О своем решении он сказал Зунну-ходже. Тот подумал и ответил:

— Вы мне и зять и сын. Что вам по душе, то и делайте.

Вот это-то и послужило причиной раздора в семье. Старуха теща снова пустила в ход свой острый и злой язык, снова начала попрекать зятя его бедностью, кляня заодно и дочь за необдуманный поступок.

Получив согласие Зуннуна-ходжи, Сидыкджан не обращал внимания на ворчание тещи. Но сегодня, когда жена потребовала, чтобы он отказался от своего намерения, Сидыкджан пришел к мысли, что надо действовать решительно — мать и дочь должны сами услышать согласие Зуннуна-ходжи.

### 3

Позже, когда вся семья была в сборе, позеленевшая от гнева старуха бросила на середину ковра три связки купчих крепостей, оставшихся от семи поколений.

— На этих бумагах печати муллы Шарафутдина и судьи Мулладжана! — сказала она шипящим голосом. — Исполком, чтобы ему не дожить до старости, не признал эти бумаги, отобрал у нас землю на Какыре. И кто ею пользуется? Добро бы хозяева, а то — батраки, колхозники!.. А теперь и стальную хотят отобрать! Нам не Советская власть эту землю дала, мы ее в наслед-

ство получили! Какое они имеют право раздавать нашу землю кому попало?

Сидыкджан нахмурился и глянул исподлобья на Зуннуна-ходжу. Тот поднял руку, почесал морщинистый лоб и, поглядывая на ласточкино гнездо, крепко и ладно прилепленное к потолку террасы, промолвил:

— Не говори, жена, глухих слов. Почему земля должна быть в твоей воле? Она отведена Сидыкджану.захочет он обработать ее сам — будет обрабатывать. Не захочет — отдаст властям.

— Кого бог хочет наказать, того он лишает разума! — торопливо собирая с ковра бумаги, отрезала старуха. — Как это человек решается стать врагом самому себе?

— Что вы такое говорите? — возразил Сидыкджан, стараясь быть, по возможности, вежливым. — Вы подумайте, о чем говорите!

— Я-то думаю, а вот вы... нет; если бы вы эту землю нажили своим трудом, не так бы говорили.

Сидыкджан бросил взгляд на Зуннуна-ходжу. «Да скажите вы ей!» — говорил этот взгляд. Зуннун-ходжа выпрямился и, желая показать, что слова старухи он не ставит ни во что, нарочно зевнул, откашлялся и сказал:

— Жена, чего ты волнуешься? Чуть только скажут «колхоз», как у тебя уже разрывается сердце. В колхоз никого силком не тянут. Кто хочет, вступает в него, а кто не хочет, тот не вступает и ходит себе, заломив тубетейку. Так ведь, Сидыкджан?

— Никто, конечно, на мою шею аркан не пакидывает. Вступает в колхоз тот, кто понимает, что к чему, и кто не понимает и прислушивается к словам разных «элементов», тот не вступает.

Сидыкджан ввернул в свою речь словечко «элемент» только для того, чтобы укоротить злой язык тещи и в то же время поддержать старика, который, как он заметил, говорил несвязно, не находя нужных слов. Однако, вопреки ожиданиям Сидыкджана, Зуннун-ходжа нахмурился, отвернулся от него и холодно возразил:

— Раз в колхоз вступают по желанию, как можно называть «элементами» тех, кто не вступает в него? — Но он тут же повернулся к жене и прикрикнул на

нее:— Есть у тебя голова или нет? Если Сидыкджан вступит в колхоз, земля станет общей!

Собрав бумаги и держа их крепко в руке, старуха направилась в свою комнату, зло причитая:

— О аллах, что за время настало! Что это за человек, который отказывается от своего добра? Да он собственную жену загонит в этот колхоз, чтобы все ею пользовались!

Сидыкджан изменился в лице.

— Мать,— сказал он с дрожью в голосе,— сами будете виноваты, если услышат ваши слова. Я не торгую своей женой. На сводничество только вы способны. Да, да, вы! Кто сказал Иномджану: «Постарайся понравиться моей дочери, я разведу ее с мужем и выдам за тебя!»

— Это какой такой Иномджан?— остановившись, спросила старуха.— Я не знаю такого!

— Не знаете? Сын вашего дяди!

— А если и сказала,— угрюмо проговорила старуха,— что ж в этом такого?.. И правильно сказала!— вдруг завопила она, хлопая себя по бедрам.— Для такого человека, который ничего не приносит в дом, а хочет отнять мою землю, нет у меня дочери! Вот!

Зунун-ходжа побагровел от злости и, делая вид, что поддерживает Сидыкджана, сорвал с ноги кауш и швырнул им в старуху. Та увернулась. Дочь хотела что-то сказать, но не успела: Зунун-ходжа залепил ей пощечину, и она поперхнулась на полуслове. Старик обернулся к зятю и, остановив на нем налитые кровью глаза, в которых то и дело вспыхивали злые огоньки, мягко сказал:

— Я думаю, Сидыкджан, что и вы могли бы быть более осторожны и почтительны в разговоре с матерью своей жены. Старых надо уважать. Я дал вам дом, приютил вас. Сажаю за стол с собою... А вы... Подумайте, как вы нехорошо поступили, обзвав мать и меня сводниками. Говорила ваша мать с Иномджаном или не говорила, забудьте это. Положим, у нее и сорвалось с языка что-нибудь лишнее, но это слова старой женщины, у которой голова седая и ум уже не в порядке. А если не говорила, тогда что? Если это совет какого-нибудь нашего врага? Как только повернулся у нас язык?

— Вас я не называл сводником,— волнуясь, сказал Сидыкджан.

— Это все равно! Раз вы оскорбили мать, значит, оскорбили и отца. Как повернулся у вас язык оскорбить меня за глупые слова старой женщины? Я знаю, человек в гневе может всякое наговорить, и на это обижаться не следует. Я и не обижаюсь. Если кто печально укусил свой язык, то не вырывать же ему зубы. Так-то вот. Скажу одно: я согласен на ваше вступление в колхоз, но ваша жена и ее мать не согласны. Если бы они были согласны, то все было бы хорошо, но раз они против, не стоит и затевать это дело. Поймите, сын мой, оно поведет лишь к раздорам в семье!

— Вот что, отец, я скажу вам: теперь не время для попреков. Я не забываю, что вы меня приютили. Понимаю, что я должен быть почтителен с вами. Но каждому из нас надо иметь совесть, и это, пожалуй, самое главное!— проговорил взволнованно Сидыкджан.

— Ну, ну?

— Не надо придираться к словам. Не знаю, возможно, и эти мои слова не понравятся вам... Но я решил вступить в колхоз, и мое решение, как я чувствую, и есть причина раздора.

— Это, пожалуй, верно. Тогда зачем вам вступать в колхоз? Не вступайте.

Сидыкджан помолчал, потом тихо и задумчиво произнес вспоминаясь ему откровенные и глубокие по мысли слова, сказанные недавно Урманджаном:

— Человек рождается на свет не для того, чтобы жиреть, как свинья, и плодиться, как вошь.

Зуннун-ходжа вздрогнул и бросил недоуменный взгляд на зятя.

— Что вы хотите этим сказать?

— То, что я человек!

— А кто говорит, что вы не человек?

— Все мои друзья, которые давно отвернулись от меня. Все, у кого есть разум.

— Мы считали вас человеком. Значит, мы были неразумны?

— Кто говорит? Всем известно, что вы умны. Но я вот что хочу сказать: на осла нельзя садиться без седла — упадешь. Вот вы пазываете меня человеком, а сами пакидываете на меня потник с седлом.

Зуннун-ходжа громко рассмеялся.



— Понимаю, сын. Выходит: я угнетатель-бай, а вы — мой батрак?

— У батрака не бывает земли. Вы же сказали, что земля отведена Сидыкджану.

— Верно. А то кому же?

— Мне. Вот только поэтому вы и называете меня человеком.

— Если я говорю, что земля ваша, этим я, значит, лакидываю на вас потник?

— Нет, сначала вы накинули на меня потник, а потом уже сказали, что этот потник принадлежит мне.

Зуннун-ходжа выкатил глаза на зятя, снова побагровел, но все же, хотя и с трудом, выдавил из себя улыбку.

— Вижу, что вас хорошо научили грамоте ваши учителя.

— У меня их пет, но есть глаза, вот они и учат.

Зуннун-ходжа поскривился и снова заговорил о колхозе:

— Такой разговор, Сидыкджан, вам не к лицу... Оставим его. На ваше вступление в колхоз, раз оно вызывает такие целады в семье, и я не дам согласия.

Сидыкджан молчал, он не знал, как и какими словами ответить Зуннуну-ходже, а ответить надо было так, чтобы старик понял, что его решение бесповоротно. Действительно, Зуннун-ходжа, видя замешательство Сидыкджана, подумал: «Колеблетя. Надо бы мне сказать ему раньше, что я против колхоза». Он решил обратить внимание зятя на возможные трудности и последствия при вступлении его в колхоз, если на это не будет дано согласия всей семьи.

И он сказал:

— У вас ребенок.

— А еще что есть у меня?— спросил Сидыкджан и, не сводя глаз с тестя, выпрямился, насторожился.

Вопрос Сидыкджана слутал мысли Зуннуна-ходжи и рассеял его надежду на то, что зять одумается и откажется от вступления в колхоз. Старик сердито спросил:

— Кроме ребенка, так ничего и нет?

— А что же я еще имею?

— Дурак!

— Сознаю. Не был бы им, не отбил бы от своего стада...

— Окажи уважение бродяге, он в сапогах заберется на почетное место.

— ...не попал бы в пасть волку.

— Значит, я — волк? Собака!

— Это не ново. Вы давно в душе меня так называли... Благодарю вас... Раз я собака, так возьмите вашу золотую цепь, что висит грузом у меня на шее, вашу дочь. Я не хочу больше жить с нею. Объявляю, если это надо вам по шариату, троекратный талак<sup>1</sup>!

Сидыкджан отряхнул полы халата, повернулся спиной к старику и направился к выходу.

Ни старуха, следившая за разговором между зятем и стариком, ни сам Зуннун-ходжа не ожидали такой решительности от Сидыкджана. Зуннун-ходжа тупо и растерянно посмотрел на дочь. Старуха невольно вскрикнула: «Шарафат!» Дочь поняла мать, как поняла взгляд отца. Они оба хотели сказать ей: «Верни!»

— Постой! — громко крикнула Шарафат и вскочила с места. — Уходишь? Хорошо! Тогда забирай и своего ребенка!

Сидыкджан остановился. Его прежде всего поразили не слова «забирай своего ребенка!», а то, что жена обратилась к нему на «ты», как к чужому. Он понял, что сбормалось все, что связывало его с этим домом, с женой.

— Что ты сказала? Взять ребенка?

Сидыкджан решительно подошел к люльке, взял ребенка на руки и вышел на улицу. Шарафат растерянно взглянула сначала на отца, потом на мать, лицо которой исказилось от злобы и удивления. Видя, что они стоят и молчат, как каменные, она, босая, с растрепанными волосами, бросилась вслед за мужем. Сидыкджан, прижимая ребенка к груди, быстро удалялся от дома.

Он шел с ребенком на руках и думал: «Вот еще принесу лишние заботы своей матери, правда, она любит маленьких, и пусть лучше мальчик не слышит, как хулят его отца».

---

<sup>1</sup> По шариату троекратно произнесенное мужем слово «талак» влекло за собой расторжение брака.

— Обождите! Стойте!

Сидыкджан оглянулся и, увидев бегущую за ним Шарафат, спокойно спросил:

— Что ты хочешь?

— Отдайте ребенка!

Шарафат подбежала и вырвала мальчика из рук Сидыкджана.

Увидев ее разъяренное лицо, он понял, что она забирает ребенка с тайной надеждой: а может быть, муж останется? Но он никогда еще не чувствовал такой решимости уйти, как сейчас. В его разгоряченном мозгу вспыхнула память о всех обидах, перепесенных в доме жены.

Ребенок заплакал. Сердце у Сидыкджана защемило от жалости к сыну, но он крепился, стараясь показать жене, что его решение твердо и что его не сломят ни слезы, ни гнев.

Когда Шарафат с ребенком на руках скрылась за воротами, к горлу Сидыкджана подступил горький комок, на глазах показались слезы. Он медленно повернулся и, низко опустив голову, побрел по улице. Потом ускорил шаги.

## ГЛАВА ВТОРАЯ

### 1

В лощинах, в густых зарослях и в оврагах между холмами, куда не попадал свет солнца, коснувшегося уже линии горизонта, густели пепельно-серые сумерки. А когда солнце скрылось, они, казалось, зашевелились, сразу выросли и поплыли, расстилая над землей покрывало ночи.

Сидыкджан подходил к Бахрабаду. Он шагал легко и бодро. Вечер казался ему каким-то необычным, совсем не похожим на те вечера, которые он провел в кишлаке Зуннупа-ходжи. Там в вечерние часы он особенно остро чувствовал свое одиночество, и его охватывала тоска... А сейчас, приближаясь к родному кишлаку, он не испытывал этой давящей, безысходной тоски, еще не так давно, перед уходом из дома тестя, терзав-

шей его сердце. И это удивило его. А пирамидальные тополя на бугорке, мычанье теленка, легкие дымки от очагов, вечернее чириканье воробьев — все то, что было так хорошо знакомо с детства, всколыхнуло в нем радостные ощущения чего-то близкого, родного, но давно забытого.

Старый тутовник во дворе был освещен огнем свечильника. Внизу, под деревом, двигалась тень, из дома слышались шаркающие звуки. Сидыкджан постоял, прислушиваясь, и тихонько постучал в запертую калитку.

— Кто там? Абиджан, погляди-ка! — раздался голос матери.

И не прошло минуты, как она сама открыла калитку.

Хадича-хола не ожидала сына в такой поздний час и несколько растерялась. Лишь когда Сидыкджан уже прошел во двор, она опомнилась, подбежала к нему, обняла и, плача от радости, принялась целовать его в обе щеки. Выпустив сына из объятий, она стала спрашивать о здоровье внука, невестки и сватов. Не успел Сидыкджан ответить, как из-под дерева вылетел стрелой Абиджан, — он обрезал там листья.

— Братец!

Абиджан крикнул так громко, что где-то прикорнувший петух испуганно трепыхнул крыльями и, как бы давясь, сердито закричал: «Ко-ко-ко!»

Сыновья и мать рассмеялись. Хадича-хола, по своему обыкновению, прежде всего рассказала все свои сны за последние дни, сообщила, кто и как растолковывал эти сны, и выходило, что она сама понимала правильное других и заранее знала о приходе Сидыкджана. Вот только одного не предсказали ей сны: что Сидыкджан явится именно сегодня вечером.

Она ходила по двору, радостно взволнованная, бросая па сына ласковые взгляды. Разостлала на супе красный палас и новое ластиковое одеяло; к огню в очаге, на котором кипел котел, поставила чугунный кувшинчик с водой. Затем снова стала расспрашивать о внуке, невестке и сватах. Сидыкджан услышал беспокойство в голосе матери, но решил пока не рассказывать о том, что произошло у него дома.

Абиджан сидел возле брата и, не зная, что делать,

что говорить, все трогал его за плечо и радостно улыбался.

За ужином Хадича-хола рассказала сыпу о больших и малых событиях в кишлаке. Старый друг Сидыкджана Урмаджан уехал в кишлак Капсанчи, он там теперь парторганизатор в колхозе «Кошчинар»; здесь же, в Бахрабаде, председателем колхоза выбрали Саттаркула, двоюродного брата Сидыкджана. Жена Саттаркула недавно родила сразу трех мальчков, об этом даже в газете напечатали. А как-то в кишлак приезжал сам Юлдаш-ата Ахунбабаев.

— Я видела Ахунбабаева, — сказала Хадича-хола. — Оказывается, он совсем не похож на свой портрет.

Абиджан не согласился с матерью.

— Нет, он очень похож...

— Да лицом, может, и похож, а все же он не такой, как на портрете, — твердо заявила Хадича-хола. Ее слова вызвали улыбку на лице Сидыкджана. — Нам сказали, что он будет выступать на собрании, скажет большую речь. Мы собрались и пошли. Пришли в красную чайхану, а там уже полно народа. Пробрались мы к двери и видим: сидит у стола человек и что-то говорит, а все вокруг него смеются. Вначале мы подумали, что Ахунбабаев не приехал, а у стола кто-то другой говорит с народом. Мы ошиблись: оказывается, это он сам и был. «Вот он, подумала я, большой человек. Да как ему и не быть таким, когда он с самим Калпниным за одним столом сидел». Он говорит, а молодежь — ну как только не стыдно было ребятам! — все с вопросами к нему — как наладить работу в колхозе. Ахунбабаев ответил на все вопросы, а потом обращается к колхозникам: «Ну, а теперь сами скажите, как думаете дальше строить жизнь в колхозе, бороться за урожай?» После него говорили многие.

— А как он поддел нашего председателя! Яловая корова... ох, — захохотал Абиджан.

— Да, уж поддел так поддел, — невольно улыбнулась Хадича-хола, глядя на младшего сына, и продолжала: — У Саттаркула, верно, получилось не совсем ладно. Выступил он да и начал хвалиться — сделает и то, сделает и это... Будто впрягся в порожнюю арбу и гремит. А Ахунбабаев послушал-послушал его и говорит: «Яловая корова всегда больше стельных мычит».

Все так и покатались со смеху. Уж так Саттаркул осрамился, так осрамился!..

Хадича-хола помолчала немного, тихо улыбнулась каким-то своим мыслям и продолжала:

— А все-таки Саттаркул молодец! В этом году дела в колхозе лучше идут. Видно, подействовали слова Ахупбабаева. Вовремя сумел взнудать веспу и славно провел сев... Да,— обратилась она с Сидыкджану,— ты ведь не знаешь о наших червях? Саттаркул еще весной собрал старух и говорит: «Кто ходит без дел, тот всем надоел». Хорошая поговорка? Хорошая, правильная. «Так вот, говорит, не возьметесь ли вы, товарищи, выкормить червей хотя бы по одной коробочке грепы?» Нас было семь человек. Мы согласились. И что же? Повезло ли нам, или мы очень соскучились по делу,— прямо не успевали собирать коконы. Из каждой коробочки вышло их по семьдесят — восемьдесят килограммов. Саттаркул обрадовался, сразу сообщил в район, а оттуда приехали два человека. Пригласили нас приезжие, посадили против себя, расспросили. Потом говорят: «Будем снимать вас на карточки». Мы расхохотались. «Кто это тоскует по нашим морщинистым лицам?— сказала Кумринниса и убежала. Никто из нас так и не спинался. Слух прошел в кишлаке, что они все-таки будто засняли нас, по мы этому, сказать правду, не поверили. Колхоз премировал нас, дал каждой шелководке по атласному отрезу на платье. Подумай только, сынок,— это нам-то, старым, атлас! А Рахила-бу, бесстыжая, взяла да и спиала из атласа себе платье. В праздник вырядится, противно смотреть на старуху! Однажды я не сдержалась и выругала ее, а она мне в ответ: «Я в жизни никогда атласного платья не пашивала, так теперь благодарю себя, что достигла этого!» Вот ты и поговори с ней!.. А на заработанные деньги справила я четыре одеяла, одежонку кое-какую. Обулись и оделись так, что не стыдно теперь и на людях показаться. И для тебя принасла два отреза бекасама на халаты,— сказала Хадича-хола, бросая взгляд на скромную одежду Сидыкджана, и с грустью подумала: «Не очень-то он нажился за последние годы. Плохо же ему живется у тестя». И добавила:— А тот атлас тоже еще лежит...

Сидыкджан, как бы угадывая мысли матери, вздохнул и сказал:

— Лучше бы вы продали его.

— Мы не нуждаемся, сын мой. Деньги у нас имеются. Когда было трудно, помог колхоз, а теперь уже расплатились. Видишь, сынок, и я, оказывается, способна на такие дела при повои-то, колхозной жизни. А вот при жизни твоего покойного отца сидела сложа руки, и мысль была одна: «Дашь — поем, побьешь — умру». Глупая мысль, теперь даже старухи так не думают.— Хадича-хола улыбнулась, и глаза ее молодо блеснули. Поглядев на Абиджана, она и его работой похвалилась.— Дядя Саттаркул выдал славные сапоги Абиджану. Вынешка, сынок, их и покажи брату. Пусть он поглядит, полюбуется.

Абиджан, оказывается, давно припес сапоги и держал их за спиной, и сейчас осторожно, словно они были очень хрупкие, обтер их полдой ситцевого халата, подал брату и подиравил фитиль светильника. Сидыкджан осмотрел верх сапог, заглянул в голенища и сказал: «Хорошие сапоги». Но Абиджану хотелось, чтобы брат и потом постучал по подошве.

Сидыкджан задумался. Хотя он был рад услышать, что мать и Абиджан живут хорошо, ни в чем особенно не нуждаясь, по ему стало как-то обидно. Та самая обида, которая затихла было с уходом из дома Зуннуа-ходжи, снова поднялась в пем, и он даже изменился в лице.

Хадича-хола, нежно поглядывая на сына, заметила, как он побледнел, и решила, что он устал с дороги. Она торопливо поднялась и стала готовить ему постель.

## 2

На следующий день Сидыкджан проспнулся рапо, напился чаю и ушел из дому, сказав, что идет повидаться с друзьями. Он походил по улицам кишлака, где все напоминало детские годы, побродил по песчаному берегу речки, побывал на том самом лугу, на котором пас когда-то коров. Бродя по знакомым местам, он тихо напевал грустную песню. Ему казалось, что вместе с песней из его сердца уходила и тоска, с которой он жил последние годы.

Домой он вернулся повеселевшим. Солнце уже перевалило за полдень, и на супе во дворе лежала густая

теп. Сидыкджан прилег на супу и заметил железную печь, стоявшую под тутовым деревом.

— Эге,— удивленно спросил он,— вы что же, решили поставить печку?

Хадича-хола улыбнулась.

— Затея Абиджана. Наш председатель перестроил свой дом по-новому: стены побелил, вместо дарчи устроил окна, вставил рамы со стеклами, как у русских, в комнате поставил железную печку. Ну, глядя на него, стали перестраивать свои дома и другие колхозники. В кишлаке всегда так: один начнет — и все за ним. Вот и наш Абиджан торопится за председателем. Прямо замутил меня, а больше себя. Как-то гляжу, идет с топором: «Мама, хочу сломать дарчу!» Я рассердилась, конечно, отняла у него топор. А другой раз ведет товарищей: «Мама, хочу замазать ниши!» — «Зачем?» — спрашиваю. «А чтобы стены были гладки, как у Саттаркула-ака...» Ну, схватила я кочергу и прогнала всех. Прогнала, да и пожалела бедного парня: разве он виноват, что ему все новое нравится! А новое, как я вижу, ведет не к плохому. И печка эта... Правда, мы ее топили всего два раза за зиму. Сам видишь, дом не приспособлен к ней. Саттаркул обещает отремонтировать дом. Вот тогда и поставим печку. Пусть уж и дарчу заменят стеклянным окном и пиши замажут, раз это нравится Абиджану.

Под вечер пришел повидать Сидыкджана один из его друзей детства. Но разговаривал он с Сидыкджаном так, словно пришел с соблезнованием к человеку, который попал в большую беду. Дружья детства так и не нашли общего языка. О чем бы они ни заговорили, разговор тут же обрывался. Наконец гость поднялся и ушел.

Затем заглянул Саттаркул, председатель колхоза. Сидыкджан не виделся с ним больше двух лет. Поздоровавшись, Саттаркул насмешливо сказал:

— Ну, как дела? Совсем забыл дорогу в наш кишлак. Что — работы много? По-прежнему гнешь спину на Зунцуна-ходжу? Как же — зять... Понятно. А может, жена не пускает? Так ты скажи ей, что у тебя, кроме нее, есть мать. Она родила тебя мужчиной...

Заметив, что Сидыкджан пахмурился, Саттаркул резко оборвал свою речь и обратился к хозяйке:



— Так вот, Хадича-хола, будем теперь ремонтировать ваш дом. Пока Сидыкджан у вас, пусть он сам и возьмет в руки это дело.

Хадича-хола немного замаялась, взглянула на сына, ожидая его ответа.

— Ну что ж, если, конечно, у него найдется время... — Покручивая темные густые усы и пряча улыбку, Саттаркул опять насмешливо кольнул Сидыкджана: — И если хозяин Зуннун-ходжа согласится отпустить своего... — «батрака» хотел он сказать, но, помолчав, добавил: — ... зятя.

Сидыкджан покраснел: слова председателя колхоза больно задели его. Ему хотелось рассказать Саттаркулу о том, что он уже осознал свое положение в доме богатого тестя, навсегда ушел из семьи Зуннуна-ходжи и решил заново начать свою жизнь. Но он не сказал всего этого председателю, — удержала мысль: «А не стану ли я после этого посмешищем в глазах всех друзей? Нет уж, в родном кишлаке, пожалуй, не стоит говорить о своем позоре».

— У меня нет хозяина, — чуть слышно ответил он.

— Да? Вот как! — удивленно сказал Саттаркул и хотел еще о чем-то спросить, но, заметив тоскливый взгляд матери, который как бы молил его: «Не мучай. Ему и так тяжело», понял ее и, вздохнув, вернулся к разговору о ремонте дома. — Работа обойдется недорого, я уже подсчитал. Всего двести двадцать рублей.

— Только и всего? — Хадича-хола покачала головой. — Жаль, раньше не догадались...

— Расходов боялись? — усмехнулся Саттаркул. — Нет, не это пугало вас. Дело в другом... Еще при жизни дяди Сагидджана, я помню, вот эта дарча стояла косо. Разве на то, чтобы поставить ее прямо, нужны были деньги?

— Не догадались, а может, не было охоты, — уклончиво ответила Хадича-хола.

— Нет, тетушка, не то говорите. Разве дядя Сагидджан боялся работы? Нет. Но веры у него не было в хорошую жизнь... Бедность — она грызет надежду человека на лучшую жизнь, и человек опускается. А раз нет у тебя надежды на лучшее, стоит ли заниматься какой-то дарчой — перекосилась, пу и пусть хоть совсем завалится!.. Вот в чем суть.

— Правда, сынок, истинная правда,— вздохнув, согласилась Хадича-хола.

— И теперь мы еще не богаты, мы бедны,— продолжал Саттаркул,— но эта бедность не грызет в нас веру в светлую жизнь, а, наоборот, наша вера в нее грызет бедность. Другим стал у нас человек, не хочет лежать камнем на месте, рвется вперед, к лучшему. Если мы будем трудиться, чего только не создадут трудовые руки народа! И никто не будет удивляться. Увидим новые прекрасные дома и скажем: «Только и всего. И совсем недорого, и можем сделать еще лучше!..» Ну ладно, заговорился я тут с вами, а надо еще кое-куда забежать,— вдруг заторопился председатель колхоза и весело взглянул на Сидыкджана.— Так договорились насчет ремонта дома? Берись-ка за дело.

Когда Саттаркул вышел, взволнованный его словами Сидыкджан уже не мог больше молчать. Он рассказывал матери обо всем, что произошло в семье Зуннунаходжи, и сообщил о своем твердом решении вступить в колхоз.

Выслушав сына, Хадича-хола понурилась и долго молчала. Сидыкджан ничего не понимал: «Что это с матерью? Так расхваливала колхозную жизнь, а теперь как будто даже и не рада тому, что сын тоже решил стать колхозником...»

— Сын мой дорогой,— сдавленным голосом заговорила Хадича-хола,— хорошо ль ты все обдумал? Доброе намерение — половина дела. Ведь трудно будет тебе... Да и ребенок. Ты бросил мать и ребенка, а ведь растить его — твой долг.

Сидыкджан, сдерживая волнение, мягко возразил матери:

— Я хочу сначала расплатиться с прежними долгами.

— Что ты хочешь этим сказать, сынок?

— Прежде всего хочу выполнить свой долг перед вами, мать.

— Если забота только об этом, сынок, то напрасно ты бросил семью. Теперь я сама неплохо зарабатываю в колхозе, да и много ли мне надо? Ты о себе думай, сынок, у тебя вся жизнь впереди, а я уже шагаю к могиле...

Хадича-хола, вздохнув, смахнула слезу с морщини-

стого лица и хотела еще что-то сказать, но в это время шумно распахнулась калитка и во двор вошел забывшийся Зуннун-ходжа с красным и потным лицом.

Сидыкджан, словно не замечая тестя, продолжал сидеть неподвижно, а Хадича-хола заторопилась, побежала навстречу гостю. Зуннун-ходжа, не обращая на нее внимания и даже не ответив на приветствие, метнулся, как помешанный, к Сидыкджану.

— Подожду свой дом! Удавлюсь!— хрипло, задышавшись, проговорил он и сокрушенно вздохнул.— Родней мой, разве я обманулся, назвав вас своим сыном?

Сидыкджан подвинулся на супе, приглашая неожиданного гостя сесть.

— Прошу...

— Некогда сидеть... Пойдемте, сынок, жена ждет.

— Зря беспокоились. Разве я не сказал троекратно «талак»? Теперь уже нет выхода. Шариат не допускает...

— Шариат допускает... Есть выход, сын мой!— воскликнул Зуннун-ходжа.— Ведь вы развод не жене объявили, а только мне. Если бы сказали ей самой, тогда уж верно — не было бы выхода.

Сидыкджан поднял глаза на мать, стоящую позади Зуннуна-ходжи. Та печально смотрела на сына.

— Ладно,— ответил Сидыкджан тестю,— через два-три дня вернусь, тогда и решим все окончательно.

На том и порешили. Зуннун-ходжа, несмотря на просьбы матери Сидыкджана посидеть у них, выпить чаю, тотчас же ушел.

— Сынок,— опять заговорила Хадича-хола, когда Зуннун-ходжа скрылся за калиткой,— ты вернешься... туда?

Сидыкджан принужденно улыбнулся.

— Ноги моей не будет в его доме!

— Ты же дал обещание?

— Да... Просто не знаю, как быть. Я ведь пришел сюда, чтобы посоветоваться с Урманджаном.

— Насчет вступления в колхоз?

— Насчет того, где вступить. В доме тестя мне больше не жить. А здесь, как видишь, Саттаркул не очень-то приветливо меня встретил.

Хадича-хола не сразу ответила на слова сына: подумав, она сказала:

— Дело не в одном только Саттаркуле, сынок. Сейчас тебя никто не встретит приветливо. Старых друзей ты растерял, а новых еще не приобрел. Лучше, как говорят, разойтись с братом, чем с народом. И это верно, сынок. Ведь люди немало помучились, прежде чем стали сносно жить. Теперь колхозники совсем окрепли и идут к хорошей жизни. А ты... Если ты думаешь прийти на все готовенькое, на тебя поглядят косо. Поздно ты, сын мой, глаза открыл... Пришел, говоришь, повидаться с Урманджаном? Думаю, что и он встретил бы тебя не лучше.

Сидыкджан, не проронивший ни одного слова во время речи матери, поднял голову, внимательно посмотрел на нее и, заметив на сильно постаревшем ее лице печаль и жалость к нему, мягко улыбнулся.

— Не знаю, матушка, как встретил бы меня Урманджап, но то, что я сделал, сделал по его совету. Когда мы виделись в последний раз, он сильно ругал меня. Думаю, потому, что заметил, как я мучаюсь, видел мое батрацкое положение в доме Зуннуна-ходжи. Если бы он мне не сочувствовал, не жалел бы меня, зачем бы ему было так горячиться!

— Воля твоя, сынок. Как хочешь. Лишь бы открылось твое счастье,— задумчиво промолвила Хадича-хола и вздохнула.

На другой день с утра Сидыкджан принялся за работу: привез саман, доски, циновки, позвал мастеров строительного дела, и работа закипела. Хадича-хола дивилась и радовалась, глядя, с каким подъемом работает Сидыкджан.

Не прошло и трех дней, как старый покосившийся дом стал неузнаваем. Вместо искривленной и мрачной дачи появилось широкое, как у Саттаркула, окно. В него вставили раму с блестящими стеклами.

Веселый, взволнованный Абиджан почти не отходил от большого светлого окна, осторожно протирая стекла и подолгу любопытным взглядом смотрел сквозь них на двор — словно перед ним раскрывался новый, чудесный мир.

Покончив с перестройкой дома, Сидыкджан стал собираться в путь. Хадича-хола напекла ему лепешек, как в те далекие дни, когда он был батраком, завязала их в чистый платок. Потом, прощаясь, поцеловала сына,

прочитала молитву и, придерживаясь старого суеверного обычая, чтобы путь был благополучным, не пошла провожать.

— Родной мой,— обратилась она к сыну, остановившись посредине двора,— не заставляй нас беспокоиться о тебе, присылай письма. У нас теперь, как и в других кишлаках, на калитке прибит номер. Не забудь: наш номер сто шестьдесят третий. Откуда ни напишешь письмо на этот номер — придет. У Ахмадали номер сто шестьдесят восьмой. От своего сына он каждую неделю получает письма.

Абиджан проводил брата до дороги, которая начиналась на окраине и вела прямо на юг. Он ничего не знал о разрыве брата с семьей Зуннуна-ходжи, но чувствовал, что что-то произошло. Сидыкджан уходил из дома матери веселый, он то задумчиво смотрел вперед, чему-то улыбаясь, то принимался шутить с братишкой. И, может быть, поэтому, прощаясь с братом, Абиджан не заплакал.

## ГЛАВА ТРЕТЬЯ

### 1

Бахрабад остался позади. Сидыкджан шагал быстро, решив пугде не останавливаться и уже на следующее утро дойти до Урмаджана, хотя бы для этого пришлось шагать всю ночь. Ему не терпелось поскорее высказать другу то, что тяжелым грузом лежало на сердце, облегчить душу. Он готов был выполнять самую тяжелую работу, лишь бы восстановить имя честного труженика, человека, у которого нет ничего общего с разными «элементами». Он верил, что Урмаджан не оттолкнет его и, выслушав, поймет и поможет.

Поздно ночью Сидыкджан вошел в кишлак Бишсерка.

На улицах было тихо: кишлак спал крепким сном. Только откуда-то издалека, вероятно, с поля, доносились тарактоние трактора. В синюющем мраке, в стороне от дороги, мерцал огонек. Решив, что это чайхана, Сидыкджан свернул с большой дороги и спустя две-три минуты вошел в обширный, очевидно, приспособленный для сто-

янки караванов, с большим водоемом двор. Там было пусто, лишь в углу, под стенкой, видны были огромные тени двух лежавших на подогнутых ногах верблюдов да возле водоема на супе громко храпел какой-то человек. Сидыкджан прошел мимо него и остановился в дверях чайханы. Там тоже было пусто, только в нише за самоварами сидел седобородый старик и перетирал полотенцем чайники и пиалы.

— Салям!— громко сказал Сидыкджан.

Старик вздрогнул от неожиданности и выронил из рук пиалу.

Пиала разбилась.

— Ваалейкум ассалям!— ответил на приветствие старик и, заметив смущение на лице Сидыкджана, сказал:— Вы тут ни при чем, сын мой. Рука немного покалечена у меня. Вот эта, правая, онемела, давно уж... Правая нога тоже... Да заходите, заходите, сын мой, место для ночлега найдется... Так поздно, а вы в пути?

— Поздно вышел,— сказал Сидыкджан и спросил:— Чаю не найдется, отец?

— Как же, как же,— закивал головой старик,— на то и чайхана. Кипяток есть, а заварить недолго... Далеко держите путь?

— В Капсаңчи.

— Тогда и говорить не о чем. Вокруг кишлака дикие заросли, ночью там и не пройти, сын мой. Садитесь, снимайте сапоги. Сейчас я подам вам чай и приготовлю постель. А завтра, если вы торопитесь, разбуду пораньше.

Сидыкджан не думал оставаться почевать, но попить чаю и отдохнуть немного совсем не мешало. Он снял заплечный мешок, где у него еще оставались нетронутыми испеченные матерью на дорогу лепешки, и расположился на супе. А старик, заваривая чай, говорил:

— Никогда не следует ночью ходить по дорогам. Мало ли что может случиться в опасных местах? Однажды, когда я был еще молод, вот так же шел ночью из Бувайды. Иду, ни о чем плохом не думаю. Поднялась луна, стало светло, как днем, а я шагаю по дороге и даже песенку напеваю. И вдруг вижу — тигр... Да, да, самый настоящий полосатый тигр лежит на дороге под ивой! У меня волосы на голове зашевелились. Ну, думаю, пропал! Застыл на месте, не знаю, что делать. Слышу, как будто где-то пустая арба гремит. Арба и есть — выехала

из-за поворота и катится мне навстречу. Катится — да прямо по тигру колесами!.. Тут только я и пришел в себя: оказывается, это лежала на дороге тень от ивы. Был я парень не из трусливых, а страшно перепугался тогда. Ночью чего не померещится?..

— Так вы, значит, из Бувайды?— спросил Сидыкджан словоохотливого старика.

— Да, но уже больше двадцати лет я не был там. Бувайда стала для меня запретной.

— Почему?

— Из-за жены.

— Она нехорошая женщина?

— Нет, очень хорошая.

Сидыкджан удивленно взглянул на старика

— И вы сбежали от хорошей жены?

— Да уж случилось такое несчастье, что пришлось мне расстаться с ней навсегда. Раньше она была женой моего старшего брата, а брат батрачил у юзбаши Бувайды — Саидаброра. Юзбаши был очень богатым человеком, целая дюжина вооруженных сторожей охраняла его дом по ночам. Но вот однажды разбойники напали на его дом среди бела дня. И нет, чтобы захватить добро и поскорее скрыться. А они не спешат. Еще песню поют: «Не дай расстаться с редким гостем, который приходит раз в год...» И кричат жителям кишлака: идите, мол, есть чем поживиться! Чудные какие-то разбойники... Наутро стало известно, как они расправились с юзбаши — поставили перед ним его сундук с золотом и сказали: «Ешь, сколько сможешь, а остальное заберем». Юзбаши стал глотать все, что лезло в глотку, а потом уж сами разбойники напихали ему золота полон рот...

Сидыкджан рассмеялся.

— И не сдох?

— А как же!.. Из-за этой своей жадности помер в страшных мучениях... В тот же день нагрянули из города стражники, угнали много людей, и брата моего в их числе. Прошел год. Как-то эликбаши нашей махалли поехал в город, а когда вернулся, сообщил мне страшную весть: будто моего несчастного брата повесили. Эликбаши уверял, что видел брата на виселице собственными глазами. Ну, погоревали мы, справили поминки. А месяца два спустя приходит к нашей матери заплаканная невестка и говорит: «Эликбаши требует, чтобы я вышла за него»

замуж. А я скорее утоплюсь в водоеме, чем соглашусь». Мать наша не хотела расставаться с невесткой. Долго думали мы всей семьей, как избавить ее от беды, и надумали — я женился на ней.

Прожили мы вместе около четырех месяцев. Работал я тогда возчиком у хлопководы Абдурашида. Вот везу как-то хлопок в город и встречаю одного знакомого, а он мне и говорит: «Брат-то твой жив... Видел я его и даже говорил с ним. Домой собирается...» Обрадовался я этой весте — ведь брат родной! Да тут же и расстроился: «А какими глазами я буду теперь смотреть на него?»

— Совестно, конечно,— заметил Сидыкджан.— Но ваш брат должен был понять... и не обижаться.

— Это уж потом мне пришло в голову, а тогда совесть замучила. Повернул я назад, бросил повозку с хлопком у склада Абдурашида и, не заходя домой, ушел из родных мест. Ходил из кишлака в кишлак, батрачил где придется, а на другой год весной уехал в Аулие-Ата...

— И брат вас так и не встретил?

— Нет, не в том дело. Брат мой несчастный, как я узнал уже много лет спустя, бежал тогда из Сибири. Может быть, он и приехал бы в Бувайду, но когда узнал, что я женился на его жене, решил не возвращаться домой. Долго ли он скрывался от властей — мне неизвестно, но только где-то схватили его и опять угнали в Сибирь.

— А вы так больше и не встретились со своей женой?

— Встретился, да... рассказывать обо всем, что случилось, ночи не хватит.

— Ночь еще велика,— сказал Сидыкджан и пригласил:— Садитесь, выпейте со мной чаю. Вот лепешек моих отведаете, мать испекла на дорогу... Или спать хотите?

— Какой сон у старика! Лежишь, думаешь, прошедшую жизнь вспоминаешь... Есть я не хочу, а чаю, пожалуйста, с вами выпью.

Сидыкджан палил в пиялу чаю и протянул старику.

— Тогда слушайте дальше,— продолжал тот,— если не надоело... После того как моего брата во второй раз угнали в Сибирь, начал эликбаши опять приставать к моей жене. Слух такой пустил, будто я умер. Ну, умер — не умер, а обо мне второй год никаких известий. Трудно пришлось женщине — надо было кормить и девочку, оставшуюся от старшего брата, и мою старуху мать. Рабо-



тала она на чужих полях, да разве батрацким трудом прокормишься! На джугару только и зарабатывала. Стала девочка чахнуть. Жена совсем потеряла голову, — чем жить? А этот проклятый эликбаши то достатком своим соблазняет, то начинает угрожать и притеснять. В кишлаке и маленькая власть — сила...

— Что же, красивая была она, ваша жена?

— Статная, здоровая женщина. И умом ее бог не обделил. Да вы думаете, эликбаши только на красоту ее зарился? Ему работница даровая в доме была нужна... Так вот, видит она, что эликбаши никак не отстает, и так ему говорит: «Ладно, раз вы настаиваете, стану вашей женой. Только дочку свою я оставляю у бабушки. А чтобы им обоим было на что жить, купите дом, оставшийся от моего первого мужа, и дайте приличную цену. Таково мое условие». Эликбаши согласился. Он купил дом, заплатив за него даже немного больше настоящей стоимости. Да так с пустым домом и остался. Жена заранее распродала все вещи и в ту же ночь с дочкой и нашей матерью ушла из кишлака. Эликбаши разослал гонцов во все концы, но они вернулись ни с чем. Позднее он узнал, что жена ушла в свой родной кишлак Найман, да ничего уже не мог сделать — туда не доставала его рука. Вскоре после того в Аулиэ-Ата прибыл человек из Бувайды и рассказал мне все. Стал я собираться в дорогу. Но в те времена, сын мой, трудно было батраку скопить даже три-четыре тенгги. Пока я отложил немного денег и выехал в путь, прошло еще несколько месяцев. Приехал, справляюсь. А жена, оказывается, уже вышла замуж за молодого дехканина по имени Фарманкул и уехала с ним в кишлак Капсанчи. До отъезда в Аулиэ-Ата я батрачил там и хорошо знал те места. Там лучшие земли по берегу реки находились в руках баев, а водокачки, которые перекачивали воду на поля, принадлежали какому-то русскому князю. У князя было в Капсанчи большое имение. Дехкан там называли «капсанчи». Так их прозвали потому, что после уплаты баям арендной доли урожая на землю и князю — за воду дехканам оставалось только что-то вроде капсана — пожертвования, которое обычно выделяли с урожая для нищих... Так и жили: с голоду не умирали, да и сыты не бывали. Да так о чем это я говорил?

— Начали говорить о Фарманкуле, за которого вышла ваша жена, — напомнил Сидыкджан.

— Ах, да... Так вот Фарманкул был из этих самых капсанчей. Мне было неудобно идти прямо к нему в дом. Я зашел в чайхану и послал мальчика передать: пришел, мол, такой-то человек и хочет повидать свою мать. Только я успел выпить один чайник, как входит молодой сухощавый дехкани и спрашивает: «Не вы ли будете Курбан-ака?» — «Да, это я», — отвечаю. Мы поздоровались. Это и был сам Фарманкул. Как я ни отказывался, он повел меня к себе домой. Я подумал было, что он не знает, кто я, но дорогой он мне сказал: «Уж вы не обижайтесь, видно, такая у нас судьба».

Дом его стоял на самом берегу реки среди камышовых зарослей. Я вошел, почтительно поздоровался. А родительница моя была, оказывается, больна и уже не вставала с постели. Увидела она меня, и совсем плохо ей стало. Когда она пришла в себя и открыла глаза, Фарманкула в комнате уже не было. Со слезами на глазах рассказала мне мать обо всем, что произошло. «Что случилось, то случилось, сынок. Если хочешь, чтобы я была довольна тобой и на этом и на том свете, — отблагодари эту женщину», — говорила мать.

Когда я узнал, какие испытания пришлось перенести моей жене, у меня сердце сжалось от жалости. Она три года ждала меня и вышла замуж за Фарманкула с согласия матери. Спустя некоторое время в комнату вошел Фарманкул, а за ним и жена со своей дочкой. Она не закрыла лица от меня, поздоровалась, села, но не решалась поднять глаза. Так мы и сидели молча, не зная, о чем говорить. Если бы я не начал шуточный разговор с маленькой племянницей, еще дольше тянулось бы наше тяжелое и горькое молчание...

Наступил вечер. Я хотел идти ночевать в чайхану, но Фарманкул не отпустил. Мать, моя бывшая жена и ее дочка легли спать в доме, а мы с Фарманкулом — во дворе. Обоим не спалось. Я все боялся, как бы Фарманкул не заговорил о том, из-за чего мы все попали в такое неловкое положение, а он, видимо, опасался того же.

Ну, слово за слово — разговорились. Фарманкул стал рассказывать о положении дехкан Капсанчи на байских землях. К тому времени я уже немало мест исходил и чего только не повидал в батраках! Везде дехкане маялись на своих клочках земли, везде их доля была

не намного лучше батрачкой, а вот хуже этих капсанчей, кажется, никто не жил. Плохо жили, хуже некуда, и все же почему-то держались за арендованные земли, не уходили искать других мест, где можно было устроиться получше. Меня это удивило. Тогда Фарманкул объяснил мне причину. Стал кое-кто из капсанчей уходить, бросая насиженные места, может быть, все бы и ушли, да баи придумали хитрость. Они установили новую арендную плату за землю, и такую низкую, что дехкане снова парасхват разбирали земли. Условия казались всем очень хорошими — чем больше возьмешь земли и чем дольше срок аренды, тем дешевле она обойдется. И плату за аренду можно было вносить не сразу наличными: дехкани подписывал обязательство и мог выплачивать по-немногу, в течение всего срока аренды. Фарманкул, погорячившись, заарендовал порядочный участок земли сроком на десять лет и подписал обязательство.

В первый год капсанчи были очень довольны. Но уже на следующий из-под позолоты байского благодеяния выступила медь: оказывается, баи затеяли все это дело, сговорившись с князем, а князь повысил плату за воду в три раза. Капсанчи подняли было шум, но князь вызвал из города стражников, и волнение было подавлено...

Фарманкул рассказывал о своем положении чуть не плача: «Вот теперь и рад бы бросить эти проклятые богом места, да нельзя — вексель держат. Вексель Тангрикула-хаджи...»

Сидыкджап вспомнил своего тестя Зуннуна-ходжу и то, как он говорил: «Вы мне и зять и сын...» — и невольно усмехнулся.

Старик удивленно посмотрел на него.

— Чему смеетесь, мой сын?

— Оказывается, все пауки одинаковы!.. Рассказывайте дальше, отец.

Старик продолжал:

— Три дня прожил я у Фарманкула. А на четвертый день, когда собрался уходить, бывшая моя жена кладет передо мной деньги, вырученные от продажи дома, и говорит: «Это ваши деньги, возьмите... А маму я не отпущу, пока не выздоровеет». Бедняжка, она сама нуждалась в нем же хотела помочь мне...

Голос у старика дрогнул. Помолчав немного, он снова заговорил:

— Денег я не взял. Горячо поблагодарил ее и осведомился о желании самой родительницы. Она ответила мне со слезами на глазах: «Где уж тебе, сынок, заботиться о больной старухе? Сначала себе найди какое-нибудь пристанище. Да и не хотелось бы мне расставаться с внучкой...» Я хотел увезти ее в Бувайду, в свой кишлак. Думал, найдется там какая-нибудь дыра и для нас. Эх, жизнь!.. Но когда мать сказала, что не хотела бы расставаться с внучкой, я решил поискать работу поблизости. Пошел в контору князя, стал просить работу на одной из его водокачек. Управитель оказался моим земляком, из Бувайды. Не прогнал, но сказал: «Нет, работать на водокачке тебе нельзя. Машина хуже поровнистого коня, когда не знаешь, как к ней подойти: ударит — с места не встанешь... А вот через недельку приедет князь. Если понравится ему, будешь ходить за лошадьми». В молодости я очень любил лошадей. Стал ждать князя. Дней через десять приехал он с двумя взрослыми дочерьми, с лакеем, горничными и восемнадцатью охотничьими собаками. У него было три породистых коня, да таких — каждый к звездам рвется. Ну, я с охотой принялся за работу. Ухаживал за конями — человек такой заботе позавидовал бы. А вечерами седлал их и сопровождал дочерей князя на прогулку. Сам князь часто отлучался из имения то в Андижан, то в Ташкент. Мне назначили неплохое жалование, жить можно было, и я уже подумывал о том, как бы взять к себе родительницу. Но однажды в полночь прибегает ко мне Фарманкул и говорит: «Ваша мать зовет вас». Я сразу почувствовал недоброе. Прихожу, а мать уже и говорить не может. Она только посмотрела на меня потускневшими глазами, шевельнула губами и испустила последний вздох. Так я и не понял, сказала ли она «прощай» или просила о чем...

— А может, хотела сказать: «Я ухажу, кто же теперь о тебе позаботится?» — тихо промолвил Сидыкджан, вспомнив о своей матери. — Каждая мать сердцем всегда с детьми.

— Да, спасибо, вот это правильные слова, — согласился старик и продолжал своей рассказ: — Похоронил я родительницу и хотел было вернуться в Аулиэ-Ата, да не пришлось — опять остался. В то время белый царь объявил набор коней для своего войска. Князь тоже отдал двух коней, а третьего велел мне обучить ходить

в коляске. А конь — подохнуть бы ему раньше! — был очень порывистый. Запряг я его, он и понес, как бешеный. Надо было мне сначала запрячь его в арбу, а тут...

Короче говоря, бешеный скакун опрокинул коляску в яму, порвал постромки и умчался в степь. Новенькая коляска, которую князь привез из Ташкента, была разбита в щепки, а я остался в яме под ее обломками. Сколько времени пролежал так без памяти, не знаю. Очнулся в доме Васи Темпа...

— У кого, вы сказали?

— У Васи Темпа. Механик был такой на водокачке. Славный парень, в Капсапчи все знали его. Вот этот русский парень три недели ухаживал за мной как за братом. Когда я поднялся с постели, чувствую — правая рука и нога совсем отнялись. Вижу — не могу работать. Пошел к управителю, говорю: «Уплатите мне, что полагается, — ухажу». А он мне: «Ты уж лучше помалкивай насчет платы. Ведь немало денег отдал князь за коляску». Что я мог ответить? Время сильного...

Распрощался я с Фарманкулом и его женой, поцеловал в лоб племянницу, сходил на кладбище, поставил свечу на могилу матери и зашел проститься к Васе Темпу. Механик уговаривал остаться, обещал даже подучить меня и поставить на легкую работу у машины, но я все же решил уйти. «Прощай, дорогой брат, — сказал я ему, — доброты твоей век не забуду!..» Дал мне Васи хлеба на дорогу, немного денег, и я ушел. На третий день пути пришел в город. Пробовал работать грузчиком, да много ли паработаешь вот с такой-то искалеченной ногой да одной рукой? Добрался до Аулиэ-Ата и там пристроился батрачить у прежнего своего хозяина. Как-как зарабатывал на хлеб...

Много ли, мало ли времени прошло, — трудно уж мне теперь вспомнить, — только за это время свергнуто был белый царь, а потом и другие кровонийцы. И захотелось мне повидать Васю Темпа, семью Фарманкула, посетить могилу матери. Опять направился я в Капсапчи. Прихожу и не узнаю знакомых мест: все три водокачки разрушены, вокруг разбросаны камни, изуродованные ржавые части машин. А там, где стоял дом Фарманкула, — груда сухой глины, перемешанной с черными головешками... Повстречался мне один из знакомых и рассказал, что на Капсапчи налетели басмачи.

Фарманкул и его жена погибли. А про племянницу и Васю Темина я так ничего и не узнал...

Вы слышали про Азизтелинское сражение? Оно началось возле кишлака Капсанчи. По рассказам людей, жена Фарманкула сражалась с басмачами, не отставая от мужа. И я верю. Она была такая женщина — могла стать во главе сорока молодцов.

— Да, вполне можно поверить, — задумчиво сказал Сидыкджан. — Она же и тогда ловко провела этого дурака эликбаши. А Фарманкул был, наверно, большевиком.

— Не знаю. Но это он с Васей Теминым поднял капсанчей на борьбу против баев. Тут, сын мой, такие дела начались... Баи распространили слух, будто курбани Иргаш получил от самого эмира Бухары благословение на священную войну за мусульманскую веру и идет во главе стотысячного войска. Народ заволновался. В пятницу после молитвы в мечети Абдуваккас ишан обратился к толпе с призывом выступить на священную войну против большевиков. Тангрикул-хаджи повел свою вооруженную банду громить совет, по ему преградили путь Фарманкул и Вася Темин во главе большой толпы дехкан, батраков и рабочих водокачек. Началась схватка. Тангрикул-хаджи первым распрощался с жизнью.

К вечеру прибыли двадцать три человека красных бойцов, но пока они восстанавливали порядок, в Капсанчи нагрянул из Актавука кем-то предупрежденный зять Тангрикула-хаджи Хайдар-пансат с отрядом басмачей в сто восемьдесят человек и окружил кишлак.

До самого рассвета сражались сторонники Васи Темина и красные бойцы против ста восьмидесяти басмачей. На поле боя остались трупы десяти красноармейцев и восьми человек из капсанчей, а остальные прорвались на реку в камышовые заросли. Утром Хайдар-пансат приказал выбросить в реку трупы семнадцати мужчин и одной женщины, а дома дехкан, которые ушли с красноармейцами, сжечь.

— Эх, надо было вызвать еще один отряд на подмогу! — с сожалением проговорил Сидыкджан.

— Сотня красноармейцев прибыла в тот же день, как раз время похороп Тангрикула-хаджи. И весь день продолжался бой в Капсанчи, а потом целые сут-

ки в Азизтепе. Хайдар-пансат был убит, басмачи разгромлены, но перед уходом они успели разрушить и сжечь водокачки и половину домов в кишлаке...

Вот как все это происходило, а я пришел в Капсапчи уже много времени спустя. Васю Темина и племянницу мне разыскать не удалось. Но почему-то была надежда, что Вася вернется, да и от могилы матери мне хотелось уходить, и решил я остаться в этих местах. Года два занимался сапожным ремеслом, потом работал чайханщиком у богатого бая Абдусамада-кары. Тем временем началась земельная реформа. У хозяина моего было много земли, но он сам пришел в комиссию и заявил: «Все излишки отдаю рабоче-крестьянскому правительству для распределения между издольщиками и угнетенными батраками...»

Сидыкджан удивился:

— Сам? По своей воле?

— Да.

— Ну, у нас в кишлаке таких не было.

— И здесь только один Абдусамад так поступил. После этого он закрыл чайхану, а меня рассчитал. Отправился я в Таллык и поступил там сторожем на хлопкоочистительный завод. Потом вот здесь, в Бишсерке, открылась база МТС, и один нарень, работавший на том хлопковом заводе, стал здесь начальником. Он привез меня сюда, поставил заведовать этой чайханой. Она ведь обслуживает больше рабочих МТС. Ну, получаю я теперь пенсию, работой доволен. Часто езжу в Капсапчи, могилу матери своей навещаю. В Капсапчи теперь колхозники роют канал, хотят вывести воду из реки на свои поля...

— А племянницу так и не разыскали? — спросил Сидыкджан.

— Долго разыскивал. Когда работал на заводе, три раза давал объявление в газету: «Кто знает Хапифу Усмапову, пусть сообщит в контору хлопкового завода в Таллыке». Нет, не помогло и это. Не нашлась моя племянница. Может быть, и погибла в те годы.

Старик умолк.

Где-то поблизости захлопал крыльями пестух и громко пропел свое предрассветное «кукареку». В ответ торопливо отозвался молодой петушок, и началась заливающая петушинная перекличка.

— Вот и вся моя история,— закончил старик, устало зевнув.— А теперь, сын мой, можно немного и поспать, а? До утра уже немного осталось.

Сидыкджана и самого разморило, и он с удовольствием растянулся на тахте.

## 2

Утром, напившись чаю, Сидыкджан стал собираться в дорогу, но чайханщик Курбан-ата остановил его.

— Подождите немного, поседете на машине. Грузовики МТС ходят до Наймана, а там до Кансанчи недалеко.

Сидыкджан еще никогда в жизни не ездил на автомобиле.

— Нет, что вы!— с испугом проговорил он.

— Отказываетесь? Почему?

— Да так...

— О плате не беспокойтесь,— не поняв замешательства гостя, сказал Курбан-ата.— Шоферы — свои ребята, скажем — и они подвезут.

— Мне еще не приходилось ездить на машине,— признался Сидыкджан.

Курбан-ата, продувавший трубу самовара, спросил:

— Что?

— Никогда, говорю, не ездил на машине.

Старик выпрямился и долгим, удивленным взглядом посмотрел на Сидыкджана.

— Это в каком же забытом людьми углу вы плесневели до сих пор?

Сидыкджан думал, что Курбан-ата, как и он, тоже никогда в жизни не ездил на автомобиле, и был немного удивлен и смущен его словами. Он даже покраснел от смущения и, сняв тубетейку, пощелкал пальцами по кромке. Особенно сильно задело его то, что такие слова ему пришлось услышать от шестидесятилетнего старика.

«Да, я действительно жизни не видел, а только плесневел у Зушун-ходжи»,— подумал он с горечью. И, как человек, знающий себе цену, он, подзадоренный словами старика, решил обязательно поехать на машине. В этот день на Найман не было ни одной машины, Сидыкджан



остался до следующего дня. Он помогал старику — дробил уголь, наполнял водой глиняную корчагу, даже разносил чай и подметал чайхану. Его не беспокоила мысль о том, что, если кто-нибудь из знакомых увидит его за таким занятием и допесет Зуннуу-ходже, тот будет злорадоваться. Курбан-ата, попяв, что его гость твердо решил дожидаться машины, сходил в МТС и спросил, будут ли машины в сторону Наймана.

Вечером за чаем Сидыкджан подробно рассказал старику о себе — о том, в каком углу он «плесневел до сих пор». Потом поделился своими сокровенными мыслями, которые неудержимо влекли его к новой жизни.

— Э-э,— внимательно выслушав гостя, улыбнулся Курбан-ата,— Урманджан, говоришь? Так ведь он мне вроде приемного сына! Когда я бываю в Капсанчи, останавливаюсь только у него. Какой сегодня день? Суббота? Сегодня он должен быть в МТС. Если еще не приехал, то приедет обязательно. А из МТС он не уедет, не повидавшись со мной.

Слова старика сильно взволновали и обрадовали Сидыкджана. Он то и дело поглядывал на улицу. Заметив, что Сидыкджан с нетерпением ждет старого друга, Курбан-ата еще раз сходил в МТС и, вернувшись, сказал:

— Он уже приехал, лошадь его стоит там.

Урманджан появился неожиданно. Ни Курбан-ата, ни Сидыкджан, который все время думал о нем, не заметили, когда он вошел во двор. Увидев Сидыкджана, который шел с чайником в руках к посетителям, сидевшим на краю водоема, Урманджан в изумлении остановился, не веря своим глазам. Курбан-ата не заметил Урманджана только потому, что в это время паливал воду в самовар. А Сидыкджан, возвращаясь с пустыми чайниками, поглядел на человека в белой войлочной шляпе и прошел мимо. Он не узнал Урманджана, может быть, потому, что тот начисто сбрил бороду, и обнаженное темное лицо его под большой шляпой казалось очень маленьким.

— Эй, байбача!— засмеялся Урманджан.— Поздравляю с новым ремеслом.

Узнав старого друга по голосу, Сидыкджан немножко растерялся, а потом, овладев собой, поставил чайники на землю и шагнул к нему. Урманджан, протянув ему руку, спросил:

— Давно в этих краях?

Курбан-ата, заметив Урманджана, разговаривающего с Сидыкджаном, не подошел к ним, а поспешил прежде всего приготовить место для отдыха в тени под карагачем. Пока старик выносил из чайханы палас и одеяла и расстилал их на суе, Сидыкджан успел рассказать Урманджану о своем разрыве с Зуннуном-ходжой.

— Теперь я уже от вас не отстану ни на шаг, Урманджан-ака,— сказал он дрогнувшим голосом.— Буду держаться за полу вашего халата!

Урманджан молча достал из нагрудного кармана кителя какую-то бумажку, прочитал ее и, сунув обратно в карман, проговорил безразличным голосом:

— А что даст тебе пола моего халата? Лучше уж поступай так, как самому нравится.

Сидыкджан, внимательно следивший за движениями Урманджана и за выражением его лица, услышав такой ответ, опустил голову.

— И пришел к вам, Урманджан-ака,— с трудом выдал он из себя.— И пришел к вам потому, что у меня, кроме вас, нет никого, с кем бы я мог поговорить откровенно.

Курбан-ата принес чайник с чаем и пиалы. Поставив все это на суе, он подошел к Урманджану, поздоровался с ним и пригласил друзей в тень. Взглянув на грустное лицо Сидыкджана, он понял, что разговор с Урманджаном у того не клеится, и ему стало жалко молодого дежканна. Он опустился на корточки возле суе и сказал теплым, задушевым голосом:

— Сынок мой, Урманджан, что прошло — травой поросло... Уж ты чем-нибудь помоги бедняге.

Урманджан засмеялся.

— Да я готов хоть сейчас! Всею душой хочу помочь. Только вот в чем дело...— Он потрогал пальцем халат и голенища сапог Сидыкджана.— Допустим, тебя примут в колхоз. А что ты будешь делать, когда пообщаешься, а новое справиться не сможешь? Не один раз поспеют дыни, пока наши колхозники смогут обзавестись новыми халатами и сапогами... У нас, в Кошчинаре, работы много, а еды мало. Ты же привык есть из большой кормушки — не выдержишь!

Курбан-ата, поглядев на Сидыкджана, подмигнул

ему, как бы говоря: «Это он нарочно пугает», а потом обратился к Урманджану:

— Сынок, ты уж не пугай его!

— Не пугаю, отец. Говорю только для того, чтобы он это знал. Когда покупают дом, не осматривают его с минарета. Ты знаешь, отец, в нашем колхозе было вначале двести тринадцать хозяйств, а сейчас в нем осталось всего сто восемьдесят четыре. Остальные ушли.

— Это так, Урманджан,— согласился Курбан-ата,— но ведь ты сам говорил, что колхоз начинает поправляться, крепнуть. Колхозники уже построили дамбу и избавились от бедствий, которые причиняли наводнения. Канал скоро будет закончен... Еще немного — и поля колхоза начнут давать большой урожай?

— А как же! — подхватил Урманджан. — В это все верят. Верят даже и те, которые сбегали. Они ушли из колхоза не потому, что не верили, а просто не выдержали тяжелой работы. Зато те, что остались — испытанный народ, готовы пройти через все лишения. Научились трудиться в коллективе. Видели, как они работали на канале зимой?

Курбан-ата вспомнил прошлую зиму. Стояли жгучие морозы. Сильные ледяные ветры обжигали лица людей, работавших на канале. Юноши и старики, обвязав лица платками, рубили кетменями мерзлую землю. Рядом с ними трудились девушки, молодые и пожилые женщины. У многих ноги были обернуты в старые лохмотья; чтобы они держались на ногах, поверх лохмотьев наматывались веревки.

— Правда, сын мой, — вздохнул Курбан-ата. — Кого ведет вперед надежда, тот преодолет путь, как бы труден он ни был.

Урманджан ничего больше не сказал, поднялся и ушел в МТС.

Опустив голову, Сидыкджан неподвижно сидел на месте. Курбан-ата привялся утешать его. Урманджан, уходя, ничего ведь не решил, а потому и отчаиваться преждевременно не следует. Но Сидыкджан, слушая старика, безнадежно смотрел в землю.

Прошло полчаса, в воротах появился Урманджан, в поводу он держал двух коней.

— А ну, — весело крикнул он, — на которого сядешь? Сидыкджан сразу встрепенулся, появив, что Урма-

джан пришел за ним. Курбан-ата тоже оживился и, поведлив бровями, с хитровой улыбкой посмотрел на Сидыкджана. «Вот видишь! Что я говорил?» — словно хотели сказать его улыбающиеся умные глаза.

Сидыкджан подбежал к рослому коню и схватился за поводья. Курбан-ата поспешил вынести из чайханы его заплечный мешок.

Попрощавшись со стариком, всадники двинулись в путь.

## ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

### 1

По берегам реки, начиная от Наймана и до самого Мирзаарала, простирались в прошлом байские земли. Между ними лежали большие и малые низины. Заселенные дехканами, они представляли собой махалли одного и того же кишлака Капсанчи. Дехкане работали на байских землях как издольщики и батраки. После Октябрьской революции, когда народ взял власть в свои руки, басмачи разрушили водокачки, подававшие воду на поля. Урожайность полей катастрофически снизилась, и многие дехкане в страхе перед голодом переселились в другие места. Советская власть провела земельную реформу, и земли баев были переданы дехканам — тем, кто трудился и продолжал трудиться на этих землях. В первый год после реформы разлилась река и смыла больше половины посевов, а в следующем году уже с весны началась засуха. От знойного дыхания раскаленной пустыни выгорели поля и пастбища. На дехкан надвинулся голод. В эти годы наводнения и страшной засухи еще часть жителей, несмотря на большую помощь Советской власти, покинула кишлак Капсанчи, и в нем вместо пяти осталось всего три махалли: Кошчинар, Бакакуруллак и Кугазар.

Перодовые дехкане — активисты и молодежь вскоре после земельной реформы сплотились вокруг сельсовета и с жаром принялись за строительство новой жизни. Они считали, что глупо сидеть на берегу мощной реки и ждать, когда с неба упадет на поля капля влаги. Они

подали заявление сначала в районный исполнительный комитет, а потом, получив с его стороны поддержку, обратились в областное управление водного хозяйства.

В кишлак приехал председатель райисполкома, созвал активистов и поставил вопрос о восстановлении одной из водокачек. Узнав, что речь будет идти о воде, на собрание пришли все жители кишлака. Площадка у развалин водокачки в Кугазаре заполнилась народом. Все внимательно слушали председателя райисполкома. Когда тот сообщил, что по просьбе жителей кишлака Капсанчи районная власть решила восстановить одну из водокачек и уже затребовала из Ташкента необходимое оборудование, собравшиеся шумно выразили свою радость. Но как только приступили к обсуждению вопроса о том, какую из трех водокачек надо восстановить, разгорелись споры. Капсанчи разделились на три группы. Каждая требовала, чтобы восстановили водокачку в ее махалле, каждой хотелось быть хозяином воды. Поднялся невообразимый крик.

— Если вы хотите восстановить водокачку в Бакакуруллаке, то нам совсем ничего не надо!— раздавались голоса протеста из одной группы.

— Во-во! По-вашему, надо восстановить в Кошчинаре? Тогда нам никакой воды не надо!— кричали другие.

Председатель райисполкома и активисты приложили немало усилий, чтобы успокоить дехкан и разъяснить им, почему легче начать с водокачки в Бакакуруллаке, чем в Кугазаре или Кошчинаре. Когда председатель райисполкома заверил, что позднее будут восстановлены водокачки и там, все, казалось, пришли к согласию, приняли обязательство как можно скорее выполнить поставленную задачу.

А задача была не из легких: надо было подвезти на строительство кирпич с места обжига, песок с реки, восстановить большие арыки, которые шли в обе стороны от Бакакуруллака, привести в порядок запущенные арыки на полях и вырыть новые.

Спустя два дня после собрания председатель сельсовета Самандаров переписал всех лошадей, ослов и волов в кишлаке, чтобы по очереди использовать их на работе. Рабочего скота у населения было мало, к тому же его не так легко было получить от капсанчей, и Самандаров боялся, что до прибытия строителей не успеют под-

везти кирпич и песок. Приходилось упрямить людей, чтобы не подвели в срочной работе. Не говоря уже о жителях Кошчинара и Кугазара, в самом Бакакуруллаке многие отлынивали от работы, ссылаясь на то, что рабочий скот истощен и не годен для перевозки тяжестей. Некоторые дехкане прятали лошадей и волов. А некий Туляган из Кугазара вбил гвоздь в копыто лошади, и она захромала. Но Самандаров и активисты все настойчивее разъясняли значение строительства и, увлекая дехкан на работу, сами стаповились во главе ее. Все же работа, рассчитанная на семь-девять дней, растянулась на три недели.

Наконец приехали строители-мастера и приступили к восстановлению водокачки.

На рытье новых и на расчистке старых арыков капсанчи показали себя еще менее дружными. Даже жители Бакакуруллака, работавшие на головном участке, не желали лишний раз ударить кетменем за пределами своего поля. Когда измученный Самандаров пытался пристыдить уклонявшихся от общественной работы, над ним смеялись.

— Не говори, что легко сплотить капсанчей, — легко слепить лепешку из кукурузы.

Но, как бы там трудно ни было, к дню пуска водокачки арыки были готовы и ждали воды. Это был торжественный день. Люди радовались так, словно вода должна была смыть все их бедствия, все горе и нищету. Прежние раздоры и споры были забыты.

Вот в эти дни капсанчи и услышали впервые слово «колхоз».

## 2

Странные, неожиданные вести стали приходить из Мирзаарала, из Бахрабада, из других кишлаков — будто дехкане, бывшие батраки и издольщики объединили там свои хозяйства в одно, выбрали руководителей и начали сообщца, одной огромной семьей обрабатывать землю.

Капсанчи не сразу поняли, почему и с какой целью дехканская беднота пошла по такому пути. Да многих это вначале не особенно заинтересовало. Но когда нача-

лось широкое колхозное движение и распространились слухи о проведении сплошной коллективизации, заволновались и капсанчи. Слово «колхоз» стало повторяться на все лады. Поднялись споры, хотя толком никто и не знал, что такое колхоз.

Как раз в самый разгар споров о колхозах в Капсанчи приехал секретарь районного комитета партии товарищ Ахмедов. Площадка перед водокачкой не могла вместить всех желавших послушать, куда же зовет дехканство большевистская партия и Советская власть.

Товарищ Ахмедов, начав свою речь с истории кишлака Капсанчи, стал рассказывать, как жили дехкане при баях и русском князе, когда они были издольщиками и батраками. Мужчина средних лет по имени Бутабай, сидевший позади Ахмедова, сердито крикнул:

— Знаем! Чего нам о прошлом напоминать? Хорошего было мало...

Ахмедов улыбнулся и возразил:

— Вот потому и напоминаю, что хорошего было мало. Чтобы лучше бороться за новую жизнь, надо не забывать и прошлую.

Некоторые дехкане, особенно молодежь, одобрительно и громко захлопали в ладоши.

Ахмедов заговорил о земельной реформе, проведенной Советской властью, благодаря которой батраки и издольщики получили землю. Говоря о распределении земли, он привел случай, когда отдельные дехкане, напуганные агитацией ишанов и мулл, отказывались брать и засеивать байские земли.

— У вас тоже были такие, — сказал он, увидев в первых рядах бывшего издольщика Камбарали. — Один из батраков так и заявил в земельной комиссии: «Не приму из рук божьих рабов землю, которой мне не дал бог!»

Послышался смех. А Камбарали покраснел и, опустив глаза, стал водить палочкой по земле.

— Конечно, — продолжал Ахмедов, — земля и вода — это самое необходимое для дехкана. Но, чтобы избавиться от нищеты, недостаточно иметь даже орошенную землю. Вы теперь сами видите это...

— Видим, что ничего не удвоилось у нас, — сказал старик Тилла-бобо, дехканин из Кугазара. — Что сдела-

ещь с землей, раз аллах лишил нас своей благодати? Мы все те же прежние ишмат-ташматы<sup>1</sup>.

— Это верно, отец, что ничего у нас не удвоилось,— ответил старику Ахмедов,— но я не согласен с тем, что вы остались «прежними ишмат-ташматами». Прежние ишмат-ташматы почти половину урожая, вырванного из земли зубами, отдавали баю, а нынешние дехканы свободны от этой тяжелой повинности.

Собрание снова шумно одобрило слова секретаря райкома.

— А теперь,— сказал Ахмедов,— посмотрим, в чем же заключается благодать, которой всегда ждет земледелец, но не всегда понимает, откуда она идет. Всем вам хорошо известно, что, например, Тангрикул-хаджи брал с каждого гектара земли до сорока пяти пудов хлопка. А сколько получали, ну, к примеру, вот вы, Гулям-ата?— обратился он к сидевшему в первом ряду черному, худому дехканину с длинной редкой седоватой бородой.

Гулям-ата, то бледнея, то краснея, медленно поднялся с места.

— Да какое было у меня хозяйство? Всего моего урожая не хватало на то, чтобы уплатить долги, потому я и перестал сеять хлопок,— глубоко вздохнув, сказал он и опустился на свое место.

— Значит,— продолжал Ахмедов,— хороший урожай всегда доставался большому хозяйству, а издольщикам нечего было и думать о такой благодати. В чем же тут дело? А вот в чем. Тангрикул-хаджи имел большое, крепкое хозяйство, а у издольщика хозяйство шаталось от легкого ветерка. Тангрикул-хаджи имел толстый кошелек и много земли, он мог оседлать десятки и сотни ишмат-ташматов и взять от земли все, что она могла дать, а вот Гулям-ата — кого мог он оседлать, кроме своего кетменя и самого себя? Так в чем же заключается секрет благодати высокого урожая? А в том, чтобы лучше обрабатывать землю и научиться брать от нее все, что она может дать. Это легко делать в крупном хозяйстве, где можно иметь и много рабочего скота и требуемый сельскохозяйственный инвентарь, машины, которые даст

---

<sup>1</sup> Ишмат и Ташмат — распространенные имена, стали нарицательными.



паша промышленность, удобрения и хорошие семена. Могут ли сейчас располагать всем этим дехканские хозяйства, большинство которых еще молоды, а старые едва дышат? Нет, не могут. Так что же делать? Есть два пути: один из них — это путь Тангрикула-хаджи, а другой — путь бывших батраков и издольщиков Мирзаарала и Бахрабада. Если пойти по пути Тангрикула-хаджи, то для того, чтобы появился один бай, присваивающий себе высокие урожаи, десятки и сотни батраков и издольщиков, вроде Камбарали и Гуляма-ата, должны остаться «прежними ишмат-ташматами». Но партия и Советская власть этого допустить не могут, никак не допустят! А вот если пойти по пути Мирзаарала и Бахрабада, тогда дехканские хозяйства, объединившись, превращаются в крупное хозяйство и становятся большой силой. Партия большевиков и Советская власть поддерживают такое хозяйство. Вот это и называется колхозом.

Ахмедов призвал капсанчей организовать колхоз и на том закончил свою речь. Посыпались вопросы. Ответив всем, секретарь райкома хотел сесть, но в это время поднял руку молодой парень с опухшим желтым лицом. Издав сухой гортанный звук, точно курица, подавившаяся зерном, он хрипло, с натугой крикнул:

— Вопрос!.. Значит, власть отнимает ту землю, которую сама дала дехканам?

В рядах дехкан послышался смех.

— У кого это отнимает? — спросил Ахмедов. — Отнимает у дехкан и отдает обратно баям, — так, что ли? Передайте тому, кто научил вас задать этот глупый вопрос, что землю, отобранную у баев, Советская власть передала настоящим ее хозяевам, а баям рассчитывать на нее нечего. Так и передайте!

Поднялся хохот, кое-где раздались рукоплескания.

Парень, не понимая, что произошло, стоял, вытаращив глаза и разинув рот.

Бутабай язвительно бросил ему:

— Протух твой вопрос, Нишанбай! Поди принеси что-нибудь посвежее от Акилхана-туры!

Снова послышался смех. Парень сел, угрюмо озираясь вокруг.

Начались прения. Первым попросил слово крепкий, стройный парень по имени Рузымат.

— Я скажу немного... — спокойно и твердо начал он,

щуря глаза.— Ахмедов-ака говорил о тракторной обработке земли. Я тоже хочу сказать об этом. Весной я был в Катаргале. Там организовался семенной совхоз. И вот как-то к директору совхоза приходит дехкан и говорит: «У меня, друг, сам знаешь, рабочей скотины нет. Что я буду делать с землей? Вспахал бы ты мой участок совхозным трактором, а я, сколько надо, отработаю за это совхозу. Если получу урожай, на будущий год обзаведусь лошадкой...» Ну, директор согласился, но когда увидел участок дехкана, сказал: «Пахать такие маленькие клочки земли трактором — все равно что стрелять из пушки по перепелкам. Вот если твои соседи согласятся соединить свои участки с твоим, тогда я за один день вспашу все это поле». После этого тринадцать хозяйств объединились в одно товарищество по совместной обработке земли. Директор совхоза прислал трактор, и за два дня эта сильная машина не только вспахала все поле, но и подняла соседнюю целину, которую раньше дехкане ничем не могли взять. Теперь у товарищества пахотной земли стало вдвое больше. А когда разложили оплату трактора на тринадцать дворов, то оказалось, что на один корм лошадям при такой пахоте пришлось бы истратить в пять раз больше.

— Вы понимаете теперь, что это значит? — спросил секретарь райкома.

— Трактор — выгодная машина.

— А еще?

— Он требует больших полей, объединения дехкан в товарищества, вот как в этом самом Катаргале.

— Зародыш, зародыш! — подхватил Ахмедов. — Вот из такого товарищества и вырастает колхоз. Сама жизнь заставляет дехкан объединиться... Ну, а еще что увидели там интересного?

— Хорошо трактор вспахал... да и люди дружно взялись за дело. Когда я вернулся из Катаргала и рассказал обо всем Бутабаю-ака, он сказал: «И нам, пожалуй, надо написать в район заявление». Но тут подходит к нам Тилла-бобо и говорит: «Что дорого — то мило, что дешево — то гнило; тут что-то неспроста, подождем, посмотрим...» — и отсоветовал писать заявление.

— Не я один так говорил, — педовольно проворчал Тилла-бобо.

Бутабай крикнул:

— Не вы один, но начали вы!

— Верно, и другие были против...— продолжал Рузымат,— они-то, и вы вместе с ними, и помешали двинуть дело. А почему бы нам не объединиться? Если мы объединимся, станем колхозом, государство даст нам трактор, и мы увеличим свое хозяйство в несколько раз. Вот что я хотел сказать... Да, чуть не забыл — у нас в кишлаке ходят разговоры, будто трактор выжигает землю, выводит из нее весь жир, и на такой земле будто даже трава не растет. И еще распускаются слухи о том, что трактор работает на сале свиньи.

— А вы знаете, от кого идут такие разговоры?— спросил Ахмедов.

Молодая женщина, с грудным ребенком на руках, еле слышно проговорила:

— От Нишанбая, от кого же еще? Нишанбай проходил мимо кладбища и слышал голос... Он сам об этом рассказывал. Другие подхватили — вот и пошло...

Ахмедов не смог сдержать улыбки.

— Так, так... Нишанбай, значит, распускает такие слухи? Но они исходят не от него самого, мне кажется, Нишанбай — вроде наседки: какое бы яйцо ни положил под него хозяин — куриное или утиное, все равно высиживает. Товарищ Бутабай здесь говорил, что одно тухлое яйцо под ним уже лопнуло. Другие, видать, такого же сорта...

По рядам дехкан опять прокатился смех. Ахмедов повысил голос:

— Вся эта злостная агитация, по-моему, идет от людей, которым невыгодно, чтобы вы объединились в колхоз! Есть у вас в кишлаке такие люди?

Со всех сторон послышались голоса:

— Есть!

— Найдутся!

— А раз так,— заключил Ахмедов,— пусть эти люди подадут голос не с кладбища, а вот здесь, перед народом.

— Правильно, товарищ Ахмедов! Пусть выйдут и скажут!— горячо проговорил Рузымат и вернулся на свое место.

Сейчас же попросил слово Тилла-бобо. Многие взглянули на Рузымата так, словно хотели сказать: «Ну, держись, парень, достанется тебе от старика!»

А Тилла-бобо, взяв в горсть длинную белую бороду, вышел вперед и, выпрямившись, посмотрел на Ахмедова открытым, спокойным взглядом.

— Хорошо ты сказал, сынок, верно: я уже не прежний капсанчи — я дехканчи! Когда я гнул спину на байбачу Шакирджана, я считал причиной своих несчастий то, что у меня не было ни земли, ни воды. Земля и вода были в руках Шакирджана. А теперь вот и земля у меня есть, и воды много ли, мало ли дает водокачка, а нет, не улучшается жизнь. Ни лошади, ни вола, — когда строили водокачку, я на своей спине таскал кирпичи. День-деньской маешься на своей земле, да одним кетменем много ли паработаешь? Только и радости, что своя земля, а нужда все та же. Вот почему я и сказал, что я все тот же прежний Ишмат. А причину этого, сынок, понял только сейчас, когда послушал тебя. Оказывается, ты лучше понимаешь наше положение, а значит, тебе ведом и путь к светлой жизни. Если это путь в колхоз, — веди нас туда, сынок, мы от тебя не отстанем. Второе мое слово о тех, у кого опять начинают отрастать когти. И тут я доволен тобою, сынок. Мягкое дерево разъедают черви. Нельзя проявлять мягкость к людям, которые хотят опять затянуть нам на шею петлю, сделать нас прежними покорными ишмат-ташматами. Кто эти люди? Мы хорошо знаем их. Это — Нугман-хаджи, Мирхамид-ходжа, Саид-Насыр, Акилхан-гура, Мирхайдар...

— Эй, бессовестный старик, зачем ты порочишь Мирхайдара-ака? — крикнул кто-то из задних рядов.

— А разве Мирхайдар не делает нас ишмат-ташматами?

— Кого это он сделал Ишматом? — раздался все тот же недовольный голос.

Тилла-бобо, откинув назад голову, обвел глазами задние ряды, но не нашел того, кто говорил, и сердито наммурил брови.

— Эй, ты, чего прячешься и чирикаешь, как пугливый воробей? Выйди сюда и скажи! А кто обрабатывает рисовые поля Мирхайдара в Тохлимергане? Кто ухаживает за его фруктовым садом в Митане? А ну-ка, Мамед-али, — обратился он к высокому парню, стоявшему на краю площадки, — за что дал тебе Мирхайдар на время пахоты свою пару волов? Чем будешь платить «благодетелю»?

Парешь пригнул голову, стараясь спрятаться за спинами стоящих перед ним.

— Вот это разве не показывает, как Мирхайдар делает из нынешних дехкан прежних ишмат-ташматов? — воскликнул Тилла-бобо и сурово закончил: — Надо пасть узду на таких людей, которые обманывают власть и по-прежнему сосут кровь дехкан, как пиявки!

После Тиллы-бобо говорили многие.

Одни, жалуясь на бедность, на то, что в хозяйство пет ничего, кроме кетменя да собственных рук, прямо заявляли о своем желании вступить в колхоз, другие задавали множество вопросов, колебались, не решаясь сказать свое последнее слово, но все поддерживали предложение Тиллы-бобо — принять решительные меры против кулаков.

Решение об организации колхоза было принято подавляющим большинством голосов.

Как будто все вопросы, поставленные на собрании, получили полную ясность. Однако не прошло и недели, как возникли новые сомнения, казавшиеся многим неразрешимыми, — и снова пошли среди капсанчей разговоры, споры и пререкания. Даже наиболее горячие сторонники колхоза неопределенно покачивали головами: такой недружный народ, — разве уживутся такие люди в одном хозяйстве? Сомневающиеся задумывались: а что, если организовать не колхоз, а маленькие колхозики из одинаковых хозяйств, куда бы вошли люди, которые доверяют друг другу?

### 3

Наступила зима. В начале января в Капсанчи прибыл председатель обкома партии и остановился в доме председателя сельсовета Самандарова. Второй секретарь райкома Шадиев, провожая его, говорил: «Там все дехкане единодушно подняли руки за колхоз. На кулаков показывают пальцем и требуют: «Уберите их вон!» Так что все готово: тронешь рукой — и вся масса сдвинется с места».

На следующий день было созвано собрание дехкан-бедняков.

Падал снег, в сумерках тускло белела земля. На деревьях надсадно и хрипло каркали вороны. Бедно одетые люди, ежась и дрожа от холода, один за другим подходили к чайхане на площади Бакакуруллака. Чайхана летняя, стены — щиты из камыша. В щитах много дыр, кое-как заклеенных газетной бумагой.

Внутри шумно, тесно. У женщины на руках плачет грудной ребенок. В углу вспыхивает и гаснет огонек чилима. Под потолком горит маленькая висячая лампа: ее слабый желтоватый свет падает на стол, покрытый красной бумажной материей, на портреты и плакаты, развешанные по задней стене, на головы людей, сидящих близко к столу.

Самандаров вывернул фитиль лампы, затем постучал карандашом по столу.

— Граждане, тише! Эй, апа, успокойте ребенка! А вы там, в углу, кончайте курить!.. Общее собрание дехканбедняков объявляю открытым. Будем обсуждать вопрос о колхозе. Слово имеет представитель обкома товарищ Сафаров!

— Товарищи!— заговорил Сафаров молодым, звонким голосом.— Меня направил к вам областной комитет партии, чтобы помочь вам организовать колхоз. Сам я рабочий — шахтер, но вырос тоже в киплаке, в дехканской семье. Отец мой жил в Кудаше и обрабатывал землю кокандского бая, кривого Адыла. Когда бая создали в Коканде свое правительство и им повадился командующий для несуществующего войска, этот самый кривой Адыл привез откуда-то бежавшего из Сибири головореза Иргаша и посадил его на белую кошму. Да вы, наверно, и сами не раз слышали об этом главаре байской контрреволюции — о нем в те годы даже песни пели:

Кому жаловаться, если у власти кривой Адыл?  
Начал он войну — сколько крови дехканской пролил!  
Но поднялся народ — и удрал проклятый Адыл,  
Удрал трусливый шакал в глубь Афганистана, в Кабул.

Несколько суровый с виду Сафаров теперь сразу показался всем близким, простым человеком. Собрание зашумело, лица батраков оживились.

Сафаров продолжал:

— Моего отца расстрелял один из курбашей этого са-

мого Адыла — Пайгамбаркул. Для чего я об отце говорю? А для того, чтобы вы яснее видели свое положение — положение бедняков-дехкан. Мой отец был бедняком, всю жизнь работал на бая Адыла. А когда он встал на борьбу за лучшую жизнь, кривой Адыл жестоко расправился с ним. И так всегда, — как только бедняк поднимает голову, бай поднимает камень. Вы видели это во время земельной реформы и раньше... Вот теперь и подумайте, что такое для вас колхоз...

— Знаем! — слышались голоса.

— Хорошо, — улыбнулся Сафаров. — Мне известно, что вы, когда у вас был секретарь райкома Ахмедов, вместе с дехканами Кошчинара и Кугазара дружно голосовали за колхоз.

Бутабай, сидевший позади всех, поспешно выплюнул изжеванный табак и, вытерев усы концом платка, которым была обвязана его голова, поднял руку.

— Можно? — спросил он и встал. — Я вот что скажу... Прав, тысячу раз прав товарищ Сафаров! Это верно, что мы дружно голосовали за колхоз. Почему? Потому что колхоз — полезное дело для бедняков. А почему — полезное? Потому что кулак запищал. Когда спросили у петуха: «Как ты узнаешь о приближении рассвета?», он ответил: «Очень просто — услышу, летучая мышь запищала — значит, скоро утро».

Все засмеялись, начали аплодировать.

Бутабай сел.

Поднял руку Камбарали:

— Вопрос... Вопрос к вам, товарищ Сафаров! Вот товарищ Ахмедов прошлый раз говорил, что колхоз ведет прямо в социализм. А что, он ведет туда всех или только тех, кто желает, а кто не желает — остается?..

Сафаров еле удержался от смеха.

— Эх, темный вы человек! — зашумел Бутабай и начал объяснять, что такое социализм, но, не находя нужных слов, сам попал в трудное положение.

Тогда Сафаров подсказал ему несколько примеров и помог ему объяснить суть дела.

— Нет больше вопросов? — снова заговорил Сафаров, когда Бутабай закончил свои объяснения. — Тогда я попрошу высказаться вот по какому вопросу. Кулаки-бай всюду мешают дехканам организоваться в колхозы, ведут злостную агитацию против колхозов, заугивают тех, ко-

го привыкли держать в своей кабале. Правительство приняло решение — отбирать у кулаков землю, инвентарь, скот, а их самих переселять в другие места. Как вы думаете, не настало ли время кое-кого выселить из вашего кишлака, чтобы не мешали вам строить новую жизнь?

Собрание минуту молчало, а потом вдруг всколыхнулось, зашумело, со всех сторон раздались одобрительные возгласы:

— Вот спасибо твоему отцу!

— Правильное решение — выгнать их всех из кишлака!

— Отобрать землю! Нашим потом и кровью нажили они ее!

— Тогда называйте тех кулаков, которых необходимо выселить, — предложил Сафаров и обернулся к председателю сельсовета: — А вы пишете, товарищ Самандаров. Первым... кого записать?

Все молчали. Дехкане нерешительно переглядывались, некоторые, опустив головы, смотрели в землю. Сафаров повторил свой вопрос. В первых рядах зашевелились, подняли головы и робко, озираясь друг на друга, назвали Нугмана-хаджи Каландарова.

— Пишите, товарищ Самандаров... Кто за то, — громко начал Сафаров, — чтобы раскулачить Нугмана-хаджи Каландарова, а самого его немедленно выслать отсюда? Голосую. Кто «за»?

Все подняли руки.

— Дальше кто?

Бутабай не вытерпел, сердито крикнул с места:

— Эй, народ, чего испугались?

Кто-то бросил в ответ:

— Говори, если не боишься!

Бутабай встал.

— Чего мне бояться? Пиши, товарищ Самандаров! Пиши в первую очередь Мирхамида-ходжу, Саид-Насыра, Акилхана-туру, Мирхайдара, Абдумалик...

Он не договорил — лампа вдруг, резко качнувшись, ударилась о потолок и, упав на пол, разбилась вдребезги. В темноте прогремели два выстрела. Все на секунду опешили от неожиданности, затем с громкими криками, давя друг друга, бросились к выходу. Камышовая стена чайханы опрокинулась. Послышался плач ребенка, вопли женщины. Что-то еще разбилось. Кто-то вскрикнул от



боли, кто-то крепко выругался. Над ламповым фитилем на полу вспыхнуло сначала синее, затем красноватое пламя. Это загорелся камыш опрокинутой стены.

Сафаров, выбежав во двор, заметил под стенкой двух человек, вцепившихся друг в друга. Одного из них он уже знал: это был Бутабай. Сафаров подбежал, ударил ногой в спину здорового человека, который душил Бутабая, рванул его за ворот халата. Бутабай, вскочив на ноги, схватил валявшееся на земле ружье и замахнулся им. Сафаров удержал его.

— Не надо! Вяжите, от суда не уйдет.

А с площади неслись голоса:

— Держи!

— Бей!

Донесся голос Самандарова:

— Стой, стрелять буду!

Сафаров выбежал на площадь. Там по белому снегу в разных направлениях быстро мелькали фигуры людей. Раздался выстрел. Фигурка человека, бежавшего к реке, ткнулась в снег...

Пожар в чайхане удалось потушить. С площади стали подходить люди, возбужденные, злые. Появились светильники. Бутабай стоял во дворе с ружьем, как на часах; в двух шагах от него лежал связанный Мирхайдар. А через несколько минут привели и Акилхана-туру.

Когда Самандаров, взяв в руки светильник, вошел с группой дехкан в чайхану, кто-то испуганно вскрикнул:

— Тилла-бобо!..

Все обернулись на голос. Самандаров поднес светильник. Тилла-бобо лежал, прижав головой к земле. Из разорванной байской пулей шеи на его белую бороду струилась алая кровь.

Акилхан-тура промахнулся — он выстрелил в Бутабая, а попал в старика...

## 4

Собрание в чайхане продолжалось и вечером следующего дня. Рузымат, хотя и не назначили его в охрану, стоял у входа с длинной палкой в руке. Каждого вновь приходившего он останавливал, внимательно вглядывался в лицо и только после этого пропуская в помещение.

На собрании Самацдаров огласил список кулаков, которые подлежали выселению. Дехкане единодушно голосовали за утверждение списка. Некоторые из высугупающих при этом указывали, что баи уже начали резать и прятать рабочий скот, увозить в другие кишлаки имущество. Собрание потребовало от сельсовета скорейшего выселения кулаков. Тут же на собрании из активистов были выделены три группы содействия.

Группа в составе Рузымата и Камбарали, во главе с Сафаровым, направилась к Мирхамиду-ходже. Его усадьба, обнесенная высокими дувалом, спаружи ничем не отличалась от многих других усадеб в Кошчинаре. Но то, что увидел Сафаров, войдя в ворота, поразило его. Он даже не представлял, что ходжа так богат. Не усадьба — имение: четыре дома на высоких кирпичных фундаментах, с высокими балконами вдоль стен, разрисованных олеандрами, вазами и кувшинами, фруктовый сад, виноградник, несколько в стороне — конюшни, сарай для коров и овец, кладовые.

Мирхамид-ходжа встретил Сафарова и его спутников как дорогих, долгожданных гостей. Низко кланяясь, он ввел их в комнату, где вокруг сандала были разостланы шелковые одеяла, лежали большие пуховые подушки, а на самом сандале разложены всякие угощения.

Когда Сафаров и его спутники сели, Мирхамид-ходжа достал из сандала большой чайник. Налив в пиналу чай, он сначала сам отхлебнул из нее, а затем протянул Сафарову и, улыбувшись, спросил:

— Как ваше здоровье?

Рузымат, присевший на пятки возле самой двери, исподлобья взглянул на представителя обкома, словно хотел сказать: «Что же мы пришли сюда — дело делать или байским чаем угощаться?» Сафаров кивнул ему головой, давая понять, чтобы он начинал разговор.

Рузымат откашлялся и начал, хмуря брови и сердито поглядывая на бая:

— Я вам прямо скажу...— Лицо Рузымата приняло решительное выражение, карие глаза стали строгими.— У нас было собрание, вы знаете... Дехкане решили отобрать у вас все, что вы нажили на нашем труде. А вас самого немедленно выселить из кишлака Капсанчи.

Услышав слова молодого дехканаина, Мирхамид-ходжа вздрогнул; его круглое, жирное и красное лицо по-

крылось мучнистой бледностью, а холеная, с легкой проседью борода задрожала. Он, казалось, был оглушен и не знал, что ответить на слова Рузымата. Стараясь не выдать злобы и ярости, клокотавшей в его груди, он поднял пухлую руку и тыльной стороной большого пальца стал вытирать покрасневшие и заслезившиеся глаза.

— Так... значит, так, — промолвил он и, не отнимая руки от глаз, которые слезились все больше и больше, отрывисто, пытаясь улыбнуться, забормотал: — Так, так... очень хорошо. Очень! Древние говорили: «Не тому, кто стремится, а кому суждено». Мы суетились, гнались за добром, построили дом, обзавелись хозяйством, а, оказывается, не нам суждено пользоваться всем этим. Очень хорошо. Вот и все, больше я ничего не могу сказать. За все будем вас только благодарить. Называете кулаком — благодарим. Будете выгонять — тоже поблагодарим. Мы до сих пор от Советской власти ничего, кроме справедливости, не видели. На свете не было еще власти, которая бы так заботилась о народе. Поэтому мы обязаны признать справедливость такой власти... подчиняться ей беспрекословно во всем. Мы так и делали. Другие подняли руку, замахнулись, мы, низко поклонившись, сложили руки. Другие прятали, мы... вот сами видите: и спички не вынесли за порог.

Рузымат сначала хмурился, старался быть строгим, но к концу сладкой и покорной речи Мирхамида-ходжи строгость постепенно сошла с его лица. А Камбарали, сидевший подле Рузымата, даже глубоко вздохнул, слушая кроткие излияния кулака. Сафаров внимательно слушал, улыбаясь про себя, а когда Мирхамид-ходжа кончил, спокойно спросил:

— Этот дом, вероятно, достался вам от отца?

— Нет, — ответил Мирхамид-ходжа, — здесь были развалины... пустое место.

— Развалины? — переспросил Сафаров.

— Да. Здесь все дома были сожжены басмачами. Мы тогда, чтобы дать пропитание пуждающимся беднякам, построили этот дом.

— В голодный год?

— Да.

— Заставили работать голодных бедняков за чашку джугары? Во сколько же вам обошлась постройка дома?

Сафаров настойчиво продолжал расширивать бая,

изредка поглядывая на Рузымата и Камбарали. «Ну, друзья, слушайте выпмательно,— как бы говорили его хитро поблескивающие глаза.— Слушайте и смекайте, в чем дело!»

Рузымат сразу опомнился. В лице Мирхамида-ходжи перед ним снова предстал безжалостный враг, коварный, умеющий наживиться на несчастье народа. Брови молодого дехканина сурово сдвинулись, карие глаза сверлили ходжу злым взглядом. Но Камбарали продолжал сидеть с таким мирно-здумчивым выражением на замкнутом усатом лице, словно все, о чем расспрашивал Сафаров бая, его не касалось.

Мирхамид-ходжа хотел что-то сказать, но Рузымат вдруг поднялся и резко оборвал его речь:

— Знаем!.. Давайте-ка лучше займемся делом — нам нужно описать ваше имущество и сдать по описи колхозу. А вы завтра к вечеру должны освободить дом — выехать отсюда и как можно подальше!

Мирхамид-ходжа, поджав губы, почтительно поклонился.

— Хорошо, хорошо, со всей душой... Только зачем же спешить? Садитесь, позавтракаем, поговорим, а потом...

— Завтракать у нас нет времени,— отрезал Рузымат и обратился к представителю обкома:— Товарищ Сафаров, с чего начнем?

— Начнем с конюшни,— предложил Сафаров и тоже встал.

Поднялся и Камбарали. Все вышли во двор. Сафаров и Рузымат направились прямо в конюшню.

— А вы посмотрите пока коров,— предложил Мирхамид-ходжа, догоняя Камбарали.

— Ладно...— хмуро отозвался тот.

В сарай вошли вдвоем. Там стояли четыре вола, две коровы и два теленка. Мирхамид-ходжа притворил изнутри дверь и кивнул головой, подзывая Камбарали. Тот не понял.

— Подойди поближе,— сказал шепотом Мирхамид-ходжа и вынул из-за пазухи что-то завернутое в платок.— Хи-хи... Сафаров из рабочих? Он, говорят, работает на шахте... Положение рабочего известно. И ваше положение я знаю. Вот это и разделите между собой... Берите! Но это не все, подбавлю... А тот парень еще молод, ему не говорить. Хи-хи.

И не успел Камбарали понять, о чем речь идет, как Мирхамид-ходжа сунул довольно большой сверток ему в руку. Камбарали удивленно спросил:

— Что тут такое?

— Положите за пазуху, потом посмотрите.

Камбарали развернул платок и, увидев толстую пачку денег, оторопел от удивления и испуга.

— Спрячьте за пазуху, спрячьте!— заторопил Мирхамид-ходжа, тревожно озираясь на дверь.

Совсем близко раздался возмущенный голос Рузымата: «А где же рыжая лошадь?» По-видимому, он и Сафаров подходили к сараю. Мирхамид-ходжа взял деньги из рук растерявшегося Камбарали и засунул их ему за пазуху. Открылась дверь, и на пороге показался Сафаров. Мирхамид-ходжа сорвался с места, бросился к корове и стал отвязывать ее от столба.

— Хи-хи... Молочная! Доится три раза в день. Хи-хи...

Сафаров, заметив растерянное лицо Камбарали, обратился к нему:

— Что у вас тут случилось?

Камбарали вытащил деньги из-за пазухи и протянул их Сафарову.

Тот сразу сообразил, в чем дело. Мирхамид-ходжа, положив руку на спину коровы, стоял с застывшей улыбкой на раздвинутых толстых губах.

— Сколько вы дали?— строго спросил Сафаров.

— Пять... пятьсот... червонцев, хи-хи...

— А кто вам сказал, что можно купить честного колхозника?— бледнея, крикнул Сафаров.

— Э... э...— растерянно забормотал Мирхамид-ходжа...— Я... я... давал это, хи-хи, не как взятку, а в помощь колхозу... со всей душой... Неужели вы подумали?

— В помощь?— Сафаров недобро усмехнулся.— Вы всегда так щедро раскошеляетесь?

— Да нет... но... Вот ведь описываете же вы все, что у меня есть, так я отдал и деньги... Сам, добровольно, хи-хи...

Камбарали расвирипел, лицо его налилось кровью.

— Лжете... зачем лжете?— яростно крикнул он.— Вы же сказали, чтобы я поделил деньги с товарищем Сафаровым! Ведь так было? Зачем вы лжете?

— Хи-хи... Вы не поняли. Я хотел через вас передать деньги колхозу.

— Хорошо,— сухо сказал Сафаров.— Напишите заявление в сельсовет. Пишите так: «Вношу пять тысяч рублей в пользу колхоза». И сейчас же отнесите деньги товарищу Самандарову, а нам покажете его расписку. Если этого не сделаете, пеняйте на себя. У нас это строго карается...

— Хорошо, хорошо. Мы так и сделаем,— испуганно забормотал Мирхамид-ходжа.— Я не знал, что надо сдать деньги в сельсовет и с заявлением. Хорошо... я это сделаю со всей душой.

Сафаров молча протянул сверток Мирхамиду-ходже, и тот побежал в дом, чтобы написать заявление. Рузымат, привязав лошадей во дворе, вошел в сарай.

Опись скота и инвентаря Мирхамид-ходжи продолжалась до позднего вечера.

## 5

Когда Сафаров вошел в сельсовет, трое сидевших в передней дехкан встали и приветствовали его. Ни на одном из собраний представитель обкома не видел этих людей. В комнате Самандарова сидели еще двое. Поздоровавшись со всеми, Сафаров сел на старый, с торчащими пружинами диван и закурил. Самандаров взял со стола несколько исписанных листов бумаги, улыбаясь, подошел к нему и сказал по-русски:

— Лед тронулся, товарищ Сафаров, середняк зашевелился. Пять заявлений...— Он передал бумаги представителю обкома.

— Очень хорошо,— улыбнувшись, проговорил Сафаров и стал читать одно из заявлений, написанное по старой орфографии, арабскими буквами:

«В сельсовет кишлака Капсанчи

### ЗАЯВЛЕНИЕ

Я, Мухитдин Мухамедсалихов сын, проживающий в махалле Кугазар кишлака Капсанчи, подаю настоящее заявление о том, что в эпоху трудящихся у меня открылись глаза и я принял путь колхозов, открытый рабоче-крестьянской властью, и надеюсь, что колхоз примет меня вместе с одним волком, одной козой, одним ослом и

двенадцатью курицами, в чем по своей воле приложил палец.

Мухитдин Мухамедсалихов сын  
в месяц яшварь».

— А кто это такой?— спросил Сафаров, почувствовав какую-то неприязнь к автору заявления.

Самандаров не успел ответить, как один из сидевших в комнате дехкан, вскочив с места, подошел к двери и, приоткрыв ее, сказал громким шепотом:

— Мухитдин, заходи, сейчас твое заявление разбирать будут.

В комнату вошел худой безбородый человек в широком ватном халате и теплой шапке без меховой оторочки. Низким густым басом, не соответствующим его внешности, он сказал:

— Это я — Мухитдин Мухамедсалихов сын.

— Кто вам писал заявление?— спросил Сафаров.

— Кары писал. А что — или не так? Но дело не в том, домулла, что написано. Я сказал — вступаю в колхоз, значит — вступаю.

• Сафаров засмеялся.

— Так, все понятно... А ну, садитесь сюда, поговорим. Ведь вы как будто не плохо живете. Не бедняк. Почему же решили вступить в колхоз? Что заставило вас подать заявление?

Мухитдин присел на край дивана, неторопливо заговорил:

— Уж вы скажете, домулла. Не плохо... Чем так жить, как я живу, лучше иметь долг в сто золотых. Я один, как палец, а семья большая, все требует: «Дай поесть!» А тут еще вол, осел... они тоже есть хотят. Где же мне взять на столько ртов? Пшеница — не урюк, который сам собой цветет и дает плоды. Чтобы земля дала хороший урожай, кроме силы моих рук, нужны удобрения, хорошие семена, а у меня ничего этого нет. Купить? Кошелек пуст! Сеять много — силы не хватает, а посеешь мало — семью не прокормишь. А сколько заботы и тревоги с этой землей: выпадет дождь немножко больше, так со страхом в душе начинаешь бить лягушек<sup>1</sup>. Если вол заревет подряд два

---

<sup>1</sup> По старинному поверью, если убьешь лягушку, поднимется ветер и разгонит тучи.

раза — всю ночь не сплю: то и дело кожу с коптылкой в хлев. Нет, домулла, невеселая это жизнь — бить лягушек.

А если я заболел? Что станет со мной и моей семьей, если нагрянет на мой одинокий дом какое-нибудь бедствие? Кто мне поможет? Никто. А колхоз, оказывается, другое дело, прочное, — это недавно секретарь нашего райкома товарищ Ахмедов нам объяснил. После того как уехал товарищ Ахмедов, долго я думал, почти не спал — думал. И, подумавши, твердо решил подать заявление, чтобы приняли меня в колхоз. Вот и подал.

Сафаров ударил ладонями по своим коленям и встал.

— Послезавтра на собрании первое слово будет ваше, Мухитдин-ака.

Мухитдин беспокойно поднялся и, обратившись к председателю сельсовета, который, глядя на него, приветливо улыбаясь, спросил:

— Что же я должен сказать?

— А то, что сейчас говорили мне. Хорошо говорили. Вот это и скажете на собрании.

— Я достиг уже зрелости, но еще никогда не говорил на собраниях.

— Надо учиться.

— Домула, — вздохнул Мухитдин, — зачем мне учиться? Зачем речи говорить?

— Если вы вступаете в колхоз, то вам надо уметь говорить с народом. Без этого не обойтись.

— Я на любом деле обойдусь кетменем.

— На одном кетмене, товарищ Мухитдин, далеко не уедешь. До сих пор он вам плохо помогал, и вы только что правильно жаловались на него.

Мухитдин, не зная, что возразить, задумался и, вспомнив, что говорил Ахмедов, ответил его словами:

— До сих пор дехкане были рабами земли.

В разговор вмешался Самандаров:

— Да еще не своей, а чужой. А теперь?

— Теперь? — Мухитдин улыбнулся и уверенно сказал: — Теперь я стану хозяином земли паравне со всеми!

— Правильно! — воскликнул Сафаров. — Станете хозяином земли, колхоза, большого хозяйства. А человек, который становится хозяином, думает о недостатках в своем хозяйстве, болеет душой за него; он дает советы и сам слушает других, он обязан высказывать свое мнение



по всем вопросам, которые его близко касаются, а для этого надо научиться говорить. Надо, необходимо, Мухитдин-ака!

— Научимся, товарищ Сафаров. Постараемся.

— Когда?

Мухитдин, засунув руку под шапку, почесал затылок и вдруг решительно заявил:

— Ладно, уж если надо, буду говорить!

Обрадованный тем, что его заявление принято, обласканный дружеским разговором, Мухитдин ушел очень довольный, с высоко поднятой головой. Остальные дехканы тоже поднялись. Проводив их, Сафаров прочитал другие заявления.

— А кто этот Абдусамад-кары?— спросил он.

— Один из местных дехкан,— отозвался Самандаров.

— Что-то не похож он на дехканина.

Самандаров выдвинул ящик стола.

— Я как раз хотел поговорить с вами об этом человеке,— сказал он, перебрыая бумаги.— До земельной реформы он имел много земли и держал несколько батраков. А во время реформы он заявил: «Все свои земельные излишки отдаю рабоче-крестьянской власти для распределения между трудящимися издольщиками и батраками». Вот протокол — это его точные слова.

Сафаров засмеялся.

— А что ему оставалось делать? Излишки земли у него все равно бы отобрали.

— Сейчас легко говорить, но в то время землевладельцы по ночам охотились за нами с топорами. Такое выступление показывало человека с хорошей стороны.

— А что он делает сейчас?

— Дехканин. Имеет хозяйство ниже среднего, но выше бедняцкого.

— Хотите принять его в колхоз?

— У нас нет никаких оснований не принимать его. Я хочу еще сказать, что он грамотный и умеет работать. Для колхоза сейчас найти секретаря труднее, чем председателя. Не плохо бы сделать его секретарем. Как вы думаете?

Сафаров встал, прошелся, потом закурил папиросу и, пуская колечки дыма, ответил:

— Думаю, что колхозники решат вопрос и о председателе, и о секретаре.

— Да, но здесь нужен грамотный человек.

— Колхозу потребуется немало грамотных людей,— сказал Сафаров.— Но искать их надо не среди бывших кулаков, хотя бы и добровольно отказавшихся от излишков земли. Мне известно, что в некоторых кишлаках сельсоветы создали школы для молодежи, для таких вот парней, как Рузымат, которому надо только помочь немного, и он легко одолеет грамоту. Вот об этом нам надо серьезно подумать, товарищ председатель.

## 6

Не прошло и двух недель со дня первого организационного собрания бедняков, как большинство дехкан кишлака Капсанчи подало заявление и вступило в колхоз: одни — уверенные, что «наша рабоче-крестьянская власть не поведет дехканство по плохой дороге», другие — следуя примеру первых, а некоторые — рассуждая, что «раз власть взялась за это дело, она будет доводить его до конца».

Сельсовет переехал в Найман, а его прежнее помещение отвели под правление колхоза. Вся мебель правления состояла пока из одного стола, трех скамеек и большого деревянного сундука.

Обобществленный скот разместили в огромном дворе Нугмана-ходжи.

Если не считать мелочных споров о яйце, снесенном курицей, или о том, сколько какая корова дает молока, — обычных женских препирательств, в которые мужчины не вмешивались, — колхозники были очень дружны во всем, что касалось общего хозяйства. Капсанчи, которые при строительстве водокачки считали каждый принесенный кирпич и не хотели лишний раз ударить кетменем ради общего дела, сами дивились теперь своей сплоченности: они словно влились в одну семью. Правда, при выборах правления колхоза опять дала себя знать старая болезнь — поспорили крепко, но споры продолжались недолго. Многие колхозники из Кошчинара хотели провести в члены правления своих людей. Против этого решительно восстали жители Бакакуруллака, а их поддержали жугазаровцы, выдвинув своих кандидатов. Споры о кац-

дидатах разрешил Сафаров, предложив обеспечить представительство в правлении от колхозников каждой махаллы. На этом все и согласилось. Председателем был единогласно избран бойкий и предприимчивый Бутабай.

Колхозные дехкане зажили мирно, дружно, и если бы этот мир не был нарушен со стороны, во всем Кансанчи к весне не осталось бы ни одного единоличного хозяйства.

Но в эти дни в кишлаке Ходжа вспыхнула смута. И так как там против коллективизации выступили не только кулаки, то пришли в смятение те жители Кансанчи, которые только еще собирались вступить в колхоз. Снова поползли слухи — нелепые, пугающие: «Скоро и жены у тех, кто вошел в колхоз, будут общими»; «Все будут питаться из общего котла и спать под одним одеялом»; «У тех, кто не войдет в колхоз, отберут все имущество». Под влиянием этих слухов многие единоличники принялись резать скот или перегонять его на базары и сбывать за бесценок. Волнения в соседнем кишлаке Ходжа, слухи об общих женах, постелях под одним одеялом, уничтожение скота единоличниками заставили насторожиться и вновь призадуматься часть колхозников.

Как-то ночью, после проведенной в правлении колхоза беседы с агитаторами, Сафаров и Бутабай вышли на улицу и направились в Найман. Когда они вошли в сельсовет, Самандаров, приподняв левую бровь, читал за столом какую-то бумагу. Напротив него, на скамейке, сидел с опущенной головой Туляган. Увидев Сафарова и Бутабая, дехканни вздрогнул, сделал движение, как бы намереваясь подняться, но остался сидеть, а Самандаров так углубился в бумагу, что даже не заметил вошедших. По выражению лица обоих Сафаров понял, что между ними что-то произошло, и, чтобы не мешать Самандарову, на цыпочках подошел к дивану и сел. Бутабай остался стоять у порога.

Кончив читать, Самандаров поднял глаза на дехканна.

— Удивил ты меня, Туляган-ака. Скажи, почему ты решил уйти из колхоза?

Сафаров протянул руку к бумаге.

— Можно?

Это было требование вернуть Тулягану обратно то заявление, в котором он просил о принятии его в колхоз. Са-

Фаров прочел заявление и положил на стол председателя сельсовета. Затем, обернувшись к Тулягану, спросил:

— Почему выходите из колхоза? Поверили слухам?

Туляган поднял голову, но тут же, не ответив на вопрос, опустил ее.

У Самандарова от гнева кровь прилила к лицу.

— Да говори же наконец! Что ты молчишь? Язык, что ли, отсох?

Туляган снова поднял голову, посмотрел на председателя, потом, отведя глаза в сторону, хмуро пробормотал:

— Все сказано в заявлении.

— А о чем ты просил раньше?— еще более гневно спросил Самандаров.

Туляган, туго и мрачно уставившись глазами в угол, ответил:

— Мухитдин наставлял: «Запишемся, Туляган-ака, вместе»,— вот я и записался, не мог тогда отказать ему в просьбе.

— А ведь Мухитдин не требует обратно свое заявление!

— Это его дело. У каждого своя могила. А я хочу взять свое обратно.

Самандаров совсем вышел из себя и грозно крикнул:

— В кишлаке Ходжа ходжи и их прихвостни развалили колхоз! Ты хочешь присоединиться к ним? Стать прихвостнем ходжей?

Туляган сердито посмотрел на председателя сельсовета.

— Это я-то прихвостень?.. Пускай теперь ходжа сам станет моим прихвостнем! Не старое время...

Самандаров рывком выдвинул ящик стола и начал рыться в нем, ища старое заявление Тулягана.

Сафаров кивнул Бутабаю, и тот обратился к дехканшу:

— Эй, Туляган-ака, послушайте,— мягко заговорил он.— Нехорошо вы поступаете. Человек вы умный, а верите разным слухам, которые распускают кулаки. Придет время, жалеть будете.

— Это он-то умный? Сказал! Была б у него голова, не слушал бы разных ходжей. Он и тогда жалеть не станет, когда увидит, что прогадал, а просто вздохнет и скажет: «Значит, судьба такая,— нет у меня счастья».— Са-

мандаров вынул из ящика заявленное Тулягана, положил его перед ним и, не глядя на него, буркнул:—Бери и уходи!..

Сафаров укоризненно взглянул на председателя сельсовета и покачал головой, давая понять, что нельзя так разговаривать с дехканном.

Туляган медленно поднялся и, взяв свое заявление, нерешительно повертел его в руках.

— Теперь вернут мне лошадь и быка?— спросил он председателя сельсовета.

— Послушайте. Туляган-ака,— обратился к нему Сафаров,— ваша лошадь и бык стоят на месте, никто их не съест. Но вы понимаете ли, что собираетесь делать? Сказано: семь раз отмерь, один раз отрежь. Подумайте еще раз, хорошенько подумайте и помните — позднее раскаяние впрок не идет.

— Не будет тебе ни лошади, ни быка.— сказал Самандаров и подмигнул Сафарову.

Туляган, вытаращив на него глаза, медленно опустился на стул.

— Что? Насилье? Хотите насильно оставить в колхозе? Нет, брат, не такие теперь времена, чтобы... Нет такого порядка!— вдруг крикнул Туляган, и лицо его покраснело от гнева.

— Когда трудящийся дехкан сам не понимает своей пользы, мы заставим его понять!— строго сказал Самандаров.

— Я понимаю, что идет на пользу дехканну! Хорошо понимаю!

— С каких это пор?— вмешался в разговор Бутабай.— Когда надо было возить песок и кирпичи на постройку водокачки, кто забил гвоздь в копыто своей лошади, чтобы она охромела? Ты! А для кого мы восстанавливали водокачку? Для тебя же, дехканна. Так-то ты понимаешь свою пользу? А ну, говори, если у тебя язык не отнялся!

Туляган опустил голову: ему нечего было сказать в ответ на справедливые слова председателя колхоза. Тогда Сафаров подошел к нему и, взяв из его рук заявление, вернул председателю сельсовета.

— Вот так, Туляган-ака, ваше заявление не пропадет в ящике, а вы подумайте еще раз. Подумать никогда не мешает. Хорошо?..

Ничего не ответив Сафарову, Туляган резко повернулся и вышел. Это было так неожиданно для всех, что Бутабай сердито сплюнул и пошел на улицу вслед за Туляганом, а представитель обкома и председатель сельсовета взглянули друг другу в глаза, и у обоих мелькнула одна и та же мысль: «Разозлился или действительно передумал?»

Сафаров закурил папиросу и нервно зашагал по комнате, как всегда в минуты раздумья. Как лучше поступить в подобном случае, он и сам не знал. Вернуть дехканину вместе с его заявлением быка и лошадь, — пожалуй, и другие середняки за ним потянутся. Не вернуть — значит, подтвердить злостные сплетни кулаков, будто коллективизация носит принудительный характер.

Самандаров, облокотившись на стол, заглянул в окно и, ничего не увидев в ночной тьме, обернулся к представителю обкома.

— Ну, товарищ Сафаров, что же получается?

Сафаров откусил зубами намокший конец папирозного мундштука и, выплюнув его, ответил задумчиво:

— Получается?.. Скверная штука получается. Не знаю, что и делать. Придется поехать в райком посоветоваться.

## 7

На другой день к Самандарову пришли еще два дехканина с заявлениями об уходе из колхоза. Сафаров, посоветовавшись с Бутабаем и Самандаровым, решил немедленно ехать в районный центр, но, выйдя из сельсовета, лицом к лицу столкнулся со вторым секретарем райкома Шадиевым.

В сельсовете Шадиев пробыл очень недолго. Сафаров, председатель сельсовета и председатель правления колхоза надеялись сразу же получить исчерпывающие ответы на все неясные вопросы. Все их сообщения о колхозе неизменно заканчивались словами — «как быть?». Но Шадиев говорил больше сам и плохо слушал, — говорил о колхозах вообще, не давая никаких конкретных указаний. А когда его все же попросили точнее сказать, ка-

кой линии следует держаться по отношению к среднему дехкану, разразился короткой, по чрезвычайно напористой речью:

— Всех в колхозы! Через три недели, самое большее — через месяц, в кишлаке не должно остаться ни одного единоличника!

Самандаров бросил недоумевающий взгляд на Сафарова, и тот, сразу поняв этот взгляд, спросил, как быть, если некоторые середняки уже подают заявления о выходе из колхоза. Шадиев, даже не дослушав Сафарова, стал кричать:

— Как? Что? Выходят из колхоза? Не пускать! Вы знаете, чем это пахнет? За каждого дехкана, который выйдет из колхоза, вы отвечаете своим партийным билетом!

Шадиев уехал. Сафаров был хмур, задумчив и курил папиросу за папирсой. Но ему не хотелось показывать свое подавленное настроение ни Самандарову, напуганному криком секретаря райкома, ни Бутабаю, который совсем пал духом. И он, приободрившись, заговорил своим обычным, решительным тоном:

— Главная наша забота теперь — о середняке. Нельзя допустить, чтобы кулацкая агитация отрывала от нас средних дехкан. А разъяснительная работа у нас действительно поставлена плохо. Надо усилить.

На следующий день поступило еще два заявления о выходе из колхоза, через день еще одно, потом еще два... Самандаров выходил из себя, ругался, но ничего поделать не мог.

Каждый день приносил новые и новые неприятности.

Как-то ночью в колхозный двор забрались воры. Связав сторожа и закинув ему в рот тюбетейку, они увели двух лошадей, трех коров и пять баранов. Прибывший из района следователь три дня производил дознание, многих допросил, по так и уехал, ничего не выяснив.

Единоличники, решив, что «все равно скот будут отбирать», стали напропалую резать подряд всех коров и баранов. Самандаров, не посоветовавшись с Сафаровым, стал применять строгие административные меры к тем, кто резал скот, а результаты получались обратные. Агитаторов иногда не пускали в дома. Горячий и вспыльчивый Рузымат сильно избил из-за этого сына Маткарима

в Кугазаре. Произошел большой скандал, вмешался даже следователь, производивший дознание в связи с налетом боров на колхозный двор. Гулям-ака из-за колхоза разошелся с женой. Старик Нигматулла из Кошчинара стал рубить фруктовые деревья в своем саду на дрова. В кишлаке не так-то много было фруктовых садов, и Сафарова встревожило то, что человек сам разрушал собственное благополучие. Это удивило его не меньше, чем если бы Нигматулла поджег свой дом. Сафаров вызвал старика к себе и сначала говорил с ним по-хорошему, а когда тот проявил упрямство, повысил голос. Но Нигматулла остался непреклонен. «Я рубил деревья, посаженные своей рукой. Если колхозу нужны деревья, пусть сам их и сажает»,— сказал он и ушел, хлопнув дверью.

Заявление о выходе из колхоза продолжали сыпаться на стол Самандарова. Все это расшатывало и без того неустойчивое положение колхоза, в котором еще не успела сказаться ни одна положительная сторона обобщественного хозяйства. Колхозники с тревогой думали о завтрашнем дне. Между собой они уже разговаривали как люди, которые взяли на себя непосильное бремя и еще ничего не сделали, но уже устали.

Сафаров предвидел, что положение станет еще более угрожающим, если будет упущено время для начала весенних полевых работ,— колхозники к осени останутся с пустыми руками... И он решил созвать совещание активистов.

На совещании представитель обкома откровенно сказал, какая опасность угрожает колхозникам, если они не проведут организованно весенние полевые работы и сев. Говоря, он внимательно наблюдал за людьми. Вопреки его ожиданиям, настроение активистов было бодрое.

После Сафарова слово взял Бутабай:

— Мы все хорошо поняли, о чем предупреждает нас товарищ Сафаров. Верно, весна уже почти на пороге, и нам пора выходить в поле. Мы, конечно, дружно, как один, выйдем. Это так, товарищи! Но вот вопрос: с чем выходить? Рабочего скота у нас мало, машин совсем нет, да и с семенами плохо. Думаю, что как-нибудь обойдемся, в крайнем случае поможет район... Колхоз — дело серьезное.



— А все же надо надеяться больше на себя,— сказал Самандаров.— У района мы не одни.

— Это так,— согласился Бутабай и продолжал:— Но меня, товарищи, беспокоит, даже скажу — сильно тревожит вот что: есть еще у нас колхозники, которые поддаются кулацкой агитации и думают, что с колхозом ничего не получится, что он скоро развалится.

— Тут все — колхозники. По-моему, никто из них так не думает,— заметил Сафаров.

Активисты дружно поддержали Сафарова.

— Правильно!

— Среди нас нет таких!

— Это кулацкие прихвостни так болтают!— раздались голоса.

Поднялся шум.

Для Бутабая этот дружный отпор был так неожидан, что он пришел в полное замешательство и сразу забыл, о чем хотел говорить.

— Нет, я не хочу сказать, что все, а некоторые так думают,— поправился он.

— Никто из настоящих колхозников так не думает!— раздался протестующий голос.

— Ну, так, значит, хорошо, очень хорошо...— продолжал Бутабай.— Надо разъяснять, значит. Кулацкая болтовня и все такое... А весну нельзя упускать. Давайте поговорим, посоветуемся... Вот об этом я и собирался сказать. Об остальном, о чем не сказал, скажу после, как вспомню...

Смущенный и красный, он сел и робко взглянул на Сафарова.

Рузымат, слушая Бутабая, все время хмурился. Ему хотелось резко ответить председателю правления, но после драки с сыном Маткарима и нагоняя, который он получил от председателя обкома, он стыдился смотреть в глаза колхозникам. Прячась от внимательного взгляда Сафарова, он сидел в углу, мрачно насупившись. Но Сафаров видел, что он едва сдерживается, и обратился прямо к нему:

— Ты чего прячешься, Рузымат? Говори, твое слово.

— Я не просил слова, товарищ Сафаров,— хмуро отозвался тот.

— Говори уж, ведь вижу, что не терпится что-то сказать! Это лучше, чем махать кулаками.

Рузымат встал с места и, не решаясь начать, смущенно переступил с ноги на ногу.

— А против председателя можно говорить?

— Здесь собрание активистов, следовательно, нет ни старших, ни младших. Говори, как совесть велит. Хочешь сказать правду,— не жалея родного отца!— ответил Сафаров.

Рузымат улыбнулся, почувствовав в словах представителя обкома поддержку, и сразу овладел собой.

— Тогда я прямо скажу,— решительно начал он.— Удивляюсь, к чему наш председатель передавал тут кулацкие слетки? Говорят: «Если уж и верблюда собьет с ног ветер, то козла, как перышко, понесет в небо»... Когда о развале колхоза начинает говорить человек, которого мы поставили во главе, на кого же нам опираться? Колхоз держится не на тех, кто выкидает да пугливо оглядывается по сторонам. Мы, активисты и агитаторы, создали колхоз, мы же должны и драться за него!..

— Только не кулаками!— вставил кто-то, и по рядам активистов пробежал смехок, но Рузымат не обратил на это внимания и продолжал:

— Бутабай-ака говорит: «Надо разъяснить...» Это верно. Но разъяснить надо тому, кто понимает, тому, чья душа близка твоей душе, а какой толк беседовать о колхозе с тем, кого мать, как говорится, не вовремя родила? Есть ведь такие люди: ему говоришь, а он слушает мычание своего быка.

Поднялся хохот. Рузымат с удивлением огляделся вокруг, как будто не понимая, чему смеются люди.

— Среди колхозников,— заметил Сафаров,— тоже есть такие, которые больше смотрят не на колхоз, а на своего быка. Вот поэтому мы и говорим о необходимости усилить разъяснительную работу. Сам-то ты, Рузымат, ведь тоже не сразу все понял?

— Это верно,— согласился Рузымат.— Речь не о том, что не надо разъяснять отсталым. Следует это делать. Но не только разговорами зашпателься. А вот если мы все выйдем в поле и начнем дружно работать,— это многих убедит в пользе колхоза и лучше всяких слов. А если еще и хороший урожай получим, тогда прищемим языки всем, кто болтает о развале колхоза. Вот так, я думаю, надо агитировать за колхоз!

— И я об этом же говорил, что надо дружно, как один, выходить в поле!— обиженно возразил Бутабай.— Ты сидел в углу и плохо слушал!

Тут вскопчил пожилой колхозник Иргашбай и возбужденно сказал:

— Молодец, братец! А ты, Бутабай, не обижайся. Ведь не зря сказано: «Ум не в бороде, а в голове». Рузымат, ты, братец, к своим правильным словам прибавь еще вот что... Погоди, лучше я сам скажу. Средний дехканин все еще раздумывает. Некоторые даже уходят из колхоза. А что мы — так и будем сидеть сложа руки и ждать, когда у людей глаза откроются? Что у нас сейчас — работы мало?

Послышались голоса:

— Какое мало? Не знаешь, за что и браться!

— Если захотим, работа найдется!

Иргашбай сел, Рузымат вернулся на свое место. Сафаров посмотрел на Тешабая, который сидел в стороне и, наморщив лоб, задумчиво смотрел в окно, за которым мглисто голубел край неба.

— А вы что скажете, Тешабай-ака?

Тешабай отвел взгляд от окна, медленно поднялся и, покручивая черные усы, чуть заметно улыбнулся.

— Что ж тут сказать! Правильны, видно, ваши слова — ради правды не жалею родного отца. Прямо в лицо скажет тот, кто не имеет злобы. Вот Бутабай-ака нам теперь стал вроде как родным отцом. А мне он давнишний друг. Но я все-таки буду говорить правду. Когда мы выбирали Бутабая председателем, думали так: колхоз — наш новый родной дом, и этот человек, как расторопная невестка, будет хорошо и чисто его содержать. Однако так не получилось. Посмотрите, что творится у нас в колхозе. Зерно, которое было отобрано у кулаков, гниет в сырой конюшне байбаччи Шакирджана. Что, нет другого места? Есть. Дом Мирхайдара пустует, его даже пачинают растаскивать по частям: на днях кто-то снял и унес калитку. Посмотрите, как содержится скот. Янтак, идущий на корм баранам, находится в Бакакуруллаке, а бараны согнаны на скотный двор в Кугазаре и часто остаются голодными. Кто ни подойдет к ним, лижут руки — соли давно не видели. У кулаков отобрали несколько соломорезок, а солому и сено дают коровам в перезаном виде. А на лошадей так просто срам

смотреть. С тех пор как они попали в колхозные конюшни, никто не удосужился взять скребницу и почистить их. Никто не очищает конюшни и от навоза. Нет, плохо мы смотрим за общим добром, нет еще у нас настоящего хозяйского глаза. Наша «шевестка» даже у себя в комнате не может навести порядок. Вот, к примеру, поглядите на это помещение. Здесь собираются люди, а зачем тут валяются хомуты, к чему вот эта корчага? Я хочу еще раз повторить то, что уже сказали другие: кто хочет работать, тому дело найдется. Но добавлю: а кто не хочет работать, тому не место в колхозе! Пора навести в нашем хозяйстве порядок. До каких пор будем раскачиваться? Ждать, пока все вступят в колхоз? Нет, не надо оглядываться на других. Пусть другие смотрят на нас, пусть увидят, в чем сила колхоза, а когда увидят и поймут, сами попросятся к нам... Так или не так, друг Бутабай? — обратился он к председателю колхоза, видя, что тот даже вспотел, выслушав столько упреков.

Собрание зашумело; всем сразу захотелось высказаться. Один за другим поднимались с мест активисты, и общим во всех горячих речах было одно — нечего сидеть сложа руки, надо засучив рукава приниматься за работу!

В принятой резолюции Бутабаю предлагалось навести порядок в колхозном хозяйстве и немедленно организовать полевые бригады. Каждый из активистов обязался привлечь к работе на полях еще по несколько колхозников.

В первый же день полевых работ вышли в поле пятьдесят два человека, на второй день — семьдесят пять, на третий — сто двадцать шесть, а в последующие дни выходило уже около полутора ста колхозников. Среди них оказались даже трое из тех, что подали заявление о выходе из колхоза.

Бутабай воспрянул духом: все, казалось, шло хорошо, можно было надеяться, что колхоз закончит пахоту и весенний сев раньше намеченных правлением сроков.

Однако не прошло и недели, как все надежды председателя чуть не рассыпались в прах. Рузымат и несколько вновь назначенных бригадиров выступили на правлении с неожиданными заявлениями. По их словам, многие колхозники не слушались бригадиров, выходили в поле лишь для отвода глаз и работали спустя рукава.

Бутабай прямо с заседания побежал в конюшню, вскочил на верхового коня и стремглав поскакал в поле. Выехав за крайние дома кишлака, он сразу увидел Тулягана. На лучшей паре колхозных волов дехканин пахал свою землю.

— Ты что это самовольничаешь?— крикнул Бутабай, сдерживая коня.—Тебе же надо пахать там, на Тарнау-баши!— указал он.

— А что мне делать на Тарнау-баши?— проворчал, не поднимая головы, Туляган.—Там у меня нет земли.

— Да ведь мы еще не исключили тебя из колхоза!

— Что же, я должен ждать, пока вы меня исключите, и оставить свою землю непаханой?

Бутабай не вытерпел и крепко выругал дехканина. Туляган нахмурился и, высвобождая правую руку из рукава халата, вышел на дорогу.

— Ты что — ругаться? А ну, слезай с коня!

— Тебе что — подраться захотелось? Я не вричь!

Бутабай прыгнул с коня. Туляган, угрожающе надыгаясь на председателя колхоза, кричал:

— Мне ты не председатель, как смеешь ругать меня? Может, ты кому и начальник, а мне на тебя тыфу!

— Да такого негодяя, как ты, сколько ни ругай, все в долгу останешься! Весь кишлак загадили вот такие чуждые элементы, как ты!

— Это я — чуждый элемент?— угрожающе переспросил Туляган.— А ну, повтори!

— Сам ты, может, и не чуждый элемент, а поступки твои чуждые. Подумай, куда тебя тянут,— уже спокойнее проговорил Бутабай.

— Ты меня не уговоришь!— непримиримо крикнул Туляган.— Не останусь в твоём колхозе, хоть рушь на мою голову небо, если оно в твоих руках!

Все же, опустив правый рукав халата, он повернулся и пошел к волам.

— Посмотрим, посмотрим...— сказал Бутабай, садясь на коня.—Я еще тебе покажу, как самовольничать. Курицей закудахтаешь, а заставлю работать в колхозе!.. Отведи волов сейчас же в конюшню!

— Верни мою лошадь и быка, тогда я верну волов!

Бутабай опять крепко выругался и, повернув коня, поскакал на Тарнау-баши.

Никто не знал, как пришла новость из города, кто первый рассказал о ней, но она породила в кишлаке Капсанчи самые невероятные слухи. Вечером, на заходе солнца, у калиток, на перекрестках, у лестниц, приставленных к соседнему дувалу, во дворах, на крышах домов — везде и всюду стояли группами взволнованные люди, бедняки и середняки, единоличники и колхозники и, беседуя, путались между правдой и вымыслом. Говорили, будто пришла в район из Москвы большая газета, где сказано, что не надо колхозов, будто велют наказать вредных руководителей. В районе с утра идет большое собрание; говорят, что колхозы будут распущены, а скотина возвращена хозяевам...

Бутабай вернулся с поля поздно вечером, когда уже совсем стемнело, и об этих разговорах сначала узнал от жены. Садясь ужинать и думая о своих неприятностях, он плохо ее слушал: мало ли чего не натреплют неугомонные бабы языки!

Но прибежал перепуганный Камбарали, торопливо пересказал все, о чем ему пришлось слышать на улице, и глаза у Бутабая округлились от изумления и тревоги.

— Дураки! — выругал он болтунов и, несмотря на усталость, пошел в правление.

Сафаров и Самандаров с утра уехали в райком и должны были уже вернуться. Во дворе правления толпилось человек десять молодых колхозников. Они окружили председателя и стали расспрашивать о газете, о том, правда ли, что распускают колхозы. Бутабай сурово ответил:

— Болтовня! Вы сами-то эту газету видели, читали ее?

— Газету видели в районе, — ответил один из колхозников.

Бутабай вернулся домой и лег спать. Но заснуть никак не удавалось. В голове проносились тревожные мысли: «А что, если эти слухи верны?.. А может, опять кулацкие выдумки?.. Да, что бы там ни было, а завтра, ожидай, половина колхозников не выйдет в поле. Беда!.. Неужели Сафаров и Самандаров потому и выехали в райком и не предупредили меня... Нет, быть того не может!» — решил он, но тревога не проходила. Поворочавшись в постели, он встал и вышел во двор.

В кишлаке стояла тишина. С темно-зеленого неба лил-

ся мягкий свет лупы. Бутабай прошелся по двору раз, другой и вдруг остановился. «А что, если они не вернутся и утром?» — мелькнула мысль. Он торопливо вошел в дом, разбудил жену и, сказав, что едет в район, надел теплый халат и направился на конюшню.

Конюх спросонья долго не открывал ему и все спрашивал: кто да зачем в такой поздний час? Наконец, услышав грозную брашь Бутабая, он открыл дверь и, чтобы удостовериться — не ошибся ли, поднял фонарь к самому лицу председателя.

— Куда это вы в ночь-полночь?

— В район, в район, — озабоченно проговорил Бутабай. — Ну и дрыхнешь!.. Давай скорее коня, поторапливайся!

Но конюх не двинулся с места. Вместо того чтобы вывести коня, он нерешительно потоптался на месте и хмуро проговорил:

— Так, значит, кончился колхоз...

— Кто тебе наболтал?

— В кишлаке говорят. Разве не так? Почему же вы все удираете?

— Что ты плетешь? Кто удрал?

— Сафаров и Самандаров еще утром ускакали, а теперь вот и вы...

У Бутабая дух захватило от ярости.

— Это какой элемент набрехал тебе? Кто сказал? — загремел он на весь двор. — Ну, я покажу тебе, как распространять разные сплетни! Живо коня! А утром скажешь мне, кто занимается тут кулацкой агитацией!

Конюх, поставив фонарь на землю, бросился в конюшню и через минуту вывел оттуда коня. Стараясь задобрить грозного председателя, он вслед за тем вынес лучшее седло с попоной, живо заседлал коня и открыл ворота.

Бутабай вскочил в седло и галопом вылетел за ворота. А конюх поглядел ему вслед и только головой покачал.

Ярко светила луна. В кишлаке у стен домов и дувалов лежали черные тени. Бутабаю не хотелось в этот поздний час понадаться кому-нибудь на глаза и давать повод лишним толкам. Свернув на тропинку, он выехал за кишлак и направился вдоль черневших в стороне зарослей. По неровной каменистой тропинке нельзя было быстро ехать. Бутабай пустил коня шагом и вскоре пожалел, что поехал этой дорогой. Со стороны зарослей было очень темно. Дул

легкий ветерок, под кустами шевелились тени. Но тени ли? Расстроенному воображению Бутабай стало рисоваться, что его там поджидают озлобленные кулаки, для которых он стал заклятым врагом. Ведь только случайно они вместо него убили беднягу Тиллу-бобо. Бутабай выпул и пожен свой длинный, хорошо отточенный нож и некоторое время ехал так, настороженно глядя в заросли.

Потом ему стало стыдно перед собой за трусость. Как можно быть таким трусом взрослому человеку, который стоит во главе стольких людей! Он вложил обратно в ножны свой нож, выпрямился в седле, громко кашлянул и, поторапливая коня, стал смотреть прямо вперед. Но его так тянуло еще и еще взглянуть, не притаился ли кто под кустами, что он в конце концов плюнул с досады и, перекинув ногу на другую сторону седла, повернулся к зарослям спиной, стараясь уверить самого себя, что он никого и ничего не боится. Конь, позвякивая удилами, шел быстрым размеренным шагом.

В стороне показались дома Кошчинара. Бутабай, чтобы окончательно выкинуть из головы челепые страхи, стал вглядываться в почной кишлак, узнавая дома своих знакомых: «Вон там, третий с краю, навес Нуманджана, а дальше темной полоской растянулся его старый туювник. А чья это калитка чернеет там, как дыра старой гробницы? Да и дом похож на полуразвалившийся склен. Впрочем, он ничем не отличается от других. Все они — старые, покосившиеся, осевшие, действительно, как ветхие гробницы, могилы... Оказывается, кишлак почью не отличишь от старого кладбища. Ай-яй-яй, кладбище и есть!..»

Бутабай отвернулся от кишлака, сел в седле прямо и невольно ударил коня плетью. Конь от неожиданности прыгнул вперед и помчался по тропинке. Страшные заросли и кишлак, наводящий страх, остались далеко позади. В том месте, где тропинка выходила на большак, начиналась беспредельная степь. Через некоторое время на дальнем конце белой дорожки, прорезавшей темную степь, показалось несколько черных точек. Это были всадники, ехавшие из районного центра. Вот они разделились: часть повернула направо, в сторону Азизтепе, остальные продолжили свой путь. Бутабай был уверен, что среди них находятся Сафаров и Самандаров. Он остановил коня и стал ждать.



Всадники приближались. Должно быть, они тоже заметили Бутабая. Один из них крикнул:

— Кто это?

— Свой,— ответил Бутабай.

Впереди ехали Сафаров и какой-то толстый человек в ватной куртке и шапке-ушанке, позади них Самандаров и еще двое незнакомых людей.

— А-а, Бутабай-ака, это вы? Далеко направились?— спросил, подъезжая, Сафаров.

— Да так... выехал встретить вас. Уж больно вы заехали, вот меня и взяло беспокойство...

Пропустив мимо себя передних всадников и поравнявшись с Самандаровым, он пустил коня рядом с его конем и тихо спросил:

— Верно, что есть новости?

— Да, получена газета со статьей товарища Сталина «Головокружение от успехов»,— ответил Самандаров.

— Что же теперь будет?

— А что, по-твоему, может быть? Некоторые середняки отойдут на время. Те же, которых в жизни долго были баи и кулаки, останутся. А колхоз станет крепче.

Для Бутабая было достаточно этих трех слов Самандарова: «Колхоз станет крепче». Он облегченно вздохнул и стал прислушиваться к беседе Сафарова с толстяком. Сафаров говорил:

— Теперь отвечу на ваш вопрос. Дело не только в классовой борьбе, а и в том, что колхозы — новая, нигде еще не существовавшая форма организации дехканского хозяйства. И поэтому средний дехканин относился к ней настороженно. Я приведу вам два примера: о картофеле и о калошах... Нет, вы не удивляйтесь, я вам сейчас объясню... Когда впервые в наши места привезли картофель, наши дехканы не хотели сажать его, а уж есть — и подавно. Так что же, в те годы это явилось следствием каких-либо подстрекательств, агитации, классовой борьбы? Ничего подобного. Просто дехканы считали это «земляное яблоко» несъедобным. И то, что они отказались есть картофель, никого особенно не волновало. Возьмем резиновые калоши. В первое время, как они появились, их покупали, а потом перестали. Почему? А потому, что распространился такой слух: «На подошвах калош написано имя божие. Кто носит их, попирает имя аллаха». Оказывается, фабричное производство калош затронуло интересы

кустарей, а вместе с ними и торговцев каушами. Люди было перестали носить калоши, а затем забыли про болтовню, разобрались.

Бутабай, не поняв смысла приведенных примеров, тихо спросил у Самандарова:

— К чему это он такую старину вспомнил?

Самандаров ответил:

— А ты слушай внимательнее — поймешь.

— В отношении людей к колхозам,— заключил Сафаров,— есть много такого, что напоминает и нежелание есть картошку и отказ носить калоши — боязнь нового. Только тут вопрос стоит гораздо шире. Тут меняется весь жизненный уклад, и люди побаиваются. Вот что я хотел сказать своими примерами. Попробуй вас заставить насильно есть то, чего вы в жизни не пробовали и считаете, может быть, даже несъедобным,— что вы запоете?

Толстяк громко захохотал.

— Понятно, все понятно!..

Неподалеку от Наймана три незнакомых всадника распрощались и поехали в сторону Бишсерки. Бутабай тотчас же рассказал о разговорах и слухах, которые взбудоражили весь кишлак. Сафаров и Самандаров внимательно выслушали его, а затем разъяснили, что речь идет не о ликвидации колхозов, а об укреплении их и о строгом соблюдении принципа добровольности во всем этом деле.

Жена Самандарова, напуганная всевозможными слухами, не снала и с тревогой прислушивалась к почтой тишине. Услышав приближающиеся оживленные голоса и узнав голос мужа, она выбежала во двор, распахнула ворота. Но в комнате, наливая чай усталым путникам, она не могла удержаться от ворчливых упреков. Бутабай шутиливо перебросился с ней несколькими словами, подтрунивая над ее страхами, и остановил вопрошающий взгляд на Самандарове, словно говорил: «Ну, давай же, давай, не томь!»

Самандаров достал из хурджуна большую пачку газет, взял одну и, подсев к огню, стал читать. Бутабай слушал с таким вниманием, что даже дышать боялся. Большая голова его то покачивалась из стороны в сторону, то кивала утвердительно, крупное усатое лицо то улыбалось, то хмурилось.

— Ну как?— спросил Сафаров председателя колхоза, когда статья была прочитана.

Подумав немного, Бутабай сказал:

— Оказывается, дошли в Москву сведения и из нашего кишлака...

Сафаров обменялся с Самаидаровым веселым взглядом и заговорил о предстоящих делах.

— Завтра ни один человек не выйдет в поле — это ясно. Но вы, председатель, не расстраивайтесь. Наша главная задача сейчас — разъяснить все колхозникам. Хорошо бы еще до рассвета доставить газету нашим агитаторам. В девять часов проведем собрание колхозников. Почитаем газету, поговорим обо всем откровенно. А потом поведем людей в поле. Согласны?.. Ну, а теперь можно и отдохнуть.

Бутабай взял пачку газет, выделенных для агитаторов, и поехал домой. По пути он разбудил чайханщика, сообщил ему, что утром будет большое собрание, и велел привести в порядок помещение. Затем поехал на конюшню сдать коня.

Конюх, увидев перед собой председателя, посмотрел на него, как на привидение.

Бутабай въехал во двор, устало сошел с коня и сказал с паусковой суровостью:

— Ну, так какое наказание придумать тебе, чтобы впредь не распускал сплетни разных элементов? — И заговорил обычным деловым тоном, не допускающим возражений: — Сейчас же оседлаешь другого коня. Объедешь всех агитаторов в Кошчишаре, Кугазаре и Бакакуруллаке и вручишь каждому по газете.

Он достал из-за пазухи пачку газет, оставил себе одну, а остальные протянул конюху. Уже выходя за ворота, он остановился и добавил:

— Разбуди там кого-нибудь, чтобы конюшню пока постерегли.

Несколько минут спустя конюх вылетел верхом на коне за ворота и помчался по улице кишлака.

## 9

Утром, едва поднялось солнце, все жители кишлака, молодые и старые, мужчины и женщины, высыпали на улицу. Не все еще было как следует понятно, и каждый старался толковать новости по-своему, в соответствии с

собственными взглядами на колхоз. Но главное — о педо-  
нустимости принудительных мер в отношении единолич-  
ников — было сразу усвоено всеми.

Собрание колхозников, назначенное на девять часов,  
открылось в половине девятого. Единоличники и те, что  
подали заявление о выходе из колхоза и потому считали  
себя свободными от явки на собрание, тоже собрались  
вокруг чайханы. Толпа все росла. Некоторым хотелось  
послушать, что будут говорить руководители, иных влек-  
ло посмотреть, не будет ли разваливаться колхоз и что  
от него останется.

Помещение чайханы не могло вместить всех жела-  
ющих. Когда Сафаров читал газету громким, взволнован-  
ным голосом, в чайхане, во дворе и на улице люди стояли,  
не шевелясь, стараясь не пропустить ни одного слова. Но  
прения сразу же приняли бурный характер. Некоторые из  
дехан выступили с заявлениями, что их действительно  
принуждали войти в колхоз, запугивая тем, что единолич-  
нику все равно, дескать, жизни не будет. Некоторые тре-  
бовали даже распустить колхоз, вернуть скот хозяевам, а  
отобранное у кулаков имущество поделить. Им страстно  
возражали активисты, доказывая, что только общими  
усилиями, дружно работая в колхозе, дехане смогут до-  
биться высоких урожаев и дальше из года в год улуч-  
шать свою жизнь.

Но вот снова выступил Сафаров, и снова в чайхане и  
на улице наступила тишина.

Представитель обкома был спокоен. Казалось, его ни-  
чуть не тревожили выступления некоторых дехан, стре-  
мившихся уйти из колхоза. Он признал ошибки, допу-  
щенные при проведении коллективизации, заявил, что в  
дальнейшем никаких нажимов и принуждений не будет,  
а закончил призывом строить и укреплять колхоз, не бо-  
яться неизбежных в первое время трудностей и уметь  
преодолевать их.

— Единственно правильный путь для выхода из пя-  
щеты, темноты, бескультурья, — сказал он в заключе-  
ние, — это путь колхозов. Это путь, который открывает  
перед крестьянством широкую и светлую дорогу к социа-  
лизму. Колхозы существуют, они будут развиваться и  
крепнуть. А те, кто сегодня сомневается в них, я уве-  
реп, — завтра тоже станут колхозниками. Будущее пока-  
жет, что мы были правы!

Собрание кончилось. Дехкане-единоличники и те, кто уже распрощался с колхозом, внимательно смотрели на колхозников, вышедших из чайханы, стараясь определить, кто из них останется в колхозе и кто уйдет из него. Но колхозники были серьезны, молчаливы, и трудно было что-либо угадать по их задумчивым лицам.

Когда все вышли из чайханы, Бутабай подозвал к себе бригадиров и, несмотря на то, что задания на день были всем хорошо известны, начал громким голосом повторять их. Бригадиров поняли, в чем дело, и тотчас принялись выкрикивать имена колхозников, собирая свои бригады. Не прошло и четверти часа, как мимо чайханы потянулись в поле группы людей, подгоняя рабочий скот.

Однако здесь были далеко не все члены бригад; шумная деловитость Бутабая не произвела того впечатления, на которое он рассчитывал. Почти половина колхозников, сменившись с толпою единоличников, разошлась по домам.

Целый день Бутабай бегал из одной бригады в другую, измучился сам и замучил других, а к вечеру, совершенно разбитый, с воспаленными после бессонной ночи глазами, пришел в сельсовет. Самандаров встретил его неприятной вестью: поступило еще тридцать восемь заявлений о выходе из колхоза. Бутабай хоть и был неграмотным, пробежал глазами по заявлениям, разбросанным по столу, и бессильно опустил на стул.

Сафаров сидел на углу стола и что-то записывал в записную книжку. Бутабай хотел спросить его, что же делать, если середняки заберут из колхоза рабочий скот, и в это время из-за двери послышалось чье-то отрывистое покашливание: «Кхе... кхе...»

Вошел Туляган и, погладив бородку, важно и, как показалось Бутабаю, даже с какой-то издевкой снова откашлялся.

— Кхе... кхе!..

Бутабай сразу понял, что обозначало это издевательское покашливание, и, слегка побледнев, отвернулся к окну. А Сафаров только усмехнулся и, не поднимая головы, спросил:

— Что это вы, Туляган-ака, так странно покашливаете?

— Как хочу, так и кашляю! Я сам себе хозяин! — заносчиво ответил Туляган.

С этими словами он плюхнулся на диван, так что под ним зазвенели пружины, и, отвалившись к спинке, громко рыгнул. Затем вынул из кармана кисет, бросил в рот щепотку жевательного табаку, подвигал челюстями и зашепелявил:

— Теперь уж, товарищ Самандаров, может, вернете мне моего бычка и лошадку?

— Хорошо, вернем,— хмуро ответил Самандаров.

Наступила тишина. Самандаров перебирал бумаги на столе, делая на них какие-то отметки, Сафаров продолжал писать, а Бутабай не отрывал взгляда от окна. После долгого молчания Туляган поворочал языком во рту и вдруг выплюнул свою жвачку. Зеленый опметок шлепнулся на пол перед диваном.

Бутабай еле сдерживался, чтобы не прикрикнуть на распоясавшегося дехканина. Но, заметив предупреждающий взгляд Сафарова, он со всей возможной для него мягкостью только проговорил:

— Здесь не место плевать. Не в своем хлеву...

Но Туляган даже ухом не повел, словно в комнате и не было председателя колхоза. Помолчав еще немного, он обратился к Самандарову:

— О земле ходят какие-то новые разговоры. Как это будет теперь, товарищ представитель?

— Какие разговоры?

— Говорят, нам будут отводить землю в другом месте.

— Это верно,— сказал Сафаров и, оторвавшись наконец от своих бумаг, разъяснил:— Если ваша земля вклинивается в колхозную, сельсовет отдаст вам другой участок.

— А если я не захочу брать землю, которую отдаст сельсовет?

— Ну что ж, если будет возможно, отдадем там, где вы пожелаете.

— А если я и ту не захочу?

— Поймите, Туляган-ака, нельзя дробить колхозную землю!

— Мне-то какое до этого дело!

Бутабай не вытерпел и раздраженно бросил:

— Земля государственная! А власть, где захочет, там и отдаст участок.

Туляган выпучил глаза на него.

— Какая власть?

Бутабай презрительно посмотрел на Тулягана в упор.

— Рабоче-крестьянская. Не знаешь?

— Рабоче-крестьянская? Значит, все-таки власть рабоче-крестьянская? Так, значит, власть — это я? — Туляган ткнул пальцем себя в грудь. — Я — тот самый дехканин, который имеет власть. Так я считаю.

Такой ответ Тулягана озадачил Бутабая, и он, не зная, что ответить этому заносчивому человеку, бросил взгляд на Сафарова.

Сафаров, еле удерживаясь от смеха, обратился к Тулягану:

— Где вы сидите?

Туляган, довольный тем, что заставил замолчать председателя колхоза, важно ответил:

— Сижу в сельсовете, а что?

— А не является ли этот сельсовет рабоче-крестьянской властью в кшплаке?

— Что ж... так она может насильничать?

— Кто это «она»? Вы сказали, что власть у нас рабоче-крестьянская, а вы — тот самый дехканин, которому принадлежит власть. Верно, я знаю, что вы и есть «тот самый дехканин», но всякий, кто вас не знает, увидев, как вы сейчас ведете себя в сельсовете, едва ли согласился бы со мною в том, что вы «тот самый дехканин».

Туляган сразу остыл, не только остыл, но и растерялся.

— Я... что я сказал? Что я сделал?

— Если вы не хотите понять, в чем заключается недопустимость вашего поведения, я объясню это словами старой сказки, которую я слышал еще в детстве. — Сафаров нервно поднялся и прошелся по комнате, затем закурил папиросу и начал: — Однажды какой-то хан разозлился на одного невинного человека и приказал слугам его казнить, забросав камнями. Бросать камни он приказал всем и сам наблюдал, все ли выполняют его волю. Среди толпы находился и брат несчастного. Он решил обмануть хана, — как бросишь камень в родного брата? Он вырвал из своего халата комок ваты, скатал его и бросил. Брат стоял и мужественно молчал под ударами камней, а когда в него попал комок ваты, он вдруг закричал от боли... Вот так всегда и бывает, Туляган-ака, — комок ваты, брошенный родным человеком, ударяет больнее, чем камень, брошенный врагом.

Туляган молчал, глядя в сторону. Жилы у него на висках вздулись, кончик носа заблестел от пота.

— Табак жевать умеешь, а вот уважать власть и самого себя не умеешь. В голове не хватает,— проговорил низким сердитым голосом Бутабай.

Сафаров сделал ему предупреждающий знак: «Довольно».

Туляган глухо промолвил:

— Когда гневаешься, разум молчит.

— А на что вы разгневались?— спросил, улыбнувшись, Сафаров.

— Бутабай кричал на меня: «Будешь кудахтать, как курица, а я все равно заставлю тебя работать в колхозе!»

Сафаров взглянул на председателя колхоза, и тот признался:

— Верно, я так сказал. Но ведь товарищ Шадпев требовал, чтобы все сто процентов дехкан были в колхозе. Помните? Вместе со всеми я тоже совершил ошибку.

— Если вы совершили ошибку, я тоже малость ошибся. Мы в расчете,— сказал Туляган; губы его задрожали, и он, не в силах сдержаться, рассмеялся.

Широкое лицо Бутабая тоже расплылось в улыбке.

Туляган вскочил с дивана и обнял председателя колхоза.

— Помирились!.. Оказывается, я больше виноват... Товарищ Сафаров, ты уж извини,— нехорошо я поступил.

— Ладно, нечего извиняться,— сказал Бутабай.— Теперь останешься в колхозе?

— Нет, друг, оставим пока... Может, попозже войду.

— А если попозже мы не примем, это ничего?

— Примешь!

— А вот возьмем, да и не примем!

— Ладно, что ж делать? Отцы и деды наши... Большая часть жизни прожита, как-нибудь проживем и остальную.

Не спрашивая, где и когда он получит обратно лошадь и быка, Туляган приложил руку к груди и боком-боком вышел из сельсовета.

Бутабай, сильно встревоженный тем, что постигло еще тридцать восемь заявлений о выходе из колхоза, тут же забыл о Тулягане и заговорил о том, что волновало его больше всего.



— Что же это такое? Еще тридцать восемь — и все, наверно, середяки?

— Да, почти все, — подтвердил Самандаров.

— Так ведь они же весь свой скот уведут... сорвут нам посевную!

— Что же делать? Вы что предлагаете, Бутабай-ака? — спросил Сафаров.

— А может, так — вернуть им скотину осенью?

— Э, пет, — рассмеялся Сафаров. — Вам мало того, что говорил здесь Туляган: я, мол, и есть тот самый дехканин. И он по-своему прав. Средняков нельзя обижать. Да чего вы опять опустили руки? Ведь кулацкие-то лошади и волю остаются! Значит, можно работать. А то и кетменем придется помахать... Ничего! — Минуту подумав, продолжал он: — Государство тоже поможет. Я слышал, что в нашем районе будут организованы машинно-тракторные и машинно-конные станции. Трудно придется только в этот первый год, а с будущего будут нам помогать крепко. Народ у нас теперь подберется такой, который будет драться за свой колхоз. Вы только не распускайте вожжи... Ну ладно, — оборвал он себя, — завтра на заседании правления поговорим о плане посевной! Вижу, что устали вы за эти сутки. Идите-ка домой и отоспитесь как следует.

Бутабай вздохнул и поднялся с места.

## 10

Единоличники, пашни которых вклинились в колхозные поля, вначале никак не хотели брать землю в другом месте. Ездили в район, жаловались на сельсовет, но когда увидели, что могут упустить время сева, принялись обрабатывать отведенные им наделы.

Дехканам, вышедшим из колхоза, был возвращен весь мелкий скот и коровы, а возмещение за павших животных отложили до того времени, когда «в колхозе заведутся деньги». Из рабочего же скота правление колхоза вернуло лишь часть волов и лошадей, а другую часть обещало отдать лишь после «большого собрания», на котором должен был решиться вопрос — кто и как возместит стоимость зимнего прокорма скота. Но когда состоится это

собрание, никто не знал. Бутабай на обращенные к нему по этому поводу вопросы отвечал не то серьезно, не то насмешливо:

— Какие теперь собрания? Видите сами, колхозники по горло заняты в поле.

В колхозе осталось больше всего кошчинарцев, и, может быть, именно поэтому за ним укрепилось название «Коччинар».

Отлив середняков из колхоза прекратился, по весенние работы очень затянулись. Не хватало рабочего скота, а те из колхозников, которые вступили в колхоз со своими лошадьми и волами, старались заполучить их в свои руки и меньше использовать на колхозной работе, оглядывались на свое хозяйство и почти не слушались бригадиров. Работали нехотя, отлынивали от работы под всяческими предложениями: отлучались «по делу» в сельсовет или в правление и, если никого не находили, просиживали там до вечера, а потом, заметив, что люди возвращаются с полей, поднимались и, позевывая, расходились по домам. Поля были вспаханы плохо, но намеченная планом площадь была засеяна полностью, и колхозные руководители не падали духом — что было недоделано весной, можно было поправить летней обработкой посевов.

В середине июня представитель обкома неожиданно был отозван. Активисты устроили в доме председателя небольшое угощение. В честь Сафарова было сказано много хороших слов, но сам он в ответном слове говорил больше о недостатках в работе колхоза и просил не замазывать эти недостатки, а вскрывать их и решительно устранять.

С отъездом Сафарова Бутабай почувствовал себя молодым хозяином, у которого родители уехали в дальний путь и весь дом оставили на его попечение. Он и побаивался ответственности за огромное хозяйство колхоза, и вместе с тем гордился тем, что на него возложена такая большая ответственность. Вскоре гордость победила чувство неуверенности в себе. Бутабай стал неузнаваем. Начал считать себя чуть ли не выше всех и самостоятельно репал все дела. Если кто указывал на его неправильные действия и распоряжения, он старался унижить такого человека в глазах колхозников. Результаты сказались очень быстро. Члены правления постепенно самоустранились от руководства делами колхоза, бригадиры потеряли всякий

авторитет, а работа самого председателя чрезвычайно усложнилась. Бутабай не знал покоя ни днем, ни ночью, сам вмешивался во все, а дела не улучшались. Несмотря на все его усилия, летняя обработка посевов шла неудовлетворительно. Бутабай ругался с бригадирами, кричал на колхозников и все же самодовольно думал: «Что было бы с колхозом, если бы во главе не стоял такой руководитель, как я?»

В середине лета в районном центре состоялось совещание председателей колхозов. Председатель райисполкома Мавлянбеков выступил на совещании с докладом об очередных задачах по организационно-хозяйственному укреплению колхозов. В этом докладе он обобщал опыт передовых колхозов, которые уже твердо встали на ноги, и особенно много говорил о недостатках отстающих колхозов, вскрывал причины их отставания.

Некоторые из выступающих в прениях упомянули среди отстающих колхозов «Кошчинар». Это задело Бутабая. Он нахмурился и обругал про себя оратора. «Что они понимают в колхозном деле!» — думал он, прячась за спины людей, чтобы его не заметили из президиума и не пригласили на трибуну. Но секретарь райкома Ахмедов увидел его и после окончания заседания позвал к себе в кабинет.

Это приглашение Бутабай принял как знак расположения к себе со стороны секретаря райкома. Войдя в кабинет, волнуясь и задыхаясь, он заговорил о том, как он трудился не покладая рук и все силы отдавал колхозу. Долго говорил он о своих заслугах и о трудностях работы в колхозе «Кошчинар», не забывая добавлять, что они неизвестны тем, кто вздумал критиковать его работу. Ахмедов слушал его, не перебивая. Решив, что секретарь райкома обязательно похвалит его за неутомимый труд, Бутабай коснулся лишь в нескольких словах кое-каких недостатков в работе колхоза и сообщил о своем намерении сняться с работы бригадира Тешабая.

— Грубый, упрямый человек, подрывает мой авторитет, — сказал он.

Ахмедов улыбнулся и, прочесывая пальцами свои густые черные волосы, удивленно переспросил:

— Это Тешабай Рахимов? А ведь раньше, кажется, был неплохим человеком.

— Был хорошим, но теперь совсем испортился, — ре-

шительно заявил Бутабай.— Хуже него нет во всем колхозе.

— Вот как...— задумчиво проговорил Ахмедов и, подойдя к дивану, сел подле Бутабая.— Странно. А ведь был одним из передовых людей вашего колхоза. Почему же он так изменился?

Бутабай не знал, что сказать, но, видя, что секретарь райкома ждет от него ответа, промолвил:

— Не знаю.

Ахмедов рассмеялся.

— Вот так раз!.. Председатель — голова правления, бригадир — его рука, и голова не знает, отчего заболела рука... Как же так? А другие бригадиры не испортились?

Бутабай спохватился и, чувствуя, что говорит не то, что нужно, решил похвалить других бригадиров.

— Остальные хороши, очень хороши!— заверил он.

Секретарь райкома недоверчиво покачал головой.

— Нет, товарищ Бутабай, не верится мне, что вам мешает работать Тешабай. Не в этом дело, мне кажется. Вы на совещании, должно быть, обиделись на критику, расстроились и, может быть, не слышали о многом, или не успели еще осознать сущность многих вопросов, которые там ставились...

Бутабай смущенно улыбнулся.

— Верно, товарищ Ахмедов, некоторые слова сильно задели. И несправедливо.

— Ну, справедливо или нет, вы сами потом увидите. В задачу совещания ведь не входило давать оценку работе председателей колхозов. Все дело в том, что наши колхозы вступают на новый этап своего развития и это ставит перед их руководителями новые требования. Если вы не будете действовать сообразно этим требованиям, вы не сможете повысить свой авторитет. Вы не думайте — я говорю это вовсе не для того, чтобы защищать Тешабая. Если мнение правления, мнение колхозников таково, что он как бригадир не годится, ни вы, ни я не можем выступить против их решения. Но в связи с этим я должен заметить вам, что, не зная своих людей, вы не сможете правильно их расставить и хорошо организовать работу. И придется вам, как председателю, отвечающему за все, метаться из стороны в сторону, горячиться, кричать, подмешать собой всех бригадиров, а дело от этого не пойдет вперед...

Бутабай слушал и с изумлением смотрел на секретаря райкома. Ахмедов словно видел его, Бутабая, в «Кошчинаре» и теперь мягко, дружески журил его за плохую организацию колхозной работы. И Бутабай тяжело вздохнул.

— Признаю, товарищ Ахмедов, недостатков и ошибок у меня много. С одной стороны, неграмотность, а с другой,— сами знаете...

Ахмедов перебил его:

— Если уж признавать ошибки и недостатки, товарищ Бутабай, так признавайте без всяких оговорок. Другое дело, если хотите вскрыть причины этих ошибок и недостатков. Верно, вы неграмотны... Не могу винить вас за то, что не учились, но могу спросить: почему не учитесь? Что вы можете возразить? Ничего.

Бутабай рассмеялся.

— Невозможно возражать вам, товарищ Ахмедов... Вы во всем правы.

Ахмедов встал с дивана, прошелся по кабинету и остановился перед Бутабаем.

— Так вот, подумайте о том, что я вам сказал, посоветуйтесь со своими людьми, как улучшить работу в «Кошчинаре». А я тоже подумаю и поговорю кое с кем, как помочь вам. После этого мы встретимся еще раз. Согласны?

Из кабинета секретаря райкома Бутабай выходил повеселевшим, но все же с какой-то смутной тревогой в душе.

Через неделю он снова приехал в райком и подробно рассказал Ахмедову, что наметило правление для улучшения работы колхоза. Секретарь райкома сообщил, что собирается направить в помощь кошчинарцам одного опытного колхозного работника. Бутабай покраснел от схватившего его волнения. Заметив его беспокойство, Ахмедов сказал:

— Какую работу вы поручите ему — это ваше дело. Но я хорошо знаю этого человека и убежден, что он будет вам хорошим помощником.

Хотя Бутабай и чувствовал, что Ахмедов говорил совершенно искренне, все же спросил:

— А может быть, он придет сразу председателем?

Ахмедов нахмурился и, не считая нужным отвечать

на такой вопрос, стал рассказывать о том человеке, которого намеревался направить на помощь Бутабаю.

Это был Урмаджан Аманов, председатель старейшего колхоза «Кызыл Байрак» в Бахрабаде.

## 11

После уборки урожая, сдав дела новому председателю, Урмаджан с семьей переехал в колхоз «Кошчинар». Кулацкие дома в кишлаке были уже заселены бедняками. Урмаджан сам выразил желание поселиться в развалинах водокачки, и Бутабай отрядил несколько колхозников помочь ему оборудовать жилье.

Правление колхоза назначило Урмаджана председателем совета урожайности и ввело его в свой состав, с тем чтобы позднее утвердить это решение на общем собрании колхозников.

Устроившись на новом месте, Урмаджан приступил к своим обязанностям. Несколько дней он занимался тем, что обходил поля колхоза, знакомился с людьми, присматривался к делам правления. Осмотрев кладовые, конюшни, склад инвентаря, он заглянул в отчетность. Все движимое и недвижимое имущество колхоза значилось в одной пухлой, потрепанной тетради. В ней же были записаны имена колхозников. Отметки, кому что выдано, делались тут же в списке, против их имен. Написание отчетов в район шли плакаты, которые вместе с газетами и брошюрами сваливались в углу. Ввиду неграмотности председателя все канцелярские дела вел Абдусамад-кары, добровольный секретарь правления.

С утра до вечера Абдусамад-кары торчал в правлении, свысока разговаривал с колхозниками от имени председателя, но с новым членом правления с первых же дней был подобострастен. Когда в присутствии Урмаджана кто-либо обращался к Абдусамаду-кары, он неизменно отвечал:

— Пусть скажут товарищ Урмаджан... Их прислал к нам райком.

Урмаджан удивленно оборачивался к нему:

— А вы что считаете правильным?

Но Абдусамад-кары трудно было поймать на неправильном ответе. В таких случаях он отвечал:

— Вот я и говорю — вас прислал райком... Если правильно — вы знаете, если неправильно — тоже знаете... Хе-хе! Партийному человеку всегда все ведомо.

Голос у кары был тихий, вкрадчивый, ступал он мягко, как кошка, никогда ни с кем не спорил и с кем надо старался быть обходительным.

Как-то в первые дни знакомства с колхозом Урманджан, воспользовавшись тем, что Абдусамад-кары вышел из комнаты, спросил Бутабая:

— Давно этот человек работает в правлении?

— Кто — кары? По правде сказать, даже не помню, когда он начал работать здесь, — ответил Бутабай. — Сначала так просто приходил помогать мне по письменной части, а потом, уж не знаю как, стал секретарем. Правлением не утвержден, но работяга и в колхозных делах хорошо разбирается. Я без него, как без рук.

— Понятно, — усмехнулся Урманджан. — Но мне он не нравится. Слизяк какой-то... И вовсе он не работяга. Целыми днями сидит здесь, а хоть бы инвентарные записи вел как следует. А уж об отчетности и говорить нечего — ее просто нет.

— Как это нет? В район мы каждый месяц посылаем отчеты. По всей форме. И человек он очень аккуратный!

Урманджан ничего больше не сказал председателю, но решил взять всю отчетность колхоза в свои руки.

Стараясь лучше ознакомиться с местными условиями, Урманджан часто беседовал со стариками. Однажды кто-то из стариков вспомнил о большом наводнении, которое случилось в год земельной реформы. Во время весеннего паводка река хлынула на поля и затопила больше шести тысяч тапапов посевов. Да и жители кишлака оказались под угрозой. По словам старика, если бы не лодки, прибывшие из Балыкчи, погибло бы и немало людей. Другой старик вспомнил при этом, что во время наводнения, которое произошло перед германской войной, утонуло восемь человек из Капсанчей. Старики стали вспоминать, когда были еще большие наводнения, и упомянули год эпидемии холеры, потом год, когда белый царь обстрелял из пушки кишлак Мингтепе. Урманджан сопоставил сроки, проходившие между большими наводнениями, и пришел к выводу, что они повторяются через определенные промежутки времени и что через год-два нужно ждать нового наводнения.

При первой же встрече с Бутабаем он рассказал ему об этом. Бутабай молча выслушал Урманджана, а на следующий день поднялся на заре и до обеда обошел весь берег реки, начиная с Кугазара и вплоть до Кошчинара. В двух верстах от Кошчинара он обнаружил две широкие балки, которые могли служить выходом для полои воды. Довольный своим открытием, он в тот же день созвал правление колхоза и поставил вопрос о строительстве двух дамб для предотвращения опасности затопления колхозных посевов.

Все члены правления горячо поддерживали предложение председателя. Но Урманджан, соглашаясь с тем, что необходимо соорудить предохранительные насыпи в балках, стал возражать против того, чтобы приступить к работе теперь же. «Что ему надо? Неужели завидует, что я первым предложил начать это строительство?» — недовольно подумал Бутабай и озадаченно посмотрел на Урманджана. С некоторым удивлением слушали нового товарища и другие члены правления. А он продолжал:

— ...Сейчас колхозников нельзя будет привлечь к такой большой работе, как строительство дамб. Ничего из этого не выйдет. Уже теперь видно, сколько получат наш колхозник в этом году при распределении доходов. Сыг он пока еще не будет. А псытому человеку лучше потроха, да сегодня, чем курдюк через год. Нам нужно больше всего думать о том, как боставить колхоз на ноги. Спешить с постройкой дамб не следует...

Бутабай, прерывая своего помощника, вдруг загремел оглушительным басом:

— Так как же все-таки — есть угроза или нет угрозы? Надо строить дамбы или не надо?

— Я уже сказал, что надо строить, — спокойно возразил Урманджан. — Но время ждет; по моим вычислениям большое наводнение будет угрожать колхозным посевам не следующей весной, а позднее. В этом году мы должны все свое внимание обратить на урожай, на увеличение доходов колхозника. У меня есть некоторые предложения...

Урманджан заговорил о необходимости засеять весной хлопчатником все поля Бакакуруллака, примыкающие к водокачке и головному арыку. Предложение понравилось всем, и даже Бутабай, ждавший момента, чтобы уличить нового помощника в непонимании хозяйствеп-



ных задач колхоза, ничего не мог возразить. Урмаджан исходил из того, что жители кишлака Капсанчи когда-то занимались хлопководством. Но они уже много лет не сеяли хлопка, и молодежь совершенно не знала этой культуры. Поэтому Урмаджан предложил создать сборные бригады из людей, более или менее знакомых с хлопком, а бригадирами поставить опытных дехкан; он даже назвал имена стариков, которые могли бы возглавить такие бригады.

Выслушав Урмаджана, Бутабай задумался: «Гм... Все правильно. Дельно сказано. Я и сам считал, что на тех землях надо обязательно сеять хлопок. И стариков тех знаю давно, не раз с ними беседовал. Почему же раньше мне не пришло в голову поставить вопрос о хлопке? Даже в беседах с Ахмедовым ничего об этом не сказал, а тот похвалил бы за инициативу...» Словечко «инициатива» Бутабай подхватил из бесед с секретарем райкома, хорошо усвоил его смысл, и оно уже давно не давало ему покоя.

Вопрос об использовании лучше орошаемых полей Бакакуруллака под посевы хлопка был вынесен на общее собрание. Колхозники, понимая, что хлопководство, непосильное для маленького хозяйства единоличника, сулит колхозу большие выгоды, с радостью приняли это предложение. Старик Закир-ата, намеченный в бригадиры, даже так выразился по этому поводу:

— Наконец-то наше правление взялось за ум и придумало одно хорошее дело.

Когда началась весенняя посевная, жизнь в колхозе «Кочинар» забила ключом.

В эти дни Бутабай почувствовал себя в положении человека, который, еще не научившись как следует ездить верхом, пустился вскачь на резвом коне. Он затевал все новые и новые дела, за каждое дело хватался с удвоенной силой и каждую пачатую работу старался, по его собственному выражению, как борец, положить «на обе лопатки». Правда, иногда работа его самого укладывала «на обе лопатки», но он не унывал. Природа наградила его крепким здоровьем, буйной энергией, смелостью, и все это он использовал для того, чтобы быть хотя бы на один шаг впереди Урмаджана. Везде и во всем он стремился проявить собственную «инициативу».

Еще зимой Урманджан стал два раза в неделю собирать в красной чайхане бригадиров и активистов, желающих обучаться грамоте. Когда его ученики начали немного читать, он вынес в правлении колхоза предложение обязать всех бригадиров и активистов учиться и постепенно вовлечь в вечернюю школу всю колхозную молодежь. Правление вынесло соответствующее решение, и, чтобы поддержать его на практике, все члены правления и сам Бутабай начали посещать занятия. Бутабай, боясь потерять свой авторитет перед бригадирами, учился очень прилежно и в дни, когда не было занятий, ходил по вечерам к Урманджану на дом, чтобы брать дополнительные уроки. Трудно сказать, чего было в Бутабае больше — упорства, природных способностей или любви к грамоте. Он довольно быстро научился читать и сносно писать, хотя при этом нередко дырявил бумагу кончиком пера и сажал кляксы.

Научившись читать и писать, он стал горячим поборником ликвидации неграмотности. Однажды, не посоветовавшись ни с кем, он собственноручно написал и вывесил на дверях правления грозное объявление:

«Всем колхозникам!

Неграмотность всегда служила классовым врагам. Неграмотному колхознику — нет аванса. Кто осенью не сумеет расписаться своею собственной рукой, тот ничего не получит! В отношении тех, кто против, будут приняты меры на собрании. Занятия происходят в красной чайхане в Бакакуруллаке. Тетради и карапдаши бесплатно, потребовать от чайханщика.

Председатель правления колхоза  
Б у т а б а й Б у р а ц б а е в».

Среди молодежи это объявление вызвало только веселые шутки, но стариков очень разобидело. Учиться па старости лет им казалось таким же нелепым занятием, как играть в «пятнашки». Два старика из Кугазара в знак протеста два дня не выходили на работу. А Закир-ата из

Бакакуруллака явился на учебу в чайхану верхом на палочке, со школьной сумкой своего внука.

Урманджана в эти дни не было в кишлаке. Вернувшись из района и увидев объявление председателя, он смеялся до слез. Бутабай обиделся и, как только Урманджан начал убеждать его в том, что стариков нельзя заставлять учиться в принудительном порядке, вспыхнул:

— Ты всегда душишь мою инициативу! А как их заставишь ликвидировать свою темную неграмотность? Скажи, как?

Много времени пришлось потратить Урманджану на то, чтобы утихомирить разбушевавшегося председателя. Сдался он лишь, когда Урманджан сказал:

— А если товарищ Ахмедов узнает о такой «ликвидации неграмотности»? Или кто-нибудь расскажет об этом на очередном совещании председателей колхозов? Да ведь над тобой будет хохотать весь район!

Бутабай смутился, но признать свою ошибку считал, видимо, ниже своего достоинства. Ничего не говоря, он вышел на улицу, сорвал с двери объявление и сунул его в карман.

Шли первые дни уборочной. Вечером после занятий Урманджан провел в чайхане беседу с колхозниками, которые днем работали на полях, и уехал в райком, а Бутабай пешком пошел домой.

Ночь была лунная, воздух чист и прохладен. Выйдя на верхнюю большую дорогу, Бутабай направился в Кошчинар. Слева от дороги виднелись дома и домишки Бакакуруллака, за ними в просветах между ветвями деревьев поблескивала белая лента реки. Справа пестрым ковром расстилались темно-зеленые хлопковые поля. Уходя вдаль, они постепенно сливались с дальними зарослями, черневшими на самом горизонте.

Довольный хорошим урожаем хлопка, занятиями, беседой, наконец, удивительной красотой ночного пейзажа, председатель колхоза весело шагал по дороге и даже напевал какую-то веселую песенку.

На повороте дороги, круто спускавшейся в Кошчинар, Бутабаю встретился Абдусамад-кары.

— Эй,— обратился к нему Бутабай,— почему вы не пришли сегодня на занятия?

Кары ухмыльнулся, перебирая пальцами кончик своей клипообразной сивой бородки.

— Ну и глаз у вас, Бутабай-ака! Просто поразительно. Успели заметить? Хе-хе... А я думал так — пусть сначала договят меня, а уж потом будем учиться вместе. Нет, нет, я пошутил, пошутил, — тут же добавил он, увидев, что председатель нахмурился.

— Колхозу; нужна новая грамота, — сказал Бутабай, — а ваша устарела. Да, устарела! Ишাকা не впрягают в коляску. Это так. Вы уж не обижайтесь...

Маленькие рысьи глаза кары забегали при этом неожиданном заявлении со стороны хорошо расположенного к нему председателя.

— Вы правы, конечно, правы! Кому теперь нужна старая грамота? Хе-хе... Новая жизнь, новые требования... — зачастил он и продолжал тихим воркующим голосом: — Но сегодня есть уважительная причина. Из города приезжал мой свояк, привез кое-какие подарки, ну... пришлось его провожать. — И добавил совсем тихо: — Я вашей супруге отнес сейчас долю из этих подарков.

— Хм... вот как! — смутился Бутабай, чувствуя неловкость. Подумав, он тряхнул головой. — А ну, зайдем к нам домой.

Некоторое время они шли молча. Кары первый нарушил молчание.

— Мой свояк очень хотел повидаться с вами, да не мог здесь долго задерживаться. Просил передать вам низкий поклон.

— Пусть будет здоров... А чем он занимается в городе? — поинтересовался Бутабай.

— Вы должны его знать. Секретарь в областном исполкоме. Уже два года.

— Э-э, кто же это? Может, Джавдат Наим?

— Он самый.

— Оказывается, у вас там свой человек? И вы не догадались попросить вашего свояка помочь нашему колхозу?

Грузиный и толстый кары рассыпался мелким визгливым смешком:

— Хе-хе-хе!.. Да разве я упущу подобный случай? Для пользы колхоза я зернышко вырву из клюва летящей птицы!.. Все, все рассказал ему о наших делах, о всех нуждах...

Входя во двор, Бутабай нагнулся под перекладной визенькой калитки и сразу увидел здорового курдюч-

ного барана, привязанного к столбу. Баран, повернув к нему голову, жалобно заблеял.

Бутабай пригласил Абдусамада-кары на террасу и спросил:

— Что же это, ваш свояк из города привез в подарок баранов?

— Да нет,— ухмыляясь, ответил кары,— из города он привез два куска атласа. А жена моя решила один из них подарить вашей супруге на платье. Ну вот я и решил приобрести к атласу этого барана, чтобы подарок не получился слишком бедным... В Ходжа-кишлаке мы с одним приятелем на пару откармливали четырех баранов. Сегодня как раз приятель прислал моих.

Баран снова заблеял. Бутабаю показалось, что он блеял очень громко, на весь кишлак. Недовольно поморщившись, он попросил жену показать атлас и, когда та принесла подарок, начал осматривать его при лунном свете.

— Восьмиударный<sup>1</sup>!— заметил кары, просовывая палец под верхнюю полосу.

Бутабай помолчал, о чем-то раздумывая, потом спросил глуховатым голосом:

— Хорошо. Но если мы примем и атлас и барана, то сколько будем должны вам?

Кары сверкнул рысьими глазками и, потупившись, обиженно покачал головой:

— Ай-яй-яй, Бутабай-ака! Разве между нами нет дружбы, которая дороже денег?

Баран заблеял еще громче. Бутабай, стараясь подавить внутреннюю дрожь, помолчал несколько минут и заговорил, с трудом сдерживая возмущение:

— Послушайте, кары, если вы и впрямь думали, что со мной можно так, то стоит вам набить морду. Но давайте лучше кончим по-хорошему. Во-первых, атлас вы вернете своей жене, пусть сама носит. Жена председателя сроду не носила таких платьев, и теперь еще рано. Так и передайте. Во-вторых, барана вы тоже заберите к себе домой и вместе с другим бараном откармливайте еще месяца два. Когда закончим уборочную и устроим большой той, сами зарежете их и сдадите в общий колхозный

---

<sup>1</sup> Восьмиударный — гладкий, плотный атлас высшего качества.

котел. В-третьих, можете считать себя снятым с должности секретаря. И, в-четвертых, я присоединяю к вам еще двух таких же жирных бездельников, и вы втроем будете рубить дрова в зарослях, что выше Кугазара. Поняли? Если не поняли, так я объясню вам завтра в правлении. А теперь проваливайтесь...

Абдусамад-кары, увидев, что дела уже ничем не поправить, медленно поднялся, засунул атлас за пазуху, взял барана за поводок и ушел.

А Бутабай накинулся на жену.

— Тряпичница! — рявкнул он, обрушивая на нее весь свой гнев. — Стоит показать красивую тряпку, и она уже готова броситься с крыши вниз головой!

Жена не осталась без ответа.

— А я знала, почему он принес атлас? — сказала она, поблескивая насмешливыми глазами. — Раз он решил преподнести вам такой большой подарок, значит, раньше приручал вас мелкими подачками!

Язвительный тон жены задел Бутабая, но разумность ее довода сковала ему язык, и он не нашелся, что возразить. Он перебрал в памяти все, что хоть в малейшей степени могло казаться предосудительным в его отношениях с кары, и не мог вспомнить ни одного случая, чтобы тот, как выразилась жена, «приручал» его. Не было такого. Но почему же кары осмелился поступить таким образом? На что он надеялся? Бутабай даже не подозревал, что его разговор с Урманджаном относительно секретаря правления был подслушан Абдусамадом-кары.

Чувствуя, что, если жена скажет еще хоть одно колкое слово, ссора неизбежна, Бутабай вышел на улицу.

Полная луна тускло поблескивала из-за легкой дымки, висевшей над горизонтом. Кругом стояла тишина, нарушаемая только ритмичным постукиванием движка водокачки. Где-то вдали звонко заржал конь. «Уж не Урманджан ли возвращается?» — подумал Бутабай и вышел на большую дорогу. Издали приближалась тень всадника, Бутабай пошел навстречу. Это и в самом деле был Урманджан. Увидев Бутабая, он сирывнул с коня и тревожно спросил:

— Что это вы так поздно?.. Что-нибудь случилось?

— Нет, ничего. А вы что возвращаетесь ночью? Нельзя было подождать до утра?

— Да что мне там особенно долго задерживаться? Заехал на полчаса в райком и обратно... Привет вам от товарища Ахмедова. Привез от него хорошую весть.

— Может, зайдём ко мне?

— С удовольствием.

Когда они вошли во двор, Бутабай спросил:

— Так что же это за хорошая весть?

Урманджан достал из кармана газету и протянул ему. Потом стал привязывать коня к столбу, у которого за полчаса до этого блеял барап Абдусамада-кары.

Бутабай поднялся на террасу, вывернул фитиль висячей лампы и развернул газету. Внимание его сразу привлекла статья «Наводнение», обведенная красным карандашом. Хотел было воскликнуть: «Вот видите, я говорил...», но решил промолчать.

Через минуту и Урманджан вошел на террасу.

— Да, вот эта,— сказал он,— читайте. А может, я скорее прочту вслух?

Бутабай не отдал газету. Стараясь не запинаться на длинных словах, он сам вслух прочел статью. В ней говорилось о больших наводнениях, повторяющихся через определенные промежутки времени и приносящих большие бедствия дехканам. Статья призывала жителей колхозов «Копщинар» и «Кызыл Гайрат» коллективно принять меры для предупреждения наводнений в будущем.

Бутабай, прикинув что-то быстро в уме, заявил:

— Если оба колхоза дружно возьмутся за работу, дамбы можно построить в три-четыре педелл.

— Да, но товарищ Ахмедов советовал нам поговорить насчет сроков с людьми, которые будут работать кетменем и таскать землю на своих плечах.

— Ну, конечно! Созовем общее собрание, обсудим все сообща.

— Я думаю, что на послезавтра и можно бы назначить собрание.

— Хорошо,— согласился Бутабай.— Сделай небольшой доклад на собрании поручим вам,— добавил он, надеясь в душе, что Урманджан предложит делать доклад ему.

Урманджан, подумав, ответил:

— Нет, лучше пусть застрельщиками этого дела станут старики. Поручим сделать доклад деду Закиру. Впро-

чем, завтра решим на правлении. Ну, я доехал. Вот только теперь я почувствовал, как устал.

Бутабай вышел проводить его до ворот. Прощаясь, он неожиданно для самого себя сказал:

— Я снял Абдусамада-кары с должности секретаря.

Урманджан, уже поднявшийся в седло, спрыгнул обратно на землю и с удивлением обернулся к председателю правления.

— Почему? За что?

Бутабай несколько замаялся.

— Грамота у него старая... Да и сам он не наш человек...

— Только теперь поняли?

Бутабай вспомнил ехидные слова жены — их мог повторить и Урманджан, и у него не хватило духу все рассказать.

Урманджан крепко пожал ему руку, вскочил в седло и уехал. Бутабай и на следующий день не рассказал ему о случившемся, а с течением времени уже просто стало неудобно говорить об этом.

Абдусамад-кары, опасаясь разоблачений со стороны председателя правления, несколько дней чувствовал себя очень плохо. Но Бутабай молчал, и кары пришел к заключению, что его сняли с должности по указанию Урманджана. По мере того как он сам худел на тяжелой работе, а два барана в овчарне набирались сала, в сердце у него все больше разгоралась ненависть к Урманджану.

На общем собрании, посвященном обсуждению газетной статьи о наводнениях, с докладом выступил Закирата. Выступали и другие старики, и перед глазами колхозников ясно предстала картина наводнения и все ужасные последствия его для посевов. Потом выступил Урманджан. Он говорил уже не о наводнениях, не о дамбах, вернее, не только о них, но и о плане больших работ, стоящих перед колхозом. Строительство дамб должно было послужить только началом, и когда он поставил вопрос — выполнят ли колхозники то, что от них требуется, в этом году, все единодушно ответили: «Выполним!»

Спустя неделю колхозники приступили к постройке дамб и закончили ее ко времени распределения доходов.



В колхозе «Кошчинар» на каждый трудодень при-<sup>1</sup>плюсь по два с лишним килограмма пшеницы и по пяти рублей сорока семи копеек деньгами. Колхозники, получившие в прошлом году на трудодень всего по полкилограмма пшеницы и по рублю двадцать три копейки, почувствовали себя так, словно исполнились все их заветные мечты.

Но это было только начало. Партийцы и активисты, по поручению райкома, начали агитацию за сооружение мощного семнадцатикилометрового оросительного канала, который должен был взять воду из реки Яккобаг и ниже Шуртепе влиться в ту же реку.

Работы начались зимой. Одиннадцатого января на стройку вышло две тысячи триста колхозников. Было тяжело, очень тяжело работать на морозном зимнем ветру. В это самое время из колхоза «Кошчинар» ушло еще несколько десятков дехкан.

Когда Урмаджан в беседе с Сидыкджаном сказал, что из двухсот десяти хозяйств в колхозе «Кошчинар» осталось сто восемьдесят, он имел в виду именно это трудное время.

## ГЛАВА ПЯТАЯ

### 1

Распрощавшись со стариком Курбаном, Сидыкджан почувствовал себя человеком, который вдруг отправился в далекое путешествие. Куда он едет, кого встретит на неизвестном, неиспытанном пути, какие неожиданности готовит ему судьба, он не знал. До сего времени жизнь его была серой и однообразной, как степь, раскинувшаяся по обе стороны дороги. Но впереди открывались новые, манящие дали, и сердце Сидыкджана билось тревожно и радостно.

День выдался ясный, солнечный, в небесной синеве — ни облачка. Порывистый ветерок крутил на дороге серую пыль.

Урмаджан ехал молча. Занятый своими мыслями, он смотрел вперед и словно не замечал своего спутника.

Солнце начинало уже клониться к западу, когда они увидели высокий земляной вал, который тянулся откуда-

то из солончаковой, покрытой черпобыльником степи и исчезал в густых зарослях туранги, дикой джиды и вербы.

— Капал,— сказал Урманджан, махнув плеткой в сторону вала.

Раньше, когда речь шла о канале, Сидыкджан представлял его себе обыкновенным арыком, где воды иногда не хватает даже для того, чтобы вращать мельничное колесо, теперь же, увидев целые горы выброшенной из русла канала земли, он воскликнул:

— Эге, так это же огромный канал!

Урманджан, взглянув на него, усмехнулся.

— А ты как думал?

Километра три дорога шла среди диких зарослей. Задумавшись, Сидыкджан и не заметил, как остался один на дороге. «Приехали»,— услышал он сзади голос Урманджана и с удивлением оглянулся — вокруг были те же заросли.

— Приехали, говорю,— повторил Урманджан.

— Куда приехали?

— В кишлак, в колхоз.

— Но я не вижу никакого кишлака.

— Слезай, потом увидишь.

Привязав коней, они вышли на большую площадку. Ее пересекала проселочная дорога. За дорогой, под старым карагачем, виднелась небольшая кирпичная постройка, похожая на развалины железнодорожной будки. Пробоины в стенах были заделаны битым кирпичом и глиной. Крыша в один скат была покрыта обрывками толя; чтобы листы не снес ветер, на них разложили половинки кирпичей и камни-голыши. Окно казалось значительно выше и шире обычных, но в нем застеклены были только две нижние клетки рамы, а верхние забиты досками.

Урманджан ввел Сидыкджана в небольшой открытый дворик. Позади дома, по-видимому, когда-то находилось еще какое-то строение, но переднюю разрушенную стену его разобрали и получили обыкновенный навес.

— Ну, садись, отдохни,— сказал Урманджан, входя под навес и придвигая тахту к длинному столу.

Прежде чем сесть, Сидыкджан окинул взглядом постройки, заросли камышей, за которыми поблескивала река, и спросил:

— Что тут было раньше?

— Раньше была водокачка.

— А-а, княжеская водокачка? Курбан-ата рассказывал мне о ней. Бедные капсанчи! Если бы им принадлежала земля, они могли бы еще тогда провести канал для орошения своих полей.

Урманджан рассмеялся.

— А почему же они не прорыли канал сразу после земельной реформы, когда они получили землю? Нет, Сидыкджан, дело не только в этом. Из вязанки стеблей кукурузы нельзя сделать ось для арбы, а из карагача можно. Раньше капсанчи были разрознены. А теперь у них появилась крепкая организация, которая спаяла их в одну семью. Такое большое дело под силу только колхозу, да и не одному. В строительстве канала участвует несколько колхозов.

Из дома вышла жена Урманджана, стройная и довольно красивая женщина. Она поздоровалась с Сидыкджаном и поставила на стол блюдо с тузовыми ягодами и хлеб. Потом вернулась в дом и принесла чай. Расставляя на столе пиалы, она сообщила мужу:

— А у нас гость.

— Да? Кто же?

— Из города. Говорят, агроном.

— Агроном?— переспросил Урманджан и порывисто встал.— Где же он?

— Приводил его сюда Бутабай-ака, но они побыли недолго и ушли вместе. Наверно, сейчас в правлении.

— Ты уж извини меня, брат,— сказал Урманджан Сидыкджану и, поднявшись с тахты, торопливо ушел.

Вернулся он через час, и не один, а с молодым человеком в белых брюках, белой рубашке и соломенной шляпе. Пожимая руку Сидыкджану, приезжий весело сказал:

— Честь имею представиться: агроном Рауф Ибрагимов.

— Запомни имя будущего друга,— сказал Урманджан сконфуженному Сидыкджану и представил его молодому агроному.— Это мой друг детства — Сидыкджан.

Ибрагимов сел на тахту и стал обмахивать шляпой потное лицо.

Сидыкджан точно не знал, что такое агроном, но, когда слышал это слово, всегда почему-то представлял

себе веселого русского старика, плохо говорящего по-узбекски. Поэтому он удивленно взглянул на молодого узбека.

Ибрагимов неторопливо брал с блюда самые спелые ягоды и с удовольствием глотал их нежный, холодящий и немного вяжущий сок. Одновременно он продолжал разговор с хозяином.

— Вот так-то, Урманджан-ака. До осени у вас побуду, помогу, чем удастся, а потом вернусь в Ташкент.

— Не успели приехать, а уж хлопчете об отъезде,— недовольно проговорил Урманджан и шутливо добавил:— Мы как-нибудь уговорим вашу жену переехать к нам хотя бы годика на три.

— О нет, Урманджан-ака! Во-первых, я еще не женат и не думаю пока жениться. А, во-вторых, если и останусь, через год вы сами отправите меня на учебу. Колхозному кишлаку требуются теперь высокообразованные агрономы, владеющие последними данными науки о хлопководстве. Вы знаете профессора Васильева? Мой учитель. Он говорит, колхозный строй открыл огромные возможности для быстрого движения вперед всей нашей агропомпической науки... Вот скажите, во сколько трудодней обходится вам центнер хлопка?

Урманджан смутился, не зная, что ответить агроному: он еще не догадался подсчитать это и, как председатель совета урожайности, почувствовал, что сделал большое упущение. Мысленно выругав себя, он проговорил неопределенно:

— Хлопок требует много труда, но в нашем хозяйстве нет ничего более доходного.

— Верно,— подтвердил Ибрагимов,— эта культура дает большой доход, но и требует много труда. А вот агрономическая наука хочет сделать так, чтобы и трудиться меньше пришлось и доходность увеличилась. В этом же дело,— подчеркнул он и, положив в рот ягоду, проговорил мечтательно:— При большой доходности хлопковой культуры да поменьше бы трудодней на центнер!.. Вы думали об этом, Урманджан-ака?— спросил он и продолжал:— Товарищ Ахмедов говорил, будто в колхозе «Иттифак» в прошлом году центнер хлопка обошелся в двадцать один трудодень. Двадцать один! Это очень много.— Ибрагимов откинулся назад, вынул из кармана платок, вытирая пальцы, с хитровой усмешкой скользнул взгля-

дом по лицу Урманджана.— А что если у нас в колхозах центнер хлопка будет обходиться в один трудодень?

Сидыкджан, внимательно слушавший агронома и проронивший за все время беседы ни слова, тоже перевел взгляд на Урманджана и ждал, что он ответит. Но Урманджан, что-то соображая, не торопился с ответом. Набралшись смелости, Сидыкджан негромко сказал:

— Тогда люди ели бы из золотых горшков.

— Правильно!— подхватил Ибрагимов.— Золотые горшки делать, конечно, не к чему, но совершенно бесспорно, что хлопковые колхозы стали бы очень богаты. А именно к этому мы и идем. У нас будут тракторы, минеральные удобрения, нам поможет партия, ученые люди... И все это для того, чтобы двадцать один трудодень на центнер хлопка свести к одному!

Ибрагимов встал, чтобы размять ноги, и, выйдя из-под навеса, посмотрел на камышовые заросли, тихо шумевшие от набегавшего ветерка, на изумрудно-зеленые поля за молочно-серой полоской реки, на синеватые горы вдаль. Урманджан, помолчав, глубоко вздохнул и положил руку на плечо Сидыкджана.

— Да, вот такие-то дела, Сидыкджан. Двадцать один трудодень надо свести к одному!— сказал он и тоже поднялся.— А теперь, дорогие гости, извините меня! Мне надо побывать еще во многих местах сегодня. Вы пока отдыхайте с дороги, а к обеду я вернусь.

— Да, забыл спросить,— сказал Ибрагимов, выходя вместе с Урманджаном к воротам.— Товарищ Ахмедов говорил мне, что с моим приездом тут уже будет три коммуниста. Кто же третий?

— Ихсан Каримов, бригадир хлопководческой бригады. Он приехал сюда недавно и должен был работать секретарем правления, но сам пожелал работать в поле. На должность секретаря мы готовим одну женщину по имени Зиядахон.

Урманджан ушел.

Вернувшись к столу, Ибрагимов встретил грустный взгляд Сидыкджана и с живым любопытством спросил:

— Что это вы приуныли, товарищ?

Сидыкджан вздохнул и улыбнулся. Ибрагимов шуточно начал рассказывать о приключениях в дороге и быстро развеселил молчаливого собеседника. Не прошло и

получаса, как Сидыкджан откровенно рассказал обо всем, что произошло с ним за последнее время.

— Все понятно,— участливо проговорил Ибрагимов, выслушав грустную повесть Сидыкджана.— Мне уже приходилось слышать подобные истории. Вы, конечно, правильно поступили, уйдя из дому, где вас сделали даровым батраком. Но вот ребенок осложняет положение. Выдержите ли вы разлуку с маленьким сыном? Голосок ребенка, как известно, смягчает каменное сердце. Услышите его лепет и сразу забудете обо всех обидах.

Сидыкджан, подумав, сказал:

— Ради ребенка я, может быть, и помирился бы с женой, если бы она захотела уйти со мной из дома отца. Но этого уже нельзя сделать, шариат не позволит. Я ведь троекратно объявил ей развод.

Ибрагимов расхохотался.

— Шариат!.. У шариата, дорогой мой, много путей. Не подходит один, так найдется десяток других... Вы слышали поговорку: «Трон аллаха может пошатнуться, но от этого он не провалится?»

Сидыкджана немного покорило от кощунственных слов агронома, и он нахмурился, а Ибрагимов продолжал:

— Аллах, как и все падишахи, восседает на троне... Да не пугайтесь же, история самая обыкновенная,— улыбнулся он, видя, что его собеседнику стало не по себе.— Так вот... В одном городе жила распутная женщина. Однажды ее охватил страх перед наказанием, которое ее постигнет в судный день, и она отправилась к знатоку шариатских законов. Приходит и спрашивает: «Аглям-пачча, что ожидает женщину, которая совершила прелюбодеяние?» Аглям замахал на нее обеими руками: «Хай, хай, не произноси такого слова. Прелюбодеяние — это такой грех, что если совершить его хотя бы один раз, трон аллаха будет три дня шататься!»

— Ох-хо! — вырвалось у Сидыкджана не то от удивления, не то от испуга.

— Да, так он и сказал,— улыбнулся Ибрагимов.— Услышала женщина такой ответ и заплакала. «Ай, аглям-пачча, что же мне делать? Ведь не было дня, чтобы я не совершила прелюбодеяния!» Как только аглям услышал ее признание, он отшвырнул свою чалму и, схватив женщину за руку, потянул к себе. Она ему говорит: «Аглям»

пачка, что вы делаете? Вы же сами сейчас сказали, что зашатается трон аллаха!» А тот в ответ: «Шататься-то, говорит, он зашатается, по все равно не провалится».

Сидыкджан так громко расхохотался, что лежавшая рядом с ним кошка прыгнула с тахты и недовольно зафыркала.

— Вот видите,— заключил Ибрагимов,— аглям всегда найдет выход. А вот вы... Мне кажется, вы человек тихий, и вашей жене не трудно будет вернуть вас к себе.

— Как же она это сделает?

— А очень просто — приедет сюда и увезет вас домой.

— Ну уж, вы, домумла, скажете! «Увезет»,— обиженно проговорил Сидыкджан, расправляя широкие плечи.— Нет, домумла, никогда я не помирюсь с этой женщиной!— решительно заявил он и вздохнул.— Эх-хе... жена, не уважающая своего мужа,— какая же это жена? Моя мать, бедняжка, очень редко бывала у нас. Жила она раньше очень бедно. Но всякий раз, приходя к нам, она обязательно приносила что-нибудь в подарок. Однажды матушка ничего не нашла для подарка, так что, вы думаете, она принесла? Штук двадцать старых гвоздей от арбы. Вы подумайте только!.. А моя жена и ее мать даже смотреть на нее не хотят, не то что поговорить с ней, чем-нибудь угостить. Теперь сам удивляюсь, как я терпел все это, и сколько лет! Будто язвой был поражен мой разум...

— Должно быть, вы думали, что весь мир таков и все люди такие.

— Как видно, так,— сказал Сидыкджан таким тоном, словно насмеялся над собой.— Когда человеку ума не хватает, так и получается.

Урманджан к обеду не вернулся. Жена его, расстилая скатерть, сказала:

— Он уж такой... Найдет какое-нибудь спешное дело, так и в район уедет. Как-то велел мне приготовить плов, а когда уходил, сказал: «Обедать будем через час». Ушел и пропал. Я все приготовила, жду. А он является на другой день к вечеру и спрашивает: «Ну как, плов приготовила?» Оказывается, на плотину ездил.

— А что, кошчинарцы все еще работают на плотине?— спросил агроном.

— Да. Работы хватит еще месяца на два.

Жена Урманджана принесла блюдо с пловом и села к столу обедать вместе с гостями. Это удивило Сидыкджа-

на. Никогда в доме его тестя женщины не садились за стол вместе с посторонними мужчинами.

Жена Урманджана вынесла из комнаты лампу, поставила ее на стол и, улыбувшись, сказала:

— Уж вы меня извините, пду учиться. А вы, если устали, ложитесь тут под навесом. Муж, видно, не скоро придет. Обед ему я оставила у очага.

— Пожалуйста, не беспокойтесь,— ответил ей Ибрагимов.

Женщина ушла.

Из-за темного холма выплыл багровый диск луны. Далекие горы приняли стальную окраску, а ближние деревья почернели, словно покрылись сажей.

Сидыкджан и Ибрагимов поговорили еще немного и, почувствовав усталость, стали укладываться спать под навесом.

А Урманджан все не возвращался.

## 2

На рассвете жена Урманджана разбудила Сидыкджана и сказала, что муж прислал за ним мальчика. Сидыкджан торопливо поднялся и вышел во двор.

Во дворе его поджидал мальчуган лет двенадцати. Ничего не говоря, мальчик вышел за калитку и зашагал по дороге. Сидыкджан последовал за ним.

Пройдя с полкилометра по проселочной дороге, извивавшейся среди зарослей, они свернули налево и спустились в лощину. По краям лощины тянулись горбатые, покосившиеся дувалы, за ними виднелись дома, одинокие деревья.

Справа, за штабелями досок, послышалось ржание коня, и в ту же минуту из-за штабеля вышел сам Урманджан.

— Ну, как, выспался?— спросил он, здороваясь с Сидыкджаном.— Когда я вернулся домой, вы с агрономом уже спали. Скучно было, что так рано завалились спать?

— Нет, Урманджан, Ибрагимов-ака веселый человек, и мы с ним хорошо поговорили.

— Так, так... Ну, я рад... А теперь я попрошу тебя немного помочь нам. Все заняты на канале и на полях,



людей не хватает. Надо доставить продукты на участок плотины. Может, отвезешь?

— Отчего же не отвезти?

Из-за штабеля выехала арба. Лошадь вел под уздцы старик лет шестидесяти.

— Тогда поезжай,— сказал Урманджан.— Вот это письмо передашь там Каримову,— он протянул Сидыкджану сложенный вчетверо листок и стал объяснять:— Вон за тем холмом находится Бакакуруллак. Там на самом въезде тебя встретит женщина. Она поедет вместе с тобой. Будь осторожен, конь порывистый... Да, чуть не вабыл — я уже нашел тебе комнату.

— Комнату?

— Да, там же, в Бакакуруллаке. Это самая благоустроенная махалля нашего кишлака. Съездишь на плотину, потом я тебе покажу.

Сидыкджан влез на арбу и поехал. Как только он поднялся на холм, сразу увидел Бакакуруллак, раскинувшийся в долине среди садов. И в самом деле, Бакакуруллак, с несколькими белыми домами на площади, казался более благоустроенным, чем Кугазар.

На перекрестке, где дорога круто сворачивала в Бакакуруллак, Сидыкджан увидел женщину, сидевшую у дороги. Завидев арбу, она встала. Миловидная, среднего роста, лет двадцати пяти, она была одета в бордовое платье и черную безрукавку. Зеленый платок на голове красиво оттенял ее смуглое лицо.

— Это и есть Бакакуруллак, сестра?— обратился к ней Сидыкджан, останавливая коня.

— Если вы Сидыкджан, то это и есть Бакакуруллак,— ответила женщина и, поставив ногу на ступицу колеса, легко поднялась на арбу.

Сидыкджан немного смутился, услышав этот чуть насмешливый ответ. Обернувшись, он хотел показать, где сесть, но женщина, перелегнув через мешки и узлы, сама нашла удобное место на передке и села. Сидыкджан дернул за поводья, и колеса арбы опять затянули свою однообразную скрипучую песню.

За Бакакуруллаком дорога пошла между редким кустарником, песками, целиной и кое-где засеянными полями. Солнце поднималось все выше, и склоны холмов за рекой окрасились в темно-зеленый цвет. Со стороны реки дул прохладный ветерок, колебля высокую траву

у дороги, а по полям ячменя словно волны катились, отливая на солнце беловатой медью.

Когда выехали на большую открытую поляну, Сидыкджап увидел штабели красного кирпича и спросил:

— Это что — кирпичный завод?

— Школа, — ответила женщина. — Здесь будет строиться школа.

— Школа? — удивленно переспросил Сидыкджап, оглядываясь вокруг. — Кто же это придумал строить здесь школу?

— Правление колхоза и сельсовет.

— Так ведь отсюда очень далеко до кишлака. Как будут ходить сюда детишки зимой?

— Решено и кишлак перенести сюда, — объяснила женщина. — Дома будут расположены по обеим сторонам нового канала. А школа окажется в самом кишлаке, вот здесь, на видном и красивом месте. Напротив школы, по другую сторону поляны, будут построены большие дома правления колхоза и клуба. А вон там, — указала она в сторону, на видневшиеся вдали заросли и кустарники, — мы разобьем большой парк.

— Так, значит, будет построен новый кишлак, — задумчиво проговорил Сидыкджап. — Но ведь на это потребуются лет двадцать, я думаю.

— Что вы, что вы!.. — возразила женщина. — Товарищ Ахмедов на заседании райкома сказал, что новый Кишчинар будет в ближайшие годы. А Ахмедов не бросает слова на ветер. Строительство канала тоже обсуждали в райкоме, и мы заканчиваем его даже намного раньше срока.

Махалля Кишчинар тоже осталась позади. Арба, скрипя и покачиваясь из стороны в сторону, проехала мимо больших и малых песчаных холмов, вдоль зарослей тамариска и выехала на целину, которой не видно было ни конца, ни краю. Вокруг густо зеленела трава, кое-где бродили одинокие коровы и небольшие отары овец. Дорога шла вдоль нового канала, бравшего начало из реки, которая белела вдали, как полоска разлившегося над землей тумана, рассекая степь на две части.

— Посмотрите, — снова заговорила молодая женщина, — когда закончим канал, вся степь будет орошена и засеяна хлопком.

Сидыкджап обернулся к ней и спросил:

— Эти земли тоже принадлежат «Кошчинару»?

— Эти — нет, но у нас тоже много целины.

— А сейчас у вас достаточно земли?

Молодая женщина захохотала.

— Как это может быть достаточно? Сколько бы ни было в колхозе земли, все будет недостаточно!

— Почему недостаточно? Сколько же земли может обработать один человек? И сколько у вас работающих? Ведь все равно же вы не сможете обработать земли больше того, что могут сделать все люди вашего колхоза.

Женщина удивленно посмотрела на него.

— Какая же тогда польза от того, что мы объединились в колхоз! Разве у вас в колхозе не используют трактор?

Сидыкджан совсем смутился и промолчал.

— Что вы сеете? — продолжала расспрашивать женщина.

— Ячмень, пшеницу, рис... — хмуро ответил Сидыкджан.

— А хлопок?

— Хлопок — нет, не сеем.

— Отстальные вы люди!

Сидыкджану, который привык видеть женщин всегда печальными, недовольными судьбой и считал, что они и не могут быть иными, не очень понравились рассуждения его спутницы, ее самоуверенный тон и свободная манера держать себя. Хотя женщина и была довольно красива, Сидыкджан почему-то решил, что она никому не нравилась и потому осталась старой девой. Вслед за этой мыслью в голове шевельнулась и другая: «Порядочная ли это женщина, раз она так бойко говорит и совсем не стесняется мужчины?»

Подъехали к развилке дорог.

— Куда сворачивать? — спросил Сидыкджан, обернувшись к женщине и заглядывая ей в глаза.

— Направо, — ответила она, спокойно взглянув на него.

Свернули на другую дорогу, серую, пыльную. В тени огромного тутового дерева Сидыкджан остановил коня. На дереве буйно чирикали воробьи.

— Может, попробуем тутовых ягод? — обратился Сидыкджан к своей спутнице.

Увидев над головой зеленые ветви с густо напизан-

ным на них и блестящими на солнце, как жемчуг, беловатыми ягодами, женщина встала в арбе и потянулась к ним.

Сидыкджан, поднявшись на арбе, ухватился за толстый сучок и стал пагубить ветви.

Женщина тянулась к нижней ветке, но никак не могла достать ее. Тогда Сидыкджан с силой тряхнул сучок, и в арбу посыпались сочные ягоды. Молодая женщина, наклонившись, принялась собирать их, а Сидыкджан, стряхнув с веток почти все ягоды, набрал их целую горсть и обернулся к молодке. Та торопливо собирала ягоды, сидя спиной к Сидыкджану. Зеленый платок ее упал с головы на плечи, обнажив смуглую шею. Сидыкджан протянул целую горсть ягод и поднес их к самому рту женщины. Та, повернув к нему голову, улыбнулась, блеснув ровным рядом удивительно белых зубов.

«Ах ты какая!» — подумал Сидыкджан, окидывая женщину взглядом с головы до ног. Теперь она казалась ему уже не старой девой, которой пренебрегают мужчины, а красавицей, легко покоряющей сердца. Сидыкджан посмотрел на ее затылок и завитки возле уха, на гладкую тонкую шею и совершенно неожиданно для себя сказал неизвестно откуда пришедшими в голову словами старинной газели:

О ты, чье хорошо лицо, чей рот и смех хорош,  
Лишь раз посмотришь на тебя — и глаз не отведешь!

Женщина ответила ему стихом из другой газели:

Погибелью грозит любовь, едва признаюсь в ней,  
А затаить ее в груди — погибели страшней.

Сидыкджан не понял, в шутку она ответила так или всерьез. Помолчав немного, он спросил:

— Кому это грозит любовь погибелью?

— Кому же, как не вам! — насмешливо глядя на Сидыкджана, озорно сверкнула карими глазами женщина.

— От кого?

— А хотя бы от моего мужа!

— У вас есть муж?

— А у вас нет жены?

Сидыкджан хотел было сказать «нет», но вспомнил о ребенке и ответил:

— Была.

— Развелись?

— Развелся.

— Вот как? А дети есть?

— Сын.

— Ну, тогда еще вернетесь к жепе.

— Если и вернусь, так только на ее похороны,— сердито проговорил Сидыкджан.

Женщина метнула на него быстрый взгляд и нахмурилась было брови, по тут же откинулась на мешок муки и звонко захохотала. Схватив свой платок, она зажала им рот, но смех душил ее, полные плечи вздрагивали. Сидыкджан сначала смотрел на нее, ничего не понимая и злясь, потом тоже рассмеялся и вдруг озорно, по-мальчишески, пленнул ее ладонью по плечу. Как это случилось, Сидыкджан и сам не знал.

Женщина резко дернулась, вскочила. Лицо ее сразу побледнело, глаза расширились от удивления и испуга.

— Э...ха!— вырвался из ее груди гортанный звук.

На лице Сидыкджана появилось что-то похожее на жалкую улыбку. Он готов был провалиться сквозь землю, стыдясь необдуманного поступка. А женщина, видя его смущение, накинула на голову платок, села и подобрала платье.

— Кто вам сказал, что женщины «Кошчинара» такие?— строго заговорила она.— Или вы так поступили потому, что я, не стесняясь, шутила с вами? Наверно, поэтому? Но если у вас так смотрят на женщину, должно быть, очень несчастны женщины вашего колхоза.

Сидыкджан сидел молча, потный и красный. «И дернула же меня нелегкая дотронуться до нее!»— ругал он себя. Он взял в руки вожжи и сильно хлестнул коня. Конь резко рванул и, встряхивая головой, помчался по пыльной дороге.

Долго они ехали молча. Где-то стучал дятел, кричал удод. Сидыкджан хмуро смотрел вперед и молчал. Заметив, что он подавлен случившимся, молодая женщина сказала:

— Ну ладно, чего уж... Дайте-ка мне нож.

И примирительно улыбнулась, когда Сидыкджан, подавая нож, взглянул на нее.

Очистив два огурца, она один протянула Сидыкджану.

— Хотите огурец?

Сидыкджан, не отрывая глаз от дороги, глухо ответил:

— Не беспокойтесь...

— Возьмите уж...

Сидыкджан, не оборачиваясь, протянул руку и взял огурец.

— Вы близкий друг товарища Урмаджана, значит, не плохой человек,— сказала женщина и с хрустом откусила огурец.— Если бы вы были дурным человеком, вы... повели бы себя по-другому...

— Конечно,— буркнул Сидыкджан, все также не оборачиваясь.

— Ладно уж...— опять повторила женщина,— со всяким может случиться. Не вы тут виноваты, а наши старые обычаи. Женщины стесняются мужчин, а мужчинам хочется заигрывать с женщинами. Не знаю, то ли мужчинам хочется заигрывать, потому что женщина стесняется, то ли женщина стесняется, догадываясь, что мужчина обязательно будет заигрывать с нею. Иногда бывает и так: мужчина увидит женщину, которая не стесняется его, и тут же подумает, что она распутная. Так у нас всегда было. А вот у русских, оказывается, давно уже этого нет. У нас в МТС работает немало русских. И когда глядишь, как их мужчины и женщины свободно держатся и в то же время уважают друг друга, так прямо обидно становится за нас, и зависть берет. В прошлом году как-то весной забралась я на тутовое дерево нарезать листьев для шелковичных червей, а слезть никак не могу. Подходит тракторист Андрей, гляжу — протягивает мне руки, хочешь помочь. А я крикнула, как полоумная: «Вай, умереть мне!» — и кинулась с дерева. Чуть ногу не сломала. Андрей даже не понял, почему я прыгнула с дерева. Эх,— с сожалением закончила она,— скорее бы нам распрощаться со старыми обычаями!

Вдали показались земляные бугры и палаша. Вокруг них двигались фигурки людей. По мере приближения к шалашам сердце у Сидыкджана то замирало, то начинало учащенно биться от охватившей его тревоги. Ему казалось, что, как только он подъедет к шалашам, его спутница спрыгнет с арбы, завопит и, когда сбегутся люди, расскажет, что он заигрывал с ней.

Проехали еще с километр. Строения, казавшиеся из-

дали маленькими шалашами, оказались большими навесами, расположенными на значительном расстоянии друг от друга. Сидыкджан подъехал к одному из навесов и остановил арбу.

Навес был открыт с трех сторон, под камышовой стенкой были сложены разноцветные одеяла и матрацы, глиняная посуда и разная хозяйственная утварь. Возле навеса горел костер. Женщина средних лет, суетившаяся у огромного котла, увидев арбу, подбежала к ней, на ходу вытирая фартуком руки. Поздоровавшись с Сидыкджаном, она указала ему место под навесом, куда складывать продукты, а сама заговорила с его спутницей.

Сидыкджан, разгружая арбу, то и дело поглядывал на женщин, стараясь угадать, о чем они говорят, и всякий раз, когда на их лицах появлялись улыбки, сердце у него сжималось от тревожных подозрений. Между тем его молодая спутница взяла жестяной чайник и заварила в нем чай из большого кипящего самовара. Потом, разостлав на траве дастархан, позвала Сидыкджана.

— Прошу вас, садитесь, пожалуйста. Вы, наверно, еще и чаю-то не успели попить. Но сначала выпрягите лошадь.

Сидыкджан распряг лошадь, отряхнул от пыли полы и рукава халата и вошел под навес. Молодая женщина положила на дастархан три ячменные лепешки и несколько горстей урюка. Поставила перед Сидыкджаном пиалу с чаем и, заметив подходившего к навесу мужчину, поднялась.

— А вот и Тешабай-ака, — сказала она, улыбаясь.

— Кто? — переспросил Сидыкджан.

— Мой муж.

Сидыкджан быстро поднялся на ноги.

— Сидите, сидите! — сказала молодая женщина.

Но Сидыкджан словно не слышал ее и, поднявшись, торопливо поправил на себе халат.

Под навес вошел стройный мужчина среднего роста, с большими черными усами, которые очень шли к его смуглому, как у цыгана, лицу. Видимо, это был человек веселого нрава. Войдя, он сразу начал подшучивать над женой:

— Придется мне жениться на женщине, которая умеет угадывать мои желания. Что же не говоришь — табак привезла?

Не дожидаясь ответа жены, он поздоровался за руку с приезжим. Сидыкджан, взглянув в его огромные черные глаза, живо представил себе, как вспыхнут они от гнева, когда жена расскажет ему о поведении его, Сидыкджана, в дороге. Но глаза Тешабая смотрели добродушно, загорелое лицо улыбалось, а жена его, кажется, и не собиралась жаловаться. Шутливо отвечая мужу, она пригласила обоих мужчины пить чай.

Мужчины сели, внимательно оглядывая друг друга.

— Так, значит, помогать к нам прибыли?— заговорил Тешабай.— Очень хорошо. Вот уж и плотины будут скоро готовы. Если бы не окучка хлопчатника, тут работы осталось бы на месяц, не больше.

Сидыкджан опасался, как бы разговор не перешел к тому, что случилось дорогой, и потому поддержал разговор о плотине.

— Долго еще придется работать?— спросил он.

— Это зависит от нас самих,— ответил Тешабай.— Если будем вот так посиживать за чаем да лакомиться урюком, стройка может затянуться и на зиму. Да нет,— тотчас же перебил он себя,— Урманджан-ака не допустит. Не такой он человек. Я думаю, подбросит еще людей... Вы здесь останетесь?

— Не знаю... Урманджан-ака дал мне вот это письмо,— сказал Сидыкджан и, достав из-за пазухи вчетверо сложенный лист, протянул его Тешабаю.

Тот, взглянув на письмо, сунул его под тюбетейку и сказал:

— Передам Каримову, не беспокойтесь.

— Конечно, останется,— весело проговорила молодая женщина, насыпая жевательный табак в тыквянку мужа, служившую ему табакеркой.— Ведь останетесь, Сидыкджан-ака?

Она сказала это так, словно упрашивала захавшего в гости брата остаться еще на денек, на два. Однако Сидыкджану показалось, что в ее голосе прозвучала насмешка, и он исподлобья взглянул на нее. Но лицо женщины не выражало ничего, кроме искреннего участия, и у Сидыкджана сразу отлегло от сердца. Он почувствовал к ней благодарность и, мягко улыбнувшись, ответил:

— Как вы сказали, так и будет. Останусь.

— Вот и хорошо,— одобрил его решение Тешабай.—



У нас в бригаде теперь одиннадцать человек. Давайте помогать нам. Только учтите — все мы ударники.

Он засунул за поясной платок свою тыквянку, встал и отправился на работу.

Весь остаток дня Сидыкджан провел у навеса, помогая жепщинам готовить обед для работающих на плотине колхозников. Жену Тешабая звали Зиядахон. Хотя она была помногого моложе Сидыкджана, он обращался к ней почтительно, называя ее Зиядахон-апа.

## ГЛАВА ШЕСТАЯ

### 1

Сидыкджан, просыпаясь, не сразу понял, где он находится. Еще не рассвело, а кругом стоял шум и гам от множества голосов, слышались громкие выкрики, смех. Над его постелью стоял кто-то в белом и, чем-то размазывая, говорил:

— Держите прозодежду, Сидыкджан! Да скорес одевайтесь, на работу пойдём!

Это был Тешабай. Сидыкджан, как будто давно проснулся и ждал только этого, сразу вскочил с постели и, даже не спрашивая, что такое «прозодежда», принял вещи из рук Тешабая.

— Рубаха и штаны,— сказал Тешабай,— а вот это рабочие сапоги. Поторапливайтесь, чай уже готов!

Сидыкджан стал торопливо одеваться. Нарядившись в рубаху и штаны из добротной серой парусины, он выжидающе посмотрел на Тешабая.

— Как раз по вашему росту,— удовлетворенно проговорил Тешабай.— А я выбирал на самый большой рост, да боялся, как бы все это вам мало не оказалось. Вы ведь воп какой богатырь! Ну, пойдём.

Откуда-то появилась Зиядахон. Она сунула Сидыкджану в руку глиняную чашку, а у него взяла сапоги, халат и рубаху со штанами, завернутые в поясной платок.

Неподалеку от навеса расположилась кружком группа мужчин. Сидыкджан подошел к ним вслед за Тешабаем и опустился на кофму с краешку. Кто-то взял у него из рук чашку и налил чаю.

— А что если нам пить чистый кипяток вместо этого яблочного чая?— проговорил какой-то молодой парень.— От него пахнет кошкой, которая вымокла под дождем.

Все рассмеялись.

— Болтай, болтай!— сурово откликнулся низкий бас.— Болтаешь, а сам, наверно, даже не знаешь, чем пахнет кошка, вымокшая под дождем.

— Я, нет, не знаю,— скромно признался парень и тут же поддел:— А вы, как видно, хорошо знаете, часто нюхали?

Человек, сидевший рядом с Сидыкджаном, поперхнулся чаем, и все другие громко захохотали.

— С тобой говорить...— недовольно пробурчал бас и умолк.

Сидыкджан с любопытством взглянул на молодого парня. Должно быть, тот был весельчаком и любил подтрунивать над своим угрюмым товарищем.

В разговор вступили другие, перебрасываясь шутками и стараясь как-нибудь поддеть друг друга. Люди смеялись так весело, словно у них и не было никаких забот.

— Э, так не годится,— сказал Тешабай, видя, что Сидыкджан еще не притрагивался к еде.— Вы на них не смотрите. Они языками треплют, да и челюстями не забывают работать. Берите вот рыбу, лепешки, это все ваше. И торопитесь, сейчас двинемся... Вам что больше по душе — кетменем работать или таскать землю?

Сидыкджан не любил рыбу; он с неохотой принялся жевать лепешку, от которой тоже пахло рыбой.

— Мне все равно, что делать,— ответил он Тешабаю и хотел что-то добавить, по все тот же парень-шутник перебил:

— Пусть Сидыкджан-ака подбирает землю за мной. Я сам паложу ему первую корзину. С верхом! Он, как я вижу, такой — поднимет на плечо и не поморщится.

Только за минуту до этого Сидыкджан, чувствуя себя еще чужим среди этих людей, думал о том, как бы работать поближе к Тешабаю. Но теперь захотелось быть поближе к веселому парню, который понравился ему с первого взгляда. Парень назвал его почтительно «Сидыкджан-ака», и это сразу расположило к нему Сидыкджана. Наклонившись к Тешабаю, он тихонько спросил:

— А что он делает?

— Кто, Рузымат? Он работает кетменем.  
— Тогда я тоже возьму кетмень,— сказал Сидыкджан.  
— Слышишь, Рузымат?— крикнул Тешабай.— Сидыкджан хочет потягаться с тобой!

Послышался голос бригадира:

— А ну, ребята, на работу! Берите кетмени да на свои участки, удалые молодцы!

Все шумно встали с мест.

Красно-золотистая полоса зари разгоралась все больше и больше, рассеивалась робкая и легкая предутренняя мгла, и над землей уже протягивались лучи поднимающегося из-за горизонта солнца. Вот вспыхнули в золотом сиянии вершины гор, а деревья и вся степь под ними стали мгlistо-голубоватыми. Даже канал, отороченный свежими валами буро-желтой земли, привял сизоватый оттенок. Над рекой медленно проплывали то белые, то розовые облачка тумана.

Люди прошли на свои участки и приступили к работе.

Тешабай дал Сидыкджану в руки кетмень, показал, что надо делать, а сам направился вверх по каналу.

Люди принялись за дело. Сидыкджан думал, что и во время работы они будут так же весело перебрасываться шутками, но все умолкли, и лица их стали сосредоточенно-серьезными.

То здесь, то там на берегу канала высоко вздымались кетмени в руках работающих и с силой опускались, вреваясь в сухую землю. Позади кетменщиков с такой же быстротой и напряжением работали грузчики, насыпая лопатами землю на носилки, в корзины, в мешки и втаскивая их на самый гребень земляного вала. Серые парусиновые рубахи кетменщиков покрылись темными пятнами пота, но поблескивающие на солнце гладко отшлифованные клинки кетменей все так же равномерно взлетали вверх.

Сидыкджан первый не выдержал такого напряжения. Сделав еще несколько ударов, он поставил кетмень и пошел к Рузымату. В предрассветном сумраке Рузымат показался ему веселым и добродушным толстяком лет двадцати пяти, и только теперь он увидел, что это был худощавый и стройный парень с мускулистыми руками и черными усиками на серьезном, несколько даже хмуром лице.

— Ого! — воскликнул Сидыкджан. — Да вы тут накопали целую гору.

Рузымат, продолжая бить кетменем с такой силой, что он входил в землю по самый обух, искоса взглянул на Сидыкджана и коротко бросил:

— Не уставайте!

— Бывайте здоровы, сами не уставайте, — ответил Сидыкджан на его приветствие и, обходя огромную кучу земли, раза в три больше той, которая была выброшена им самим, покачал головой: — Ну, ну, здорово работаете.

— Для того и пришли сюда, брат!

— Будете так работать до вечера, пожалуй, три таких кучи поднимете.

Рузымат поставил кетмень, отирая пот со лба, взглянул на ворох свежевскопанной земли и сказал:

— Только три? Нет, постараюсь сделать больше.

— А сколько вы получаете в день за такую работу? — поинтересовался Сидыкджан.

Рузымат усмехнулся.

— Сейчас нам нужны не деньги, а вода. Кто гонялся только за деньгами, давно ушел из колхоза. Будет вода, больше поднимем целины, больше засеем и получим лучший урожай. А будут хорошие урожаи, будут и деньги. Пусть в этом году на наш трудодень хоть по пятаку выпадет — что из того?

— Да, конечно, — сказал Сидыкджан с таким видом, будто эта истина ему давно известна. — «Делаешь заируды — слезами плачешь, а поливаешь — радуешься», — добавил он словами старой поговорки.

— Спасибо за разъяснение, — шутливо проговорил Рузымат. — Только ни я, ни другие, работающие здесь, плакать не собираемся. Правда, трудновато работать кетменем, но не всегда так будет. Товарищ Ахмедов... вы его знаете? Наш райком. Он говорит, что придет время, когда все работы будут делать машины. Оказывается, трактор может не только пахать, но и сеять хлопок, окучивать его, потом очищать поля от стеблей. — И опять пошутил: — Не может только волосы стричь.

Хотя Сидыкджан не поверил Рузымату, он с притворным удивлением схватился за ворот.

— О всемогущий! А что же останется делать тогда человеку?

— Э, Сидыкджан-ака, у человека найдутся дела по-

важнее, чем ковырять кетменем землю. Много еще таких дел, которых наши предки недоделали. Возьмите хотя бы этот канал. Его должны были сделать еще наши отцы и деды. А когда мы сядем на машину, разве такие дела будем делать!

Рузымат взялся за кетмень, и Сидыкджан понял, что пора возвращаться к месту работы.

— И собирать хлопок будет машина?— проговорил он больше для того, чтобы не уходить молча.

— Да, будет,— подтвердил Рузымат.— Ученые, видно, уже изобрели такую машину, иначе Ахмедов-ака не стал бы говорить об этом. Они тоже будут работать в колхозах...

Сидыкджан вернулся на свое место и снова припнулся за работу, думая о Рузымате. Сначала этот парень показался ему пемного легкомысленным. Теперь он видел его в ином свете: «Оказывается, умный, толковый парень!»

За обедом Рузымат снова, как и утром, принялся подшучивать то над тем, то над другим из своих товарищей. Те не оставались в долгу, поддевали тоже крепко, и в словесной перепалке, пересыпанной остротами, верх брал то один, то другой. Когда к слову пришлось, Рузымат и Сидыкджана кольнул острым словом.

— Тешабай-ака,— сказал он,— если я буду соревноваться с товарищем Сидыкджапом, то, пожалуй, все вы окажетесь впереди меня. Он работает кетменем, как сытый ягненок треплет свой корм.

Сидыкджан, вместо того, чтобы пустить ответную стрелу, как это делали другие, смущенно опустил голову. Его обидели слова Рузымата. Тешабай подумал: «Э, парень, оказывается, не терпит шуток». Нахмурив брови, он хотел что-то сказать, но в это время щуплый человек средних лет, стукнув слегка Рузымата ложкой по лбу, шутливо сказал:

— А твоя работа кетменем, знаешь, на что похожа?— И не успел он сделать сравнение, как все уже громко захохотали, словно зная, на что он намекает. А щуплый человек закончил:— Добрая лошадка не быстро шагает, да быстрее норовистого коня идет.

После обеденного перерыва Сидыкджан работал так, что пот катился с лица у него градом, а руки немели от жетменя. И даже тогда, когда Рузымат отдыхал, Сидыкджан упорно продолжал наносить удары кетменем по зем-

ле, словно стараясь показать пасмешнику, что в силе и выносливости он, во всяком случае, никому не уступает.

После ужина табельщик объявил показатели дневной работы бригад и каждого из колхозников. В списке не было только имени Сидыкджана. Это никого не удивило, но самого Сидыкджана обидело.

На следующий день он работал еще более старательно, и опять вечером табельщик не назвал его имени. Сидыкджан выждал минуту, когда Тешабай остался один, и, стараясь не обнаружить своего раздражения, вежливо обратился к нему:

— Тешабай-ака, ваш хвалебщик все время забывает меня,— как это понять?

— А что случилось, Сидыкджан?— не понял Тешабай.— Не беспокойтесь, ваш заработок не пропадет.

— Я не о зареботке говорю, Тешабай-ака. Пусть и не записывает мне ничего, пусть... А вот вечером всех начинает хвалить, а я будто и не работаю!

Тешабай рассмеялся, поняв, в чем дело.

— Хотите, чтобы табельщик и ваше имя называл? Тогда включайтесь в соревнование.

— Ладно. А с кем мне придется тягаться? С Рузыматом?

— С кем хотите. Кого сможете победить, с тем и соревнуйтесь.

— А сколько для этого надо делать?

— Достаточно будет, если вы за день выработаете полтора трудодня. Меньше у нас никто не дает.

— А кто всех больше? Рузымат?

— Нет, куда ему... Есть такие, что получше его кетменем работают. Наш Ихсан вырабатывает за день до трех с половиной трудодней.

— Три с половиной трудодня?— удивленно переспросил Сидыкджан.— Силен! Три с половиной трудодня!— повторил он и покачал головой. Мысленно он уже представлял себе человека огромного роста, хмурого и сердитого, руки и грудь которого заросли черными волосами.

— А вон Аширмат, из колхоза «Ишчи»,— продолжал Тешабай,— вырабатывает еще больше— до четырех трудодней.

— За один день четыре!— еще более удивился Сидыкджан и спросил:— А сколько же он съедает вараз?

Тут уж Тешабай решил немного подшутить над Сидыкджаном.

— Сколько съедает Аширмат, не знаю. А вот наш Ихсан может в один присест съесть целого барана с головой, потрохами и шкурой.

— Не может быть! Шкуру... уж шкуру-то он не съест.

Тешабай громко расхохотался и показал на щуплого человека, который, сидя у лампы, чинил сапоги.

— Вон, видишь, сделал три с половиной трудодня да еще на сапоги время нашел. Он и сапожничать мастер.

— Так... так это же наш бригадир, Каримов-ака!

— Он и есть, Ихсан Каримов. Самый знаменитый кетменщик у нас.

— Оказывается, тут сила не нужна.

— Почему же не нужна? Нужны и сила и умение.

— Надо посмотреть, как он работает кетменем.

Видя, что Сидыкджан заинтересовался Каримовым, Тешабай спросил:

— Хотите поучиться у него?

— Да разве он станет учить?

Тешабай взял Сидыкджана за руку и потянул за собой.

— Ну как сапоги?— заговорил он, подходя к бригадиру.— Это ведь Рузымата? А сам он где?

Каримов отрезал нитку дратвы, поднес сапог ближе к лампе и оглядел свою работу. Потом поднял глаза на Тешабая и сказал:

— Снит Рузымат. Сегодня совсем уморил себя, бедняга. Горяч парень, слишком горяч. А когда работаешь кетменем, горячиться-то и не следует. Иногда так разойдешься, что, кажется, гору можешь своротить. А нет, не обманывайся. Гору не свортишь, если будешь просто, как дурак, бить кетменем, а из сил быстро выбьешься. Тут вот и следует себя чуть сдерживать. Устал — отдохни немного. Работать кетменем надо с легкостью, удары делать равномерно, дышать тоже и постепенно расходовать свою силу. Вот тогда много сделаешь. А Рузымат — как горячий конь...

Тешабай толкнул Сидыкджана локтем в бок, словно хотел сказать: «Видишь, ничего не скрывает». А вслух сказал:

— Вот Сидыкджан тоже хочет к вам в ученики пойти.

Каримов усмехнулся:

— В ученики?.. Говори уж прямо — хочет потягаться со мной.

На следующий день Сидыкджан первым взялся за кетмень, работал горячо и напряженно, ни о чем не думая, ни на кого не оглядываясь, и при этом старался придерживаться правил, о которых говорил бригадир Каримов. Так он работал еще два дня, а на четвертый табельщик, объявляя результаты соревнования, вдруг назвал его фамилию. Это было так неожиданно, что Сидыкджан даже вадрогнул, услышав свое имя.

Ему показалось, что табельщик произнес его имя громче и яснее, чем имена других, и что все в это время на один миг смолкли. Так было и в последующие дни. Табельщик прочно держал имя Сидыкджана в списке ударников. Но, даже после того как Сидыкджан уже достаточно привык слышать свое имя при вечернем объявлении выработки, при виде табельщика, идущего со списком в руках, он чувствовал, что сердце его начинало учащенно биться. Табельщик всякий раз громко выкрикивал его имя, и Сидыкджан испытывал при этом такое волнение, что даже не ощущал усталости после напряженной работы в течение целого дня.

И вскоре он почувствовал себя равным в дружной семье ударников, работавших на канале. Теперь Сидыкджан работал с такой охотой, с таким рвением, словно дело колхоза было его кровным делом и он никогда не знал никакой другой жизни. Он так свыкся с работой и жизнью колхозников на канале, что даже рыбу, особенно вареную, которую прежде просто видеть не мог, теперь ел за обедом с большим аппетитом и даже как-то сказал Рузымату:

— А рыба, по-моему, совсем не хуже курятины.

## 2

Однажды во время обеденного перерыва по просьбе Зиядахон Сидыкджан запряг пшачка в маленькую арбу и поехал на реку за водой. Вернувшись, он увидел, что колхозники кишлака Капсапчи собрались перед навесом в какой-то человек, лет тридцати, говорит им речь. Боясь, что скрип арбы помешает оратору, Сидыкджан остано-



гился в сторонке. В это время раздались громкие рукоплевскания и со всех сторон послышались возгласы:

— Выполним! Выполним!

После этого люди быстро разошлись по своим местам и принялись за работу. Перед навесом остался только говоривший речь человек и с ним несколько колхозников. Среди них были и Тешабай с Каримовым.

Сидыкджап, ведя ишака в поводу, подвел арбу с бочком воды к самому навесу и, увидев Зиядахон, тихоноcko спросил ее:

— Кто этот человек?

— Разве вы не знаете? Председатель нашего сельсовета товарищ Самандаров,— ответила Зиядахон.

Должно быть, Самандаров знал в лицо всех колхозников; заметив Сидыкджана, которого видел впервые, он спросил что-то у окружающих. А Тешабай, стоявший позади других, оглянулся и знаком подозвал Сидыкджана.

У Сидыкджана дрогнуло сердце. Сложив руки на животе, он на цыпочках подбежал к председателю сельсовета.

— Вы откуда?— спросил Самандаров и, улыбувшись, сказал:— Опустите руки.

— Из Бахрабада.

— Опустите же руки!— повторил Самандаров.

Сидыкджап опустил руки, но, не зная, куда их девать, снова сложил на животе.

— Мы уж так привыкли, домулла-ака.

Самандаров нахмурился.

— Привыкли? Перед каким же это начальством вы привыкли так стоять? В Бахрабаде вы были в колхозе?

— Нет, домулла, я не был в колхозе.

Председатель сельсовета помолчал, словно о чем-то думая, и опять спросил:

— А Урманджан-ака ваш родственник?

— Нет, домулла,— коротко ответил Сидыкджап и больше ничего не добавил.

Самандаров оглядел его с ног до головы и отвернулся. Потом передал Каримову какую-то бумагу и, направляясь к своему копы, стал что-то объяснять бригадиру.

Сидыкджап сгрузил бочку с арбы у очага, распряг и привязал у кормушки осла, а затем, взяв кетмень, отправился на свой участок. Рузымат, работавший несколько дальше, как только увидел его, что-то крикнул и засмеял-

ся: как видно, подшучивал по своему обыкновению, но Сидыкджан не расслышал его слов и даже не переспросил. Все внимание его было устремлено на председателя сельсовета. А Самандаров в это время, сказав что-то напоследок Каримову, махнул плеткой в сторону канала и уехал.

У Сидыкджана становилось все беспокойнее на сердце. Сделав несколько ударов кетменем, он бросил работу и пошел к Тешабаяу, который возился с чем-то под навесом. Собственно, Сидыкджан даже и не знал, с чего начать, что говорить. И пока он, раздумывая, медленно подходил к навесу, Тешабай уже сидел верхом на осле и, пошукая его тычками заостренной палочки в шею, удалялся куда-то вверх по каналу. Под навесом Зиядахон, разостлав кожаную подстилку, просеивала муку. Сидыкджан с таким видом, будто он пришел напиться, взялся за кувшин с водой и сказал:

— Зиядахон-апа, я вижу, вы собираетесь вечером кормить нас пельменями?

Женщина ответила не сразу. Вытряхнув из сита отруби, она осторожно, пригоршнями, накладывала в него муку из мешка и даже не взглянула на Сидыкджана, а он с трепетом в сердце ожидал, что она ответит, подумал было, что она и разговаривать с ним не хочет. Но Зиядахон, закрутив мешок, подняла на Сидыкджана глаза и, улыбувшись, сказала:

— Что там пельмени, Сидыкджан-ака, сегодня я буду угощать вас жирными мантами. Как тесто сделать — потолще или потоньше?

От этих слов и улыбки Зиядахон у Сидыкджана просветлело лицо. Он даже не сразу нашелся что ответить и, спохватившись, торопливо промолвил:

— Спасибо, апа, живите долго! — Он нерешительно потоптался на месте, потом спросил: — А Тешабай-ака куда поехал?

— На станцию.

— Зачем?

— Как «зачем»? Ах да, вас ведь не было, когда говорил товарищ Самандаров. На станцию прибыл цемент для плотины. Ну, вот теперь его будут выгружать и перевозить сюда.

— Значит, плотину будут делать из цемента?

— А как же! Разве земляной вал сдержит полую воду? А что вам сказал товарищ Самандаров?

Сидыкджану как раз самому хотелось заговорить об этом, и вопрос Зиядахон пришлось очень кстати.

— Спрашивал, откуда я и кем доводится мне Урман-джан-ака,— ответил он и спросил в свою очередь:— А не знаете, он ничего не говорил товарищу Каримову?

— О чем?

— Ну, обо мне.

— Почему же он должен был говорить о вас?

— Это я к тому, Зиядахон-апа, что вот он расспрашивал меня...

Зиядахон налила из кувшина воды в миску, бросив туда щепотку соли, помешала ложкой, попробовала на вкус и, засыпая горсть муки, сказала:

— Расспрашивал, потому что еще не знает вас. Вы не подумайте плохо, всякие люди ведь бывают. Вон из колхоза «Ишчи» зимой выгнали одного человека. Оказался чуждым элементом из Мирзаарала.

«Чуждый элемент»,— повторил про себя Сидыкджан, и перед его глазами встала дрожащая от злости теща со связкой документов, оставшихся от семи поколений.— Да разве эта старуха согласится на вступление Зуннуваходжи в колхоз?— подумал он и возразил:— Элементы не пойдут в колхоз.

Зиядахон, замешивая тесто, коротко бросила:

— Пойдут, если найдут дорогу.

— Даже если они против колхоза?

Зиядахон, бросив в миску еще горсть муки, с улыбкой взглянула на Сидыкджана.

— Вот потому и пойдут, что они против. Теперь ведь никто уж не верит в небылицы, что все, дескать, будут спать под одним одеялом и жены тоже будут общими... Колхозы уже есть, а все спят на своих постелях, и никто не зарится на чужих жен... Не так ли?

Сидыкджан густо покраснел и, опустив голову, стал смотреть в пустой кувшин, будто нашел там что-то очень интересное.

— А раз так,— продолжала Зиядахон,— что же остается делать этим людям? Советская власть подрезала им крылья, вот они и полезли в колхозы. Для чего? Конечно, для того, чтобы развалить колхоз, как это было в Ходжакишлаке. Им очень хотелось бы вернуть старые времена, чтобы и земли и вода по-прежнему находились в их руках, а издольщики и батраки гнули спины на их полях.

Но нет, не бывать этому! Советская власть не допустит, чтобы бай сели народу на шею,— так говорит товарищ Ахмедов.

«Какой же я бай?»— чуть не вскрикнул Сидыкджан, но вместо этого тихо спросил:

— Каримов-ака, наверно, сказал ему, что он, дескать, то есть я, совсем не такой человек, а?

Зиядахон, отрывая кусок теста, усмехнулась и шутиливо ответила:

— А тут никто еще как следует не знает, что вы «не такой человек»!

Сидыкджан не понял, что она шутит, и грустно взглянул на нее.

— Почему, Зиядахон-ана, почему не знают?

Занятая своим тестом, Зиядахон не заметила, что ее собеседник пал духом, и в том же тоне продолжала:

— А откуда им знать?

Зиядахон принялась раскатывать тесто, изредка бросая быстрые взгляды на Сидыкджана, а тот стоял, опустив голову, и раздумывал над ее словами. Долго длилось молчание. Наконец Сидыкджан заговорил, продолжая смотреть в землю:

— В детстве я искал работу в разных местах. И куда бы я ни пришел, везде оказывался чужим и не мог поиграть с ребятами. А потом уж и дети нашей махали перестали принимать меня в игру, считая чужим. Было обидно и больно... И теперь вот я тоже вроде как чужой среди своих...— Он поднял голову и прямо посмотрел в глаза женщине.— Нет, Зиядахон-ана, я не чужой, не элемент. Кто назовет меня элементом, очень и очень обидит меня.

— Никто же не называет вас элементом,— серьезно проговорила Зиядахон.

— Очевь меня обидит,— повторил Сидыкджан и тяжело вздохнул.

Потом он снова заговорил о своем прошлом и рассказал о всей своей жизни — как бедствовал с матерью после смерти отца, был в учениках у армянского мастера, батрачил, как стал зятем Зунпуна-ходжи, работал на него и, наконец, ушел из его дома.

— Уж теперь,— закончил он свой рассказ,— я крепко ухватился за полы Урманджана, Тешабая и других колхозников. Куда они пойдут, туда и я, какой они путь

укажут, такой п будет моим... А если п здесь меня будут считать чужим...

Голос его дрогнул, и он замолчал.

Зиядахон и сама расстроилась, поняв, какую боль причилили Сидыкджану ее шуточные слова. Она старалась успокоить его:

— Шутила же я, Сидыкджан-ака, шутила. И вы пэ расстраивайтесь. Товарищ Самандаров, наверно, ничего и не говорил про вас. А если я сказал, разве товарищ Каримов и Тешабай-ака не объяснят ему? Вы же теперь ударник, уважаемый человек!

Сидыкджан слабо улыбнулся.

— Ударник забыл, что его ждет работа. Простите, Зиядахон-апа, я уж пойду.

И до позднего вечера, стараясь наверстать упущенное, он яростно копал кетменем твердую землю. Когда же, усталый и потный, с кетменем на плече он возвращался к навесу, вся бригада уже сидела за ужином и Тешабай с увлечением рассказывал о сером порошке, таком тяжелом, что один мешок его «чуть не раздавил пшак». Сидыкджану хотелось поговорить с Тешабаем наедине, но сделать это было невозможно: целый вечер Тешабай рассказывал о цементе и о разных способах применения его на стройке. Не представилось удобного случая поговорить и на другой день, а на третий из района прибыли артисты, и вечером после работы на берегу реки был устроен концерт. Но с концерта пришлось возвращаться вместе, и Тешабай вдруг сам заговорил о том, что так волновало Сидыкджана.

— Что, напугал вас товарищ Самандаров?— спросил он и засмеялся.— Вижу, вижу,— вас даже песни не веселят. Все думаете о чем-то, мучаете себя. И напрасно. Самандаров пногда не скажет: того, мол, принимайте в колхоз, а этого нет. Кого принимать в колхоз, кого исключать — дело самих колхозников. На это правила есть. Товарищ Самандаров предупреждал, чтобы не нарушались эти правила.

Сидыкджан был так обрадован этими словами, что не знал, как п ответить.

— Спасибо, Тешабай-ака, вот спасибо!— сразу оживляясь, взволнованно проговорил он.

— Правила эти такие,— продолжал Тешабай.— Прежде, — всего подаете заявление в правление колхоза. Правле-

или обсудит ваше заявление и свое решение поставит на обсуждение колхозников. Как решит общее собрание, так и будет.

— А как же оно будет решать, если здесь меня никто не знает?

— Вот это уж вы напрасно говорите. Разве мы не видим, что вы из тех людей, которые не в дружбе ни с ленью, ни с хитростью?

— Здесь лентяй оказался бы вроде вора, Тешабай-ака. Я не об этом говорю. Что знают колхозники о моей прошлой жизни?

— Вы сами же о ней и расскажете.

— Урманджан-ака хорошо знает. Кому еще надо рассказать? Товарищу Каримову, вам?

— Всем расскажете на собрании.

— На собрании?..

— А как же иначе?

— Нет, вы скажите правду, Тешабай-ака! Не шутите.

Тешабай усмехнулся.

— Какие тут шутки! Раз колхозники будут поднимать руки, должны же они знать, кого принимают в колхоз, или нет,— как по-вашему? На собрании вы встанете, сначала ответите на вопросы, а потом расскажете по порядку, кто вы такой, откуда, чем занимался раньше...

Сидыкджан мысленно представил себе большую комнату, полную людей, перед которыми ему придется рассказывать всю свою жизнь, и это сильно взволновало его.

Когда они вошли под навес, фитиль в лампе был повернут, в полумраке люди укладывались в постели, а некоторые уже спали. Сидыкджан прошел к своей постели, быстро разделся и лег, но долго еще думал о колхозном собрании и о том, как он будет рассказывать на нем о своей жизни.

Если не считать того, что всякий раз при мысли о предстоящем собрании Сидыкджана вновь и вновь охватывало острое чувство беспокойства, с этого дня он стал держаться увереннее и уже не чуждался людей. В часы отдыха он присоединялся к той или другой группе колхозников, слушал забавные рассказы о приключенных Насреддина, сам шутил вместе с ними, а когда возникал

какой-нибудь деловой разговор или спор, не стеснялся высказывать и свое мнение.

Вскоре на стройку канала вернулись колхозники, ухаживающие за окучку хлопка. Работа пошла быстрее. Районная газета часто писала о ходе работы на канале. Часто приезжали представители из района, и Сидыкджану казалось, что за строительством следит вся область.

Ко времени очередной окучки хлопка большинство колхозов перевыполнило плановые задания. На участке плотины земляные работы в основном были закончены. Были подвезены нужные для постройки плотины крупные неотесанные камни, тут же, на траве, лежали крашенные железные ворота шлюза.

Приближался день, когда многим колхозникам надо было снова уходить на окучку хлопка. Сидыкджан вместе со своей небольшой бригадой оставался, но работать на плотине ему уже не пришлось. Накануне отъезда хлопковой бригады из района прибыл врач с двумя молоденькими медсестрами и сделал всем прививку. После укола Сидыкджан, никогда не болевший никакими болезнями, почувствовал себя плохо. Он вернулся с работы раньше времени и лег в постель, а ночью у него начался жар. Забывшись только к утру, он стал бредить. Встревоженный Каримов послал за врачом.

Врач не замедлил приехать. Это был пожилой седоволосый человек в белом халате, уже одним своим видом внушавший веру в излечение. Сидыкджан ожидал, что врач тщательно осмотрит его, найдет разные причины болезни и даст сразу несколько лекарств. Однако старик только подержал с минуту руку Сидыкджана в своей, что-то прощупал своими длинными сухими пальцами, лекарств никаких не прописал и, ничего не сказав, ушел вместе с Каримовым. Тут Сидыкджан решил, что ему уж ничто не поможет — все равно умрет. Перед его глазами возникла картина похорон: погребальные носилки, покрытые желтым молитвенным ковриком и полосатым халатом, рыдающая мать, горько плачущий Абиджан. И от жалости к самому себе Сидыкджан заплакал.

Когда под навес вошла медсестра с лекарством, Сидыкджан уже опять бредил. А к вечеру Каримов, Тешабай и Зиядахон, уложив больного в арбу, отправили его в кишлак Капсанчи.

## ГЛАВА СЕДЬМАЯ

### 1

Урманджана не было дома, а жена его Тупаниса страшно перенюгалась, когда Сидыкджана под руки ввели во двор. Она быстро устроила постель на тахте под навесом, приготовила чай.

Сидыкджан с трудом вышил пиалу чая, который казался ему безвкусным, и прилег на тахте.

В это время приоткрылась дверь калитки и показалось круглое улыбающееся лицо незнакомого Сидыкджану человека.

— Заходите, кары-ака,— сказала Тупаниса.

Дородная фигура Абдусамада-кары просунулась в узкую калитку. По-кошачьи мягкими шажками он подошел к столу, положил узелок, который был у него в руке, и выпучил круглые глаза на Сидыкджана.

— Йе!— произнес он каким-то птичьим голосом.— Что случилось с товарищем Урманджаном?

— С ним ничего не случилось,— ответила Тупаниса.— Это наш гость.

— Все дурное от нечистой силы, тьфу, тьфу!— плевал кары за ворот халата.— Не дай бог... Так вы говорите, гость?

— Да, Сидыкджан. Заболел он.

Кары, наклонившись над тахтой, заглянул в лицо больного.

— Э-э, приятель, что с вами!— равнодушно спросил он и снова обратился к Тупанисе:— Это не он ли будет жить в доме тетушки Анзират?

— Да, он.

Присаживаясь возле стола, Абдусамад-кары вдруг рассмеялся, словно вспомнил что-то забавное.

— Очень интересный человек наш Урманджан-ака, очень, очень...— промолвил он и, не объясняя, что же он находит интересного в Урманджане, начал восхвалять его энергию и знание дела, сказал, что он принес пользу колхозу «Кошчинар» и что теперь «даже климат изменился в кишлаке Капсанчи». Тут же он, как бы мимоходом, заметил, что правление сделало ошибку, забрав Урманджана на животноводческую ферму и назначив вместо него



во главе совета урожайности Ибрагимова, «который знает о хлопке только по книгам». Затем, поговорив еще немного о больших заслугах Урманджана, он подмигнул Сидыкджану и, рассмеявшись дробным смешком, сказал: — Жена, хе-хе, жена тут всему причиной. Семейное согласие, хе-хе... Разве я не понимаю? Если «Кочичинар» стал «Кюшчинаром» благодаря Урманджану, то Урманджан стал товарищем Урманджаном благодаря своей жене.

Пока кары рассуждал об Урманджане, Тупаниса хмурилась, считая его слова обычной лестью, а когда он начал расхваливать ее, она смущенно опустила глаза.

— Жена — это шея мужчины, — продолжал кары, обращаясь уже к Сидыкджану, который лежал с закрытыми глазами и не слушал его. — Шея может поворачивать и к хорошему и к плохому, не так ли? Хе-хе...

Кары масляными глазками оглядел Тупанису, почмокал губами и восхищенно покачал головой.

— Вай, вай, молодец вы, прямо скажу... Ведь Урманджан-ака не выходит за ту линию, которую вы ему начертили? Не выходит! Или выходит?

— Что это за линию вы выдумали, кары-ака, — возразила Тупаниса. — Урманджан поступает так, как считает нужным для дела.

— Хе-хе, верно... Золотые слова. Воля мужа — закон. Но разве Урманджан-ака не слушает ваших хороших советов? Слушает, не сомневаюсь. А это и значит, что он не выходит за линию, начертанную вами, хе-хе!

— Всякий послушается хороших советов.

— Истинно. Это самое я и говорю. Но не всякая жена может дать хороший совет. Есть такие — слова толкового не добьешься...

Кары привел в пример свою жену и начал честить ее: не может истолочь зерно, чтобы половину не рассыпать, поставит воду кипятить — горит даже дно котла, из носа ребенка постоянно течет, начнешь ее наставлять — зевает.

— Ей и самой трудно, и мне трудно, — вздохнул кары. — Вы бы помогли ей, сестрица...

— Я? — на губах у Тупанисы мелькнула улыбка. — А что я могу сделать? •

— Можете, все можете... Будьте для нее доброй сестрой... Она совсем не плохая женщина. Сегодня, как

увидела, что к вам подъехала арба с больным человеком, сразу встревожилась. «Что-то случилось, говорит, с товарищем Урмаджаном. Иди, иди, говорит, скорей, отнеси ему чего-нибудь». Вот прислала вам абрикосов.— Кары развязал узелок и протянул два абрикоса Сидыкджану.— Очень хорошие абрикосы! Как закончим работы на канале и начнем закладывать сады, обязательно посадим косточки этого абрикоса... А вас,— снова повернулся кары к Тупанисе,— жена очень уважает, очень. Так и говорит: «Работала бы я вместе с Тупанисой-апа, научилась бы чему-нибудь, говорит, стала бы сознательной женщиной». Хорошо, если бы она была в одной бригаде с вами. Я хотел бы сам попросить об этом Бутабая, но лучше уж скажите вы, сестрица. Вам он, конечно, не откажет...

Тупаниса ничего не ответила, а кары подсел к Сидыкджану.

— Так, значит, вы хотите переехать к тетушке Анзират? И в таком состоянии вы будете переезжать?

Сидыкджан, не поднимая головы от подушки, ответил:

— Куда мне теперь?...Хочу уехать в свой клшлак, в Бахрабад.

Абдусамад-кары бросил быстрый взгляд на Тупанису: соображает, мол, в чем тут дело? Сидыкджан заметил этот взгляд, но не понял, что такого нашел в его словах кары.

— У меня там старушка мать да брат младший,— добавил он, поясняя свое желание уехать на время болезни домой.

Тупаниса, извинившись, ушла в дом готовить обед, а кары грустно покачал головой.

— Мать, страдалица мать...— сочувственно вздохнул он.— Она, конечно, день и ночь думает о вас, во сне видит... И дом у вас есть?

— Есть,— тихо ответил Сидыкджан, отворачиваясь к стенке: при воспоминании о матери у него навернулись слезы на глаза.

— Йе!— воскликнул кары.— Раз у вас есть дом, так это же целое богатство! И зачем вам бродить по чужим домам, не понимаю. Сами страдаете и мать страдать заставляете... Трудно, трудно жить одинокому. Случилось вот такое с вами — и некому даже глотка воды подать... Что может быть хуже этого? А старуха Анзират — человек с черствым сердцем. И дом у нее похож на могилу.

Долго еще распространялся кары о том, как тяжело жить на чужбине и как трудно добиться у нынешних людей сострадания и сочувствия, говорил о сварливом праве старухи Анзират, упомянул о каких-то кладбищах, где хоронят всяких странников и бездомных бродяг. Сидыкджан представил себе холодную, темную, как могила, хижину, злую и сварливую старуху вроде его тещи и опять со страхом подумал о смерти вдали от родной семьи.

Незаметно для себя он задремал и сразу увидел мрачную картину: четыре человека несут его бездыханное тело на досках, покрытых простой камышовой циновкой, на кладбище бродяг — в яму.

А когда он открыл глаза, кары уже не было, а над ним стоял Урманджан и внимательно всматривался в его лицо. Сидыкджан хотел было подняться с подушки, но Урманджан прижал его плечо.

— Не надо, не вставай... Так, значит, укол тебе не понравился? — заговорил он, присаживаясь на тахту. — Это ничего, пройдет. Не ты один, еще семеро лежат вот так же, пластом... А что это ты все о смерти бормочешь? Оказывается, ты очень пугливый.

— Смерть не разбирает, Урманджан-ака... Вы уж как-нибудь отправьте меня к матери.

— Хочешь уехать отсюда? Неужели только из-за этого?

— А из-за чего же еще?

— Говори уж правду...

Сидыкджан, приподнявшись, облокотился на подушку.

— Нет, Урманджан-ака, — возразил он, — вы ошибаетесь, если думаете, что я решил бежать из колхоза. Спросите у всех... У нашего бригадира товарища Каримова, у Тешабая, у Рузымата спросите... Может, и Бутабай-ака вам скажет, он приезжал, видел...

Урманджан улыбнулся.

— Знаю, все знаю. Ты хорошо поработал на канале. Думаю, не стал бы так работать, если бы собирался уходить.

— Вы еще не знаете моей души, Урманджан-ака.

— Узнаю как-нибудь и душу. Ты тоже узнаешь, что такое колхоз, — опять дружески улыбнулся Урманджан и решительно заявил: — Никуда ты не поедешь! Завтра ты уже будешь здоров. А если и полежишь немпожко,

никому это в тягость не будет. Плохо только вот что: жене приходится часто отлучаться, а тебя без присмотра оставить нельзя.

Сидыкджан молчал. Больше всего он боялся сейчас очутиться под крышей старухи Анзират, но ему не хотелось огорчать друга своим отказом от квартиры, найденной им.

— Ну, что ты скажешь?— спросил Урмаджан.— Говори, я спешу.

— Не знаю, как и быть с тетушкой Анзират,— осторожно сказал Сидыкджан.— Вы уже договорились с ней.

Урмаджан бросил на него быстрый взгляд.

— А ты уже знаешь ее имя? Договорился. Тетушка Анзират каждый раз при встрече спрашивает о тебе.

Урмаджана позвали. Он поднялся с тахты.

— Ладно, спи. Завтра поговорим,— сказал он и вышел на улицу.

А на другой день Сидыкджан, почувствовав себя значительно лучше, переехал в мазанку тетушки Анзират.

## 2

После смерти мужа тетушка Анзират осталась с двенадцатилетним сыном Мадраимом и пятнадцатилетней дочкой Кимсаной. Детям было еще трудно работать в поле, а сама тетушка Анзират была женщиной слабой, болезненной, и потому земля, полученная мужем во время земельной реформы, осталась невспаханной и постепенно заросла сорняками.

Тогдашний председатель сельсовета, чтобы помочь бедной вдове, отвез Мадраима в район и устроил там посыльным при райисполкоме. Тетушка Анзират была рада и этому. Мадраим время от времени присылал ей немного денег или еще что-нибудь, но мать больше всего радовалась тому, что сын вырвался из этого проклятого богом кишлака Капсанчи, где люди не знали светлого дня, и, может быть, на стороне найдет свое счастье.

А когда Кимсаной достигла зрелости, тетушка Анзират выдала ее за одного зажиточного вдовца в кишлак Чирик-Джиду. Мать и в этом видела большую удачу: дочь вышла замуж за состоятельного человека и, казалось, к убогой жизни капсанчей никогда уже не вернется. Но

она жестоко обманулась в своих надеждах. Когда Кимсаной забеременела, ее муж привел в дом другую женщину. После года мучительной жизни Кимсаной наконец не выдержала и с маленьким сыном на руках вернулась к матери. А еще через год Кимсаной вышла за местного жителя, бедняка Абдували.

Тетушка Анзират надеялась зажить лучше: как-никак в доме появилось два крепких работника. Но в это время как раз начались работы по строительству дамбы, затем — на канале, и зять, испугавшись трудностей, охладил к колхозу. Взяв с собой Кимсаной, он уехал искать счастья в город, а маленького Хашимджана оставил у бабушки.

Вскоре после этого Мадраим ушел в Красную Армию, и осталась тетушка Анзират одна с маленьким внуком. Несколько позднее Урманджан поселил у нее одинокую молодую женщину по имени Канизяк.

Двор тетушки Анзират был огорожен дувалом из глиняных катышей. Дувал местами покосился, местами совсем обрушился, из него всюду торчали камни-голыши и красные черепки. В глубине двора стояли две мазанки и между ними — навес. Одну из этих мазанок тетушка Анзират уступила было Канизяк, но та не захотела жить там одна и поселилась вместе с хозяйкой в ее мазанке. Теперь вторая мазанка была снята Урманджаном для Сидыкджана.

Когда Сидыкджан вошел во двор, он увидел перед собой небольшого роста старушку лет шестидесяти, с морщинистыми, но все еще румяными щеками, с мягким и приятным голосом. Тетушка Анзират встретила Сидыкджана как родного сына, ввела его в свою комнату, усадила на старенькой, но чистой кошке. Потом разостлала перед ним дастархан, положила лепешки, поставила поднос с абрикосами и чашечку с сахаром. Пока кипятился чай, она расспрашивала Сидыкджана, отчего он заболел и кто у него есть из родных, а за чаем, то улыбаясь, то смахивая со щеки непрошеную слезу, рассказывала о себе, о детях и внуке, затем заговорила об Урманджане.

— Хороший человек, дай бог ему счастья, — говорила она, — о всех заботится. К нам он навещается каждый праздник и всегда приносит Хашимджану какой-нибудь подарок. Больше всего я довольна тем, что

он привел ко мне Капизяк. У нее, бедняжки, тоже нет никого. Хашимджан привязался к ней, как к матери, а мне она тоже как дочь родная. Целые дни работает на хлопке, ударница. Я тоже не сижу сложа руки. В этом году выстегала для детских яслей девять ватных подстилок и четырнадцать одеял. Шелковичных червей выкармливаю понемногу. Ну, и в колхозе мне тоже трудодни начисляют. Оказывается, кто шевелится, тому и горный хребет не преграда. Я ведь даже не думала, что мне будет под силу какая-нибудь работа в колхозе. Зерна мы получили на трудодни достаточно, денег, правда, маловато дали. Вот закончат канал, поднимут больше земли под хлопок, и денег будет больше. Как говорится, будущее — перед нами, а прошлое — позади. Все го у нас будет много.

До самого вечера тетушка Анзират не отходила от Сидыкджана, то угощая его, то расспрашивая или рассказывая что-нибудь. Тот сначала думал, что она принимает его так приветливо только потому, что это было ей строго наказано Урманджаном, но старушка весь день так ласково говорила с ним, так заботливо хлопотала вокруг него, что ему стало стыдно за свои подозрения.

Когда наступил вечер и удлинились тени, тетушка Анзират расстелила одеяло на суше под яблоней и пригласила туда Сидыкджана. Вдруг кто-то постучал в калитку, и вслед за тем послышался голос Анзират:

— Ах, родной мой! Ах, сынок! Наконец-то пришел проведать старуху!

Это пришел Самандаров. Маленький Хашимджан повис на нем, обхватив его шею руками, а он, немного откинувшись назад и коротко отвечая на вопросы тетушки Анзират, направился прямо к супе.

Увидев его, Сидыкджан испуганно вскочил, не зная, что ему делать и как держать себя. Но Самандаров, поставив мальчика на суцу, протянул ему руку как знакомому и дружески улыбнулся.

— Сидите, сидите. Как ваше здоровье? Я вижу — лучше?

— Вынув из кармана двух сахарных петушков, он отдал их мальчику. Тот спрыгнул с суцы и убежал на улицу.

Старушка была, видимо, очень рада приходу Самандарова и говорила без умолку, а Сидыкджан во все

глаза смотрел на председателя сельсовета, стараясь угадать, зачем он пришел.

— Почти два месяца не заглядывали ко мне, сынок,— говорила тетушка Анзират.— Забыли, забыли старуху. А кто же у меня есть-то, кроме вас? Зять, чтобы угодить ему в черпую землю, не показывается ни живой, ни мертвый. Вот и дамбү закончили, и канал скоро будет открыт, отчего бы ему не привезти сюда мою доченьку? Встретили его паша, говорят, на базаре перцем торгует. Лучше сдохнуть, чем так жить!

Самандаров усмехнулся.

— А с какими глазами он вернется сюда? Пусть уж лучше торгует перцем.

— Ну да, я это же самое и говорю: с какими глазами?.. Он — как мулла. Когда пашут, пет его, когда жнут, тоже нет, а на току он тут как тут. А дочка, бедняжка, из-за него только и страдает. Была бы сейчас в колхозе, работала бы и радовалась, как все. Работящей и честной она была раньше. Вот говорят, Канзьяк станет звеньевой; а чем хуже ее Кимсапой?.. Да, видела я вчера сон. Не помню уж, где и с кем я была, только гляжу: взошли две луны. Я даже испугалась: что за чудо? Тут вдруг появляется Мадраим и говорит: «А вот и я! И никакого чуда тут нет...» Уж не случилось ли чего с моим сыном? Отнесла мулле подаяние.

— Напрасно беспокоились, тетушка Анзират,— сказал Самандаров.— По-моему, очень хороший сон. Одна луна — это ваш сын, а другая — невестка. Сын ваш приедет издалека и привезет с собой жену... И лицо ее будет подобным луне,— добавил он и подмигнул Сидыкджану.

Старушка быстро обернулась и посмотрела на калитку, словно в эту минуту и в самом деле должен был войти ее Мадраим рука об руку с молодой невесткой.

— Вай, масло вам в рот, сынок!— проговорила она и вздохнула:— Неужели настанет день, когда я увижу в своем доме невестку?

— А есть у вас достаток, чтобы как следует встретить ее?

— Что получаю от колхоза, сынок, все складываю в сундук. Такой заботы, какую я от колхоза вижу, не увидишь и от родного сына.

— Значит, вы довольны, тетушка Анзират? Зачем же тогда жаловались на нас?

Старушка, кажется, не поняла вопроса и недоуменно посмотрела на председателя сельсовета.

— О чем это вы говорите, сынок?

— Да все о том же, о недостатке,— улыбнулся Самандаров.— Скажите, что вы писали в своем письме сыну?

— Ничего... А что случилось?

— Сын ваш прислал письмо в райисполком товарищу Мавлянбекову и пишет, что мать его, дескать, очень сильно нуждается, стала почти нищей. Как же это так, а?

Тетушка Анзират и в самом деле посылала такое письмо, но она совсем не думала, что сын может пожаловаться районным властям.

— Вай, умереть мне, что это значит?— в полной растерянности спросила она.

Самандаров вынул из кармана плоскую жестяную коробочку с табаком, свернул сигарку и закурил.

— Не понимаете, что это значит? Тогда я вам объясню. Ваш сын хотел этим письмом сказать: неужели Советская власть перестала существовать в районе? Вот что это значит!

Старушка даже испугалась, услышав такие слова. Она совсем не предполагала, что ее письмо может иметь такие серьезные последствия.

— Я ничего плохого не говорила о Советской власти...— с расстроенным видом проговорила она.

— А кто писал вам письмо? Может, он от себя добавил о вашем бедственном положении?

Тетушка Анзират пошлепала головой.

— Родной мой, уж не спрашивайте... Сама я виновата. Думала, если напишу так, может, Мадрайма отпустят домой... соскучилась я...

— Можно вам поверить?

— Пусть не исполнится ни одно мое желание, если я говорю неправду!.. А он тоже, чтоб ему приснилась дурная жена, так сразу и написал вам.

— А куда же ему писать? Товарищу Ахунбабаеву или самому Калининцу?.. Вы теперь попросите своего писаря, чтобы он написал другое письмо. Напишите сыну всю правду. Пусть он знает, зачем вы писали так. Как же это вы заставили парня беспокоиться зря? Значит, не подумали...

Когда в небе начали зажигаться звезды, во двор вошла красивая женщина лет двадцати в широком платье абри-



косового цвета. Такого же цвета легкая косынка свободно лежала на ее голове, концы косынки были опущены на грудь. Увидев гостей, она остановилась на минуту, поправила волосы, подвязала косынку и направилась прямо к суне. С председателем сельсовета она поздоровалась за руку, а Сидыкджану поклонилась и спросила о здоровье.

Самандаров шутливо заговорил с ней:

— Ну, Канизьякхон, чем еще отличилось ваше звено?

Канизьяк растерянно посмотрела на председателя сельсовета.

— Чем еще отличилось?

Губы у нее вдруг задрожали, она отвернулась и закрыла лицо концом своей косынки.

— Э-э, что с тобой, Канизьякхон?— спросил Самандаров.— Кто-нибудь обидел?

— Бутабай-ака сказал, что поставит мой вопрос на собрании,— ответила молодая женщина и всхлинула.

— Какой вопрос?

Канизьяк приоткрыла косынку и, искоса взглянув на Самандарова, слабо улыбнулась сквозь слезы.

— Будто не знаете? Сами же, наверно, и сказали председателю, чтобы он поставил вопрос на собрании.

Ее взгляд, обиженные нотки в голосе и все движения показались Сидыкджану очень привлекательными, и он подумал: «Даже плачет красиво, а какова будет, когда засмеется?»

— Но скажи наконец, в чем дело? — серьезно сказал Самандаров.— Я не откажусь от своих слов.

— Если не говорили, то скажите: пусть Бутабай-ака не ставит вопрос на собрании, пусть лучше вычитут из моих трудовней... А все началось с того, что во время обеда в звене Халмурада пропали три кетменя. Потом эти кетмени пашли на кукурузном поле, нашли сразу, работа не задержалась. Ну вот и стали говорить, что кетмени спрятали наше звено. Может, и правильно говорили, только никто не признавался. Я увидела, что будут обвинять все звено, и взяла вину на себя. А выходит, что зря...

— Вы что же, соревнуетесь с тем звеном?

Канизьяк очень не хотелось говорить об этом, но когда Самандаров прямо поставил этот вопрос, волей-неволей ответила:

— Да.

Самандаров насмешливо сказал:

— Зачем же прятать кетмени? Вы уж лучше вышли бы ночью на участок своих соперников и повырывали им весь хлопчатник.

Канизяк опять чуть не заплакала.

— Ой, зачем вы обвиняете меня? Я же сказала...

— Ну ладно,— продолжал Самандаров.— Допустим, вы победили в соревновании, но какая польза от такой победы? Какая польза колхозу, государству? Такие действия к лицу торговцам, которые из-за своего барыша готовы вцепиться друг другу в горло. А вы-то боретесь за что? Ты понимаешь, в чем суть социалистического соревнования?

— Понимаю, знаю!— задорно ответила Канизяк, ставя на стол возле супы лампу, принесенную тетушкой Апзират. И одним духом выпалила слова, слышанные от Урманджана: — Победа одного из соревнующихся должна вызывать не зависть, а желание работать еще лучше, еще старательнее.

— Ты это хорошо заучила, но смысла не поняла. Разве то, что вы сделали, может вызвать у звена Халмурада желание работать еще старательнее?

— Ой, опять вы меня обвиняете!..

Канизяк хотела снова объяснить, как было дело, но Самандаров перебил ее:

— А если бы пропали не кетмени, а деньги, ты и тогда взяла бы вину на себя?

— Нет, конечно!

— Постыдилась бы, да? А почему же тут не стыдилась? Потому что ты думала: «Что ж тут такого позорного? Тот, кто спрятал кетмень, хотел сделать добро нашему звену, желал ему успеха в соревновании». Может быть, ты даже гордилась перед звеном, когда взяла вину на себя: вот, мол, какое великодушие! Но если у вас и в самом деле приняли это как великодушный поступок, то, значит, никто у вас не понимает, что такое социалистическое соревнование... Когда это случилось?

Канизяк еле слышно прошептала:

— Давно... еще во время первой окучки хлопка.

— А Бутабай узнал только теперь?

— Нет, он узнал в тот же день.

Самандаров, хмурия брови, прикурив над лампой потухшую сигарку. Лицо его оставалось строгим, и Сидыкджан

думал, что он еще долго будет ругать молодую женщину за ее необдуманный поступок. Но Самандаров задумчиво посмотрел на Канизяк и сказал:

— Не бойся. Я знаю Бутабая много лет. Раз он сразу, сгоряча, не поставил вопрос на собрании, то теперь уже не поставит. А ты в будущем такие поступки не покрывай. И чужие грехи на себя не бери...

Канизяк так и не поняла: утешал ее председатель сельсовета или не одобрял Бутабая? Она ожидала, что он скажет еще что-нибудь и тогда все станет ясно. Но Самандаров обратился к мальчугану, который уже давно стоял рядом с Канизяк, заложив руки за спину.

— Ну, Хашимджан, что это ты там прячешь? Покажи.

Мальчик сделал два шага вперед, сунул в руку Самандарову что-то завернутое в тряпку и сиротился за спиной Канизяк. Самандаров развернул тряпку и увидел в ней две гайки и маленькую медную шестеренку. Не понимая, зачем Хашимджан дал ему вещи, он сказал:

— Спасибо. А что я должен делать с этими гайками?

Хашимджан, привстав на цыпочки, потянулся к уху Канизяк и что-то зашептал ей. Та, выслушав его, широко раскрыла глаза и засмеялась.

— Он говорит, что они пригодятся вам, когда вы будете делать трактор.

Самандаров расхохотался и, притянув к себе мальчугана, поднял его и прижал к груди.

— Ай, какой же ты молодец! — сказал он, опуская Хашимджана на супу.

Мальчик все больше правился и Сидыкджану. Наклонившись к его уху, он спросил:

— Разве этот человек умеет делать тракторы, Хашимджан?

Но Хашимджан, по-видимому, был твердо уверен в том, что Самандаров делает тракторы. Разве не о нем всегда говорят взрослые, когда речь заходит о тракторах? И он, взглянув на Сидыкджана, утвердительно кивнул головой.

Канизяк тем временем разостлала дастархан и принесла ужин. Ставя перед Самандаровым глиняную миску с супом, она сказала:

— Уж вы извините нас, Максуд-ака, тетушка сварила сегодня только пшенный суп.

Самандаров, помешивая суп тяжелой ложкой с длинным черенком, пошутит:

— А что — вы привыкли есть суп с курицей?

— Уж не позорьте наш дом! — сказала Канизьяк, ставя другую миску перед Сидыкджаном.

— Ладно, пока простительно, — согласился председатель сельсовета. — Но придет время, когда это будет уже неприлично. Однако, — продолжал он, прикидывая на руке вес ложки, — уже сейчас неприлично подавать гостям такой вот черпак. Надо бы завести в доме нормальные ложки.

Он быстро съел свой суп, поблагодарил хозяек и, прощавшись за руку с Хашимджаном, ушел.

После его ухода во дворе как-то сразу стало совсем пусто и тихо, словно здесь было много гостей и вдруг они все встали и ушли. Канизьяк убрала посуду и скатерть. Сидыкджан прилег на тахту и долго еще слышал, как по двору в темноте бродила тетушка Анзират и что-то бормотала о злополучном письме к сыну, наделавшем столько неприятностей.

Проснувшись утром, Сидыкджан почувствовал себя так легко, словно и не болел. Однако, еще не совсем веря в свое выздоровление, решил отложить на день выход на работу и занялся разными поделками во дворе тетушки Анзират. Он укрепил стойки навеса, починил калитку, зарыл старую, уже полную помойную яму и выкопал новую, а Хашимджану сделал лук и много стрел из камыша. К вечеру, когда он собрался выйти на улицу, тетушка Анзират сунула ему в руку деньги. Сидыкджан смутился, начал отказываться, но тетушка Анзират так ласково смотрела на него, что он положил их в карман и пошел искать кышлачного парикмахера.

Вечером Канизьяк, вернувшись с работы, как только вошла в калитку, радостно крикнула:

— Сидыкджан-ака, вы будете работать в нашем звене!

На следующий день рано утром Сидыкджан отправился вместе с Канизьяк на хлопковые поля.

Бригадир Закир-ата решил сам испытать Сидыкджана на оучке хлопка, но, увидев, с какой ловкостью тот работает кетменем, остался очень доволен.

— Спасибо твоему отцу! — похвалил он.

Затем, словно боясь, что Сидыкджан может сбежать из его бригады, открыл свою тетрадку и долго, пыхтя и отдуваясь, выводил его имя.

## ГЛАВА ВОСЬМАЯ

### 1

Никогда еще Сидыкджан не чувствовал себя так бодро и радостно, как в эти дни, работая на хлопковых полях в бригаде деда Закира. Он удивлял своей силой и выносливостью все звено. В часы отдыха шутил и смеялся в кругу молодежи, а вечером, когда возвращался домой, из груди у него невольно рвалась веселая песня. Он и сам не знал, почему так весело у него на душе, да и не особенно задумывался над этим. Он уже не чувствовал себя гостем в колхозе, а все больше и больше сроднялся с ним. Старый друг Урманджан, Тешабай, Знядахон, Канизяк, вспыльчивый Бутабай и даже суровый на первый взгляд Самандаров — все, с кем работал он рука об руку, не жалея сил, стали для него близкими, дорогими людьми. Они сразу же протянули ему дружескую руку помощи, все время подбадривали, стараясь укрепить в нем уверенность, что именно здесь, в «Кошчинаре», он найдет свое счастье. Тетушка Анзират встретила его с материнской лаской, а в своей молодой соседке Канизяк Сидыкджан почувствовал друга с того дня, когда она радостно сообщила, что он будет работать в одном с нею звене.

В первые дни его работы с ней Канизяк была удручена и подавлена. Причиной этого была все та же злополучная история с кетменями. В районной газете опубликовали решение райкома об усилении массово-политической работы в колхозах. В передовой статье, разъяснявшей это решение, обобщался опыт передовых сельскохозяйственных артелей, где в результате хорошо налаженной массово-политической работы все колхозники были вовлечены в социалистическое соревнование. В числе колхозов, где эта работа еще не была как следует поставлена, назывался и «Кошчинар». Указывались факты извращения самой идеи социалистического соревнования и ударничества, когда бригады и звенья, вместо того чтобы помогать друг другу, старались любыми средствами не допустить победы соревнующейся бригады или звена. Приводился пример и с похищением кетменей одним звеном у другого.

Прочитав статью, Канизяк пришла в отчаяние. Она даже не заметила, что этот пример относился не прямо к колхозу «Кочичинар», и была убеждена, что об ее «поступке» знает теперь весь район и «сам товарищ Ахмедов». После разъяснений Самандарова она уж понимала, какое значение имеет эта невинная, как она думала вначале, проделка, а когда узнала, что решение райкома и статья будут обсуждаться на собрании активистов колхоза, совсем пала духом. Ей казалось, что теперь все будут говорить о ней как о несознательной колхознице, которая порочит колхоз, и это угнетало больше всего. А она, одна из лучших активисток колхоза и первая ударница своего звена, еще мечтала в скором времени стать звеньевой!..

Сидыкджан, видя ее подавленное состояние, несколько раз пытался осторожно выспросить, какое у нее горе. Канизяк обычно говорила: «Так, ничего...» — и отворачивалась, пряча слезы, или просто молчала. Сидыкджан не понимал, что творится с молодой женщиной, и однажды, когда они, возвращаясь с поля, остались вдвоем, снова настойчиво стал расспрашивать, почему она так изменилась с того дня, когда они впервые пошли вместе на окучку хлопчатника. Канизяк сначала отмалчивалась, а потом раздраженно ответила:

— Да что вы пристали ко мне? Вам-то какое дело? Вам весело, ну и пойте, а меня оставьте в покое!

Это было сказано так резко, что Сидыкджан растерялся и грустно посмотрел на Канизяк, а ей самой от своих слов стало неловко. Смутившись, она покраснела, опустила голову и через минуту, кусая губы и всхлипывая, рассказала все.

Сидыкджан, чувствуя, что она напрасно себя терзает, посоветовал ей сходить к Урманджану.

— Пойдите и расскажите ему всю правду! — горячо убеждал он ее. — Чем изо дня в день мучить себя, лучше отлучиться сразу. Пусть он и поругает немного, как Самандаров, но он и поможет вам. Обязательно поможет! Урманджан-ака человек умный и справедливый.

И Канизяк послушалась его совета. Пошла с тревогой на душе, с бьющимся сердцем, а вернулась радостно взволнованная, сияющая. Урманджан, оказывається, был на заседании райкома, когда принималось решение об усилении массово-политической работы в колхозах, и слышал немало историй, подобных той, которая случилась в звене Кани-

вяк. Выслушав молодую женщину, он посмеялся над ее страхами и сказал:

— На собрании будет стоять вопрос о всех нас, активистах: плохо ведем разъяснительную работу. А ударников и ударниц в обиду мы не дадим. Нет, не дадим!.. Вот с лодырями и теми, что стараются поменьше дать колхозу, а побольше урвать от него, будет другой разговор.

После этого между Сидыкджаном и Канизяк установились близкие, товарищеские отношения. Они жили в одном доме, шли на работу и возвращались с нее зачастую вместе, и никто как будто не видел в этом ничего предосудительного. Сидыкджан всегда старался чем-нибудь помочь Канизяк. По-видимому, ему доставляло удовольствие получить ее признательный взгляд.

Как-то к ним в звено, когда работа была в самом разгаре, пришел Урманджан. Обойдя участок, он остановился возле куста, у которого копался толстый Абдусамад-кары, работавший в том же звене, и, сорвав лист, поврежденный паутинным клещиком, показал его старику Закиру. Затем, окинув взглядом плохо окученные кусты хлонтатника, он вдруг вырвал кетмень из рук Абдусамад-кары и ударил им по стволу тутового дерева. Рукоятка кетменя сломалась, Урманджан бросил ее и, не сказав ни слова, зашагал на участок другого звена.

Абдусамад стоял, выпучив глаза, и тупо ухмылялся. Все стало ясным, когда Закир-ата взял в руки сломанный кетмень: он был очень легкий и маленький. Закир-ата посмотрел на кетмень, потом на Абдусамад-кары, и белая борода его задрожала.

— Эх ты, слабоспльный, — с презрением сказал он и, расщипев, швырнул клинок и обломок рукоятки кетменя к ногам кары.

Кто-то рядом громко захохотал.

Сидыкджан не любил Абдусамад-кары с того самого дня, когда тот, придя во двор Урманджана, наговорил всяких небылиц про тетущку Анзират. Все в этом человеке — и тихий воркующий голос, и мягкая копячья походка, и лживая улыбка на пухлом лице — вызывало у Сидыкджана отвращение. Он старался держаться подальше от него, но как-то кары, когда возвращались с работы домой, случайно оказался его попутчиком.

Они долго шли молча. Наконец Абдусамад-кары, ехидно захихикав, сказал:

— Оказывается, очень строгий человек этот ваш друг, Урмаджан-ака, очень... Как же, правая рука председателя, колхозная власть... И вспыльчивый какой! Не дай бог, если кто-нибудь вздумает заглядываться на его вазнобу. Как говорится, не найдет соперника — пырнет пожом его ишака.

Сидыкджан усмехнулся.

— Что это вы болтаете, кары-ака, какая зазноба? Разве Урмаджан-ака развелся с женой?

— Хи-хи-хи... — противно захихикал кары. — Простак же вы, парень, недаром над вами смеются в колхозе... Неужели до сего времени так и не догадываетесь? Молодая красивая женщина, да еще и свободная — кто же откажется? Будь вы на его месте, разве отказались бы? Такое дело, браток, для нас с вами запретно, а для них дозволено. Власть, хе-хе...

— Кто же эта молодая свободная женщина? — нахмурив брови, сердито спросил Сидыкджан и даже остановился, ожидая ответа.

— Ай, ай, ушаси бог, — испуганно залепетал кары, — разве можно об этом, братец? Это я так, только с вами пооткровенничал. Урмаджан-ака неоценимый человек для колхоза и очень уважаемый, очень... Пускай развлекается в свое удовольствие! Кому это мешает? Вам мешает... Нет. Но поостерегитесь, я вам дружески говорю! Пусть уж лучше пож ишаку в бок, хе-хе, чем...

Кары захохотал, издавая звук, похожий на бульканье воды в горлышке опрокинутой бутылки, и, не досказав, повернул на тропинку, которая вела в сторону кишлака.

Сидыкджан проводил его гневным взглядом, плюнул ему вслед и направился по дороге в Бакакуруллак. Для него было ясно, что кары или сам стремился оболгать Урмаджана, или передавал чьи-то чужие сплетни. Но ехидная болтовня его навела на разные мысли: «Кто же эта «свободная женщина»? — думал Сидыкджан, быстро шагая по дороге. — Кого он имел в виду? Неужели Канизяк? И на что он намекал, когда говорил, что надо мной смеются в колхозе?..»

Впервые, вернувшись домой, Сидыкджан не ответил на шуточные вопросы Канизяк такой же веселой шуткой. Весь вечер он был молчалив, хмур и задумчив.



Работы по окучке хлопчатника подходили к концу. Сидыкджан уже подумывал о том, чтобы подать заявление о принятии его в колхоз. Воспользовавшись выходным днем, он с утра отправился в Кугазар, надеясь застать Урмаджана дома и посоветоваться с ним: не пора ли уже писать заявление. Но по дороге его перехватил мальчик-посыльный и позвал к Бутабаю. Сидыкджан и сам хотел сначала заглянуть в правление, посмотреть, нет ли там Урмаджана. Кивнув головой мальчугану, он ускорил шаги.

Когда он подошел ко двору правления, какая-то женщина, стоявшая у калитки, испуганно отшатнулась в сторону. Во дворе были еще две женщины: одна, рябая, средних лет, стояла перед Бутабаем и что-то говорила ему, но, заметив входящего Сидыкджана, умолкла, другая, молоденькая, сидела на корточках ближе к входу.

— Ладно, ладно,— сказал Бутабай,— давайте уж садитесь, выкладывайте все... Кто еще там? Позовите.

Молодая женщина, стоявшая снаружи, за калиткой, тоже вошла и присела на корточки.

Бутабай, пригласив сестр и Сидыкджана, снова обратился к женщинам:

— Говорите, я слушаю.

В это время во двор вошел Урмаджан и, поздоровавшись со всеми, сел рядом с председателем колхоза.

Женщины переглянулись. Рябая женщина, все еще стоявшая, поспешно подседа к двум другим. Все молчали. Ни одна из них не решалась заговорить о деле, с которым они пришли к председателю.

— Да говорите же!— повторил Бутабай.

— Если говорить,— начала рябая женщина, опасливо поглядывая на Урмаджана,— так в первую очередь насчет козы... Ариф теперь хорошо присматривает за скотиной, Урмаджан-ака заставил его работать. С тех пор как Урмаджан-ака взялся за ферму, скотина сталаправляться. Телята раньше даже мычать не могли от слабости, а теперь не дают поймать себя. Только вот с козой неладно получилось. Почему у Арифа коза сразу принесла двойню, а колхозные все время рожают по одному козленку? Это неправда, что коза Арифа принесла двойню, она одного родила! Другой козленок— колхозный.

Урманджан был удивлен. Об этом еще раньше ходили разговоры в колхозе и на поверку оказались пустыми слухами.

— Неправда все это,— сказал он. — Мы уже проверяли.

— Проверьте еще!— потребовала рябая женщина.

Урманджан обратился к молодым женщинам, которые сидели молча.

— И вы пришли насчет козы Арифа?

— Да, мы пришли в первую голову насчет козы,— ответила за молодых рябая женщина,— а потом уж насчет Канизяк... Канизякхон,— поправилась она и насупилась, угрюмо поглядывая на Урманджана и на Сидыкджана.

Молодые женщины как будто только и ждали, когда пойдет речь о Канизяк. Перебивая друг друга, они застрекотали:

— Говорят, Канизяк хотят поставить звеньевой!

— Разве нет более достойной?

— Какая-то пришлая, никто ее не знает!

Бутабай замахал рукой:

— Погодите, погодите трещать! Сначала разрешим вопрос о козе. Что же — снова проверять?

— Проверять!— ответила рябая.

Молодки снова затараторили:

— Пускай проверят!

— И козу пусть проверят и Канизяк!

— В первую голову Канизяк!

— Да, пусть проверят, а уж потом говорят, можно ли назначить ее звеньевой!

Бутабай понял наконец, что старая, всем уже надоевшая история о козе Арифа — только предлог и что женщины пришли главным образом из-за Канизяк.

— Хорошо,— сказал он,— вопрос о козе мы еще раз проверим. Теперь насчет Канизяк. Кто вам сказал, что она будет звеньевой? Только говорите не все сразу, а по очереди.

— Знаем!— в один голос воскликнули все три женщины.— Вы давно решили, а какая она звеньевая? Вай!..

— Во-первых,— спокойно перебил Бутабай,— правление еще не принимало решения по данному вопросу. Так что, если у вас есть что сказать против, говорите — учтем. А, во-вторых, по-моему, если Канизяк

станет звеньевой, она справится с делом. Так думают и другие. Вот пусть скажет Сидыкджан — он работает с ней в одном звене. Спросите у старика Закира — он кривить душой не станет. Если судить по работе, то она хоть и женщина, а на работе не уступит двум крепким мужчинам. Нет, не уступит. А, кроме того, во всей бригаде кто лучше, чем Капизьяк, понимает хлопковое дело? Она уже теперь стала правой рукой бригадира. Пусть сам Закир-ата вам скажет об этом. Были бы у нас в колхозе все женщины такие, эхе!.. Разве так пошло бы дело?

Женщины выслушали речь председателя, не проронив ни слова. И даже когда он кончил, они еще некоторое время молчали. Потом одна из них, потупившись, мягко сказала:

— Ваши слова правильны, Бутабай-ака. В поле Канизьяк работает так, что зависть берет. В прошлом году, когда мы получали на трудодни, даже многим мужчинам было стыдно перед ней. Все завидуют ей. Только она молодая еще, озорная. Да, вот это мы и хотели сказать: молодая и озорная!

— Уж это так, озорная и с мужчинами заигрывает! — вставила другая, бросая косой взгляд на Сидыкджана.

Сидыкджан покраснел до ушей и опустил глаза.

— И неизвестно еще, откуда она пришла, — добавила третья. — Может, распутная какая-нибудь?

В разговор вмешался Урманджан.

— И молодая и озорная немного, — мягко заговорил он, — все это верно. Можно еще добавить, что она свободная незамужняя женщина. Но те, кто говорят, что она распутная, болтают зря. Я кое-что знаю о ней. Родилась Канизьяк в здешних местах, а росла в Намангане. Родители ее умерли, когда она была еще маленькой. Как она жила в Намангане и что там делала, я не знаю, не расспрашивал. Но я думаю, что если бы она там вступила на дурной путь, она не приехала бы сюда, а если бы и приехала, то не работала бы так рьяно в колхозе. Вероятно, потянула ее сюда память об отце и матери, надежда найти среди нас родителей, сестер и братьев. Так что же нам было делать? Сказать ей: мы тебя не знаем, ты, может быть, распутная женщина или завтра станешь такой? Вот вы пришли требовать, чтобы не допускали ее в звеньевые. Говорите — «молодая», «озорная»,

даже «распутная». А мы этого не замечали. Так что же — прикажете нам слушать всякую злостную болтовню? И, может быть, выгнать Канизяк из колхоза?

— Мы же не говорим, что ее надо выгнать, — сказала, начиная заметно сдавать, рябая женщина и повернула разговор в другую сторону: — Да она сама виновата! С нами не водится, дружит с русскими женщинами с водочками, — откуда же нам ее знать?

— А почему Канизяк, даже не умея хорошо говорить по-русски, тянется к русским женщинам? Вы об этом не думали? — спросил Урмаджан и сам же ответил: — Человек тоже, как хлопчатник, тянется к солнцу. Только солнечным светом для него чаще всего бывает внимание и сочувствие другого человека. Я думаю, что Канизяк потому и дружит с русскими девушками и женщинами, что у них она находит больше внимания и сочувствия, чем у вас. Подозревать женщину в распутстве только потому, что она несколько свободнее держится с мужчинами, — что это такое? Старое рабство, старый обычай, темпота! Нельзя так относиться к своей подруге! По-моему, и вам следовало бы побольше общаться с русскими женщинами. Они умеют поддерживать свое женское достоинство, а вам надо еще учиться этому. С чего это вы взяли, что молодая незамужняя женщина должна быть обязательно распутной? Плохо, по-старому вы думаете о людях и прежде всего — о самих себе...

Урмаджан говорил спокойно, не повышая голоса, но Бутабай вдруг вспыхнул:

— Какой это элемент нашептывает все это? Вижу я теперь, с чем вы пришли. «Насчет козы»... Хороших людей чернить пришли! Канизяк — лучшая наша ударница! «Молодая», «озорная»... Хотел бы я, чтобы вы все были такими озорными на хлопок! Идите-ка лучше да подумайте над тем, что вам говорил Урмаджан-ака.

Пристыженные, с растерянным видом женщины молча поднялись и одна за другой вышли за калитку.

Все время, пока шел разговор о Канизяк, Сидыкджап сидел ни жив ни мертв и со страхом ждал, когда назовут его имя. Вспомнились ехидные намеки Абдусамада-кары, подумал о том, зачем позвал его председатель колхоза. Неужели за тем, чтобы он собственными ушами услышал, какие слухи о Канизяк пошли по колхозу? Последние слова Бутабая несколько притободрили его, и все же, как

только закрылась калитка за женщинами, он поднял глаза на своего друга и сказал прямо, что думал:

— Урмаджан-ака, раз об этой женщине идут такие разговоры, нехорошо мне оставаться в одном доме с ней. Я не зарюсь на нее, но... лучше жить мне в другом месте. И для нее лучше, и для меня.

— А ты уже испугался разных сплетен? — улыбнулся Урмаджан. — Если не знаешь за собой никакой вины, то чего же бояться? Поговорят и перестанут.

Сидыкджан не решился рассказать Урмаджану о том, что слышал от Абдусамада-кары, и только повторил:

— Нет, нехорошо получается.

— Нехорошо? — шутливо проговорил Бутабай. — Смирный ты больно, парень. Бабьи языки таких любят... А у меня к тебе, брат, такой разговор, — уже серьезно обратился он к Сидыкджану. — На канале ты работал неплохо, в поле — еще лучше. Может, поедешь еще раз на канал? Плотина — большое дело, надо кончать. Тешабай в Каримов там по тебе уже скучают. «Давай, говорят, побольше таких кетменщиков».

— Поеду, — не задумываясь, согласился Сидыкджан.

— Ну, вот и хорошо! — удовлетворенно заключил Бутабай. — И думать о новом жилье пока не надо... Так через недельку готовься, брат...

С этого дня Сидыкджан больше уже не ходил вместе с Кавизяк ни на работу в поле, ни с работы домой; на людях старался совсем не разговаривать с ней, а если и говорил, то только по необходимости и строго нахмурив брови.

Кавизяк сразу заметила, что Сидыкджан начал избегать ее, была огорчена этим и не могла понять, почему он так изменился.

## ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

### 1

Все лето в Бишсерке на МТС шло большое строительство. Строились служебные и жилые помещения, гараж, ремонтная мастерская, новое здание красной чайханы. В старой чайхане былолюдно и шумно. На строительство с разных сторон попасхало много народу. Приезжие не

сразу находили себе постоянное жилье и временно устраивались в чайхане. Старый Курбан-ата выбивался из сил, стараясь обслужить всех посетителей, и в конце концов подал директору МТС заявление с просьбой дать ему помощника. Директор прислал было ему крепкого и проворного парня, но тот побегал недели три с чайниками и пиалами и вдруг заартачился: «Нет, не по мне эта работа!» — и ушел учиться на тракториста. Так до самой осени маялся Курбан-ата один. А осень выдалась погожая, и летняя чайхана закрылась только в конце октября.

Строительство новой зимней чайханы закончилось к Октябрьским праздникам. Но внутренняя отделка помещения должна была занять еще некоторое время, и Курбан-ата решил воспользоваться случаем побывать в кишлаке Капсанчи и навестить могилу своей матери.

Когда он собирался в дорогу, к нему заглянул его сосед Гияситдин Махзум. Узнав, что Курбан-ата едет до Наймана с попутной машиной МТС, Махзум попросил прихватить и его, сказав, что у него есть дела в Капсанчи.

Гияситдин Махзум был местным старожилом и еще не так давно служил при мечети, выполняя обязанности суфи. Но молящихся из года в год становилось все меньше, мечеть закрылась, и Махзум перешел на обслуживание покойников. Иногда, впрочем, он обслуживал и живых, когда его звали поворожить или прочесть молитву об исцелении педуга. Курбан-ата, все еще не теряя надежды разыскать свою давно пропавшую племянницу, однажды попросил Махзума, как старожилу, навести о ней справки. С этого и началось их знакомство.

В канун Октябрьского праздника Курбан-ата и Махзум рано утром выехали на грузовике в Найман, а оттуда к полудню добрались пешком до кишлака Капсанчи. Курбан-ата рассчитывал посетить могилу матери, переночевать у Урманджана, а на другой день к вечеру вернуться домой. Но когда гости стали собираться в обратный путь, Урманджан сказал:

— Кто же уходит от праздника? Нехорошо, Курбан-ата, обидите. Завтра большой праздник, а у нас, кроме того, большое торжество — открытие канала. Устраиваем большое народное гуляние.

Курбан-ата принял приглашение. Хотелось посмотреть старику, как будут праздновать бывшие капсанчи

открытие канала, а кроме того, повидать и Сидыкджана, который, как он узнал, работал на плотине. Старик не забыл ночи, проведенной с ним несколько месяцев назад, их задумчивого разговора.

На другой день в полдень улицы и площади Кугазара стали быстро заполняться народом. Молодые мужчины и женщины шли торопливо, почти бежали, оживленно перекликаясь и перебрасываясь шутками. Дети носились из конца в конец, кричали, шумели, дудели в камышовые дудки. Группа стариков в ожидании автомобиля расположилась на самом солнцепеке, но никто этого не замечал. По всем тропинкам и проселочным дорогам двигались и двигались люди. Все направлялись к каналу.

Курбан-ата и Махзум спустились с пригорка на площадь и присоединились к группе стариков. Как раз в это время со стороны Бакакуруллака подъехал Урманджан верхом на большом белом осле. Старики окружили его. Оказалось, что машина из-за плохой дороги не могла подойти ближе и остановилась у моста. Урманджан объявил, что скоро подойдет арба и до моста можно будет доехать на ней. Некоторые из стариков не захотели ждать арбу и направились к мосту пешком.

Махзум залюбовался белым ослом. Он оглядел его со всех сторон, потрепал по шее, почему-то попробовал согнуть торчащие трубкой уши, затем, похлопав осла по гладкому крупу, промолвил:

— Животное, которое служило святым!

Урманджан понял, что Махзуму очень хочется поехать на белом осле, и он, передав ему поводья, сказал:

— Поезжайте оба. Ишак сильный, выдержит.

Махзум подвел осла к кособору и прыгнул ему на спину.

Курбан-ата, усмехнувшись, подсел к нему сзади.

Отправились.

Белый осел легко нес двух седоков, шел иноходью, а ипогда даже рысцой. Махзум, покачивая своими длинными ногами, сидел в седле прямо, как палка. Курбан-ата, держась за его сухую спину, рассказывал об этих местах. Он показал развалины одной из княжеских водокачек, места, где он когда-то сопровождал дочерей князя на вечерние верховые прогулки, дачу, где князь проводил лето со своими дочерьми и восемнадцатью собаками, и,

накопец, сады ишана Абдуваккаса. Эти сады начипались сразу же за выездом из махалли Кошчинар. Невдалеке от дороги, среди засохших фруктовых деревьев, виднелись развалины большого каменного здания. Развалины, как и края большого водоема перед ним, заросли верблюжьей колючкой, лебедой и полынью. Махзум, взглянув на все это, сокрушенно вздохнул.

— Эх, райские места, видно, тут были! И все погибло... Вот они, колхозы...

— «Райские места», — сердито повторил Курбан-ата. — Логово кровавого дракона, который терзал людей, — вот что тут было! А колхозы вы оставьте в покое... У колхозов будут и получше сады, вот увидите!

Сказав это, старик вздохнул. Перед его глазами встали, как живые, Фарманкул, Вася Темин и другие люди, которые знали в этом мире только горе и ушли из него, как мученики, борясь за счастье народа. На глазах его выступили слезы, и он не сказал больше ни слова, чувствуя, что его спутник не способен понять его.

Грузовую машину, остановившуюся за мостом, на перекрестке дорог, окружала чуть ли не сотня людей — молодых и старых, мужчин и женщин. Стоял невообразимый крик. Какая-то женщина средних лет умоляла шофера:

— Родной, довези хоть до Какыра, я еще никогда не ездила на самоходной арбе!

Кто-то густым басом отчитывал какого-то Абдухалыка, который расположился на сиденье, не давая места старикам. Шофер, молодой, краснощекий парень, ловко отбивался от нападающих. С молодых мужчин и женщин он срывал тубетейки, платки и отбрасывал в сторону, а когда те с визгом и криком бросались поднимать их, подхватывал под руку стариков и помогал им подняться на машину.

Наконец грузовик загредел мотором, пыхнул в стоящих позади людей едким газом и покатился по дороге. Ребятишки, цеплявшиеся за борта машины, прыгнули, а двоих, наиболее упорных, взрослые за руки втащили в кузов. Когда грузовик, подняв за собой целое облако пыли, скрылся вдали, молодежь, окликая друг друга, с веселым гомоном двинулась вслед за ним.

Старик, которым не удалось уехать с первым рейсом, уселся в ожидании машины на обочине дороги, старухи



расположились немного в стороне, на земляной насыпи. Махзум привязал осла к перилам моста, нарвал ему немного травы и, отойдя в сторону, вступил в разговор с кем-то из встретившихся знакомых.

Курбай-ата подсел к старикам. Гадая, когда вернется за ними машина, они спорили о том, сколько пيال чай можно выпить, пока грузовик съездит на плотину, сколько верблюжьих вьюков он может поднять и сколько улиц в кишлаке могут осветить его фары, если их установить где-нибудь повыше.

Тем временем поток людей все увеличивался. Толпа подростков и парней, появившись со стороны Актавука, прошла по мосту с гикашем, свистом, смеем и выкрикивая разные шутки. Вслед за ними проехали на телеге шумливые ребяташки. Затем показался грохочущий трактор, таща на прицепе две огромные, как помосты, четырехколесные повозки. В повозках было полно женщин, они пели, хлопая в ладоши, подзадоривая полную женщину средних лет, которая сидела на передней повозке и, как бы танцуя, делала руками плавные движения. Когда телега поравнялась со стариками, женщина поднялась на колени, упершись руками в бока, задвигала плечами и, взметнув бровями, бросила на седоволосых дедов смеющийся взгляд. Кто-то из стариков одобрительно крикнул:

— Дост!<sup>1</sup> Будь счастлива!

Но дороге из кишлака Капсанчи, паговяя трактор, подкатила бричка, запряженная парой сытых лошадей. Колеса ее прогремели по деревянному настилу моста и сразу затихли, врезавшись в мягкую пыль, грохот сменился мелодичным звоном бубна. Женщины и девушки, празднично разодетые в цветные платья и шелковые кофты, пели свадебную песню. Среди них стройная жепнина, немногим старше двадцати лет, с ярко-красными губами на смуглом лице была в бубен, пританцовывая, и глаза ее озорно поблескивали.

Глядя на нее, Курбай-ата вспомнил свою племянницу. «Да, она теперь была бы вот такой же,— думал он.— Жива ли? Счастлива ли вот так же, как эти жепщины и девушки с горящими глазами и счастливыми лицами? Если она пошла в мать, которая могла встать во главе сорока

---

<sup>1</sup> Дост — о бычий возглас одобрения танцору или певцу.

молодцом, то она теперь не пропадет. Может, жива и также счастлива...»

— О аллах! О святой Бахаутдин! О Гавсул азам!— раздался над его ухом хриплый шепот Махзума.— Арба шайтана и дети его... Видите эту распутную женщину?

Курбан-ата, услышав эти слова, вздрогнул и возмущенно повернулся к Махзуму.

— Оставьте свои заклинания! Замолчите! Пусть танцуют, смеются!— сердито сказал он и, поднявшись, отошел в сторону.

Через некоторое время к мосту снова примчался грузовик за оставшимися стариками. Шофер сделал крутой поворот и остановил машину, подняв тучу пыли. Старики и старухи бросились к машине, снова поднялся шум. Хватаясь за чьи-то плечи, наступаая кому-то на ноги, Махзум протолкался вперед и, усевшись у кабины шофера, стал звать своего спутника. Но Курбан-ата, заняв первое попавшее место на скамейке, даже не откликнулся. Рядом с ним какая-то дряхлая старуха твердила на ухо своему соседу, еще более древнему старику:

— Следите за мной, следите! Когда тронется, держите, а то упаду!

Грузовик тронулся, старики и старухи испуганно вцепились друг в друга: «Ах, вах!» Но шофер, не обращая внимания на испуганные возгласы пассажиров, многие из которых впервые ехали на «самоходной арбе», лихо помчался по дороге. Он спешил, надо было успеть сделать еще один рейс. Машина неслась, подпрыгивая на ухабах, раскачиваясь, стариков швыряло из стороны в сторону, но они скоро освоились с тряской и уже с удовольствием смотрели, как грузовик обгонял одну за другой арбы и брички, оставляя их далеко позади, как разбегались в стороны пешеходы, слышав резкий гудок. А когда машина вырвалась из зарослей в беспредельную степь и покатила по ровной дороге, даже та дряхлая старуха, которая просила держать ее, спокойно сказала соседу:

— Не держите, теперь и сама домчусь.

Вскоре впереди показалась блестящая полоска реки, протянувшаяся у подножья бурых холмов, и молодой парень, стоявший у кабины шофера, громко сказал:

— Вот она, плотина!

Машина, непрерывно сигнала, медленно продвигаясь между толпами людей и рядами распряженных арб, направилась прямо к реке. В плетеных кузовах арб из-под соломы и сухой травы выглядывали пузатые бока поздних дынь и арбузов. Всюду стояли открытые мешки, большие и малые торбы, корзины и ящики с урюком, джидой, изюмом, курагой, айвой, виноградом, грушами, яблоками, сушеной шелковицей, орехами, миндалем — всеми плодами, которые повезли колхозники из садов и бахчей для праздничного угощения. Кругом суетились люди, раздавались оживленные голоса, смех. Где-то звенел бубен, с одной стороны доносились звуки веселых песен, с другой — раздавалась протяжная грустная мелодия. Тут и там слышались задорные выкрики:

— Эй, подходи! Поешь — рад будешь, откажешься — жалеть будешь!

— Вот отборные! Попробуешь — скажешь спасибо!

Машина остановилась у невысокого холма с травянистым покатым склоном. На кошмах, паласах, циновках, разостланных по всему склону и у подножия его, сидели группами пожилые люди. Проворные юноши разносили чай, стопки лепешек на подносах, разные фрукты и сладости.

Вновь прибывших встретили две молодые жепицины и высокий плечистый парень. Старух провели к группе женщин, которые расположились на склоне холма, а стариков — прямо на вершину его. Здесь на разостланных паласах сидело десятка полтора седобородых старцев, они оживленно беседовали, поглядывая на толпы празднично разодетых людей. Отсюда хорошо было видно и цементную с красными воротами плотину и все гулянье на берегу канала.

Махзум опустился на свободное место и потянул за полу Курбана. Но в это время снизу послышался звонкий, веселый голос:

— Здравствуйте, Курбан-ата!

Обернувшись, Курбан-ата увидел Сидыкджана, который бежал по косогору прямо к нему, и улыбающееся лицо стоявшего впизу Урманджана. Кивая головой, Урман-

джап, по-видимому, хотел сказать: «Гляди, как обрадовался!»

Сидыкджан, взбежав на вершину холма, с разбегу крепко обнял старика, приподнял его и, опустил на землю, снова заключил в объятия.

— Молодец, сынок, молодец!— сказал Курбан-ата, поглядывая добрыми глазами на Сидыкджана.— Каждый раз, когда приезжает Урмаджан, я справляюсь о тебе... Работает, говорит, веселый. Вчера хотел тебя повидать, а ты, оказывается, здесь... Ну, как живется?

— Хорошо, отец, хорошо!— взволнованно проговорил Сидыкджан.— Спасибо.

Тот же высокий парень, который встречал стариков, принес чай, поднос с лепешками и сушеными фруктами и пирожки с тыквой, завернутые в платок.

Сидыкджан стал рассказывать и как работал тут, на канале, и какие люди в колхозе, и о том, какой человек «наш секретарь райкома, товарищ Ахмедов». Говорил он, захлебываясь от волнения, как мальчик, который торопится выложить своему отцу все сразу, и Курбан-ата улыбался, глядя на него. Выслушав, он удовлетворенно качнул головой.

— Так, так, сынок... Разве я, седобородый, мог тебе соврать? Когда Урмаджан говорил, что у них в колхозе, мол, работы много да мало еды, разве не я советовал тебе не бояться? В наше время кто трудится, не пропадет.

— Это верно, отец, только Урмаджан-ака говорил тогда так не для того, чтобы пугать меня или испытывать. Работы оказалось и в самом деле много.

— Плод готовым с неба не падает. А если потерпишь, и из незрелого плода может получиться халва.

— Я и не жалуюсь, отец. Теперь здесь никто не жалуется. Те, что были недовольны, давно ушли из колхоза.

— Наверно, из всех сорока трудностей осталась сейчас только одна?

— Да, отец, можно сказать, что главные трудности остались позади, но осталась еще одна, самая большая. К весне мы должны поднять двести двадцать гектаров новой земли.

— Сколько?— удивленно спросил Курбан-ата.

— Двести двадцать.

— Танапов?

— Нет, отец, гектаров и каких! Большая часть — за-

росли, тугай. За зиму мы должны спилить и раскорчевать их.

Курбан-ата с сомнением покачал головой.

— Столько земли да еще корчевать заросли...

— На днях товарищ Ахмедов сам объехал все целинные земли и тугай. А потом записал в план и поставил на заседании в райкоме. Раз товарищ Ахмедов записал двести двадцать гектаров, значит, так и будет.

Сидыкджан умолк, засмотревшись на людей, которые заполнили весь широкий треугольник между рекой и каналом и очутились даже на самой плотине, где красные ворота горели на солнце, как раскаленные угли.

О начале праздничного гуляния возвестили звуки карнаева. Их длинные медные трубы разом взметнулись к небу, и четверо карнаистов, откинувшись назад, затрубили торжественный сбор. Низкий, протяжный рев карнаева заглушил все другие звуки и человеческие голоса. Когда карнаи умолкли, стали слышны высокие и дрожащие гредли сурнаева.

К плотине устремилась молодежь. Девушки шли в ряд, взявшись за руки, в цветных шелковых платьях и ярких косычках. Курбан-ата, глядя на их веселые лица, опять вспомнил о племяннице, о Фарманкуле, о своей молодости, в которой он никогда не знал таких радостных дней, подумал об одинокой старости, лишенной сыновней и дочерней ласки, и сердце его сдавила давнишняя тоска.

Подошел Урманджан с чайником в руках.

— Что это ты заставляешь скучать отца?— сказал он, присаживаясь подле Сидыкджана.

Сидыкджан встал и, предложив ему сесть повыше, сказал:

— Да нет, Урманджан-ака, мы разговариваем. Вот рассказал отцу, какие работы мы должны выполнить зимой, до весны.

— А это верно, сынок?— спросил Курбан-ата.— Двести двадцать гектаров поднять да к тому же еще корчевать заросли... Трудное дело затеяли.

— Очень трудное,— подтвердил Урманджан и подмигнул старику.— В эту зиму колхоз опять просеется через сито, как зерно в сортировочной машине. И я боюсь, как бы и ваш Сидыкджан не просеялся.

— Э, нет, Урманджан-ака,— засмеялся Сидыкджан,— теперь я большой. Не просеюсь, если даже прорвется это

ваше сито. Теперь даже те, кто сбежал при постройке дамбы и канала, кружатся вокруг колхоза и ирригуируются: хотят снова попасть в него и больше не высеваться через сито...

— Кто же это? — спросил, заинтересовавшись, Урманджан.

— Да вон хотя бы дядя Рузымата. Приезжал, три дня жил у него. Говорят, все расспрашивал о колхозе. Ну, Рузымат, кажется, здорово отчитал его.

Рузымат как раз проходил в это время внизу, в группе парней. Урманджан окликнул его, и он быстро взбежал на вершину холма.

— Слушаю вас, Урманджан-ака, — сказал он и почтительно поклонился старику. — С праздником, отец!

Курбан-ата несколько смутился: ведь и в самом деле сегодня большой праздник, а для Урманджана и Сидыкджана двойной, а он не догадался поздравить их.

— Садись, — пригласил Урманджан Рузымата. — Говорят, приезжал твой дядя?

Рузымат, бросив недовольный взгляд на Сидыкджана, коротко ответил:

— Да, приезжал.

— Ну, рассказывай. Что он говорил?

— Э-э, Урманджан-ака, что может сказать человек, который сидит в седле задом наперед? Едет в будущее, а глядит в прошлое... Все расспрашивал о колхозе: как, да что, да что будет? Услышал, что канал скоро откроют, говорит: «Там, где сеяли раньше пшеницу, теперь, наверно, хлопок будет разводить?»

— А чем он теперь занимается?

— Не спрашивал.

— Так что же ты ответил ему?

— Ответил так: «Эх, дядя, говорю, какой там хлопок? Хорошо, что вы вовремя ушли, а мы вот никак не можем удрать из этого колхоза». Смотрит на меня, выпучив глаза. А я ему опять: «Ничего, говорю, у нас не вышло с этим каналом. Копали, копали, сколько мозолей на руках набили, а вода не пошла. Теперь собираемся запрудить реку плотиной. Утону — не поминайте лихом».

Урманджан не рассмеялся, как того ожидал Рузымат. Наоборот, он недовольно заметил:

— Ты это напрасно так говорил. Надо было рассказывать всю правду.

Улыбка моментально слетела с лица Рузымата.

— Так что же, — хмуро спросил он, — может, мне же ему поклониться? Приходите, мол, к нам, будем очень рады?

Урманджан не стал возражать. Он только подмигнул старику Курбану: каковы, мол, ребята!

— Да ведь он не знал, не понимал, сынок, — мягко вмешался в разговор Курбан-ата. — Не понимал, что дело у вас получится.

Но Рузымата уже трудно было убедить в том, что он не совсем прав.

— А чего он не знал, отец, чего не понимал? Вот когда пришел к нам Сидыкджан-ака, мы тоже еще не лакомились халвой. Так почему он все сразу узнал и все понял? Он еще не колхозник, а работает как ударник и лучше иных колхозников.

Подошли женщины, разостлали перед стариками скатерть, поставили блюда с горячим, дымящимся пловом. Рузымат поднялся, взял кувшин с водой и стал поливать всем на руки.

После обеда Урманджан выпил пиалу чая и, поручив Сидыкджану сопровождать гостей, заторопился на плотину. Махаум, заявив, что чувствует себя усталым, лег отдыхать, а Курбан-ата пошел с Рузыматом и Сидыкджаном на торжественный митинг.

Не успели они спуститься с холма, как снова загудели карнай и тысячи людей устремились к плотине. Все впадины и холмы по каналу сразу опустели, возле кустарников остались только ряды арб с привязанными к ним лошадьми и ослами. Чем ближе подходили Сидыкджан и Курбан-ата к плотине, тем гуще становилась толпа. Люди, толкаясь, двигались вперед, но идти становилось все труднее. Рузымат затерялся где-то в толпе. Сидыкджан, оберегая Курбана-ата от толчков, подал ему руку и помог подняться на бугорок. Дальше они не пошли.

С бугорка было хорошо видно плотину и людей, стоявших на мостике, над красными воротами шлюза. Должно быть, там находились все гости из районного центра и товарищ Ахмедов, но Сидыкджан узнал только Бутабя и председателя райисполкома Мавлянбекова, — оба выделялись высоким ростом и грузными фигурами. Они стояли на самой середине плотины, над их головой на длинном шесте висел приспущенный красный флаг.

Когда рев карнаев оборвался, Мавлянбеков взмахнул рукой, и издалека донесся его голос:

— Товарищи!

Говорил председатель райисполкома не больше десяти минут. Несколько раз его речь прерывалась выкриками одобрения и шумными рукоплесканиями.

Но вот наступил самый торжественный момент. Мавлянбеков нагнулся и под громкие аплодисменты и крики «ура» перерезал протянутую перед ним красную ленту. Один конец ленты взметнулся вверх и, мелькнув в воздухе, скрылся из глаз. А красный флаг взвился на самый верх высокого шеста, развернулся и заполоскал на ветру. Торжественно и протяжно загудели карнай, около плотины загремело «ура». Тысячи людей приветствовали поднятие флага над каналом радостными рукоплесканиями.

В это время на плотину вбежало несколько молодых колхозников. Один из них, более проворный, первым добежал до винта шлюза и, взявшись за рукоятку, начал быстро крутить колесо. Сидыкджан узнал его и вскрикнул:

— Так это же Рузымат! Вот счастливец!

Широко раскрылись ворота плотины. Из реки в канал влинула бурлящим потоком вода.

Председатель райисполкома высоко поднял руку. В установившейся сразу тишине раздался его голос:

— Матери и отцы, братья и сестры, будьте здоровы, не уставайте! Не уставайте!

Несколько тысяч голосов одновременно ответило ему:

— Живите долго! Бывайте здоровы!

И долго еще над каналом раздавались радостные возгласы и гремели аплодисменты.

### 3

Когда представители района и одиннадцати колхозов сошли с плотины, бубны начали отбивать танцевальные ритмы. С обоих концов на плотину вышли, танцуя, по три девушки в белых одеждах. Так начался концерт артистов областного и районного театров. К артистам присоединились любители — певцы, танцоры, комики-острословы.

Концерт продолжался до наступления темноты.



Вечером в разрых местах на берегу капала вспыхнули огромные костры, поднятые на треногах в полтора раза выше человеческого роста. Пламя костров залило все вокруг желтовато-красным светом. Молодые и старые, мужчины и женщины — все расположились большими кругами вокруг костров, и начались танцы.

Урмаджан нашел Сидыкджана и старика Курбана в кругу, где музыканты играли веселые мотивы. Оба они сидели в переднем ряду. Сидыкджан время от времени, ударяя ладонями по коленям, выкрикивал: «Дост! Живи долго!» Урмаджан пробрался к ним через ряды сидящих и опустился на кошму рядом. Курбан-ата радовался, как маленький ребенок. Предполагая, что Урмаджан еще не видел всего того, что происходило на площадке круга, он стал описывать и восхвалять танцоров и певцов.

После короткого перерыва музыканты заиграли талец «Уфар». На середину круга выбежала молодая женщина в шелковом полосатом халате, опоясанном платком с серовато-синими разводами, в расшитой цветными шелками чувстской тюбетейке, надетой набскрень. Одна из длинных черных кос ее была опущена на грудь, другая перекинута через плечо. Широко раскинув в обе стороны руки, подавшись грудью немного вперед и слегка покачивая головой, она легко пробежала по кругу один раз и другой, приглашая на талец, остановилась перед юношей, одетым в такой же полосатый халат. Юноша прошелся танцующей походкой по кругу и вытащил из рядов пожилого человека с бородой, похожей на ошакало. Бородач, подражая стыдливым девушкам, немного пожеманничал и вдруг пустился так лихо плясать, что все удивились. Потом он остановился перед Мавляпбековым, двигая плечами и головой. Со всех сторон раздались выкрики и смех. Грузный председатель райисполкома встал, заложив одну руку за спину, а другую изогнув перед собой, повел два-три раза плечами и засеменял перепелиными шажками по кругу.

Все хлопали в такт музыке, постепенно ускоряя ритм танца. Мавляпбеков сделал несколько кругов и внезапно бросился к Урмаджану, но тот ловко увернулся. Под руку председателю райисполкома попал Курбан-ата. Старик поднялся с места и, приложив руку к груди, что-то сказал, показывая на свою искалеченную ногу, но разгоряченный председатель, видно, ничего не расслышал.

Обхватив старика поперек туловища, он поднял его и, выйдя на середину круга, опустил на землю.

Курбан-ата на секунду опешил. Он ничего и никого не видел, кроме пылающего костра и председателя райисполкома, который стоял перед ним, подергивая плечами и головой, приглашал к танцу. И Курбан-ата, раскинув в обе стороны руки, осторожно ступая больной ногой, впервые в своей жизни пустился танцевать под замедленный ритм музыки.

И опять все дружно захлопали в ладоши, подбадривая нового танцора. На площадку вышли еще юноши и девушки и закружились, замелькали цветистым хороводом вокруг старика.

Только в полночь стало затихать праздничное веселье.

Люди начали расходиться. Заскрипели арбы, послышались окрики:

— Пошт, пошт!<sup>1</sup>

Рузымат с группой парней поднял прикрепленную к доскам треногу с пылающим костром и опустил в канал. Эта затея сейчас же была подхвачена молодежью. По каналу поплыли костры, освещая оба берега красноватым светом, а вслед за ними двинулось множество людей.

Урмаджан подвел старика Курбана к арбе, в которой уже сидел Махзум, съевшись и дрожа от холода. В арбу забралось еще шесть пожилых колхозников. Сидыкджан сел править конем. Перед тем как тронуться в путь, Урмаджан шепнул ему на ухо: «Гостей отвези к нам, у тетушки Анаират не хватит одеял. А я скоро подъеду верхом».

Степь быстро пустела.

Над плотиной поднялась огромная луна, и в ее серебристом сиянии величественно трепетало красное знамя.

По каналу медленно плыли огни. Вслед за ними по обоим берегам шли шумные толпы молодежи. Когда арба, на которой ехал Курбан-ата, въехала на новый мост, перекинутый через канал, все увидели множество маленьких огоньков, которые тоже плыли по воде между большими кострами.

— Это уж затея ребятишек,— заметил кто-то.

Огни на канале словно перемгивались с яркими звездами, сиявшими по всему небосклону.

---

<sup>1</sup> Пошт! — Берегись!

Урманджану пришлось потратить немало времени, чтобы разместить на почь всех гостей из соседних колхозов. Домой он пришел уже под утро. Сидыкджап, не дождавшись его, ушел к тетушке Аназират.

Когда Урманджан вошел в комнату, Махзум уже храпел, а Курбан-ата лежал на боку, облокотившись на подушку и подперев ладонью седую голову. Старика не спалось — он о чем-то думал.

— А вы, отец, оказывается, мастер плясать! — улыбаясь, сказал Урманджан.

Курбан-ата глубоко вздохнул.

— И то правда, сынок, никогда не плясал, а тут... Да я ли один? Видел своих капсанчи? Оказывается, эти люди тоже умеют веселиться. Как видно, и им к лицу веселье и смех!

— Эти люди умеют и работать и веселиться. И все хорошее им к лицу, отец. Только вот бедность да такие дома, в которых они живут, им совсем не к лицу. Хотите, я вам покажу новый кишлак капсанчей?

— А ну покажи, если сможешь.

Урманджан достал из ниши несколько свернутых в трубочку чертежей и развернул один из них на столике перед тахтой. Это был план нового кишлака колхоза «Кочичиар». Курбан-ата никогда не видел таких планов, поэтому, как он ни разглядывал многочисленные квадраты, линии и круги, разноцветные пятна, какие-то знаки, ничего не мог понять. Урманджан начал объяснять. Зелено-ватое-пестрый овальный круг, нарисованный посредине листа, обозначал парк культуры и отдыха в центре кишлака, а прямая синяя полоска, пересекавшая его из конца в конец, изображала открытый сегодня канал. Квадраты, расположенные полукругом перед парком с одной и с другой стороны, указывали места будущих зданий правления колхоза, клуба, школы, библиотеки-читальни и других зданий общественного назначения. От верхнего и нижнего полукруга веером расходились в разные стороны двойные красные линии улиц нового кишлака. Развернув другой чертеж, Урманджан показал эскиз одной из таких улиц. Прямая и ровная дорога уходила за голубой горизонт. По обеим сторонам дороги, вдоль арыков, зелене-

ли молодые деревья. За ними белели домики колхозников, окруженные цветущими садами.

Курбан-ата долго, не отрывая глаз, смотрел на эскиз, потом сказал:

— Суждено ли мне увидеть все это, сынок? Если бы удалось хоть сторожем поработать в этих садах, поливать их, тогда у меня не осталось бы неисполненных желаний. Эх, жаль, — слинком рано я родился на свет... А что будет в этих местах лет через двадцать, пятьдесят? А, сынок? Какие будут эти места через пятьдесят лет?

Урмаджан улыбнулся.

— Что будет тут через десять, двадцать лет — это зависит от нас самих, от наших вкусов и желаний. А вот что будет через пятьдесят лет, трудно сказать. Это уже будет зависеть от вкусов и желаний тех ребят, которые родятся в этих домах и будут расти в новом кишлаке. Тут, пожалуй, наш аршин окажется старым. Капсанчи когда-то сидели возле могучей реки и с тоской ждали, когда упадет с небес капля влаги. Сегодня мы открыли канал, и нам уже смешными кажутся эти старые капсанчи. А нашим потомкам, наверно, будет казаться смешным и то, что мы этот канал считали великим делом. «Вот, — скажут они, — большое дело сделали: построили канал, который не мог оросить поля хотя бы одного района. Мы такие каналы построим, которые оросят поля всей республики!» Времена меняются, меняются и люди. Я рад, что вам по душе пришлись планы нашего строительства, но было бы еще лучше, если бы вы тоже приняли участие в строительстве нового кишлака.

— Со всей бы душой, только... — нерешительно проговорил Курбан-ата, показывая свою изувеченную правую руку, — что можно сделать с такой рукой?

— Говорят, когда нет букета цветов, хорош и пучок зеленого луку. Захотите строить новый кишлак, найдется работа и для вас, — сказал Урмаджан и спросил: — Придете?

— Приду! — твердо ответил Курбан-ата.

Гости двинулись в обратный путь на рассвете. Сидыкджан проводил их до берега канала. С моста, перекинутого через канал возле Бакакуруллака, виделось белое двухэтажное здание. Заметив, что Курбан-ата засмотрелся на него, Сидыкджан сказал:

— Это школа.

— Школа! — повторил Курбан-ата. — Школа!

Сидыкджан горячо распроцался с ним и пошел обратно.

Курбан-ата довольно долго шел молча, задумчиво глядя вперед. Молчание нарушил Махзум.

— Курбан-бай, — сказал он, — мы пропустили время намаза. Нехорошо.

— У капсанчей пет мечети, — отозвался Курбан-ата.

— Почему?

— Потому что мало людей, совершающих намаз.

— Была бы мечеть, нашлись бы и молящиеся!

Курбан-ата разозлился.

— Глупо вы рассуждаете, Махзум, очень глупо! Мечеть сделала людей молящимися или молящиеся построили мечеть?

Махзум, вытянув шею, словно испуганная курица, посмотрел маленькими круглыми глазками на своего спутника и, замедлив шаги, отстал.

А Курбан-ата, не обращая на него внимания, положил руку на поясницу и, прихрамывая, зашагал вперед. Он смотрел на зеленеющие вдали деревья, и перед глазами его вставала красочная картина нового кишлака, его улицы, сады и радостные лица людей.

## ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

### 1

Прошла осень, быстро надвигалась зима. По небу ползли густые пухлые облака, в сером воздухе кружились снежинки.

В доме тетушки Анзират было тепло и довольно уютно. Сидыкджан, навалившись грудью на сандал, упражнялся в письме, а Канизяк сидела напротив него и читала книгу. Сама тетушка Анзират, медленно глотая чай из пиалы, смотрела в окно и следила за Хашимджаном, бегавшим по двору. Заметив, что Хашимджан старается поймать на язык снежинку, она, засмеявшись, понерхнулась чаем и сильно смутилась. Затем, вытирая губы платком, взглянула на Сидыкджана.

— Довольно уж тебе, сынок... Выпил бы чаю!

Канизяк, подняв глаза от книги, тоже взглянула на него и улыбнулась насмешливо.

— Не мешайте ему, пусть готовит уроки. Ведь сегодня ему придется выступать на собрании. А вдруг кто-нибудь спросит насчет уроков? Урманджан-ака обязательно спросит!

— Да ведь я и забыла,— озабоченно сказала тетушка Анзират.— Сегодня, значит, проходишь через собрание? Тогда уж пиши, покрупнее пиши... Ладно, ладно, больше не буду говорить,— спохватилась она, заметив, что Сидыкджан посадил кляксу и недовольно поморщился, и обратилась к улыбающейся Канизяк:— Я ведь это к тому, что он вот уже три дня пишет, не поднимая головы.

Не прошло и минуты, как она, ставя перед Сидыкджаном пиалу с чаем, снова заговорила:

— Пиши, пиши, сынок... А бояться собрания не надо, мы все так-то вот проходили через собрание. Тебя все хорошо знают, пройдешь сразу... Ну ладно, ладно, не буду говорить, пиши уж... Кто же будет препятствовать тебе? Спросят два-три слова и все!

Сидыкджан отложил наконец ручку и взялся за пиалу.

— Что ж,— усмехнувшись, сказал он,— пусть спрашивают, я сумею ответить. Если же не примут, скажут, что я еще не достоин быть членом колхоза, значит, падо мне еще больше работать, чтобы стать достойным. Такую речь я и на собрании поведу. Ну, если и собьюсь немного, меня там поправят.

— Это я потому говорю, сынок,— мягко заметила тетушка Анзират,— что на сердце у тебя, кажется, не совсем спокойно.

— Верно,— согласился Сидыкджан,— не совсем спокойно. Но это вовсе не оттого, что я боюсь чего-нибудь.

— А отчего же тогда?

— Не могу сказать,— улыбнулся Сидыкджан.— Вот, кажется, вертится на языке, а сказать не могу...— Помолчав немного, он взглянул на Канизяк и продолжал:— Никто до сих пор не смотрел мне в лицо, не спрашивал, что я за человек, зачем родился на свет, что собираюсь делать, о чем мечтаю. Жена, которая клала свою голову на подушку рядом со мной, и та не прислушивалась к моим словам, и не было ей до меня никакого дела. А потому и любви у нас настоящей не было. Да, как подумаю, оказывается, у меня и не было никаких желаний, и ни о чем я не мечтал. А вот теперь не один, не десять чело-

век, а больше сотни людей будут смотреть мне в лицо, будут спрашивать, кто я такой, что я делаю и чего хочу. Как же не волноваться? Когда я ехал сюда, у меня было единственное желание — быть сытым, одетым, иметь в кармане немного денег, которые можно расходовать без попреков. А потом у меня, бывшего батрака, которого и в своей-то семье за человека не считали, появилась мечта!.. Ну, о ней я пока ничего говорить не буду. Скажу только, что желание иметь новый халат или пачку хрустящих бумажек кажется мне теперь очень мелким, не стоящим внимания. А вот само собрание и то, что столько людей будут думать и говорить обо мне, только обо мне и моих делах... вот и радуется и... как бы это сказать...

Тетушка Анзират, видимо, не совсем поняла, что хотел сказать Сидыкджан, и, подавляя зевок, поднялась с места.

— Ладно уж, чего там, сынок? Все прошли через это. А тревожить себя понапрасну не надо, — сказала она и вышла во двор посмотреть за шаловливым внучком.

Сидыкджан, словно жалуясь на то, что тетушка Анзират не поняла его, посмотрел на Канизяк. Та закрыла книгу и серьезно проговорила:

— Да, Сидыкджан-ака, вы правы. Иногда человек так меняется, что и сам не узнает себя.

— Как это так? — спросил Сидыкджан.

— Да так... Когда я приехала сюда, у меня тоже не было никаких надежд и никаких особенных желаний. Мечтала я тоже только о куске хлеба. А вот теперь так же, как и вы, мечтаю о многом. И совсем не узнаю себя.

— Вот это я и хотел сказать! — обрадовался Сидыкджан и, помолчав, подумав, заговорил, продолжая какую-то свою мысль: — Рассказывают, что после того, как бог сотворил животных и человека, он решил раздать всем сроки жизни. Первым будто явился к нему осел. Бог спрашивает его: «Ну, сколько же лет жизни отпустить тебе? Сорок лет хватит?» Осел долго думал, потом спросил: «А как я проживу эти сорок лет?» Усмехнулся бог, отвечает: «Известно, как. Будут люди на тебе грузы возить и сами ездить, тыкать палкой в загорбок». Подумал еще осел и сказал: «Колп так, хватит мне и половины срока». Ну, отпустил ему бог двадцать лет жизни, а оставшиеся отложил себе в торбу. Прибежала собака. Бог и ее спрашивает: «Сколько лет жизни просишь? Сорока хватит?»

Собака умильно посмотрела на бога и тоже спросила: «А как мне придется жить? Будут меня кормить?» Бог ответил ей: «Жить будешь у порога людей; бросят кость — будешь есть, не бросят — самой придется искать себе пропитание». Собака тоже попросила только двадцать лет жизни, а остальные вернула богу. За собакой пришел человек. Говорит ему бог, этак с хитрецей: «Тебе, я думаю, сорока лет жизни вполне хватит?» Человек подумал немного, спросил: «А что меня ожидает?» — «Женишься, будешь наслаждаться жизнью, весь мир будет принадлежать тебе!» — ответил ему бог. Человек совсем растерялся от радости. «Если так, говорит, то дай мне, о боже, восемьдесят лет жизни. На меньший срок никак не согласен!» Ну что тут делать. Отпустил бог человеку его сорок лет да еще прибавил те, что остались от осла и собаки. И стал жить человек сорок лет своей жизнью и сорок лет ослиной и собачьей.. А у меня, — заключил Сидыкджан свой рассказ, — получилось так: начал я собачьей жизнью — ходил по чужим порогам и ждал, когда мне бросят кусок хлеба, а потом, как осел, носил на себе чужой груз и его хозяина. И вот только теперь я начинаю жить своей собственной человеческой жизнью.

Канизьяк рассмеялась.

— Эта легенда как раз про батраков и капсанчей. Многие из них так и не дождались человеческой жизни. А вы расскажите об этом на собрании. Посмеются люди. Расскажите?

— Расскажу.

— Не сумеете. Когда человек выступает на собрании впервые, он всегда теряется.

— Нет, не растеряюсь.

— А ну, как вы начнете?

— Как же еще начинать? Встану вот так... — Сидыкджан поднялся. — Вот так встану и скажу: «Товарищи!..»

В окно постучали, и громкий голос прервал Сидыкджана:

— На собрание!

## 2

Вереницы людей тянулись из Кугазара, Бакакуруллака и Кошчинара к новому зданию красной чайханы, построенному на берегу канала по плану нового кишла-



ка. Парк еще не был разбит, вокруг расстилались далекие заросли, и ночью, боясь волков, люди не решались ходить сюда. Внутренняя отделка здания еще не была закончена. Поэтому чайхану так и не перевели в это зимнее помещение, а зал пока использовался для общих колхозных собраний и клубных вечеров.

Для того чтобы весной было легче корчевать деревья, в заросли была пущена вода. Теперь вода замерзла, земля покрылась ледяной коркой, ходить по ней было трудно.

Когда Сидыкджан и Канизяк вошли в зал, он был уже полон людей. Канизяк тотчас же окликнули, и она отошла к группе молодых женщин и девушек. Не успел Сидыкджан опуститься на скамью, как кто-то толкнул его в спину. Оглянувшись, он увидел Тулягана. Тот прижался жесткой, как колючка, бородой к самому его уху и зашептал: «Оказывается, приятель, сегодня для нас обоих праздник!» Сидыкджан, хотя и не понял, что он хотел сказать, кивнул головой и улыбнулся.

За столом президиума уже сидели члены правления колхоза и о чем-то тихо переговаривались между собой. Но вот агроном Ибрагимов встал, объявил общее собрание колхозников открытым и огласил повестку дня. Первым вопросом стоял доклад председателя правления о хозяйственном и строительном плане колхоза на будущий год и об использовании долгосрочной государственной ссуды, а вторым — прием новых членов. Когда Ибрагимов спросил, будут ли другие предложения, Закир-ата сказал, что нужно внести в повестку вопрос о школе. Большинство его поддержало. После этого Ибрагимов предоставил слово председателю правления.

Сидыкджану показалось, что Бутабай начал свой доклад со середины, даже пропустив обычное обращение: «Товарищи!» Председатель правления так сразу и заговорил:

— В этом году мы должны превратить «Кошчинар» в крупный хлопководческий колхоз, а сами выйти из мышиных норок на белый свет...

Затем он сказал о плане осуществления этих двух задач. Это был план первого года колхозной пятилетки. Им предусматривалось прежде всего расширение посевной площади под хлопчатник и снижение себестоимости хлопка путем широкого применения механизации и агротехники. В плане строительства намечалось сооружение

хозяйственно-необходимых зданий и первых жилых домов нового кишлака. Свой доклад Бутабай закончил призывом трудиться еще более самоотверженно и выполнить поставленные задачи. Собрание ответило на призыв громкими аплодисментами.

Начались прения. Выступавшие критиковали отдельные недостатки в работе правления, но одобрительно отзывались о хлопководческом и хозяйственно-строительном плане, и резолюция с одобрением этого плана была принята единогласно.

По вопросу о школе слово получил Закир-ата.

— Наше правление,— сказал он,— построило очень хорошее здание для школы, но... фарфоровое блюдо хорошо, да ничего не стоит, если нет хорошего плова. Я думаю, что учитель Рахматулла Абиди для такой хорошей школы не годится.

— Почему не годится?— спросил Урманджан.— Знаний мало?

Закир-ата помолчал, не зная, как ответить, но быстро нашелся и продолжал свою речь:

— Нет, знания-то у него есть, да не такие, какие нужны нашим детям. По-моему, надо просить райоц, чтобы прислали другого учителя.

— Почему у вас сложилось такое мнение?— опять спросил Урманджан.— Какие причины?

— Я говорю то, что думаю,— ответил Закир-ата.— Это мое мнение.

В зале послышался шум. Ибрагимов позвонил в колокольчик, встал.

— Закир-ата,— обратился он к старику,— мы не сомневаемся, что вы честно высказываете здесь свое мнение, но мы должны знать, на чем оно основано. Почему вы думаете, что учитель Рахматулла Абиди не на месте?

Закир-ата снял с головы тюрбетейку и, положив ее на выступ дощатой трибуны, почесывая затылок, задумался.

Из зала послышался насмешливый голос:

— Думать раньше надо было, а потом уж и вылезать на трибуну! Чесать за ухом можно и в зале!..

Вслед за тем кто-то крикнул:

— Учитель Рахматулла назначен сюда из области!

— А что из того, что из области?— заговорил вдруг Закир-ата, вскинув голову.— Недаром говорится: что не заметит старший, заметит младший, что не заметит

младший, заметит старший, а если они оба вместе будут глядеть, то ничего не пропустят...

Громкие аплодисменты на минуту прервали речь старика, и он, ободренный этими аплодисментами, заговорил решительнее:

— Почему, спрашиваете, учитель Рахматулла не может обучать маленьких? А вот почему. Если он, к примеру, скажет мне что-нибудь неправильное и меня возьмет сомнение, я могу спросить других и узнать правду. Вот есть у нас тут и Урманджан и Рауфджан... А что, если это неправильное будет сказано детишкам? Ребенок верит слову учителя, не рассуждает... Ладно уж, буду говорить откровенно. Как-то мы со старухой поссорились. Я ей одно слово, она мне — два...

— А ты бы, отец, наоборот! — съязвил кто-то.

— Ну и пошло у нас, и пошло. Узнал об этом учитель Рахматулла, вмешался в наш спор и примирил нас со старухой. За это ему можно только спасибо сказать. Потому что мы со старухой поссориться-то поссорились, а помириться никак не можем...

По залу опять пробежало оживление. Закир-ата продолжал:

— После этого случая учитель как-то зазвал меня к себе домой. Посидели, поговорили. А когда опять зашла речь о споре со старухой, Рахматулла и говорит: «Да, вот что значит — дать женщине свободу, Ты ей слово — она тебе два!» Это мне не понравилось. Потом заговорили о том, что такое свобода. И тут тоже учитель говорил довольно странно. Послушал я его рассуждения о свободе и подумал, что же получилось бы из моей бригады, если бы ее вот так поучали? По словам Рахматуллы, хочешь — выходи на работу, не хочешь — не выходи, можешь махать кетменем, а не нравится — мух шапкой гоняй. Потому, дескать, что свобода всем и во всем. Свобода — значит, всякому лентяю на боку лежать и чтобы другие за него работали. Оказывается, учитель Рахматулла хотя и имеет знания, но не знает, что такое свобода? Да и откуда знать ему? Откуда знать курице, которая сидит в своем курятнике и жиреет, полезно или вредно летать? Так и наш учитель Рахматулла. В те времена, когда на нашей шее сидели князья, ишапы и баи, он, должно быть, сидел в каком-нибудь княжеском курятнике и набирал жиру!..

Громкий смех, возгласы и рукоплескания покрыли эти слова, а Закир-ата не спеша сошел с трибуны и направился на свое место. Ибрагимов призвал собрание к порядку и, когда установилась тишина, спросил:

— Кто желает еще высказаться?

Сразу поднялось несколько рук. Рузымат, сидевший в первом ряду, вышел на трибуну.

— Вопрос ясеф, товарищи...— как всегда заговорил он решительным тоном.— Закир-ата удивляется, почему на месте учителя сидит такой отсталый человек, а об этом надо спросить нашего председателя. Может быть, на это есть много причин! Я хочу рассказать об одной из этих причин. Однажды я вез со станции фанеру для школы. Наступили сумерки, только что взошла луна. Проезжаю через мост, слышу чей-то голос: «Ай-яй-яй, ли в одном колхозе так красиво не восходит луна!» Смотрю: учитель Рахматулла. «Да, домулла, говорю, в других колхозах, пожалуй, такой красивой луны не увидишь». А он в ответ: «Увидишь, если колхозом управляет такой председатель, как Бутабай-ака...» Так говорит он за спиной председателя. Интересно, что же он скажет ему в лицо? Есть же лизоблюды на свете, а этот учитель Рахматулла готов лизать подметки каушей у товарища Бутабая!

Все громко захохотали, а Бутабай, густо покраснев, только покачал головой.

— Закир-ата сделал правильное предложение,— продолжал Рузымат.— Нам нужен учитель, который хорошо, по-советски обучал бы детей, да и взрослых мог бы кое-чему полезному научить. Вот такой, как товарищ Ибрагимов. Он у нас председатель совета урожайности и агроном, дел у него хватает, а он еще и в вечерней школе преподает. Он для всех нас стал учителем. Какое бы событие ни случилось в мире, он все объяснит. Хорошо бы иметь в нашем кишлаке двух таких учителей! Я присоединяюсь к предложению просить район освободить нашу школу от Рахматуллы Абиди.

Не успел Рузымат сесть на свое место, как на трибуну, даже не дожидаясь предоставления ему слова, выскочил Абдусамад-кары и заявил:

— Этот вопрос поставлен очень своевременно.

— Нет, поставлен с большим опозданием!— крикнул кто-то из зала.

— Правильно, можно сказать, даже с опозданием, — тотчас же согласился кары. — Обвинять в этом нашего председателя, с одной стороны, правильно, а с другой — неправильно. Один из тех, что пострадал из-за учителя Рахматуллы, это я сам. Почему? Я по-старому кемпожко грамотный, но по-новому еще недостаточно научился. Когда наш председатель крепко отругал меня и раскрыл мне глаза... вай, мне даже страшно стало! Но я от всего сердца приношу ему благодарность... Так вот, как только раскрылись мои глаза, я со всем усердием принялся учиться, чтобы овладеть новой грамотой. Я познакомился с учителем Рахматуллой, ходил к нему домой, приглашал к себе. И что же? Вы думаете, он научил меня? Нет. Он еще больше затуманил мне голову. Пожалуй, я даже поглупел от его ученья, хотя мне стыдно сознаться в этом. Верно сказал здесь товарищ Рузымат, что у Рахматуллы мало знаний. Я должен добавить, что у него нет почти никаких знаний. С другой стороны, как говорил товарищ Рузымат, дело тут, может быть, и в другом. Я вполне присоединяюсь к тому, что здесь говорили Закир-ата и товарищ Рузымат... Они хорошо говорили...

— Да и вы, кары, поете не плохо! — сострил кто-то из передних рядов, и в зале рассмеялся.

— Теперь, граждане, — продолжал кары, — я хочу кемпожко покритиковать Закира... Впрочем, покритикую сначала себя, а потом его. Почему я хочу сперва покритиковать себя? А потому, что Рахматулла, — чтобы ему скореть в огне! — и со мной говорил о свободе. И я сделал такую же ошибку, как и почтенный Закир-ата, — не сообщил сразу нашим уважаемым руководителям о вредных словах учителя. Когда Рахматулла объяснял по-своему, что такое свобода, я готов был схватить его за горло. И надо было схватить! Но он, видя, что я рассердился, сказал: «Эх, кары, я за сорок девять лет ни одного умного слова не вымолвил, а теперь сразу состарился, вот и несу чепуху». Я рассмеялся, поверив ему по своей простоте. В этом я виноват перед вами, граждане. Ну, меня он сбил с толку этой своей шуткой. А вот почему Закир-ата, такой умный, сообразительный старик, сразу не схватил его за холку? Почему он молчал вот до этого собрания? Но довольно. Я не хочу обвинять других, чтобы оправдывать себя. Я тоже виноват. Надо, чтобы наши уважаемые руководители Урманджан-ака, Бутабай-

ака, Ибрагимов-ака и все члены правления обратили на школу самое серьезное внимание и приняли соответствующие меры. Я тоже за то, чтобы Рахматуллу Абиди выгнать из школы!

Кары сел на свое место. На вопрос Ибрагимова, не желает ли еще кто выступить, никто больше не поднял руки. Собрание так же единогласно постановило просить районный отдел народного образования прислать нового учителя.

Ибрагимов, переходя к вопросу о приеме в колхоз новых членов, предоставил слово секретарю правления Зиядахон и улыбнулся, взглянув на Сидыкджана.

У Сидыкджана сердце дрогнуло от волнения.

Зиядахон прочитала решение правления о приеме в члены колхоза Тулягана Сулейманова и Сидыкджана Сахибджанова.

Туляган вдоль стены пробрался к самой сцене и обратился к председателю правления:

— Ну, Бутабай, мне нечего скрывать перед тобой... Прошлому нет возврата...

Бутабай усмехнулся, двумя пальцами погладил густые усы.

— Какому прошлому?

— Чего уж поминать? Я сделал большую ошибку, когда вышел из колхоза, но и ты был не прав, когда говорил, что заставишь меня курицей кудахтать... Вот видишь?

— А что ты мне говоришь? Говори собранию!

Туляган повернулся лицом в зал и заговорил, волнуясь, отрывисто:

— В то время лошадь да бык... да несознательность, оказывается, стали путями на моих ногах... Мне нечего тайть, все было на ваших глазах... А потом работал на канале, хотя пикто и не заставлял меня выходить на работу... Вот пусть скажет Урманджан-ака... Помогал мастерам, которые строили конюшни и коровники, и ни у кого не просил ни копейки и не буду просить... Весной начнется раскорчевка зарослей, большое строительство. Будем живы-здоровы, увидите меня на работе... Учусь, уже исписал девять тетрадей...

Того, что говорил дальше Туляган, Сидыкджан не слышал. К нему подошла Канизяк и спросила:

— Расскажите? Зиядахон-апа тоже хочет, чтобы вы рассказали...

Сидыкджап посмотрел на Зиядахон. Та стояла и, улыбаясь, смотрела на него. Не слышал толком Сидыкджап и то, о чем говорил Урмаджан. Кажется, он внес предложение об утверждении решения правления.

В зале раздались голоса:

— Правильно! Приять!

— Сидыкджап Сахибджанов! — вызвал Ибрагимов. — А ну, покажитесь!

Сидыкджап вздрогнул, услышав свое имя, и встал. С разных сторон послышались голоса:

— Видали! Знаем его!

— Говорите, — кивнул Ибрагимов Сидыкджану.

Сидыкджап растерянно обвел глазами зал, переполненный колхозниками.

— Что я могу сказать?

Канизяк тихоенько подтолкнула его сзади:

— Да говорите же: «Бог раздавал животным сроки жизни...»

Но Сидыкджап ничего не слышал и не видел.

— Что сказать?.. — повторил он и медленно, словно обдумывая каждое слово, продолжал: — Раньше, когда я слышал о колхозе, я думал, что люди там работают сообща, а потом делят между собой урожай. Что это и есть колхоз. Нет, оказывается, колхоз — совсем другое...

— А что же? — спросил Урмаджан.

— Оказывается, в колхозе человек узнает свою цену. И человек должен ценить колхоз... Я в жизни никогда не говорил на собраниях, уж извините...

Видя, что Сидыкджап больше не находит слов, Ибрагимов кивком головы дал ему понять, что он может сесть.

Решение правления было утверждено.

Когда Ибрагимов объявил о закрытии собрания, друзья Сидыкджана стали громко звать его, чтобы поздравить со вступлением в колхоз. Но его нигде не было. Даже Канизяк не заметила, когда он выскользнул из зала.

### 3

Учитель Рахматулла Абиди, о котором так много говорилось на собрании, был родом из Коканда и одним из тех байских сынков, которые в свое время, читая газету кокандских автономистов, провозглашали: «В ханском дворце осталось всего шестнадцать большевиков. Уничто-

жим их, и власть будет паша!» Но буря народной революции смела, как осенние листья, все надежды вдохновителей байской контрреволюции. Рахматулла, в страхе перед этой бурей, стал искать, куда бы ему спрятаться.

Более умные и ловкие его друзья уже давно попрятались, замаскировались. Они и его научили. Еще до того, как рассеялся дым пожарищ, по всему краю начали быстро разворачиваться различные культурно-просветительные учреждения. Школы, интернаты, вечерние курсы для взрослых нуждались в грамотных людях. Их было мало, очень мало в сравнении с проснувшейся в народе огромной тягой к грамотности и просвещению. Рахматулле Абиди удалось устроиться преподавателем и воспитателем в одной школе типа интерната.

Он принялся воспитывать детей в духе национализма. Но вскоре его разоблачили, и он вынужден был бежать отсюда. Так, скитаясь из города в город, с места на место, он встретил одного из воспитанников интерната — Джавдата Наима, который работал теперь секретарем облисполкома. Джавдат Наим приветливо встретил своего воспитателя, но Рахматулла остался не очень доволен разговором с ним. На тонких губах Джавдата все время скользила улыбка, она словно говорила Рахматулле: «Зачем тебе знать о наших делах? Кто не сумел быть искусным гребцом — тот только лишний груз в нашей не очень-то прочной лодке».

Наставник в течение двадцати дней изучал у своего воспитанника новый алфавит, а затем отправился учителем в Ходжа-кишлак. Провожая его, Джавдат сказал:

— Действуйте осторожно! Помните: чем быть волком, лучше стать мухой, потому что ее нельзя поймать в капкан.

И Рахматулла старался не «обнаруживать себя». В Ходжа-кишлаке он прикидывался больным, немощным и не особенно лез на глаза людям.

Прошли месяцы. К новому учителю первое время еще проявляли в кишлаке интерес, потом на него перестали обращать внимание. Он почти не выходил на улицу, а если иногда заходил в красную чайхану, то каждому встречному жаловался на свои болезни, на то, что уж немного осталось ему жить на свете. И в самом деле: кто видел, как Рахматулла, с обвязанной шеей, еле передвигая ноги,



входит в свою каморку, тот не сомневался, что скоро его уже вынесут оттуда в гробу.

Между тем в распространении разных слухов, пугающих население, в отборе людей, которые должны были служить планам Джавдата Наима и тех, кто стоял за ним, Рахматулла Абиدي проявлял неутомимую энергию. Но недалекий и недостаточно осведомленный, он действовал вслепую, не понимая сущности происходящих событий, не зная их взаимосвязи, причин. Во время кулацкого бунта, вспыхнувшего в Ходжа-кишлаке, Рахматулле показалось, будто судьба Советской власти решается именно там, и он сделал несколько необдуманных, слишком рискованных заявлений, которые чуть не привели его к новой катастрофе. Его спас все тот же Джавдат Наим. Он немедленно отозвал Рахматуллу в городской отдел народного образования.

Некоторое время Рахматулла работал в городском отделе, затем перешел на более спокойное место, в музей, но и тут не покидал его страх перед возможным разоблачением. Пораздумав над своим положением, он вскоре пришел к мысли, что в городе ему уже нельзя работать, а лучше всего уехать опять куда-нибудь в кишлак, только подальше, в глухое место. Эта мысль пришлась по вкусу Джавдату Наиму, и он решил запрятать Рахматуллу поглубже.

Вот тогда-то и отправился Рахматулла Абиدي в далекий кишлак капсанчей. Джавдат Наим, провожая его, сказал:

— Меч ваш сломан, щит пробит, домулла, и, ничего не поделаешь, придется лезть в мышиную нору. Но мне помнится одно сравнение, сделанное вами, когда я был еще вашим воспитанником: «Мышь — тварь беспомощная, однако из истории известно, что мыши продырявили Ноев ковчег». Каждый колхоз — это ковчег, судно, домулла. Но судно железное! А железо нельзя перегрызть зубами, его падо разъедать ржавчиной. В Капсанчи живет Абду-самад-кары, мой свояк. Будете действовать вместе с ним. Передайте ему привет от меня. Пусть заедет ко мне в конце этого месяца...

В колхозе «Кочичнар» с большой радостью встретили прибывшего из областного центра «старого, опытного учителя». Бутабай тотчас же нашел ему хорошую квартиру, и сделал все, чтобы учитель ни в чем не нуждался.

Для Абдусамада-кары прибытие Рахматуллы открыло более широкие возможности. Он сумел их использовать. Однако то, что произошло на собрании, привело кары в полное смятение. После разоблачения Рахматуллы карающая рука могла протянуться и к самому Джавдату Наиму. Удастся ли спастись от этой руки, подсунув ей подол Рахматуллы?

Вернувшись с собрания домой, Абдусамад-кары подождал до полуночи, а затем направился к учителю. Когда Рахматулла услышал от него, что говорилось на собрании, он опустил голову и задумался.

— Уезжайте, домулла,— сказал кары,— немедленно уезжайте!

Но Рахматулла вдруг злобно, как затравленный зверь, посмотрел на кары.

— Вы хотите, чтобы я бежал? Нет! Мне уже больше некуда идти!

А на рассвете Рахматуллу Абиди нашли на обледенелой дороге возле школы со сломанной рукой и разбитой головой. В бесчувственном состоянии его отвезли в районную больницу.

## ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

### 1

В середине февраля наступило потепление, и снег, покрывавший толстым слоем поля и луга, начал быстро таять. Появилось много проталин. Над землей, словно обрызганной кислым молоком, поднимался легкий парок. На ветвях сразу побуревших зарослей громко каркали вороны, чуя приближение весны.

С каждым днем становилось теплее.

Почва покрылась талой водой, стала рыхлой, и кощичарцы заторопились начать работы.

Это произошло на полмесяца раньше намеченного срока. Для раскорчевки зарослей были созданы специальные бригады, каждая из них получила гусеничный трактор. На помощь бригадам вышло все население кишлака — молодые и старые, женщины и мужчины. В зарослях загудели тракторы, зажужжали пилы, застучали топоры. Тракторы вырывали с корнями кусты боярышника, ивы,

мелкие деревья дикой джиды и туранги, выдергивали обвязанные цепью или спиленных крупных деревьев. Люди разделяли деревья и кустарники на дрова, на строительные материалы, нагружали ими арбы, и не успели колхозники оглянуться, как на площадке каждой махалли образовались горы леса.

В один из этих дней в бригаду деда Закира явилась молодая женщина с ребенком, в красной парандже, но без чиммата, в атласном платье и лаковых ичигах с каушами. Она спросила Сидыкджана. Он в это время пилил деревья на другой стороне еще не раскорчеванных зарослей. К женщине вышел Абдусамад-кары и заговорил с нею.

Канизяк, поняв из разговора, что к Сидыкджану приехала жена, побежала предупредить его. Она думала, что Сидыкджан обрадуется, но тот, выслушав ее, нахмурил брови. Ему вспомнилось, как он, прижав к груди маленького сынишку, уходил из дома Зуннуна-ходжи, как жена догнала его и отняла ребенка, как заплакал ребенок. Может быть, этот плач, вновь прозвучавший в его ушах, смягчил его сердце.

— Ну, Канизякхон,— сказал он,— посоветуйте, что мне делать?

— Как это «что делать»?— улыбнулась Канизяк.— Ваша жена с ребенком сама пришла к вам. Надо поговорить с ней. Покорную голову и меч не сечет.

— Я не об этом... Куда я их поведу?

— Поведелите к себе домой.

— Это неподходящее место, Канизякхон.

— Почему же? Ведь у вас отдельная комната.

— Не то...— поморщился Сидыкджан.— Я хотел спросить, нельзя ли найти дом получше.

— А чем плох дом тетушки Анзират?— спросила Канизяк и вдруг рассердилась.— Вот еще... Что же, ваша жена с неба свалилась? Не понимает, что хороших домов нам никто еще не настроил? Мы тоже люди, однако живем. Ничего с ней не случится, проспит одну ночь в доме, где люди весь век живут. Подумаешь! Если она такая, то не надо было ей приезжать сюда.

Канизяк даже надула губы и отвернулась. Она хотела еще что-то сказать, но искоса взглянула на Сидыкджана и промолчала.

— Вы не поняли меня, Канизякхон,— сказал Сидыкджан.— От вас я ничего не хочу скрывать. Так вот, если

говорить правду, я не хочу, чтобы она, увидев мое жилище, сказала: «И ради этого вы бросили дом, ребенка? Лучше умереть, чем так жить!» А она, поверьте мне, так и скажет. Я знаю ее!

Канизяк быстро обернулась и пристально взглянула на Сидыкджана.

— Так разве она не мириться приехала?

— Нет... не знаю,— перешительно проговорил Сидыкджан и задумался.— От нее всего можно ждать. Если она увидит, как я живу, нарочно оставит мне ребенка. Решит, что я вернусь к ней, раз лучшего не смог добиться.

Заметив тревогу на его лице, Канизяк почувствовала к нему жалость, а к женщине с ребенком, разодетой в красную паранджу и атласное платье, сразу прониклась недоброжелательством.

— Не огорчайтесь, Сидыкджан-ака!— сказала она.— Если эта женщина бросит ребенка, как-нибудь обойдемся и без нее. Днем он будет в детском саду, а вечером присматривает за ним тетушка Анзират. Да и я...

— Только этого еще не хватало тетушке Анзират — заниматься моим ребенком!

— Что же делать? Если бросит — придется...

Теперь уже сама Канизяк беспокоилась, словно все заботы свалились на ее плечи.

— А может быть, нам отвести ее в дом Урманджана? Как-никак дом из жженого кирпича, под железной крышей, есть окна... Я сейчас пойду предупрежу Тупалису. Не волнуйтесь, все сделаем. Раздобудем кое-что из вещей, украсим комнату...

И, даже не договорив, она побежала прямо через заросли в кишлак.

Сидыкджан проводил ее благодарным взглядом, а сам заторопился домой сменить штаны и рубашу.

Когда он, чтобы сократить путь, пробирался через ворох беспорядочно сваленного хвороста, позади него раздался голос Урманджана:

— Эй, чего ты тут лазишь?

Сидыкджан, увидев его, так обрадовался, точно все трудности сразу разрешились.

— Арбы приехали?— спросил Урманджан.

— Да, три...

— Ты что, рехнулся — ходишь в одной рубаше? Не жето. Иди надень халат.

— Жена приехала...

— Что?..— Урманджан даже остановился.— А ну, походи сюда. Приехала, говоришь?.. Зачем? Мириться?

— Н-не знаю... я еще не видел ее.

Урманджан вынул из кармана платок и, о чем-то думая, медленно провел им по лицу, по шее, затем спросил:

— А ты сам-то как, намерен мириться? Если вы оба хотите этого, миритесь. Только так, чтобы эта женщина стала тебе настоящей женой и осталась здесь. Ты обязательно настаивай на этом. Покажи ей свое житье-бытье, но сразу не пугай, расскажи, что мы построили, что собираемся строить. Словом, постарайся раскрыть ей глаза, чтобы она поняла все. Вот закончили канал, раскорчевываем заросли и поднимаем новые земли, будем строить новые дома... А если думаешь, помирившись, уехать с ней, скажи об этом прямо.

— Вы все еще плохо думаете обо мне, Урманджан-ака,— обиженно проговорил Сидыкджан.— Нет, уж оставьте этот разговор. Я стал колхозником и останусь им!

— Так и я же это хотел сказать!— усмехнулся Урманджан.— Ты теперь другой человек, я не сомневаюсь, что ты больше не пойдешь на поводу у Зуннуна-ходжи. А семейные дела надо как-то устроить. Ребенок.

— Да еще неизвестно,— перебил Сидыкджан,— приехала она мириться или...

— Зачем же тогда? Показать тебе сына? Не думаю.

— А может, она скажет так: или бери ребенка, или давай на его содержание!

— Ну да, очень она нуждается! Да и ребенка, по моему, не бросит. Мать она все-таки... Но ты вот о чем подумай: может, она не по своему желанию разыскивает тебя. Делает это, наверно, Зуннун-ходжа. А с какой целью? Не он ли прислал к тебе дочь?.. Мой совет: будь осторожен. Если она приехала мириться, хорошо, укажи ей настоящий путь к примирению. Покажи, как живешь, скажи, как думаешь жить. Не скрывай от нее недостатков, трудностей, с которыми еще придется столкнуться, но и не заполняй ей пазуху пустыми орехами.

— Я так и думал,— соврал Сидыкджан и, густо покраснев, добавил:— Только Кавизьяк не согласилась: «Не надо, говорят, показывать ей дом тетушки Анзират». Поняла прибираться ваш дом...

Урманджан рассмеялся.

— Ну, это уж вроде сурьмы для слепых глаз... Зачем это нужно делать? Зачем обманывать?

— Это для первого раза, Урманджан-ака, чтобы она не сказала: «Вот какое, оказывается, твое положение? Лучше умереть, чем так жить!» Чтобы сразу не сказала, а дальше я ей объясню... Да кто их знает, женщин? Они друг друга лучше понимают.

— А что плохого в твоём положении? Если она не разглядит, что мы готовим кирпичи для кладки, а будет смеяться над тем, что руки у нас в глине,— пускай смеется. Для нее же хуже... Ну ладно, иди, вечером встретимся, поговорим.

Урманджан повернулся и быстро зашагал по дороге.

А Сидыкджан забежал к нему домой, предупредил Канизяк, чтобы та ни о чем не беспокоилась, а затем зашел к себе домой, переоделся и пошел к жене.

## 2

Если до встречи с Урманджаном Сидыкджан, словно испугавшийся коршуна цыпленок, не знал, куда сунуть голову, то теперь он шагал гордо, как молодой петух. И все же, завидев издали знакомую красную паранджу, замедлил шаги, и сердце тревожно забилося. Сидыкджан не мог и представить себе, как он встретится с женой.

Шарафат стояла на дороге со скучающим видом. Заметив приближающегося Сидыкджана, она торопливо подняла ребенка на руки, потом, когда он подошел ближе, опять опустила на землю, и, поколебавшись, слегка прикрыла лицо паранджой.

Сидыкджан перепрыгнул через широкий арык и остановился. С губ сорвались обычные слова приветствия.

— Пожалуйте. Как ваше здоровье?— сказал он и, опустившись на корточки в нескольких шагах от жены, раскрыл объятия ребенку.

— Да вот, пожаловали. Как вы поживаете? Хоть вы и не справлялись о нас, мы вот сами приехали...— зачастила Шарафат и подтолкнула к Сидыкджану ребенка, который цеплялся за подол ее платья.— Вот он, твой отец, иди же! Чего надулся, как пузырь? Все уши мне прожужжал: «Папа, папа...» Или не узнаешь? Похудел твой папа...

Сидыкджан был, как во сне. Он ясно слышал слова же-

ны, но не понимал их смысла. Заметив, что сынишка чуждается его, он сделал два шага, нагнувшись, подхватил его за поясной платок и поднял на руки. Ребенок захныкал было, но не заплакал. Освоившись, он с удивленным пометром на отца, провел рукой по носу, по колючим усам и вдруг сунул ему в рот сладко-соленый палец.

— Ну что же, пойдете,— предложил Сидыкджан, повернувшись в сторону кишлака.

Шарафат молча последовала за ним. Взглянув на жену, Сидыкджан нашел нужным из вежливости спросить о здоровье ее родителей:

— Как там они... живут?

Шарафат словно ждала этого вопроса и сразу ответила:

— Наказывали передать вам много поклонов.

На этом разговор оборвался. Ребенок, по-видимому, уставший в дороге, положил голову на плечо отца и задремал. Неловкое молчание затянулось. Стараясь показать, что все его внимание сосредоточено на том, чтобы не разбудить ребенка, Сидыкджан осторожно переступал даже через маленькие канавки, низко наклонялся даже под высокими ветвями деревьев и все смотрел себе под ноги. Они вышли на большую дорогу, и молчать стало уже совсем неудобно. Сидыкджан, вынуждая себя хоть что-нибудь сказать, снова спросил:

— Ну, как там... в кишлаке?

— Умер Сабирджан-кары,— сообщила Шарафат.

Она произнесла эти слова с такой грустью, что Сидыкджан невольно оглянулся на нее. Шарафат уныло поникла, но по губам ее скользнула улыбка.

— Кто?— переспросил Сидыкджан.

— Сабирджан-кары... разве забыли? Быстро вы начали забывать...

Шарафат вздохнула, улыбка исчезла с ее лица. «И вы могли забыть те дни, когда мы встречались в саду кары, и розы?»— словно говорил ее обиженный взгляд.

— Нет, не забыл... Как же можно забыть своего благодетеля?— с легкой насмешкой сказал Сидыкджан.

— Такая уж, оказывается, паша жизнь. Да, такая уж, видно...— уныло проговорила Шарафат и опять вздохнула.

Сидыкджан понял, на что она намекает, но не знал, как ей ответить.

Пошли дальше. Слова наступило молчание. Шарафат ожидала, что Сидыкджан скажет что-нибудь такое, что развяжет язык обоям. А тот, решив, что она приехала мириться, раздумывал, с чего начать и как нарисовать ей будущее колхоза, прежде чем показывать свое собственное житье-бытье.

— Ну как,— начал он, кивая головой на бурые заросли камыша и реку, которая белела за ними,— правятся вам эти места?

Но Шарафат, как видно, поняла его в другом смысле. Она как-то расслабленно проговорила:

— Да... гляди-ка, река... белая-белая... Когда я была девчонкой, я верила, что по реке течет молоко. Верпла даже тогда, когда стала взрослой девушкой. Даже в те годы...— снова вспомнила она то время, когда в саду Сабирджана-кары встречалась с Сидыкджаном.

Однако Сидыкджан, занятый своими думами, не обратил никакого внимания на эти слова. Показав на высокий земляной вал, поднимавшийся над густым кустарником, он сказал:

— Вон... видите? Канал. Большой канал! Провели в прошлом году. Я сам там работал. А теперь раскорчевываем заросли, новые земли... поднимаем.

Шарафат лишь мельком взглянула в сторону канала и продолжала свое:

— Да, была взрослой уже девушкой, а верила в такое... Или я была тогда слишком легковерной, верила на слово всему, что мне скажут? Да нет, не была я такой! Среди моих подруг не было более озорной, чем я...

Они продолжали свой путь. Шарафат все говорила о молочной реке, о том, какой она «в те годы» была смелой и решительной девушкой, стараясь, по-видимому, внушить Сидыкджану, что не по наивности неопытной девушки бросилась ему в объятия, а по любви. Но до сознания Сидыкджана почти не доходили ее слова. Он думал: «Нет, насчет канала я не сумел сказать ей как следует. Как же это так? Раз я не могу как следует сказать о таком большом, уже законченном деле, как я смогу показать ей то, чего еще нет?»

Увидев узкую тропинку, проложенную сквозь густые заросли, он свернул на нее, чтобы сократить путь в Бакауруллак. Шарафат остановилась.

— Куда это вы меня ведете?



— Домой... Отдохнете там с дороги.  
— Домой? А кто у вас в доме?  
— Старушка одна.  
— А еще кто?  
— Еще женщина одна. Она сейчас на работе.  
— Канизяк?— спросила Шарафат, и глаза ее зло сверкнули, а на тонких губах появилась ехидная улыбка. Сидыкджан растерялся.

— А кто вам сказал о Канизякхон? Эта женщина... Я вовсе... Кто вам сказал?

Сердце у Шарафат дрогнуло. «Эге, он оправдывается,— удовлетворенно подумала она.— Значит, не совсем еще отказался от меня. Если бы отказался, мог бы прямо сказать: «Я женюсь на этой женщине, и вы мне больше не нужны». Или спросил бы: «А вам какое до этого дело?»

— Незачем нам идти туда,— сказала она, хмурясь, и протянула руки к ребенку.

Сидыкджан, не давая ребенка, спросил:

— О чем вы подумали? Накажи меня бог, это неправда! Кто вам сказал?

— Человек один... Зачем вилете? У каждого своя воля,— сказала Шарафат и, скривив губы, отвернулась.— Мы туда не пойдем. Несколько слов у нас к вам, затем мы и приехали. Дядя Исаметдин высадил нас там, на большой дороге, а сам поехал в Ходжа-кишлак. На обратном пути заберет нас. Велел поджидать его там... на дороге.

Как видно, она рассчитывала на то, что Сидыкджан будет клясться и упрашивать ее пойти к себе на квартиру, но тот сразу поверил ее словам и, решив, что все его предположения были неправильны, равнодушно сказал:

— Можно было бы там поговорить.

Этот равнодушный тон сильно задел Шарафат, и она, еле сдерживая себя, сердито проговорила:

— Нет, здесь будем говорить!

Сидыкджан пожал плечами.

— Здесь же дорога.

Шарафат задумалась. Опустив глаза, она чертила носком кауша какой-то узор на мокрой тропе, потом, кивнув в сторону зарослей, еле слышно сказала:

— Отойдем подальше туда.

Сидыкджан, улыбнувшись, прижал ребенка к груди, наклонился и, раздвигая плечами переплетающиеся ветви

кустарника, быстро направился в глубь зарослей. Шарафат пошла за ним, то и дело вскрикивая: «Вай умереть мне!»

Дойдя до огромной ветвистой джиды, Сидыкджан остановился под ней. Когда Шарафат подошла, он одной рукой снял с ее головы паранджу, бросил на сухую высокую траву и хотел положить ребенка. Но Шарафат, выхватив из его рук ребенка, села с ним на паранджу и указала Сидыкджану место в двух-трех шагах от себя.

— Вы чужой,— с улыбкой взглянув на него, сказала она.— Хоть самой мне вы и не объявляли развода, все равно теперь вы уж чужой мне. По шарияту...

— Я это знаю,— спокойно отозвался Сидыкджан.

Шарафат совсем опешила, услышав эти равнодушно сказанные слова, и как-то сразу поблекла. Помолчав немного, она хмуро проговорила:

— Мне чужой, но своему-то сыну ведь вы не чужой?

— И это знаю,— ответил Сидыкджан.

— Знать мало.

— Что же я должен делать?

— Вы еще спрашиваете? Когда это вы спрашивали у меня, что вам нужно делать?.. Раз мои родители вам так надоели, неужели вы не могли мне сказать: «Эй, жена, я не хочу больше так жить, давай отделимся от стариков и заживем своим домом!» Ну, все это — прошлое, теперь об этом уж нечего вспоминать. К слову пришлось, потому и говорю. Задумали объявить мне развод, ругались бы прямо со мной. Или не считали меня человеком?.. Я не хочу сказать, что не признаю развода, который вы объявили в разговоре не со мной, а с отцом. Признаю или не признаю — это другое дело...

— Вы же сказали: «Можете уходить, а я остаюсь у родителей».

Шарафат схватилась за ворот и подняла глаза к небу:

— О боже! Когда? Когда это я сказала «можете уходить»? У вас, кажется, не было привычки говорить неправду? Когда вы предлагали отделиться от стариков, а я сказала вам «нет»?

— Да разве можно было тогда говорить с вами об этом? — возразил Сидыкджан.

— Почему нельзя было говорить? Ведь вы же были моим мужем.

Сидыкджан усмехнулся.

— Вот этого я, значит, не знал... Ну что же, если тогда можно было говорить об этом, и я не сказал, скажу теперь. Я хотел устроиться как следует и поехать за вами. Теперь, раз вы сами здесь, отвечайте: согласны остаться здесь совсем?

Шарафат притворно расхохоталась.

— Вай-вай, уморил!.. Зачем это я должна уйти из дому, бросив столько земли, воды и усадьбу? Отец уже состарился, мать больна, кому все это останется после них? Нет, я не похожа на вас: если земля и вода не нужны мне самой, они нужны моему сыну. Он ведь, бедненький, тоже с надеждой родился на свет. Не успеешь и оглянуться, как станет взрослым, обзаведется семьей. Вам вот ничего не осталось от отца, росли в бедности, испытали нужду. Сами, значит, должны понимать. Неужели я могу пожелать того же сыну? Это только отцы с таким черствым сердцем, как у вас... Я вот думаю о моем сыне.

Сидыкджан сидел с опущенными глазами и, не перебивая ее, перво ломал стебельки сухой травы, а когда Шарафат умолкла, бросил на нее исподлобья беглый взгляд и, усмехнувшись, негромко промолвил:

— А что, если я постоянно думаю о своем сыне... больше, чем вы?

Он хотел сказать этим, что все делает сейчас ради сына, ради того, чтобы он никогда не знал никакой нужды. Однако Шарафат поняла его по-своему. «Хочет сказать, что, мол, в гневе так вышло, а теперь и сам не знает, как поступить», — подумала она и, помолчав немного, с важным видом, нахмутив брови, заговорила:

— У родителей, кроме этого ребенка, нет других наследников, а в нынешнее время землю нельзя продать. А может быть, вы можете? Так продайте. Если вода в кишлаке, где вы столько лет пользовались кровом добрых людей, вам теперь кажется невкусной, продайте землю и купите ее там, где вам нравится. Воля ваша... Отец, вы знаете, не годится для тяжелой работы. А времена вам тоже известны: никто за другого не то что из четверти, а и за половину урожая не ударит кетменем. Колхоз уже зарится на наше рисовое поле. Недавно отца выывали в сельсовет, спрашивали насчет этого поля. Он им ответил: я, мол, сам что могу поделать? Земля за зятем, с него и спрашивайте. В сельсовете еще не знают, что вы на-

ходите здесь. Подумайте. Если у нас в этом году земля останется незасеянной, колхоз никого и спрашивать не станет. Просто возьмет и вспашет ее. И останется мой сыночек без земли, нищим...

— Сыночек не останется без земли,— сказал Сидыкджан,— а... вашего бедного отца, наверно, хотят раскулачить? Скажите уж прямо: раскулачивают?

Шарафат растерялась.

— Что вы!.. Неужели вы хотите этого? Он же старается ради вашего ребенка, а то мог бы сам пойти в сельсовет и заявить... Что ему, старику, нужно? Ради вас же, ради вашего ребенка... Поймите...

Сидыкджан все еще сидел, опустив глаза, комкая в руках стебельки сухой травы.

— Так что же делать?— спросил он после долгого молчания.

— Как хотите, мне все равно,— ответила Шарафат.— Липь бы ребенка обеспечить.

— Вы хотите, чтобы я вернулся?

Шарафат, бледнея, подняла глаза на Сидыкджана и снова потупилась.

— Не знаю... Если хотите, возвращайтесь. Возьмете ли вы там другую жену или... Ах, если бы можно было продать землю!

— Значит, я должен вернуться ради земли?

— И ради ребенка.

— Да? А не лучше ли будет для ребенка, если вы переедете сюда?— серьезно заговорил Сидыкджан.— Я не хочу соблазнять вас пустыми обещаниями: живем еще трудно... Впрочем, сами увидите. Мы еще только готовим кирпич для кладки... руки у нас в глине... Пока не построим новые дома, вам не придется носить такие вот атласные платья да лаковые ичиги. Вы привыкли есть из большой кормушки, а первое время вам покажется, может быть, страшновато, но...

— Вай, что он говорит!.. Разве я сказала вам, что приехала мириться с вами? Очепь мне нужно...

Сидыкджан сурово посмотрел на жену.

— Нет, я тоже, если на то пошло, сказал только так, к слову. Вы же много говорили «к слову»!

Шарафат, закрыв лицо рукавом, заскулила:

— Вай, я несчастная!.. Значит, вы хотите сделать нашего сына бездомным нищим? Таким же бездомным, как

вы сами... Надо же иметь каменное сердце! Люди ни перед чем не останавливаются, чтобы добыть добра для своих детей, а вы бросаете добытое.

— Я тоже кое-что добываю сыну.

— Колхозную лачугу?

— Все! Нужна моему сыну земля и вода? Они уже есть. Нужны дом и усадьба? Будут...

Шарафат со смехом перебила его:

— Ах, какой вы добрый! Вы уж лучше подарите сыну всю государственную казну! С каких это пор вы отвечаете за власть, за колхоз?

— С тех пор как обрел разум.

— Кто дает, тот может и отобрать.

— Что? Землю?— насмешливо спросил Сидыкджан.— Зачем же ее отбирать у колхозников? Складывать в железный сундук? Вот этими землями владел здесь один человек, ишан Абдуваккас. У него были сотни чайрикеров и батраков. Так что же, вы думаете, Советская власть вернет землю вот такому ишапу? Я не считаю вас столь глупой женщиной, чтобы не могли понять таких простых вещей. Конечно, если бы на месте товарища Ахунбабасва сел кто-нибудь вроде Сабирджана-кары или вашего отца, тогда все могло бы случиться.

Шарафат снова принялась тереть рукавом глаза.

— Вам что, вам ничего не стоит назвать отца «элементом». Не знаю, что вам сделал плохого мой бедный отец. Он так страдает из-за того, что вы ушли, скучает по вас. Один день здоров, три дня болеет. Каждый день ругает мать, два раза даже бил ее за то... Хотел поехать вместе со мной, да не хватило сил. Плакал, когда провожал. А вы... Нет у вас совести!

— А от кого вы узнали, что я здесь?— спросил Сидыкджан.

— Вай!— испуганно произнесла Шарафат.— Никуда я не ходила, ни у кого не спрашивалась. Пусть ноги у меня отвалятся, если я переступила порог чьего-нибудь дома после того, как вы ушли! Вам-то все равно, к слову говорю... Отец разузнавал.

— Та-ак, разузнавал, значит...— Сидыкджан насмешливо посмотрел на Шарафат и спросил:— А может быть, он сам и послал вас сюда?

Шарафат сидела, опустив голову и теребя бахрому параджи, как видно, не собиравшись отвечать на этот вопрос.

— Тогда я вам вот что скажу,— продолжал Сидыкджан.— Вы говорили, кажется, что среди ваших подружек не было более озорной, чем вы, а сейчас представляетесь смиренной овечкой. Напрасно вы стараетесь заманить меня туда, откуда я ушел навсегда. Да, навсегда! Слепец только один раз теряет свой посох. Здесь я нашел новую жизнь и только здесь перестал себя чувствовать батраком. Так и передайте своему отцу: из колхоза я не уйду!.. А вы, если хотите жить со мной здесь, оставайтесь. Мы не будем считаться с шариадом. У шариада, оказывается, много путей и выходов: закрыт один, найдутся десятки других...

Тонкие губы Шарафат посинели и задрожали, нос побелел, ноздри расширились. Сидыкджану казалось, что она сейчас крикнет какое-нибудь непристойное слово и убежит. Но Шарафат поступила иначе. Она положила ребенка на паранджу, а сама упала на землю и, извиваясь, как укушенная змеей, принялась громко причитать:

— Несчастная моя голова, о-о-ой!.. И зачем я только приехала, о-о-ой!.. Хотела, чтобы ребенок не остался при живом отце сирото-о-ой!..

Вдруг она подняла голову, зло посмотрела на Сидыкджана и села. Лицо ее было бледно, глаза покраснели, но оставались сухими.

— Думаете, мне нужен муж? Если захочу, найдутся десятки толстомордых. Не из-за себя приехала, а из-за сына — не хочу, чтобы он стал батраком бездомным.

— Всю батрацкую долю я на своих плечах вынес,— строго сказал Сидыкджан,— и за себя и за сына. Ему уж батрачить не придется!

— Значит, не вернетесь?— вскрикнула Шарафат и еще сильнее повысила голос:— Не вернетесь?

— Не шумите. Что подумают люди, если услышат? Я сказал...

— Это ваше окончательное решение? Вы не откажетесь от своего слова?

— У меня слова одни: хотите жить одной семьей, бросайте дом отца-кулака и переезжайте ко мне.

— Не откажетесь? Спрашиваю до трех раз: не откажетесь? Ну ладно, пусть будет так. Ребенок не только мой. Я сделала все... что могла,— теперь пусть грех падет на вашу голову... Если уж быть ему сиротой, так я сделаю так, что он будет плакать кровавыми слезами! Не

я буду; ёсли не выйду за какого-нибудь толстомордого! И пусть он за каждый кусочек черствого хлеба стучает его по башке кулаком!

С этими словами Шарафат вскочила и рванула ребенка с паранджи так, что он проснулся и громко заплакал.

Сидыкджану больше нечего было сказать Шарафат, но он не хотел, чтобы она ушла от него в таком состоянии. На какой-то миг он даже представил себе, как она сидит в доме «толстомордого», как тот сует сыну в рот корку черствого хлеба, а затем бьет его по голове...

Он протянул руки к плачущему ребенку и, когда Шарафат, несколько не сопротивляясь, отдала его, по возможности мягко сказал:

— Оставайтесь на сегодня. Уже поздно, Исаметдин, наверно, давно проехал. А завтра я достану арбу и отправлю вас...

Шарафат, точно только сейчас спохватившись, испуганно завопила:

— Вай, умереть мне!.. Конечно же, проехал, разве он станет ждать меня?.. Что же мне делать, несчастной?

Однако, когда Сидыкджан, выйдя из зарослей, снова повернул на тропу в Бакакуруллак, она покорно двинулась вслед за ним, громко ругая себя за то, что отстала от арбы Исаметдина.

### 3

Шарафат не узнавала мужа. В долгом и упорном споре с ним она использовала все ходы и слова, каким научил ее отец и какие знала сама, но ничего не добилась. Поэтому она и не воспротивилась предложению остаться переночевать в кишлаке капсанчей. Она решила разузнать хорошенько, что так привязало Сидыкджана к этому кишлаку, что давало ему такую уверенность в себе и в своем будущем, и уже в зависимости от этого поступить так или иначе.

Всю дорогу до дома тетушки Анзират они шли молча, Шарафат, усиленно размышляя, делала всевозможные предположения насчет Сидыкджана и в конце концов пришла к мысли, что самым близким к истине является то, что он сошелся с Кауизяк. «Но очаровали его, видно, — размышляла она, — не одни черные глаза этой прок-

алтой. А что же еще? Нет же у нее закопанного золота. Нет, если бы имела, не зарилась бы на женатого человека, мапала бы холостого парня.

Может быть, есть у нее дом с усадьбой, хозяйство, оставшееся от первого мужа? Может, поэтому так и задирает нос этот безродный?

А на что тогда позарилась эта распутная? Она ведь тоже соблазнилась, наверно, не только его красотой. Чем же мог похвалиться перед ней этот безродный? Прежде всего сказал, наверно: у меня, мол, нет никого, один-одинешенек. Конечно, скрыл и то, что у него есть попрошайка мать, съевшая змеиное сало<sup>1</sup>...

Когда Шарафат переступила порог дома тетушки Анзират, она уже была до крайности озлоблена. Она увидела бедный дворик с навесом и двумя мазанками, мальчижи, который тащил за собой на веревочке корку тыквы, старушку, которая шла к ней с распростертыми объятиями, и сердце ее немного смягчилось. А когда тетушка Анзират сказала: «Ах, какой неблагодарный человек — бросил такую жену и такого сына и скитается в наших местах!» — лицо у Шарафат посветлело и приняло выскомерное выражение.

Тетушка Анзират повела гостью в свою мазанку. Шарафат, считая хозяйку недостойной внимания, даже не дожидая приглашения, прямо прошла на почетное место и опустилась на середину мягкой ватной подстилки. Перевязывая платок на голове, она хмуро оглядывала бедное убранство комнатки.

Сидыкджан, весело болтая с ребенком, опустил его на пол и присел у порога; глаза его внимательно следили за Шарафат. Хотя он и сказал ей, что не собирается соблазнять ее пустыми обещаниями, он почувствовал себя очень неловко, видя, с какой брезгливостью разглядывала Шарафат комнату. Он следовал за взглядом жены, и все в этой хибарке казалось ему теперь жалким и неприглядным, каждая вещь словно кричала о вечной, неизбывной нужде.

Тетушка Анзират принесла дастархан. Сидыкджан, не дожидаясь чая, встал и пошел на работу.

Шарафат и тетушка Анзират остались одни. Втянув старушку в разговор, гостя очень много узнала от нее

---

<sup>1</sup> Это выражение применяется к хитрым, коварным людям.



о жизни мужа, о работе его и о том, как его единогласно приняли в колхоз. Но все это мало интересовало ее. Ей хотелось знать, что же привязывало Сидыкджана к этим местам, а на этот-то вопрос тетушка Анзират и не могла ничего ответить.

«Врет эта бесстыжая старуха, врет,— наконец решила Шарафат,— а я по простоте своей верю ей. Она одинокая, кормится, видно, около них, так разве же она выдаст их тайну?»

Она вспомнила, что папешывал ей по дороге толстый человек, и с ненавистью подумала о Канизяк:

«Конечно, эта развратная потаскуха строила ему глазки. Живут в одном дворе... А этот безродный сразу и ошалел. Так ошалел, что теперь даже и на богатство глядеть не хочет. Неужели бывает такая любовь?..» И, думая о том, почему так изменился Сидыкджан, сказала себе: «Нет, тут дело не обошлось без шайтана! Наверно, та нященка, его мать,— чтоб ей сдохнуть!— сотворила какое-нибудь колдовство и отвортила его от меня. Гляди-ка, заговорил как! А был смиреннее ягненка. Колдовство все это. А то, что он говорил: «Переедешь сюда — помирюсь», тоже хитрость. Говорил, чтобы я не подумала, что он сошелся с Канизяк... Ведь он же знал, что я не перееду. Во всем они уже сговорились. Если бы не сговорились, разве он привел бы меня сюда? Он же знает, что скорее откажусь от ста мужей, чем соглашусь отдать каким-то безродным свое богатство...»

И чем больше она раздумывала над тем, что случилось с мужем, тем сильнее кипела в ней ненависть к людям, которые оторвали от нее Сидыкджана и покушались еще на более ценное — на богатство отца... К вечеру, когда Канизяк пришла с работы, Шарафат кипела от злости. Однако, чтобы не спугнуть «соперницу», обмануть ее притворной лаской и поймать врасплох, она встала ей навстречу, поздоровалась в обнимку и даже проговорила обычные ласковые слова приветствия. Канизяк не ожидала такой встречи с ее стороны, но несколько не смущалась, весело поздоровалась, потом приласкала ребенка. Шарафат начала расхваливать хороший воздух в кишлаке Капсанчи, красивые заросли, молочпо-белую реку.

— Я решила переехать сюда,— сказала она и пристально заглянула в глаза Канизяк.

— Хорошо сделаете, сестрица, — отозвалась Канизяк и поднялась с места.

В это время во двор вошел Сидыкджан и прямо направился под навес, где тетушка Анзират возилась у очага.

Канизяк подошла к Сидыкджану, сообщила ему, что ходила за мясом, но не достала; мясник предложил ей курицу, а курица оказалась очень худой. Сидыкджан недобролюбно проворчал что-то в ответ, а тетушка Анзират рассмелась.

Для Шарафат, которая была уверена, что речь идет о ней, уже одного этого было достаточно, чтобы выйти из себя, а тут еще Канизяк весело воскликнула, очевидно, про курицу: «Ах, чтоб ей подохнуть!» И Шарафат задрожала от бешенства.

Когда Канизяк вернулась в комнату, глаза у гостей сверкали, как у разъяренной кошки.

— О ком это ты говорила, проклятая? Кому это подохнуть? Кому?! — взвизгнула Шарафат, задыхаясь от ярости.

— Ай, сестрица, что с вами?.. — испуганно спросила Канизяк и не успела больше сказать ни слова: Шарафат схватила стоявший перед ней чайник и швырнула его в лицо молодой женщине.

Канизяк упала, вскрикнув от боли, но тут же вскочила на ноги и отбежала к двери. Прижав ладонь к щеке, она стояла растерянная, не понимая, что случилось с гостьей, которая еще за минуту до этого разговаривала с ней так приветливо.

На голову тетушки Анзират, которая прибежала, услышав крики, Шарафат обрушила глиняную чашку, а когда в дверях показался Сидыкджан, в него полетели джалы, кауши, умывальный кувшинчик.

В первую минуту Сидыкджан тоже растерялся, не понимая, что случилось. Горестно причитая, тетушка Анзират выбежала во двор. Канизяк стояла у двери и всхлипывала; забившись в угол, громко плакал ребенок.

Немного придя в себя, Канизяк взяла белый узелок и выбежала на улицу.

Шарафат металась от одной стены к другой, хватала вещи и бросала их в Сидыкджана, но теперь она бесновалась уже не от злости, а от страха: она видела перед собой суровые глаза мужа. Сидыкджан стоял неподвижно, сгорая от стыда за нее, с налившимися кровью глазами. На-

конец он не выдержал, грубо выругался и, вскинув руку, шагнул к Шарафат.

— Сидыкджан! — раздался позади него негодующий голос. — Опомнитесь! Что вы хотите делать?

Сидыкджан обернулся: в дверях стояла Зиядахон.

— Пожалуйте, Зиядахон-апа, — сказал он и отошел в сторону.

Шарафат, почувствовав поддержку неизвестной женщины, истерично захохотала.

— Что хочет делать?.. Разве не видите? Собирался бить меня. Враг раскрепощения! «Элемент»! Я там вожусь с его щенком, а он здесь держится за подол потаскухи! Ты сначала устрой одну жену, а потом уж протягивай руку к другой. Если не хочешь жить со мной, дай мне развод!

— А разве я не дал тебе развода? — задыхаясь, спросил Сидыкджан.

— Нет, не давал!

— Ах, так! Ладно, тогда повторяю тебе — громко и ясно: талак, талак, талак! Ну, теперь мы в расчете?

— Рассчитайся сначала с отцом, потом будешь в расчете!

— Что же я должен твоему отцу?

— Ты пришел к нам в рваном халате с веревочным кушаком!

— А с чем ушел?

— Не стоит спорить, все равно вы сейчас ничего не сможете решить, — сказала Зиядахон и обратилась к Шарафат: — Пойдите, сестра, сегодня переночуете у нас, а завтра поговорите спокойно. Берите ребенка.

— Не возьму! — злобно крикнула Шарафат. — Пусть сам нянчится со своим щенком!

Ребенок заплакал еще громче, когда мать, накинув паранджу и оттолкнув его от себя, выбежала во двор.

Сидыкджан тихонько коснулся руки Зиядахон.

— Зиядахон-апа, — волнуясь, проговорил он, — что я буду делать с ребенком? Вы уж как-нибудь уговорите ее. Пусть возьмет его.

Зиядахон улыбнулась.

— Не волнуйтесь, Сидыкджан, у колхоза сердце широкое. Как-нибудь вырастим и вашего сынишку.

Она подняла на руки мальчика, охрипшего от плача, дотронула Шарафат ужалитки и попыталась уговорить ее.

— Подруга, сестрица, чем же виноват бедный ребенок? Возьмите его, успокойте! Видите, он тянется к вам...

Но Шарафат, быть может, боясь расчувствоваться при виде сына, резко отвернулась от него.

Тогда Зиядахон подозвала тетушку Анзират и передала ей ребенка. Старушка прижала мальчика к груди и приложила свою щеку к его щеке, что-то напентывая ему. Шарафат рванулась к ней и злобно крикнула:

— Сводница! Раз ты кормишься от сводничества, нянчи и ребенка!

— Ладно, доченька, ладно,— сказала тетушка Анзират, унося мальчика к себе в мазанку.— Что бы ты не говорила, живи долго. Дай бог увидеть тебе сына взрослым... дай бог!

Зиядахон взяла за руку Шарафат и вышла с ней на улицу.

Сидыкджан тоже вышел вслед за ними, проводил взглядом удаляющихся женщин и сел на порожек у калитки. Из мазанки доносились всхлипывания ребенка и тихий голос тетушки Анзират, убаюкивающей его.

Прислушиваясь к этим звукам, Сидыкджан думал о последствиях разыгравшегося скандала. Какими глазами посмотрит он теперь на тетушку Анзират? А что подумает Зиядахон? О чем сейчас, по дороге, болтает ей Шарафат? А что скажут завтра люди, когда о скандале станет известно всему колхозу? Как убедить их и в том, что все это гнусная клевета?.. Да и эта бедняжка Канзияк... Сможет ли она показаться теперь на глаза людям?

Во дворе послышались шаркающие шаги тетушки Анзират. Сидыкджан поднялся и, кашлянув, вошел в калитку.

— А, сынок, где это ты был?— заговорила старушка.— Иди, иди в комнату, сейчас ужин принесу. Ты совсем, наверно, измучился.

Тетушка Анзират направилась к очагу, а Сидыкджан вошел в мазанку. Ребенок уже спал. Некоторое время спустя тетушка Анзират принесла большую миску с молочной кашей и поставила ее перед Сидыкджаном.

— Ешь, сынок, ешь...— сказала она и, заметив подавленный вид своего жильца, добавила:— Ничего, ничего, ты не огорчайся. Всякое в жизни бывает. Оказывается, она очень вспыльчивая...

— Тетушка,— заговорил Сидыкджан дрожащим голо-

сом,— как мне теперь загладить все это? Ведь из-за меня... вы слышались таких слов, каких за всю жизнь не слышали!

— Ничего, сынок, ничего, если и слышалась. Не ради нее, ради тебя... Сын твой помучается, поскучает дня три-четыре, потом привыкнет... Ну, ты посмотри тут за ним, а я схожу узнаю, как там Капизяк... Наверно, она к Марусе пошла.

Тетушка Анзират накинула на голову теплый платок и вышла, а Сидыкджан остался со своими певесными думами.

## 4

Как человек, получивший серьезный ушиб при падении, ощущает боль не сразу, так и Сидыкджан ощутил весь ужас случившегося только ночью, когда безуспешно пытался заснуть. Ему казалось, что теперь весь кишлак только и будет говорить о скандале в доме тетушки Анзират: одни станут обвинять Шарафат, другие всю вину возложат на Капизяк; а некоторые, быть может, скажут, что во всем виноват Сидыкджан.

Больше всего было стыдно Сидыкджану перед тетушкой Анзират, которая с такой лаской припjala его ребенка, брошенного матерью. Горело сердце от стыда и перед Капизяк, которая, быть может, сейчас вот так же лежала без сна в чужом доме и мучилась от сознания незаслуженного позора, павшего на ее голову.

Внезапно ребенок, лежавший подле тетушки Анзират, резко вскрикнул и захныкал. Сидыкджан вскочил и метнулся к нему, но тетушка Анзират уже взяла ребенка на руки и припжалась убаюкивать:

— Нет, нет, дитяtko, нет! Никто тебя не тронет... Испугался, бедненький,— ласково и тихо ворковала она.— Спи, родной...

Ребенок сразу умолк. Сидыкджан, стоя за спинной тетушки Анзират, тихо сказал:

— Тетя, дайте его мне, он не даст вам спать.

— Вай, что ты бродишь тут в темноте, сынок?— недовольно проговорила старушка.— Иди-ка ложись. Тебе ведь с рассветом надо подниматься на работу, а мне... Что за беда, если и не посплю. Впервые мне, что ли, вот так-

то с ребенком?.. Напугали беденького, вот и спится ему всякое... А ты что, проснулся от его плача?

— Нет, я не спал... Она завтра, наверно, заберет его. Должна же быть у нее материнская жалость!

— Возьмет — хорошо, а оставит — тоже печего волноваться, сынок. И без нее обойдемся. Дай бог ему жизни, а расти будут вместе с Хашимджаном, как родные братья...

На сердце у Сидыкджана потеплело, на глаза навернулись слезы.

— Спасибо, тетушка, дай бог вам долгой жизни,— чуть слышно промолвил он.

— Раз жена у тебя такая вспыльчивая,— продолжала тетушка Анзират,— так пусть уж лучше оставит у нас ребенка. Еще молодая, а такая злая. Хорошо еще, подросла Зиядахон, а то она тут все перевернула бы вверх дном... Я боялась, что эта злюка прибьет и ее. Вот было бы дело! Она же беременная. Досталось бы нам от Тешабая. Горячий человек... Как он любит ее, уважает! И у них так долго не было детей. В прошлом году Зиядахон всю зиму ездила в район к доктору. И вот понесла, дай бог ей благополучно разрешиться. Хорошая женщина, умная... Когда она пришла, Канизяк уже не было? Я даже не помню.

— Да, она пришла уже после, как и я...— ответил Сидыкджан и вдруг спросил:— Тетушка, а ведь нехорошо, что Канизяк осталась почевать у Маруси,— что подумают люди? Скажут: не была бы виновата, не убежала бы. Может, мне сходить, привести ее? Нет, пожалуй, и это нехорошо — будут лишние разговоры. Как, по-вашему, тетушка?

Тетушка Анзират, подумав, ответила:

— Лучше будет, сынок, если она вернется после отъезда твоей жены.

— И то верно,— согласился Сидыкджан, ложась обратно в постель.

У него сразу стало как-то легче на душе. Ему теперь казалось, что все дурные последствия безобразной выходки его жены пройдут сами собой. «Канизякхон, конечно, обиделась на меня,— думал он,— надо постараться, чтобы она забыла все это. А тетушке Анзират и обижаться не на что — сама все видела и знает, что я-то тут ни при чем; она стала мне вроде родной матери. Ребенка завтра

Шарафат заберет, не может не забрать, — воробьиха и та чирикает, когда лишается птенца! Перед отъездом она, конечно, еще раз попытается устроить скандал...»

Перед ним вдруг встала картина скандала: Шарафат, бледная, с налившимися кровью глазами и носившими тонкими губами, беснуется и шумит, выкрикивает всякие ругательства, которые приходит ей на язык, обзывает всех мужчин животными, а женщины потаскухами. Кто-то пытается ее успокоить, кому-то она вцепилась в лицо. Кто-то смеется, кто-то плачет... В это время тихонько входит Зиядахон и говорит: «Сидыкджан, не горячитесь. Все видят и понимают, что ваша жена бесстыдная клеветница...» Но вот уже и не Зиядахон, а Канизяк обращается к нему: «Ах, Сидыкджан-ака, как это вы терпели? Как вы могли жить с такой женщиной!..»

Когда Сидыкджан открыл глаза, ему показалось, что он вздремнул лишь на минуту. Но на улице было уже совсем светло. Он быстро вскочил с постели и, даже не умывшись, побежал на работу.

## 5

В зарослях уже раздавался стук топоров, звон пил, тарактенные трактора. Закир-ата в паре с Туляганом спливал деревья; он хмуро взглянул на Сидыкджана, и тот, спеша наверстать упущенное время, торопливо схватился за топор. Обрубая сучки поваленного дерева, он поглядел по сторонам: Канизяк нигде не было видно. Закир-ата, словно угадывая его мысли, спросил:

— А где же Канизяк?

Сидыкджан, думая, что в кишлаке еще не знают о вчерашнем скандале, ответил:

— Придет еще...

Сначала Сидыкджана даже обрадовало то, что Канизяк не вышла на работу: могла появиться Шарафат, и тогда новый скандал был бы неизбежен. Но уже через минуту его охватило беспокойство: «А не утаила ли от меня чего-нибудь тетушка Анзират? — подумал он. — Может, у Канизяк поврежден глаз, и она лежит в тяжелом состоянии?»

Когда был подан сигнал на обед, Закир-ата взял сумку с хлебом и, как обычно, пошел к своему приятелю в

соседнюю бригаду, тоже глубокому старьку, — они всегда обедали вместе. Сидыкджан развернул свой узелок и с тревогой оглянулся вокруг: «Сейчас начнется!» Но колхозники завтракали, перебрасывались шутками, и никто даже не обмолвился о вчерашнем скандале. Сидыкджан совсем успокоился и принялся за еду. Единственно, что продолжало его тревожить, — это здоровье Капизьяк. В голову лезли всякие предположения, хотелось кого-нибудь спросить, не знают ли, что с ней, но он не решался.

Незадолго до отбоя Закир-ата вернулся в свою бригаду, что-то недовольно бормоча себе под нос. У Сидыкджана защемило сердце. «Ага, узнал все, — решил он, — узнал, почему Капизьяк не вышла на работу! Кого же он ругает — меня или Шарафат? Как видно, меня. Сейчас подойдет и начнет шуметь. А что я могу сейчас объяснить ему? Да и станет ли он слушать мои объяснения?..»

Но Закир-ата, опустившись рядом, положил свою сумку и негромко сказал:

— У тебя, парень, я вижу, кошки на сердце скребут... Ты скажи-ка, после того... ты видел свою соседку? Как у нее, не поврежден глаз?

Сидыкджан совсем не ожидал, что строгий старик так сердечно заговорит с ним. Он даже не сразу понял, о чем тот спрашивает.

— Что вы сказали? Соседка?.. — переспросил он и, сообразив, о ком идет речь, ответил: — Нет, глаз ничего... Я не знаю...

— Ну, хорошо, коли так, — задумчиво отозвался Закир-ата и посоветовал: — Что было, то было, теперь ты об этом никому ни слова! Шито-крыто... А та, твоя жена... видать, пустая бабенка. Ты правильно сделал, что сбежал от такой напасти. Раз она бросила родного ребеночка, чего еще можно ждать от нее? Есть такая мать или нет ее — все равно! Правильно я говорю?

— Да, как только увидела мое житье, вздулась, как чирей. А теперь хочет запугать меня: брошу, мол, ребеночка... Думает, подействует...

— Уже бросила.

— Пока еще ничего не известно. Вчера Зиядахон-апа увела ее к себе.

Закир-ата удивленно взглянул на Сидыкджана.

— Эх-хе! Так ты ничего не знаешь? Твоя жена уехала. Тешабай проводил ее. Четыре человека уговаривали



ее, чтобы не бросала ребенка. Куда там! Только и вопит: «Пусть он сам нянчится со своим щенком!» Помилуй бог, как можно обзывать так родное дитя? Если оно — щенок, так кто же она сама?..

Закир-ата крепко выругался и, взяв топор, принялся за работу.

Сидыкджан тоже работал, но перед ним все время стояла тягостная картина: обессиленный от плача ребенок стоит в темном углу хибарки и горько плачет. Измученная тетушка Анзират пытается его успокоить, но он продолжает всхлипывать и повторяет только одно: «Мама!» Повторяет тоскливо, настойчиво, ничего не слушающая и захлебываясь слезами...

Вечером, измученный не работой, а думами о сынишке, Сидыкджан решил посоветоваться с Урманджаном, что делать.

Урманджан, выслушав его, задумчиво сказал:

— Видно, Зуншун-ходжа держится на волоске...

— Я тоже так думаю, — согласился Сидыкджан и, помолчав, спросил: — Урманджан-ака, а как быть с ребенком? Что, если я отвезу его к бабушке в Бахрабад?

— А к своей бабушке, по-твоему, ребенок привыкнет скорее, чем к тетушке Анзират? Нет, ты просто теряешь голову. И напрасно. В таком возрасте дети очень быстро забывают и привыкают к тем, кого все время видят возле себя. Вот помяни мое слово, не пройдет и месяца, как твой сынишка начнет называть «мамой» тетушку Анзират или Канизяк.

— Да, но мне уж и так неловко перед тетушкой Анзират, — сколько беспокойства я доставил ей! Нет, я не могу бросать ребенка на нее одну. Она измучится с ним.

— Почему «бросать» и почему «на нее одну»? А детский сад и ясли у нас на что? Я уже сказал заведующей детским садом Марусе, а ты сейчас зайди к ней и договорись окончательно. Утром по пути на работу будешь отводить ребенка в сад, а вечером забирать его домой. Тогда и тетушке Анзират он не будет в тягость.

Сидыкджан вышел от Урманджана повеселевшим и направился к заведующей детским садом.

Дверь ее домика была открыта, изнутри слышался женский смех. Сидыкджан поднялся на бугорок и заглянул в окошко. Маруся читала книгу, а Канизяк и еще какая-то молодая женщина, слушая ее, покатывались со

смеху. Присмотревшись внимательнее, Сидыкджан узнал одну из тех колхозниц, которые приходили к Бутабаю и возражали против назначения Канизяк звеньевой. Он подумал: «Ну, уж если и эта женщина пришла проведать Канизяк, значит, в колхозе никто не осуждает ее». Все же он счел неудобным заходить в домик Маруси в такой поздний час и, спустившись с бугорка, зашагал домой.

Когда он вошел в комнату, ребенок уже спал. Тетушка Анзират немного пожурила Сидыкджана за то, что он не пришел пораньше, когда она укладывала сынишку спать, потом со смехом стала рассказывать о всех проделках мальчика за день, о том, как он лопотал, играя во дворе с Хашимджаном. На лице у тетушки Анзират не было и следа недовольства, наоборот, она казалась даже веселее, чем обычно.

— А ведь уехала эта скандалистка-то, — сказала она, ставя ужины перед Сидыкджаном.

— Уехала. А вы откуда слышали?

— Да ходила проведать Канизяк, ну, а там у нее целое собрание. Все женщины заходят узнать о ее здоровье.

— Канизякхон, наверно, в обиде на меня?

— В обиде не в обиде, а сюда не хотела вернуться. Зиядахон даже побранила ее.

— Ну, и как решила?

— Не знаю. Все время смеется. Там все смеялись. Да и в самом-то деле, сынок, разве не смешно, если посмотреть со стороны на все, что тут у нас произошло?

— А все-таки как вы думаете, тетя, вернется Канизякхон или нет?

— Придет, наверно, завтра, когда ты уйдешь на работу. Говорит, стыдно встречаться, а, по-моему, чего стыдиться?.. Спрашивала сегодня про твоего сынишку, не плачет ли? Ну и радостно стало у меня на душе, сынок! Дай бог счастья, доброе у нее сердце.

Сидыкджан рассказал тетушке Анзират насчет детского сада. Тетушка Анзират одобрила этот план и начала рассказывать, чьи дети бывают в детском саду, как они проводят там день и как ухаживает за ними Маруся. И Сидыкджану показались уже смешными все его дневные тревоги за сынишку. Однако, когда на следующее утро тетушка Анзират стала одевать ребенка и тот

заплакал и теперь уже наяву раздалось это тоскливое: «Мама!», у Сидыкджана сдавило сердце от жалости. Ребенок метался из стороны в сторону, ища мать, и тетушке Анзират с трудом удалось одеть его и закутать в одеяло.

Держа на плече всхлипывающего ребенка, Сидыкджан направился в детский сад. Возле красной чайханы он увидел Канизяк. В синем платке, надвинутом па самые глаза, она шла ему навстречу быстрыми шагами, низко опустив голову. Когда она была уже не более чем в десяти шагах, Сидыкджан окликнул ее:

— Канизякхон!

Услышав его голос, Канизяк вздрогнула и остановилась, не поднимая головы.

— Канизякхон!— взволнованно повторил Сидыкджан.— Если я в чем-либо виноват перед вами, простите!.. Вы сами все видели, знаете...

Он хотел сказать еще что-то и умолк, почувствовав, что ничего сейчас объяснить не сумеет.

Канизяк посмотрела на него пристальным, немного испуганным взглядом. Лицо его в предрассветном сумраке казалось бледным, осунувшимся, глаза как будто ввалились. Не понимая, зачем понадобилось Сидыкджану поднимать ребенка в такой ранний час, Канизяк спросила:

— Куда вы его несете?

— В детский сад.

— А доктору показывали его?

— Нет.

— Надо, чтобы сначала осмотрел доктор. Пока не получите справку о здоровье ребенка, его в детский сад не примут. А доктор будет только в среду.

Канизяк пошла дальше.

Сидыкджан вернулся домой.

В среду он должен был с утра уехать в МТС за горючим для тракторов, поэтому нести ребенка к доктору пришлось Канизяк.

Она одела мальчика во все чистое и пошла из дому, но у калитки нерешительно остановилась и посмотрела на тетушку Анзират.

— А что скажут люди, когда увидят меня на улице с чужим ребенком?

.. Тетушка Анзират усмехнулась.

— Что они могут сказать, доченька? Скажут, что, мол, ребенок ей очень к лицу.

Кавизяк смущенно опустила глаза и вышла за калитку.

## ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Когда тракторы вышли поднимать целину, все заросли на землях Кугазара, Кошчинара и Бакакуруллака были уже вырублены и выкорчеваны. На бескрайнем лугу, который простирался теперь от горизонта к горизонту, виднелись лишь два больших здания — двухэтажной школы и красной чайханы. Неподалеку от них возводились различные хозяйственные постройки.

Люди, довольные своим успешным трудом, горячо брались за всякую работу и, если бывала необходимость, работали даже ночью, при лунном свете.

Еще до начала сева наметились очертания нового жилища: в центре его, разделенном каналом на два полукруга, и по обеим сторонам будущих прямых улиц, лучами расходившихся от центральной площади, было посажено более восьми тысяч молодых деревьев-саженцев.

Единоличники, увидев поднятые плодородные земли и воду, пущенную из канала в арыки, тракторы и сельскохозяйственные машины, работающие на колхозных землях, все более убеждаясь в том, что «Кошчинар» смело прокладывает себе путь к светлому будущему, начали целыми группами подавать заявления в колхоз. За три месяца в колхоз вступило больше тридцати дворов. Колхозное стадо увеличилось на сто двадцать голов рабочего скота.

В самый разгар сева случилась беда: за три-четыре дня пало девять колхозных коров. Из района прибыл ветеринарный врач с целым отрядом помощников. Весь скот «Кошчинара» и соседних колхозов был тщательно обследован и поставлен на дополнительную проверку. Во время обследования пало еще несколько коров.

Не прошло и недели после отъезда ветеринаров, как из района нагрянула новая комиссия. Она обследовала все хозяйство, всю работу правления. Три члена ее беседовали не только с руководителями колхоза, бригадирами

и звеньевыми, по и со многими рядовыми колхозниками. И никто не мог понять, почему и с какой целью явилась эта комиссия: один из ее членов почему-то интересовался событиями, имеющими место лет десять тому назад и раньше, другой расспрашивал о каких-то никому не известных попойках и драках, о пустых, совсем незаметных в кишлаке людях и каких-то легкомысленных женщинах, а третьего больше интересовало бытовое и материальное положение колхозников.

На следующий день после отъезда комиссии поздно вечером к Урманджану пришел Абдусамад-кары и, остановившись у калитки, позвал его таким жалобным голосом, словно собирался сообщить о большом горе. Урманджан пригласил его в дом, но кары, кивнув головой на Тупанису, дал понять, что ему нужно говорить с партгором наедине.

Они вышли на берег реки и, отойдя подальше, опустились на траву.

— Сказать — язык сторит, не сказать — душа сторит, — заговорил кары, подергиваясь всем телом, словно ему и в самом деле насыпали за халат раскаленных углей. — Давно эту тайну хранил я про себя, а теперь нельзя... Нельзя таить от вас, Урманджан-ака, потому что сплетня у всех на устах. Да, у всех, и касается она вас...

— Сплетня?

— Да... наверно. Очень пехорошая сплетня, очень... Будто жена ваша нечестная женщина.

— Почему?

— Путается с одним.

— С кем же?

— И не спрашивайте!

— Да уж говорите. Сплетня же?

— Может, и сплетня, не знаю...

Урманджан засмеялся.

— Так кто же этот негодяй, который вздумал разрушить мою семейную жизнь?

— Самый близкий друг ваш... Бутабай.

— Так... И кто же распускает такие сплетни?

— Теперь говорят во всем кишлаке.

— А вам кто сказал?

— Учитель Рахматулла, когда еще был здесь...

Урманджан пахмурился.

— Еще что?— спросил он после минутного молчания. По лицу его было видно, как закипает в нем гнев.

— Хоть бы это оказалось неправдой...— уныло проговорил кары.

— Ну?

— Говорят, будто Бутабай жил с вашей женой, а потом... потом будто увидел у нее на боку пятно ложной проказы и перестал с ней встречаться.

Урманджану стало не по себе.

Абдусамад-кары, видя, что он задумался, тихо встал и молча, опустив голову, удалился.

Через некоторое время поднялся и Урманджан и медленно зашагал домой. «Подлецы...— мысленно ругался он.— Чего не наплетут!» Сначала в нем горело только возмущение. Но потом он стал думать о том, что больше всего поразило его в этой сплетне. «Белое пятно... Откуда они знают?»— встал перед ним неразрешимый вопрос. Белое пятно, след большого нарыва, действительно было у жены на боку, но кто его видел?

Тупаниса спала под навесом. Урманджан, войдя, постоял над ней. При желтоватом свете лампы лицо ее казалось бледным, усталым. Веки слегка трепетали, точно она не спала, а лишь притворялась спящей. Урманджану хотелось с ней поговорить, сразу выяснить, откуда пошли разговоры о белом пятне. Но Тупаниса спала крепко и даже не шевельнулась, когда Урманджан потрогал ее за руку.

Отойдя к своей постели, он разделся и лег, решив на другой день откровенно рассказать все, о чем говорил Абдусамад-кары, сначала жене, потом Бутабаю. При мысли о Бутабае почему-то вспомнились слова, как-то сказанные им в беседе: «Почему мы по-разному относимся к согрешившим мужчине и женщине? Почему такую женщину презираем, считаем развратной, а мужчину превозносим?» На ум невольно пришел вывод: «Значит, он говорил это в оправдание развратных женщин!» Урманджан опять выругался: «Тьфу! Лезет же в голову всякая ерунда!..» Он повернулся на бок и постарался заснуть, но это долго ему не удавалось.

На рассвете сквозь сон он слышал, как постучали в камитку, и догадался, что это пришла жена Абдусамад-кары. Каждое утро она заходила за Тупанисой; после завтрака они вдвоем уходили на молочную ферму. Во

дворе: послышался веселый голос жены. Потом начал бегать его сыншшка, который, собираясь в школу, искал свою чернильницу. Несколько раз в комнату заходила и Тупаниса. Видя, что муж еще спит, она старалась не шуметь и проходила мимо его постели на цыпочках. Наконец хлопнула калитка, и в доме наступила тишина. Где-то вдали тархтел трактор.

Урмаджан встал и вышел во двор. На столе под навесом, как всегда, был приготовлен для него завтрак и стоял чайник с горячим чаем, завернутый в скатерть. Взгляд Урмаджана упал на выжарки, он вспомнил, что мясо и сало принес для плова Бутабай. Выжарки были, по-видимому, из этого сала, и Урмаджан почему-то почувствовал к ним отвращение. Умывшись, он выпил чаю, поел хлеба и вышел из дому.

В правление колхоза он не пошел: не хотелось встретиться с Бутабаем, не выяснив ранее с женой, откуда пошли разговоры о «белом нитне», а с Тупанисой он мог теперь увидеться только вечером. Урмаджан взял на конном дворе коня и поехал в поле.

Обычно он прежде всего отправлялся на те участки, где хуже работали. Завидев его, люди сразу подтягивались, боясь замечаний, слова просматривали выполненную работу и старались поскорее исправить недостатки. Но сегодня Урмаджан был хмур и задумчив и никаких замечаний не делал, хотя побывал на всех участках полевых работ. С утра он ничего не ел и к вечеру так устал, что еле держался в седле. Внезапно ему пришла в голову мысль, что незачем говорить сейчас с женой, а что лучше прежде всего сказать о гнусной сплетне Бутабаю. Повернув коня, он направился к центру кишлака и проехал уже половину пути, как вдруг вспомнил, что Бутабай вместе с бригадиром строительной бригады Туляганом должен был еще с вечера выехать в областной центр.

Возвращаясь к своему жилью на старую водокачку, Урмаджан уже спокойно думал о предстоящем разговоре с женой, решив, что сплетня останется сплетней, а Тупаниса могла и сама рассказать какой-нибудь женщине на ферме о своем «белом нитне». Каково же было его удивление, когда он, привязав коня у калитки, услышал громкий плач Тупанисы, а войдя во двор, увидел под навесом связанные, как в дальнюю дорогу, узлы. Из ком-

наты вышла Тупаниса с заплаканным лицом и растрепанными волосами. Увидев мужа, она сразу набросилась на него с упреками:

— Бессовестный! И не стыдно?.. Разве для того послал вас сюда товарищ Ахмедов, чтобы вы развратничали?

— В чем дело, жепя?— ничего не понимая, спросил Урманджан.

— Он еще спрашивает!.. А кто вызвал сюда жену Сидыкджана и поссорил ее с Капизяк? Из-за кого избили тетюшку Анзират? Думаете скрыть свои подлые делишки? Бесстыжий! Весь кишлак говорит, что вы живете с Капизяк!

«Напуганный первый поднимает кулак»,— подумал Урманджан и внимательно посмотрел на жену, но на лице Тупанисы не было ничего, кроме искренней обиды и глубокого горя.

— Кто это наплел вам?— спросил он.— Откуда вы все это взяли?

— Не скажу!— крикнула Тупаниса, сразу перестав плакать.— Бесстыжий! Знаю, что тебе давно хочется выгнать этого беднягу из колхоза.

Урманджан стал успокаивать жену.

— Не торопитесь верить всяким слухам... У меня тоже найдется о чем поговорить с вами. Я тоже мог бы, поверив сплетням, крикнуть сейчас вам: «Бесстыжая!» Но, как видите, я спокоен. И вам следовало бы держать себя поспокойнее. Я коммунист, лгать не буду. Если слухи оказались вам правильными, вы могли прямо спросить меня, верны они или нет. До меня тоже дошли кое-какие слухи, и я тоже хочу кое о чем вас спросить. Давайте поговорим, и если я окажусь хоть в чем-нибудь виноват, можете поднимать шум и даже дать мне пощечину...

Но Тупаниса не поверила в искренность его слов.

— Не беспокойтесь,— сказала она,— пощечину вы и так получите! У партийного собрания рука пожестче моей. А если здесь меня слушать не будут, пойду к самому товарищу Ахмедову!

Она схватила платок, накинула его на голову и выбежала на улицу.

Урманджан ее не удерживал, но тут же раскаялся в этом: горяча она могла разнести сплетню по всему колхозу.



С улицы прибежал сыпщик-школьник. Узнав, что он еще не обедал, Урманджан поджарил мясо, вскипятил чай. После обеда сын сел готовить уроки, а Урманджан прилег отдохнуть. Заснул он сразу, а когда проснулся, уже смеркалось.

Тупаниса не возвращалась домой. Урманджан зажег лампу в комнате, наказал сыну быть осторожным с огнем, затем вышел за калитку и сел на коня. Он объехал всех подруг Тупанисы, но нигде ее не нашел и, решив, что она побежала прямо в райком, поскакал туда же.

Было уже близко к полуночи, когда Урманджан вошел в приемную секретаря райкома. В комнате стоял синий табачный дым. Только что кончилось заседание бюро райкома, приемная была еще полна народу. Урманджан направился прямо к столу знакомого помощника секретаря, рассчитывая, что по тому, как тот встретит его, сразу обнаружится, была ли здесь Тупаниса. Но секретарь поздоровался как всегда радушно и ничего не сказал. Не успел Урманджан отойти от стола, как увидел перед собой улыбающегося Мавлянбекова.

— Ваш Бутабай закупил уйму строительных материалов, вот посмотрите,— сказал он, вынимая из нагрудного кармана и протягивая Урманджану телеграмму Бутабая.— Ну, мы кое-как наскребли ему двадцать семь тысяч и уже перевели. Надеемся, что вернете с процентами.

— За нами не пропадет,— так же весело ответил Урманджан и, поблагодарив председателя райисполкома, сунул телеграмму в карман.

В это время из кабинета вышел Ахмедов и передал своему помощнику какие-то бумаги. Увидев Урманджана, он протянул ему обе руки.

— А-а, Урманджан-ака, здравствуйте!.. Что это вы так похудели? Работы много? Ну, заходите...

Урманджан вошел в кабинет вслед за секретарем и сел на черный клеенчатый диван.

У стола сидел редактор районной газеты. Ахмедов, желая, по-видимому, вовлечь в беседу и Урманджана, обратился к нему:

— Присаживайтесь поближе... Мы на прошлом заседании бюро вынесли решение, обязывающее редакцию широко освещать ход сева хлопка. Посмотрим, как это у них получается.

Урманджан пересел на одно из кресел, стоявших перед столом секретаря.

Ахмедов взял со стола газету, исчерченную красным карандашом, и остановил взгляд на общем заголовке — шапке:

— «Сев хлопка в нашем районе идет оживленно», — вслух прочитал он и задумался. — Так, «идет оживленно...» По-моему, чего-то недостает в этом заголовке. Я бы написал так: такие-то колхозы идут впереди. Как, по-вашему, Урманджан-ака?

Урманджан, не зная, что сказать, виновато улыбнулся, но, видя, что секретарь ждет ответа, сказал то, что думал:

— Раз это газета, наверно, так и надо писать.

— Вот именно! — подхватил Ахмедов и насмешливо повторил: — «Раз это газета...» Видите, как относятся к печатному органу? — обратился он к редактору. — Слово газеты непререкаемо. Хорошей партийной газетой, конечно. Следовательно, каждое слово в ваших статьях должно быть продумано. А посмотрите, сколько у вас тут всякого словесного мусора и пустозвонных фраз! «Вносят свой вклад»... «ситуация требует»... «проблема рабочей силы»... «ясно видеть перспективу»... — снова начал читать он, отчеркивая красным карандашом отдельные слова и фразы.

Сконфуженный редактор стал оправдываться:

— Иногда проскочит, конечно...

— Нет, не иногда, — перебил секретарь. — Вся беда в том, что у вас в кармане имеется некоторый запас этих очень гладких и удобных для всякой статьи слов, которыми вы всегда пользуетесь. Я уже обращал на это ваше внимание...

Редактор, подумав, согласился с Ахмедовым и, взяв газетную полосу, заторопился уходить.

— Еще одну минуту... — задержал его Ахмедов. — Почему вы не печатаете материалов по делу Нуритдинова? — спросил он и пояспил Урманджану: — Они в газете обвинили в воровстве заведующего фермой в колхозе «Бирляшкан». А расследование установило, что все это злостная клевета.

— На сотрудника, который дал неправильную заметку, наложено взыскание, товарищ Ахмедов, — сказал редактор.

— Вы хотите сказать, что этот сотрудник редакции больше не будет писать клеветнических заметок? Допустим, а что вы сделали для восстановления честного имени Нуриддинова?

— Я лично беседовал с ним.

Ахмедов усмехнулся.

— Извинились? Сначала оскорбляете человека на весь район, а потом шепчете ему на ушко извинения! Интересно это у вас получается... Нет, не годится так. Надо так же честно признать свою ошибку и извиниться перед читателем. Не бойтесь, авторитет газеты не пострадает. За это читатели будут больше уважать ее.

Редактор молча поклонился и вышел. Ахмедов поднялся из-за стола, прошелся по кабинету и, устало опустившись на диван, позвал Урманджана:

— Идите-ка сюда, поговорим... Почему вы такой бледный? Нездоровы?

— Да нет, так... не в этом дело... — неопределенно проговорил Урманджап; подойдя к дивану, он сел рядом с секретарем райкома и опустил глаза.

Он хотел сейчас же рассказать о своей семейной неурядице, но Ахмедов перебил его:

— Понимаю. Партийная организация в колхозе еще очень молода и малочисленна. Вам и Рауфу Ибрагимову, конечно, трудно приходится... Ну, так говорите, что вас заставило в полночь прискакать ко мне?

Урманджап тяжело вздохнул.

— Кто-то распускает по колхозу разные сплетни. Я просто удивляюсь...

— А чему вы удивляетесь? — спросил Ахмедов, закуривая папиросу. — Коммунист ничему не должен удивляться. Я знаю все, что говорили, говорят и даже что будут говорить о вас.

Урманджап невольно улыбнулся.

Ахмедов задумчиво посмотрел на огонек своей папиросы.

— Ничего, вы не особенно верьте тому, что говорят о других, и не расстраивайтесь, если услышите что-либо дурное о себе.

— Дело не во мне, — возразил Урманджап. — Я-то, может быть, и не поверю, а вот другие... Подлецы, приводят даже такие доказательства...

— И о том, знаю, — перебил Ахмедов. — Вы хотите

сказать насчет «белого пятна ложной проказы»? Скажите, кто рассказал вам об этом?

— Абдусамад-кары.

— А он от кого услышал?

— Он сослался на учителя Рахматуллу.

— Скажите... кары знает, что его дружок Рахматулла арестован?

— Арестован?— удивленно переспросил Урмаджан.—

Я знал, что он лежал в районной больнице, куда попал после таинственного нападения на него, а потом куда-то уехал. Но арестован... Думаю, что и кары не знал.

— А вы допустите и другое, и тогда вам кое-что станет ясным... Конечно, печально, что Рахматулла Абиди втерся в доверие к нашим органам просвещения и в течение продолжительного времени действовал безнаказанно в Ходжа-кишлаке и у вас в Кошчинаре. Но я рад вот чему: вчерашние забытые капсанчи, которые когда-то в три погибли гнулись перед каждым таким домуллой, теперь никого не боятся. Большая политическая активность растет в массах колхозников. Это, несомненно, наше достижение. А вот бдительности пока не хватает. Тайного врага вы как следует и не разглядели. Я понимаю, все вы там так заняты своим строительством, что многого упустили из виду,— вот хотя бы этого учителя Рахматуллу. Да уж ладно, мы вам поможем. Источник всякого рода злостных разговоров отчасти обнаружен... Теперь о вашей жене и Бутабае. Неужели вы хоть немного поверили этой чепухе и всем этим, с позволения сказать, «доказательствам» с «белым пятном»? Уж слишком все глупо придумано. Допустим на минуту, что Бутабай, преступив, так сказать, законы дружбы и партийной совести, пошел на эту тайную — конечно, только тайную!— связь с вашей женой. Допустим! Но почему, с какой целью он стал бы раскрывать эту тайну учителю Рахматулле да еще приводить какие-то доказательства этой связи? Вы об этом подумали?

Урмаджану стало неловко оттого, что он, ослепленный ревностью, сам не додумался до таких простых и ясных вещей, и он сказал:

— Я не верил и даже хотел посмеяться над этой в самом деле глупой выдумкой вместе с Бутабаем. А вот жена всерьез поверила нелепым слухам насчет меня п... Канизяк... Хотела даже жаловаться вам.

— Вот как! Ну что ж,— усмехнулся Ахмедов,— я, надеюсь, сумею помирить вас с женой, если вы сами не сумели раскрыть ей глаза.— И уже серьезно продолжал:— Все эти слухи и сплетни похожи на части одного узора. Теперь уже становится, ясным, что это за узор и с какой целью рисуют его враги, но вот вопрос: кто эти художники? Все дело в том, чтобы раскрыть этих людей в кишлаках. К нам поступает очень много анонимных писем.

Урманджана взволновали эти слова.

— Какие письма, товарищ Ахмедов?— спросил он.— Если вы мне верите...

— Спрашивайте, не спрашивайте, я все равно скажу. Потому скажу, что если вы заранее не будете знать об этом, опять прибежите ко мне с таким же растерянным видом. А работа будет страдать.

Ахмедов подошел к столу, вынул из папки листок бумаги и повернулся к своему собеседнику.

— Вот послушайте сводные данные: «Урманджан одобрял все выступления контрреволюционера Рахматуллы Абиди против раскрепощения женщин и всячески поддерживал этого человека»; «Урманджан угощал в своем доме Гияситдина Махзума из Бишсерки и, взяв у него телку, взамен дал ему корову, а от этой самой телки в колхозе распространилась болезнь и начался падеж скота»; «Урманджан находился в развратной связи с Канивяк, когда же это стало выплывать наружу, пустил слух, что с Канивяк живет его друг Сидыкджан, вызвал жену Сидыкджана, а та избил Канивяк...» Ну, хватит с вас,— закончил Ахмедов, кладя обратно в папку листок,— а то совсем расстроитесь.

— Э-ге!— воскликнул Урманджан.— Если бы все это было правдой, меня можно было бы обвинять по всем статьям Уголовного кодекса.

— Не все, а если бы даже хоть часть из всего этого оказалась правдой, я не разговаривал бы с вами сейчас... Ну, довольно об этом! А теперь — об одной вашей настоящей вине, не выдуманной. Закир-ата у вас, безусловно, весьма опытный хлопковод, у него золотые руки. И вы с Бутабаем правильно делаете, что даете старику развернуться. Но вот в чем дело: когда между практическим опытом и наукой возникают противоречия, надо больше полагаться на науку. Бутабай иногда придерживается

примиренческой линии, а вы тоже смотрите на это сквозь пальцы. Нельзя так! Вы не только подрываете авторитет агронома Ибрагимова, но и этим ведь по существу совершаете ошибку. По методам так называемой народной медицины очень многие опухоли, как вы знаете, лечат тем, что прикладывают горячую вату. В тех случаях, когда имеют дело с простой опухолью, подогретая вата помогает, а в случае злокачественной опухоли она способствует лишь осложнению болезни. Так и здесь. Далеко не все в народной практике может быть применено, наука знает больше. И задача заключается не в том, чтобы науку приспособлять к практике, а, наоборот, в том, чтобы практический опыт пропускать через фильтр науки. Об этом никогда не надо забывать.

Стенные часы пробили два. Урманджап, не веря, что уже поздно, взглянул на свои ручные часы.

— Вижу, что вы торопитесь, да и пора...— сказал Ахмедов, поднимаясь с дивана.— У меня еще только один вопрос: как вы думаете использовать теперь водокачку в Бакакуруллаке?

Урманджап тоже встал.

— Члены правления считают, что надо сделать из нее мельницу,— ответил он и вопросительно взглянул в лицо секретарю райкома.

Ахмедов подумал немного, прежде чем ответить.

Неплохое дело... Получится большая мельница, колхоз будет иметь от нее доход. Но... вы помните вечер того дня, когда мы открывали плотину? Помните огни, которые плыли по каналу? Эта картина все время стоит у меня перед глазами. Вы думаете, это была простая забава молодежи? Нет, тут сказалась давняя мечта людей о свете. Не правда ли? А что если переоборудовать водокачку в электростанцию? Вы можете сделать два хороших дела. В колхозе имени Левина электростанция ночью дает свет, а днем — энергию на мельницу. Подумайте над этим. Ваша электростанция сможет осветить три кишлака. Я как-то говорил об этом с директором хлопкоочистительного завода. Он готов в порядке шефства помочь, если только Кошчинар возьмется за это дело.

— Хорошо, товарищ Ахмедов,— сказал Урманджап,— подумаем в правлении, взвесим наши возможности.

— Но помните, что не это является вашей первоочередной задачей,— предупредил секретарь райкома, по-

давая на прощанье руку.— Главное для вас.— хлопок. Это — основа основ.

— Ну вот,— засмеялся Урманджан,— не успели зажечь огни в нашем колхозе, как сразу же погасили,— говорите, что с этим можно и обождать.

Он распрощался с Ахмедовым и, выйдя в приемную, остановился, вспомнив, что так и не спросил секретаря райкома, как же разговаривать теперь с женой и можно ли открыть ей секрет злостных сплетен? Впрочем, все то, что еще недавно казалось таким запутанным и сложным, теперь представлялось ему значительно проще. Кивнув головой помощнику секретаря, который направился в кабинет с папкой бумаг, Урманджан вышел из райкома и вскочил на коня.

Сначала Урманджан ехал быстро, в самом веселом расположении духа. Он уже представлял себе, как сильно сконфузится Тупаниса и как будет хохотать, когда они вдвоем сядут за плов и начнут перебирать, кто что слышал и что думал в эти дни по поводу глупых сплетен на их счет. Но по мере того как он приближался к дому, веселое настроение покидало его и вскоре уступило место беспокойству. Он опустил поводья и поехал медленно, думая лишь об одном: что могло случиться за время его отсутствия. Может быть, Тупаниса, взяв свои вещи, уже уехала, и по всему кишлаку пошли пересуды? Гнев ослепляет человека, и в этом состоянии человек способен на всякую глупость. Неужели Тупаниса не понимает, что этим поступком она только подтвердит злостные слухи?..

Но вот за кустарниками сверкнул огонек. Урманджан погнал коня и через минуту увидел лампу, горевшую под навесом, и Тупанису, которая стояла у дверей, видимо, ожидая его. Услышав стук копыт, она повернулась и ушла в комнату.

Привязав коня, Урманджан вошел под навес. Там было все прибрано, все на месте. На столе стояла миска с горячим пловом, завернутая в скатерть. «Ну, значит, горячка прошла»,— подумал Урманджан и, подойдя к двери, сказал:

— Доброй ночи... Где это вы пропадали?

— А вам что за дело? Была у тетушки Анзират, — насмешливо ответила Тупаниса из темноты.

Через минуту Тупаниса вышла и села за стол.

— Ну, все расспросили, узнали?— спросил Урмаджан.

— Узнала. Я только удивляюсь...

— А вы не удивляйтесь,— перебил ее Урмаджан.— Я вот ничему не удивляюсь и вам не советую...

И он рассказал жене о своей беседе с секретарем райкома.

## ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Накануне Первого мая вечером Сидыкджан заглянул по делу к Рузымату. Когда он, выпив у друга пиалу чая, собрался идти домой, Рузымат вышел его проводить.

Друзья распрощались у здания чайханы. Сидыкджан повернул на свою улицу; не успел он пройти и двух десятков шагов, как под карагачем при свете луны увидел женщину в черной парандже. Заметил ее и Рузымат. «Кто это может быть?»— мелькнуло у него в голове,— в кишлаке не было ни одной женщины, которая носила бы паранджу.

Женщина подошла к Сидыкджану, и он узнал Шарафат. Сердце у него дрогнуло от тревожных предчувствий.

— Ну?... Что нужно?— спросил он, отступая в сторону.

— Я приехала забрать моего ребенка.

— Какого это вашего ребенка?

— А сколько их у меня?

Сидыкджан ядовито усмехнулся.

— А-а... Насибали, «щенка»? С каких это пор вы стали его называть своим ребенком?

Сидыкджан вдруг представил себе нежные ручки сынишки, так доверчиво обнимавшие теперь его шею. За последние недели он все больше и больше привязывался к ребенку и удивлялся, как это он мог его раньше оставить. А Шарафат все повышала голос:

— Что бы то ни было, я — мать!

— Вы что-то долго не вспоминали об этом. Не знаю, насколько дорог вам сейчас Насибали, по мне-то он дорог, очень дорог!

— Все равно я возьму его.

— А я не отдам! Я отец!

Шарафат ехидно засмеялась.

— Не бойтесь, вы думаете, мне алименты нужны? Не нужны они мне! Что пожалуете — и на том спасибо.



— Возьмите хоть вдвойне, только оставьте ребенка в покое. Я не отдам его, и не просите!

— Отдадите. Шариат заставит, закон.

— Я не признаю шариата, а если вы хотите обратиться к закону — обращайтесь. Тогда и поговорим.

Подошел Рузымат. Он слышал весь разговор и почувствовал, что нужно вмешаться.

— В чем дело, Сидыкджап-ака?

— Вот она приехала, чтобы отнять у меня Насиб-али,— ответил Сидыкджап.

— И отниму!— сказала Шарафат угрожающе.

Рузымат понял, что предотвратить скандал можно только ласковым словом, и он мягко сказал:

— Э, сестрица, не надо кричать тут, на улице, ночью! Завтра днем спокойно поговорите. Пойдемте к нам, у нас перепокуете, а завтра...

Сидыкджап, ни слова больше не говоря, повернулся и пошел прочь. Шарафат зло крикнула ему вслед:

— Я подаю на вас в суд! Ждите новости!

Сидыкджап ничего не ответил.

— Пойдемте, сестрица,— снова позвал Рузымат.

— Нет,— отказалась Шарафат,— не пойду к вам. Я у одних уже остановилась. А если вы такой добрый, проводите меня до махалли Кошчинар. Там я и сама найду...

Рузымат проводил ее до Кошчинара. Там она, уже одна, подошла к дому, где жил Абдусамад-кары.

Сидыкджап рассказал Капизяк о случившемся. Он был так уверен в своей правоте, что на все советы — поговорить с людьми, знающими законы, подумать, как и что говорить на суде,— только отшучивался.

Однако Капизяк смотрела на это дело серьезнее и, несмотря на желание Сидыкджана «поднимать шум», сама переговорила с людьми, сведущими в судебных делах. Она упростила Сидыкджана позвать в суд свидетелей в первую очередь Зиядахон и тетюшку Авзират, а также других людей, которые знали всю историю первого появления Шарафат в Кошчинаре.

Примерно через неделю после этого состоялся суд. В этот день Сидыкджап, думая не столько о том, как ему выступать на суде, а как встретиться с Шарафат, приделал. Он надел желтые хромовые сапоги, шелковый летний халат, бороду побрил, усы закрутил торчком кверху. Потом взял из колхозной конюшни одного из лучших коней —

буланого жеребца с маленькой головой, длинным туловищем и лоснящимся крупом — и в сопровождении своих одиннадцати свидетелей выехал из Кошчинара.

В район они прибыли за два часа до открытия судебного заседания. Свидетели разошлись каждый по своим делам. Не зная, как провести время в ожидании, Сидыкджан вошел в здание суда и сразу увидел в коридоре Шарафат. В старом ватном халате и желтом платье, повязанная черной шалью, она понуро сидела на подоконнике.

Сидыкджан, проходя мимо, сделал вид, что не замечает ее, но она выпрямилась и зашишела:

— Чтоб тебе сдохнуть, проклятому! Ну, подожди же... Ты еще у меня обезьяной запрыгаешь!

Сидыкджан остановился и насмешливо посмотрел на нее.

— Что же ты мне сделаешь, интересно?

— Вот увидишь!

— Нет, уж больше того, что ты мне сделала, не делаешь. Ты, как червь, источила мою молодость, ты украла у меня лучшие годы жизни! Что ты еще можешь сделать?

— Я посажу тебя, — злобно ответила Шарафат. — Я скажу, что ты бил меня, что от твоих кулаков я стала большой. Скажу, что ты держал меня в рабстве, и я долго не знала о своих правах. И пусть тебя советский закон посадит в тюрьму!

— Вот как! Еще что выдумашь?

— Скажу, что ты толкал меня на распутство...

Шарафат, видимо, хотела разозлить Сидыкджана, а когда он выйдет из себя и потеряет самообладание, поднять вопли. Сидыкджан это понял и решил крепко держать себя в руках, что бы она ни говорила.

В конце коридора тихо открылась дверь. Шарафат с испуганным видом, словно Сидыкджан собирался бить ее, рванулась с подоконника и ринулась навстречу появившейся на пороге старушке. Но та, не обращая на нее никакого внимания, постукивая палочкой, прошла мимо и, спросив у Сидыкджана, который час, двинулась дальше по коридору.

Эта выходка обозленной женщины окончательно убедила Сидыкджана в том, что Шарафат ищет повода для скандала. Решив, что разумнее всего держаться от нее подальше, он вышел на улицу, чтобы найти Зиядахон и рассказать ей о случившемся.

Судебное заседание по делу Сидыкджана и Шарафат началось ровно в двенадцать часов. Шарафат сидела на передней скамье, то и дело сморкаясь и всхлипывая. Когда Сидыкджан, отвечая на вопрос судьи, назвал одиннадцать свидетелей, готовых подтвердить его слова, Шарафат побледила, закусила кончик шали и уже дальше, в продолжение всего суда, не могла прийти в себя. На все вопросы судьи — не имеет ли она других претензий к своему бывшему мужу, она ответила: «Нет, ничего не имею... пусть только отдаст ребенка».

После короткого совещания с народными заседателями в соседней комнате судья зачитал приговор, в силу которого Насибали должен был остаться у отца, Сидыкджана Сахибджанова, поскольку его бывшая жена Шарафат Зуннунходжаева ранее сама, без всяких принуждений, отказалась от ребенка, а теперь не смогла представить суду веских доказательств в пользу того, что у нее ребенок получит лучшее воспитание, чем у отца. На подачу кассации Шарафат Зуннунходжаевой давался срок в пятнадцать дней.

Сидыкджан был очень обеспокоен последним обстоятельством, и как ни старались Зиядахон и другие утешить его, доказывая, что областной суд оставит в силе решение парсуда, Сидыкджан не мог успокоиться.

Больше всего волновала его неизвестность. Он не понимал, что теперь движет поступками Шарафат. Когда-то она думала вернуть себе мужа и своему отцу дарового батрака. Но ведь за это время она могла убедиться, что он ни за что не вернется к прежней жизни. Чего же она хочет, может быть, действительно материнские чувства проснулись в ее сердце? Но какая она мать! Только испортит мальчишку!

Зиядахон, чтобы успокоить Сидыкджана, повела его в юридическую консультацию, к одному из лучших юристов.

Юрист, расспросив о всех подробностях дела и узнав решение парсуда, сказал:

— Чего же тут волноваться? Решение суда окончательное, а для отмены его, по-моему, нет никаких оснований.

У Сидыкджана отлегло от сердца.

Выйдя из консультации, Сидыкджан подержал коня, пока Зиядахон забиралась в седло; затем одним махом

вскочил на своего буланого. Легкой трусцой они поехали рядом по широкой улице.

— А вы слышали новость?— сказала Зиядахон.

— Какую?— спросил Сидыкджан, подгоняя коня, чтобы не отстать от спутницы.

— Я тут встретила одного знакомого, и он мне сказал, что Зунпуна-ходжу раскулачили...

Помолчав с минуту, Сидыкджан медленно проговорил:

— Что ж, он получил по заслугам.

## ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

### 1

Директор МТС удовлетворил просьбу старика Курбана — освободил его от работы в чайхане. Старик пересялся в колхоз «Кошчинар», и правление, по рекомендации Урмавджана, назначило его заведующим красной чайханой.

К этому времени колхозники закончили первую окучку хлопка, и большинство из них было занято строительством. В кишлаке шла горячая работа.

Курбан-ата не отставал от людей. Он горячо принялся за оборудование зимней и летней чайханы, привлекая к себе в помощь всякого, кто казался ему мало-мальски свободным, да и все, к кому он обращался, сами старались помочь ему. Перед фасадом летнего помещения чайханы были разбиты цветочные клумбы, вырыт, обложен кирпичом и зацементирован большой водоем, а вокруг него устроены супы для сидения.

Агроном Ибрагимов, любивший по вечерам беседовать в чайхане с колхозниками, тоже не остался в долгу: благодаря его помощи вскоре на колышках и веревочках возле каждой супы появились побеги и крупные листья плюща, а на клумбах подрос райхон, наполняя воздух ароматом, все вокруг зазеленело, зацвело, запылало разноцветными огоньками. Летняя чайхана стала красивым местом, где действительно было приятно отдохнуть после работы. Сквозь зелень саженцев отсюда виднелись необозримые поля, белая река и синие горы вдали. От канала, который проходил тут же рядом, даже в жаркие часы дня веяло прохладой.

Ибрагимов перенес сюда запятого агрономического кружка и привез все наглядные пособия: ящики с посевными хлопком, образцы хлопкового волокна, разные сорта хлопковых семян. Таблицы, диаграммы, плакаты заняли в чайхане целый угол.

Молодой учитель, приехавший на место Рахматуллы, тоже развернул в красной чайхане кипучую деятельность. Он организовал здесь библиотеку-читальню и поручил комсомольцам по очереди дежурить вечерами в красном уголке. Они познакомили посетителей с новыми книгами, читали им газеты, журналы. Сюда же учитель перенес и занятия вечерней школы для взрослых.

Молодые колхозники стали активистами красной чайханы. Благодаря им здесь начала выходить стенная газета, появились музыкальные инструменты, радиоприемник, шахматные доски. Один из комсомольцев, то ли подражая где-то виденному, то ли в порядке собственного изобретательского починка, с помощью бригадира строителей Тулягана устроил в чайхане своеобразную почтовую витрину. На длинном щите в заднем углу помещения он развесил почтовые ящички по числу букв алфавита: и почтальон не ходил по домам, а раскладывал письма по этим ящичкам. Районное почтовое отделение нашло это весьма удобным и впоследствии устроило такие же почтовые витрины и в других колхозах.

Урманджан смотрел на все это как на зародыши будущего клуба, большой колхозной библиотеки, опытной лаборатории, радиотелефонной станции — всего того, что должно быть в новом кишлаке, и всячески поощрял и поддерживал активность молодежи.

Курбан-ата работал, казалось, не зная усталости; все полезное, красивое, что он видел или о чем знал по рассказам, он старался перенести в свою чайхану. Одно не нравилось старику: новая улица, проложенная от чайханы, упиралась в небольшой холмик. Снести его не составляло никакого труда, но все дело заключалось в том, что на этом холмике были старые, заброшенные могилы. Когда-то давно здесь было кладбище. Вначале это дело казалось Курбану-ата не особенно сложным. Он считал, что, если кто-нибудь из стариков покажет пример и примется раскапывать холм, остальных не трудно будет склонить к тому же. Однако, поразмыслив и приглядевшись к пожилым людям, которые свято чтят могилы своих предков, он убе-

дился, что перенести старое кладбище на новое место не такое уж простое дело. «Станешь раскапывать могилы,— думал Курбан-ата,— старухи будут выть и рвать на себе волосы, да и старики шум поднимут».

И он начал осторожно прощупывать настроенные стариков. Но тем самым он раньше времени рассказывал о том, о чем не следовало говорить, пока не началось строительство домов по новой улице. Тогда сами жители, несомненно, потребовали бы от сельсовета сноса холма. Беседы заведующего чайханой со стариками вызвали в кишлаке разные толки о душах умерших, о загробной жизни, о светопреставлении и воскресении мертвых. Впрочем, обнаружилось и другое: многие, поразмыслив, поняли, что рано или поздно придется начинать это дело, и Курбан-ата нашел немало единомышленников даже среди стариков. Первым, кто обещал помочь ему в этом деле, был Абдусамад-кары.

Урманджан сначала сильно досадовал на то, что Курбан-ата, не посоветовавшись с ним, затеял свои беседы со стариками. Однако, когда заметил, что никого это особенно не взволновало, он даже обрадовался. Не понравилось ему только, что наиболее активным сторонником сноса старого кладбища оказался Абдусамад-кары, которого после беседы с Ахмедовым он считал одним из хитрых, пока еще не разоблаченных врагов. «Чего добивается этот пройдоха?— думал он.— Почуял ли свой близкий конец и хочет вповь показать себя сторонником нового или это ловкий шаг, предпринятый с целью вызвать раздражение среди фанатично настроенных людей?» Он посоветовался с Ибрагимовым, и тот решил на первой же беседе в чайхане, когда будет присутствовать Абдусамад-кары, поговорить о кладбище.

Ибрагимов выступал осторожно, больше спрашивал, не высказывая своего собственного мнения. Велико же было его удивление, когда встал Абдусамад-кары и решительно заявил:

— Чего тут думать, товарищ агроном? Вопрос ясен: в этом деле должен уступить не живой мертвому, а мертвый живому, не кишлак старому кладбищу, а кладбище новому кишлаку, и тот, кто не понимает этого, сам мертвец!

Это заявление вызвало сочувственный смех.

Урманджан весь день провел на фермах и вернулся домой очень поздно. Только он начал умываться, как в калитку постучали.

— Бутабай, ты?— спросил он и, не услышав ответа, крикнул:— Входи, не заперто!

Калитка распахнулась, торопливо, мелкими шажками вошел Абдусамад-кары и, приветствуя парторга и кланяясь, остановился у порога.

Он еле держался на ногах, словно прошел длинный путь и очень устал; лицо его осунулось, как у больного, при тусклом свете лампы оно казалось страшным.

— Не вовремя побеспокоил вас...— уныло проговорил он, сложив руки на животе и низко опустив голову.

— Ничего, входите, садитесь,— сказал Урманджан.— Когда есть дело, со временем не считаются.

Кары сел, не поднимая головы, пальцем провел по воспаленным векам, словно смахивая слезу, и звучно сглотнул слюну. Острый кадык его дернулся вверх и встал на место, из горла вырвался глухой, хриплый звук.

— Что это с вами?— спросил Урманджан, вытирая полотенцем лицо и руки.— Обидел кто?

Не отвечая, Абдусамад-кары вдруг ударил себя обеими руками по голове и, застонав, повалился к ногам парторга.

— Вы что, с ума сошли? Встаньте!— сказал Урманджан.

Но кары поднялся только на колени. Раскачиваясь из стороны в сторону, он ударился головой об стол и, выхватив из-за голенища сапога нож с костяной ручкой, сунул его в руку Урманджану; затем наклонил голову, подставляя жирную шею, и прохрипел:

— Бейте, Урманджан-ака, бейте!.. Пусть кровь моя потечет к вашим ногам!..

Урманджан швырнул нож на стол и, схватив Абдусамада-кары за руку, рванул его с пола.

— Встаньте, вам говорю! Что случилось?

Кары поднялся и опять, подобострастно сложив на животе руки, опустил голову. На бритом виске его от удара о стол выступил багровый кровоподтек.

— Говорить — язык не поворачивается, не говорить — сердце надрывается,— промолвил он плаксивым голо-

сом.— Вы, как только прибыли сюда, отвратили меня от всего дурного... Пристыдили перед людьми... Помогли стать человеком... А я, невидящая на всю вашу доброту, застал на вас злобу...

Урманджан заставил его сесть и сам сел напротив. Затем спросил:

— Так что вы сделали, затаив злобу?

— Когда ваши враги распространили слух о насчет вас и Канизяк, я помог им, пошел навстречу: пустил слух, что вы, мол, живете с Зиядахон.

— Вот как! А я об этом ничего не слышал. С Зиядахон?

— С Зиядахон,— подтвердил кары.— Пустить-то пустил такой слух, но вспомнил вашу доброту ко мне и сильно раскаялся.

Урманджан еле сдерживался, чтобы не ударить Абдусамад-кары. Стараясь взять себя в руки, он помолчал немного, потом спросил:

— Только и всего?

— Да... Почему «только и всего»,— разве этого мало?— слезливым голосом проговорил кары.— Чем клеветать на такого человека, как вы, уж не лучше ли мне лечь в темную могилу!

— Ну ладно,— сухо сказал Урманджан.— Раз вы не совершили более серьезного преступления, пусть этот разговор останется между нами.

Абдусамад-кары встал, поклонился.

— Спасибо, от души спасибо, Урманджан-ака. Я хотел бы съездить в город делька на три, проветриться. Уж очень устал.

— Просите разрешения у Бутабая.

— Хорошо... Да, кстати, хотел еще вас спросить... Бутабай-ка затеял очень важное дело, которое никому не приходило в голову. Я очень одобряю, очень. О моем выступлении в чайхане, наверно, слышали? Я говорил с некоторыми стариками. Все, все согласны перепести могилы. Пусть Курбан-ата только начнет, а мы поможем. Если разрешите, как только вернусь из города, мы приступим к делу. Тянуть не стоит, потому что люди готовы. Я возьму себе в помощь стариков, и в пять-шесть почей мы все закончим. Раскапывать могилы лучше почью, потому что днем как-то неприглядно. Соберутся женщины, начнут шлать, причитать... людей оторвем от работы.



— Обо всем тоже договоритесь с Бутабаем,— сказал Урманджан.

Абдусамад-кары почтительно поклонился и вышел из комнаты, а Урманджан задумался: «О Зиядахон даже Ахмедов не упоминал. В самом деле, была сплетня и относительно нее или сам кары придумал это, стараясь показать, что сплетня насчет Канвизяк была пущена не им? Если это второе верно, то я, пожалуй, держал себя не так, как следовало, и заставил мошенника насторожиться».

На другой день он поделился своими мыслями с Ибрагимовым, и тот вывел вполне определенное заключение: Абдусамад-кары не только встревожен, но и начал терять голову. «Действительно,— подумал Урманджан,— ничего глупее придумать было нельзя».

Курбан-ата, получив разрешение сельсовета на снос кладбища, собрал своих ровесников-стариков и стал советоваться с ними, когда и как выполнить эту работу. По утверждению Абдусамада-кары, часть могил можно было раскопать немедленно, так как родственников похороненных там людей не оказалось. С остальными могилами кары советовал несколько обождать: в кишлаке нашлись древние старцы, утверждавшие, что в них похоронены их прадеды, и не желавшие тревожить прах своих предков. Это предложение было одобрено.

Старики работали ночью, им во всем помогал Абдусамад-кары. Однако работы, рассчитанные на пять-шесть почей, затянулись.

Как-то на рассвете постучали в окно к Урманджану. Он вышел и отпер калитку. В темноте послышался голос Самандарова:

— Такие дела, а он спит себе!

Урманджан пригласил его в комнату, зажег лампу.

— Все мирно, спокойно?— по старому обычаю приветствовал он почного гостя, протирая пальцами глаза.

Самандаров усмехнулся.

— Вот теперь уж будет спокойно.

— Что ты хочешь сказать?

— Проводил Абдусамада-кары, еду оттуда.

Урманджан сразу догадался, что кары арестован, и, оцепенительно проснувшись, спросил:

— Забрали? Сегодня?

— К сожалению, только сегодня... На кладбище твой Курбан-ата проследил за ним и обнаружил в могилах,

кроме покойников, кое-что другое.. Восемнадцать пяти-варядных винтовок, тридцать одиннадцатизарядок, шесть берданок и три ящика патронов пытался Абдусамад-кары под покровом ночи перенести в другое место.

Урманджан вздрогнул.

— Оружие? Негодяй! Так вот он почему так набивался помогать старикам...

— Ночью на кладбище захватили еще двоих, — продолжал Самандаров. — Один — его свояк Джавдат Наим, другой — из Ходжа-кишлака. Этот показался мне знакомым. Как будто сын Мирхамида-ходжи. Лютый враг! Когда оружие грузили на арбу, он еще грозить вздумал: «Ладно, говорит, берите, понадобится — еще найдем...»

— Ну, этому-то, думаю, больше ничего не понадобится! — воскликнул Урманджан. — Только, должно быть, у нас тут мог действовать не один кары, наверно, были помощники.

— Об этом и речь.

— Сейчас ты иди спи, а я посижу за раскопками. Не обнаружится ли там еще что-нибудь?

Самандаров пожал руку парторгу и направился к своему коню.

## ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

### 1

Три дня подряд лил дождь. Земляные крыши старых домов капсанчей пропитались водой. В кишлаке не осталось ни одного дома, где бы не протекало. Обрушилось много старых дувалов. В арыках, по улочкам и переулкам текла мутная вода.

После ужина Сидыкджап взял газету, однако не успел прочитать и половины статьи, как глаза у него пачали слипаться. Он несколько раз качнул головой и громко раза два всхрипнул, но тут же проснулся от собственного храпа и сонными глазами испуганно посмотрел на Канизяк.

Канизяк, объясняя маленькому Хашимджану буквы по букварю, искоса взглянула на Сидыкджана и улыбнулась:

— Хорошо бы такую трещотку завести на винограднике — птиц отгонять!

Хашимджан захохотал.

Сидыкджан покраснел от смущения и взглянул в окно.  
— Ну и напасть, льет и льет... будто у неба дно прорывилось.

— Да, работать в поле нельзя. А вас от безделья все время клонит ко сну?

— Я не спал, думал.

— Думали и храпели?

— У меня кошачий характер: когда спокойно на душе, или пою, или подремываю.

— И мурлычите при этом? Замечательный характер... А о чем вы думали?

— Да вот все о том, что вы говорили; не выходит из головы. Это я и сам заметил, что кусты хлопчатника по обочинам дороги разветвляются, но как-то не придавал этому значения. Почему это так? Вот об этом и думаю.

— Сколько бы мы с вами не думали, правильного объяснения не найдем. Давайте сходим к Рауфу-ака, расскажем ему о наших наблюдениях. Он объяснит.

— Пойдемте,— согласился Сидыкджан, хотя вставать ему очень не хотелось.

Он медленно поднялся и, опять заглянув в окно, сказал:

— Похоже, что дождь еще усилился. Все небо в тучах.

— Не сахарные, не растаем,— усмехнулась Канизяк.

— Это так, но... товарищ Ибрагимов, может, работает, придем — помешаем. Не лучше ли отложить до завтра?

Канизяк нахмурилась.

— Ну и неповоротливый же вы, Сидыкджан-ака! Зачем откладывать?

Сидыкджан стал молча обуваться.

Сбирался он медленно, неохотно, но совсем не потому, что на улице шел дождь или вопрос не интересовал его. Были и другие причины.

После того как Шарафат устроила скандал в доме тетушки Анзират, имена Сидыкджана и Канизяк стали часто упоминаться вместе. В колхозе люди смотрели на обоих, как на «пострадавших», обоим невольно сочувствовали, и это еще больше сблизило их.

Сама обстановка, в которой они жили в последнее время, тоже содействовала установлению между ними большей близости. Тетушка Анзират уехала в город навеситить свою дочь Кимсаной да и пропала, не давая о себе никаких вестей.

Жили они сначала по-прежнему: в разных хибарках в одном дворе. Но однажды Сидыкджан вернулся с работы очень усталым и за ужином заснул в хибарке Капизяк. Она пожалела будить его, набросила на него одеяло, а сама, уложив детей, легла с ними. В другой раз, когда ночью поднялся сильный ветер и разыгралась буря с грозой и ливнем, Капизяк сама попросила Сидыкджана за ужином: «Как страшно гудит ветер... Я боюсь, ложитесь здесь». И с тех пор Сидыкджан устроил себе постель в хибарке тетушки Анзират под окном, в другом конце ее находились постели Капизяк, его сынишки Насибали и Хашимджана.

Все в колхозе привыкли видеть Сидыкджана и Капизяк постоянно вместе, да и сами они уже больше не боялись обнаружить перед людьми свою дружбу. Но вскоре кое-что изменилось.

Однажды председатель райисполкома Мавляпбеков привез в Кошчинар двух мужчин и одну девушку. Они побывали на строительстве новых домов, затем направились в Бакакуруллак, чтобы осмотреть водокачку, которая переоборудовалась в электростанцию. Один из мужчин был корреспондентом областной газеты, а другой — инженером. Мавляпбеков назвал инженера Федором Макаровичем. А девушка, как оказалось, окончила институт в Москве и теперь проходила практику под руководством Федора Макаровича.

Весть о том, что Мавляпбеков привез большого инженера, чтобы скорее закончить строительство электростанции, сразу же облетела весь кишлак. На площадку у водокачки в Бакакуруллаке собралось множество людей. Пришли сюда и Сидыкджан с Капизяк.

Сидыкджан с таким интересом смотрел на девушку-узбечку, которая стала инженером, что Капизяк тихонько толкнула его в бок и сказала:

— Что так уставились на нее, Сидыкджан-ака? Красивая, да?

Сидыкджан несколько растерялся, но тут же напелся и ответил:

— Она похожа на вас.

А у Капизяк тоже цевольно вырвалось:

— Тогда лучше смотрите на меня!

Вот с этого момента и появилось в их отношениях что-то новое: оно, может быть, существовало давно, но про-

явилось только сейчас. Они еще не решались даже самим себе признаться в этом, но уже ревниво следили друг за другом.

Как-то вечером, когда они вместе возвращались с поля, Канизяк решила зайти по пути к Ибрагимову. Сидыкджан посещал занятия агропомического кружка в красной чайхане, но на квартире агронома ему еще не приходилось бывать. Он первым вошел во двор и отшатнулся назад: большая рыжая собака, лежавшая возле калитки, вскочила на ноги и свирепо зарычала на него. Но едва Канизяк переступила порог калитки, как собака завиляла хвостом и, ласкаясь к молодой женщине, лизнула ей руку, а на Сидыкджана посмотрела равнодушно, словно хотела сказать: «Ну уж ладно, проходи, раз пришел с ней!» В сердце Сидыкджана вкралось какое-то смутное беспокойство, но причину этого он и сам ясно не осознал. Когда же он увидел, как весело шутила и смеялась Канизяк, разговаривая с молодым агрономом, он сразу помрачнел. Это уже была ревность, самая настоящая ревность.

Вот и сегодня, когда Канизяк предложила пойти к Ибрагимову, Сидыкджан согласился с каким-то смутным чувством. С одной стороны, ему интересно было узнать, как отнесется к их наблюдениям Ибрагимов; с другой — не нравились слишком частые посещения Канизяк квартиры агронома.

На этот раз у Ибрагимова было много народу. Едва Сидыкджан с Канизяк вошли во двор, как услышали громкий смех.

В комнате сидели Тешабай, Рузымат, Иргашбай, Камбар-али и несколько молодых женщин. Зиядахон сидела за столом, заваленным книгами, как видно, она читала что-то вслух. Канизяк прошла вперед и села на скамейку рядом с Тешабаем, а Сидыкджан примостился на сундуке возле Рузымата. Ибрагимов разъяснил вновь прибывшим: — Слушаем рассказ о сотворении мира по корану.

Зиядахон читала:

— «...В один из небесных дней солнце, достигнув зенита, остановилось в ожидании, куда ему повелит бог повернуть и где опуститься за землю. Небесный чертог хранил молчание. Ангелы-хранители дремали на мягких, как вата, облаках и лениво позевывали. Некоторые, так же лениво помахивая крыльями, как тени, передвигались по небосклону. Исрафиль, небрежно развалившись под

сенью «таинственной завесы», следил за ангелами и мечтательно раздумывал: «Сделал бы всемогущий так, чтобы мы могли летать, не махая крыльями... или, еще лучше, чтобы место, куда тебе надо, само подлегало к тебе...»

Иррашбай приснул со смеху.

— Оказывается, эти ангелы — лодыри, не хуже нашего лентяя Кутбитдина! — сказал он, обращаясь к своему соседу Тешабаю.

Все засмеялись: лень Кутбитдина была хорошо известна.

Зиядахон продолжала:

— «Но вот приподнялся край таинственной завесы, и из покоев господина бога вышел архангел Гавриил. Вид у него был унылый, крылья обвисли, как у больной курицы. Исрафил, никогда не видевший его в таком состоянии, поспешил к нему навстречу и стал вопрошать: «О Гавриил, что случилось? Почему у вас такой расстроенный вид?» Гавриил схватил кончик слегка колыхающегося белого облачка и, утирая им нос, уныло промолвил: «Творец, создавший небо и землю, решил сотворить человека, по имени Адам. Воля его такова, что мы должны будем поклониться Адаму». Эта весть в одно мгновение облетела весь небесный чертог. Ангелы вспорхнули, закружились, как пчелы возле разоренного улья. У всех на лицах была печаль. На следующий день господь бог приступил к осуществлению своего замысла. По его повелению Гавриил и Исрафил спустились на землю и доставили целые посылки сухой глины. Один из ангелов, оторвав кусочек черной тучи, выжал из нее на глину столько дождевых капель, сколько нужно было, чтобы глина размякла...»

В тексте было много старых, давно вышедших из употребления слов. Зиядахон читала рассказ с трудом и некоторые слова произносила неправильно или придавала фразам не тот смысл, который они имели. Поэтому Ибрагимов сам взялся читать, и в его чтении рассказ приобрел большую выразительность. Особенно заинтересовала нелепая сказка о том, как бог вылепил из глины фигуру человека и вдунул в нее душу, как один из ангелов, по имени Сатана, отказавшись поклониться человеку, произнес перед богом заносчивую речь и был пизвергнут за это в ад, как Адам, лишь открыл глаза, потребовал себе жепу, и бог выпужден был выломать у него ребро и создать ему Еву.

— Ловко, — сказал Сидыкджан, — а я и не заметил, что у меня ребра не хватает.

Слушатели покатались со смеху.

Закончив чтение, Ибрагимов вкратце рассказал и о том, как наука развеяла в прах религиозные басни о происхождении человека.

— Понятно я ответил на ваш вопрос или нет? — обратился он к своим слушателям.

— Очень понятно, — сказал Камбар-али, и все одобрительно закивали головами.

Ибрагимов добавил:

— Религия учит, что все совершается по воле бога. Вы знаете, что Чингиз-хан погубил двенадцать миллионов человек. Значит, если верить религии, это преступление Чингиз-хана против человечества не является преступлением, потому что ведь в таком случае выходит, что Чингиз-ханом руководила воля бога, а он сам тут ни при чем. Кто же из сознательных людей может всерьез говорить о сотворении мира по религиозным верованиям? Конечно, каждый мало-мальски грамотный человек его на смех поднимет... Еще у кого есть вопросы?

— У меня, — сказала Манзура. — Вот вы говорили об учении товарища Дарвина...

Рузымат, сидевший рядом с ней, тихонько подтолкнул ее локтем.

— Не товарища... Дарвин — английский ученый и давно умер.

Манзура, покраснев, посмотрела на Ибрагимова.

— Это правда, Рауф-ака? Но если он говорит правду, почему нельзя назвать его товарищем?

— Можно, можно, — улыбнулся Ибрагимов.

— Вот я и хочу спросить, — продолжала Манзура, — почему все правительства не разъясняют своим народам учение Дарвина и не ведут пропаганду против религиозного обмана?

— Очень хороший вопрос! — похвалил Ибрагимов и объяснил, кому выгодно не давать народу научных знаний.

Тема беседы, казалось, была исчерпана. Поблагодарив агронома, слушатели разошлись по домам. А Сидыкджан с Канизяк остались поговорить по другому вопросу, на который мог правильно ответить им только агроном.

Канизяк, перелистывая какую-то толстую книгу, лежавшую на столе, спросила:

— Рауф-ака, когда же я стану такой, чтобы понимать вот такие книги?

— Это зависит от вас, Капизяк,— ответил Ибрагимов.— Нужно изучать русский язык. И не только потому, что научных книг еще недостаточно на узбекском языке. Нас ведет вперед русская наука, и если вы хотите серьезно учиться, вам без русского языка не обойтись. Я уже думал над тем, чтобы организовать кружок по изучению русского языка. Комсомольцы очень настаивают. Если имеете желание, присоединяйтесь. Вам будет легче, ведь вы пемного говорите по-русски. Кстати, где вы научились?

— В Намангане. Там меня учила моя пазванная сестра — Надежда Павловна.

— Вы родом из Намангана?— спросил Ибрагимов.

— Нет, родилась я здесь,— ответила Капизяк и задумчиво продолжала:— Надежда Павловна послала меня учиться в Ташкент, а я вот... проезжала по этим местам, вспомнила свое детство и... сошла с поезда... А надо бы ехать мне дальше, надо было учиться... Но я буду учиться, Рауф-ака! Научите меня русскому языку так, чтобы я могла читать все русские книги... Сидыкджан-ака, вы будете учиться, правда?

— Буду,— не задумываясь, ответил Сидыкджап.

— Вот и хорошо! Будем учиться вместе... А теперь, Рауф-ака, помогите нам разобраться в одном вопросе,— обратилась Канизяк к агроному и рассказала о своих и Сидыкджапа наблюдениях над разветвлением кустов хлопчатника, растущих по обочинам дорог.

Ибрагимов слушал с большим интересом, задавал обом много вопросов и что-то записывал. Но Канизяк почувствовала, что вопрос, казавшийся очень важным, получился в ее рассказе таким маленьким, что из-за него, может быть, и не стоило особенно волноваться. Почувствовал это и Сидыкджан.

— Быть может, товарищ Ибрагимов,— сказал он,— то, что мы заметили, и не имеет никакой цены, но все же нам хотелось рассказать вам об этом.



У Ибрагимова весело сверкнули глаза.

— Ценно уже то, что вы обратили на это внимание. Я тоже кое-что знаю о ветвистом хлопчатнике. Что ж, будем вместе изучать и дополнять наши наблюдения, постараемся добраться до корня вопроса. Если сами не справимся с задачей, обратимся за советом к профессору Васильеву. Кстати, в ближайшие дни он приезжает в семеноводческий совхоз в Катарале. Получил от него письмо.

Агроном заговорил о создании опытной лаборатории по хлопководству как о необходимом звене среди мероприятий, направленных к повышению урожайности, говорил долго, с увлечением. После его речи наблюдения Сидыкджана и Канизяк приобрели в их глазах новое содержание, и они стали перебирать в памяти все интересное, что подмечено было ими на хлопковых полях.

Когда они собрались уходить, пришел Урманджан. Увидев их, он сказал, что ему нужно поговорить с Сидыкджаном, попросил его остаться. В этом не было ничего особенного: парторг часто беседовал с колхозниками, когда — открыто, когда — наедине. Канизяк ушла домой одна.

Урманджан сел к столу и, выбрав одну из лежащих там книг, протянул ее Сидыкджану.

— Читал это?

— Нет, Урманджан-ака, — ответил Сидыкджан, взглянув на название книги.

— Прочитай, хорошая книга. Узнаешь, что такое любовь.

— Мне кажется, — усмехнулся Ибрагимов, — товарищ Сидыкджан достаточно хорошо знает, что такое любовь.

— Конечно, знаю, — недовольно буркнул Сидыкджан. Ему этот разговор был не по душе.

— Ах, так? Ты знаешь? — засмеялся Урманджан. — А откуда ты знаешь? Ведь на Шарафат вроде как женился не по любви — пришлось жениться, а больше ты в жены никого не брал.

Сидыкджан совсем смутился. А Урманджан сказал серьезно:

— Ладно, сейчас увидим... У меня есть двое знакомых. Они оба, как бы это сказать, очень любезны друг с другом, я бы сказал даже, — преданы друг другу, работают вместе, бывают всюду вместе, живут под одной кровлей — одним словом, очень подходят друг к другу. Один из них — мо-

лодой мужчина, другая — молодая женщина... Как ты думаешь, любят они друг друга?

Сидыкджан понял Урмаджана, понял, па что он намекал, и, густо покраснев, ответил:

— Может, они просто так дружат.

— А что если они чуточку ревнуют друг друга?

Ибрагимов не раз замечал, что Сидыкджан ревнует Канизяк ко всем и особенно к нему самому, но не подозревал, что и Урмаджан знает об этом. Чувствуя, что будет мешать Урмаджану, он вышел в соседнюю комнатушку, где у него была маленькая лаборатория, и принялся за работу.

Сидыкджан молчал долго, наконец поднял голову и ответил:

— Будьте уж откровенны, Урмаджан-ака. Я же понимаю — вы говорите о нас с Канизяк. Но между нами ничего нет, клянусь вам. Ничего! А раз нет ничего, не может быть и ревности.

— О ревности потом поговорим. Я хочу сказать вот что: если между вами до сих пор ничего не было, так теперь должно быть. Что этому мешает? По-моему, только одно — отсутствие смелости. Канизяк стесняется первая сказать о своих чувствах. Понятно, она женщина. А ты... не знаю, что тебя удерживает. Теперь — насчет ревности... Нехорошо ревновать. Ревность может быть оскорбительна для любящего человека, если она ни на чем не основана. Мужчина и женщина должны уважать друг друга. И вот мне кажется, что Сидыкджан, который учился, учится жить по-новому и уже вступил на путь новой жизни, охвачен именно такой ревностью, которая может быть оскорбительной.

У Сидыкджана округлились глаза.

— Я же не ревновал Канизяк... Пусть у меня язык отвалится, если я сказал ей что-нибудь обидное!

— Подожди! — остановил его Урмаджан, подняв руку. — Я верю, что ты ничего оскорбительного Канизяк не говорил и не скажешь. Но когда тебя щекочет ревность, ты меняешься в лице. Я это замечал не раз. Помнишь, например, вчера, когда мы возвращались в арбе из района? Рузымат упрашивал Канизяк, чтобы она спела песню, а когда она не согласилась, легонько дернул ее за коосу. Я тогда подумал, что ты бросишься на Рузымата с кулаками.

Сидыкджан невольно рассмеялся.

— Я не ревновал, а сердился... Нехорошо же дергать женщину за косы!

— Нехорошо. Но если бы Рузымат дернул за косу другую женщину, хорошо это или плохо, ты уж, наверно, не волновался бы так. А Капизяк чуткая женщина, особенно к тебе. Она видит твоё настроение и старается поступать так, чтобы не раздражать тебя... Чего уж там — буду с тобой откровенным. Вот что я заметил: раньше Капизяк на собраниях садилась где придется — с мужчинами так с мужчинами, а теперь уже нет — сидит только с женщинами. Когда мы выбирали ее на районный слет ударников, она поглядела на тебя так, словно спрашивала: «А как вы, Сидыкджан-ака, не против того, что я поеду одна с мужчинами?» Если ты не идешь на кружок, она тоже не является... А почему все это происходит с ней? Да потому, что она видит, что ты ревнуешь... Нелзя так, друг. Не забывай, что, когда ты женишься, такая ревность потянет тебя назад, к старому, а не к новому.

Сидыкджан глубоко вздохнул и опустил голову.

— Правильно, Урмаджан-ака, — сказал он, — все ваши слова правильны. Признаюсь, я виноват.

Урмаджан внимательно посмотрел на него и по выражению его лица понял, что он сказал это искренне.

— Может быть, не так уж виноват, потому что все это получалось у тебя бессознательно, — сказал он, улыбаясь. — Но это смешно. И со мной случалось нечто подобное... Не сейчас, так позже ты сам будешь смеяться над этим. Помню, как ты представлял себе ударников, когда впервые услышал о них. Кто-то мне рассказывал: когда тебе об одном ударнике сказали, что он, мол, съедает в один присест целого барана с головой и потрохами, ты этому поверил.

Сидыкджан смутился.

— В то время я делал только первый шаг в новый для меня мир.

— В этот новый мир все мы вступили впервые, — сказал Урмаджан. — Да, вступили с грязью прошлого на ногах. У одного ее больше, у другого меньше... Вот из-за этой грязи некоторые иногда оступаются и даже падают. Мы должны очистить свои ноги от грязи прошлого. И чем скорее очистим, тем быстрее пойдем вперед.

Сидыкджан шел домой несколько растерянный, сильно сконфуженный, по чем-то бесконечно довольный.

### 3

На следующий день Ибрагимов осмотрел кусты ветвистого хлопчатника, указавшие ему Канизяк и Сидыкджаном. Позднее, обойдя поля, он обнаружил еще немало таких кустов, особенно на третьем участке, где работала бригада Иргашбая, поставил возле них бирки и созвал заседание совета урожайности. Сделав краткое сообщение о последних открытиях, он перенес заседание совета на третий участок.

На заседании выявились две точки зрения по вопросу о ветвистом хлопчатнике. Тешабай, присоединяясь к мнению Ибрагимова, заявил, что необходимо добиваться того, чтобы растения больше ветвились. По его мнению, ветвистые кусты должны были дать больше коробочек, а следовательно, и больше хлопка. Закир-ата не оспаривал того, что коробочек будет больше, но доказывал, что сто коробочек, полученных в результате разветвления кустов хлопчатника, дадут меньше хлопка и менее длинное волокно, чем десять коробочек обычного, неразветвленного куста.

Вокруг этих двух мнений разгорелись споры. Члены совета урожайности разделились на две группы: каждая упорно отстаивала свою точку зрения. Закир-ата, ссылаясь на свой многолетний опыт, наговорил Тешабаю много колкостей. А Тешабай, указывая на то, что опыт, приобретенный в эпоху омача, уже не годится для эпохи трактора, назвал упрямство старика невежеством. Оба они горячились.

Члены совета урожайности так и разошлись, не придя ни к какому решению. Споры продолжались по домам, в чайхане, в кружках, на полях — везде, где только возникал вопрос о повышении урожайности хлопчатника. А Ибрагимов тем временем, узнав о приезде профессора Васильева в семеноводческий совхоз, упаковал три куста ветвистого хлопчатника и отправился с ними к нему.

Пока Ибрагимов рассказывал о результатах наблюдений над ветвистым хлопчатником, профессор задумчиво

рассказывал по комнате, а когда тот кончил, снова сел на стул и вскинул на лоб очки.

— Ну-с, еще что скажете?— спросил он и, схватив пальцами клинышек седой бородки, поглядел ясными глазами на молодого агронома — своего бывшего ученика.

— Все, профессор,— почтительно ответил Ибрагимов.

— Неправда, не все!— воскликнул Иван Петрович и подошел к Ибрагимову стакан с остывшим чаем.— Почему вы не сказали свое мнение? Боитесь ошибиться?

Ибрагимов имел свое мнение и умолчал о нем только потому, что хотел послушать сначала своего учителя.

— Тогда разрешите, профессор,— снова заговорил он и коротко изложил свои выводы.— Первое: ответвления на кустах хлопчатника являются результатом помочки стеблей скотиной; это своего рода известная уже науке чеканка, только случайная. Второе: утверждение наших стариков, что ветвистый хлопчатник не получит из земли достаточного питания для созревания дополнительных коробочек, неосновательно, потому что в этом случае наука знает подкормку растений. И третье: необходимо приступить к проведению опытов.

Иван Петрович встал, быстрыми шагами прошелся по комнате и остановился перед Ибрагимовым.

— Верно, известно науке,— сказал он и снова сел на стул,— известно! Можно ответвлять, подкармливать. Ну, а что должен доказать тот опыт, который вы собираетесь проводить?

— Мы должны доказать, что чеканка стеблей хлопчатника дает возможность повысить урожайность.

— Это само собой разумеется,— кивнул головой профессор.— Но вы должны прежде всего ответить на вопрос: когда и в каких условиях чеканка хлопчатника дает лучшие результаты? Если принять во внимание, что те два момента, о которых вы упомянули, известны науке, то основная задача проводимого вами опыта — ответить именно на этот вопрос. Следовательно, начиная с сегодняшнего дня вам предстоит следующее, записывайте!

Ибрагимов раскрыл свой блокнот, и Иван Петрович продиктовал ему четкий план работы на первое время.

— Надо начать проведение опытов,— заключил профессор.— Вы сказали, что у людей появился зоркий взгляд, они стали замечать многое такое, на что раньше не обращали никакого внимания. Так вот, надо умело ис-

пользавать этот зоркий взгляд колхозников. Не сомпеваюсь, что у вас найдутся энтузиасты этого дела. Например, Канизьяк, о которой вы говорили.

По возвращении в колхоз Ибрагимов, стараясь поскорее выполнить указания своего учителя, поставил вопрос о выделении опытного поля на участке Канизьяк, но Закир-ата решительно воспротивился этому. Ибрагимов пытался уговорить его, однако старик и слушать не хотел ни о каких опытных полях, и агроном вынужден был обратиться за содействием в правление.

Бутабай вызвал строптивного старика и предложил ему выделить опытное поле на любом участке, где только он сам пожелает. Но Закир-ата не уступил и ему.

— Снимем с бригадирства!— зашумел Бутабай.

— А я не дам себя снимать! Не уйду!— заявил упрямый старик, и председатель правления даже опешил.

Тогда вмешался Урманджан и мягко попросил старика объяснить, почему он не хотел, чтобы проводились опыты.

— Ненадежное дело,— сказал Закир-ата.— Я не могу разрешить уродовать хлопчатник. Дети и те знают, что такое хлопок: увидят на улице кучку орехов и хлопковые коробочки, опи к хлопку сначала руки протянут.

— Правильно, отец, хорошо вы сказали,— улыбнулся Урманджан.— Только вот ведь какое дело. Вы говорите, что из всей этой затеи с ветвистым хлопчатником ничего не получится. Я этого не могу опровергнуть, потому что у меня никаких доказательств нет.

— Да, да,— заулыбался и Закир-ата,— доказательств нет.

— А вот агроном утверждает, что должно получиться. Но я и этого не могу опровергнуть, потому что ведь и против этого никаких доказательств нет. Не так ли?

— Так.

— Значит, кто же прав в этом вопросе — вы или агроном? Я не знаю, отец. Это можно выяснить только на опыте. Единоличное хозяйство, конечно, не могло пойти на такой рискованный шаг. Опасно было. А нам чего бояться? Мы в колхозе можем смело провести этот опыт, потому что крупному хозяйству доступно все, а мелкому — ничего. Должны ли мы воспользоваться преимуществом, которое дает нам крупное хозяйство? По-моему, должны, обязаы. А? Как вы думаете, Закир-ата?

Закир-ата начал как будто немного сдавать.

— А сколько надо выделить на это земли? — спросил он.

Оставив вопрос без ответа, Урманджан продолжал:

— Вот на днях придет сюда учитель Ибрагимов, профессор Иван Петрович. Он, я думаю, тоже будет говорить об опытном поле в первую очередь с вами и такими, как вы, опытными стариками...

Закир-ата торопливо прервал его:

— А Ибрагимов не говорил ученому человеку, что я против?

— Этого я не знаю, — улыбнулся Урманджан и подмигнул председателю правления.

— Это что же такое? — опять загремел Бутабай. — До каких же пор будут говорить, что у нас в колхозе есть люди, идущие против науки? Вот придет ученый человек. Спросит: «Где у вас опытное поле для науки?..» Закир-ата, — обратился он к старику, — что вы на это скажете?

Закир-ата сконфузился.

— Я не против науки. Ученье свет, неученье тьма, — это я хорошо знаю. Только...

— Хорошо знаешь, — подхватил Бутабай. — Нет, если бы хорошо знал, на палочке не прыгал бы! — напомнил он старику давнюю выходку, но Урманджан, подняв руку, остановил его и обратился к бригадиру:

— Кажется, вы хотели еще что-то сказать, Закир-ата?

— Хочу сказать, что Ибрагимов, — продолжал старик, — знающий человек, и хорошо знающий, но... молод! Молодой, а говорит так, будто бы у него за спиной семьдесят лет. Верно, иногда он и скажет... умное. А молод... Известно ведь: молодо — зелено. Вот и пельзя не перечить ему. Если б к его знаниям да седину...

Бутабай оглушительно расхохотался, а Урманджан, сам еле сдерживаясь от смеха, принялся объяснять старику:

— Закир-ата, агрономическая наука намного старше вас. Согласен — Ибрагимову не хватает лет, опыта. Но если учесть все, что он берет от науки, то окажется, что и седины у него больше, чем у любого аксакала, несмотря на молодость.

— И то правда, — согласился Закир-ата. — Разве я не

понимаю, что такое наука? Ладно, пусть делает, как знает. Дураку и наука впрок не идет, а наш Ибрагимов все-таки умный парень! — сказал он и, поднявшись со стула, направился к двери.

Урмаджан, шутливо разговаривая с ним, проводил его до калитки.

## ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

### 1

При обсуждении вопроса о приеме бригадира строителей Тулягана в кандидаты партии Зиядахон напомнила собранию о его ссоре с Бутабаем в те времена, когда колхоз только что становился на ноги. Но Урмаджан сказал:

— То, что было, прошло. Мы будем судить о человеке не по старым ошибкам, а по его внешним делам и поступкам.

А дела у Тулягана оказались такие, каких никто от него вначале и не ожидал. По его собственному признанию, он никогда в жизни не построил даже шалаша, а тут выдвинулся в бригады строителей, преодолел все трудности и вышел, можно сказать, на первое место среди колхозных бригадиров.

Трудно, очень трудно было Тулягану вначале. Правление приняло план строительства нового кишлака, общее собрание колхозников утвердило его. Но план есть только план. Средства у колхоза были весьма ограничены, строительные материалы отсутствовали, все колхозники круглый год были заняты на полевых и других работах, лошадей и волов приходилось добывать у Бутабая с боем, а главное — никакого опыта в строительном деле ни у кого не было.

Однако Туляган не унывал и трудностей не боялся. Они словно оттачивали его ум, развивали способности, изобретательность, поднимали энергию. Каждый день он приходил к Бутабаю с каким-нибудь новым предложением. По его совету, после раскорчевки зарослей часть леса сплавили по реке Аккул, и колхоз получил от этого неплохой доход. Доставка жженого кирпича со стороны отрывала от колхоза много тягловых средств и обходилась очень дорого. Туляган и тут обнаружил большую смекалку.



ку: он начал обжиг кирпича на месте, без специальных печей. Этот простой и удобный способ, позднее названный специалистами «методом капсапчей», переняли и другие колхозы. Видя энергию и способности Тулягана, колхозники стали прибавлять к его имени почтительное «уста».

Заядлый строитель, как называл его Урманджан, уста Туляган со всей душой занялся строительством нового колхозного кишлака и работал с таким напряжением, что не замечал ни времени, ни усталости. Когда он не чувствовал вокруг себя запаха глины и древесной стружки, беспокойная душа его, казалось, не находила себе места. Куда бы он ни приходил, с кем бы ни встречался, на каком бы собрании ни выступал, он говорил только о строительстве. Однажды из района приехал санитарный врач и прочитал лекцию о гигиене в повседневном быту. Уста Туляган и здесь задал вопрос, близкий к строительному делу.

— Правда ли, — спросил он, — что в Зимнем дворце царя не было вентиляции для освежения воздуха?

Врач с улыбкой посмотрел на него.

С некоторых пор бригадой строителей в Кошчинаре стали гордиться не только члены ее, но и все колхозники, и каждый из них, как только выпадало немного свободного времени, старался чем-нибудь помочь строителям. Поэтому строительство нового кишлака не прекращалось ни зимой, ни летом. Здание зимней и летней чайханы, детского сада, бани, распланировка улиц, проводка арыков, озеленение и посадка фруктовых деревьев — все это было готово раньше намеченного плана срока. А это дало возможность так же досрочно закончить строительство конторы правления колхоза, клуба и двенадцати жилых домов для колхозников. Контора правления и клуб должны были быть готовы только к маю будущего года, а постройку двенадцати домов предполагалось закончить лишь поздней осенью, однако строительная бригада уже в конце октября рапортовала правлению об окончании этого строительства.

Открытие колхозного клуба было назначено на пятое ноября в восемь часов вечера.

Здания правления колхоза и клуба были построены на южной стороне улицы, пролегающей вдоль канала, фасадом в сторону парка. Широкая площадь перед ними еще до наступления темноты стала наполняться народом.

Большой газокалильный фонарь, зажженный на площади, заливал ослепительным светом красные флаги, развеваемые на четырех колоннах под порталом здания, головы и плечи людей, толпившихся на площади и на широких ступеньках, ведущих в клуб.

В половине восьмого открылись тяжелые двери, и колхозники хлынули в фойе, а затем через три двери — в большой зал, ярко освещенный таким же фонарем, как на площади. Фойе и зал еще не украсили как следует к завтрашнему торжественному заседанию, но сцена была уже убрана красными флагами, зеленью и лозунгами.

Ровно в восемь часов к столу президиума вышли члены правления колхоза во главе с Бутабаем, председатель сельсовета Самандаров и секретарь райкома Ахмедов вместе с какой-то русской женщиной, уже немолодой, с пышными седеющими волосами. Весь зал встретил их олушительными рукоплесканиями.

Бутабай произнес краткое вступительное слово, открыл собрание и предоставил слово бригадиру строителей.

К трибуне вышел встреченный аплодисментами уста Туляган. Никто не ожидал от него длинной речи. Он должен был коротко рассказать о работе строительной бригады и зачитать поданный в правление рапорт об окончании строительства первоочередных объектов. Но, видимо, решив воспользоваться удобным случаем, он превратил свое выступление в целый доклад, начал с самой ранней истории строительства.

Председательствующий Бутабай, видя, что Туляган сел на своего конька и долго не слезет с него, вздохнул и решил не прерывать оратора, дать ему полную волю высказаться, тем более что все слушали очень внимательно.

Русская женщина, наклонившись к Ахмедову, что-то сказала ему шепотом. Ахмедов написал записку и передал Рузымату, сидевшему позади него, а тот сейчас же поднялся с места и вскоре появился в зале.

Канизьяк сидела рядом с Сидыкджаном и внимательно слушала выступление Тулягана. Когда Рузымат подошел к ней и сказал, что товарищ Ахмедов просит ее подняться на сцену, она покраснела и, машинально сунув в руки Сидыкджану свой головной платок, вышла из рядов. Через минуту среди кулис мелькнул подол ее красного платья.

Ахмедов, заметив Канизьяк, кивнул ей, чтобы она по-

дошла, и, когда та опустилась на стул рядом с ним, познакомил ее с русской женщиной.

— Корреспондент газеты «Известия», — шепнул он ей. Женщина протянула руку.

— Мария Федоровна Новикова.

Канизяк молча подала свою, но Ахмедов попросил назвать себя, и она сказала:

— Канизяк Фармашкулова.

Тем временем Туляган говорил о том, что правление не уделяет достаточного внимания строительству электростанции, поднял еще ряд важных вопросов и, таким образом, все торжества открытия клуба свел к обычному собранию.

Ахмедов, слушая его речь, то и дело брался за карандаш и записывал что-то в свой блокнотик. Новикова, заметив это, спросила его:

— Будете выступать?

Ахмедов утвердительно кивнул головой:

— Обязательно.

Послушав еще немного оратора, Мария Федоровна поднялась и позвала Канизяк за собой.

Когда они вошли в одну из комнат за сценой, Новикова вывернула фитиль сорокаваттной лампы, чтобы она горела поярче, и обратилась к своей новой знакомой:

— Привет вам от Ивана Петровича. Садитесь... Вы ведь знаете Ивана Петровича?

— Хорошо знаете, — ответила Канизяк по-русски, а когда Новикова поправила ее, отчетливо произнесла: — Я хорошо знаю Ивана Петровича.

— Иван Петрович, — продолжала Новикова, — пишет сейчас для нашей газеты статью об итогах опытов, проведенных у вас в колхозе. Я говорила по этому поводу с товарищем Ахмедовым. Он тоже считает ваши опыты крупным шагом вперед в агротехнике хлопчатника. Большую работу вы провели. Я представляла вас уже пожилой женщиной, а вы, оказывается, совсем еще молоденькая. Не расскажете ли мне о своей работе, о своей жизни?

Канизяк, с трудом вспоминая русские слова, жестами и знаками прося помощи у своей собеседницы, в трудных случаях примешивая и узбекские слова, сбивчиво стала рассказывать:

— Моя работа... Я звеньевая, бригадир Закир-ата... Социалистическое соревнование: надо было сдать один-

чадцать центнеров с гектара, сдали по четырнадцать. Будет еще по два центнера, коробочки раскрылись еще во все... Учусь. В моем звене все учатся. Недавно начали учить русский язык... Живу в доме тетюшки Анзират... Имею пятьсот трудовней. Говорят, получу много денег.

Новикова, быстро отметив что-то в записной книжке, спросила:

— А что вы думаете делать с заработанными деньгами?

Канизьяк ответила задумчиво:

— Хотела съездить в Москву... Увидеть Кремль, Мавзолей Ленина...

Немного помолчав, Новикова перелистала свою книжечку и сказала:

— Товарищ Ахмедов рассказывал мне про вас. Я знаю, что родились вы здесь, что родители ваши умерли, а выросли вы в Намангане. Может быть, расскажете мне, как вы жили до того, как приехали сюда.

— В Намангане у меня была названная сестра — Надежда Павловна, — начала рассказывать Канизьяк. — Вот из-за нее я оказалась здесь.

— А кто она и почему из-за нее?

— Она следователь. Я жила у нее три года, училась. Потом она послала меня учиться в Ташкент. Но я на станции Яккатут слезла с поезда и пришла сюда. Здесь и осталась.

— А как вы познакомились с Надеждой Павловной и почему она стала вам названной сестрой?

До сих пор Канизьяк, сидя с опущенной головой, отвечала на вопросы быстро, не задумываясь, и ей мешало говорить только недостаточное знание русского языка. Теперь она подняла голову и молча посмотрела на Новикову: видимо, ей не хотелось отвечать на вопрос. Новикова сначала не обратила внимания на замешательство своей собеседницы, а заметив перемену в ее настроении, удивилась и опять спросила о Надежде Павловне. Канизьяк снова повила, потупила глаза и, помолчав, тихо сказала:

— Спросите о другом.

Новикова, видя, что ей не хочется говорить о своем прошлом, не стала на этом настаивать.

Между тем собрание кончилось, из зала слышались громкие рукоплескания, гул голосов. Дверь комнаты рас-

пахнулась, и в ней показался Ахмедов, а вслед за ним вошли Бутабай, Урманджан, Ибрагимов и Закир-ата.

Ахмедов был очень весел.

— Вот это торжество! — сказал он, обращаясь к Новиковой. — Представьте, наше торжественное собрание вдруг превратилось в деловое, с критикой и самокритикой. По докладу уста Тулягана выступила девять человек, не считая меня. Значит, народ думает так: что завоевано — это наше, оно никуда не убежит, а лучше говорить о том, что еще нужно завоевать... Ну, а вы как, Мария Федоровна, закончили вашу беседу?

— Нет, — ответила, улыбаясь, Новикова, — наша беседа, кажется, только начинается.

Ахмедов взглянул на часы.

— Тогда условимся так, Мария Федоровна. Я сейчас уезжаю в Найман и заеду за вами в час ночи. Хорошо?

— Товарищ Ахмедов, — вмешался Урманджан, — завтра у нас будет уже настоящее торжественное собрание. Пусть Мария Федоровна остается, и мы сами доставим ее в район, когда она захочет. Доклад о годовщине Октябрьской революции у нас делает на этот раз женщина, наша Зиядахон. Будем премировать лучших ударников. А в концерте выступит колхозный музыкально-вокальный кружок.

Новикова с удовольствием приняла приглашение.

— погоди, — вмешался в разговор Закир-ата, — ты сказал насчет премирования, так вот я вспомнил... Дать повые дома ударникам — это, конечно, правильно. А что если один домик передать тетушке Анзират? Сын ее вот уже сколько лет служит в Красной Армии. Теперь, говорят, стал командиром. Он ведь тоже трудится для народа, а может, и в битву пойдет за родину... Это я в порядке совета, конечно.

Ахмедов обменялся быстрым взглядом с Урманджаном. Ибрагимов перевел Новиковой слова старика, и та с живым любопытством посмотрела на него.

— Хорошо, отец, хорошо, — сказал Урманджан, — обсудим на правлении.

Все вышли провожать секретаря райкома. После его отъезда Бутабай пригласил всех к себе домой на ужин. Закир-ата начал было отказываться, но Новикова настойчиво неспросила старика присоединиться к компании. Она

хотела поговорить с ним и за ужином забросала его вопросами. Как выяснилось, Закир-ата у князя, бывшего владельца водокачек, был когда-то псарем. Рассказав об этом, старик и сам удивился:

— Гляди-ка, за собаками ухаживал! Стыда, что ли, в себе тогда не имел?

После ужина Канизяк проводила Марию Федоровну в один из новых домов, где для нее была приготовлена комната.

## 2

В комнате стояли две кровати, покрытые новыми ватными одеялами, между ними — столик под висючей лампой с шелковым абажуром.

— Пожалуйте, Мария Педоровна, — сказала Канизяк, входя в комнату.

Новикова, кладя на стол свою шляпу и сумочку, заметила:

— Не Педоровна, а Федоровна, не «п», а «ф».

Канизяк поправилась, но в ту же минуту сделала новую ошибку. Спрашивая, когда можно будет прочитать в газете статью Ивана Петровича, она сказала: «Ивана Петровича». Но тут же сама сообразила, что допустила ошибку, и, застыдившись, обняла Новикову за талию.

— Когда вы приедете в следующий раз, я буду говорить по-русски без ошибок, — сказала Канизяк.

Мария Федоровна ласково взглянула на нее.

— Вы очень сметливая, и, мне кажется, у вас хорошие способности к языку. Вот сегодня вы переняли от меня несколько новых слов и уже пользуетесь ими в разговоре. Так вы очень быстро научитесь говорить по-русски без ошибок. А учились вы сначала, вероятно, у той самой Надежды Павловны? Извините, вы можете не отвечать на этот вопрос...

— Нет, почему же? Да, у нее я немного научилась русскому языку, — спокойно сказала Канизяк и спросила: — Вы обиделись на меня, когда я не ответила вам сегодня в клубе?

— Не я, а вы, как мне показалось, обиделись на меня за то, что я так настойчиво расспрашивала вас о прошлом.

— Нет, ападжан, не думайте ничего плохого. Я вам скажу, как мы встретились с Надеждой Павловной. Она

была следователь, а я тогда попала под суд. Меня обвинили в убийстве человека.

— В убийстве?

— Да.

— Это что же, была клевета?

— Да, меня оклеветали.

— Сколько же вам было тогда лет?

— Тринадцать.

— Какой ужас!

— Нет, ападжан, ужас был раньше... Эх, знала бы я говорить по-русски лучше, я рассказала бы вам...

— Ничего, ничего, рассказывайте,— подбодрила ее Новикова,— я вас очень хорошо понимаю.

— Да, вы хорошо понимаете, хотя я говорю плохо. Надежда Павловна была такая же...— задумчиво проговорила Капизяк.

А потом, с трудом находя нужные слова, медленно рассказала свою грустную повесть.

Капизяк была еще маленькой девочкой, когда на кишлак напали басмачи. Произошел бой, ее родители погибли во время резни. Басмачи жгли дома, и сгорел дом ее родителей. Маленькую девочку приютил местный бай Саид-Насыр, а немного времени спустя отдал ее своему родственнику, и тот отвез ее в город Скобелев. Это был богатый вдовец с четырьмя дочерьми. В доме была еще служанка, которая ухаживала за девочками. Временами Капизяк плакала, тоскуя по родителям, но жилось ей не плохо. Человека, который ее приютил, она стала, как и все девочки, называть «отцом»... Так прошло три-четыре года.

Как-то зимой, когда вся земля была белой от снега, служанка умыла, причесала, принарядила девочек и вывела их в мехманхану. Там за сандалом, пакинув на плечи теплый халат, сидел высокий толстый старик с мохнатыми бровями и длинной бородой с проседью. Бай усадил девочек за сандал. Старик, пошутив с ними, преподнес им подарки: одной — чангкауз, другой — губную гармошку, третьей — браслет, четвертой — серьги, а Капизяк — серебряное украшение на шею. Девочки, поблагодарив старика, ушли. Вечером бай позвал Капизяк к себе в комнату и сказал ей: «Отец твой, оказывается, жив. Если хочешь довидаться с ним, я отправлю тебя с этим стариком к нему. Он живет в Намапгане».

Канизьяк от волнения за всю долгую зимнюю ночь не сомкнула глаз. А утром она увидела подъехавшую к дому извозчицью коляску и, боясь, что старик не повезет ее в Намаган к родителям, подбежала к нему и повисла на нем, плача и упрямившая его... Старик засмеялся и усадил в коляску. Через полчаса они приехали на вокзал, сели в поезд. На другой день были уже в Намагане.

Как только старик привез девочку к себе домой, из множества комнат, расположенных по обеим сторонам двора, высыпали молодые женщины. Обратившись к ним, он сказал: «Вот я привез вам канизьяк».

Сердце девочки охватила тревога. «Почему он так говорит? — со страхом подумала она. — А где же мои родители?» Только потом узнала она, что старик обманул ее. Она хотела бежать, но куда убежишь? У старика было четыре жены и несколько наложниц. Девочка прислуживала им всем, и они пазывали ее «канизьяк».

— Значит, это они вас так прозвали, а настоящее ваше имя другое? — спросила Новикова.

— Мое настоящее имя — Ханифа, — грустно ответила девушка.

— Вот как! А я удивилась, услышав такое имя. Никогда не встречала у узбеков такого. Слово «канизьяк» я встречала в сказках «Тысяча и одна ночь». Но там оно имеет вполне определенное значение — псевольница, рабыня.

— Не знаю, что значит это слово, — тяжело вздохнув, проговорила Канизьяк. — Может, и так. Да и в самом деле так было...

Когда девочке исполнилось одиннадцать лет, старик велел надеть на нее паранджу. После этого Канизьяк отделила отдельную комнату и сказали: «Теперь ты уже взрослая, учишься содержать свой дом». С этого времени она была освобождена от обязанности прислуживать другим женам старика.

Прошло еще несколько месяцев. Однажды старшая жена повела девочку в баню. Вечером в тот же день пришел мулла и с ним еще несколько человек. Был приготовлен плов и разное угощение. С наступлением темноты две старухи надели на Канизьяк нарядные одежды и, ведя ее в комнату одной из молодых жён старика, усадили возле приоткрытой двери. Вскоре по ту сторону двери послышался голос муллы, читавшего параспев тексты из



корана. Закончив чтение, мулла повторил трижды какое-то слово. Старухи с обеих сторон толкнули Кашизяк в бока и прошипели: «Скажи: да». Не понимая, что происходит, Кашизяк повторила «да». Из-за двери тотчас же отозвались голоса: «Слышали! Слышали!»

Так был совершен брачный обряд, и Кашизяк стала одной из жещ старика, но поняла она это позже.

— Какой ужас!— с возмущением проговорила Новикова.

Кашизяк сидела перед ней, подперев щеку ладонью и грустно улыбаясь.

— Нет, Мария Федоровна,— сказала она,— в те времена это было обыкновенное дело. Что вы называете ужасом? То, что одиннадцатилетнюю девочку сделали женой старика? Или то, что я сама не чувствовала, что мне грозит? Вы думаете, что я очутилась в таком положении потому, что была сиротой? В те времена такая участь ждала многих девушек, даже имевших любящих родителей.

Кинул меня, как траву, отец,  
Продав меня, как айлу, отец.  
Юную выдав за старца седого.  
Зная ли, что в муках живу, отец?

Надо ль кумгану стоять на огне,  
Если не надо вскипать на огне?  
Юную выдав за старца седого,  
Счастья они не создали мне.

Раз посадив, поливают цветок,  
Каждый его охраняют листок.  
Что ж меня отдали старцу седому?  
Разве мне сверстник найтись бы не мог?—

тихо пропела Кашизяк, поблескивая влажными темными глазами, и, передохнув, пояснила:— Не я эту песню сочинила, и не я одна ее пела. Эх, Мария-апа, из таких песен можно составить большую книгу.

Некоторое время Канизяк даже сама не знала, что она замужем. Но однажды ночью внезапно открылась дверь ее комнаты, и вошел старик, накрытый с головой большим белым покрывалом...

Когда Мария Федоровна в клубе спросила ее: «А как вы познакомились с Надеждой Павловной», перед ее глазами сразу встало все это: белый халат, лоснящаяся бритая голова, брови, похожие на шерстяную веревку, широкая, как торба, борода, рот, подобный рваной дыре в овчине, два желтых клыка... и вся та ужасная почь. Чего только не приходится испытать человеку, чего не пережить, — все рано или поздно притуляется или совсем уходит из памяти, но ту ночь Канизяк не могла забыть. После нее она три недели лежала больной, а когда выздоровела, жалела, что не умерла.

Так прошло два мучительных года.

Пришла весна. Как-то старик сидел на супе в тени и попивал бузу. Вдруг он откинулся назад, выкатив глаза, упал на спину и, дернув раза два подбородком, замер. Старшая жена выбежала из своей комнаты и, упав на труп, начала громко причитать. Выбежали другие жены. Все они выли истошными голосами и рвали на себе волосы, одна только Канизяк, одепенев от страха, молча стояла в стороне. Собрались соседи. Старшая жена внезапно крикнула: «Она — убийца!» — и, бросившись на Канизяк, ударила ее ногой в живот. У Канизяк помутилось в глазах, и она упала, теряя сознание. А очнувшись, увидела себя на извозчиной пролетке рядом с милиционером.

Допрашивала ее та самая Надежда Павловна. Она очень хорошо говорила по-узбекски, и Канизяк со слезами на глазах рассказала ей все, что пережила. На следующий день она уже была на квартире Надежды Павловны, а с осени стала учиться в женском интернате. В дни отдыха девочки уходили из общежития к своим родителям или родственникам, а Канизяк шла к Надежде Павловне. Молодая русская женщина стала ей близким человеком, назвавшей ее сестрой.

А позднее та же Надежда Павловна решила отправить Канизяк учиться в Ташкент, одела ее во все новое, дала на дорогу денег, Канизяк вначале обрадовалась возможности получить образование, но что-то пугало ее в далеком незнакомом Ташкенте. И, доехав до Яккатута, она сошла с поезда и направилась в кипляк Капсанчи, будто

там кто ждал ее. Родной кипшак она узнала, но не могла найти то место, где стоял когда-то родной дом.

— У вас не было здесь родственников?— спросила Новикова.

— Нет. Мы ведь прибыли сюда из Бувайды. Я помню: моя мать вышла замуж за одного из капсапчей, по имени Фармапкул, а были у него тут родственники или нет, я не знала.

— Фарманкулова, значит, не постоянная ваша фамилия?

— Я не знаю имени своего отца. Звали его не то Курбан, не то Усман, точно не знаю. Только в детстве я слышала эти имена. Бабушка моя говорила о них...

— А вы рассказали бы здесь о себе, тогда, может быть, нашлись бы и родственники.

Канизяк грустно улыбнулась.

— Э, ападжан, мне казалось, что история моего замужества, смерть старика, суд надо мной известны всему миру и что от меня сразу же все отвернутся.

Канизяк ушла из родного кипшака в Бишсерку и поступила на работу в совхоз. Два года работала она там, но ее все время тянуло в Капсапчи. Наконец она не выдержала и, взяв расчет в совхозе, снова отправилась туда. Это было как раз то время, когда в кипшаке капсапчей организовался колхоз. Так и осталась здесь Канизяк. А Надежду Павловну она потеряла из виду. Вначале стыдно было писать ей, а когда написала, Надежды Павловны в Намангане уже не оказалось — письмо вернулось обратно.

— Вот и все,— закончила Канизяк свой рассказ.— Оторвала вас от сна, Мария Федоровна. Никому не рассказывала об этом, а теперь рассказала вам, и на сердце стало как-то легче... Потушить лампу?

— Да, заговорились мы с вами. Уже очень поздно, давно пора спать. Убавьте немного свет,— сказала Новикова,— и ложитесь.

Канизяк прикрутила фитиль лампы и легла на соседней кровати.

Проснулась она, когда в комнате уже играли солнечные лучи. Мария Федоровна сидела за столиком и что-то быстро писала. Чтобы не мешать ей, Канизяк тихонько оделась и вышла во двор.

Курбан-ата стоял возле террасы и раздувал самовар.

### 1

От множества красных флажков и флагов, развешанных повсюду — над покосившимися калитками и камышово-земляными крышами старого кишлака Капсанчи, над расположенными в центре нового кишлака зданиями школы, клуба, правления колхоза, детского сада и особенно чайханы, над построенными и строящимися по вновь проложенным улицам жилыми домами, — весь кишлак принял вид огромного цветущего поля, усеянного ярко-красными тюльпанами.

К вечеру с трех сторон — из Кошчинара, Кугазара и Бакакуруллака — потянулось к центру множество нарядно одетых людей.

Новикова целый день бегала по старому и новому кишлаку, заходила в дома, беседовала с людьми, но не чувствовала усталости. Она быстро переходила с места на место на площади перед клубом, делая фотоснимки. Вступающие на площадь и входящие в клуб колхозники, тащущие в кругу юноши и девушки, аплодирующие им старухи и старики, досрочно выполнившие план хлопководства бригады и лучшие ударники, ребяташки с красными флажками — все самое яркое, самое праздничное и радостное попало в объектив аппарата Новиковой.

Входные двери клуба широко распахнуты. У входа стоит Нишамбай. Он останавливает каждого входящего и вежливо предлагает вытереть ноги; иногда, по ошибке, останавливает и тех, кто выходит из клуба.

По стенам фойе, вокруг зала, развешаны лозунги и плакаты, диаграммы роста хозяйства колхоза, показатели выполнения договоров социалистического соревнования между звеньями и бригадами, красочные эскизы парка, общественных зданий и новых домов кишлака Кошчинар. На самом видном месте, у входа в зал, вывешен праздничный номер степной газеты с портретами передовых людей колхоза. По другую сторону входа, на витрине, выставлены новые журналы и книги.

В зале над сценой поблескивает красным лаком звезда; от нее веером в обе стороны расходятся флажки и знамена. Ниже на красном полотнище белеют буквы и

цифры лозунга в честь великой годовщины; от него по бокам цепи свешиваются транспаранты с цитатами из высказываний Владимира Ильича Ленина. В глубине сцены — большие, украшенные гирляндами зелени и цветами портреты Ленина, Калинина, Ахунбабаева. На переднем плане большой, во всю сцену, стол президиума, затянутый красной материей. По всему столу расставлены обернутые розовой бумагой глиняные горшочки с живыми цветами.

Колхозники неторопливо входили в зал и занимали места.

Канцзяк с Новиковой направились в первые ряды. Но не успели они сесть, как из-за темно-зеленой кулисы выглянул Ибрагимов и знаками позвал их на сцену.

В большой комнате за сценой уже собрались члены правления колхоза и лучшие ударники.

Внимание Новиковой привлекла Зиядахон. Она то перелистывала свой блокнот в синей обложке, то перекладывала его из одного кармана в другой, и, хотя разговаривала с окружающими, видно было, что все ее мысли об этом блокноте. Побледневшее лицо ее ясно выдавало, что она волнуется перед докладом. Ибрагимов подозвал Новикову и предложил ей сесть рядом с ним. Тут же сидел Бутабай, он показал ей список ударников, которые премировались новыми домами. Новикова стала переписывать фамилии в свой блокнот и, когда дошла до Канцзяк, спросила:

— Товарищ Бутабай, а вы знаете, что означает слово «канцзяк»?

Бутабай не мог ответить на этот вопрос и призвал на помощь Ибрагимова. Но и тот не знал точного значения этого слова. В этот момент вошел Курбан-ата с чашками чая на огромном подносе. Услышав, о чем идет разговор, он поставил поднос на стол и обратился к агроному:

— Разве вам, сын мой, никогда не приходилось слышать сказку о Далле и Мухтаре? Одна хитрая женщина по имени Далля продает купцу капиз, украденную у Харуп аль-Рашида. Купцу же она солгала, что капиз досталась ей по наследству от мужа. Вот и выходит, что канцзяк — это девушка или женщина, которую можно купить и продать.

— Значит, я правильно угадала,— сказала Новикова,— это рабыня.

Канизяк сидела в стороне и не принимала участия в разговоре. Но она поняла, что речь идет о ней, и, сдвинув брови, сердито взглянула на Марию Федоровну. Та в ответ кивнула головой и дала понять ей ласковым взглядом, что тайна не будет выдана.

— Но как же вы могли угадать, Мария Федоровна? — спросил Ибрагимов.

— А я тоже знаю одну из сказок «Тысячи и одной ночи», где слово «канизяк» употребляется в смысле рабыня, невольница, — ответила Новикова и обратилась к Бутабаю: — Как видите, нехорошее имя. Для передовой ударницы совсем не годится. Я бы на вашем месте внесла сегодня такое предложение: премировать Канизяк не только новым домом, но и новым именем — дать ей имя «Ханифа».

— Очень хорошее предложение и имя хорошее, — загудел Бутабай и, взглянув на смущенную Канизяк, нарочно еще громче сказал: — Вот как закончим уборочную, премируем ее еще хорошей свадьбой, Мария Федоровна. Тогда уж заодно запишем ей в загсе и новое имя.

Раздался звонок.

Члены президиума вышли на сцену и под аплодисменты заняли места за красным столом. Самандаров, открыв торжественное собрание, поздравил колхозников с наступающим великим праздником Октябрьской революции и, как только затихли аплодисменты, объявил:

— Слово для доклада имеет товарищ Зиядахон.

Зиядахон сильно побледнела, однако, стараясь не обнаруживать свою робость, твердыми шагами прошла к трибуне и, раскрыв блокнот дрожащими пальцами, оглянула зал.

В зале стояла тишина. Кто-то тихо кашлянул, и этот тихий кашель, прозвучавший так неожиданно громко, привел Зиядахон в замешательство. Почувствовав, что внимание сотен людей сосредоточено на ней, что все с напряжением ждут ее слова, она совсем растерялась. Прошло несколько секунд, показавшихся ей минутами, а она стояла и смотрела в зал, не в силах начать речь.

Урмаджан, заметив, что она сильно взволнована и никак не может начать свой доклад, налил из графина стакан воды и, ставя его на край трибуны, тихо шепнул ей: «Кого тут стесняются! Все свои — капсагчи!»

И Зиядахон, точно это и было то слово, которое она искала и никак не могла найти, сразу начала свою речь:

— Товарищи капсанчи... бывшие капсанчи! — поправилась она. — Товарищи колхозники!.. — Почти половину своего доклада она собиралась посвятить сущности и всемирно-историческому значению Великой Октябрьской социалистической революции, а затем, рассказав о победе колхозного строя, остановиться на успехах, достигнутых колхозом «Кюпчинар». Однако обращение «Товарищи капсанчи» увело ее в сторону.

— ...Сегодня мы празднуем годовщину дня, когда впервые над нашим кишлаком — кишлаком несчастных, обездоленных, рабски эксплуатируемых капсанчей — поднялось и засияло второе солнце, солнце Великого Октября. Это солнце осветило нам путь в другую, светлую, свободную и счастливую жизнь, где нет угнетения и эксплуатации человека человеком...

Речь ее полилась легко и свободно. Да, заговорив о прошлом, настоящем и будущем капсанчей, Зиядахон и не нуждалась ни в каких тезисах. И бывшие капсанчи, затаив дыхание, с волнением слушали ее речь, — это она о них говорила, о их борьбе за новую жизнь, о их трудовых подвигах на строительстве канала, на хлопковых полях, на стройках нового «Кюпчинара». Они шумно рукоплескали ей, из рядов то и дело слышалось:

— Верное слово, товарищ Зиядахон! Правильно!

Больше часа говорила Зиядахон. Когда она закончила свой доклад благодарностью великой большевистской партии, все поднялись и подкрепили эти слова горячими, дружными рукоплесканиями.

Постановление правления о премировании лучших ударников должен был прочитать бригадир Каримов. Но успел он еще дойти до трибуны, как из первого ряда на стол президиума бросили записку. Самандаров развернул ее и прочел:

«Сын мой Урманджан!

Я хочу сказать несколько слов в дополнение к докладу Зиядахон.

Твой Курбан-ата».

Самандаров усмехнулся в усы и передал записку Урманджану, а тот, прочитав ее, показал Новиковой и кив-

жул головой па старика; Курбан-ата, вытянув шею, нетерпеливо глядел на сцену из пятого ряда.

— Интересно, что хочет добавить этот старик к докладу?— спросила Новикова.

— Не знаю,— ответил Урманджан.— Хотите, вызову его?

Новикова кивнула головой, и Урманджан дал знак старику, чтобы он прошел за сцену.

Курбан-ата сразу встал, вышел из ряда и, прихрамывая, быстрыми шагами направился в боковой проход. В комнате за сценой его ждали Урманджан и Новикова.

— Ну, отец,— спросил Урманджан, придвигая старику стул,— что у вас за дополнение к докладу? Разве вам доклад не понравился?

Курбан-ата сел, задумчиво провел рукой по столу, смахивая соринку, затем проговорил взволнованно:

— Поправился, но я тоже хочу говорить. Сердце переполнено, сынок, не могу молчать...— Голос его дрогнул, на глазах показались слезы.— Дайте излить перед народом мою печаль! Она слоями лежит у меня на сердце.

— Э, отец, разве можно плакать в такой великий день, когда у всех радость на сердце! Что за печаль у вас? Что за горе?

Курбан-ата сразу овладел собой.

— Зиядахон,— стал он объяснять,— еще молода. Она только поцаслынке знает о прошлом калсанчей. Я хочу рассказать, что я сам испытал при князе, при ишане Абдуваккасе, юзбаши и эликбаши, что пережил, когда погубили моего старшего брата и обрекли мою мать на вечные страдания.

— Верно, следует рассказать. Я вас понимаю,— сказал Урманджан,— погибших поминают в дни больших праздников. Но, отец, будет ли удобно говорить об этом сейчас? Слышите, как люди рукоплещут? Это премируют ударников. Все веселые, все радуются... Будет другой, более удобный случай, и мы попросим вас рассказать.

Но Курбан-ата заупрямился. Тогда Новикова предложила старику, чтобы он ей рассказал об этом, и пообещала поместить его рассказ отдельной главой в книге о кишлаке калсанчей.

Официальная часть собрания кончилась. Все пачали поздравлять премированных, в зале и фойе стало шумно.

Вскоре начался концерт кружка самодеятельности



колхоза «Кошчинар». Нашлось много певцов и танцоров и среди зрителей, желающих выступить, концерт затянулся.

Курбан-ата, услышав от кого-то, что Новикова уедет рано утром, настойчиво потребовал от Урмаджапа, чтобы тот сейчас же устроил ему беседу с пей. И хотя Новиковой очень хотелось послушать концерт, она, не желая обидеть старика, решила тут же выслушать и записать его рассказ.

Концерт закончился только поздно ночью. Мужчины и женщины, парни и девушки хлынули из клуба на улицу и группами начали расходиться в разные стороны, в направлении Кошчинара, Бакакуруллака и Кугазара, раскинувшихся впризу, по берегу реки, которая при лунном свете сверкала молочной белизной. Молодежь уходила с песнями. Старики и старухи, вспоминая свои молодые годы, подшучивали друг над другом и шли медленно, опираясь на палки.

## 2

Канизьяк должна была почевать с Марней Федоровной, но ей сначала пришлось зайти домой. Новые туфли на высоких каблуках так жгли ноги, в них было так неудобно ходить, что она решила переобуться. Сидыкджан положил на плечи головку Насибали, услувшего на руках тетушки Анзират, Канизьяк взяла за руку Хашимджапа, и они двинулись в Бакакуруллак.

Тетушка Анзират, словно только она одна присутствовала на концерте, всю дорогу пересказывала, как танцевали, что пели.

Канизьяк сменила туфли, и Сидыкджан пошел ее провожать. Чтобы сократить путь, они шли верхней дорогой, пролегающей над Кошчинаром. Люди еще не спали, молодежь продолжала веселиться. Где-то вдали слышалась песня девушек:

В райсовете — настужь дверь:  
Все туда спешат теперь.  
Девушкам страны Советской  
Бай не страшен — жадный зверь.

Канизьяк остановилась, прислушалась. Песни раздавались с той стороны реки. От берега к берегу легла от луны светлая, переливающая серебрястой рябью дорожка.

Подлеги к нам, самолет,  
Позамедли быстрый ход:  
Мы к тебе письмо прицепим,  
В Кремль оно скорей дойдет.

Сидыкджап, задумчиво глядя на лупшую дорожку, сказал:

— Смотрите, Капизьякхон, как красива река почью. Раньше я почему-то этой красоты не замечал.

Капизьяк глубоко вздохнула.

— Да, Сидыкджап-ака,— также задумчиво ответила она,— многого мы не замечали раньше. А теперь вот и мы видим все красивое...

Они двинулись дальше. Но не прошли и полкилометра, как Сидыкджап опять остановился и восторженно воскликнул:

— Огни! Электричество!

Вдали за рекой горело бесчисленное множество огней.

— Верно, электричество!— радостно отозвалась Капизьяк.— Это колхоз «Янги Хаят» пустил гидростанцию.

На дороге показались темные силуэты двух человек, которые быстро приближались. Заметив их, Капизьяк схватила за руку Сидыкджана:

— Кто-то идет... Сойдем с дороги, спрячемся, Сидыкджап-ака.

Сидыкджап положил ей руку на плечо.

— Зачем?

— Как «зачем»? Что скажут люди, увидев нас вместе почью?

— А что они могут сказать? Не бойтесь, теперь не скажут ничего дурного.

Но Капизьяк потянула его с дороги вниз, за кусты, и Сидыкджап не сопротивлялся.

Это были Курбан-ата и Ибрагимов.

Курбан-ата, припадая на одну ногу, шел так быстро, что Ибрагимов едва поспевал за ним. Они ветром промчались мимо куста, но Капизьяк и Сидыкджап услышали, как Курбан-ата с тоской произнес какое-то слово и несколько раз повторил его.

Скоро они скрылись из глаз. Сидыкджап и Капизьяк двинулись на дорогу.

— Чем это так расстроен отец?— с беспокойством проговорил Сидыкджан.

Капизьяк была озадачена не меньше.

— Не знаю...— тихо сказала она и вдруг заторопилась:— Пойдемте скорее, Сидыкджан-ака, спросим у Марии Федоровны. Ведь они все втроем выпили из клуба. Мария Федоровна предупредила меня, что Курбан-ата будет ей что-то рассказывать, Рауф-ака — переводить, а она — записывать.

Когда они подошли к новому дому, Мария Федоровна стояла на террасе. Увидев Капизьяк, она спросила:

— По дороге никого не встретили?— и, не ожидая ответа, пригласила их в комнату. Она была сильно взволнована.

— Что с вами, Мария Федоровна,— спросила Капизьяк,— почему вы так на меня смотрите?

Мария Федоровна ничего не ответила на вопрос. Она то вставала, то садилась, то, заглядывая в блокнот, пыталась что-то сказать и не могла.

— Вы узнали бы своего дядю?— вдруг спросила она, и, страшно, на глазах у нее блеснули слезы.

В это время из-за двери послышался дрожащий голос Курбана-ата:

— Ханифа! Родная моя!..

В комнату быстро вошел Курбан-ата. Плача и улыбаясь сквозь слезы, он прижал к груди Капизьяк.

## ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

В конце декабря в одной из центральных газет республики появилась передовая статья под заголовком: «Ударники колхозных полей». В статье говорилось о передовых людях колхоза «Янги Хаят», «Коммунизм», «Ак алтын», имени Ленина и других колхозов Бухарской, Наманганской, Сурхандарьинской, Самаркандской и Ферганской областей Узбекистана, о методах сева, полива, обработки и сбора хлопка, созданных и создаваемых этими передовиками, а вместе с тем перед руководящими органами сельского хозяйства и деятелями науки ставилась задача — всемерно помогать ударникам, опытным и новаторам

колхозных полей, создавая все условия для обеспечения успеха их борьбы за высокие урожаи.

Эта статья была приурочена к открытию в областном центре совещания ударников хлопковых полей.

Канизьяк, которая теперь стала Ханифой Усмановой, никогда не думала, что ее опыты с ветвистым хлопчатником дадут такие результаты и что успех ее бригады превратится в такое большое событие. Ее не только послали на областное совещание ударников, но избрали в президиум этого совещания. В перерыве, когда ее окружили фотографии и корреспонденты газет, она сильно смутилась. Потом, овладев собой, она рассказала о парторге Урманджане и агрономе Ибрагимове, которые подхватили ее мысли о ветвистом хлопчатнике, об Иване Петровиче, который перевел неумелую практику в научный опыт, о рядовых колхозниках — членах ее звена, работавших на опытном участке, и, перечисляя имена этих колхозников, назвала и Сидыкджана Сахпбджанова.

Эта беседа была напечатана в областной газете, а через два-три дня на имя Сидыкджана в колхоз «Кошчинар» поступили сразу три приветственные телеграммы: одна — от брата и матери, другая — от председателя правления колхоза в Бахрабаде, Саттаркула, и третья — от бывшего кучера Сабирджана-кары Хайдара-али, который стал председателем сельсовета как раз в том кишлаке, где проживал Зуннун-ходжа.

А в середине января бывшие капсанчи увидели в одном из московских журналов большой очерк Марии Федоровны. В очерке рассказывалось о кишлаке Капсанчи того времени, когда земля и вода были в руках князя и ишана, о самих капсанчах, которые, как рабы, трудились на паразитов, а сами влачили жалкое существование — и досыта не наедались и с голоду не умирали, о Фарманкуле и его жене, которые героически погибли за Советскую власть во время гражданской войны, и, наконец, о пылких людях колхоза. Довольно много места в очерке заняла повесть о Ханифе, дочери героев гражданской войны, и старике Курбане — Мария Федоровна трогательно описывала их встречу.

Закир-ата, прослушав очерк Новиковой, пасунил брови и несколько обиженно проговорил:

— Пусть будет долгой ее жизнь, все у нее хорошо, обо всем она написала так, будто своими глазами видела,

но все же есть недостаток — зачем надо разносить на всю страну, что я был царем у князя?..

Свадьба Ханифы и Сидыкджана должна была состояться после распределения колхозных доходов. Но за несколько дней до отчетного собрания колхозников уста Туляган посоветовал отложить свадьбу на февраль, когда предполагалось пустить колхозную электростанцию. Совет был дельный — какая же свадьба без огней?

Впрочем, такое решение соответствовало и желанию жениха и невесты, ибо после распределения доходов у них оказалось очень много забот. Вначале им казалось, что самое большое и важное дело — это свадьба, но на «совещательном ужине» в беседе с друзьями выяснилось, что до свадьбы надо еще переехать в новый дом, а дом требовалось обставить всем необходимым.

Урманджан высказался по этому поводу так:

— Радость и веселье в доме должны быть не только в день свадьбы, но и каждый день после свадьбы, — и предложил сократить издержки на угощение почти в три раза. Прибавив к сэкономленной таким образом сумме еще столько же, можно было приобрести новую обстановку для нового дома. А мебель и многие из вещей надо было доставать в районном центре и в городе.

Жениху и невесте пришлось немало побегать по магазинам. Сидыкджан шутливо говорил Ханифе:

— В те дни, когда я стал ударником, я удивлялся тому, что одному человеку, оказывается, под силу столько работы. А теперь меня удивляет другое — неужели человеку, для того чтобы жить по-человечески, требуется столько вещей?

После того как все необходимое было закуплено и перевезено, Сидыкджан поехал за матерью в Бахрабад.

Он часто навещал ее и уже однажды намекнул ей, что намерен жениться; она сначала возражала против вторичной женитьбы сына, а когда он в последний свой приезд определенно сообщил о предполагаемой свадьбе, она сказала:

— Воля твоя, сынок, как хочешь, так и поступиай. — По-видимому, она поверила, что сын ее нашел в Кошчинаре свое счастье, и внезапно изменила свое отношение к будущей невестке. С тегушкой Анзират она уже заочно подружилась, а на свадьбу сына даже начала откладывать кое-что из своего заработка в колхозе.

Когда Сидыкджан пригласил мать на свадьбу, тетушка Хадича, быстро собравшись, захватила с собой подарки для тетушки Анзират, Ханифы, Хашимджана и внучонка Насибали и отправилась в Кошчинар вместе с сыном.

Сидыкджан долго скрывал от матери, что Шарафат подбросила ему ребенка, но теперь скрывать это уже не имело смысла, и он рассказал все.

Выслушав сына, тетушка Хадича тоже кое-что припомнила. Оказалось, что летом Шарафат явилась к ней и весь двор перевернула вверх дном. Кинулась было и на свекровь и побила бы старуху, если бы не подоспели соседи.

В Кошчинаре Хадича вместе с тетушкой Анзират, призвавшей на помощь соседок и близких знакомых, почти две недели работали не покладая рук, чтобы приготовить все для свадьбы: шили одеяла, подушки, готовили свадебные подарки для всех, кого полагалось одаривать, украшали и убирали дом «по-новобытному», расспрашивали знающих людей, как проводится «красная свадьба», советовались с Ибрагимовым. Курбан-ата с ревностью юноши бегал с разными поручениями, стараясь во всем помогать старухам.

Тем временем колхозная электростанция была закончена, и открытие ее назначено на второе февраля. Правда, уста Туляган говорил, что «авторитет» электростанции Кошчинара сильно подорван тем, что в соседнем кишлаке открылась более мощная, которая должна была дать энергию десяти близлежащим колхозам. Но хотя кошчинарцы и смотрели на свою маленькую электростанцию, оборудованную на месте старой водокачки, как на ишака, который может служить, «пока не подрос жеребенок», все же на открытие ее в Бакакуруллак собралось много народа.

Сыпал мелкий колючий снежок.

Бутабай открыл митинг. Урманджан произнес короткую речь и поздравил кошчинарцев с лампочкой Ильича. Бутабай махнул рукой — и по всему Кошчинару всныкнул электрический свет.

Теперь навеки была изгнана темнота с улиц старых и новых кишлаков, из дворов и домов. Все кошчинарцы — родственники, друзья, соседи, взволнованные и радостные, ходили из дома в дом и поздравляли друг друга.

Свадьба была назначена на воскресенье. За два дня до свадьбы Сидыкджан поехал в районный центр, чтобы

сделать последние покупки. Проезжая мимо райисполкома, он увидел огромного рыжего коня Зиядахон.

Сидыкджап зашел в райисполком. У дверей кабинета Мавлянбекова толпились сотрудники райисполкома и, вытягивая шею, заглядывали в полуоткрытую дверь. Зиядахон с кем-то разговаривала по телефону. Увидев Сидыкджана, она бросила трубку на рычажок и нетерпеливо спросила:

— Ханифа... Ханифа не с вами?

Сидыкджап не успел ответить, как она схватила его за руку и потащила в кабинет. Сотрудники расступились, давая пройти.

Не понимая, что происходит, Сидыкджап с волнением переступил порог кабинета.

Там были Мавлянбеков, Бутабай и незнакомый старик в русской одежде — крепкий, с большой белой бородой, закрывавшей его широкую грудь.

— А вот это и есть Сидыкджап Сахибджапов! — скавал Бутабай.

Старик встал, положил в пепельницу трубку, которую курил, и удивленно, сразу повлажневшими глазами посмотрел на Сидыкджана. Потом широко развел руки и, обнимая его, сказал на чистом узбекском языке:

— Не опоздал на вашу свадьбу...

Бутабай, увидев растерянное лицо Сидыкджана, громко расхохотался.

— Это Усман-ата!.. Что, не узнаешь своего тестя? Отец Ханифы! Твой тесть!

Сидыкджап снова обнялся со стариком.

Через несколько минут они поднялись, чтобы отправиться в Кошчинар. Кажется, все сотрудники райисполкома вышли на улицу. У всех на устах были имена Канизьяк-Ханифы, Курбана-ата, Новиковой...

Усман-ата шел размеренным шагом, обнимая за плечи то одного, то другого, жал им руки.

У подъезда их ждали кони.

Зиядахон выехала вперед, и все двинулись вслед за ней.

По мере того, как сокращалось расстояние между ними и Кошчинаром, Усман-ата волновался все больше. При мысли о том, что приближается момент, когда он увидит свою дочь Ханифу и брата Курбана, он испытывал небывалую радость, и только где-то в уголке сознания мелька-

ла мысль, что эта радость могла бы прийти несколько раньше. Ему хотелось и смеяться и плакать от этой огромной радости, которая не оставляла его с того момента, как он прочел очерк Марии Новиковой.

Всю дорогу он говорил без умолку. Припимался рассказывать то о случае с юзбаши в Бувайде, то о том, как он был сослан в Сибирь и как в шестнадцатом году услышал от одного человека, прибывшего из Бувайды, об исчезновении семьи и брата, то о своем участии в гражданской войне в Сибири, где он нашел вторую родину и работал теперь председателем райисполкома в Новосибирской области. И несколько раз повторил, как тепло принимала его Мария Федоровна в Москве и как жалела, что не могла поехать вместе с ним на свадьбу Ханифы и Сидыкджана.

Когда всадники въехали на мост, перекинутый над каналом, вдали между белыми домами на возвышенности и по берегу реки зажглись бесчисленные огни.

— Наш колхоз! — сказал Сидыкджан.

Усман-ата, натянув поводья, остановил коня.

— О-о, — восхищенно протянул он, — неужели так красив кишлак капсапчей?

— Эге! — весело отозвался на его слова Бутабай. — Когда-то вот так же я смотрел отсюда в сторону нашего темного кишлака и думал: «А где же кишлак? Да ведь это развалины старого кладбища!»

— А так оно и есть, — сказала Зиядахон. — Ведь это сверкает огнями наш новый кишлак — Кошчинар!

— Наша новая жизнь! — добавил Сидыкджан.

Усман-ата задумчиво произнес по-русски:

— Да, жить стало лучше, жить стало веселее...

И, не в силах выдержать последних минут ожидания, он пустил коня крупной рысью по новой широкой и ровной дороге.

Вдали радостно сверкали огни Кошчинара.

1951—1952



## МНОГОГРАННЫЙ ТАЛАНТ

Топкость и изысканность стиля, яркость детали, психологизм — вот что характеризует талант Абдуллы Каххара. Начав свой творческий путь в середине двадцатых годов, А. Каххар становится одним из зачинателей современной узбекской прозы.

Новелла, роман, очерк, драматургия, художественный перевод — успехи, достигнутые А. Каххаром только в одном из этих жанров, ставят его в ряд виднейших представителей узбекской советской литературы.

Писатель большого и самобытного дарования, он заслуженно считается основоположником и выдающимся мастером короткого рассказа.

Абдулла Каххар — один из первых узбекских романистов. В развитии узбекской большой прозы значительное место принадлежат романам «Мираж» и «Огни Кошчинара», повестям «Птичка-невеличка» и «Сказки о былом».

Сцены многих театров нашей страны и стран народной демократии обошла комедия «Шелковое сюзане». Без творчества А. Каххара невозможно представить себе современную узбекскую драматургию.

Значительны заслуги А. Каххара как переводчика, познакомившего узбекского читателя с лучшими образцами русской классики. Немалое место в его творчестве отведено и литературоведению и критике.

\* \*  
\*

Задача создания значительных реалистических характеров-типов, в которых отразилась бы полная социальная картина эпохи, как это было, например, в западно-европейской и русской литературе XVIII—XIX веков, выпала на долю узбекских советских писателей. К изображению прошлого своего народа обращались Хамза, Абдулла Кадыри, Айбек, Гафур Гулям. В их произведениях трагические судьбы людей показаны крупным планом, на фоне конкретных исторических событий. В рассказах же Абдуллы Каххара о прошлом событийная основа не связана с конкретным историческим фактом. Нет здесь и крупных столкновений характеров. Сюжетная основа рассказов обычно житейская, бытовая. Но писатель мастерски умсет вскрыть социальные корни этих буд-

нических непримотных событий. Так, в рассказе «Гранаты», беременная жена Турабджана захотела гранатов, а денег на то, чтобы их купить, нет. И муж решается украсть гранаты в саду соседа-бая. Герой рассказа «Больная» учит свою маленькую дочь молить бога о выздоровлении матери, считая, что это единственное средство спасти ее, в «Ворах» старик, у которого украли вола, обращается за помощью к представителям власти, но на взятки уходит все, что еще осталось в доме. В «Страхе» молодая жена шестидесятилетнего старика решается в грозовую ночь идти на кладбище в надежде, что муж отпустит ее назад к родителям... Читая эти рассказы Абдуллы Каххара, мы невольно переносимся в эпоху, которую можно охарактеризовать словами Н. Добролюбова — «темное царство». Мы видим тяготы, которые выпали на долю простого человека, сочувствуем его горю.

Трагична судьба Бабара из «Сказок о былом». Его подозревают в воровстве, а он даже не понимает, что происходит и в чем его обвиняют. Его берут под стражу, бьют, но он не может доказать, что он честный человек, на ночь его оставляют в незапертом помещении, он не догадывается уйти, его собирают казнить, а у него даже слов нет, чтобы защититься. Единственно, что он борется: «Не стреляйте в меня, жене укусила бешеная собака, если не верите — проверьте, она дома лежит, плачет... Не стреляйте в меня, если работа есть, прикажите, я сделаю. Спросите у Хатамака, и не боюсь работы. Жена дома лежит, плачет».

Как все это напоминает слова чеховского «злоумышленника»? Но Бабар — не повторение Дениса. Оба эти типа порождены одним социальным строем. Они, по словам самого Каххара, «две половины одного яблока». Психологические и национальные истоки этих образов самобытны. К тому же, в жанровом отношении эти рассказы различны. «Злоумышленник» — юмористический рассказ, хотя и здесь есть элементы трагического, «Тешикташ» — из «Сказок о былом», где изображен Бабар, больше трагический, чем комический.

Трагические сюжеты в произведениях Абдуллы Каххара не случайны. Трагична была судьба семьи самого писателя до революции. Скитаясь из кишлака в кишлак вместе с отцом в поисках работы, он не раз был свидетелем трагических событий в жизни трудовых людей.

Недаром Константин Симонов писал о «Сказках о былом»: «Все, что хотел сказать Каххар в своей книге, он сказал во вступлении к ней. К этому надо добавить, пожалуй, только одно. Эта книга написана мужественным человеком, хорошо знавшим всю огромность пути, который пришлось пройти его стране и ее народу, и достаточно сильно верявшим в будущее, чтобы не бояться вспоминать о прошлом, каким бы тяжелым и даже трагическим оно не выглядело в наших глазах»<sup>1</sup>.

Элемент трагического есть во всех сферах жизни. И человек социалистического общества не свободен от драматических и трагических состояний души. Другое дело — каковы формы проявления этих трагедий и чем они разрешаются?

Велико горе старого Асроркула — героя одноименного рассказа А. Каххара, он получил известие с фронта о гибели сына.

<sup>1</sup> Иж. «Дружба народов», 1970, № 6, стр. 130.

Асроркул не хочет выдавать свою боль, всю тяжесть ее он берет на себя. И у него хватает на это сил, так как он знает, что его горе — горе всех окружающих, всех жителей кишлака. Может, поэтому, каким бы напряженным и трагичным не было состояние героя, финал рассказа оптимистичен. А в рассказе «Тысяча одна жизнь» все оттенки состояния души человека — трагическое, драматическое, комическое — служат единой цели — показу возвышенного, героико-романтического. Если поступок Асроркула — героика обывденного, то действия Мастуры — подлинный героизм, усиленный введением трагического элемента. Победив недуг, Мастура возвращается к жизни.

В основе «Махалли» типичная для рассказов А. Каххара бытовая ситуация. Герой ее, Хикмат-ата, не воин, не передовик производства, в его облике нет ничего героического, это человек, который живет рядом с нами, наш сосед, знакомый, родственник. Он прожил с женой больше пятидесяти лет и теперь, потеряв ее, готов сам лечь в могилу. Писатель находит силу, которая способна вернуть его к жизни. Такой силой оказывается коллектив махалли — квартала, где нашлось для него дело, где его заставили поверить, что он нужен людям.

Жизнь и смерть — вот основная проблема этих рассказов А. Каххара. Позиция писателя — утверждение жизни. Всей силой своего таланта он убедительно показывает, что побеждают новые отношения между людьми, основанные на взаимной вырубке членов коллектива, на дружбе и товариществе. Только благодаря этому Асроркул, Хикмат-бобо, Мастура находят себя.

Вдумчивый и взыскательный художник, А. Каххар неутомимо работает над расширением жанрового многообразия своих произведений. Он обращается к новому для узбекской литературы того периода жанру романа.

Трагедия интеллигента, не нашедшего верного пути в жизни, — вот основной мотив романа «Мираж», опубликованного в начале 30-х годов.

Следует особо подчеркнуть писательскую смелость А. Каххара. Дело не только в том, что, когда Абдулла Каххар начал писать «Мираж», он был молод (ему было 25 лет), а главное в том, что литературная критика недружелюбно приняла зачинателя этого жанра в узбекской литературе — Абдуллу Кадыри. К тому же, Абдулла Каххар избрал довольно сложную тему — участь человека, колеблющегося, заблудшего, по своему духовному складу неустойчивого, переходившего в условиях острой классовой борьбы в первые годы Советской власти из одного лагеря в другой, эгоиста.

Частая и резкая смена настроений, непостоянство в важных жизненных вопросах, отсутствие твердых принципов — вот что характерно для главного героя.

Нити связывавшие Саиди с жизнью, рвутся одна за другой. Он громко призывал организовать, чтобы повернуть колесо истории вспять, мечтал стать знаменитым писателем, жениться на красивой девушке и, наконец, женившись, жить спокойно и в достатке. Но жизнь постоянно разоблачает ложность его идеалов. Он не может понять, что идет против течения, а думает, что сама жизнь враждебна к нему. Члены националистической организа-

нии один за другим исчезают, а люди, к которым Саиди относился с недоверием, становятся хозяевами жизни. Разрушилось то, что он собирался исправить, укрепилось то, что он хотел разрушить, то, что он считал прекрасным, оказалось безобразным, а то, что он представлял безобразным, оказалось прекрасным. Саиди тяготеет к жизни и считает смерть единственным средством, забавляющим от этого ада.

Символичен финал романа. Саиди решил умереть, бросившись под поезд. Но не просто умереть, а причинить как можно больше зла. Он надеялся устроить крушение пассажирского поезда, чтобы его единомышленники могли хоть некоторое время говорить: «Саиди погиб, устроив крушение поезда, во время крушения погибло столько-то человек». На самом же деле потерпел крушение товарный поезд, перевозивший скот. Саиди понял, что он уходит из жизни бесследно. Жизнь снова посмеялась над ним.

Смерть Саиди была смертью отщепенца. Ушел из жизни не только Саиди, ушли и его единомышленники. К. Симонов писал: «Еще в тридцатые годы мне довелось прочесть ранний роман «Мираж» — произведение, посвященное главным образом судьбам интеллигенции. Уже в этой книге проявились те примечательные свойства Каххара, как писателя, которые отличали его на всем протяжении жизненного и литературного пути: мужество в постановке самых острых и трудных проблем жизни и безбоязненная вера в то, что народ, ставший на путь Ленина, преодолет все трудности, что новое одержит победу над старым, каким бы сильным и ценным ни казалось и ни было в действительности это старое»<sup>1</sup>.

Сатира — вот в чем наиболее ярко проявился талант Абдуллы Каххара. Первые сатирические произведения совсем еще молодого Каххара относятся к тому времени, когда в этой области уже успешно работал Абдулла Кадыри, были известны своими сатирическими произведениями Хамза Хаким-заде Ниязи, Суфйзаде. Это было время, когда Садриддин Айни взял под обстрел сатиры основы старого общества. Талант Абдуллы Каххара вырос именно в этой литературной среде, в атмосфере этих литературных традиций.

В формировании сатирического таланта Абдуллы Каххара, помимо национальной литературы, велика роль общемировых литературных традиций, в частности, русской. Писатель сам это отмечал неоднократно. Так, признавая влияние Н. В. Гоголя на свое творчество, Каххар писал: «Эта книга («Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем». — М. К.) для меня, с одной стороны, стала учебником для изучения русского языка, с другой — она меня ввела в литературу, в которой звучала голоса не книжных, а живых людей, во всей полноте был виден их облик, как в зеркале отражался весь их внутренний мир»<sup>2</sup>. В той же статье А. Каххар пишет, что видеть самое характерное в жизни народа ему помогли «чеховские очки». Таким образом, в

<sup>1</sup> Ж. «Дружба народов», 1970, № 6, стр. 130.

<sup>2</sup> Ж. «Шарк юлдузи», 1952, № 3, стр. 45.

сатирических рассказах А. Каххара как бы сливались традиции узбекской и русской литератур.

Многогранны принципы и приемы создания сатирических произведений Абдуллы Каххара. Так, в рассказе «Националисты» двое людей, решивших посвятить себя служению нации, — поэт и редактор — идут по улице. Собака, лежащая у ворот богатого дома, останавливает их рычанием. Вот тут-то и раскрывается сущность персонажей. В споре о том, какому баю принадлежит эта собака, каждый старается показать себя близким знакомым баю. Но собака не признает ни того, ни другого. Писатель показывает здесь, как люди, «посвятившие жизнь служению нации», униженно раболепствуют перед богатством. Это иное, чем раболепство нижестоящего на служебной лестнице перед вышестоящим. Националист имеет определенный политический облик, претендующий на героизм, жертвенность. Нужно было доказать продажности этого политика, развенчать его ложный героизм и смехотворность его мнимой жертвенности.

Морально-этические устои старого общества калечили, уродовали людей. Абдулла Каххар некоторые свои произведения посвятил именно этой проблеме. Он считал, что борьба с пережитками прошлого в морально-этическом плане заключается в том, чтобы показать уродство уродливого.

Сатирический рисунок в повелле «Женщина, не евшая изюма» складывается из единства изображенных в нем персонажей: муллы Наркузи и его жены. На протяжении почти всего рассказа эти два человека кажутся дополняющими друг друга, очень хорошо подходящими один к другому. Оба чрезвычайно «преданы» предписаниям шариата. По представлениям муллы Наркузи, если женщина поздоровалась с мужчиной за руку, то это все равно, как мусульманину прополоскать рот водой во время поста. Если женщина работает продавщицей в аптеке, кондуктором автобуса, то она обязательно общается с мужчинами и теряет стыд. А если уж она артистка и «танцует перед публикой», то это позор невиданный. Женщины-врачи, разумеется, тоже бесстыжие. И вообще удивительно, как это девушка на выданье ходит в школу. Мулла Наркузи всегда находил возможность поговорить о распущенности женщин, занимающихся общественно полезным трудом. Исключение среди женщин составляет лишь его жена.

Жена муллы Наркузи не женщина, а ангел. За ворота она не выходит, а во дворе у себя готова появляться в парандже: строго соблюдает молитвы и посты; «для нее показать ногу выше щиколотки — грех, поэтому она носит штаны с тесьмой»; если она оказывается в обществе женщин, сбросивших паранджу, то брезгует даже их разговорами; закрывает лицо даже от пролетающего самолета, а уж когда мулла Наркузи иногда в шутку скажет: «Хочу, чтобы ты сбросила паранджу», она отвечает: «Каждому лежать в своей могиле... Если я вам надоела, не позорьте меня на этом свете и отпустите меня...» Даже изображениям людей на рисунках она выколола глаза, потому что стесняется их взглядов... Ни с кем в махалле она не дружит. У нее есть одна-единственная подруга. В чистоте нравов она оставила позади себя даже жену Наркузи. Он ведь ни разу не слышал голоса этой женщины, хотя она иногда живет у них неделями. Она строго соблюдает время намаза, а по-

стится дополнительно еще в месяце ашур. Она не ест хлеба из пекарни и мяса животного, зарезанного на бойне, — одним словом, подружки одна примернее другой. Судя по этим описаниям, пет в мире семьи, нравы которой могли бы равняться чистоте нравов семьи муллы Наркузи. Не зря же с таким возмущением мулла брызжет слюной по поводу поведения других женщин. И только в самом конце рассказа выясняется, что подруга жены, которая жила неделями в доме муллы Наркузи, была мужчиной.

В рассказе же «Хвостатые люди» истинный облик изображаемого персонажа американского туриста раскрывается с самого начала. Вначале дается его портрет: «...худой, лысый субъект лет сорока пяти с голодным блеском в глазах...» Эта портретная характеристика уже объемна. У человека, «владеющего небоскребами, висящими дорогами, представителя страны, считающейся самой богатой на земле, голодный блеск в глазах. После этого писатель, естественно, более подробно останавливается на действиях и поступках туриста; рассказывает об удивлении, которое у него вызвал узбек, заговоривший с ним по-английски; он ощупывает его чапан, тубетейку и даже дергает за бороду — не накладная ли. Становится ясно, что этот субъект и вправду голодный, но это особый голод.

Как и в рассказах «Человек без головы», «Женщина, не евшая яюма», Абдулла Каххар здесь находит завязку, позволяющую более выпукло показать жизненный материал. Эта завязка гротескна. Турист не верит ничему увиденному, он ищет чего-то ненормального в нашей жизни — хвостатых людей. В каком бы районе города он ни был, в какой бы дом ни вошел, он смотрит, не оттопырены ли подошлы. В театре он ходит за теми, кто одет в широкую национальную одежду.

Наконец, сопровождающий помогает ему найти и сфотографировать «хвостатых людей». Гость отбывает, обрадованный тем, что у него есть нужная пленка. На самом же деле искусство фотографа помогло снять с хвостом его самого.

Фантастика и приключения дают писателю значительную свободу. Вводя элементы фантастики и лишь внешне их обосновав (например, герой видит во сне, или бредит в лихорадке, или грезит, опьяненный наркотиками), писатель заставляет его пережить различные приключения, в которых выявляются истинные мысли и чувства персонажа, характеризующие его как социальный тип.

Герой рассказа «Знамение» Саид Джалалхан, размышляя о дороговизне кишмиша и дешевизне кукнара в николаевские времена, облокотился о стену и закрыл глаза. Отогнать платком муху на носу ему было лень, и он дунул на нее, вытянув нижнюю губу. Муха поднялась, но тут же села ему на губу. Саид Джалалхан чуть пошевелил губой и прикусил муху за ногу. Пока он поднимал руку к губам, чтобы схватить эту попавшуюся в ловушку падюеду, отомстить ей, покругить ее в пальцах и выбросить, проклятая муха оставила ногу и улетела. Саид Джалалхан рассердился: человеку только удалось раздобыть кукнар и начать кейфовать, и тут эта муха.

Все эти подробности с мухой, типичная для паркоманов гневливость — реалистические штрихи, усиливающие сатирическое звучание рассказа.

Саид Джалалхан погружается в грезы, переживает мпожество приключений. С помощью мухи он становится невидимкой и собирает весь предполагаемый в кишлаке кукнар. Становится во главо большого войска. Удоставляется звания хана, объявляет войну... Одним словом, чего только не совершает Саид Джалалхан.

Изображение самих приключений Саид Джалалхана по своей направленности сатирично. Каждый раз, когда Саид Джалалхану в голову приходит новая мысль, ему кажется, что голова его увеличивается. Первый раз, когда он придумал, что вокруг хлопкового поля следует посеять мак (кукнар), он почувствовал, как у него стало больше ума и голова увеличилась. Мысли следуют за мыслями. Если уж он мог заставить посеять мак вокруг хлопкового поля, почему бы ему не заставить засеять всю землю, — думает он. Он почувствовал, как от этих мыслей голова его стала еще больше. Мысль будит мысль. «Если тем же начальственным тоном, каким говорил с председателем, поговорю с правительством, разве я не смогу объявить себя ханом?» От этой мысли голова его, кажется, еще больше отяжелела, и он думает: «Если ум делает голову такой большой и тяжелой, я верю, что Платон умер не своей смертью — конечно же, его раздавила собственная голова». К концу рассказа уже немного пришедший в себя Саид Джалалхан не теряет уверенности, что голова увеличивается от ума: его друг Шамсутдин, услышав его бред, объясняет, что никакой войны, никаких войск нет, это труба в печи плохо тянет.

Если воображаемые приключения героя в «Знамении» носят фантастический характер, то в другом рассказе Абдуллы Каххара — «Диспут на том свете» основное место принадлежит реальности, характеризующей конкретное время, конкретные условия жизни. Герой рассказа не наркоман, как в «Знамении». На вопрос, кто ты? — он отвечает: «Мастер Турдиали, мастер телеги в колхозе...» И здесь уже характеристика времени.

Острые сатиры в «Знамении» направлено против определенного отрицательного типа. В рассказе же «Диспут на том свете» мы видим совершенно иную картину. Здесь Абдулла Каххар с присутщей ему беспощадностью высмеивает догматы религии, но делает это через посредство положительного героя. Уста Турдиали колхозник, к тому же активный и передовой, признанный мастер своего дела, уважаемый человек. Кроме того, уста Турдиали не выносит беспорядка, о недостатках людей привык говорить прямо в лицо.

В сатирическом произведении, как известно, не обязательно герой, непосредственно отражающий идеал писателя. Когда писатель рисует отрицательные явления жизни, образы, выражающие его высший идеал, как бы находятся за сценой, а когда они непосредственно участвуют в действии, то не выступают на первый план.

Сатирический тип Пурматджана в рассказе «Девушки» во многом напоминает Фахритдина из «Человека без головы». Он такой же простоватый, ничемный человек, лишенный чувства времени и пространства. В жизни все переменялось, а сознание Пурматджана осталось прежним. Он, сын известного духовного лица — ишана, живет надеждой на то, что ему будут принадлежать дочери Ядгара, завещанные когда-то ишану по обету.

Давая портрет Нурматджана, писатель подчеркнуто пронизирует и не скрывает своего отношения к герою. Однако сатирическая оценка как бы пересказывается в форме косвенной речи, писатель как будто и не соглашается с этой оценкой: «Говорят, вокруг Нурматджана роятся мухи». Автор добавляет: «Неправда! Что им делать вокруг него?» Как будто кто-то говорит о природном дефекте близкого рассказчику человека, а ему важно не поставить его в пеловкое положение, и поэтому он все отрицает. «Говорят, по краям рта у него заеды». Писатель как будто просто передает чьи-то слова. Как и выше, вслед за этим идет пояснение: «Это вовсе не недостаток, а достоинство — признак безгрешности...» Рассказчик будто хочет создать приятное впечатление даже от такого малопривлекательного зрелища.

Комичны не только портретные черты Нурматджана, комичны его действия, поведение. Нурматджап ходит и радуется, надеясь быть хозяином дочерей Ядгара. Жизнь же идет своим чередом. Перемены в жизни коснулись и дочерей Ядгара — Каромат и Адолат. Теперь они сами распоряжаются своей судьбой. Старшая руководит заводом, младшая становится ученым-химиком.

Здесь сатирический эффект создается тем, что писатель формально как будто сочувствует главному персонажу: «Не успели моргнуть, как Каромат заневестилась. Нурматджап начал было хлопотать о свадьбе, вдруг вмешался женотдел, и дело расстроилось: видите ли, девушка, оказывается, не пожелала Нурматджана». Очень интересно само построение фразы. Как будто рассказчик на стороне Нурматджана, осуждает Каромат, vastuпается за Нурматджана и чернит Каромат. Даже от имени Нурматджана говорит: «Пусть она сама найдет себе наказание». В рассказе «Девушки» писатель сумел показать полярно противостоящие стороны жизни. Образы девушек — Каромат и Адолат, — символизирующие поступательные силы общества, занимают очень небольшое место, они даже непосредственно не участвуют в событиях, мы лишь узнаем некоторые факты их биографии.

В рассказе А. Каххара «Клевета» о положительных силах мы не знаем почти ничего. Но и здесь положительный и отрицательный полюсы различаются ничуть не меньше. И здесь образу, являющемуся предметом сатиры, уделено основное внимание, все художественно-выразительные средства. Перед нами удивительно объемно предстает человек, поставивший себе жизненной задачей завоевание успеха за счет других и применяющий для этого самые грязные средства: «...в черном плаще, черной шляпе, черных очках... Он имел картинно-зловещий вид. Черная одежда и черные очки делали его лицо особенно бледным и каким-то неживым». Далее писатель замечает: «...Казалось, присуй под подбородком две скрепленные кости, и готов череп, какие изображают на высокольтных столбах...». «На нас пахнуло сыростью и запахом несвежего мяса». Писатель вызывает у читателя отвращение к создаваемому образу, в рассказе даже нет имени персонажа, автор называет его или «клеветником» или «гноинником».

Во всех этих портретных и психологических чертах персонажей активно выступает положительный идеал писателя, который хочет видеть жизнь без этих «клеветников», «гноинников».



Юмористические рассказы А. Каххара отличаются ярким своеобразием.

Насколько разнообразны оттенки человеческого настроения, настолько разнообразен и смех. Абдулла Каххар пользуется смехом, чтобы утверждать в жизни положительные явления, показать свою благожелательность, любовь к ним, а также для борьбы с различными отрицательными явлениями, высказывая гнев и нетерпимость к ним<sup>1</sup>. Так, Абдулла Каххар часто избегает непосредственного изображения событий и передает их сущность через восприятие коллектива. Наиболее характерен в этом отношении его рассказ «Траур на свадьбе», построенный по принципу антитезы.

В начале рассказа мы видим героя глазами жителей махалли: благородство и честность, доброта и прямоту давно сделали Мухтархана Мансурова душой квартала. Он здоровался со всеми, от мала до велика, с молодыми умел пошутить, со стариками побеседовать по-стариковски, степенно, искренне разделяя чужую радость и чужое горе. Если он уезжал, в квартале становилось как-то пусто...

Вдруг домла овдовел, и махалля полна слухов. «Говорят, Мухтархан-домла женится». Хотя никто еще не видел будущую жену, но о ней есть уже определенное представление: избранница домлы, конечно же, должна обладать теми же качествами, какими обладает он сам. Махалля ждет с нетерпением, и каждый думает о том, что подарить на свадьбу. Однако, к удивлению жителей махалли, поведение домлы резко меняется. Он сбрил бороду, стал избегать людей, проходить по другой стороне улицы. Более того, его, одетого в тубетейку, узкие брюки, клетчатую рубашку, с громадными золотыми часами на запястье, видят в парке за непривычным занятием — он пьет пиво. Говорят, домла, «кроме двух кружек пива, опрокинул в себя сто граммов водки и, купив огромный букет цветов, скрылся в кривой улочке за парком».

Юмор заключен уже в одном том, как уважаемый, чрезвычайно положительный человек теряет прежний облик и начинает совершать нелепые поступки. В таком же юмористическом ключе написан портрет невесты: «...она действительно молодая и до смешного толстая. На ней было красное платье, на голове красная шляпка, и даже сумка и туфли резали глаза красным цветом — леденцовый петушок на палочке!..»

И свадьба описана в комическом плане. Счастье домлы никем не признается. Он будто бы счастлив, но как-то неудобно поздравлять его. Женит с невестой, изображаящие веселье, хотят показаться перед гостями особенно счастливыми. Но вызывают они у читателя смех и сожаление. А домла не сомневается в собственной правоте, а если и сомневается, пытается скрыть это. Все старания домлы были направлены на то, чтобы казаться моложе. Что бы ни делал, о чем бы ни говорил, он пользовался всякой возможностью показаться моложе и готов был отдать душу и весь мир человеку, который ему скажет: «Вы еще молоды». Но, провожая

---

<sup>1</sup> А. Шарафутдинов. Вступительная статья к кн. «А. Каххар. Собр. соч. в шести томах», т. I, Ташкент, УзГНХЛ, стр. 24.

молодую жепу на курорт, он поднимает тяжелый чемодан, надрывается и умирает.

В некоторых рассказах Каххара, относящихся к 30—40-м годам, показаны юмористические образы людей, лишенных чувства реальной самооценки. Каждый из них чрезвычайно переоценивает себя, свои способности и знания, культурный уровень.

Так, один из юмористических персонажей (рассказ «Учитель словесности») Бакиджан Бакаев называет себя не просто преподавателем литературы, а «учителем изящной словесности». Ему кажется, что происходящее вокруг делается по его повелению, благодаря его энтузиазму и уму.

В комическом рассказе «Речь» всего два персонажа. Один из них — оратор — человек, претензии которого совершенно не соответствуют его сути, второй — жена оратора. Ситуация построена на взаимоотношениях мужа и жены. Может ведь быть так, что на службе претензии человека не соответствуют его истинной сути, а дома — все иначе. Но в «Речи» мы видим несоответствие между претензиями и сутью человека и в семье, и на службе. Вернее, это противоречие настолько сильно на службе, настолько смешотворно и дома.

Писатель рисует человека, абсолютно не считающегося со слушателями, набравшегося избитых казенных фраз, так что в их потоке тонет всякий смысл. Каххар мастерски подбирает характерные слова и выражения и ставит героя в такое положение, когда нелепость его речи выявляется наиболее ярко.

Отношение к происходящему сквозь призму восприятия другого персонажа более наглядно проявляется в рассказе «Этакий упрямец». Сюжет его напоминает нам рассказ «Учитель словесности». Если в «Учителе словесности» комизм создается речью Бакаева, то в «Этаком упрямеце» — через диалог двух невежественных «знатоков». Из диалога вырисовывается тип безграмотного невежды, претендующего на ученость. Оба они оказываются ниже школьника Суяра, но и, убедившись в скудности своих знаний, упорно стремятся сохранить престиж.

Рассказ «История одной телеграммы» тоже комический. Годы Великой Отечественной войны. В одном из узбекских колхозов пять старух объединяются в звено и вырачивают шелковичные коконы, они получают большой урожай и первыми в районе сдают его. Есть неуловимое внутреннее «противоречие» между величию их трудовых подвигов и бесхитрым простодушием в повседневной жизни, как будто они даже не очень понимают, как значительно и важно совершаемое ими дело. Улыбку вызывает именно это «противоречие».

Среди произведений А. Каххара о войне по тематике, характеру главного героя особняком стоит рассказ «Золотая Звезда». Автор изображает героя с благожелательной улыбкой, что сближает тональность рассказов «Золотая Звезда» и «История одной телеграммы». Следя за поступками Ахмаджана, слушая его речи, мы смеемся. И здесь то же противоречие. Простой труженник, оп имеет самые приблизительные представления о воинской службе, о боях и вообще о войне. Но при всем при этом в ответственный момент он способен на героический поступок.

Когда речь идет о рассказе Абдуллы Каххара «Золотая Звезда», невольно вспоминается маленькая страница биографии писа-

теля. Абдулла Каххар в годы Великой Отечественной войны попадает в ряды Красной Армии. Сейчас можно себе представить, какие комические моменты он, человек, привыкший к мирному труду, мог пережить на военной службе, к тому же в военное время. Видимо, рисуя героя «Золотой Звезды», он «описывал» именно то, что может видеть, слышать и пережить человек, неожиданно попавший в эту необычную для него обстановку.

Доброжелательным смехом пронизаны и крупные произведения Абдуллы Каххара. Из драматических наиболее характерным является «Шелковое сюзане».

Той же благожелательностью смеха характеризуется авторская интонация повести «Птичка-невеличка», особенно страницы ее, посвященные Саиде. Но здесь аналогия не полная. Если смех в упомянутых рассказах возникает из «противоречия» между делами персонажа и его простодушием, то в образе Саиды комизм возникает из несоответствия внешнего вида героини ее делам. Внешне Саида простодушна и наивна. Но по своему духовному миру она не только человек своего времени, но в чем-то даже перегнавший его.

Абдулла Каххар писатель острого классового чутья. Это свойство обнаруживается и тогда, когда он пишет о прошлом своего народа, и в равной мере тогда, когда он обращается к его сегодняшнему дню. Так, в период революционных преобразований становится особенно ясно, что не все обладают способностью ориентироваться в перипетиях классовой борьбы, правильно осмысливать ход истории. Люди, лишенные исторического чутья, прямо и открыто выступают против революции. А некоторые, не преследуя особых классовых интересов, могут оказаться под влиянием отжившей идеологии и примкнуть к врагам прогресса, как это было с героем романа «Мираж» Саиди. Но бывают и такие, которые, хотя и принадлежат к классу трудящихся, по энергии цепляются за отжившие понятия и представления. В определенных условиях эти люди могут осознать ложность своей социальной позиции и вернуться в свою среду, к своему классу. Изображению судеб таких людей Абдулла Каххар посвятил роман «Огни Кошчнара». В романе изображена жизнь узбекского народа в начале 30-х годов, в период великих перемен, революционного перелома всемирно-исторического значения, в годы индустриализации. Все эти перемены вызвали резкие изменения в психике людей, что открыло перед писателем возможность создания типа человека, совершившего ошибки, но в результате этих перемен снова нашедшего себя и вставшего на верный путь.

В романе изображена типичная для жизни узбекского крестьянства 30-х годов ситуация. Эта ситуация связана с образом бая Зуплуца-ходжи. Бай, хорошо разобравшийся в обстановке в дни земельной реформы, чтобы сохранить свою собственность, выдает дочь за своего батрака Сидыкджана.

Постепенно в сознании Сидыкджана происходит перелом: он видит, что батраки начинают жить по-другому: они объединяются в артели и руководят хозяйством сами, и он решает покинуть семью бая. Путь Сидыкджана — это путь от байского батрака до активного члена коллективного хозяйства.

Не менее важны побочные сюжетные линии в романе. Так, особый смысл приобретает судьба семьи Курбана-ата. События шестнадцатого года, беспощадные классовые бои в годы революции и гражданской войны оставили в судьбах этих людей глубокие следы. Одни из них погибли (жена Курбана-ата), другие, расставшись с родным краем, скитались по белому свету (отец Каниаяк — Усман-ата), батрачили у баев и кулаков, потеряв имущество и близких (Курбан-ата). Прошли годы, изменилась жизнь, и семья Курбана-ата опять собралась вместе.

Работа над романом и его вариантами, критические замечания литераторов вплотную подвели Каххара к очень важной проблеме — созданию образа положительного героя, наиболее полно выражающего идеал писателя. Так появилась замечательная повесть «Птичка-невеличка».

Когда писатель приступил к созданию положительного героя повести, в его арсенале, кроме «Огней Кошчинара», были рассказы «Прозрение слепых», «Тысяча и одна жизнь» и др. Кроме того, одним из первых опытов в создании положительного героя у Абдуллы Каххара был роман «Мираж». Однако заметим, что в изображении положительных персонажей здесь отразились тенденции, свойственные некоторым другим советским писателям двадцатых годов — образ положительного героя дан преимущественно с внешней стороны, без углубления в его психологию. В рассказе «Золотая Звезда» в изображении положительного героя писатель шел совершенно новыми путями, сочетая очерковый стиль с чертами приключенческого жанра. Некоторые биографические данные и герои персонажа даны в приключенческом плане, без особого внимания к психологической обоснованности поступков героя. С точки зрения реалистической полноты более совершенные образы представителей передовой советской молодежи в пьесе «Шелковое сызгане».

Читая произведения Абдуллы Кадыри, Айбека и других, мы с первого знакомства с героями представляем их себе физически красивыми, сильными, почти сказочными богатырями, и внутренний мир их богат, они умны, рассудительны и т. д. Такими мы их любим, хотим им подражать, хотим жить так, как живут они, бороться так, как они боролись за права человека. И вот образ главной героини повести «Птичка-невеличка» Саиды. Она ничем особым не отличается. Но один из персонажей повести как бы по этому поводу говорит другому: «Мы с тобой сами себе кажемся богатырями, но положи нас на одну чашу весов, а такую вот пиалицу на другую, вдруг, чего доброго, возьмем да взлетим к небу вверх тормашками».

В раскрытии характера героини решающую роль играет противостоящий ей персонаж — Каландаров. Он всегда в центре внимания писателя. Однако все, что говорится о Каландарове, все, что он делает, подчеркивает особенности образа Саиды. Таким образом, характер Каландарова является как бы основным мериллом тишеских черт Саиды. Перед читателем Каландаров предстает как могучая личность, позволяющая себе все и не признающая ничего. Происходит борьба двух противоположных сил, резко противостоящих не только по своим морально-этическим качест-

шам, но и внешним видом. Одна сторона — сильный, могучий, испытывавший свои возможности и всегда выходявший из сложных ситуаций с победой, к тому же опьяненный этими победами Каландаров; другая — внешне слабая, хрупкая, пока еще ничем себя не проявившая Саида.

Шаг за шагом писатель прослеживает отношения своих героев. Они вступают в «бой», в котором проявляются их человеческие качества. Саида постепенно, но активно входит в курс колхозных дел, а Каландаров всячески стремится дать ей понять, что совершенно не интересуется ни ею, ни ее работой.

Писатель не изображает Саиду всемогущим и всезнающим партийным руководителем. Но он сумел в этом хрупком существе найти такую силу, которая постепенно укрощает самовластного председателя колхоза. Повесть «Птичка-невеличка» была одним из таких произведений в литературе послевоенных лет, где партийный руководитель изображался более реалистично, во всей сложности жизненных противоречий.

Во время одного из столкновений Каландаров называет Саиду птичкой-невеличкой на тонких ножках, которая, по словам стариков, ночью лежит, подняв свои тонкие ноги вверх, и думает, что удержит небо, если оно начнет падать. Другая бы, услышав такое, совсем потеряла веру в себя. Да и Саиде не было легко. Она «...медленно, как больная, прошла через густой коридор поднимавшегося по проволочным аркам винограда и, чувствуя, как слезы подступают к горлу, оглянувшись, не видит ли кто-нибудь ее, побежала домой через пустынный в этот час старый вишневый сад. Она уже добежала до своей комнатки, вставила ключ в замок, как вдруг остановилась, словно кто-то преградил ей путь.

— «Да что же я делаю?— спросила она себя.— Зачем я пришла? Чтобы упасть на кровать и разреваться? Но какую печаль я хочу выплакать, чью бессердечную душу я хочу смягчить слезами?» И неожиданно чувство обиды у Саиды сменяется чувством гордости за себя. «Если Каландаров дал мне щелчок, то от меня он получит затрещину; если он, вместо того, чтобы расправиться со мной, расправился с моей шляпой, разве это он проявил силу, а я слабость?»— спрашивает себя Саида. Это чувство одержанной победы вызвало новое состояние — Саида обнаруживает прилив сил. «...О, она сумеет дать ему понять, что она вовсе не из таких жалких беззащитных женщин, какую он, очевидно, падеаяся увидит в ее лице!»

Писатель по этапам показывает единоборство этих двух противостоящих друг другу характеров. С чисто каххаровским юмором автор подмечает мельчайшие детали, рисует реалистические сцены жизни. И в каждой из этих сцен Саида что-то завоевывает, пусть немного. Но благодаря этому постепенно укрепляются ее позиции, постепенно слабеют позиции Каландарова. И в результате соотношение сил между героями окончательно меняется.

В характере Каландарова перешлетается положительное и отрицательное. Он — зазнавшийся председатель колхоза. В нем кажутся нестремимыми самодовольство и стремление к единовластию. В то же время он хороший организатор, деловой человек, чуткий к людям и знающий их душу. Неверие в искрен-

ность Саиды, затаенная злоба, желание выпроводить Саиду из колхоза переплетаются с восхищением энергией Саиды, ее разном, со скрытой симпатией к ней.

В душе Каландарова происходила бурная борьба этих противоположных чувств. С точки зрения полного раскрытия его характера, а следовательно и Саиды, интересны последние главы романа. Каландаров собирался подать заявление в вышестоящие организации на Саиду, но не смог этого сделать. Подавая Саиде копию этого заявления и чувствуя себя перед ней виноватым, он говорит: «Читай! А если еще кому захочешь прочесть, тоже читай. А если захочешь всех собрать, всех собрать, всем прочитай! — на этом месте голос Каландарова дрогнул. — Только у меня к тебе просьба: тут почерк Ишана, ты его руку знаешь, но не сердись на него. Этого он не стоит. Если я сам не был бы слабым, не надорвался бы, и никто не стал бы писать мне заявление. Весь ответ на мне, больше спрашивать не с кого. А теперь иди к себе и читай!»

С точки зрения художественной завершенности произведения особое значение имеют слова Каландарова: «Если я сам не был бы слабым, не надорвался бы», которые перекликаются с его словами, обращенными к Саиде в начале повести: «Такая слабенькая! Не надорветесь ли?» Теперь они поменялись местами.

«Птичка-невеличка» — произведение, талантливо отразившее целый исторический период в жизни народа. В годы, когда писалась повесть, в руководстве хозяйством большое место имело самоуправство, самоволие, не принималось во внимание мнение коллектива. «Условия среды», о которых в повести говорит Саида, породили на свет таких руководителей, как Каландаров, заявляющих: «Вся сила заключается только во мне». Но в жизни утвердилась единственная руководящая сила — коллектив, в котором выросли кадры, подобные Саиде. Нужно было поставить на свое место таких, как Каландаров, привыкших диктовать и не считаться с людьми.

Писатель сумел верно показать взаимодействие характеров. В Каландарове настолько укоренились самомнение, упрямство, вазнайство, что для того, чтобы стойко противостоять ему, направить его на правильный путь, нужен был, конечно, человек с еще более твердым характером. Писатель сумел увидеть и художественно выразить в образе Саиды именно такой характер.

Литературная общественность высоко оценила «Птичку-невеличку». В Узбекистане, пожалуй, нет критика, который бы не отметил той или иной художественной особенности повести, характеризующей какую-либо грань таланта Абдуллы Каххара. Об этой повести много говорили и известные представители русской и других братских литератур. Константин Симонов, переводивший «Птичку-невеличку» на русский язык, после смерти Абдуллы Каххара писал: «Мне очень нравилась эта вещь Каххара, и меня только страшило, сумею ли я хоть в какой-то мере передать на русском языке ее удивительный точный национальный колорит, ее щедрый и вместе с тем тонкий юмор, ее доброе лукавство, перемежающееся с ядовитым сарказмом»<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Ж. «Дружба народов», 1970, № 6, стр. 130.



Творческая палитра А. Каххара чрезвычайно многообразна. Объемен его писательский взор. Драматическое и трагическое, сатирическое и героическое — вот компоненты его многогранного мастерства. Но о чем бы ни писал А. Каххар, будь то важные проблемные вопросы или небольшие бытовые неполадки, всегда ясны идейно-эстетические взгляды художника, крепко стоящего на позициях социалистического реализма. Именно поэтому произведения А. Каххара по праву вошли в сокровищницу многонациональной советской литературы.

**М. КОПЧАНОВ**

## ПОЯСНИТЕЛЬНЫЙ СЛОВАРЬ

- Айван* — веранда, терраса при доме.  
*Ака* — старший брат, почтительное обращение к старшему.  
*Аксакал* — буквально: белобородый старик, староста, старейшина.  
*Апа* — старшая сестра, также почтительное обращение к жещине.  
*Аскиячи* — остро слов, человек, искусный в придумывании острог.  
*Байбачча* — байский сын, барчук.  
*Гап* — вечеринка с угощением, пирушка.  
*Дарча* — небольшая дверь, заменяющая окно.  
*Дастархан* — скатерть с угощением, угощение.  
*Джугара* — сорго, кукуруза.  
*Домулла* — учитель, вежливое обращение к грамотному человеку.  
*Дуваал* — глинобитная стена, забор.  
*Нишан* — духовное лицо.  
*Казы* — колбаса из сырой конины.  
*Карнай* — длинная медная труба, горн.  
*Кары* — чтец корана, знающий весь коран наизусть.  
*Кауши* — кожаные галоши.  
*Курбаши* — предводитель шайки басмачей.  
*Курут, курт* — шарики из сушеного творога.  
*Манты* — крупные пельмени, сваренные на пару.  
*Махалля* — квартал города, селения.  
*Меҳманхана* — комната для приема гостей, гостиная.  
*Намаз* — совершаемые пять раз в день обязательные молитвы у мусульман.  
*Нишалда* — сладкое блюдо из взбитых яичных белков с сахаром и мыльным корнем.  
*Омач* — соха с чугунным наконечником.  
*Пансаг* — пятисотник, должностное лицо в ханские времена.  
*Саман* — резаная солома.  
*Сандал* — очаг, состоящий из углубления в полу, куда кладутся горячие угли, и низкого квадратного столика, который ставится над углублением и сверху накрывается одеялом; служил вместо печи в старых узбекских домах.  
*Сула* — глинобитное возвышение, служит местом отдыха.



**Сурнай** — народный музыкальный инструмент, напоминающий флейту.

**Суфий** — служитель мечети, призывающий к молитве, праведник.

**Танап** — мера площади от  $\frac{1}{8}$  до  $\frac{1}{2}$  гектара.

**Ташкари** — внешняя, наружная часть помещения.

**Теньга** — серебряная монета достоинством в 20 копеек.

**Той** — пиршество или празднество по случаю свадьбы или обривания.

**Уста** — мастер.

**Хауз** — пруд, искусственный водоем.

**Ходжа** — человек, принадлежащий к привилегированному слою лиц, считавших себя потомками одного из четырех халифов.

**Хола** — тетька, тетушка, вежливое обращение к пожилой женщине.

**Хурджун** — переметная сума из ковровой ткани.

**Чайрикер** — издольщик.

**Чилим** — род кальяна.

**Чиммат** — чачван, сетка из конского волоса, которой женщины, носившие паранджу, закрывали лицо.

**Чингавуз** — губной музыкальный инструмент.

**Эликбаш** — низшая административная должность в старом Туркестане.

**Юваши** — сотский, административное лицо в старом Туркестане.

**Янтак** — верблюжья колючка.

## СОДЕРЖАНИЕ

* <i>Мираж</i> . Перевод <i>Веры Смирновой</i> . Огни <i>Кошчинара</i> . Авторизованный перевод <i>А. Садовского</i> и <i>С. Малашикина</i> . . . . .	3 227
* <i>Многогранный талант М. Кошчанов</i> Пояснительный словарь . . . . .	495 510

АБДУЛЛА КАХХАР

### ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ В 3-х ТОМАХ

#### Том III

#### РОМАНЫ

*Перевод с узбекского*

Редактор Р. МОСКАЛЕВА  
Художественный редактор И. ЦЫГАНОВ  
Технический редактор М. МИРКАСИМОВ  
Корректор В. КИВА

Сдано в набор 11/II-1974 г. Подписано в печать 5/VIII-1974 г. Формат 84×108<sup>1</sup>/<sub>2</sub>. Печ. л. 16,0. Усл. печ. л. 26,88. Уч.-изд. л. 28,46. Тираж 15 000. Р—09545. Издательство литературы и искусства им. Г. Гуляма, Ташкент, Навои, 30. Договор № 9—72.

Отпечатано на Ташпографкомбинате Государственного комитета Совета Министров УзССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли на бумаге № 1. Ташкент, ул. Навои, 30, Заказ № 1948. Цена 1 р. 14 к.

© Издательство литературы и искусства им. Гафура Гуляма, 1974 г.